



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

N. 442





10462

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Pokrovskiy, V. I.
- OK - 1959

891

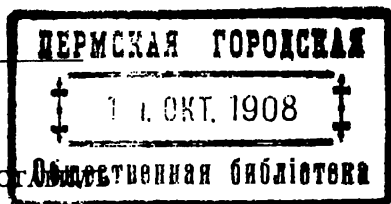
Яковъ Петровичъ

ПОЛОНСКІЙ. 10462.

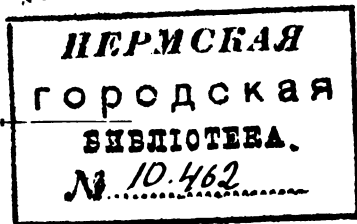
ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

ПРОСВЕЩЕНО
Книг.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.



В. Покровскій.



Цена 1 руб.

МОСКВА.

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. СПИРИДОНОВА и А. МИХАЙЛОВА.
Тверская площадь, Столешниковъ пер., д. Ланцаева.

1906.

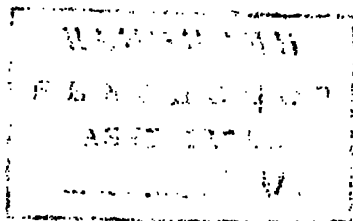
991.7.05 Подольский

А.П.

92 Подольский, А.П.

PG3337

P12/85



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стран.</i>
Поэтическая автобіографія Полонскаго, <i>Халанскаго</i>	1
Празднованіе 50-лѣтія поэтической дѣятельности Полонскаго, <i>Незеленова</i>	24
Я. П. Полонскій (некрологъ) (<i>изъ „Истор. Вѣстника“ 1887 г., № 11</i>)	36
Поэтическая сфера музы Полонскаго, <i>Аммона, Морозова и Халанскаго</i>	39
Любовь къ добру и истинѣ, вѣра въ законъ любви, добра и истины — основное идейное богатство поэзіи Полонскаго, <i>Аммона</i>	44
Заря истинной свободы — союзъ любви и знанія — залогъ грядущаго совершенства, по ученію музы Полонскаго, <i>его же</i>	52
Наука способствуетъ обновленію общественнаго строя — одинъ изъ ло- зунговъ поэзіи Полонскаго, <i>его же</i>	85
Призывъ къ свѣту и знанію, просвѣтляющимъ толпу и сглаживающимъ рознь общества, какъ отличительная черта поэзіи Полонскаго, <i>его же</i>	89
Нѣтъ правды безъ любви къ природѣ, любви къ природѣ нѣтъ безъ чувства красоты, <i>его же</i>	99
Национальные, славянскіе и общечеловѣческіе мотивы поэзіи Полон- скаго, <i>его же</i>	102
Полонскій, какъ поэтъ, связанный неразрывно духовною жизнію съ на- родомъ и человѣчествомъ, отражаетъ на себѣ всѣ колебанія общественнаго настроенія, <i>его же</i>	114
Национализмъ и идеализмъ поэзіи Полонскаго, <i>Поливанова</i>	117
Цѣльность, свѣжесть и народность міросозерцанія Полонскаго — пѣвца свободы и любви, <i>Гаршина</i>	135
Поэзія Полонскаго — поэзія человѣчности, <i>Краснова</i>	156
Цѣлительность, кристаллическая чистота чувства, несравненный лиризмъ — отличительныя свойства поэзіи Полонскаго, <i>Николаева</i>	169
Полонскій — поэтъ задушевнаго чувства, его искренность и оригиналь- ность, <i>Соловьева, Дружино и Михайлова</i>	273
Живое человѣческое чувство, теплое чувство народности, которыми со- грѣты стихотворенія Полонскаго, и художественная ихъ форма, <i>Ор. Миллера</i>	280
Особенность творчества Полонскаго, музыкальность и живописность его стихотвореній, <i>Соловьева</i>	286
Одухотворенность природы съ чарующей живой душой, какъ особая область красоты въ стихотвореніяхъ Полонскаго, <i>Оболонскаго</i>	309
Гармоническое настроеніе души, создаваемое поэзіей Полонскаго, при разнообразіи затрагиваемыхъ ею областей чувствъ, ея изящная образность и прозрачная хрустальность стиха, <i>А.</i>	313

Поэзія Полонскаго — выразительница психических состояній автора, <i>Витберга</i>	328
Разносторонность и отзывчивость музы Полонскаго, <i>Перцова</i>	344
Широта содержанія поэзіи Полонскаго, изображающей русскую природу и жизнь, быть наших соплеменниковъ и другихъ народностей разныхъ вѣковъ, <i>Ор. Миллера</i>	364
Основной мотивъ поэмы „Кузничикъ-музыкантъ“, <i>Соколова</i>	382
Содержаніе и идея поэмы „Собаки“, <i>Н. А.</i>	387
Отношеніе Полонскаго въ поэмѣ „Собаки“ къ обществу, отрицавшему поэзію и требовавшему отъ писателя гражданскихъ мотивовъ, <i>В. Кельсіева</i>	400
Сатирический характеръ поэмы „Собаки“, <i>Астафьева</i>	421
Хриплые тумы, насвистывающіе свѣгири, бойкія синицы, трещація осы, безпочвенные дождевики, слѣпорожденные кроты, сердитые шмели — какъ ремесленники литературы — въ поэмѣ Полонскаго: „Ночь въ лѣтнемъ саду“, <i>Кельсіева</i>	439
Полонскій, какъ писатель и человекъ, <i>Голенничева-Кутузова, Роза- нова и Соколова</i>	457



Поэтическая автобіографія Полонскаго.

Яковъ Петровичъ родился 6 дек. 1819 г. въ городѣ Рязани, въ „богомольной и патриархальной семьѣ“ чиновника Петра Григорьевича Полонскаго. Дѣтство поэта, по его собственнымъ словамъ, было:

Нѣжное, пугливое, Въ самый холодъ вешнихъ дней
Безмятежно шаловливое, Лаской матери согрѣтое.

Съ свѣтлымъ образомъ матери въ воспоминаніяхъ Полонскаго ассоціировался образъ няни, съ колыбели знакомившей его съ міромъ русскихъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ:

Вспоминалъ я бѣдной няни сказки,
Сладкій трепетъ материнской ласки,
Идеалы, созданные мной
Въ годы жизни знойно-молодой,

говор. 70-лѣтній поэтъ въ стихотвореніи „Подслушанныя думы“ III, 111.

О пѣсняхъ и сказкахъ няни поэтъ неоднократно вспоминаетъ въ своихъ стихотвореніяхъ и всегда въ самыхъ теплыхъ, трогательныхъ выраженіяхъ:

Вижу я во снѣ: качаетъ Свѣтъ лампы на подушкахъ,
Няня колыбель мою На гардинахъ свѣтъ луны....
И тихонько запѣваетъ; О какихъ-то все игрушкахъ
„Баюшки — баю!“ Золотые сны...

(Качка въ бурю I, 180.)

Мнѣ все чудится, будто скамейка стоитъ,
На скамейкѣ старуха сидитъ —
До полуночи пряжу прядетъ,
Мнѣ любимыя сказки мои говоритъ,
Колыбельныя пѣсни поетъ.
И я вижу во снѣ, какъ на волкѣ верхомъ
Бѣду я по тропинкѣ лѣсной
Воевать съ чародѣемъ царемъ
Въ ту страну, гдѣ царевна сидитъ подѣ замкомъ,
Изнывая за крѣпкой стѣной.

Тамъ стеклянный дворецъ окружають сады;
Тамъ жаръ-птицы поють но ночамъ
И клюють золотые плоды;
Тамъ журчитъ ключъ живой и ключъ мертвой воды....
И не вѣришь и вѣришь очамъ!

(„Зимній путь“ I, 26—27.)

Метафорой сказокъ няни Полонскій выражаетъ свое очарованіе поэзіей Пушкина:

Это старой няни сказка,

Это молодости ласка.

Воспоминанія о нянѣ, неразрывно связанныя съ многими другими впечатлѣніями дѣтства и юности, выражены въ прелестныхъ по искренности чувства и простотѣ языка стихотвореніяхъ „Иная зима“ I, 313 и „Старая няня“ II, 289.

Я помню, какъ дѣтми съ румяными щеками

По снѣгу хрупкому мы бѣгали съ тобой.

Насъ добрая зима косматыми руками

Ласкала и къ огню сгоняла насъ клюкой.

А позднимъ вечеромъ твои сіяли глазки,

И на тебя глядѣлъ изъ печи огонекъ,

А няня старая намъ сказывала сказки,

О томъ, какъ жилъ да былъ на свѣтѣ дурачокъ. I, 313.

Ты дѣвчонкой крѣпостной

По дорогѣ столбовой

Къ намъ съ обозомъ дотащи-
лася;

Долго плакала, дичилася;

Не причесанная

Не отесанная...

Чуть я началъ подрастать,

Стали няню выбирать,—

И тебя ко мнѣ приставили,

И обули и наставили,

Чтобъ не важничала,

Не проказничала.

Славной няней ты была,

Скоро въ роль свою вошла:

Теребила меня за-воротъ,

Да гулять водила за-городъ...

Съ горокъ скатывалась,

Въ рожъ запрягивалась...

Вотъ пришла зимы пора;

Дальше нашего двора

Не пускали насъ съ салазками;

Ты меня, не муча ласками,

То закутывала,

То раскутывала.

Разъ — я помню — при огнѣ

Ты чулки визала мнѣ

(Или платье свое штопала)—

Къ намъ метель въ окошко хло-
пала,

Пѣснь затягивала,—

Сердце вздрагивало...

Ты жъ другую пѣсню мнѣ

Напѣвала при огнѣ:

„Ай, кипятъ котлы кипучіе!...“

Помню сказки я пѣвучія,

Сказки всяческія,—

Не ребяческія.

И, побитая не разъ,

Ты любила, разсердясь,

Потихоньку мнѣ отплачивать,—

Меня больно поколачивать;

Я не жаловался,

Отбояривался,

А какъ въ школу поступилъ,

Я читать тебя училъ;

Ты за мной твердила „Вѣрю“...

И потомъ молилась съ вѣрою,

Съ воздыханіями,

Съ причитаніями.

По ночамъ на образа
Возводила ты глаза,
Озаренные лампадкою;
И когда съ мечтою сладкою
Сонъ мой спутывался,
Я закутывался...

II, 289—292.

Хотя изъ біографіи поэта мы знаемъ, что онъ любилъ отца (Гербель, Русскіе поэты С.-Пб. 1880, стран. 531), но въ стихотвореніи „Въ гостиной“ I, 3 онъ вспоминаетъ о немъ холодно, а о своихъ тетюшкахъ даже враждебно:

Въ гостиной сидѣлъ за раскрытымъ столомъ мой отецъ,
Нахмуривши брови, сурово хранилъ онъ молчанье;
Старуха, надѣвъ какъ-то на бокъ нескладный чепецъ,
Гадала на картахъ; онъ слушалъ ея бормотанье...
Немного подальше, тайкомъ говоря межъ собой,
Двѣ гордыя тетки на пышномъ диванѣ сидѣли,
Двѣ гордыя тетки глазами слѣдили за мной
И, губы кусая, съ насмѣшкой въ лицо мнѣ глядѣли.

Недружелюбныя воспоминанія о своихъ теткахъ Кавтыревыхъ поэтъ передалъ намъ и въ своихъ „Студенческихъ воспоминаніяхъ“ (Нива, Ежемѣсячное литер. прилож. дек. 1898 г. стран. 662).

Дѣятельность фантазіи, выражавшаяся въ мечтательности, которая развивалась на религіозной почвѣ, проявилась у нашего поэта довольно рано, въ дѣтскомъ возрастѣ:

Любилъ я тихій свѣтъ лампы золотой,
Благоговѣйное вокругъ нея молчанье,
И, тайнаго исполненъ ожиданья,
Какъ часто я, откинувъ пологъ свой,
Не спалъ, на мягкій пухъ облокотясь рукою,
И думалъ: въ эту ночь хранитель-ангелъ мой
Прійдетъ ли въ тишинѣ бесѣдовать со мною?
И мнилось мнѣ: на ложѣ, близъ меня,
Въ сіяньи трепетномъ лампаднаго огня
Въ блѣдно-серебряномъ сидѣлъ онъ одѣянный...
И тихо, шопотомъ я повѣрялъ ему
И мысли, дѣтскому доступныя уму,
И сердцу дѣтскому доступныя желанья.
Мнѣ сладокъ былъ покой въ его лучахъ;
Я весь проникнуть былъ божественною силой.

Съ улыбкою на пламенныхъ устахъ,
Задумчиво внималъ мнѣ свѣтло-крылый;
Но очи кроткія его глядѣли вдаль,
Они грядущее въ душѣ моей читали,
И отражалась въ нихъ какая-то печаль...
И ангелъ говорилъ: „Дитя, тебя мнѣ жаль!
Дитя, поймешь ли ты слова моей печали?“
Душой младенческой я ихъ не понималъ,
Края одеждъ его ловилъ и цѣловалъ,
И слезы радости въ очахъ моихъ сверкали. I, 7—8

Златія игры первыхъ лѣтъ и первыхъ лѣтъ уроки Полонскій живо воспоминаетъ въ стихотвореніи „Дѣтское геройство“. I, 423:

Когда я былъ совсѣмъ дитя, На палочкѣ скакалъ я: Тогда героемъ, не шутя, Себя воображалъ я. Порой рассказы я читалъ Про битвы да походы И, восторгаясь, повторялъ Торжественныя оды... Попъ былъ наставникомъ моимъ Первѣйшимъ изъ мудрѣйшихъ, А генералъ, съ конемъ своимъ — Храбрѣйшимъ изъ первѣйшихъ.	Я вѣрилъ славѣ — и кричалъ: Дрожите, супостаты! Себѣ враговъ избобрѣталъ, — И братьевъ бралъ въ солдаты. Богатыри почти всегда Дѣтьми боготворимы, И гордо думалъ я тогда, Что всѣ богатыри мы. И ничего я не шадилъ, — (Такой ужъ былъ затѣйникъ!) Колосьямъ головы рубилъ, Въ защиту бралъ репейникъ... Потомъ трубилъ въ бумажный рогъ, Кичась неравнымъ боемъ... О! для чего всю жизнь не могъ Я быть такимъ героемъ!
--	--

Ласки матери не долго согрѣвали поэта. Едва ему минуло 10 лѣтъ, какъ мать его умерла. Отецъ вскорѣ послѣ того переѣхалъ на службу въ Эривань, а нашъ поэтъ остался на попеченіи своихъ тетусекъ Кавтыревыхъ, сестеръ своей матери, и приступилъ къ подготовкѣ для поступленія въ Рязанскую гимназію. Въ 1831 году Полонскій поступилъ въ 1-й классъ этой гимназіи.

Воспоминанія Полонскаго о гимназическомъ періодѣ его жизни остались далеко не восторженныя. Повидимому, вялый и формально-сухой строй жизни Рязанской гимназіи того времени, стоявшій въ полномъ противорѣчій съ сентиментально-романтическимъ направленіемъ литературы и настроеніемъ молодежи, мѣшалъ установленію между учащими и

учащимися того общенія умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, безъ котораго невозможно дѣйствительное образовательное вліяніе учебнаго заведенія на учащееся юношество. Вотъ образчики существовавшихъ въ Рязанской гимназіи отношеній между учителемъ и учениками:

Однажды въ дни поста,
Великаго, одинъ изъ нашихъ смирныхъ
Преподавателей, который трусилъ
Инспектора и никогда при немъ
Не нюхалъ табаку, боясь чихнуть,
И не найти платка въ своемъ карманѣ,
Съ участіемъ обратясь къ Вадиму, молвилъ:
— „За что вы обижаете себя —
Такъ вяло учитесь“? Вадимъ привсталъ,
Но не смутился: „Оттого“, сказалъ онъ,
„Что ни Христось, ни ангелы, ни бѣсы
Меня не спросятъ, зналъ ли я урокъ,
Или умѣю ли переводить
Языческихъ поэтовъ“...
„Что за вздоръ!“
Отозвался учитель: „не для Бога
И не для бѣсы мы васъ учимъ: учимъ,
Чтобы вы могли экзамены намъ сдать
И поступить въ студенты, если только
Туда васъ примутъ...“ „Мечтатель“ V, 455—456.

Понятно, что при существованіи двухъ разъединенныхъ, а то и враждебныхъ, лагерей — учителей и учениковъ — развитіе послѣднихъ совершалось помимо дѣятельнаго участія педагогическаго персонала гимназіи:

...Педагоги насъ не знали. Изъ воздуха, должно быть, по-
Возвышенное и святое мы черпали,
Учились у самой природы или
Въ поэзіи искали идеаловъ. V, 408.

Въ классѣ подъ монотонный ходъ уроковъ читались потихоньку романы Виктора Гюго или баллады Шиллера („Мечтатель“, V, 432); чтеніемъ вызывались, естественно, вопросы общаго характера; гимназисты „о нихъ мечтали, и рѣшали ихъ по своему“ (V, 427).

Окрестности Рязани, оживленныя историческими памятниками эпохи татарщины, несомнѣнно, оказывали сильное вліяніе на учениковъ гимназіи. Развивавшіяся ими живое

чувство красотъ природы, патріотизма и потребность серьезныхъ размышлений выражались, соотвѣтственно духу времени, въ мечтательности. Въ стихотворной повѣсти „Мечтатель“ Полонскій удачно изобразилъ въ лицѣ „ровесника и друга своихъ школьныхъ лѣтъ“ Вадима Кирилина, „поэта-мистика“, ту романтически-сентиментальную атмосферу, въ которой нашъ поэтъ находился въ гимнастическій періодъ своей жизни.

Поэтический талантъ Полонскаго въ гимназическій періодъ его жизни обнаруживался въ дѣйствительности, часто шедшей въ разрѣзъ съ обычнымъ ходомъ его школьныхъ занятій:

Вмѣстѣ мы росли, о муза!
И когда я былъ лѣнивый
Школьникъ, ты была малюткой
Шаловливо-прихотливой.
И, ужъ я не знаю, право,
(Хоть догадываюсь нынѣ),
Что ты думала, когда я
Упражнялъ себя въ латыни?

Я мечталъ ужъ о Пегасѣ,—
Ты же, рѣзвая, впрягалась
Иногда въ мои салазки
И везла меня и мчалась...—
Мчалась по сугробамъ снѣж-

нымъ
Мимо бани, мимо сонныхъ
Яблонь, липъ и низкихъ ветель,
Инеемъ посеребренныхъ,
Мимо стараго колодца,
Мимо стараго сарая....
И пугливо сердце билось,
Отъ восторга замирая...
Иногда меня звала ты
Слушать сказки бѣдной няни,
На скамьѣ съ своею прялкой
Пріютившейся въ чуланѣ.
Но я росъ и вырастала
Ты, волшебная малютка;
Дерзко я глядѣлъ на старшихъ,
Но съ тобой мнѣ стало жутко.
Въ дни экзаменовъ, бывало,
Не щадя меня ни мало,
Ты меня терзала, муза,—
Ты мнѣ вирши диктовала.

Въ дни, когда, кой-какъ осиливъ
Энеиду, я несмѣло
За Гораціевы оды
Принимался,— ты мнѣ пѣла
Про широку степь,— манила
Въ лѣсъ, гдѣ зорю ты встрѣчала,
Иль поникшей скорбной тѣнью
Межъ могильныхъ плитъ блу-

ждала.
Тамъ, гдѣ надъ обрывомъ бѣлый
Монастырь и гдѣ безъ оконъ
Теремъ Олега,— мелькалъ мнѣ
На вѣтру твой русый локонь.
И нигдѣ кругомъ, на камняхъ
Римскихъ буквъ не находилъ я
Тамъ, гдѣ мнѣ мелькалъ твой
локонь,

Тамъ гдѣ плакалъ и любилъ я.
Въ дни, когда надъ Цицерономъ
Сталь мечтать я, что въ Россіи
Самъ я буду славенъ въ роли
Неподкупнаго витія,—
Помнишь, ты меня изъ классной
Увела и указала
На разливъ Оки съ вершины
Историческаго вала.
Этотъ валъ, кой-гдѣ разрытый,
Былъ твердней землею
Въ оны дни, когда рязанцы
Бились съ дикою ордою;
Подо мной таились клады,
Надо мной стрижи звенѣли,
Выше — въ небѣ, надъ Рязанью,
Къ югу лебеди летѣли...

Одинъ разъ поэтическое творчество Полонскаго совпало въ унисонъ съ жизнью гимназіи. Когда посѣтилъ Рязань путешествовавшій въ 30-хъ годахъ по Россіи вмѣстѣ съ своимъ воспитателемъ Жуковскимъ Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ Александръ Николаевичъ, знаменитый впослѣдствіи Царь-Освободитель, или, какъ его называетъ одна солдатская пѣсня, слышанная мной еще въ 1877 году въ исполненіи солдатъ какого-то полка, ожидавшихъ своей очереди отправленія на театръ войны на ст. Солнцево, тогда Никольская, — „Александръ Милосердый“, Полонскій привѣтствовалъ Царственного Путешественника своимъ стихотвореніемъ, за что удостоился получить Высочайшій подарокъ — золотые часы.

Въ 1839 году Полонскій окончилъ курсъ гимназіи, не получивъ въ ней „прочнаго классическаго образованія“ („Проз. дв. поэт. сѣмянъ Отеч. зап. 1867, апр. кн. 2 стран. 742), и вслѣдъ затѣмъ, впервые бросивъ свой очагъ, откочевалъ въ Москву и тамъ держалъ экзаменъ для поступленія въ университетъ, представлявшійся его товарищу Вадиму, а вѣроятно и ему, „святилищемъ какимъ-то“, V, 448.

Московскій университетъ въ 40-ые годы былъ въ апогее своего могучаго вліянія на мыслящую часть рускаго общества. Пребываніе Полонскаго въ этомъ университетѣ имѣло огромное вліяніе на окончательное сложеніе его убѣжденій и идеаловъ и на самый характеръ его поэтической дѣятельности. Мечтательный идеализмъ, навѣянный на него въ Рязанской гимназіи чтеніемъ поэтическихъ произведеній романтической школы, въ студенческіе годы пріобрѣлъ форму прочно сложившагося убѣжденія подѣ вліяніемъ того научнаго идеализма, представителями котораго были въ то время въ Московскомъ университетѣ профессора Рѣдкинъ, Морошкинъ и особенно Грановскій, начавшій чтеніе лекцій въ Московскомъ университетѣ почти одновременно съ поступленіемъ нашего поэта на юридическій факультетъ его. Хотя своимъ любимымъ профессоромъ Полонскій называлъ Рѣдкина, однако, несомнѣнно, и лекціи Грановскаго производили сильное впечатлѣніе на его умъ, отразившись въ возвышенныхъ идеалахъ его поэтическихъ произведеній. Въра въ прогрессъ человечества, въ торжество правды и добра, завѣтъ Полонскаго:

Вѣрь знаменованью:
Есть конецъ страданью,
Нѣтъ конца стремленьямъ...

I, 63—

есть, несомнѣнно, отраженіе идей Грановскаго о всеобщей исторіи, какъ прогрессивномъ движеніи челоѣчества къ гуманности.

Сочувствіе студенческой молодежи и вообще мыслящей части московскаго общества того времени философскимъ и моральнымъ интересамъ (время увлеченія философіей Шеллинга и Гегеля) отразилось на общемъ направленіи поэтической дѣятельности Полонскаго — отвлекаться отъ поэтическихъ образовъ, вызванныхъ живой дѣйствительностью, въ область моральную. Въ этомъ отношеніи Полонскій является наиболѣе яркимъ, наиболѣе талантливымъ и наиболѣе искреннимъ выразителемъ чувствъ и мыслей многихъ своихъ сверстниковъ. Благородныя и возвышенныя мечтанья своего времени, т.-е. 40-хъ годовъ, Полонскій не только понималъ умомъ-разумомъ, но и прочувствовалъ своимъ сердцемъ, усвоилъ всѣмъ своимъ существомъ, проникся ими до осуществленія ихъ въ своей жизни. Отсюда то весьма цѣнное для лирическаго поэта единство жизни и поэзіи въ Полонскомъ, которому напр. Лермонтовъ удивлялся въ поэтѣ-декабристѣ кн. Одоевскомъ, умершемъ 10 октября 1839 г.; отсюда непосредственность чувства или, какъ опредѣлялъ эту черту поэтическаго темперамента Полонскаго Тургеневъ, „какая-то трогательная искренность“ (Письма изд. 1885 г., стран. 123) его поэзіи, выражающаяся въ удивительномъ отсутствіи позировки, рисовки своими страданіями, въ возвышенности глубокаго страданія, скрытаго въ простыхъ метафорахъ изящныхъ поэтическихъ образовъ:

... въ цвѣты ряди страданья.

II, 88.

Разумѣется, безъ этой прочувствованности тѣхъ возвышенныхъ идей добра, правды и любви, въ которыхъ заключается паѣосъ поэзіи Полонскаго, она было бы звенящей мѣдью, бряцающимъ кимваломъ, хотя и добродласнымъ, какимъ оказалась, напр., какъ показало время, громкозвучная по строю и возвышенная по мыслямъ поэзія Бенедиктова, поэтъ съ живымъ чувствомъ и воображеніемъ, но съ неизмѣримо меньшимъ, нежели то было у Полонскаго, единствомъ *мысли, чувства и самой жизни.*

Идеализмъ университетскихъ профессоровъ находилъ сочувственный отголосокъ въ романтически-настроенной студенческой молодежи. „Мы всѣ были идеалистами“, говоритъ Полонскій о студентахъ Московскаго университета своего времени (Мои студ. восп. „Нива“, ежемѣсячн. литер. прилож. 1898 г. дек. стран. 651). Товарищами его по университету были Ап. Григорьевъ, Фетъ, Писемскій, Кавелинъ, Соловьевъ. Изъ нихъ съ Григорьевымъ и Фетомъ Полонскій подружился. Въ кружкахъ и салонахъ московской интеллигенціи, въ домахъ Ровинскихъ, Вельтмана, Павловыхъ и друг. Полонскій встрѣчался съ Гоголемъ (всего одинъ разъ), Герценомъ, К. Аксаковымъ, Самаринымъ, Хомяковымъ, Чаадаевымъ, И. С. Тургеневымъ и друг. Вокругъ него бурлила московская и обще-русская жизнь 40-хъ годовъ, захватывала его, заставляла осмысливать его юношескіе мечтательные порывы и ковала его идеалистическія убѣжденія.

Поэтическіе труды Полонскаго продолжались въ университетѣ въ болѣе благоприятной обстановкѣ, нежели въ Рязанской гимназій. Хотя добрякъ Нахимовъ, инспекторъ студентовъ и уменьшалъ Полонскому отмѣтку въ поведеніи за невольныя проказы его „шаловливо-прихотливой музы“, но проф. словесности Давыдовъ въ присутствіи многихъ студентовъ расхвалилъ его стихотвореніе „Душа“, а И. С. Тургеневъ назвалъ одно изъ стихотвореній поэта того времени „маленькимъ поэтическимъ перломъ“ (Мои студ. восп. „Нива“ Ежемѣс. литер. прилож. дек. 1898 г. стран. 645). Слухъ о поэтическихъ дарованіяхъ Полонскаго доставилъ ему довольно широкій кругъ знакомыхъ среди московскаго общества, а это до нѣкоторой степени облегчало самое существованіе его въ Москвѣ въ студенческіе годы.

Дѣло въ томъ, что живая и весьма дѣятельная работа ума и фантазій Полонскаго во время его студенчества находилась въ полномъ противорѣчій съ его личнымъ имущественнымъ положеніемъ. При обиліи пищи духовной, доставлявшейся университетомъ и кружками мыслящей молодежи, группировавшимися около научныхъ и литературныхъ дѣятелей Москвы того времени ¹⁾, у Полонскаго было мало пищи

¹⁾ Мои студенч. воспом. „Нива“, ежем. литер. прил. дек. стран. 645, 647, 653.

реальной, хлѣба насущнаго. Особенно стало тяжело жить поэту, когда, послѣ смерти его бабушки, Екатерины Богдановны Воронцовой, дававшей ему столъ и квартиру, пришлось ему самому зарабатывать себѣ хлѣбъ частными „грошовыми“ уроками и репетиторствомъ. Заработокъ былъ скуденъ, литературные опыты не давали ровно ничего, и юноша идеалистъ „съ горячей головой“ встрѣчался лицомъ къ лицу съ нуждой и бѣдностью.

Нужда и лишенія не озлобили, однако, Полонскаго и не бросили его въ мракъ отрицанія. Отъ этого уберегли его наклонности, внушенныя родной семьей, и доброе товарищество. Нашъ поэтъ, несмотря на овладѣвшее имъ впоследствии сомнѣнiе (I, 16, 50) былъ и остался глубоко религіознымъ человѣкомъ, какъ и его замѣчательный товарищъ по университету С. М. Соловьевъ. Поэтому труды, лишенія и горе жизни, освѣщаемые, съ одной стороны, христіанскими идеалами терпѣнія, съ другой—оптимизмомъ товарищей, философiи, морали и поэзи, находили для Полонскаго облегченіе въ самомъ процессѣ творчества:—

Меня гармонія учила по-человѣчески страдать, II, 82—

выражаясь въ лирическихъ формахъ молитвеннаго обращенія къ Богу:

О Боже, Боже!
Не Ты ль вѣщалъ,
Когда мнѣ далъ
Живую душу:
Любить, — страдать, —
Страдать и жить —
Одно и то же.
Но я ропталъ,
Когда страдалъ,
Я слезы лилъ,
Когда любилъ,
Негодовалъ,
Когда внималъ
Суду глупцовъ

Иль подлецовъ...
И утомленный,
Какъ полусонный,
Я былъ готовъ
Борьбѣ тревожной,
Предпочитать
Покой ничтожный
Какъ благодать.
Прости! — И снова
Душа готова
Страдать и жить,
И за страданья
Отца созданья
Благодарить. I, 10 — 11.

Возводя страданье въ законъ жизни, поэтъ былъ склоненъ, подобно Достоевскому (по возвращеніи послѣдняго изъ каторги) признавать его (страданье) спасительнымъ для человѣка, необходимымъ для его нравственнаго совершенствованія:

Видю ль я, какъ въ храмѣ смиренно она
Передъ образомъ Дѣвы, Царицы небесной, стоитъ,—
Такъ молиться лишь можетъ святая одна...

И болить мое сердце, болить!

Видю ль я, какъ на балѣ сверкаетъ она
Пожирающимъ взглядомъ, горячимъ румянцемъ ланить;
Такъ надменно блеститъ лишь одинъ сатана...

И болить мое сердце, болить!

И молю я Владычицу Дѣву, скорбя:
Ниспошли ей, Владычица Дѣва, терновый вѣнокъ,
Чтобъ ее за страданья, за слезы любя,

Я ее ненавиждѣть не могъ.

И зову я къ тебѣ, сатана! оглуши,
Ослѣпи ты ее! Подари ей блестящій вѣнокъ...

Чтобъ ее ненавидя всей силой души,

Я любить ее больше не могъ.

I, 78.

Весьма характернымъ отличіемъ поэзіи Полонскаго вообще и между прочимъ особенностью его раннихъ произведеній является отсутствіе эротическихъ стихотвореній и чрезвычайно цѣломудренное отношеніе къ женщинѣ и чувству любви, близкое къ тому, какое завѣщалъ Борисъ Годуновъ Пушкина Теодору:

Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами въ порочныхъ наслажденьяхъ
Въ молодые дни привыкнулъ утопать,
Тотъ, возмужавъ, угрюмъ и кровожаденъ
И умъ его безвременно темнѣетъ.

Полонскій въ своемъ стихотвореніи „Прости“ говоритъ:

Пора... Прости! Никто не вѣдалъ Любви прекраснымъ упованьямъ
Глубокихъ тайнъ моихъ страстей, Разсудкомъ положи предѣлъ,
И никсму я права не далъ Страдая самъ, твоимъ страданьямъ
Заплакать на груди моей. Я отозваться не хотѣлъ. I, 57.

... Чувство нѣжное, когда оно проснется,

говоритъ поэтъ въ стихотвореніи „Цвѣтокъ“

Впервые, трепетно слѣдитъ за красотой,
И все, къ чему она случайно прикоснется,
Животворитъ послушно мечтой.

I, 9.

Въ этой проповѣди чистоты чувства любви Полонскій отчасти сближается съ Майковымъ, а оба поэта сходятся

Въ 1844 году Полонскій окончилъ курсъ университета и въ томъ же году на средства, собранныя подпискою, издалъ въ свѣтъ первое собраніе своихъ стихотвореній подъ названіемъ „Гаммы“. Въ книжкѣ было напечатано 32 стихотворенія изъ числа юношескихъ опытовъ поэта. Въ „Отеч. Зап.“ былъ помѣщенъ слѣдующій отзывъ объ этомъ собраніи стихотвореній Полонскаго, принадлежащій не Бѣлинскому, какъ полагали до сихъ поръ, а, какъ теперь оказывается, Кудрявцеву. (Мои студ. восп. въ назв. сборн. „Нивы“ стран. 677): „вышла книжечка стихотвореній г. Полонскаго подъ скромнымъ названіемъ „Гаммы“. Г. Полонскій обладаетъ въ нѣкоторой степени тѣмъ, что можно назвать чистымъ элементомъ поэзіи и безъ чего никакія умныя и глубокія мысли, никакая ученость не сдѣлаютъ человѣка поэтомъ“ (П. с. соч. Бѣлинскаго, т. IX, 293).

1845-й годъ Полонскій проводитъ въ Одессѣ сначала безъ опредѣленныхъ занятій и среди большихъ лишеній, а потомъ въ сравнительно сносной обстановкѣ, устроившейся благодаря участію въ его судьбѣ проф. Рихельевскаго лица Ал. Бакунина, его университетскаго товарища, доставившаго ему уроки, знакомства и даже связи. Литературные труды Полонскаго продолжались въ Одессѣ, и въ 1845 году онъ издалъ вторую книжку своихъ стихотвореній подъ названіемъ „Стихотворенія 1845 года“. Литературная судьба этого сборника очень интересна и даже поучительна. Бѣлинскій объ этой книжкѣ отзывался очень строго, такъ строго, что морозъ его отзыва могъ бы сгубить дарованіе поэта съ меньшей потребностью творчества и, разумѣется, съ меньшими силами. Бѣлинскій, въ своемъ отзывѣ, отмѣчаетъ присутствіе въ Полонскомъ „самостоятельнаго элемента поэзіи, слѣдов. таланта; но добавляетъ при этомъ: „ничѣмъ не связанный, чисто внѣшній талантъ этотъ можно разсмотрѣть и замѣтить только черезъ микроскопъ—такъ миньютуренъ онъ... Заглавіе — „Стихотворенія 1845 года“ общаетъ намъ длинный рядъ небольшихъ книжекъ; общаніе нисколько не утѣшительное! Стихотвореніе 1845 года уже хуже стихотвореній, изданныхъ въ 1844 году... Это плохой признакъ (т. X, стран. 403)... Читая стихотворенія Полонскаго, мы почему-то невольно все твердили про себя эти два стиха сатирика добраго стараго времени, Кантемира:

Уме недозрѣлый, плодъ недолгой науки!

Покойся, не понуждай къ перу мои руки! Стран. 405.

Благодаря участию своих одесских знакомых, Полонскій въ 1846 году получилъ мѣсто съ опредѣленнымъ и достаточнымъ содержаніемъ, доставившимъ ему нѣкоторую независимость и свободу для литературныхъ занятій, — мѣсто помощника редактора газеты „Закавказскій Край“, — и перешалъ на жительство въ Тифлисъ. Отъ 1846 по 1852 годъ Полонскій живетъ на Кавказѣ, преимущественно въ Тифлисѣ, обогащая свой поэтический міръ новыми впечатлѣніями и образами величественной природы Кавказа, странной и интересной жизни его обитателей. Въ стихотворномъ посланіи къ Л. С. Пушкину „Прогулка по Тифлису“, Полонскій говорить о себѣ, что онъ повсюду спѣшитъ ловить

Рой самыхъ свѣжихъ впечатлѣній.

I, 98.

Въ описаніяхъ природы и жителей Кавказа, данныхъ Полонскимъ, нѣтъ и тѣни той романтической дымки, которою одѣвали свои кавказскіе образы и мотивы Лермонтовъ, Марлинскій и даже Пушкинъ. Полонскій ясно, опредѣленно, правдиво и просто описываетъ впечатлѣнія, навѣянные на него Кавказомъ.

... Нигдѣ природа, какъ жилище
Творца, не можетъ быть ни лучше ни пышнѣй.
Кругомъ, какъ Божія ограда,
Заоблачный хребетъ далеко манитъ взоръ.
Тамъ спятъ лѣса подъ говоръ водопада,
А здѣсь миндаль и лозы винограда,
И дикаго плюща живой коверъ.
О, здѣсь бы жить — любить и наслаждаться!

Величіе природы Кавказа оживляетъ въ поэтѣ идеальныя мечтанья о будущемъ челоѣчества и вѣру въ торжество правды и добра:

Вверхъ, по недоступнымъ
Крутизнамъ встающихъ
Горъ, туманъ восходитъ
Изъ долинъ цвѣтушихъ;
Онъ, какъ дымъ уходитъ
Въ небеса родныя,
Въ облака свиваясь
Ярко-золотыя
И разсѣиваясь.
Лучъ зари съ лазурью
На волнахъ трепещетъ;

На востокъ солнце,
Разгораясь, блещетъ.
И сіяетъ утро,
Утро молодое.
Ты ли это, небо
Хмурое, ночное!
Ни единой тучки
На лазурномъ небѣ!
Ни единой мысли
О насущномъ хлѣбѣ!
О, въ отвѣтъ природѣ

Улыбнись, отъ вѣка
Обреченный скорби
Геній человѣка!
Улыбнись природѣ!

Вѣрь знаменованью:
Нѣтъ конца стремленью,
Есть конецъ страданью!
I, 62—63.

Печальная бытовая дѣйствительность Кавказа — невѣжество и дикость нравовъ его обитателей охлаждають, однако, идеальныя, человѣколюбивыя мечтанья слушателя Рѣдкина и Грановскаго:

Я не знаю что, — привычка, можетъ статья,
Бродя въ толпѣ, на лицахъ различать
Слѣды разврата, бѣдности безгласной
Или корысти слишкомъ ясной,
Невѣжества угрюмую печать, —
Убавило во мнѣ тотъ жаръ напрасный,
Съ которымъ нѣкогда я радъ былъ вопрошать
Послѣдняго изъ всѣхъ забытыхъ нами братій.
Я знаю, что нужда не въ силахъ раздѣлять
Ни чувствъ насыщенныхъ ни развитыхъ понятій,
Что наша связь давно разорвана съ толпой,
Что лучшія мечты, источники страданья,
Для благородныхъ душъ остались мечтой... I, 89—90

Съ точки зрѣнія моралиста, Кавказъ для Полонскаго — могила или сонное царство. Грузія — чудная страна, такъ страстно любимая солнцемъ и выжженная солнцемъ (I, 103), наводитъ на поэта скуку отсутствіемъ проявленій жизни; ему „скупны виды природы“ Грузіи:

Остовы глинистыхъ скалъ,	Вѣчно объятаы сномъ,
Рощей поникшіе своды...	Облокотились руины...
Глухо, безлюдно кругомъ...	Спать...
Тяжко на эти вершины,	

Въ „любопытномъ“ взглядѣ женщинъ Кавказа „много блеску, мало жизни“ (I, 98). Имеретія для Полонскаго — руина, исполинская могила, лишь по контрасту подтверждающая мысли поэта о важности жизни разумно-сознательной и нравственно-человѣческой; рой тѣней, покрытыхъ

Струями крови, пылью битвъ,
Мужей и женъ, душой сгорѣвшихъ
Въ страстяхъ и въ небо улетѣвшихъ,
Какъ дымъ, безъ мысли и молитвъ...

представившихся поэту надъ развалинами въ Имеретіи, говорить:

Здѣсь было царство, царство	Но вамъ изъ гроба своего,
пало.	Въ уладу бѣдной жизни вашей
Мы жили здѣсь, и насъ не стало...	Не завѣщали ничего...
Но не скорби о насъ, поэтъ!	
Мы пили въ жизни полной чашей;	I, 112—113.

Тѣмъ ярче передъ умственнымъ взоромъ поэта встаютъ духовныя потребности современнаго Кавказа и историческія задачи Россіи —

Поднявши мечъ и заступъ, и топоръ,
Развить и жизнь, и мысль на царственныхъ могилахъ.
I, 116.

Наиболѣе крупными произведеніями Полонскаго за этотъ, кавказскій, періодъ его жизни были: историческая драма „Дареджана Имеретинская“ и стихотворные рассказы, рисующіе бытъ и нравы горцевъ („Выборъ Уста-баша“, „Агбаръ“ и „Караванъ“) и ихъ религіозныя вѣрованія („Факиръ“). Въ 1852 году Полонскому понадобилось ѣхать въ Петербургъ лично поддержать свое ходатайство о цензурномъ разрѣшеніи для постановки на сценѣ „Дареджаны“. Ждать разрѣшенія цензора пришлось долго, до просрочки Полонскимъ отпуска. Поневоѣ поэту пришлось подать въ отставку и остаться въ Петербургѣ въ положеніи близкомъ къ тому, въ какомъ онъ находился въ Москвѣ, въ годы своего студенчества. Воспоминанія объ этомъ тяжеломъ періодѣ его жизни выразились позже въ стихотвореніи „Женщинѣ“ (I, 330—332).

Въ лирическихъ стихотвореніяхъ Полонскаго за этотъ первый петербургскій періодъ его жизни болѣе ярко выражены слѣдующія настроенія поэта:

а) Тяжелое чувство досады, огорченія какъ по поводу жизненныхъ неудачъ, такъ и вслѣдствіе непониманія его критикой „Моя судьба“ I, 227; „Послѣдній выводъ“ (I, 213);

б) Глубокое разочарованье въ самомъ себѣ, въ своей годности для жизни: „Хандра“ (I, 223).

с) Несмотря на тяжелую дѣйствительность, поэтъ продолжалъ работать надъ собой, въ глубинѣ души продолжая

оставаться такимъ же восторженнымъ идеалистомъ, какимъ вышелъ въ жизнь и какимъ завѣщалъ быть и сыну своему:

Усовершенствуй то, что есть, —	За вѣкомъ, не спѣша, слѣди;
Себя, свой даръ, свой трудъ, и	Къ его мольбамъ склоняя слухъ,
вотъ,	Не къ разрушенію свой духъ,
Живой предметъ твоихъ заботъ,	А къ созиданію веи.
Твоя единственная честь.	Умѣя пламенно любить,
Люби науку, — это плодъ	Восторженно благоговѣть, —
Усовершенствованныхъ думъ;	Ты поневолѣ будешь пѣть
Надъ ней пытай свой шаткій умъ	И красоту въ душѣ носить.
И свѣтъ ея неси впередъ.	II, 392—393.

Идеальныя мечтанья Полонскаго выразились въ это время въ юмористическомъ стихотвореніи „Фантазіи бѣднаго малаго“ I, 393 и въ „Молитвѣ“ Отцу Небесному о ниспосланіи людямъ любви, правды и свободы (I, 270).

Къ первому петербургскому періоду жизни Полонскаго относится установленіе дружественныхъ отношеній его къ Майкову и Тургеневу. Выше мы привели стихотвореніе Майкова, характеризующее стихъ Полонскаго и проникнутое уваженіемъ къ его таланту и направленію его дѣятельности. Это стихотвореніе относится къ 1856 г. Въ посланіи къ Полонскому, написанномъ въ 1858 г., Майковъ уже говоритъ, что его душа успѣла сродниться съ душой Полонскаго, что ему дорого ихъ взаимное пониманіе другъ друга.

Большое значеніе для Полонскаго имѣла дружба его съ Тургеневымъ. Мы видѣли, какъ сурово отнесся Бѣлинскій ко второму выпуску стихотвореній Полонскаго. На робкаго и мнительнаго отъ природы Полонскаго жестокій приговоръ авторитетнаго критика долженъ былъ произвести чрезвычайно тягостное впечатлѣніе, которое могло только усиливаться отъ послѣдовавшихъ за смертью Бѣлинскаго критическихъ отзыовъ, раболѣпно повторявшихъ Бѣлинскаго и рѣзко, беззащитно бросавшихъ въ глаза поэту укоръ въ микроскопичности его таланта. Тургеневъ въ своемъ письмѣ къ Полонскому отъ 24 декабря 1856 г. изъ Парижа упоминаетъ о сомнѣніяхъ Полонскаго и о войнѣ его съ самимъ собой, словомъ, о настроеніи духа не особенно благопріятномъ для всякаго творчества, а болѣе всего поэтическаго. И вотъ Тургеневъ, во время понявъ и оцѣнивъ правильно талантъ Полонскаго, явился для нашего поэта и ангеломъ-

утѣшителемъ, ободрившимъ сомнѣвавшагося и падавшаго духомъ чловѣка, и строгимъ критикомъ-эстетикомъ, преподававшимъ изъ Парижа уроки стилистики поэту, не всегда чуткому къ эстетическимъ достоинствамъ языка, и ласковымъ учителемъ, направлявшимъ самый ходъ поэтическихъ занятій Полонскаго. Вотъ что, напр., писалъ Тургеневъ Полонскому изъ Парижа отъ 24 декабря 1856 г.:

„Помните ли вы, любезнѣйшій Полонскій, вы мнѣ говорили, что желали бы написать стихотвореніе, которое совершенно бы меня удовлетворило? Вы теперь можете быть довольны: я отъ вашихъ „Наядь“ пришелъ въ восторгъ. Это вещь великолѣпная. Но такъ какъ я желалъ бы видѣть ее напечатанной, то позвольте мнѣ предложить слѣдующія измѣненія“. Далѣе Тургеневъ предлагаетъ нѣсколько измѣненій первоначальнаго текста этого стихотворенія, которыя, повидимому, были приняты къ свѣдѣнію Полонскимъ. „Повторяю“, говоритъ Тургеневъ, „стихотвореніе чудное... Второе стихотвореніе, присланное вами, очень хорошо по своей правдѣ, а третье слабо. Пожалуйста не унывайте и кончайте вашу поэму“. Не удастся — дѣлать нечего, а удастся — браво. Что такъ сиднемъ сидѣть? Пока въ себѣ сомнѣваешься да противъ себя воюешь — можно сдѣлать жоть небольшое дѣло — да дѣло. Одну я знаю помѣху: болѣзнь. И потому мнѣ очень было прискорбно узнать, что вы все болѣете. Не знаю, мнительны вы или нѣтъ, но думаю, что съ вашимъ здоровьемъ еще жить можно. Работайте-ка и порадуите меня другимъ стихотвореніемъ въ родѣ „Наядь“... Вы хорошо дѣлаете, что рисуете, — но смотрите, не покидайте своей законной музыки, а съ той, какъ бишь звали музу рисованія, побаловать можно.

Прощайте, милый П. Пришлите мнѣ перемѣны въ „Наядахъ“, если найдете мои предложенія благоразумными — да напечатайте это стихотвореніе непременно въ „Современникъ“; объ этомъ я васъ прошу.

Дружески жму вамъ руку и остаюсь душевно вамъ преданный (Первое собр. пис. Тургенева стран. 38—39).

Нажитая Полонскимъ въ петербургскихъ лишеніяхъ болѣзнь заставила его покинуть Петербургъ въ 1855 г., лечиться въ Гапсалѣ, жить временно то въ Гельсингфорсѣ, то въ Петербургѣ, то въ Варшавѣ. Въ 1857 г. Полонскій уѣз-

жасть въ заграничное путешествіе по Зап. Европѣ. Въ это первое путешествіе свое по Зап. Европѣ Полонскій посѣтилъ Германію, Швейцарію, Италію и Францію. Заграничное путешествіе не произвело на Полонскаго особенно отраднаго впечатлѣнія. Даже къ красотамъ природы Италіи и Швейцаріи Полонскій остался болѣе, нежели равнодушнѣнъ. Тутъ опять ясно обнаружилась разница поэтическихъ темпераментовъ Майкова и Полонскаго. На Майкова, поэта-артиста, поэта-художника, широко и многосторонне образованнаго, съ чрезвычайно широкимъ кругомъ симпатій, заграничныя поѣздки оказывали чрезвычайно сильное и благотворное вліяніе. Такъ, въ первое путешествіе Майкова по Италіи, природа Италіи оказала на него чарующее вліяніе; стихотворенія этого поэта, написанныя въ Италіи, полны искреннаго восторга, прямо восхищенія:

Ахъ, чудное небо, ей Богу, надъ этимъ классическимъ Римомъ!
Подъ такимъ небомъ невольно художникомъ станешь. I, 189.
О Римъ, о чудный Римъ! все кажется здѣсь сномъ!

Красивые виды мѣстностей Италіи напоминаютъ Майкову „хорошо ему знакомыя картины“

Изъ яркихъ стиховъ антологіи древней Эллады. I, 189.

Пейзажи „синѣющихъ горныхъ вершинъ“ (I, 195), „лиловыхъ“ или „лилово-серебристыхъ горъ“ (I, 205, 210), рядящихся „въ легкую дымку тумановъ полудня“ (I, 210), „солнца огневого“ (I, 195), скользящаго легкимъ игривымъ лучомъ по аллеѣ (I, 210), воздуха, „тонкой струей бѣгущаго между листьевъ“ (I, 210), „далекаго горизонта въ серебряной пыли“ (I, 216), „бѣлыхъ стѣнъ, покрытыхъ плющомъ густымъ“ (I, 205), „кипарисовъ, лавровъ, водъ шумящихъ“ (I, 205).

„И акведуковъ и руинъ“, „какъ будто плавающихъ вдали“
При шумѣ воднаго паденья I, 195. При этомъ шумѣ огнемъ,

— вся эта прелесть новыхъ впечатлѣній настолько овладѣла душой поэта, что онъ уже съ грустью вспоминалъ о своей далекой, бѣдной итальянскими видами, родинѣ, сожалѣя, что „тамъ за горами, а полночь, люди живутъ и не

знають ни горъ въ багрянцахъ огнистыхъ зоръ ни широ-
кихъ кругомъ горизонтовъ“:

Больно; сжимается сердце и мысль... Но грустиѣ
Думать, что бродишь тамъ въ полѣ, богатомъ покосомъ,
Въ темныхъ лѣсахъ, и ничто въ этой бѣдной природѣ
Мысли твоей утомленной не скажетъ, какъ этой
Виллы обломки: здѣсь нѣкогда съ чашей фалерна
Въ мудрой бесѣдѣ, за долгой трапезой съ друзьями,
Туллій отыскивалъ тайны законовъ созданья...
Воды (лепечуть): подъ наше паденье, подъ музыку нашу
Ямбъ и гекзаметръ настраивалъ умный Гораций;
Гроты, во мракѣ которыхъ шумятъ водопады:
„Здѣсь говорила устами природы Сивилла“...
Въ нѣдрахъ горы, между тѣмъ, собирались, какъ тѣни,
Ратники новыя вѣры, и рабъ и патрицій...
И выходили потомъ, просвѣтленные свыше,
Въ мѣръ на мученье съ глаголомъ любви и смиренья.

I, 205—206.

Полонскій не испыталъ такого очарованія красивыми ви-
дами природы Италіи и памятниками ея древней исторіи,
которое отвлекло бы его отъ рефлексіи и стихійной при-
вязанности къ родинѣ, нашедшей себѣ выраженіе въ стихо-
твореніи:

Въ ребяческіе дни любилъ я край родной,
Какъ векша — сумракъ бора,
Какъ гапля — иль береговой,
Какъ воронъ — кучу сора.
Въ дни юности любилъ я родину, какъ сынъ —
Родную мать, поэтъ — природу,
Женихъ — невѣсту, гражданинъ —
Права или свободу.

II, 73.

Эта стихійная любовь къ родинѣ заставила Полонскаго
предпочитать ее и Италіи, и Швейцаріи, а привычка къ
рефлексіи указала ему на тѣни въ освѣщенной огнемъ
солнцемъ блестящей картинѣ страны.

Живописныя картины „моря соннаго“,
Словно тучками, мглой далекихъ вершинъ окаймленного,

„высей горныхъ, млѣющихъ вдали, замыкая заливъ, стадъ
черныхъ козъ на нихъ, пастуховъ, съ ихъ котомками, стоя-
щихъ на краю скалы, надъ обломками“, не въ силахъ за-
ставить поэта забыть „стонъ“ Италіи (I, 301), „продажную

Повѣрь: не нужно быть въ
Парижѣ,
Чтобъ къ истинѣ быть сердцемъ
ближе,
И для того, чтобъ созидать,
Не нужно въ Римѣ кочевать.

Слѣды прекраснаго художникъ
Повсюду видитъ и—творить,
И оиміанъ его горить
Вездѣ, гдѣ ставить онъ треножникъ
И гдѣ Творецъ съ нимъ говорить. I, 295—296.

Лѣтомъ 1858 года Полонскій въ Парижѣ праздновалъ свою свадьбу съ молодой, красивой и образованной дѣвушкой Еленой Васильевной Устюжской, а уже черезъ 1½ года имѣлъ несчастье лишиться горячо любимой жены. Смерть подруги жизни была оплакана Полонскимъ въ трехъ стихотвореніяхъ (I, 339, 341 и 343), изъ которыхъ самое трогательное по простотѣ и непосредственности чувства „Послѣдній вздохъ“ I. 339.

Похоронивъ жену, Полонскій возвратился въ 1858 году въ Петербургъ и сталъ во главѣ изданія журнала „Русское Слово“. Испытанныя превратности жизни за это время нашли себѣ яркое выраженіе въ образахъ элегіи „Чайка“ (I, 387). Черезъ годъ Полонскій долженъ былъ снова ѣхать лѣчиться за границу, передавъ редакторство другому лицу. Въ 1862 г. Полонскій возвратился изъ-за границы и навсегда поселился въ Петербургъ, отдавшись службѣ въ комитетѣ иностранной цензуры, служенію литературѣ, а съ 1866 г., когда поэтъ вторично женился, (на Жозеф. Ант. Рюльманъ)—семьѣ. Литературная дѣятельность Полонскаго въ это время расширяется въ объемѣ. Тургеневъ, съ которымъ у Полонскаго установились въ это время совершенно дружескія отношенія, въ своихъ письмахъ изъ-за границы внимательно слѣдитъ за литературными работами Полонскаго, ободряя унывавшаго временами поэта, давая цѣнные совѣты и указанія относительно содержанія и стиля его стихотвореній. Въ письмѣ отъ 1 мая 1866 года Тургеневъ писалъ Полонскому изъ Баденъ-Бадена: „Ты напрасно упрекаешь меня въ нерасположеніи къ твоимъ стихамъ; нѣкоторыя изъ твоихъ произведеній мнѣ чрезвычайно дороги: отъ нихъ вѣетъ неподдѣльнымъ поэтическимъ вдохновеніемъ и какою-то трогательною искренностью, что рѣдко въ наше время (напр. твои „Жалобы музы“ прекрасны). Забившись въ здѣшнюю норку и отказавшись отъ всякаго вмѣшательства въ литературу, я не пересталъ любить и русское слово, и русское искусство: а въ тебѣ я, сверхъ поэта, люблю еще

человѣка. И потому еще разъ искреннее спасибо (за присылку „оттисковъ“ стихотвореній) — да не остынетъ въ тебѣ этотъ жаръ, который съ каждымъ годомъ исчезаетъ въ нашихъ современникахъ. А что „ругали“ тебя, — это въ порядкѣ вещей: все это ничто иное, какъ пѣна, которую вѣтеръ гоняетъ съ одного берега на другой, противоположный (Письма, стран. 123—124)“.

Въ письмѣ отъ 13 января 1868 г. оттуда же Тургеневъ писалъ: „Ну, милый Як. Петр., на этотъ разъ ты отличился — всѣ три стихотворенія прелестны, и какъ говорится ни сучка, ни задоринки, за исключеніемъ одного стиха въ третьемъ, въ „Вихрь“, которое едва ли не нравится мнѣ больше всѣхъ, хоть написано, по твоимъ словамъ, по заказу, а именно стихъ: „Ротикъ дамъ для поцѣлуя“ коломъ застрялъ мнѣ въ горло — сдѣлай милость перемѣни его — приторенъ онъ больно и мизеренъ.“

Ты напрасно меня благодаришь за откровенность: еще-бы не быть откровеннымъ съ тобою, когда въ одномъ тебѣ въ наше время горитъ огонекъ священной поэзіи. Ни графа А. Толстаго, ни Майкова я не считаю! Фетъ выдохся до послѣдней степени; а о гг. Минаевыхъ и тому подобныхъ и рѣчи быть не можетъ, такъ какъ и самъ учитель ихъ, г. Некрасовъ — поэтъ съ нѣугой и штучками; пробовалъ я на дняхъ перечестъ его собраніе стихотвореній... нѣтъ! поэзія и не ночевала тутъ, и бросилъ я въ уголъ это жеванное панье-маше съ поливкой изъ острой водки. Ты одинъ можешь и долженъ писать стихи; конечно, твое положеніе тѣмъ тяжело, что, не обладая громаднымъ талантомъ, ты не въ состояннѣ наступить на горло нашей безтолковой публикѣ, и потому долженъ возиться во тьмѣ и холодѣ, рѣдко встрѣчая сочувствіе, сомнѣваясь въ себѣ и унывая; но ты можешь утѣшаться мыслью, что то, что ты сдѣлалъ и сдѣлаешь хорошаго — не умереть, и что если ты „поэтъ для немногихъ“, то эти многіе никогда не переведутся“. Заканчиваетъ это свое письмо Тургеневъ такъ: „Пожалуйста, пришли мнѣ стихи въ замѣну „ротика“. А что касается до литературной дѣятельности вообще, то должно каждому итти своею дорогою, спокойно и, по мѣрѣ возможности, зорко глядя кругомъ. Само дѣло покажетъ, правъ ли ты, а пока перечитывай пушкинскаго „Поэта“.“

Поэтъ не дорожи любовью народной...

Письмо отъ 22-го февраля того же года заканчивается совѣтомъ: „писать стихи, непременно стихи“ (стр. 134).

Въ письмѣ отъ 20 февраля 1869 года изъ Карлсруэ Тургеневъ ободрялъ Полонскаго: „Когда въ наше время всѣ болѣютъ самоувѣренностію, ты, напротивъ, страдаешь качествомъ противоположнымъ, и надо тебя полѣчить отъ этой болѣзни: „Довѣрай себѣ, сказалъ Гете, и другіе тебѣ довѣрятъ“.

Халанскій.

Празднованіе 50-лѣтія поэтической дѣятельности Полонскаго.

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, въ 1837 году, ученикъ рязанской гимназіи Я. П. Полонскій представитъ одно изъ своихъ первыхъ стихотвореній цесаревичу Александру Николаевичу, путешествовавшему тогда по Россіи съ своимъ наставникомъ знаменитымъ поэтомъ В. А. Жуковскимъ. 10-го апрѣля нынѣшняго года праздновалось 50-лѣтіе поэтической дѣятельности Я. П. Полонскаго. Мысль объ этомъ чествованіи всѣми уважаемаго и любимаго писателя возникла среди его друзей, и на нее сочувственно отозвались представители всѣхъ слоевъ и всѣхъ направленій русскаго общества. Поэзія Полонскаго, въ которой Тургеневъ указывалъ соединеніе „простодушной граціи, свободной образности языка и какой-то любезной правдивости впечатлѣній“, есть поэзія кроткая, мирная, гуманная, чуждая вражды. И вотъ почему праздникъ поэта былъ праздникомъ мира, праздникомъ истиннаго, вѣчнаго искусства, соединяющаго воедино людей различныхъ, и даже противоположныхъ взглядовъ. И хорошо, что онъ пришелся на Пасхѣ, въ одинъ изъ дней того свѣтлаго праздника, который, какъ вѣрилъ Гоголь, соединитъ насъ, русскихъ, нѣкогда въ одну братскую семью.

Возникшее среди близкихъ поэту лицъ намѣреніе праздновать его юбилей было организовано по почину литературнаго общества, носящаго названіе „Общества любителей сценическаго искусства“. Оно пригласило къ себѣ представителей печати, и собравшіеся поэты и журналисты разныхъ направленій и оттѣнковъ избрали комиссію, которой и было поручено устройство праздника. Въ комиссію вошли: А. Н. Май-

ковъ, А. Н. Плещеевъ, графъ А. А. Голенищевъ - Кутузовъ, П. А. Гайдебуровъ, П. Н. Исаковъ и Е. М. Гаршинъ. Дѣло было поставлено на такую почву, на которой не могло возникнуть никакихъ несогласій.

Празднество 10-го апрѣля началось утромъ, на квартирѣ Якова Петровича. Около 11 ч. утра, къ поэту пріѣхали Я. К. Гротъ и М. И. Сухомлиновъ, какъ депутаты отъ отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ. Академикъ Гротъ прочиталъ слѣдующій адресъ:

„Якову Петровичу Полонскому. Сорокъ слишкомъ лѣтъ тому назадъ, нашъ покойный товарищъ П. А. Плетневъ, привѣтствуя въ „Современникѣ“ ваше поэтическое дарованіе, выразилъ надежды, которыя оно тогда уже внушало. И вы блистательно оправдали эти надежды, постоянно расширяя область своего творчества, обогащая литературу болѣе и болѣе зрѣлыми и разнообразными произведеніями. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Академія Наукъ увѣнчала ихъ пушкинскою преміей, въ минувшемъ же году избрала васъ въ свои члены-корреспонденты. Нынѣ отдѣленіе русскаго языка и словесности радостно привѣтствуетъ васъ съ искреннимъ желаніемъ, чтобъ нестарѣющійся талантъ вашъ и послѣ исполнившагося сегодня пятидесятилѣтія прекрасной дѣятельности не переставалъ проявляться съ тѣмъ же блескомъ, съ тѣми же своеобразными чертами, которыя доставили вамъ уваженіе и сочувствіе русскаго общества. 10 апрѣля 1887 года. Слѣдуютъ подписи: *Я. Гротъ, А. Бычковъ, М. Сухомлиновъ*. Затѣмъ, на квартирѣ же, нѣсколько позже, около 1 часа дня, депутація отъ художественнаго кружка, собирающагося по понедѣльникамъ въ Солянѣ-Городѣ, кружка, въ которомъ Яковъ Петровичъ принимаетъ участіе, какъ художникъ, поднесла ему альбомъ изъ 25 или 26 рисунковъ работъ членовъ кружка. (Въ этомъ художественномъ обществѣ участвуютъ гг. Лагоріо, Каразинъ, Зичи, Кошелевъ, Забѣлло, Вилъе, Сверчковъ, Бобровъ, тайный совѣтникъ Мюссаръ, генераль-адъютантъ Купелевъ, генераль-лейтенантъ Барановъ, Колзаковъ и др.). Рисунки, почти всѣ, представляютъ иллюстраціи къ сочиненіямъ Я. П. Полонскаго; альбомъ помѣщенъ въ художественно-украшенномъ ящикѣ. При поднесеніи г. Каразинъ прочелъ слѣдующій адресъ:

„Глубокопочтиму Якову Петровичу Полонскому отъ ху-

дожниковъ и товарищей по кружку „Понедѣльникъ“ — низкій поклонъ и сердечное, задушевное спасибо!“

Въ 6 часовъ вечера, въ большой залѣ благороднаго собранія начался обѣдъ, на который собралось около 160 лицъ — писателей, художниковъ и вообще почитателей поэта. Здѣсь, равно какъ и въ произнесенныхъ и прочитанныхъ во время обѣда стихотвореніяхъ, рѣчахъ, письмахъ и телеграммахъ, ярко сказалось благородное свойство личности Я. П. Полонскаго, высокое свойство его поэзіи и характера — соединять въ мирномъ союзѣ людей разныхъ взглядовъ. Собравшіеся чествовать поэта принадлежали къ разнымъ слоямъ общества и къ самымъ различнымъ литературнымъ направленіямъ. Обѣдъ вышелъ торжественнымъ

За обѣдомъ А. Н. Плещеевъ прочелъ слѣдующій адресъ отъ литераторовъ, ученыхъ, художниковъ, артистовъ и почитателей Якова Петровича:

„Въ нынѣшнемъ году истекаетъ 50 лѣтъ вашего художественнаго творчества. Этотъ праздникъ вашей золотой свадьбы съ музой есть не только вашъ личный праздникъ, но и литературно-общественный. Поэтому, мы, писатели, ученые, журналисты, художники, артисты и, вообще, ваши почитатели, — рѣшились воспользоваться имъ, чтобы сойтись въ радостномъ для всѣхъ насъ торжествѣ и выразить вамъ чувство благодарности, уваженія и любви, которыя мы издавна къ вамъ питаемъ.

„Эти чувства вы внушили намъ не однимъ вашимъ талантомъ, но всею совокупностью вашихъ душевныхъ качествъ. Высоко цѣня ваше дарованіе и литературныя заслуги, мы еще болѣе цѣнимъ то, что въ васъ поэтъ и человѣкъ слиты воедино и что вы олицетворяете собою истиннаго художника.

„Такимъ художникомъ вы были уже въ ту пору, когда еще только занималась заря вашей поэзіи, восходившая въ блескѣ творческаго заката поэтовъ — геніевъ. Явившись однимъ изъ ихъ преемниковъ, къ которымъ перешла скрижаль искусства, вы оказались вполне достойнымъ выпавшей вамъ чести. Во все ваше долгое литературное служеніе, во всѣхъ своихъ художественныхъ созданіяхъ, составившихъ столь цѣнный вкладъ въ русскую литературу, вы высоко и крѣпко держали знамя искусства, не роняя его ни тогда, *когда событія жизни вовлекли васъ съ музой въ свой круго-*

воротъ, ни тогда, когда надъ русскимъ искусствомъ носился вихрь отрицанія. Вы мужественно охраняли свое знамя, прикрыли его новою славою, и сегодняшній вашъ праздникъ поэта-художника есть вмѣстѣ съ тѣмъ побѣдное торжество русскаго искусства. Но вамъ еще рано складывать оружіе. Богатство физическихъ и творческихъ силъ вашихъ, свѣжесть чувства, юность музы — все даетъ намъ право съ полною искренностью желать вамъ долгаго служенія русской поэзіи, и мы увѣрены, что къ этому нашему сердечному желанію горячо присоединится русское общество“.

А. Н. Плещеевъ закончилъ чтеніе провозглашеніемъ тоста за дорогого всѣмъ присутствовавшимъ виновника торжества. Нечего говорить, что тостъ былъ принятъ восторженно. Далѣе слѣдовало чтеніе А. Н. Майковымъ приведеннаго выше адреса Академіи Наукъ. Потомъ П. Н. Исаковъ прочелъ адресъ отъ литературнаго общества, въ которомъ Я. П. Полонскій принимаетъ живое участіе:

„С.-Петербургское общество любителей сценическаго искусства, нынѣ преобразованное въ литературно-драматическое общество, привѣтствуя васъ, знаменитаго русскаго писателя и своего дорогого почетнаго члена, въ день чествованія пятидесятилѣтія вашей литературной дѣятельности, выражаетъ вамъ особое уваженіе и особую любовь, какъ поэту и человѣку. Ваша кроткая и человѣчная поэзія всегда была чужда вражды, раздѣляющей людей и вела къ любви и примиренію. Вы, какъ человѣкъ, всегда соединяли вокругъ себя многихъ, соединяли людей разныхъ взглядовъ, сближая ихъ вашею примиряющею разногласія благородною духовною личностью. Наше общество, стремясь къ сближенію литературныхъ направленій, къ единенію писателей на почвѣ дружнаго, совмѣстнаго служенія литературѣ и искусству, высоко цѣнитъ ваше постоянное и сердечное участіе въ нашихъ собраніяхъ и трудахъ.

„Столь же горячо привѣтствуетъ васъ и драматическая школа нашего общества, которой дороги и близки ваши образцовыя произведенія. Дай Богъ, чтобъ еще долго, долго продолжалась ваша поэтическая дѣятельность на пользу и славу родной литературы и, смѣемъ прибавить, на пользу и славу нашего общества“.

Нѣсколько позже былъ прочитанъ (В. М. Гаршинимъ) еще

адресъ, сопровождавшій подарки, поднесенные поэту его друзьями. Эти подарки: хлѣбъ-соль на небольшомъ серебряномъ блюдѣ, серебряный лавровый вѣнокъ, прекрасная чернильница и серебряный сервизъ.

Кромѣ поднесенія адресовъ, юбиляра привѣтствовали стихами поэты современнаго ему и младшихъ поколѣній. Первое мѣсто среди стихотвореній принадлежитъ, конечно, прекрасному посланію друга и сверстника Я. П. Полонскаго, А. Н. Майкова:

Тому ужъ больше, чѣмъ полвѣка,
На разныхъ русскихъ широтахъ
Три мальчика, въ своихъ мечтахъ —
За высшій жребій человека
Считая чудный даръ стиховъ,
Имъ предались невозвратно.
Въ твореньяхъ старыхъ мастеровъ
Безсмертной Греціи и Рима
Они почуяли черты
Неизъяснимой красоты...
Бывало, нѣжный лучъ Авроры
Раскрытыхъ книгъ освѣтитъ горы
Румяныя ветхіе листы;
Они сидятъ — ловя намеки,
И ихъ восторгъ растеть, растеть
По мѣрѣ той, какъ трудъ идетъ,
И сквозь разбросанныя строки
Чудесный образъ возстаетъ.
И старики съ своихъ высотъ
На нихъ, казалось, взирали
И улыбались межъ собой,
И ихъ улыбкой ободряли.
Тѣ трое были — милый мой,
Ты понялъ? — Фетъ, да мы съ тобой.
Такъ отблескъ раннихъ впечатлѣній,
И тотъ же стиль и тотъ же вкусъ
Въ порывахъ первыхъ вдохновеній
Намъ уготовили союзъ.
Другъ друга мы вполне признали,
Почти на первыхъ же шагахъ,
И той же радостью въ сердцахъ
Успѣхъ другъ друга принимали...
Въ полустолѣтье жъ нашихъ музъ
И возгласимъ мы тостъ примѣрный
За поэтический нашъ вѣрный,
Нашъ добрый „Тройственный союзъ“.

Прочитанное съ обычнымъ поэту искусствомъ, одушевленнымъ, твердымъ голосомъ, это стихотвореніе вызвало всеобщій восторгъ, особенно, когда А. Н. Майковъ произнесъ стихи:

Тѣ трое были — милый мой,
Ты понялъ? — Фетъ да мы съ тобой...

и протянулъ Полонскому руку. Взволнованные и увлеченные слушатели требовали повторенія стиховъ.

Прекрасные стихи прочелъ кн. Д. Н. Цертелевъ:

Я. П. Полонскому.

Блаженъ во дни счастливые поэтъ,
Когда его восторженное слово
Кругомъ вездѣ рождаетъ жизнь и свѣтъ
И отозваться все ему готово.
Когда жъ во дни тяжелые, сквозь тьму,
Среди толпы чужой и безотвѣтной,
Проходитъ онъ одинъ — хвала ему,
Другимъ свѣтильникъ онъ несетъ явѣтнй!
Хвала ему, что дивнаго огня
Не погасилъ въ немъ холодъ и ненастье,
Что вѣрить онъ во тьмѣ сіянью дня
И среди злобы ждетъ любви и счастья!
Хвала ему, что твердъ онъ устоялъ
Во дни насмѣшекъ и гоненья
И красоты и правды не мѣнялъ
На славу жалкую мгновенья!

М. И. Писаревъ долженъ былъ прочесть цѣлый рядъ стихотвореній; время не позволило произнести всѣ ихъ — и пришлось ограничиться лишь нѣкоторыми. Написали стихотворенія въ честь Я. П. Полонскаго: Минаевъ, Фофановъ, Ивановъ-классикъ, О. О. Тютчевъ, Мартовъ, Минскій, Жуковский, Чумина, Гангелинъ, и др. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ стихотвореній встрѣчаются одушевленные строки. Стихотвореніе очень молодого писателя — Фофанова, начинается словами:

Зналъ я съ дѣтства музу — это
Муза нѣжная была,
Муза кроткаго поэта,
Муза мира, муза свѣта
И весенняго тепла.

.
И когда съ мечтою жадной
Этой музѣ я внималъ, —
Предо мною міръ отрадный,
Міръ чудесный возникалъ...
Въ немъ огни лампадъ келейныхъ,
Въ немъ лѣса и терема,
Въ немъ на елкахъ чудодѣйныхъ
Изъ алмазовъ бахрома.

Сочиняя свое стихотвореніе, г. Фофановъ видимо имѣлъ въ виду стихи самого Я. П. Полонскаго о Пушкинѣ, гдѣ поэтически перечисляются различные мотивы и предметъ творчества великаго художника. Подражаніе этому произведенію Полонскаго замѣтно и въ нѣкоторыхъ другихъ юбилейныхъ стихотвореніяхъ. Такъ г. Ивановъ-классикъ говоритъ о „пѣсняхъ“ Якова Петровича:

Въ нихъ восторгъ съ любовью чистой,
Царство холода и вьюгъ,
Проблескъ зорьки золотистой,
Благодатный свѣтлый югъ.
Въ нихъ — вся наша Русь родная,
Шумъ лѣсовъ, просторъ луговъ,
Ропотъ моря, ширь степная,
Склоны мирныхъ береговъ...

Нѣкоторые авторы стихотвореній справедливо указываютъ на то, что чествуемый поэтъ до старости сохранилъ душевную молодость, свѣжесть творчества. Стихи г. Минаева оканчиваются словами:

Полвѣка пѣлъ ты между нами,
Поэтъ любви и красоты,
И сохранилъ подъ сѣдинами
Всю прелесть дѣтской чистоты,
И свѣжесть раннихъ впечатлѣній,
И чуткость сердца... Сколько разъ
Ихъ возрождалъ твой добрый геній!
Такъ оставайся же среди насъ
Съ чломъ, сѣдинами покрытымъ,
Маститый юноша поэтъ,
Такимъ же „юношей — маститымъ“
Еще на много, много лѣтъ!

(Только не совсѣмъ здѣсь кстати настойчивое упоминаніе „сѣдинъ“, которыхъ у Я. П. Полонскаго мало.) То же о душевной „молодости“ поэта говорить и Чумина:

Вашей лиры волшебныя струны
Также свѣжи, отзывчивы, юны,
Духъ — такую же вѣрой согрѣтъ, —
Такъ позвольте же славы привѣта
Пожелать вамъ на многія лѣта,
Нашъ маститый, нашъ славный поэтъ!

Недурно начало стихотворенія г. Мартова, напоминающее одинъ изъ адресовъ:

Съ музой свадьба золотая
Нынче ждетъ тебя, поэтъ,
И на склонѣ славныхъ лѣтъ,
Намъ твой обликъ озаряя,
Золотой оставить слѣдъ.

Есть недурные стихи въ посланіи г. Гангелина, перечисляющимъ различные мотивы поэзіи Полонскаго и различныя ея настроенія: *

Твоя настала годовщина,
И наша скромная дружина
Горячій шлетъ тебѣ привѣтъ.
Въ нашъ вѣкъ продажный, въ вѣкъ холодный
Пусть твой голосъ благородный,
И неподкупный и свободный —
Зоветь изъ сумрака на свѣтъ.

Были произнесены еще (Лишинымъ и Фидлеромъ) переводы произведеній поэта на французскій и нѣмецкій языки.

За обѣдомъ же были прочитаны (П. А. Гайдебуровымъ) поздравительныя письма и телеграммы, полученныя въ этотъ день. Приводимъ письмо оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, К. П. Побѣдоносцева:

„Многоуважаемый Яковъ Петровичъ. Мнѣ пріятно въ нынѣшній день литературнаго Вашего юбилея присоединить мой голосъ къ многочисленному хору лицъ, привѣтствующихъ Васъ и желающихъ Вамъ и себѣ долгаго вѣка дальнѣйшей Вашей дѣятельности. Свидѣтельствую, что и мнѣ Вы доставили стихомъ Вашимъ много памятныхъ ощущеній. Къ самому раннему періоду моей молодости принадлежатъ мотивы, навѣянные Фетомъ, и первое чтеніе его „Вечеровъ и ночей“

живо въ моей памяти. Въ болѣе позднемъ періодѣ Ваша муза открылась мнѣ въ первый разъ стихами — „Пришли и стали тѣни ночи“, и съ тѣхъ поръ я веду съ нею близкое знакомство, за которое сердечно благодарю Васъ отъ души, желая Вамъ мирнаго житія, тихихъ радостей и частыхъ минутъ вдохновенія“.

Отсутствовавшій по болѣзни Д. В. Григоровичъ прислалъ на имя одного изъ участниковъ празднества (Л. В. Бертенсона) слѣдующее, проникнутое теплымъ чувствомъ, письмо:

„Зная, что Вы, — одинъ изъ близкихъ друзей Полонскаго, — навѣрное будете присутствовать на его юбилеѣ, обращаюсь къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбой: найдите удобную минуту и передайте ему мой сердечны привѣтъ. Онъ знаетъ, какъ я его люблю; въ теченіе нашей 40-лѣтней дружбы ему пора было въ этомъ убѣдиться. Онъ увѣренъ также, что только тяжкая болѣзнь могла помѣшать мнѣ участвовать въ сегодняшнемъ торжествѣ. Скажите ему только, что дружеское мое чувство къ нему вдвойнѣ сегодня удовлетворено: такое живое, общее сочувствіе къ Якову Петровичу выражаетъ на глаза мои не только оцѣнку литературной дѣятельности дорогаго юбиляра; но еще и оцѣнку гораздо болѣе важную: — оцѣнку его, какъ человѣка, оцѣнку той чистой и благородной души, которая, въ теченіе всей жизни ни себѣ и никому ни разу не измѣнила! Скажите ему еще, что я его трижды цѣлую и горячо обнимаю“.

Оба эти привѣтствія были встрѣчены громкими рукоплесканіями, равно какъ и письмо къ юбиляру директора частной гимназіи Я. Г. Гуревича. Г. Гуревичъ сдѣлалъ прекрасное, благое дѣло: учредилъ въ честь поэта стипендію въ своей гимназіи. Эта стипендія, носящая имя Полонскаго, будетъ замѣщаться, по указанію Якова Петровича, сыномъ одного изъ писателей. Изъ прочитанныхъ телеграммъ особенно замѣчательны: отъ комиссіи народныхъ чтеній въ С.-Петербургѣ, отъ М. Н. Каткова и отъ Славянскаго академическаго общества въ Лейпцигѣ.

Комиссія народныхъ чтеній, министромъ народнаго просвѣщенія учрежденная, привѣтствуетъ своего знаменитаго члена въ день пятидесятилѣтней годовщины его прекрасной дѣятельности.

„Комиссія дорогаго было участіе Якова Петровича въ ея

редакціонныхъ трудахъ и навсегда занесена въ ея лѣтопись произнесеніе имъ чтенія въ одной изъ народныхъ аудиторій.

„Направленіе комиссіи сближаетъ ее тѣсно съ поэтомъ, поставившимъ силу правды и вѣры главнымъ условіемъ спасенія Россіи, — когда онъ воззвалъ къ своей Музѣ, спутницѣ по полямъ и проселочнымъ дорогамъ:

Съ той поры, мужая сердцемъ,
Постигать я сталъ, о Муза,
Что съ тобой безъ этой вѣры
Нѣтъ законнаго союза“.

Прекрасно закончилъ свою телеграмму вдохновенными стихами Полонскаго М. Н. Катковъ:

„Горячо привѣтствую Якова Петровича въ день его юбилея, да будетъ этотъ день не завершеніемъ прекраснаго прошлаго, а началомъ новыхъ высшихъ откровеній для испытаннаго жизнью и окрѣпшаго духомъ таланта:

Для созерцающихъ очей
И для внимающаго слуха
Доступенъ тайный образъ духа
И внятень смыслъ его рѣчей,
Глаголь, въ пустынь вопіющій,
Неумолкаемо зовущій“.

Приводимъ и телеграмму Славянскаго академическаго общества:

„Полвѣка безъ шуму слѣдовали Вы своему призванію. Мѣнялись вкусы, искусство не разъ было предметомъ поруганія, а Вы неуклонно шли своею дорогой и оставались однимъ изъ немногихъ истинныхъ преемниковъ Пушкина, наслѣдникомъ его звучнаго стиха и глубокой поэтической мысли. Своею отзывчивостью на всѣ выдающіеся моменты русской жизни Вы сослужили великую службу дорогой намъ Россіи; своими произведеніями Вы обогатили сокровищницу русской поэзіи. Въ вашемъ лицѣ она празднуетъ сегодня одну изъ своихъ побѣдъ. Позвольте же и намъ издалека принять участіе въ празднованіи этой знаменательной побѣды!

Slavisch Akademischer Verein zu Leipzig“.

Затѣмъ были прочитаны телеграммы: отъ русскихъ галичанъ (изъ Москвы, подписанныя о. Наумовичемъ и др.),

отъ Императорской Московской оперной труппы, отъ Московской консерваторіи, отъ поэта гр. А. А. Голенищева-Кутузова (изъ Тверской губ.), отъ проф. И. К. Айвазовскаго, П. Д. Боборыкина, А. Шеллера, М. И. Семевскаго, А. Θ. Кони, проф. Безсонова и многихъ др. лицъ.

Произносились, наконецъ, за обѣдомъ и рѣчи; но ихъ, конечно, не могло быть много, по недостатку времени. Говорили проф. Вагнеръ и П. И. Вейнбергъ. Послѣдній прочелъ отрывокъ изъ своей статьи о юбиларѣ, напечатанной въ этотъ день въ „Новостяхъ“. Приводимъ изъ нея нѣсколько строкъ:

„Въ исторіи русской поэзіи Якову Петровичу Полонскому отведено навсегда очень почетное и очень выдающееся мѣсто, — какъ поэту, главнымъ образомъ, внутренняго міра человѣка и находящагося съ нимъ въ близкомъ, органическомъ сродствѣ — міра природы. Словами: „музыка души и музыка природы“, встрѣчающимися въ одномъ изъ лучшихъ стихотвореній его, какъ нельзя лучше и точнѣе опредѣляются и какъ нельзя полнѣе исчерпываются содержаніе и характеръ той стороны поэзіи г. Полонскаго, которая, по нашему мнѣнію, заслоняетъ всѣ остальные ея стороны и одна упрочиваетъ за авторомъ значеніе поэта въ истинномъ смыслѣ этого слова...

„Отдадимся вполнѣ одному чувству — свѣтлому сознанію, что въ наше далеко не поэтическое и не эстетическое время продолжаютъ существовать вдохновенные служители чистаго искусства, что наше отечество въ этомъ отношеніи не уступаетъ другимъ странамъ и что мы умѣемъ достойно чтить такихъ дѣателей“.

Убѣдили сказать нѣсколько словъ и Брандеса. Онъ отговаривался, вслѣдствіе незнакомства своего, по незнанію русскаго языка, съ сочиненіями Я. П. Полонскаго, но уступилъ настоятельнымъ просьбамъ — и съ честью вышелъ изъ затрудненія, въ которое его поставили. Онъ сказалъ о дружбѣ Полонскаго съ Тургеневымъ и отсюда вывелъ свое мнѣніе о достоинствахъ произведеній чествуемаго поэта. Восторженными аплодисментами было встрѣчено выраженіе знаменитаго гостя: „узнать русскую литературу значитъ удивляться ей“.

Послѣ краткой рѣчи Брандеса юбиларъ предложилъ тостъ за уважаемаго критика; этотъ тостъ былъ встрѣченъ, конечно, очень сочувственно, равно какъ и другой тостъ поэта: за русскую литературу и искусство.

Однимъ изъ участниковъ обѣда было провозглашено здравіе семейства поэта, его супруги, дочери и двухъ сыновей—гимназистовъ, присутствовавшихъ на торжествѣ.

Въ 9-мъ часу кончился обѣдъ, а къ 9-ти часамъ стали сѣзжаться не бывшіе на обѣдѣ знакомые поэта, его почитательницы и почитатели. Вскорѣ начался—художественный вечеръ. Его открылъ А. Г. Рубинштейнъ. На эстрадѣ около бюста Полонскаго былъ приготовленъ рояль, на которомъ знаменитый піанистъ исполнилъ свою фантазію на русскія пѣсни и сонату Бетховена. Его чудесная игра вызвала шумную овацію. На той же эстрадѣ пѣли: г-жа Меньшикова („Пѣснь цыганки“ Чайковского, „Розу“ Щуровскаго и „Русую головку“ Галкина) и г-жа Скальковская-Бертенсонъ (романсъ г. Давыдова и „Ночь“ г. Рубинштейна). Г. Галкинъ сыгралъ „Степь“ г. Иванова, а И. О. Горбуновъ произнесъ нѣсколько своихъ художественно-юмористическихъ разсказовъ. Пѣніе и музыка чередовались съ чтеніемъ и живыми картинами на сценѣ. Г-жи Дюжикова и Стрепетова читали произведенія Я. П. Полонскаго, на темы которыхъ были поставлены картины. Прекрасное пѣніе, игра и чтеніе всѣхъ этихъ артистовъ вызвали искреннее и глубокое сочувствіе слушателей.

Такимъ же сочувствіемъ собравшагося общества были встрѣчены три поэтическія живыя картины, поставленныя г. Карзиннымъ: „Поэтъ и Муза“, „Бѣда—проповѣдникъ“ и „Встрѣча кузнечика-музыканта съ Сильфидою“. Нельзя не назвать прекрасными какъ замыселъ и постановку этихъ картинъ, такъ и самый выборъ сюжетовъ для нихъ изъ многочисленныхъ поэтическихъ произведеній юбиляра.

По просьбѣ многихъ изъ присутствовавшихъ, А. Н. Майковъ, къ общему сердечному удовольствію, повторилъ (со сцены) чтеніе своего стихотворенія въ честь Якова Петровича.

Художественный вечеръ протянулся до полуночи, а затѣмъ начались танцы.

Въ теченіе шести часовъ (только на короткое время удаляясь для отдыха въ отведенную ему особую комнату) Яковъ Петровичъ Полонскій принималъ привѣтствія и поздравленія своихъ почитателей, сердечно благодаря за любовь къ нему. Въ половинѣ перваго онъ уѣхалъ домой.

Такъ справляло русское общество пятидесятилѣтній юбилей одного изъ симпатичнѣйшихъ своихъ поэтовъ, одного

изъ видныхъ писателей замѣчательнѣйшаго литературнаго періода, блистающаго многими славными именами. Одного, можетъ быть, недоставало въ этомъ празднествѣ, не было сдѣлано ни въ адресахъ, ни въ стихотвореніяхъ, ни въ рѣчахъ — полной оцѣнки поэтическаго творчества Якова Петровича, не было даже указано на индивидуальныя особенности, на оригинальныя черты его поэзіи. Это, конечно, недостатокъ существенный, о которомъ можно пожалѣть. Но, съ другой стороны, сдѣлать оцѣнку поэта скорѣе дѣло литературной критики, чѣмъ юбилейнаго торжества; а съ другой стороны — на этомъ торжествѣ и была указываема и сама собою выразилась одна изъ высокихъ чертъ поэтической личности Полонскаго — кроткій духъ любви и примиренія. Этотъ духъ и соединялъ воедино, на праздникъ уважаемаго писателя всѣхъ принадлежащихъ къ разнымъ слоямъ общества, къ разнымъ направленіямъ русской мысли и жизни. Онъ соединялъ ихъ во имя любви и уваженія къ высокому, чистому, свѣтлому, чуждому вражды и раздвоенія — искусству.

Незеленовъ.

Я. П. Полонскій (некрологъ).

Октября 18 1898 г. въ Петербургѣ, послѣ продолжительной болѣзни, скончался Яковъ Петровичъ Полонскій, одинъ изъ самыхъ видныхъ и популярныхъ поэтовъ нашихъ, чьи произведенія болѣе шестидесяти лѣтъ являлись истиннымъ украшеніемъ отечественной литературы. Слухи о болѣзни маститаго писателя уже циркулировали съ лѣта; наконецъ, они проникли въ печать, гдѣ и сообщалось о безвыходномъ положеніи больного, но какъ-то невольно не хотѣлось вѣрить, что жизни дорогого всѣмъ поэта грозитъ серьезная опасность, что роковой исходъ неизбеженъ, близокъ. Утреннія газеты 19-го октября разсѣяли всѣ сомнѣнія, всѣ упованія: печальное извѣстіе въ траурной рамкѣ кратко гласило, что уже не стало того, кого и какъ человекъ и какъ заслуженный представитель литературы такъ долго былъ вдохновеннымъ выразителемъ русской мысли и русскаго чувства.

Послѣ Полонскаго остается родинѣ обширное и цѣнное поэтическое наслѣдіе. Изъ числа послѣдняго наибольшей извѣстностью пользуются: поэмы — „Кузнечикъ-музыкантъ“, „Мими“, „Келіотъ“, „Ночь въ лѣтнемъ саду“, и др.; стихотворенія: „Солнце и мѣсяцъ“, „Смерть малютки“, „Пѣсня цыганки“, „Послѣдняя встрѣча“, „Старая няня“, „Роза“, „Степь“, „Волшебный мѣсяцъ“, „Колокольчикъ“, „За окномъ въ тѣни мелькаетъ“, „Затворница“ и др. Нѣкоторыя изъ этихъ произведеній переложены на музыку Рубинштейномъ, Ивановымъ, Чайковскимъ, Галкинымъ и др. и пользуется, въ качествѣ романсовъ, самую широкую извѣстностью въ публикѣ и даже народной массѣ, которая и о сю пору съ такою любовью распѣваетъ извѣстную пѣсню:

Въ одной знакомой улицѣ
Я помню старый домъ,
Съ высокой темной лѣстницей,
Съ завѣшаннымъ окномъ...

Многія изъ произведеній почившаго писателя вошли также въ хрестоматіи, и всѣ мы на зарѣ нашихъ дней съ любовью запоминали, наприимѣръ, наизусть — „Ночью въ колыбель младенца мѣсяцъ лучъ свой заронилъ“ и т. п. красивые образы и картины. Можно было бы даже въ настоящемъ краткомъ некрологѣ, который пишется, когда еще крышка гроба не совсѣмъ прикрыла отъ нашихъ взоровъ дорогіе останки, сказать многое, чѣмъ покойный и какъ добрый, и превосходный человѣкъ, и какъ талантливый художникъ, близокъ и дорогъ намъ; можно было бы сейчасъ же приступить къ характеристикѣ друга Майкова и Фета, блестящаго представителя пушкинскихъ завѣтовъ и поэзіи, можно было бы припомнить то многое, разнорѣчивое и разноголосое, что при жизни покойнаго такъ часто произносилось надъ его дѣятельностью въ видѣ „суда критики“. Но... мы предпочитаемъ это не дѣлать, не желая тревожить дорогой тѣни, не желая подымать въ настоящіе скорбные дни той пыли земли, которая такъ назойливо и часто докучала и при жизни незабвеннаго покойника, тревожила мирное и ясное теченіе его дней. Мнѣніе о себѣ, какъ поэтѣ, какъ выразителѣ душъ, чувствъ и настроеній родного народа, онъ считалъ наилучшимъ и наиболѣе вѣрнымъ своего друга и тонкаго знатока русской литературы, Н. Н. Страхова, сказавшаго про Полонскаго: „На-

правление у Полонскаго — есть. Это направление дѣйствительно не имѣетъ въ себѣ ничего рѣзкаго, узкаго, бросающагося въ глаза, но тѣмъ не менѣе оно есть. Это знаменитое направление, лучшимъ представителемъ котораго былъ Грановскій. Это — поклоненіе всему прекрасному и высокому, служеніе добру и красотѣ, любовь къ просвѣщенію и свободѣ, ненависть ко всякому насилию и мраку. По мѣсту духовнаго развитія, Полонскій принадлежитъ Москвѣ и Московскому университету сороковыхъ годовъ — и онъ до конца остается вѣренъ лучшимъ стремленіямъ тогдашней блестящей эпохи. Въ его стихахъ вы безпрестанно встрѣчаете теплое слово, обращенное къ свѣтлымъ идеаламъ, которыми тогда жила литература, и которые въ сущности никогда не должны въ ней умирать. Любовь къ человѣчеству, стремленіе къ свѣту науки, благоговѣніе передъ искусствомъ и передъ всѣми родами духовнаго величія — вотъ постоянныя черты поэзіи Полонскаго. Если онъ не былъ провозвѣстникомъ этихъ идей, то онъ всегда былъ ихъ вѣрнымъ поклонникомъ.

Эти слова, и по нашему мнѣнію, всего лучше опредѣляютъ Полонскаго, какъ поэта и какъ представителя опредѣленнаго поколѣнія людей, идеаламъ которыхъ онъ такъ вѣрно служилъ всю жизнь и во все теченіе своей литературной дѣятельности. Идеалистъ сороковыхъ годовъ, онъ смиренно шелъ своей жизненной дорогой, со взоромъ, непрестанно обращеннымъ къ небу, и съ словами на устахъ:

То въ темную бездну, то въ свѣтлую бездну,
Крутясь, шаръ земли погружаетъ меня:
Пытають, пытають мой разумъ и вѣру
То призраки ночи, то призраки дня.
Не вѣрю я мраку, не вѣрю я свѣту, —
Они — грезы духа, въ нихъ ложь и обманъ...
О, вѣчная правда, откройся поэту,
Отвѣй отъ него разноцвѣтный туманъ,
Чтобъ могъ онъ великій, въ сознаньи обмана,
Ничтожный, какъ всплескъ посреди океана,
Постичь, какъ сливаются вѣчность и мигъ,
И сердцемъ проникнуть въ святая святыхъ.

(Изъ „Истор. Вѣстника“ 1898 г. № 11.)

Поэтическая сфера музы Полонскаго.

Не подлежащія спору чисто художественныя достоинства поэзіи Я. П. Полонскаго въ связи съ общественнымъ характеромъ его творчества, съ идейнымъ содержаніемъ его произведеній возлагають на насъ пріятную и въ то же время нелегкую обязанность отозваться на выдающійся литературный фактъ, попытаться въ сжатомъ очеркѣ воспроизвести обликъ писателя, оцѣнить по достоинству его долговременную, неутомимую дѣятельность на поприщѣ служенія русской мысли и русскому слову.

Даже бѣглое ознакомленіе съ поэзіею Я. П. Полонскаго приводитъ къ заключенію, что мы имѣемъ дѣло съ писателемъ, чуждымъ всякой односторонней тенденціозности, во имя ли чистаго искусства, или подъ знаменемъ реализма въ поэзіи. Онъ не изгоняетъ изъ сферы своего творчества ни служенія идеалу красоты ни „проклятыхъ вопросовъ“, волнующихъ человѣчество; чуткость къ явленіямъ природы и къ фактамъ внутренняго духовнаго бытія соединяется въ поэтѣ съ не менѣ развитою воспріимчивостію къ событіямъ текущей міровой жизни. Чистый художникъ, улавливающій таинственный говоръ природы и обладающій необычайнымъ даромъ животворить нѣмое и бездушное (вспомнимъ хотя бы такіе перлы, какъ *Солнце и мѣсяцъ, Зимній путь, Статуя, Разсказъ волнъ, Посмотри, какая мила* и др.), надѣляющій человѣческими чувствами все живущее (*Соловьиная любовь, Орелъ и змѣя, Кузнецикъ-музыкантъ*), и въ то же время гражданинъ своей родной страны, привязанный къ ней всѣмъ своимъ существомъ, и гражданинъ міра, которому не чуждо ничто человѣческое, — таковъ Я. П. Полонскій въ зеркалѣ его разнообразной поэзіи. Упоеніе красотою и грустное раздумье, наслажденіе жизнью и безотрадное сомнѣніе, бодрые призывы и усталое разочарованіе, возвышенный лирическій тонъ и сатирическія выходки, грусть подъ маскою шутокъ, — все это, какъ въ калейдоскопѣ, чередуется въ произведеніяхъ нашего поэта и все одинаково служитъ къ освѣщенію его духовной личности.

Аммонъ.

Полонскій былъ поэтъ подлинный, несомнѣнный, одаренный способностію вдохновеннаго творчества, умѣньемъ создавать яркіе образы и будить ими мысль и чувство. У него не было того поэтическаго могущества, которое невольно покоряетъ себѣ чужую душу, ему не дано было „Глаголомъ жечь сердца людей“, но все же отъ сердца къ сердцу шла его задушевная рѣчь и умѣлъ онъ соединить гармонію стиха съ благородной мыслью, высокими идеалами и искреннимъ чувствомъ. Въ поэзіи онъ видѣлъ любовь къ природѣ и къ людямъ, къ истинѣ и добру, слышалъ голосъ Бога, зовущій къ правдѣ и единенію, къ высшему духовному свѣту; свою вѣру въ торжество правды онъ пронесъ невредимо чрезъ всю свою долгую жизнь, сквозь всѣ утраты и разочарованія, и почти наканунѣ смерти, измученный старостію и болѣзнью, все-таки говорилъ:

О предкахъ позабывъ, не помню о потомкахъ,
И еслибъ я, слѣпецъ, оглохъ,—
Мнѣ бъ и тогда мерцалъ, въ моихъ глухихъ потомкахъ,
Непостижимый, свѣтлый Богъ.

Дѣятельность Полонскаго продолжалась болѣе полвѣка, и его поэзія, въ болѣе или менѣе ясныхъ образахъ, отражала въ себѣ всѣ переливы умственной жизни за этотъ долгій періодъ времени, всѣ тѣ чувства и мысли, которыя волновали общество и на которыя поэтъ не могъ не отзываться своимъ чуткимъ сердцемъ. Вотъ какъ онъ самъ опредѣлялъ характеръ своей поэзіи:

Мое сердце — родникъ, моя пѣсня — волна,
Пропадая вдали, разливается...
Подъ грозой моя пѣсня какъ туча темна,
На зарѣ въ ней заря отражается.
Если жъ вдругъ вспыхнуть искры неожиданной любви
Или на сердцѣ горе накопится,
Въ лоно пѣсни моей льются слезы мои,
И волна уносить ихъ торопится.

Свою литературную дѣятельность Полонскій началъ въ одно время съ двумя другими поэтами, своими сверстниками и товарищами — Фетомъ и Майковымъ, и до конца оставался вѣренъ этому, какъ говорилъ одинъ изъ нихъ, „поэтическому тройственному союзу“. Всѣ три поэта воспитались на Пуш-

кингъ и Шиллеръ, развились подъ вліяніемъ того романтическаго духа, который вѣялъ въ нашей литературѣ 40-хъ годовъ, и усвоили тѣ взгляды на искусство и поэзію, какіе формулировались Бѣлинскимъ въ первой половинѣ его дѣятельности. Всѣ трое пустились въ путь съ восторженной вѣрой въ высокое званіе поэта, „рожденнаго для вдохновеній, для звуковъ сладкихъ и молитвъ“ и служеніе чистой красотѣ. Но въ то время, какъ Майковъ сосредоточился на поэтическомъ созерцаніи природы и на воспроизведеніи образовъ и идей античнаго міра, а впослѣдствіи — славянства, оставаясь въ своей поэзіи удаленнымъ отъ окружавшей его русской дѣйствительности, — въ то же время какъ Фетъ обратился въ восторженнаго пѣвца природы и любви, въ поэта личныхъ чувствъ и настроеній, Полонскій, какъ человѣкъ болѣе впечатлительный къ радостямъ и невзгодамъ окружающей жизни, не въ состояніи былъ уйти отъ нея на недоступныя простому смертному высоты поэтическихъ созерцаній. Муза Шиллера, на столѣтній юбилей котораго Полонскій написалъ одно изъ лучшихъ своихъ стихотвореній, была гораздо ближе и понятнѣе его душѣ, чѣмъ строгая, безстрастная муза „чистаго искусства“; дѣйствительность, съ ея мелочными и прозаическими подробностями, иногда даже противъ его воли вторгается въ его поэтическіе сны и своей неожиданной гримасой разрушаетъ цѣльность впечатлѣнія, нерѣдко обращая поэтическій образъ въ карикатуру... Понятно, что, при такомъ настроеніи Полонскій могъ въ послѣдствіи увлекаться поэзіей Гейне, и даже иногда подражать ему, что совсѣмъ было невозможно для Майкова и Фета. Впрочемъ, юморъ ему не давался, и тамъ, гдѣ онъ хотѣлъ быть юмористомъ, стихи его, обыкновенно отличающіеся теплотой и простотой, звучали чѣмъ-то холоднымъ и натянутымъ, искусственнымъ. Точно также чуждо было его натурѣ и негодованіе, та „святая злоба“, которая одушевляетъ сатирика: всякій разъ, когда онъ пытался настроить свою лиру на сатирическій ладъ, у него выливалась скорѣе элегія. Вообще, ему удавалось достигать большой поэтической высоты только тамъ, гдѣ онъ не ставилъ себѣ преднамѣренно никакихъ задачъ, не увлекался придуманной темой, а спокойно и просто отдавался непосредственному чувству и вдохновенію и шелъ туда, куда оно его вело. Онъ требовалъ для поэта полной свободы

и независимости отъ мнѣнія толпы, почти такъ же, какъ требовалъ этого Пушкинъ:

Сколько разъ твердила чернь поэту:
Ты, какъ вѣтеръ, не даешь плода,
Хлѣбныхъ зеренъ ты не сѣешь къ лѣту,
Жатвы не собираешь въ осень... Да,
Духъ поэта — вѣтеръ; но когда онъ вѣетъ,
Въ небѣ облака съ грозой плывутъ,
Потъ грозой тучнѣй родная нива зрѣетъ,
И цвѣты роскошнѣе цвѣтутъ.

„Молва мнѣ не судья, и я ей не слуга“, говоритъ онъ въ другомъ стихотвореніи. Этою самостоятельностью своихъ поэтическихъ вдохновеній и сужденій онъ свято дорожилъ и никогда не поступался.

Морозовъ.

„Поэтъ“ поэтическихъ произведеній Полонскаго вмѣсто пустыни или горныхъ высей — представленій Майкова — переносится то въ жизнь, въ слякоть жизни, на торжище жизни, то въ заоблачныя сферы, въ область идеаловъ, „въ царство небесное“, „въ рай“, гдѣ слышитъ пѣнье херувимской, „видитъ несмѣтное множество яркихъ свѣтилъ, міровъ лучезарныхъ“ (II, 146). Возвышенные идеалы ободряютъ и подкрѣпляютъ поэта и тогда, когда онъ „по торжищамъ влачить свой тяжелый крестъ“, и тогда, когда онъ „тащится по слякоти дорожной рядомъ съ прочими людьми, шагъ въ шагъ съ толпой“.

Другъ! писалъ Полонскій Лорану уже на склонѣ лѣтъ:

По слякоти дорожной	Съ неотзывчивой толпой,
Я бреду на склонѣ лѣтъ,	Страсти жаръ неутоленный,
Какъ бѣглецъ съ душой тревож-	Холодъ мысли непреклонной,
ной,	Жажду правды роковой
Какъ измученный поэтъ.	Я несу еще съ собой.
Плохо вижу я дорогу,	II, 357.
Но шагая рядомъ, въ ногу,	

Съ точки зрѣнія правды въ поэзіи теоретическій вопросъ объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности для Полонскаго не имѣетъ значенія: „Признаюсь вамъ, и по совѣсти, я рѣшительно не знаю, эстетикъ — я или не эстетикъ“ (Прозаич. цвѣты и проч., стран. 712). Писатель, а, стало-быть, и поэтъ, по образному выраженію Полонскаго,

есть нервъ великаго народа, волна моря — океана, а океанъ родная страна, родной народъ, въ данномъ случаѣ, Россія. Въ стихотвореніи „Письмо въ музѣ“ Полонскій сравниваетъ пѣсню, поэзію то съ барометромъ, то съ термометромъ:

Если пѣснь моя туманна,
Значить, жизнь еще туманнѣй;
Значить, тамъ и зги не видно,
Гдѣ былъ виденъ парусъ ранній.

Если пѣснь, какъ барометръ,
Вамъ не лжетъ на счетъ погоды,
Злитесь вы, зачѣмъ такъ вѣрять
Этотъ градусникъ свободы.

II. 105.

Отсюда — завѣтъ поэту:

Будь правды жаждущихъ невольнымъ отголоскомъ III, 6.

Отсюда — укоръ Полонскаго писателямъ, бывшимъ неискренними въ своихъ твореньяхъ:

Ваши пѣсни слободскія
Вы не разъ подогрѣвали
На огнѣ заемной мысли
И онѣ, признайся, лгали.

Эти градусники лгали
До того, что мы въ морозы
Параспашку выбѣгали !
Поглядѣть — растутъ ли розы?

II. 105.

Никто изъ современныхъ Полонскому, его товарищей по искусству, не выразилъ такъ образно и такъ ясно воззрѣній Тэна на поэта и отношенія его къ обществу.

Поэтъ, такимъ образомъ, является правдивымъ выразителемъ и чувствительнымъ показателемъ чувствъ и мыслей своихъ современниковъ; въ умѣннѣ выразить правдиво чувства современниковъ, въ указаніи идеаловъ заключается нравственная поддержка и опора страдающихъ отъ жизненныхъ отступленій отъ идеаловъ.

Отсюда задачи поэзіи: утоленіе жажды жаждущихъ,
обновленіе силъ ослабѣвающихъ:

Буду жажду утолять,

Ваши силы обновлять, II, 147;

раздѣль съ людьми душевнаго достоянья поэта:

Въ нашъ вѣкъ таковъ иной
поэтъ,—

И все, что жизнь ему ни шлетъ,
Онъ съ благодарностью беретъ.

Утративъ вѣру юныхъ лѣтъ,
Какъ нищій старецъ изнуренъ,
Духовной пищи просить онъ,

И душу дѣлитъ пополамъ
Съ такими жъ нищими, какъ
самъ. I, 179.

Майковъ въ своемъ стремленіи къ свободѣ безконечной, въ исканьи вѣчной правды и красоты, естественно, не всегда

могъ довольствоваться тѣмъ содержаніемъ, какое давала ему современная русская жизнь, русская исторія; онъ переносилъ свои поэтическіе интересы въ другія страны, къ другимъ народамъ, изображая въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ всемірно-историческіе факты величія человѣческаго духа, выразившіеся въ подвигахъ самопожертвованія, служенія возвышеннымъ идеаламъ любви, кротости, смиренія и друг. Содержаніе поэзіи Майкова отличается широтой симпатій поэта; въ этомъ отношеніи онъ ближе всѣхъ нашихъ поэтовъ, за исключеніемъ Жуковскаго, подходит къ Пушкину. Содержаніе поэзіи Полонскаго уже: оно тѣсно связано съ современной поэту русской жизнью. Самыя славянскія симпатіи Полонскаго, расширяя нѣсколько содержаніе его поэзіи въ область общеславянскихъ интересовъ, ограничиваются небольшимъ количествомъ поэтическихъ мотивовъ и отражаютъ славянскія симпатіи русскаго народа эпохи войны за освобожденіе южныхъ славянъ.

Называя себя „гражданиномъ“, „сыномъ времени“, Полонскій самъ указываетъ на тѣсную связь своей поэзіи со своей эпохой. Въ этомъ отношеніи онъ является, несомнѣнно, наиболѣе колоритнымъ и яркимъ выразителемъ чувствъ, стремленій и идеаловъ, одушевлявшихъ лучшихъ русскихъ дѣятелей періода великихъ реформъ, „вѣщимъ Баяномъ“ эпохи 40-хъ, 60-хъ и 70-хъ годовъ русской жизни текущаго вѣка.

Халанскій.

Любовь къ добру и истинѣ, вѣра въ законъ любви, добра и истины — основное идейное богатство поэзіи Полонскаго.

Оглядываясь въ позднѣйшіе годы на ранній періодъ своего творчества, Я. П. Полонскій выразительно подчеркиваетъ, что поэзія не служила ему для услажденія, не была развлеченіемъ отъ скуки, но отражала въ себѣ тревоги его духа:

Въ туманъ и холодъ, внемля стуку
Колесъ по мерзлой мостовой,
Тревоги духа, а не скуку
Дѣлилъ я съ музой молодой. (*Муза*, т. II, 123—124.)

Положимъ, мы здѣсь имѣемъ нѣсколько неожиданное противоположеніе. Поэзія, являющаяся результатомъ скуки, во-

обще плохая поэзія, и о ней едва ли стоит и говорить. Истинная поэзія всегда вытекаетъ изъ насущной потребности человѣческаго духа, но дѣло именно въ томъ, что не у всѣхъ духъ бываетъ *тревожный*, или, по крайней мѣрѣ, одинаково тревожный. Какъ бы то ни было, Я. П. Полонскій, по его собственному признанію, никогда не принадлежалъ къ разряду безмятежныхъ пѣвцовъ, замыкающихся отъ „тумана и холода“ окружающей жизни въ радужномъ мірѣ своихъ фантазій: со своею музою онъ дѣлилъ *бремя невести и жажду уйти въ пророческіе сны*, уловить въ будущемъ черты лучшаго строя жизни, опередить, *пересилить* медленно двигающееся впередъ время.

Ея <i>нервическаго плача</i>	Безсилья крикъ иль неудача
Я былъ свидѣлемъ не разъ, —	Людей, сочувствующихъ намъ,
Такъ <i>тяжела</i> была для насъ	По дѣвственнымъ ея чертамъ
Намъ жизнью данная задача!	Унылой тѣнью пробѣгала. (Ibid.).

Итакъ, это муза скорбящая, страждущая. Ея страданіе — результатъ любви и неизбежный ея спутникъ: безъ страданія нѣтъ любви, а безъ любви нѣтъ жизни духа. Для нашего поэта *любовь* и *страданіе* — синонимы *жизни*, — слѣдовательно и *поэзіи*, потому что поэзія, — тамъ гдѣ есть жизнь.

О Боже, Боже!	<i>Любить, — страдать, —</i>
Не Ты ль вѣшалъ,	<i>Страдать и жить —</i>
Когда мнѣ далъ	Одно и то же.
Живую душу:	(Т. I, 10—11.)

Не всѣ поэты смотрятъ такъ на свое призваніе: если всѣ сходятся въ томъ, что нѣтъ поэзіи безъ жизни въ истинномъ смыслѣ этого слова, а жизни нѣтъ безъ любви, то есть между ними счастливыцы, любовь которыхъ не знаетъ иного страданія, кромѣ чисто личнаго. Имъ, конечно, нельзя отказывать въ *жизни*, но это жизнь односторонняя, замкнутая: любовь къ природѣ и красотѣ не полна безъ любви къ человѣчеству.

Итакъ, любовь — основной законъ жизни и душа поэзіи: но одной любви и скорби, неопредѣленной и мало осмысленной, недостаточно для поэзіи. Музѣ порою бывала смѣшна юношеская печаль поэта, потому что

Ей мало скорбныхъ изліяній
Младой души, несущей крестъ

*Наивныхъ чувствъ и школьныхъ знаній; —
Она не терпитъ общихъ мнѣтъ.*

(Люблю, цѣню твои сомнѣнья, т. III, 7.)

Однако этотъ смѣхъ, *предвѣстникъ плача* (II, 124), горькій смѣхъ сквозь слезы, — ни разу не поссорилъ поэта съ его музою: она и до сего дня приходитъ тайно раздѣлять его тревоги, „*бодритъ* и учитъ презирать смѣхъ гаера и холодъ свѣта“ (ibid.). Почему же она бодритъ поэта? Потому что она обладаетъ завѣтнымъ талисманомъ, предохраняющимъ отъ безысходнаго пессимизма, талисманомъ, безъ котораго любовь вырождается въ жалкое, мучительное сознаніе безсилія или даже угасаетъ вовсе, уступая мѣсто ожесточенію. Этотъ талисманъ — *вѣра въ идеалъ*, являющаяся въ союзѣ съ любовью, основнымъ условіемъ здороваго поэтическаго творчества:

Безъ вѣры въ ясный идеалъ
Смѣшно ей было вдохновенье. (Ibid.)

Съ особенною ясностью этотъ идеалъ раскрывается въ стихотвореніи *Поэзія* (т. II, 35—37), къ которому мы еще обратимся, а пока отмѣтимъ лишь заключительныя строки одной строфы, какъ бы совмѣщающей въ себѣ суть всѣхъ остальныхъ:

Пока ты вѣришь въ непреложный
Законъ любви, добра и истины святой, —
Поэзія еще съ тобою, милый мой.

Вѣра въ законъ любви, конечно, немислима безъ любви, но не всегда является ея спутницею, а любовь, не укрѣпляемая вѣрою, какъ уже замѣчено, ненадежна. „Живой душѣ“ трудно выносить страданія: она знаетъ періоды слабости, — именно когда впадаетъ въ мучительное сомнѣніе и невѣріе — колеблется, утомляется и по временамъ алчетъ только „ничтожнаго покоя“, — ищетъ „забыться и заснуть“.

Но я ропталъ,
Когда страдалъ,
Я слезы лилъ,
Когда любилъ,
Негодовалъ,
Когда внималъ
Суду глупцовъ
Иль подлцовъ...

И утомленный,
Какъ полусонный,
Я былъ готовъ
Борьбѣ тревожной
Предпочитать
Покой ничтожный
Какъ багодать.

(Т. I, 10—11.)

Въ такія минуты упадка духа, ослабленія любви вѣра въ идеалъ приходитъ на помощь, и поэтъ ощущаетъ новый подъемъ духовныхъ силъ:

Прости!— И снова	И за страданья
Душа готова	Отца созданья
Страдать и жить,	Благодарить... (Ibid.)

Безъ вѣры въ идеалъ и въ возможность его торжества борьба, дѣятельность немыслима; безъ нея нѣтъ надежды на обновленіе міра, „лежащаго во злѣ“.

Та же самая муза, съ которою мы уже знакомы, внушала юному поэту, увлекавшемуся въ годы школьнаго ученія одами Горация и рѣчами Цицерона, любовь къ родной природѣ и къ преданіямъ родной старины и вновь настойчиво указывала на необходимость вѣры, такъ какъ

Нашу бѣдную Россію
Не *стихи* спасутъ, а *вера*
Въ Божій судъ или въ Мессію...
(*Письма къ музѣ*, п. 2-е, II, 108—114).

Далѣе, разъясняя поэту свое *profession de foi*, муза указываетъ на „трудовую силу правды“, какъ на вдохновительницу, имѣющую обновить тотъ міръ, въ которомъ

Славу добываютъ кровью,—
Міръ съ могущественной ложью
И съ *безсильною* любовью. (Ibid.)

Итакъ, еще разъ: любовь *безсильна* обновить міръ безъ вѣры въ силу правды; также бесплодна и поэзія, лишенная этого спасительнаго компаса. Завѣты музы падаютъ на добрую почву: поэтъ болѣе сердцемъ, чѣмъ головою, приходитъ къ выводу, что безъ животворящей вѣры поэзія едва ли можетъ существовать:

Съ той поры, *мужая сердцемъ*,
Постигать я сталъ, о муза,
Что съ тобой безъ этой вѣры
Нѣтъ законнаго союза... (Ibid.).

Таковъ лозунгъ поэзіи Я. П. Полонскаго — любовь къ добру и истинѣ и вѣра въ законъ любви, добра и истины. Пока человѣкъ, стоя передъ алтаремъ, видитъ свѣтъ въ правдѣ откровенія, а за собой тѣнь неправды, пока онъ ощущаетъ благоговѣйный трепетъ и молится съ *трудоу*, — поэзія съ нимъ.

Пока человекъ любить и вѣрить, онъ можетъ мечтать о славѣ и любви, въ немъ живетъ братское чувство къ страждущимъ, и онъ не погрязаетъ въ эгоизмѣ. Смѣлые замыслы, честное негодованіе, способность восторгаться „языкомъ идей“, находить отраду въ трудѣ, судъ — въ друзьяхъ, награду — въ любви, не страшиться честнаго боя съ врагами, — всѣ эти признаки жизни вытекаютъ изъ начала любви и вѣры: безъ нихъ нѣтъ жизни, — нѣтъ и поэзіи. Но вѣдь, скажутъ на это, остается еще одинъ источникъ поэзіи, безъ котораго она прямо невозможна: это — чувство изящнаго и вытекающая изъ него любовь къ природѣ. Я. П. Полонскій вполне признаетъ это, какъ мы еще увидимъ далѣе; но въ его глазахъ это чувство неразрывно связано съ любовью вообще: чьей душѣ говоритъ природа, тотъ отзывчивъ и на идеалы добра и истины, хотя бы это прямо и не выражалось въ его творчествѣ. Природа нѣма для черствой души; пѣвецъ природы и красоты, повидимому, равнодушный ко всему остальному, носитъ въ своей душѣ идеалъ, возвышающій его надъ зломъ и ложью (ст. *Вечерніе огни*, т. II, 326—327); онъ не боецъ, онъ смотритъ на землю съ олимпійскихъ высотъ, не вѣдаетъ, „житейскаго волненія“, — и это дѣлаетъ его поэзію одностороннею, но все же она пробуждаетъ мягкія, добрыя чувства и служитъ *правдѣ* (т. II, 88). Идеалъ красоты внѣшней неотдѣлимъ отъ идеала красоты высшей, духовной, какъ форма отъ содержанія. Въ этомъ сущность поэзіи „уединенія, темнаго лѣса и звѣзднаго свода“, въ этомъ и сущность наслажденія „красотою искусства“ (*Поэзія*). Отсутствіе вѣры въ идеалъ, хотя и смутный, парализуетъ любовь вообще, — и чувство красоты также теряетъ свое обаяніе надъ душою человека, какъ скоро въ ней умерли всѣ идеалы:

Когда же истина навѣкъ тебя покинетъ,
И торжествующій обманъ
На міръ страдающій со всѣхъ сторонъ надвинетъ
Свой ослѣпительный туманъ,
Когда замолкнетъ все въ душѣ твоей *трудолюбной*,
И ты повѣришь въ непреложный
Законъ неволи, зла и пошлости людской,
Поэзія тебя покинетъ, милый мой... (Т. II, 37.)

Конечно, пессимистическая вѣра въ непреложность закона *зла и пошлости*, признаніе прискорбнаго факта, само по себѣ

не означаетъ еще *примиренія* съ нимъ, но можетъ повлечь его за собою: во всякомъ случаѣ примиреніе со зломъ, сознательное или бессознательное, на практикѣ или въ теоріи, можетъ послѣдовать только на почвѣ признанія непоколебимой силы зла. Пессимизмъ безъ примиренія, при которомъ любовь или страдаетъ отъ полного безвѣрія, или обращается въ сплошную ненависть, можетъ еще создать мрачную поэзію отчаянія или озлобленія, отъ которой вѣетъ холодомъ смерти; но поэзіи нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ вступаетъ въ свои права пессимизмъ втораго рода, — равнодушный или, еще хуже, торжествующій, когда умираетъ не только вѣра въ идеаль, но и потребность въ этой вѣрѣ, другими словами, когда исчезаетъ любовь. Тогда именно замолкнетъ *все* въ душѣ, кромѣ низменныхъ побужденій, и человекъ или погрузится въ нравственную и умственную спячку, или усвоитъ принципъ homo hominī lupus. Поэтъ разумѣетъ, очевидно, этотъ второй видъ пессимизма, то состояніе духа, при которомъ нѣтъ уже мѣста никакимъ возвышеннымъ *тревогамъ*. Погруженіе въ тину можетъ быть и несознательнымъ или мало сознательнымъ, и тогда, конечно, нельзя называть его пессимизмомъ, но результатъ получится тотъ же самый — смерть поэзіи.

Таковы общія основы воззрѣнія Я. П. Полонскаго на тѣ условія, при которыхъ поэзія можетъ существовать и проявлять себя плодотворною силою. Можетъ показаться, что предъявляемые поэтомъ требованія нѣсколько строги: вѣра въ *ясный* идеаль есть удѣлъ сравнительно немногихъ, и едва ли вообще идеаль, представляющійся умственному взору человека въ недостигаемой дали, можетъ отличаться ясностью своихъ очертаній. „Грядущее — *туманъ*, въ *туманъ* — *идеалъ*“, — такъ заканчиваетъ Я. П. Полонскій свой стихотворный рассказъ *Неучъ* (т. IV, 408); мечты мчатся въ „*загадочную* даль, въ *туманъ* грядущихъ дней“ (*Кораблики*, т. II, 67). Важно, чтобы былъ на лицо идеаль, отвѣчающій лучшимъ побужденіямъ человѣческаго духа, идеаль любви и правды, братства и человѣчности вообще; большей ясности, конечно, нельзя и требовать. Вѣра также дается нелегко и постоянно борется съ сомнѣніями; но лишь бы было исканіе вѣры, лишь бы человекъ страдалъ отъ ея недостатка, жаждалъ выхода изъ окружающей тьмы къ свѣту, — и свѣточъ поэзіи

еще горить, хотя бы неровнымъ, мерцающимъ блескомъ. Самое выраженіе идеаловъ въ поэзіи можетъ быть не только положительное, но и отрицательное; наряду со „спокойнымъ“ искусствомъ, по выраженію Некрасова, существуетъ искусство мятежное, протестующее, проповѣдующее любовь „враждебнымъ словомъ отрицанья“; „гремящая лира“ и „Ювеналовъ бичъ“ одинаково служатъ дѣлу „пробужденія добрыхъ чувствъ“, и любовь можетъ выражаться въ ненависти ко злу, лишь бы только эта ненависть не заглушила самой любви подѣ влияніемъ духа отрицанія. У Я. П. Полонскаго мы находимъ характерное произведеніе, рисующее намъ образъ поэта-отрицателя („Блаженъ озлобленный поэтъ“, т. II, 157—158), написанное, очевидно, въ отвѣтъ на аналогичное стихотвореніе Некрасова („Блаженъ незлобивый поэтъ“), при чемъ, по нашему мнѣнію, въ этомъ отвѣтѣ слѣдуетъ видѣть не столько возраженіе, сколько указаніе на измѣнившійся характеръ эпохи и на измѣнившееся сообразно съ этимъ отношеніе общества къ поэзіи:

Блаженъ озлобленный поэтъ,
Будь онъ хоть нравственный калѣка,
Ему вѣнцы, ему привѣтъ
Дѣтей озлобленнаго вѣка.
Онъ, какъ титанъ, колеблетъ тьму,
Ища то выхода, то свѣта,—
Не людямъ вѣрить онъ — уму,
И отъ боговъ не ждетъ отвѣта.
Своимъ пророческимъ стихомъ
Тревожа сонъ мужей солидныхъ,
Онъ самъ страдаетъ подѣ ярмомъ
Противорѣчій очевидныхъ.

Несомнѣнно, что здѣсь нельзя говорить о полной ясности идеала, разѣ человѣкъ ищетъ выхода и свѣта и страдаетъ подѣ тяжестью очевидныхъ противорѣчій, которыхъ пока не умѣетъ примирить. Но это не уменьшаетъ цѣнности поэзіи, терзающейся сомнѣніями, какъ мы постарались показать, и какъ это явствуетъ изъ дальнѣйшихъ строкъ того же стихотворенія. Поэтъ вѣрить уму, который долженъ вывести его на ровный путь изъ *трущобы* противорѣчій, уяснить ему его отношеніе къ міру; вѣрить ли онъ въ умъ, какъ въ средство къ достиженію идеала, вѣрить ли вообще въ возможность этого достиженія, — это вопросъ другой. Но онъ

любитъ „всѣмъ пыломъ сердца своего“, и въ этой *любви* кроются „зародыши *идей*“, а въ идеяхъ — „выходъ изъ страданья“. Другими словами, беспощадно анализирующій *умъ*, которымъ руководится озлобленный поэтъ, не ограничивается одною разрушительною работою, но въ союзъ съ *любовью* приходитъ къ *идеямъ* положительнаго свойства, иначе — къ *идеалу*. Здѣсь не готовая *вѣра* въ идеалъ является исходною точкою вдохновенія, а именно любовь, первое условіе жизни, любовь, выражающаяся прежде всего въ *отрицаніи* и озлобленіи, любовь, безъ которой одинъ умъ свѣтитъ холоднымъ, не грѣющимъ свѣтомъ и едва ли въ состояніи указать выходъ изъ страданія. Любовь не можетъ дышать безъ стремленія къ *вѣрѣ* и, хотя не всегда приводитъ къ ней, но въ любви нѣтъ пути къ *вѣрѣ* и спасенію; въ этомъ смыслѣ мы понимаемъ слова нашего поэта, гласящія (въ томъ же стихотвореніи): „спасенье — въ силѣ *отрицанья*“. Мысль, развитая въ разбираемомъ нами произведеніи, заключаетъ въ себѣ нѣкоторую поправку къ приведенному выше утвержденію, что вдохновеніе смѣшно и незаконно безъ имѣющей на лицо *вѣры* въ ясный идеалъ, но не уничтожаетъ самаго положенія именно потому, что любовь немыслима безъ *исканія* *вѣры*; если же исканіе остается тщетнымъ, то вмѣсто выхода изъ страданія въ результатъ является или мрачное отчаяніе, или безсильное уныніе, или равнодушіе ко всему на свѣтѣ, — любовь умираетъ, и остается одна ненависть или безжизненный покой. Стало-быть, и поэзія, не приходящая къ идеалу, обречена на смерть и не можетъ расцвѣсть пышнымъ цвѣтомъ.

„*Любовью къ правдѣ* насъ веди!“ Таковъ завѣтъ Я. П. Полонскаго по адресу поэта-гражданина „съ душой наивной“ (*Поэту-гражданину*, т. II, 87—88). Если „озлобленный“ поэтъ не только блаженъ, но и „великъ“, то это *вѣрно* лишь при извѣстныхъ условіяхъ: его невольный крикъ долженъ быть *нашимъ* крикомъ; онъ „пьетъ изъ общей чаши“ со всѣмъ современнымъ человечествомъ, отравленъ съ общимъ ихъ ядомъ; его пороки — наши пороки. Онъ можетъ быть „нравственнымъ калѣкою“, но его отрицаніе должно дышать *силою*. Въ противоположность къ этому образу титана, колеблющаго тьму, властителя думъ общества, выразителя его скорбей, поэтъ выводитъ передъ нами пѣвца плачущаго и прокли-

нающаго, но не владѣющаго даромъ „глаголомъ жечь сердца людей“ или „ударять по сердцамъ съ *невѣдомою* силой“ своимъ выстраданнымъ стихомъ. Такой наивный поэтъ-гражданинъ напоминаетъ того молодого мечтателя, которому Лермонтовъ совѣтовалъ бояться вдохновенія, какъ язвы; точно также „толпа угрюмая“ идетъ своею дорогою, не отеликаясь на его призывный голосъ, отзываясь въ досужій часъ скорѣ на любовную пѣсенку, чѣмъ на проклятія и слезы его ропщущей музыки; „толпа-работница считаетъ каждый грошъ“ и не привыкнетъ къ поэтическимъ страданьямъ, привыкнувъ *иначе* страдать, — ясное дѣло, что толпа и человекъ, мнящій быть ея органомъ, чужды другъ другу. „Оставь напрасныя воззванья! *Не хныкай!*“ Съ такими словами обращается Я. П. Полонскій къ поэту-гражданину, мѣтко обозначая бессильно-слезливый тонъ его пѣснопѣній, и далѣе совѣтуетъ ему „въ цвѣты рядить страданья“ и вести любовью къ правдѣ, то-есть, все къ тому же спасительному маяку идеала, предохраняющему поэзію отъ крушенія.

Аммонъ.

**Заря истинной свободы — союзъ любви и знанія —
залогъ грядущаго совершенства, по ученію музы
Полонскаго.**

„Заря истинной свободы“, по опредѣленію Я. П. Полонскаго, есть *заря любви и пониманія*. Пониманіе дается знаніемъ; но одного знанія и основаннаго на немъ научнаго, *разумнаго* пониманія недостаточно для торжества свѣта: нужно еще пониманіе *сердечное*, основанное на *любви*.

Умъ смотреть тысячами глазъ,
Любовь глядитъ однимъ;
Но нѣтъ любви, — и гаснетъ жизнь,
И дни плывутъ, какъ дымъ...
(Изъ *Бурдильона*, т. II, 137.)

Наша „рознь“ имѣетъ два источника:

Не просвѣтила насъ *наука*,
Не озарила насъ *любовь*. (Т. II, 117.)

Мы уже видѣли, насколько сильно даетъ себя чувствовать взаимодействіе этихъ двухъ факторовъ, и неоднократно ихъ сопоставленіе выясняетъ намъ взглядъ Я. П. Полонскаго, по которому только союзъ знанія съ любовью является залогомъ грядущаго совершенства; ихъ усилія не должны быть разрознены. Любовь, не вооруженная знаніемъ, не въ силахъ будетъ устранить массы общечеловѣческихъ бѣдствій; знаніе внѣ союза съ любовью не породитъ самоотверженія, безъ котораго нѣтъ спасенія отъ зла.

Какъ высочайшій идеалъ,
Какъ истинный залогъ спасенія,—
Любовь и самоотверженіе
Христосъ народамъ завѣщалъ.
Въ тотъ день, когда мы облечемся
Душой въ нетлѣніе Христа,
Отъ черныхъ дѣлъ мы содрогнемся
И обновленные очнемся,—
И ложь не свяжетъ намъ уста.
(15 іюля 1888 года, т. II, 376—379.)

Воплощеніе міровой любви — Христосъ; поэтому

Жизнь безъ Христа — случайный сонъ. (Ibid.)

Только тому жизнь не кажется ложью, кто *разумомъ* свѣтеть — въ комъ *сердце горитъ* (т. II, 260).

„Царство науки“ не знаетъ предѣла, сказали нашъ поэтъ: небо полно тайнами, но человѣческій умъ въ мірѣ звѣздъ не опустилъ крылъ и, *не внемля вѣрѣ*, открылъ тяготѣніе свѣтилъ (*На кладбищѣ*, т. I, 237—239). Но полное открытіе тайнъ неба дается лишь тому, кто, не ограничиваясь холоднымъ умомъ, смотритъ на небо и сердечными очами и чувствуетъ надъ милліонами бездушныхъ свѣтилъ вѣяніе Духа разума и любви, слышитъ „Божію музыку“ (т. II, 260):

Тому лишь явны небеса,
Кто *и въ наукѣ* прозрѣваетъ
Невѣдомыя чудеса
И Бога въ нихъ подозрѣваетъ...
(15 іюля 1888 года.)

Любовь есть „совокупность совершенства“ по вѣчному апостольскому слову; поэтъ всѣмъ сердцемъ чувствуетъ эту истину: самъ Богъ открылъ ему, что „любить, страдать и

жить, — одно и то же; поэтому его первая молитва о ниспослании любви:

Отче наш! сына молением внимли!

Все — проникающую,

Все — созидющую,

Братскую дай намъ любовь на земли!

(Молитва, т. I, 269—270.)

Горе тому, чья любовь вырождается въ ожесточеніе!

Кто царства Божія въ душѣ своей не носитъ,

Тотъ никуда его съ собой не унесетъ,

И не получить онъ того, чего не просить,

И не дожидется онъ того, чего не ждать.

(Призракъ, т. III, 90—96.)

Такъ говоритъ поэту явившійся ему изъ-за могилы призракъ погибшаго человѣка, не бывшаго по природѣ злымъ, даже привлекавшаго многихъ добротою и „простодушными, сердечными рѣчами“, не лицемерившаго, но круто своротившаго на *чуждую душу его* дорогу, утратившаго вѣру и любовь: онъ хвалился жаждой крови и ждалъ хаоса, — „чтобы все съ хаоса началось“, — и погрузился по смерти въ тьму отчаянія и хаосъ, унесенный имъ въ душѣ; его страшно жжетъ глаголѣ Спасителя; онъ искалъ выхода къ Нему и не нашелъ, мучительно восклицая во тьмѣ:

. О, есть такіа сферы,

Гдѣ свѣтится любовь, и гдѣ Христосъ!...

Души, подобныя этому призраку, — искры, не освѣщающія вѣчной тьмы, видящія другъ друга и тоскующія, не любя; онѣ жаждутъ хотя бы только слезъ, но и тѣхъ нѣтъ за гробомъ. Одна надежда еще не угасла вполне: поэтъ говоритъ призраку, что, если онъ и былъ на землѣ живымъ пророкомъ, то вина въ этомъ падаетъ не только лично на него, но и на неумолимый рокъ, — и благодарный призракъ, готовясь исчезнуть, проситъ поэта быть о немъ живымъ свидѣтелемъ передъ Вышнимъ Судіей...

Итакъ, ожесточеніе, оскудѣніе любви есть духовная смерть. Поэтому вторая мольба поэта гласитъ:

Сыне, распятый во имя любви!

Ожесточаемое,

Оскудѣваемое

Сердце Ты въ насъ освѣжи, обнови! (Молитва.)

Въ томъ же духѣ звучитъ *Завѣтъ* нашего поэта, гдѣ между прочими строфами читаемъ:

За вѣкомъ, не спѣша, слѣди;
Къ его мольбамъ склоняя слухъ,
Не къ *разрушенію* свой духъ,
А къ *созиданію* веи. (*Завѣтъ*, т. II, 392—393.)

Разрушеніе, естественный результатъ ожесточенія, есть дѣло духовъ злобы и тьмы, исповѣдующихъ устами гетевского Мефистофеля абсолютное отрицаніе: *Denn Alles, was entsteht, ist werth, dass es zu Grunde geht, und besser wär's, dass Nichts entstünde.* Но и это еще не крайняя степень ожесточенія: Мефистофель называетъ себя частицей той силы, которая творитъ добро, желая, повидимому, зла; его разрушеніе — актъ пессимизма и представляется ему хорошимъ дѣломъ. Иное воззрѣніе мы находимъ у нашего поэта, — зло ради зла, разрушеніе на почвѣ одной ненависти къ свѣту и истинѣ. Обратимъ вниманіе на фантастическую сцену, вышедшую изъ-подъ пера Я. П. Полонскаго (*У Сатаны*, т. III, 451—481): Асмодей, представитель Сатаны на землѣ, поднимается къ чертогу своего повелителя, стоящему на развалинахъ потухшихъ и застывшихъ міровъ, посреди мрака и жгучаго холода; атмосфера Асмодея — дымъ отъ пожаровъ, испаренія крови и слезъ; онъ славитъ въ лицѣ Сатаны отрицаніе истины, разума и благодати, безконечное зло, *узаконенное* кромѣшнымъ мракомъ. Передъ низшими, подчиненными духами онъ излагаетъ свою программу кратко и неопредѣленно: „надо *кой-что* повалить, *кой-что* разрушить“; но его отчетъ передъ Сатаной гласитъ болѣе внушительно:

Царство на царство встаетъ,
Братъ руку заноситъ на брата,
Отъ произвола, клеветъ, нищеты и разврата
Полміра гнѣтъ.

Но Сатана не удовлетворенъ и этимъ половиннымъ успѣхомъ, такъ какъ „на половинѣ дьяволу съ Богомъ мириться не слѣдъ“. Асмодей подъ страхомъ адской кары долженъ принести ему довлѣдъ, что отъ земли не осталось ничего кромѣ смрада, хаоса и отчаянья,

Что, какъ свѣтильня безъ масла,
Разума пламя погасло...

Пламя разума должно погаснуть, потому что разумъ есть вѣрный факторъ добра, если не удаляется отъ началъ любви, а удалить его отъ этихъ началъ, направить его на ложную дорогу зла Асмодей можетъ, по его признанію, только на время: когда гаснетъ любовь, умъ хватается за софизмы, и даже ребенокъ ожесточается посреди явнаго зла. Но „извратить Божье дѣло, извести душу міра и умертвить его тѣло“ — задача нелегкая: любовь не гаснетъ вполнѣ, а только затемняется усиліями Асмодея, но затемняется всего успѣшнѣе тамъ, гдѣ „въ нѣдрахъ народа царствуетъ мнѣстическій мракъ невѣжества“, тогда какъ „божественный разумъ озаряетъ скорбный и бѣдственный путь человѣчества“ и въ концѣ концовъ приводитъ къ сознанію идеаловъ любви; не умирающихъ, но дремлющихъ во тьмѣ, — и зло начинаетъ откликаться добромъ: освобожденіе *умовъ* содѣйствуетъ и освобожденію *сердецъ*.

Люди (*сердца и умы*)
Освобождались
Изъ-подъ ферулы обычая.
Цѣну теряли отличія,
Нравы смягчались, —
Все выходило изъ *тьмы*.
Силою творчества,

Силою критики
И, такъ сказать, обаянія,
Неуловимаго,
Строилось зданіе
Лучшаго общества,
Лучшей политики,
Иначе — лучшаго самосознанія.

Такъ говоритъ Асмодей. Пока невѣжество массъ служить ему опорой, ему удастся исказить три идеала, выработанные и сформулированные въ передовыхъ умахъ, сдѣлать изъ нихъ „три урода“. Свобода, захмелѣвъ отъ чаши вина, поднесенной Асмодеемъ, обратилась въ тиранію, символъ которой — топоръ; изъ равенства вышло Прокрустово ложе: вмѣсто креста, символа любви, истинной уравнильницы, надъ головами поднялась гильотина, люди безсознательно стали губить другъ друга; гибель такъ успѣшно равняла ихъ, что равенство пало и было разрушено цезаризмомъ: наконецъ, и братство постигли по-своему тѣ, кого сильно „проняли“ рѣчи Асмодея. При этомъ онъ замѣчаетъ, что

Братство, — великое слово, —
Было не такъ уже ново,
Пастыри стада Христова
Въ мірѣ его разнесли,
И говорятъ, что кого-то спасли...

Спасли — ученіемъ любви, и это ученіе, разъ будучи по-сѣяно, не заглохло, но затемнилось на долгій рядъ вѣковъ „духомъ вражды и разъединенья“, который „держитъ міръ въ несправедливости и злѣ“, при чемъ зло питается невѣжествомъ, растеть и крѣпнеть во мракѣ ночи, *узаконяется имъ*.

Стало-быть, *любовь* тѣсно связанная со свѣтомъ *пониманія*, и для торжества любви, для охраны отъ гибельнаго ожесточенія нужно и торжество „божественнаго разума“, озаряющаго путь человѣчества. Изъ этого вѣрнаго сознанія вытекаетъ третья мольба поэта:

Духъ Святый! правды источникъ живой!

Дай силу страждущему!

Разуму жаждущему

Ты возжелѣнныя тайны открой!

(*Молитва*, т. I, 269—270.)

Ниспосланіе любви и просвѣщенія разума есть пробужденіе души, которая, проснувшись, ужаснется „мрака и зла, и неправды людей“. Поэтъ молить Всевышняго спасти обновленную человѣческую душу отъ всякихъ цѣпей лжи и зла. Далѣе: разъ душа пробудилась, человѣкъ встаетъ на гласъ Божій, но ему трудно преодолѣть твердыню лжи и вѣсности, почему заключительное моленіе призываетъ помощь свыше на то, чтобы „разбудить на святую борьбу“ цѣпенѣющую, коснѣющую въ лжи жизнь (*ibid.*).

Если разумъ есть даръ Духа, то очевидно, что никакія ухищренія царства тьмы не въ силахъ загасить этого свѣтильника: человѣчество, къ прискорбію Асмодея, „явно растеть“ при его свѣтѣ, и, когда Сатана въ гнѣвѣ восклицаетъ:

Тучи сгустить или бурю поднять!

Не заслонишь, такъ задуй!—

оказывается, что „съ двухъ сторонъ гаснеть,— съ трехъ загорается“. Асмодею и его приснымъ трудно становится ладить съ „проклятой наукою“; тщетно онъ отводитъ людямъ глаза, „выворачиваетъ старыя сказки на новый манеръ“: разумъ открываетъ всѣ его штуки и побиваетъ ихъ. Конечно, разумъ нерѣдко сбивается съ пути и отравляетъ душу; въ этомъ Сатана полагаетъ свое упованіе:

Разумъ анализа плодъ;

Кто жъ не найдетъ

Иду въ процессъ анализа?.

Отвѣтъ Асмодея многознаменателенъ: въ немъ выражается глубокая вѣра поэта въ неизбежное торжество истины и глубокая мысль о тѣхъ путяхъ, какими vincit veritas, а черезъ нее и добро:

Но до конца доведенный процессъ
Правдой становится,
Ложь раскрывается,
Благо беретъ перевѣсъ.

Истина страдаетъ, если процессъ анализа не доводится до конца по винѣ ли самихъ анализирующихъ, или по винѣ „слѣпой случайности“; недомолвка — вѣрнѣйшій путь къ искаженію и путаницѣ мыслей:

Стала свѣтомъ недосказанная ложь,
Недосказанная правда стала тьмой.

(Литературный врагъ, т. I, 419—421.)

„Злая ложь облекается въ сіяніе добра“, если ей противопоставляется не неподкупная сила истины, а „острый ножъ насилья“; тюрьма прикрываетъ лжеца, какъ щитомъ, и вѣнчаетъ его ореоломъ: люди склонны легче вѣровать „подъ музыку цѣпей всякой мысли, выходящей изъ тюрьмы“. Честный боецъ не можетъ обличать противника, замолкшаго по-неволѣ; мѣсто борьбы заступаетъ молчаніе, — и въ результатѣ:

„Нѣтъ борьбы, — и ничего не разберешь:
Мысли спутаны случайностью слѣпой“... (Ibid.).

Сатана, „его мракоподобіе“, именно на то и рассчитываетъ, что люди никогда не въ состояніи дойти до „конца процесса“ при ихъ духовной ограниченности и взаимной нетерпимости, но и тутъ отвѣтъ получается неутѣшительный:

Нити конецъ въ Безконечномъ теряется
Но за сію путеводную нить
Умъ человѣка хватается.
Пробоваль я обрывать, —
Не обрывается, тянется...
Ни инквизиторы, ни іезуиты,
Ни цензора, ни тюрьма
Не замедляютъ работы ума:
Всѣ эти средства избиты.

Значить, и Асмодей понемногу приходитъ къ выводу, что „для мысли, какъ для воздуха и свѣта, невозможно

выдумать заставъ“. Но у Сатаны остается еще одинъ ресурсъ — повальная глупость, то „разливанное море, откуда легко почерпнуть средства гасить и вязать“. Однако и этотъ устой начинаетъ колебаться: „толпа стала не такъ ужъ слѣпа“; природа начала кой-гдѣ открывать свои тайны. Правда, закрытая Изида, — образъ, вдохновившій вслѣдъ за Шиллеромъ и нашего поэта (*Передъ закрытой истиной*, т. I, 241—250), — не сняла еще покрывала съ чела и груди и, по злобно-циничному выраженію Сатаны, только даетъ людямъ нюхать грязныя ноги; но умъ разглядѣлъ, что по ногамъ можно узнать остальное, „и человѣкъ узнаетъ, узнаетъ, узнаетъ“, — даже Асмодея не оставляетъ въ покоѣ. Анализъ проникъ въ бездны ада, его служители растерялись, первый посолъ Сатаны на землѣ поникъ головою: „прогрессъ блага и правды въ народахъ взялъ надъ нимъ перевѣсъ“, — въ такомъ видѣ представляется разъяренному и напуганному Сатанѣ положеніе его дѣлъ. Однако, пока оно еще не такъ худо: жалкое, отрывочное знаніе людей еще не выше познанія духовъ; знамя невѣжества развѣвается еще такъ высоко, что строй разума нарушается даже въ *явно-развитыхъ* мозгахъ. Пользуясь этимъ, Асмодей ведетъ свою кампанію противъ разума, славы, нравственности, искусства, возбуждая ненависть массъ противъ всего, что возвышается надъ ними, разжигая кровожадныя инстинкты, — и вотъ практическій выводъ изъ его проповѣдей:

Кто терпѣливъ, тотъ не стоитъ свободы;

Гдѣ постепенность, — тамъ зло...

Крови своей не жалѣйте, народы!

Все начинай съ ничего!...

Эти вопли не остаются безъ отзыва: злоба откликается, являются на сцену „бульдози“, смѣшивающіе желаніе прогресса съ кровожадностью и находящіе, что Музы не лучше „дѣвокъ, что покоютъ у насъ въ трактирѣ“ (т. II, 102—103); послѣдній глупецъ лѣзетъ заправлять человѣчествомъ. Въ видахъ окончательнаго умопомраченія Асмодей плодитъ партіи (старая выдумка, — по замѣчанію Сатаны), „непримиримыя, неукротимыя“, готовыя безъ пощады рѣзать другъ друга. Ихъ трупы будутъ ступенями для возведенія новыхъ идоловъ, такъ какъ для слѣпцовъ и разрушителей нетрудно стряпать вождей цезарей, будто бы призванныхъ для водворенія мира.

и тишины. Этимъ путемъ Асмодей надѣется скоро довести всѣхъ до войны, позора и паденія: съ ярыми криками: „миръ и свобода!“ онъ намѣренъ выводить на сцену то тиранію народа, то деспотизмъ одного. Таковы адскіе планы. Ихъ осуществленіе до поры до времени облегчается тѣмъ, что порой сама наука вмѣстѣ съ толпой подчиняется духу зла, который съ помощью генія, жаднаго къ золоту, продаетъ ее на служеніе своимъ цѣлямъ. Онъ предлагаетъ почести, славу и награду за боевые снаряды „съ силой тройной“; снаряды изобрѣтены, и духъ разрушенія, украшенный лавровымъ вѣнкомъ, можетъ смѣло предстать предъ лицомъ Сатаны.

„Мѣдью, свинцомъ, чугуномъ
Мигомъ героевъ полки
Я разрываю въ куски
И города превращаю въ развалины.
Такъ сотни тысячъ людей
Разорены по командѣ моей
И миллионы людей опечалены“.

Итакъ, Сатана, какъ его понимаетъ Я. П. Полонскій, не есть „Люциферъ“, духъ обновленія и прогресса, воспѣтый въ гимнѣ Кардуччи: это — „просто величайшій негодяй“, какъ его характеризуетъ Салтыковъ, духъ вражды, ненависти и разрушенія, искажающій вѣчное „Божіе дѣло“ любви и разума, но не могущій исказить его въ конецъ и злобствующій отъ сознанія безсилія мрака передъ свѣтомъ. Онъ „не ждетъ отъ небесъ прощенья и мститъ небу на землѣ“, но „клеймо сомнѣнія на его челѣ“, „новыя слова, колеблющія рутину“, — эти атрибуты демонизма, вдохновляющіе Гёте и Байрона (II, 61—64), не связываются съ сатанинскимъ умомъ и сатанинскою гордостью въ поэзіи Я. П. Полонскаго.

Поэтъ вѣритъ въ „зарю грядущаго Божьяго дня“ (*На кораблѣ*, т. I, 261), вѣритъ, что „земной кумиръ окажется химерой, и небесная любовь сойдетъ сіять и грѣть въ міръ, гдѣ нѣкогда лилась людская кровь“ (*Вечерніе огни*, т. II, 326—327), что настанетъ когда-нибудь

Царство истинной славы, безъ дури,
Безъ обмана, безъ лѣни, безъ куколь,
Безъ звѣрей въ человѣческой шкурѣ (*Куклы*, т. V, 49).

Истинный девизъ человѣчества — „ессе homo“; но „быть человѣкомъ не легко“ (*Стансы*, т. II, 391). Люди должны *сдѣлаться* людьми: „звѣри“ никогда не достигнуть любви и мира, хотя бы и жаждали ихъ; звѣрь можетъ вѣрить лишь слѣпо, но слѣпая вѣра не одолеваетъ звѣрскаго инстинкта, законъ духа подавляется грубымъ закономъ природы, и только сила власти, страхъ передъ закономъ укрощаютъ звѣрскіе порывы, не даютъ звѣрямъ истребить другъ друга до конца (*Собаки*, т. V, 275—281). У жизни нѣтъ скачковъ, но медленный процессъ перерожденія, тѣмъ не менѣе, совершается неизмѣнно, ибо „вѣчность —

Въ очередь за звѣремъ ставить *человѣчность* (ibid.)—

и только ее одну спасетъ и сохранить (*Стансы*).

Одолѣетъ и обезоружитъ звѣря въ себѣ и въ другихъ только тотъ, кто безкорыстно служитъ людямъ; но такихъ немного, и, пока человѣкъ — единица между звѣрями, до тѣхъ поръ быть *цѣльнымъ* человѣкомъ — страшно. „Чтобъ итти за вѣкомъ —

Или съ нимъ бороться, надо быть титаномъ.
Чтобъ изъ состраданья прикоснуться къ ранамъ
Ближнихъ и сказать имъ: исцѣлитесь, братья!
И затѣмъ спокойно выносить проклятья,
Надо быть блаженнымъ. Участь человѣка
Чистаго — быть *жертвой звѣрскаго вѣка*.
Но гряди, счастливецъ! На словахъ, на дѣлѣ
Будь сотрудникъ Божій и въ согбенномъ тѣлѣ (*Собаки*).

Только человѣку даны образъ и подобіе Божіи; но, пока онъ не сброситъ съ себя звѣринаго образа, тщетны будутъ всѣ его стремленія къ свѣту изъ мрака. Мало однихъ благихъ порывовъ, мало и *слѣпой* вѣры въ идеи: человѣческое сознаніе и любовь, не знающая ни изъятій ни предубѣжденій, способная на *жертвы* — вотъ залогъ спасенія. Любовь, просвѣтленная божественнымъ разумомъ, и самоотверженіе — высочайшій идеалъ, завѣщанный Христомъ; „облеченіе души въ нетлѣніе Христа“ уничтожитъ въ *человѣкѣ* слѣды звѣря, сдѣлаетъ его *цѣльнымъ* человѣкомъ, возвратитъ ему искаженное подобіе Божіе.

Людямъ лишь дается Богомъ и природой
То, что вы зовете братствомъ и свободой;

Люди только чужды гнѣва и боязни,
Только имъ не нужны ни суды ни казни...

.....
Силу вѣчной правды и любви постигнуть
Только люди; только вѣра и усилъя
Пробиваться къ свѣту — придадутъ имъ крылья
Быть вездѣ, со всѣми: лишь они достигнуть
Цѣли — формамъ жизни дать то совершенство,
Что создастъ народамъ высшее блаженство
Знать, любить и вѣрить, и искать дорогу
Въ безднѣ безконечныхъ переходовъ къ Богу (ibid.).

Такова свѣтлая вѣра поэта въ человѣчество. Что это дѣйствительно вѣра, а не праздныя мечтанія, — видно уже изъ признаній самихъ представителей ада: пусть Асмодей похваляется, что „зло свои силы утроило“, и онъ довелъ до гибели многое множество душъ, окаменѣвшихъ въ злобѣ, — онъ же не можетъ скрыть, что человѣчество явно растетъ, вопреки его усиліямъ, и бѣсенокъ, встрѣчающій Асмодее на границахъ земной атмосферы, разсуждаетъ: „Положимъ, люди, даже иные народы — дрянъ, но человѣчество... О! это *характеръ*! Самъ сатана съ нимъ ничего не подѣлаетъ“ (т. III, 481). Этотъ „характеръ“ искушитель прочелъ уже во взорѣ соблазненной имъ Евы, когда мечталъ быть кумиромъ для смертныхъ и видѣлъ, что между нимъ и человѣческимъ родомъ легла навѣки „непримиримая вражда“ (*Въ потерянномъ раю*, т. II, 286—288).

Первобытный человѣкъ — „двуногій звѣрь“, — вѣрить чему-то смутно; безъ молитвъ, безъ алтарей и жертвоприношеній, но надъ землею носится вѣчный геній, ангелъ Господа, удѣлъ котораго — оберегать ее и „звать къ божественному свѣту того, кто свыше одаренъ“. Духъ-хранитель скорбно взываетъ къ Богу, указывая на полувзвѣрей, одаренныхъ душою, чующихъ одинъ запахъ добычи, неспособныхъ вѣрить и постигать Творца, непостижимаго для высшихъ существъ. Божій гласъ шлетъ на землю дочь Своей любви — *Фантазію*: она должна помочь ангелу.

„Пусть каждый вѣрить Мнѣ по мѣрѣ силъ, какъ можетъ“. Фантазія начинаетъ творить, и вся природа впервые говоритъ съ душою дикаря. Проходитъ вѣкъ, и снова духъ земли вопіетъ къ Всемогущему: Фантазія придала видъ уродливаго чудища бездушному камню, и дикари поклоняются

идолу, какъ Богу, приносятъ ему кровавыя жертвы. Ангель умоляетъ Господа отозвать Фантазію изъ міра, но Господь рѣшаетъ иначе: пусть Фантазія творить Его образъ по мѣрѣ ихъ дѣтскаго разумѣнія, хотя бы изъ камня:

Ихъ мысль въ зародышѣ,— у нихъ немного словъ...

.....

Но полу-звѣрь есть въ то же время

И полу-человѣкъ...

Лишь въ немъ иныхъ судебъ таится Божье сѣмя...

Вращеніе планетъ несетъ за вѣкомъ вѣкъ

И нанесетъ землѣ иныя наслоенія,

И возрастутъ иныя поколѣнія,

И, водворяя власть *любви и красоты*,

И *человѣчности*, Фантазія страданью

Дастъ высшій смыслъ и поведетъ

Отъ созерцанія къ міросозерцанью;

И воплотится духъ, и много разъ умретъ

И будетъ воскресать, и человѣкъ воздвигнетъ

Иной алтарь и Сушаго постигнетъ

Настолько же, *насколько—ты...*

(Фантазія, т. II, 444—452.)

Въ такой художественной формѣ поэтъ изображаетъ первый шагъ доисторическаго человѣчества къ познанію высшаго начала; исканіе дороги къ Богу есть вѣчное предназначеніе человѣческаго рода, и свыше возвѣщается, что это исканіе не останется тщетнымъ, и полузвѣрь станетъ тѣмъ, чѣмъ ему опредѣлено быть,—образомъ и подобіемъ Творца.

Однако всѣ эти свѣтлыя обѣтованія относятся къ неопредѣленно далекому будущему. Поэтъ — любимецъ фантазіи и можетъ на ея крыльяхъ подниматься „въ праведнымъ, въ царство небесное“, слышать, „какъ въ раю покоятъ Херувимскую“ (Въ степи, т. II, 146), можетъ провидѣть осуществленіе идеала человѣчности; въ умахъ массы Фантазія творитъ не съ такою силою, и цѣлыя вѣка потребны для водворенія власти любви и красоты въ человѣческихъ поколѣніяхъ. Поэтъ „бредитъ, какъ пророкъ“, и люди плохо вѣрятъ его вдохновеннымъ пророчествамъ, видятъ въ нихъ именно только одинъ бредъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не бредъ, не прекрасныя утопіи всѣ эти мечтанія о высшемъ блаженствѣ на землѣ, о цѣльномъ человѣчествѣ, которому чужды гнѣвъ и боязнь, для котораго не нужны ни суды ни казни?... Можетъ ли человѣкъ въ его животной оболочкѣ „облечься

Люди только чужды гнѣва и боязни,
Только имъ не нужны ни суды ни казни...

.....
Силу вѣчной правды и любви постигнуть
Только люди; только вѣра и усилъя
Пробиваться къ свѣту — придадутъ имъ крылья
Быть вездѣ, со всѣми: лишь они достигнуть
Цѣли — формамъ жизни дать то совершенство,
Что создастъ народамъ высшее блаженство
Знать, любить и вѣрить, и искать дорогу
Въ безднѣ безконечныхъ переходовъ къ Богу (ibid.).

Такова свѣтлая вѣра поэта въ человѣчество. Что это дѣйствительно вѣра, а не праздныя мечтанія, — видно уже изъ признаній самихъ представителей ада: пусть Асмодей похваляется, что „зло свои силы утроило“, и онъ довелъ до гибели многое множество душъ, окаменѣвшихъ въ злобѣ, — онъ же не можетъ скрыть, что человѣчество явно растетъ, вопреки его усиліямъ, и бѣсенокъ, встрѣчающій Асмодее на границахъ земной атмосферы, разсуждаетъ: „Положимъ, люди, даже иные народы — дрянъ, но человѣчество... О! это *характеръ*! Самъ сатана съ нимъ ничего не подѣляетъ“ (т. III, 481). Этотъ „характеръ“ искушитель прочелъ уже во взорѣ соблазненной имъ Евы, когда мечталъ быть кумиромъ для смертныхъ и видѣлъ, что между нимъ и человѣческимъ родомъ легла навѣки „непримиримая вражда“ (*Въ потерянномъ раю*, т. II, 286—288).

Первобытный человѣкъ — „двуногій звѣрь“, — вѣрить чему-то смутно, безъ молитвъ, безъ алтарей и жертвоприношеній, но надъ землею носится вѣчный геній, ангелъ Господа, удѣлъ котораго — оберегать ее и „звать къ божественному свѣту того, кто свѣше одаренъ“. Духъ-хранитель скорбно вызываетъ къ Богу, указывая на полузвѣрей, одаренныхъ душою, чующихъ одинъ запахъ добычи, неспособныхъ вѣрить и постигать Творца, непостижимаго для высшихъ существъ. Божій гласъ шлетъ на землю дочь Своей любви — *Фантазію*: она должна помочь ангелу.

„Пусть каждый вѣритъ Мнѣ по мѣрѣ силъ, какъ можетъ“. Фантазія начинаетъ творить, и вся природа впервые говоритъ съ душою дикаря. Проходитъ вѣкъ, и снова духъ земли вопіетъ къ Всемогущему: Фантазія придала видъ уродливаго чудища бездушному камню, и дикари поклоняются

идолу, какъ Богу, приносятъ ему кровавыя жертвы. Ангелъ умоляетъ Господа отозвать Фантазію изъ міра, но Господь рѣшаетъ иначе: пусть Фантазія творить Его образъ по мѣрѣ ихъ дѣтскаго разумѣнія, хотя бы изъ камня:

Ихъ мысль въ зародышѣ,— у нихъ немного словъ...

.....

Но полу-звѣрь есть въ то же время

И полу-человѣкъ...

Лишь въ немъ иныхъ судебъ таится Божье сѣмя...

Вращеніе планетъ несетъ за вѣкомъ вѣкъ

И нанесетъ землѣ иныя наслоенія,

И возрастутъ иныя поколѣнія,

И, водворяя власть *любви и красоты*,

И *человѣчности*, Фантазія страданью

Дастъ высшій смыслъ и поведетъ

Отъ созерцанія къ міросозерцанью;

И воплотится духъ, и много разъ умретъ

И будетъ воскресать, и человѣкъ воздвигнетъ

Иной алтарь и Сущаго постигнетъ

Настолько же, *насколько—ты...*

(Фантазія, т. II, 444—452.)

Въ такой художественной формѣ поэтъ изображаетъ первый шагъ доисторическаго человѣчества къ познанію высшаго начала; исканіе дороги къ Богу есть вѣчное предназначеніе человѣческаго рода, и свыше возвыщается, что это исканіе не останется тщетнымъ, и полузвѣрь станетъ тѣмъ, чѣмъ ему опредѣлено быть,—образомъ и подобіемъ Творца.

Однако всѣ эти свѣтлыя обѣтованія относятся къ неопредѣленно далекому будущему. Поэтъ — любимецъ фантазій и можетъ на ея крыльяхъ подниматься „къ праведнымъ, въ царство небесное“, слышать, „какъ въ раю поютъ Херувимскую“ (Въ степи, т. II, 146), можетъ провидѣть осуществленіе идеала человѣчности; въ умахъ массы Фантазія творитъ не съ такою силою, и цѣлѣе вѣка потребны для водворенія власти любви и красоты въ человѣческихъ поколѣніяхъ. Поэтъ „бредитъ, какъ пророкъ“, и люди плохо вѣрятъ его вдохновеннымъ пророчествамъ, видятъ въ нихъ именно только одинъ бредъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не бредъ, не прекрасныя утопіи всѣ эти мечтанія о высшемъ блаженствѣ на землѣ, о цѣльномъ человѣчествѣ, которому чужды гнѣвъ и боязнь, для котораго не нужны ни суды ни казни?... Можетъ ли человѣкъ въ его животной оболочкѣ „облечься

въ нетлѣніе Христа? "... Но пусть всѣ идеалы кажутся намъ утопіями: не мы будемъ упрекать поэта за его поэтический бредъ, вѣчный и необходимый для жизни и движенія впередъ не менѣе свѣта и воздуха, осмысленный бредъ по его собственному выраженію (*Старые и новые души*, т. II, 64). Если вся „жизнь есть сонъ“, то безъ этого бреда она представлялась бы непробуднымъ сномъ смерти; человѣчество безъ вѣры и надеждъ окаменѣло бы навѣки въ состояніи животнаго застоя. Моменты подъема духа рѣдки и потому особенно дороги: слишкомъ часто пророческій бредъ уступаетъ мѣсто грустному созерцанію дѣйствительности, и чуткій, впечатлительный „нервъ человѣчества“ легко могъ бы впасть въ безвыходное отчаяніе, будучи лишень дара своего ясно-видѣнія. По временамъ мечты объ идеальномъ общественномъ строѣ, о братствѣ людей, о наступленіи царства небснаго представляются ему самому большимъ бредомъ умалишеннаго (*Сумасшедшій*, т. I, 351—352) или празднымъ фантазироваціемъ на тему „не люблю,— не слушай“, фантазироваціемъ надъ которымъ ядовито подсмѣивается „мать-природа“ (*Фантазіи бѣднаго малаго*, т. I, 353—356). Поэтъ (особенно „озлобленный“) есть также „сынъ времени“ и хорошо знакомъ съ демономъ сомнѣнья; порою этотъ „злбный геній“ торжествуетъ, какъ это было съ Полежаевымъ, и не даромъ Я. П. Полонскій поставилъ извѣстные стихи этого поэта эпиграфомъ къ одному изъ своихъ раннихъ произведеній (*И я сынъ времени*, т. I, 50—52). У него былъ въ юности кумиръ, сіявшій ему, какъ божество, и поэтъ влился до гроба влачить его оковы: онъ мнилъ, что „рай возможенъ не въ небесахъ, а на землѣ“; отъ тяжелаго настоящаго онъ уходилъ душою въ „яркій блескъ надежды прежней“ или въ „идеалъ грядущихъ дней“. Но кумиръ развѣнчанъ, упалъ, разбитъ; его рабъ растопталъ его обломки и похоронилъ свои страданья въ себѣ „безъ любви, безъ упоенья“, буквально какъ Демонъ Лермонтова (*Кумиръ*, т. I, 46—47). Когда лукавый духъ сомнѣнья опрокинулъ молитвенный храмъ поэта и оставилъ его на жертву пагубнымъ мечтамъ, поэтъ, „страдая, проклиналъ и, отрицая Провидѣнье, какъ благодати ожидалъ послѣдняго ожесточенья“ (т. I, 50). Утомленіе отъ борьбы, какъ мы уже видѣли выше, побуждало поэта жаждать, какъ благодати, *ничтожнаго покоя* (т. I, 11);

здѣсь дальнѣйшая ступень душевнаго разлада: за утомленіемъ является сомнѣніе, ведущее къ отрицанію, и выходъ представляется уже не въ *покой*, а въ *ожесточеніи*:

Я долго кликалъ: гдѣ же ты,
Мой искушитель? Дай хоть руку!
Изъ этой мрачной пустоты
Неси хогь въ адъ!.. (Т. I, 51.)

Еще шагъ,— и гибель человѣка и поэзіи, торжество злобнаго генія,— совершилось бы; но результатъ получился иной.

Среди мятежныхъ думъ и мучительныхъ сомнѣній *шаткій умъ установился* и жаждетъ новыхъ откровеній,— процессъ анализа доведенъ до конца, ядъ уничтоженъ, и благо взяло перевѣсъ надъ зломъ.

И, если вновь, о демонъ мой,
Тебя нечаянно я встрѣчу,
Я на привѣтъ холодный твой
Безъ содроганія отвѣчу (ibid.).

Поэтъ снова гордъ, спокоенъ, могучъ; на развалинахъ разрушеннаго храма построены новый, необъятно великій; весь міръ открытъ очамъ возрожденнаго, онъ слышитъ гармонію вѣчнаго хора, недоступную для демона, подслушанную нѣкогда Пинеаромъ. Всѣ геніи земного міра наполняютъ храмъ поэта; онъ внемлетъ вѣковому голосу Гомера, Данте, Шекспира...

Теперь попробуй, демонъ мой,
Нарушить этотъ гимнъ святой,
Наполнить срадомъ это зданье.
О, нѣтъ! съ могуществомъ своимъ,
Безсильный, уходи къ другимъ
И разбивай одни преданья,
Остатки формъ безъ содержанья (ibid., 52).

Кто прошелъ сѣвось горнило испытаній и закалился въ немъ, тотъ имѣетъ право высказывать другимъ язвительныя истины въ родѣ слѣдующей:

А ты, что видѣлъ жизнь во снѣ,
И не насытился вполнѣ,
И не страдалъ святымъ страданьемъ!
Не потому ли осмѣять
Ты радъ любовь, святыню нашу,
Что самъ не въ силахъ приподнять
И смѣло выпить эту чашу? (Къ NN., т. I, 48—49.)

Такой мелкій „отрицатель“ кончить тѣмъ, что, затерянный въ толпѣ, протянетъ судьбѣ руку, и его голосъ постепенно замретъ „въ тревогѣ мелочныхъ заботъ“. Иное дѣло — тотъ, кто съ нестерпимою болью оторвалъ отъ сердца предметъ любимыхъ думъ, постепенно разрушалъ свои святыя убѣжденія и стоналъ на ихъ развалинахъ: пусть онъ пользуется грустнымъ правомъ „надменно презирать, негодовать и отрицать“, правомъ, купленнымъ дорогою цѣною:

И пусть ему съ тоской въ очахъ
Внимаетъ молодое племя!
Быть можетъ, въ злыхъ его рѣчахъ
Таится благъ грядущихъ сѣмя (ibid.).

Быть можетъ,— но не навѣрное: вопросъ въ томъ, разрѣшится ли зло добромъ, или одолѣетъ злой демонъ.

Но, если поэтъ и вышелъ побѣдителемъ изъ борьбы съ демономъ своихъ юныхъ лѣтъ, это еще не значитъ, что онъ навсегда огражденъ отъ приступовъ мучительной тоски и сомнѣнія. Асмодей трудится не даромъ: окружающій мракъ еще силенъ, и вѣра въ свѣтъ подвергается тяжкимъ испытаніямъ.

О вѣчная правда, откройся поэту!

Такъ молитъ поэтъ, стремясь „сердцемъ проникнуть въ святая святыхъ“; шаръ земли, крутясь, погружаетъ его то въ темную, то въ свѣтлую бездну, и призраки ночи и дня поочередно пытаются его разумъ и вѣру:

Не вѣрю я мраку, не вѣрю и свѣту:
Они грезы духа, въ нихъ ложь и обманъ (т. II, 344).

Итакъ, духъ грезить, духъ обманывается, — тотъ самый духъ, который „въ союзѣ съ наукой дерзаетъ слѣдить за путями кометъ, видѣть вихри на солнцѣ и лавы потоковъ подъ ногами“, духъ, не знающій „ни придѣла въ пространствѣ, ни грани въ вѣкахъ отдаленныхъ“ для смѣлыхъ полетовъ его пытливыхъ и вдохновенныхъ думъ.

Какая темница
Тебѣ помѣшаетъ носиться высоко,
Бесѣдовать съ Богомъ
И смерти на зло видѣть путь свой далеко?“

(„Я—чадо природы“, т. III, 77—78).

Все же полное познание „вѣчной правды“ не дано этому духу, и онъ въ своемъ полетѣ иногда теряетъ путь и „враждуетъ съ богами изъ-за мучительной мысли“; съ другой стороны, — духъ воленъ, какъ птица, а человекъ — „чадо природы, рабъ жизни, связанный роковою судьбой, и не можетъ *уматся* за своимъ духомъ, который поэтому мучитъ его, негодуя на его и свои цѣпи (ibid.), которыми скована вся жизнь; отсюда — тщетное негодование, отчаяніе и страхъ, сжимающіе душу (т. II, 285). „Я червь, — я Богъ“ — эпиграфъ къ стихотворенію „Я — чадо природы“, выражающій мысль о раздвоеніи человѣческаго существа, о вѣчной брани между землею и духомъ, по выраженію Кольцова. Подобно Іакову, поэтъ неустанно борется — не съ Богомъ, а съ Его землею природою, и чувствуетъ себя охромѣвшимъ въ этой борьбѣ. Природа „грубая мать“ или даже „мачеха“ (*Фантазіи бѣднаго малаго*, т. I, 356), съ дѣтства учила его страдать, била, отравляла кровь, распаляла мечты; она облачаетъ жизнь въ обманчивый покровъ, прячетъ шипы подъ розами, увлекаетъ вдаль и ставитъ бездушныхъ чучелъ на пути къ прекраснымъ идеаламъ, посылаетъ болѣзни и тяжкую, сонную лѣнь, чтобы ея сынъ изнемогъ и палъ. Но духъ все же порою торжествуетъ, и въ эти минуты борьба замѣняется покоемъ, и нашъ поэтъ ощущаетъ то же, что ощущалъ Лермонтовъ и всѣ поэтическія натуры:

Только въ минуты, когда
Духъ мой ликуетъ, вкушая побѣдный покой,
Я умиляюсь божественно-вѣчной ея красотой
И вижу Бога ея
Въ свѣжемъ дыханіи румянаго утра, въ тѣняхъ
Трепетной зелени, въ лунномъ мерцаніи, въ звѣздахъ...
И, предаваясь мечтамъ
Всепримиряющимъ, вижу въ ней *кроткую* мать,
Ту, что хромага Іакова въ домъ свой зоветъ отдыхать.

(*Хромой*, т. II, 121—122.)

Въ эти минуты, когда поэтъ „чувствуетъ сердцемъ Бога“, въ его рѣчахъ сквозитъ любовь (т. II, 285); но это только минуты, и затѣмъ кроткая мать снова становится грубою матерью. Болѣе того: при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что и кротость, и грубость природы — только продуктъ фантазіи поэта; въ дѣйствительности же природа глубоко равнодушна ко всему (помнимъ стихотвореніе въ прозѣ,

написанное на эту тему Тургеневымъ.) „Въ природѣ нѣтъ души“; „вселенная — броженіе силъ живыхъ, но *безсознательныхъ*, творящихъ, но *слѣпыхъ*“; „въ вѣчности нѣтъ цѣли“, — такъ говоритъ поэту голосъ вѣка (*Впкз*, т. I, 438). Правда, любовь, святая греза чужды природѣ, и она не дастъ того, что не дано ей самой. Поэтъ борется съ ея „глухой средой“, —

А ей не все-ль равно, что мракъ, что Божій свѣтъ,
Что зло, что благо, — и страдаю-ль я, иль нѣтъ?...

(*Монологъ*, т. III, 75—76.)

Только поэтическая фантазія одушевляетъ бездушную природу, даетъ ей цвѣтъ, звукъ, красоту, „досоздавая все“, чего ей не достаетъ: сама она бѣднѣе всѣхъ фантазій „бѣднаго малаго“. вмѣсто небесъ, въ которыя вѣрилъ поэтъ, оказываются одни „пылающіе комья“, „разрозненныхъ міровъ сплотившійся хаосъ“, несущійся надъ бездною вѣчности, куда все валится, какъ старый хламъ. Потокъ времени смываетъ все, и при созерцаніи этого торжества неумолимыхъ законовъ природы душою снова овладѣваетъ отчаяніе, и злой демонъ нашептываетъ свои рѣчи: „Поэтъ, ожесточись“. Но процессъ безпощаднаго анализа еще не конченъ, „сомнѣнья вновь кипятъ, умъ снова колобродитъ“ (*Впкз*): слѣпая природа не могла внушить поэту стремленія къ любви и правдѣ, и все же эти „грезы“ — фактъ, не подлежащій сомнѣнію. Откуда же онѣ? Очевидно, ихъ источникъ — свыше.

..... Но если вдохновеніе
И жажда истины, и этотъ самый вздохъ
Даны мнѣ не слѣпой природой, — живъ мой Богъ!
Онъ — тайна и глаголь, любовь и обновленіе,
Отрада немощныхъ и сила — сознать
Весь міръ такимъ, чтобъ пѣть — и лучшаго желать (*Ibid.*).

Къ этому источнику свѣта поэтъ обращаетъ свой взоръ, когда его подавляетъ мысль о ничтожествѣ и мимолетности всего сущаго, когда сознаніе собственнаго ничтожества говоритъ ему, что онъ не вѣченъ, что онъ лишь подобіе, мимолетное проявленіе всеильнаго *ничто*:

О Господи! верни мнѣ то,
Чего не покорить всеильное *ничто*, —
И вѣру, и любовь, и правду, и незлобье...
Верни мнѣ образъ Твой, верни Твое подобіе.

(*Ничто*, т. III, 97—98.)

И нѣтъ конца этой мучительной борьбѣ между вѣрою и сомнѣніемъ, приводящимъ къ отчаянью („скудная вѣра не отростила могучихъ крылъ“, *Стансы*, т. II, 391); свѣтлая бездна то и дѣло смѣняется темною, но свѣтъ все же мерцаетъ и во тьмѣ, которая не можетъ вполнѣ „объять“ его:

Есть неизмѣнное и вѣчное одно, —
Все то, чего и смерть не одолѣетъ; но
Сомнѣнье черное, какъ туча, наплываетъ,
И вѣчное едва *мерцаетъ*,
Отчаяньемъ зослонено.

Отчаяніе — врагъ истины, и поэтъ придаетъ его проклятію; оружіе противъ отчаянія — тѣ мечты, которыя представляются бредомъ холодному уму:

Кляни отчаянье! — Все, что тебя тревожитъ, —
Ничтожество и тлѣнъ. Ищи свой свѣтлый рай
Въ той истинѣ, что все на свѣтѣ превозможетъ...
Надъ страшной бездной *окрыльи*
Свои *мечты* и — не страдай...
(Гдѣ прежній твой восторгъ, т. III, 99—100.)

Мечтать приходится вдали отъ искушеній свѣта, наединѣ съ самимъ собою и съ природою: при этихъ условіяхъ поэтъ, *можетъ быть*, опять будетъ уповать на силу любви; среди свѣта онъ себя чувствуетъ „утлымъ челнокомъ въ волнахъ перекатнаго зла“ и не можетъ спастись отъ „*мятежныхъ сомнѣній*“ (т. III, 102—103). Но мы уже знаемъ, какъ трудно поэту изолировать себя отъ окружающаго *мира* („Одному изъ *усталыхъ*“), — и потому его духовный міръ *раздвоенъ*. Онъ слышитъ *два голоса* — голосъ разочарованія, твердящій, что „даръ для всѣхъ одинъ — покой могилы“, и что не стоитъ молить у Бога ни разума, ни силы, ни любви, — и *противорѣчащій* этому голосу „здраваго разсудка“ голосъ примиренія, не постигающій гнѣва и рѣчей отрицанія, вѣющій въ *мятежныя* сердца безмятежнымъ счастьемъ. Душу чловѣка, *объятую* мракомъ сомнѣнія, этотъ духъ мира видитъ лишь въ минуты просвѣтленія, но ему открыты тайны природы:

Все, что создано,—мнѣ ясно,
Темно все, что рождено... (*Два голоса*, т. I, 365—367.)

Но ни мрачный ни безмятежный квіэтизмъ не можетъ покоить себѣ поэта, и онъ, по его образному выраженію, сна-

ряжаетъ въ путь два кораблика — одинъ „въ прошедшее, на поиски людей, прославленныхъ молвой“, другой — „въ загадочную даль, въ туманъ грядущихъ дней“, гдѣ идеалъ братства и свободы, но людей еще нѣтъ. Первый корабль везетъ блѣдный рой тѣней съ ихъ борьбою, казнями, стопами, муками и „тяжкій грузъ идей“; другой — рой призраковъ, созданныхъ мечтою, „съ довольствомъ безъ рабовъ, съ утратами безъ слезъ, съ любовью безъ цѣпей“. Тѣни прошлаго отрицаютъ всѣ стремленія, объявляютъ, что „надежда — глупый сонъ“: призраки будущаго поютъ поэту, что у нихъ иная жизнь и иной законъ; пусть отжившіе плывутъ назадъ: „*былое* — глупый сонъ“ (*Кораблики*, т. II, 67—68). Гдѣ же истина? Чему вѣрить — тяжелому опыту прошлаго или отраднымъ мечтамъ?

При такомъ раздвоенномъ состояніи духа живо мыслящій и горячо чувствующій человѣкъ представляетъ собою смѣшеніе двухъ вѣковыхъ типовъ, созданныхъ гениемъ великихъ писателей:

Мы такъ же, какъ и ты, похожи на Гамлета;

Ты такъ же, какъ и мы, немножко Донъ-Кихотъ.

(*Послѣдній выводъ*, т. I, 213.)

Гамлетовская рефлексія связываетъ крылья поэзіи, отравляетъ своимъ сомнѣніемъ ея живой родникъ; ночью въ лѣсной глуши, лицомъ къ лицу съ природою, поэтъ идетъ и не слышитъ соловьиного пѣнія, не видитъ, какъ загораются звѣзды, а за нимъ, не отставая ни на шагъ, идетъ его двойникъ, его поэтическое я и жалуется поэту, что онъ, то-есть, его рефлектирующій духъ, мѣшаетъ ему видѣть и внимать ночной гармоніи (*Двойникъ*, т. I, 426—427). Не даромъ въ одномъ изъ своихъ стрихотвореній поэтъ говоритъ намъ, что муза давнымъ-давно уже не приходила къ нему; да и къ чему звать ее, къ чему „искать союза *усталого ума съ красавицей мечтой*“? Пѣсни, рождавшіяся отъ этого союза, блуждали безъ пріюта, какъ ниція; люди, внимавшіе имъ, или ушли изъ міра, или „дремотно ждутъ конца“, а родившіеся позже и идущіе „за призракомъ *давно потухшей въ насъ надежды*“, —

Они для насъ, а мы для нихъ невѣжды...

Но, пока еще люди идутъ за призракомъ надежды, поэзія не умерла: у нихъ есть свои пѣвцы, и усталый поэтъ вни-

масть имъ, радуется, что понимаетъ ихъ слезы, чуетъ въ ихъ сердцахъ тѣнь своей богини и молить ее благословить тотъ день, когда они сошлись на землѣ „для пѣсенъ бѣдныхъ, не побѣждаемыхъ, хотя и попобѣдныхъ“ („Томитъ безчувствіемъ болѣзненный покой“, т. II, 345—346). Но нѣтъ пѣвца для свѣта, если чернь слѣпа, не жаждетъ и не просить ничего, если свѣтъ равнодушенъ ко злу и носитъ свои оковы надменно, какъ трофей. Поэтъ, который долженъ быть „правды жаждущихъ невольнымъ отголоскомъ“, одинокъ среди „дикарей“, не просить у нихъ пощады и не зоветъ ихъ „въ скитію завѣта“ для совместнаго жертвоприношенія („По торжищамъ влача тяжелый крестъ поэта“, т. III, 6), замыкается одинъ въ своемъ храмѣ, даже готовъ въ минуту тяжкаго раздумья запретить его совсѣмъ, ощущая себя „среди хаоса“:

Отдамся ль творчеству въ минуты вдохновенья?

Къ поэзіи чутье утратилъ гордый вѣкъ:

Въ мишурной роскоши онъ ищетъ наслажденья,

Гордится пушками, — боится разоренья,

И первый врагъ его есть честный человѣкъ.

(Среди хаоса, т. I, 416—418.)

Что же дѣлать въ такое мрачное время? Поденный трудъ не подъ силу изнѣженнымъ рукамъ поэта; ожидать чудесъ нельзя безъ вѣры въ тайны неба; покоя нѣтъ внѣ могилы тамъ, „гдѣ правды нѣтъ еще, а вымыслы постылы“. Толкать сонливые умы на вѣрный слѣдъ, озаривъ свой разсудокъ наукою?...

Мой связанный языкъ, скажи, кого разбудить?

Невѣжество грозить и долго, долго будетъ

Грозить, со всѣхъ сторонъ загородивши свѣтъ (ibid.).

Такъ рефлексія шагъ за шагомъ разлагаетъ всѣ стремленія и обезсиливаетъ волю поэта: его мечты, въ которыхъ онъ видѣлъ якорь спасенія отъ страданій, теперь постылы ему, какъ *вымыслы*, которыхъ жизнь не оправдываетъ. Конечный выводъ: мы всѣ рабы слѣпой случайности, которая не творить, не мыслить, не любить, не видитъ насъ и губить, не жалѣя, — случайности, которую толпа зоветъ судьбою. Поэтъ не нуженъ, и, если эта слѣпая судьба повалитъ его, —

...Пусть толпа толкая

Другъ друга, топчетъ мой, ненужный ей вѣнокъ... (ibid.)

Зоркій глазъ, однако, подмѣтитъ, что и среди этого хаоса мелькаетъ еще кое-что, похожее на лучъ надежды: невѣжество *домо* будетъ грозить, но не вѣчно; толпа *домо* будетъ ловить впотѣмахъ случайность, но наступитъ же когда нибудь и свѣтъ; вымыслы постылы, потому что правды *еще* нѣтъ, но позволительно надѣяться на ея грядущее пришествіе тамъ, „гдѣ наши силы стремятся на просторъ и рвутся изъ пеленъ“ (ibid.). Пока это стремленіе не находитъ исхода, покоя, конечно, нѣтъ внѣ могилы; но будетъ время, когда силы и вырастутъ изъ своихъ пеленъ...

Какъ въ *Розни* (т. II, 115—218), такъ и въ приведенномъ только что стихотвореніи поэтъ клеймитъ собственно „злую современность“ (т. I, 382), „печально глядитъ на свое поколѣніе“; ему тяжело дышать въ атмосферѣ, лишенной свѣта, и не видѣть проблесковъ зари, независимо отъ вопроса о томъ, наступитъ ли эта заря вообще. Нельзя ожидать ея скоро, — и этого достаточно для того, чтобы муза считала себя въ данное время лишнею, ни для кого ненужною:

Не жди ты меня,
Не кличь! не зови меня музою! — Нѣтъ,
На закатъ тревожнаго дня
Я пѣть не могу, — я устала, поэтъ!
(Жалобы музы, т. I, 443—452.)

На каждомъ шагу муза встрѣчаетъ озлобленныхъ, бѣдныхъ, изматыхъ судьбой, идущихъ *порознь* изъ сумрака въ мглу, — „отъ извѣстнаго зла къ неизвѣстному злу“, не ищущихъ путеводной звѣзды; факель поэзіи для нихъ ненуженъ. Муза бродила посреди трудовой толпы въ селѣ и не могла помочь пахарю слабою рукой, а ея пѣнія онъ не хотѣлъ слушать и пѣлъ свою степную пѣсню, которой сама муза невольно заслушалась. Угрюмый городской бѣднякъ не видитъ „на вытертый грошъ“ пользы отъ пѣсенъ, которыя могутъ утѣшить, но не могутъ помочь, зовутъ къ свѣту, но не даютъ земныхъ благъ. „Пусть уши богатыхъ *ласкаетъ* твой стихъ!“ Но и богачъ гонитъ прочь бѣдно одѣтую музу, плачущую о бѣдныхъ, съ ея горькими совѣтами; пускай бѣдняка *развращаетъ* твой стихъ!“. Падшая преступница въ больницѣ не вѣритъ *ирезамъ* музы, утѣшающей ее, какъ няня, своей пѣсней, а для виновника паденія несчастной, для „мѣднаго *дба*“ горькій упрекъ музы — ни почему (хлестать по извѣст-

нымъ головамъ бичемъ сатиры — то же, что „пахучими цвѣтами бить по обугленнымъ столбамъ“. — (*Врагамъ правды*, т. II, 17). Въ темницѣ фанатикъ, добрякъ по природѣ, но сбившійся съ дороги любви и мечтающій объ обновленіи міра при помощи грандіознаго кровопролитія, приглашаетъ музу „провалиться“; если она не раздѣляетъ его вѣрованій; но она не можетъ вѣрить въ „новое чудо“, что „терны и розы, политые кровью, взойдутъ безъ шиповъ“, а провалиться хотя бы и рада, но не знаетъ, какъ это сдѣлать.

Наконецъ, уходя отъ всѣхъ этихъ живыхъ людей, „суетящихся, плачущихъ, глухихъ и злыхъ“, думая о вѣчной, творящей любви, муза натывается на окровавленный трупъ молодого бойца и на его застывшихъ чертахъ видитъ выраженіе безконечной вражды, пережившей самую смерть, и затѣмъ присутствуетъ при страшной картинѣ сраженія. Вражда, „царица на этихъ поляхъ“, гонитъ музу, провозглашая:

Во имя грядущаго льется здѣсь кровь;
Здѣсь нѣтъ настоящаго, — къ чорту любовь!!

Гдѣ же, спрашивается, та гармонія мысли и силъ, живительный свѣтъ, — все, чему мечтатель-поэтъ научилъ вѣрить свою музу?

Куда я пойду теперь? темень мой путь...
Кличь музу юную, — меня позабудь!

Самъ богъ поэзіи не узналъ бы утомленной музы, и его восторгъ былъ бы для нея смѣшонъ. Муза, сознавая, что она ненужна никому, сняла вѣнокъ съ своего чела и все позабыла,

...не знаю, о чемъ
Бесѣдуютъ звѣзды въ туманѣ ночномъ,
И точно ли жаждутъ упиться росой
Цвѣты полевые въ полуденный зной...
Не знаю, о чемъ волны моря шумятъ,
О чемъ грезятъ сосны, когда онѣ спятъ,
Чей голосъ шумитъ надъ рѣкой,
Что думаетъ роза весной,
Когда ей во мракѣ поетъ соловей, —
И даже не знаю, поетъ ли онъ ей (ibid.).

Къ такому отрицательному взгляду на поэзію приводитъ поэтъ созерцаніе анти-человѣчной, слѣдовательно, и анти-

поэтической дѣятельности. Зло и добро до того перемѣшалось въ нашъ „чудный вѣкъ“, что поэтъ уже перестаетъ различать ихъ, и его бродящія мысли тщетно озаряютъ темный путь жизни. Отдохнуть не на чемъ, и запоздалое сожалѣніе не можетъ вернуть „жизнь къ ея началамъ“, не воскресить идеаловъ, созданныхъ въ молодые годы:

И къ чему!... *Великодушный бредъ*

Никого еще не спасъ отъ золъ и бѣдъ.

(*Подслушанныя думы*, т. III, 111—113.)

Тотъ же безотрадный выводъ, къ какому приходитъ страждущій душою художникъ Рябининъ въ мастерскомъ очеркѣ Гаршина. Но вѣдь поэтъ же, „какъ титанъ, колеблеть тьму“ своимъ словомъ? Таково его призваніе, въ этомъ его идеалъ: но не всякому даны титаническія силы, да и „власть тьмы“ настолько сильна, что иной разъ и у титана опускаются руки, тѣмъ болѣе, что „чадо природы“, хромое отъ борьбы съ нею, если и можетъ быть титаномъ, то не всегда. „Это ли не мракъ и не хаосъ?“ — восклицаетъ поэтъ, живущій „посреди разнузданныхъ стихій“, слышащій отъ людей такіа рѣчи, какъ: „мало ли чему училъ Христосъ!?“ Невѣріе не пугаетъ, вѣра не умиляетъ, — кто же въ силахъ разогнать эту тьму? Развѣ лишь всемогущее „да будетъ свѣтъ!“ Остается ждать чуда и призывать его:

Боже! Что, коли надъ нами снова

Пронесется творческое слово!? (Ibid.)

Земля, „скопище лжи“, точно замкнулась въ грозныя тучи; хаосъ замѣшался въ умы, опять разрастается *первобытная дичь*, требующая крови и слезъ. Источники вѣчной любви, жажда видѣть всѣхъ счастливыми, вѣра въ людей, — гдѣ это все? Встававшая заря, проснувшаяся душа — все это были только призраки фантазій; взойдетъ ли заря на самомъ дѣлѣ, или воцарится навсегда безпросвѣтный мракъ?

Если погаснетъ священный огонь, —

Что впереди? тьма бездонная...

(*Тяжелая минута*, т. II, 141—142).

Но огонь, какъ мы уже знаемъ, не гаснетъ вполнѣ, и невыносимо тяжелая минута можетъ, по крайней мѣрѣ, смѣ-

ниться радостью, также минутною; надежда и спасение — опять-таки въ *мечтах*:

Можетъ быть, эта минута пройдетъ,
Можетъ быть, завтра жъ попутная
Звѣздочка лучъ свой уронить, — сойдетъ
Въ душу хоть *радость минутная*.
Радъ буду встрѣтить я гостью-*мечтѣ*
И принести ей раскаянье
За ненавистную мнѣ слѣпоту
И за минуту отчаянья... (Ibid.)

Мы видимъ, что поэтъ вѣренъ себѣ: чтобы не страдать, онъ старается „окрылить свои мечты надъ страшной бездной“; но тутъ же слышится голосъ сомнѣнія, — *можетъ быть*, хоть на минуту явится гостя-мечта. Страданіе на время затихнетъ, но надолго ли? Поэтъ „клянеть отчаянье“, но рефлексія колеблетъ его вѣру въ „одно неизмѣнное и вѣчное“, чего не одолѣетъ смерть.

При такомъ настроеніи поэзія обращается въ болѣзненный крикъ или замолкаетъ вовсе. Жизнь заставляетъ поэта переживать немало тяжелыхъ минутъ, и онъ поочередно испытываетъ то спокойное по внѣшности чувство сосредоточенной грусти, то острое, негодующее страданіе: вспомнимъ, кромѣ разобранныхъ произведеній, еще *Хандру* (т. I, 223—224), „*Моя судьба — старуха, нянька злая*“ (I, 227—228), „*И въ праздности горе, и горе въ трудѣ*“ (I, 467), *Ночную думу* (II, 159—160), *Безпутный годъ* (II, 233—236), „*Съ колыбели мы, какъ дѣти*“ (II, 343), *Золотого тельца* (II, 401—405), *Живую статую* (III, 9—13), *Тѣни и сны* (III, 38—39), и др. Сознаніе зла, пошлости и пустоты, царящихъ въ мірѣ, вмѣстѣ съ сознаніемъ собственной слабости невольно ставитъ вопросъ о безцѣльности всѣхъ мукъ и стремленій сердца:

Къ чему оно влеклось, кого оно согрѣло?

Зачѣмъ измучено борьбой?

(И. С. Аксакову, т. I, 265—266.)

„Кто самъ не могъ сіять“, тотъ не можетъ искренно возненавидѣть тьму и тоскуетъ отъ этого безсилія, но эта тоска еще не есть любовь, и поэтъ, желая отделинута на смѣлый голосъ убѣжденнаго бойца, не находитъ стиха для отклика: они блуждали *врознь*, и поэтъ сознаетъ превосход-

ство своего собрата, „строгий“ геній котораго, „не внимлю- щій шепоту соблазна“, ведетъ его *инымъ* путемъ, —

Туда, гдѣ нѣтъ уже ни жаркихъ увлеченій,
Ни примиренія со зломъ (Ibid.).

Строгий геній подчиняетъ увлеченія работѣ мысли: поэтъ и его собратъ оба страдали, но одинъ не щадилъ силы сердца, другой — труда, одинъ больше любилъ, другой больше мыслилъ, изучалъ корень общественнаго зла, стоя надъ нимъ, какъ врагъ, съ ножомъ; поэтому его стихъ — жестокъ, без- пощаденъ, звенитъ, какъ тяжелый мечъ, правда его словъ — невеселая, холодная правда, которой поэтъ внимаетъ съ невольнымъ трепетомъ (Ibid.). Умъ судитъ многое безжалостно, о чемъ сердцемъ мы судимъ „любовно и пристрастно“, и этотъ разладъ — источникъ постоянныхъ мученій, и преодо- лѣть его особенно трудно потому, что предметомъ этого раз- лада является не то, что повергаетъ умъ въ недоумѣнье, даетъ пищу для думъ и просторъ для вдохновенія, а то, что ясно и въ потемкахъ, что знакомо намъ съ дѣтскихъ лѣтъ, — печальная ясность, противъ которой умъ не имѣетъ возра- женій, но которой противится по привычкѣ сердечное при- страстие („*Не то мучительно*“, т. III, 42).

Но и какой угодно строгій геній, приносящій въ жертву *слабости* сердца безпощадному уму, не знающій примиренія со зломъ, въ концѣ-концовъ пришелъ бы или къ примиренію съ нимъ, какъ съ неизбежнымъ явленіемъ, или къ ожесто- ченію, другими словами, обезсилѣлъ бы, если бы былъ лишенъ любви и вѣры въ идеаль. Развѣ можетъ быть иной исходъ, развѣ установлено, что

Все то, что радуетъ тебя своимъ расцвѣтомъ,

Въ туманѣ осени погибнетъ вмѣстѣ съ лѣтомъ

(„*Молчи, минутнаго покоя не тревожь!*“ т. II, 161—163).

Примиреніе со зломъ, какъ съ закономъ природы, хладно- кровное по наружности, страдающее по существу, уже готово совершиться: негодованіе замѣняется *покоемъ*, притупленіемъ; никто не доживетъ безнаказанно до сѣдыхъ волосъ...

Путь долгой жизни есть путь къ жизни *безнадежной*, —

Таковъ законъ судьбы... (Ibid.).

Значитъ, всему конецъ! Но умъ снова начинаетъ „коло- бродить“; покой былъ только *минутнымъ*, и, когда уже под-

писанъ смертный приговоръ надеждамъ: „таковъ законъ судьбы“, — изъ груди невольно вырывается никогда не умирающій вопросъ:

Ужели неизбежный!?

Этого „пристрастія“ сердца къ надеждѣ умъ не можетъ побѣдить, потому что и самъ онъ не мирится съ своимъ выводомъ. Въ самомъ дѣлѣ, если лѣто смѣняется туманною осенью, то, вѣдь, и всѣ усилія зимы тщетны передъ затѣями апрѣля (*„Что за бѣда...“*, т. I, 436)? Конечно, апрѣль — мѣсяцъ ненадежный, какъ и та прихотливая головка, на которую ложатся уроки старости, остужающіе ея мечты, подобно тому, какъ поздній снѣгъ падаетъ на ранніе цвѣты (ср. *Полярные лѣды*, т. II, 74—75). За апрѣлемъ наступитъ и лѣто, но въ свое время и оно замѣнится зимою, — и молодая головка доживетъ сама до „роковыхъ сѣдинъ“. Выходитъ такимъ образомъ, что неизбежный законъ судьбы есть прежде всего законъ не только смерти, но и возрожденія, увяданія и расцвѣта, законъ постоянного круговращенія. Зима весенній разливъ, лѣто, осень, ночь и разсвѣтъ, безпечное веселье и страданье, душевный покой и душевныя бури или томительные дни „безъ надежды и ласки“ — таково колесо, неизмѣнно заведенное отъ сотворенія міра (*„Послѣ зимы и разлива весенняго — лѣто“*, т. III, 106). Въ моментъ усталаго унынія поэту кажется, что въ этой вѣчной смѣнѣ окончательное слово принадлежитъ увяданію и смерти:

Послѣ великаго подвига — смятая сила,
Послѣ горячаго проблеска вѣры — сомнѣнье,
Послѣ напрасныхъ, послѣднихъ усилій — могила,
„Вѣчная память“ и — вѣчное въ мірѣ забвеніе (Ibid.).

„Жить не легко“ при такомъ сознаніи; въ жизни есть всегда нѣчто грозящее, и мы живемъ для минутъ, — ловимъ то, что намъ бросаетъ летящее время. Неужели же вѣчно одно забвеніе, и вся міровая жизнь есть только одно безцѣльное верченіе въ колесѣ?

Счастливы, кто ищетъ спасенія отъ золь и страданія
Въ лонѣ Того, Кто во вѣки вѣковъ — Настоящее! (Ibid.)

Не всякому дается это счастье: мы уже видѣли, какъ поэтъ молить Творца вернуть ему вѣру, любовь и все, чего не поко-

рять „всесильное ничто“, и какъ, тѣмъ не менѣе, это „ничто“ тяжело давить его сознаніе. Порою онъ даже впадаетъ въ полное равнодушіе и „влачитъ сѣрые годы изъ дня въ день, почти безъ вѣры въ сны бытія, — свои идеалы:

Не такъ и жить хотѣлось мнѣ, И все, чѣмъ сердце грѣлося,
 Какъ мнѣ жилось, Чтя красоту,
И ужъ давно не тѣлось мнѣ Въ мишурный блескъ одѣлося
 Безъ прежнихъ грезъ. И въ суету.
 И суета наскучила,
 И отошло
 Все, что когда-то мучило
 И обожгло... (*Сѣрые годы*, т. III, 116.)

Это уже крайній предѣлъ разочарованія, убивающаго поэзію; но и тутъ мы узнаемъ, что насильно *подавленный* крикъ оставилъ слѣдъ въ душѣ поэта; смерть подслушаетъ все то, что онъ *таилъ* въ груди, *разбудитъ* его и сорветъ покровъ со всего завѣтнаго. Значить, смерть — не уничтоженіе, а пробужденіе и раскрытіе тайнъ.

Никогда поэтъ не можетъ вырвать жала маловѣрія изъ своей души; но сознаніе, мы помнимъ, уже подсказало ему, что не слѣпая природа вложила въ него стремленіе въ идеалу, и что „живъ его Богъ“. Въ человѣкѣ заключена частица духа, а надъ духомъ смерть не имѣетъ силы.

Смерти нѣтъ. Я былъ *воочеловѣченъ*
И, значить, одаренъ безсмертною душой;
А если вѣченъ я, — то и Спаситель вѣченъ... (т. III, 92.)

Такъ говорить поэту явившійся ему призракъ. Если же вѣченъ Спаситель то вѣчны и возвѣщенные Имъ идеалы: пускай гаснетъ жизнь, — духъ неугасимъ; пусть сходятъ въ могилу поколѣнія, — онъ передается отъ одного въ другому:

Онъ не хоронится въ могилахъ,
Отъ мертвыхъ онъ идетъ къ живымъ.
 (*Духъ вѣка*, т. II, 216—217.)

Это не тотъ переходящій голосъ вѣка, который проповѣдуетъ, что въ твореньяхъ нѣтъ Творца, въ вѣчности нѣтъ цѣли, кромѣ всеобщаго уничтоженія, и самонадѣянно считаетъ себя послѣднимъ словомъ истины (*Вѣкъ*), не тотъ крикъ *горжествующаго* зла, который возглашаетъ: „Мало ли чему

училъ Христосъ?!“ (*Подслушанныя думы*). Нѣтъ, истинный духъ вѣка —

. Это Божій духъ;
Онъ, міровой любовью дышитъ,
И только тотъ его не слышитъ,
Кто въ злобѣ дня склонилъ свой слухъ. (II, 216.)

Эти „злобы дня“ настолько многообразны и могущественны, что во всѣхъ вѣкахъ и во всѣхъ странахъ заглушали „духъ вѣка“. Но духъ не стоитъ на мѣстѣ и неизмѣнно дѣлаетъ свое дѣло, и тѣмъ, кто его не слышитъ или не понимаетъ, приходится тяжело платиться за свою слѣпоту: такъ было съ Бурбонами, низвергнутыми съ ихъ величія, и съ чернью, которая вмѣсто трона воздвигла гильотину, и съ Наполеономъ, ставшимъ „врагомъ духа и свободы“; такъ будетъ и съ „гордымъ Альбіономъ“, который не видитъ *грязущаго свѣта* и подымлетъ мечъ за Магомета и за рабство, такъ было и будетъ со всѣми древними и современными „Валтасарами“ и „Фараонами“ (Ibid.).

Итакъ, свѣтъ грядетъ! Несмотря на весь гнетущій мракъ, поэтъ сохраняетъ эту вѣру и, прощаясь съ „безпутнымъ годомъ“, посылаетъ ему во слѣдъ пожеланіе:

Иди во тьму и не мѣшай
Намъ къ свѣту двигаться впередъ...
(*Безпутный годъ*, т. II, 233—236.)

Не святой огонь, похищенный съ небесъ Прометеемъ и создававшій людей, несъ въ своей груди этотъ бездушный годъ, годъ зла и вражды, но поэту при оглядѣхъ на него все же есть за кого поднять бокалъ, — за тѣхъ, „кто шелъ съ открытой головой за истиной и красотой“, за тѣхъ, кто, „несмотря на темный годъ, *хоть оцунью*, да шелъ впередъ“. За новый годъ пить преждевременно:

Идетъ съ закрытымъ онъ лицомъ,
Съ невѣдомымъ добромъ и зломъ,
Не разглашая напередъ,
Какое зная онъ несетъ (ibid.).

Идя впередъ *оцунью* въ темнотѣ, люди ищутъ свѣта въ общеніи съ таинственнымъ міромъ духовъ, отчаявшись найти въ наукѣ отвѣтъ на свои запросы. Поэтъ относится отрицательно къ такому исканію истины путемъ мистицизма:

найдетъ ли мѣръ откровеніе въ наукѣ, — отвѣтъ еще загадоченъ.

Но никакихъ задачъ науки
Всѣхъ этихъ душъ безличный рой,
Ни ихъ сомнительные стукки,
Ни ихъ мелькающія руки,
Своей таинственной игрой
Не разрѣшать...

(*Старые и новые духи*, т. II, 61—65.)

Эти „новые духи“, стучащіе и ворочающіе столами, — „фантазія безъ крыль“, „родныя дѣти пустоты, тоски, *нестерпя*, увяданья“: ни вѣра ни умъ въ нихъ не нуждаются. Это только исканіе чего-то, миражъ, затуманивающий сознаніе.

Они не въ силахъ дать намъ знанье,
И дать намъ вѣру нѣтъ въ нихъ силъ... (Ibid.).

Не даромъ и Асмодей признается, что онъ, прибѣгая ко всевозможнымъ уловкамъ для одураченія людей, подчасъ даже помогалъ спиритамъ (III, 458). Но во всякомъ случаѣ это увлеченіе спиритизмомъ есть симптомъ того, что „мѣръ снова жаждетъ обновленія“ (II, 63), — и поэтъ, не раздѣляя, увлеченія, вполне понимаетъ и признаетъ его источникъ — протестъ и реакцію противъ „злой безсмыслицы“, преобладанія матеріальныхъ интересовъ и общаго одичанія:

Въ нашъ вѣкъ продажной воли,
Желѣза и огня,
Таинственность явленій
Понятна для меня.
Невольное стремленіе
Въ заочный мѣръ духовъ
Ужель не человѣчій

Шпіонства и враговъ?..
Всѣ ждуть войны и гнета,
Руинъ и груды тѣлъ,
Чтобъ люди одичали,
И воздухъ очумѣлъ...
(Т. III, 3—4).

Лучше бесѣдовать съ духами, чѣмъ слышать злобные крики и ликованіе торгашей. Этотъ бредъ, это тяготѣніе къ загадочному—проблескъ идеализма, лучъ свѣта, хотя бы и обманчивый, какъ блудящій огонь (*Спиритъ*, т. II, 220).

Война — то ужасное дѣло истребленія, котораго содрогается муза поэта, которымъ такъ хвалится Асмодей передъ сатаной, то усовершенствованное убійство, которому служить сама наука, „съ увлеченіемъ льющая пушки“ (т. II, 2) и изобрѣтающая на премію снаряды для избіенія цѣлыхъ тысячъ, — наиболѣе противна Божьему духу мировой любви.

Нашему поэту суждено было пережить три эпохи великой рѣзни, войны 1853—1856, 1870—71 и 1876—1878 гг., и всѣ эти годы кровопролитій оставили глубокій слѣдъ въ его гуманной поэзіи, служащей идеалу братства людей и высшей справедливости. Укажемъ пьесы *На Черномъ морѣ* (т. I, 256—260), *Вложи свой мечъ* (т. II, 1—4), *Въчный жидъ*, *Бомарка*, *Грезы*, *Ренегатъ*, *Туда!* (т. II, 183—200), *Подъ Краснымъ Крестомъ* (II, 222—226), — свѣтлый апофеозъ святой любви, заставляющій вѣрить „что зло отзовется добромъ“, *Видѣніе Османа* (т. II, 241—244). Живая статуя, колоссальнаго роста, сгорбившаяся подъ страшной ношей изъ желѣза, поѣдающаго хлѣбъ и золото, питающаго роскошь и суету, идущая, опираясь на обнаженный и отточенный мечъ, обдуманно скрывающая загадочную цѣль, провозглашающая на словахъ любовь, право, свободу и давая своей пятой великодушныя мечты и надежды, — эта фигура, улыбающаяся съ выраженіемъ надменнаго недовѣрія на усталомъ лицѣ, отягченная богатствами всѣхъ странъ, — „какой тяжелый образъ!“ восклицаетъ поэтъ, создавшій и воплотившій его, спрашиваетъ: неужели это олицетвореніе милитаризма — нашъ идеалъ?! Неужели такова *Европа на пути къ двадцатому столѣтію?* (*Живая статуя*, т. III, 9—13). Поэтъ правъ, говоря, что такіе образы, волнующіе воображеніе, плохо поддаются перу, а требуютъ для себя рѣзца: они тяжелы, какъ мраморъ, или литая мѣдь... Однако, если „всѣ ждуть войны“, — едва ли кто ея желаетъ: поэтъ уже замѣтилъ, что въ нашъ желѣзный вѣкъ побѣдитель опускаетъ свой грозный мечъ, *пугаясь грома побѣдъ*, — это уже шагъ къ лучшему... Не менѣе тяжелый образъ представляетъ собою выросшій въ міровой колоссъ кумиръ золотого тельца, которому послушенъ весь міръ, которому поработенъ даже геній науки и творчества, — идолъ, во имя котораго льется кровь человечества. Отъ паденія этого всесвѣтнаго кумира „помрачился бъ небосклонъ, и дрогнула бы ось земли“, и поэтъ въ недоумѣніи спрашиваетъ:

Скажите же съ какихъ высотъ
Къ намъ новый Моисей сойдетъ?
Какой предъявить намъ законъ?
Какою гнѣвной силой онъ
Громаду эту пошатнетъ?

(*Золотой телецъ*, т. II, 401—405.)

Вопросъ остается вопросомъ, но поэтъ не отказывается отъ вѣры въ пришествіе „новаго Моисея“, помня завѣтъ своей музы, что „нашу бѣдную Россію спасетъ вѣра въ Божій судъ или Мессію“. Эти слова приложимы и не къ одной Россіи. Мысль объ этомъ Мессіи занимаетъ поэта, теряющагося въ гаданьяхъ о томъ, въ какомъ видѣ явится человечеству этотъ „дерзкій полубогъ“, „блаженный нечестивецъ“, „геніальный глупецъ“.

Придетъ ли онъ, какъ утѣшитель,
Иль какъ могучій, грозный мститель,
Чтобъ образумить племена?
Любовь ли въ нужды наши вникнетъ?
Иль ненависть народамъ кликнетъ,
Пойдетъ и сдвинетъ знамена?
Богъ вѣсть! напрасно умъ гадаеть...

(*Неизвѣстность*, т. I, 349—350).

Но, кто бы ни былъ этотъ геній, — вдохновенный пророкъ-фанатикъ или практическій мудрецъ, — человечество ждетъ его и надѣется, что онъ заставитъ всѣхъ очнуться отъ тяжкихъ сновъ, сплавить мысли разъединенныхъ, поставить новую силу на мѣсто старыхъ рычаговъ, — покорить власть золота и желѣза, — упростить сложность задачи и дать возможность расчистить миллионъ дорогъ къ совершенству (*ibid*). Поэтъ даже вѣритъ, что, быть можетъ, уже близокъ „предтеча“ этого Мессіи; но, конечно, его гадающій умъ лишь въ тяжелыя минуты допускаетъ обновленіе путемъ ненависти. Его муза, мы помнимъ, видѣла ложнаго Мессію или его предтечу, жаждавшаго выступить въ роли грознаго мстителя, мечтавшаго „залить кровью предѣлы земли, чтобъ новые люди родиться могли“ (*Жалобы музы*, I, 446—447). Цвѣты, политые кровью, не взойдутъ безъ шиповъ; любовь, доведенная до фанатизма, можетъ вырождаться въ кровожадную ненависть, но изъ такой ненависти не родится блаженство. Пророкъ искренно ненавидитъ зло, но онъ „любитъ, ненавида“, и не жаждетъ крови, но „ведетъ къ правдѣ любовью“, силою слова, а не оружія. Нѣкогда Эдипъ заглянулъ въ лицо Сфинксу безъ трепета и, не обнажая меча, далъ ему отвѣтъ, достойный человѣка; такъ и новый Эдипъ долженъ безъ оружія спасти свободу вѣка „любовью пламенной въ безтрепетной груди, рѣ-

пеньемъ всѣхъ задачъ во славу человѣка“ (*Сфинксъ*, т. II, 300—302).

Эта великая истина съ особенною поэтическою силою выразилась въ одномъ изъ позднѣйшихъ произведеній Я. П. Полонскаго: если въ прежніе годы поэтъ томился „неизвѣстностью“, то на закатѣ дней ему стало вполнѣ ясно, что никакой богатырь Иванъ Богуслаевичъ съ его храброю дружиною не одолѣетъ лукавой Кривды силою оружія. Сама Кривда знаетъ, что можетъ ее побороть, но надѣется, что ея царству на землѣ не будетъ конца. Послушаемъ, что она говоритъ, явившись во снѣ своему врагу-богатырю:

Не изжить тебѣ Гора-Злосчастія,
И твой мечъ-кладенецъ не убьетъ меня.
Только Правда одна — Правда истинная,
Поборовшись со мной, извела бы меня.
Да и той нѣтъ, — ушла въ небеса...
Попалили-бъ меня только Ангелы,
Да и тѣхъ нѣтъ, — поютъ славу Божию. (*Повесть о
правдѣ истинной и о Кривдѣ лукавой*, т. V, 282—327].

Но Правда молить Искупителя пустить ее изъ рая на землю, политую кровью, орошенную слезами, упитанную гнилью труповъ и взывающую о спасеніи, — и Сынъ Человѣческій посылаетъ въ міръ Правду, „искру Своей мысли“, „каплю Своей крови, — къ людямъ, вѣчно Его распинающимъ“.

Какъ придешь въ міръ скорбей, повтори ему:

Гдѣ любовь, тамъ и свѣтъ, тамъ и царство Мое (*ibid.*, 315.)

Въ бѣлоснѣжной одеждѣ, въ золотомъ вѣнцѣ сходитъ Правда на землю и отвѣчаетъ на слова Кривды:

Ты права-права, Кривда крещеная:
Не мечъ, — грѣшный мечъ окровавленный,
Посѣчетъ твою голову,
И не палица богатырская
Сокрушитъ твое чадо блудное,
Чадо хмельное, — Горе-Злосчастіе;
Но когда просіяетъ колючій тернъ
На челѣ Христа паче всѣхъ вѣнцовъ,
И когда вмѣстѣ съ Нимъ я сойду съ небесъ,
Не одна я сойду, а со Ангелы,

Возвеселится тогда и возрадуется
Тотъ, кто ни разу за серебряники,
Какъ Іуда, не предалъ Спасителя:
Ты-жъ, лукавая Кривда, восплачешься
И въ смертельной тоскѣ воззовешь къ горамъ:
Упадите вы, горы, на главу мою,
Раздавите меня, горы каменные!
Разступись и ты, мать сыра-земля,
Разступись, — поглоти меня!
Кто не вѣруеть въ Правду истинную,
Не увидить тогъ царства праведнаго (ibid., 324—325.)

Царство Правды наступить, лишь когда Спаситель сойдетъ съ небесъ; но люди должны вѣровать въ идеалъ Правды и возвѣщать его словомъ и дѣломъ любви; въ этомъ стремленіи къ высшему свѣту — вся цѣль ихъ жизни. Вспомнимъ заключеніе поэмы *Собаки*: вѣра и исканіе дороги къ Богу придадутъ человѣчеству крылья, ведущія къ блаженству. Иванъ-богатырь прячетъ свой мечъ и становится служителемъ слова, „сотрудникомъ Божиимъ“: безъ меча, кольчуги, лука и стрѣлъ онъ ходитъ по всей Руси, — „и слово его было сильное слово, — сильнѣе меча: въ его словѣ была Правда истинная. *Да воскреснетъ то слово и въ наши дни!*“ (т. V, 327). Мечъ богатыря пригодится на случай, если Кривда соберетъ полки и пойдетъ войною, — для защиты Правды, но не какъ орудіе наступательнаго боя во имя ея. Такимъ гармоническимъ аккордомъ замыкается поэзія Я. П. Полонскаго: какъ ранѣ, вопреки всѣмъ приступамъ духа сомнѣнія, онъ вѣрилъ, что „есть рѣчи, которыя не всѣмъ дано понимать, рѣчи, въ которыхъ хранится для поэта искра вдохновенія, а для гражданина зерно благи“ („*Есть рѣчи*“, т. II, 120), — такъ и понинѣ онъ сохраняетъ вѣру въ спасительную силу слова истины. Эту вѣру въ немъ укрѣпляетъ сознаніе, что въ царствѣ Кривды не можетъ быть единства, и зло возстаетъ на зло. „Яблоко отъ яблони падаетъ недалеко“: Кулакъ, родной сынъ Кривды, обманываетъ свою мать; Горе-Злосчастіе, „блудное чадо“ той же Кривды, жестоко бьется съ нею. Асмодей замышляетъ свергнуть сатану (т. III, 480).

„Гдѣ любовь, тамъ и свѣтъ, тамъ и царство Мое“. Любовь несовмѣстна со враждою: она предписываетъ прощать врагамъ. Поэтъ, для котораго любовь и жизнь — одно

и то же, полюбилъ, „какъ ребенокъ“, и оказался пойманнымъ въ сѣти хитрецами, но не забылъ высокаго завѣта:

Любя, я враждовать не могъ
И молвилъ имъ: не осудите...
(„Прости имъ“, т. II, 69.)

Но невѣжды туги на прощенье и истощаютъ терпѣніе поэта своими клеветами. Здѣсь на помощь *любви* является *пониманіе*, и ихъ союзъ приводитъ къ единому результату, — всепрощенію.

Христось! Ты повелѣлъ прощать...
Прости имъ, — такъ, какъ я прощаю.
Меня во-вѣкъ имъ не понять,
А я ихъ глупость понимаю (ibid.).

„Все понять — значитъ все простить“ — извѣстный афоризмъ. Кто извѣдалъ силу зла, но самъ не былъ побѣжденъ имъ, тотъ завѣщаетъ другимъ „всепрощающую скорбь и вѣру въ идеалъ“, какъ творецъ *Горе отъ ума* по характеристикѣ Я. П. Полонскаго (т. II, 274, Н. А. Грибоѣдова).

Аммонъ.

Наука способствуетъ обповленію общественнаго строя — одинъ изъ лозунговъ поэзіи Полонскаго.

Въ знаніи — свѣтъ. Этотъ гуманитарный взглядъ внушаетъ поэту сочувственное отношеніе ко всѣмъ ищущимъ знанія, независимо отъ увлеченій и крайностей, въ какія могутъ впадать искренніе искатели. Идеалистъ 40-хъ годовъ, Я. П. Полонскій сумѣлъ, не вдаваясь въ памфлетъ и карикатуру, безпристрастно оцѣнить порывы рыцарскихъ реалистовъ новаго поколѣнія 60-хъ годовъ; въ ихъ одностороннемъ увлеченіи реальнымъ дѣломъ и положительнымъ знаніемъ онъ подмѣтилъ идеальный порывъ къ честному, полезному труду и идеальную вѣру въ преобразующую силу разумъ. Не менѣе княжны Ларисы (*Сепѣево преданіе*, т. III), мечтательницы, развивающейся подъ вліяніемъ Камкова, гуманиста 40-хъ годовъ, — искренно симпатична поэту выведенная имъ „новая дѣвушка“, начитанная, бойкая, смышленная Шушу, брюнетка, съ живой искоркой въ глазахъ, умѣющая и желающая

работать, энергичная, связывающая свою судьбу съ человекомъ, въ которомъ она видѣла генія, чтобы потомъ раз-
смотрѣть въ немъ заносчиваго, самоувѣреннаго нахала, верхо-
гляда и грубаго самодура въ новой кожѣ, но стараго закала
(*Неучъ*, т. IV, 348—408).

Ей былъ и Брэмъ знакомъ, и Вундтъ знакомъ,
И Сѣченовъ; и мы за это
Готовы искренно хвалить
Мамзель Шушу. Нельзя не полюбить
Естествознанья тѣмъ, кто жаждетъ свѣта.

Поэтъ вполне понимаетъ, что этотъ прикладной реализмъ
есть новая метаморфоза прежняго отвлеченнаго идеализма,
что эти энтузіасты естествознанія въ сущности такіе же
мечтатели, какъ и ихъ отцы, упивавшіеся въ свое время
романтизмомъ и философіей Гегеля: Шушу *мечтала* объ ака-
деміи, порой казалась экзальтированной, ждала отъ жизни
чудесъ, порой страдала и предвидѣла одни задатки зла,
точь въ точь, какъ люди 30-хъ и 40-хъ годовъ.

Такова и та „труженица“, печальная судьба которой раз-
сказана нашимъ поэтомъ, труженица, покинувшая отчее село
для столицы съ мыслью, „трудомъ купить себѣ покой“,
вѣрившая, что „жизнь и трудъ для всѣхъ рай Божій со-
здадутъ“, дѣтски наслаждавшаяся „зарей свободы“ (*Тру-
женица*, т. II, 204—215). Не менѣе интересный женскій
образъ встаетъ передъ нами въ прекрасномъ стихотвореніи
Я. П. Полонскаго (*Что съ ней?* т. II, 166—167): молодая
пытливая душа, горячая мечтательница, томимая до слезъ
жаждой *правды* и плѣненная духомъ отрицанія, который
понялъ, какая сила таится въ этой душѣ, и, отрицая все
существующее, рисовалъ ей картину будущаго золотого вѣка:

На каждой верстѣ будетъ общій дворецъ;
За трудъ будетъ плата любовью;
И будетъ тогда *отрицанью конецъ*,—
Созрѣетъ политое кровью.

Конечно, жизнь не замедлила разбить эти радужныя хи-
меры; но какъ вѣрно понялъ поэтъ эту горячку повальнаго
отрицанія во имя смутнаго, но плѣнительнаго идеала! Эти
туманныя рѣчи повторяются съ „гордою *впрямь*“; отрицаніе
принимаетъ формы религіознаго культа въ доказательство

того, что безъ вѣры во что бы то ни было не можетъ быть никакихъ возвышенныхъ порывовъ. „Да развѣ отрицаніе не вѣра?“ читаемъ мы въ другомъ мѣстѣ у Я. П. Полонскаго (*Сонъ язычника*, т. II, 250—256). Но вѣра — вѣрѣ рознь: одно дѣло — вѣра въ осуществленіе идеала, придающая самому отрицанію лишь временный характеръ, предвидящая его *конецъ*, другое — чисто-отрицательная вѣра въ зло и ничтожество всего сущаго, вѣра, равняющаяся невѣрію и во всякомъ случаѣ безплодная.

Намъ могутъ замѣтить, что мы уклоняемся отъ нашей темы: въ самомъ дѣлѣ, въ разбираемомъ стихотвореніи рѣчь идетъ не о жадѣ *знанія*, но о жадѣ *правды*, которая не связана органически съ научною любознательностью, а вытекаетъ изъ идеала *любви*. Конечно, такъ; но, во-первыхъ, очевидно, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло столько же съ исканіемъ правды въ жизненныхъ отношеніяхъ, сколько со стремленіемъ къ установленію прочныхъ теоретическихъ истинъ, на которыя умъ могъ бы опереться въ своей работѣ во-вторыхъ, — и изъ этого объясняется и первый фактъ, — полагаемъ, достаточно ясно, въ какой мѣрѣ работа ума, обогащенная знаніемъ, содѣйствуетъ расширенію кругозора и указываетъ — вѣрные или ошибочные — пути къ осуществленію идеаловъ всеобщаго счастья. Если между обоими указанными порывами и нѣтъ необходимой связи, все же рѣдко они не владѣютъ одновременно душою человѣка, если только онъ не узкій, сухой специалистъ. Въ своемъ очеркѣ Я. П. Полонскій именно изобразилъ намъ совмѣстную работу пылкаго сердца и пытливаго ума, жадно набрасывающагося на чтеніе, на самообразование:

Пытливымъ огнемъ изъ-подъ темныхъ рѣсницъ
Мерца, въ ней *мысль* загоралась.
Въ тѣ дни много-много запретныхъ страницъ
Въ безсонныя ночи читалось...

Иначе не могло и быть, когда „къ намъ проникалъ за вопросомъ вопросъ“: отвѣтъ, какой бы то ни было, не могъ даваться уму безъ подготовки. Но затѣмъ, вступивъ на скользкій путь отрицанія, умъ не пощадилъ и науки, превратилъ и ее наравнѣ со всѣми основами жизни въ „пустыя слова“; дольше выдерживалъ идеалъ любви; но и тутъ время взяло свое: не „только мысль колебалась по вѣтру“, но и надежды

ломались, восторги погасали съ чадомъ, и въ результатъ всего вмѣсто любви является *ожесточеніе*. Духъ отрицанія глумится надъ своею жертвою и отрицаетъ ее самое... Значить, отрицаніе-вѣра оканчивается полнымъ невѣріемъ? Не всегда бываетъ такъ, но часто, слишкомъ часто отрицаніе совершаетъ именно такой роковой, безысходный кругъ.

Женщины вообще болѣе склонны къ искреннему идейному энтузіазму, чѣмъ мужчины: одинъ изъ примѣровъ того мы видимъ при сопоставленіи героя и героини *Неуча*. Но и тутъ мы не можемъ упрекнуть нашего поэта въ односторонности: какъ бы въ параллель эгоисту-деспоту Гвоздеву, низость котораго беретъ верхъ надъ нахватаанными идеями, онъ выводитъ передъ нами стойкаго, убѣжденнаго юношу Алешу Гайдунова (*Мими*, т. IV, 180—347), который умѣлъ остаться „честнымъ малымъ“, несмотря на представлявшееся ему искушеніе и на дальнѣйшія жизненные передраги, доведшія его, къ несчастію, до ожесточенія. Алексѣй во имя реализма, *изъ принципа* душитъ томящій его жаръ лиризма, чтобы „не прослыть стихослагателемъ“, забрасываетъ тетрадь съ дѣтскими стихами для занятій химіей, „препарируетъ ножомъ“ скелеты птицъ и рыбъ и въ то же время ищетъ идеала въ народѣ, въ будущемъ, полнъ *безотчетной вѣры*, „всѣхъ больше вѣруя въ себя“. Это — человѣкъ, еще не сложившійся, „птенецъ, едва окончившій ученье“, онъ еще „на первомъ либеральномъ взводѣ“; идеи вѣка владѣютъ имъ, а не онъ ими владѣетъ. Таково уже, по замѣчанію поэта, свойство кипящей ключомъ молодости:

Владѣютъ ею сотни фразъ,	Переворота не свершится,
Фразъ, сказанныхъ устами вѣка	И юноша, чтобы не краснѣть,
О назначеньи человѣка,—	Самъ станетъ фразами владѣть.
Пока въ одинъ прекрасный часъ	

Первый періодъ развитія — господство *фразъ*, но фразъ, произносимыхъ съ вѣрою; въ этомъ ихъ сила, и только при этомъ условіи возможно и вступленіе во вторую стадію — умственной зрѣлости и самостоятельности. И вотъ, юноша, принявшій на вѣру результаты чужой мысли, *поверившій всему*, твердитъ, „что и не нужно вѣрить“, ратуетъ противъ принципа авторитета, не замѣчая, насколько онъ самъ вѣритъ на слово. Это неизбежное наивное противорѣчіе съ *самимъ собою*; но мало-по-малу вырабатывается способность

анализировать; мысль не засыпает и не останавливается тамъ, гдѣ часто раздается споръ о томъ, „что дѣлать“,—

...Споръ, конечно,	Онъ не сойdetъ и будетъ вѣчно
Такого сорта, что, пока	Къ анализу насъ приучать
Не разрѣшится, съ языка	И постепенно развивать.

Значить, споръ затрогиваетъ чисто практическіе вопросы, пытаясь рѣшить ихъ на почвѣ усвоенныхъ теорій.

Въ лицѣ этого представителя молодого поколѣнія мы видимъ то же стремленіе къ знанію, неразрывно связанное съ идеаломъ личнаго и общаго совершенства: одно переходитъ въ другое такъ же естественно и незамѣтно, какъ разговоръ юнаго, наивнаго Алексѣя съ разсужденій „о пропорціи солей въ морскихъ водахъ, о свойствахъ пара, о неистощивеніи силъ“ перескакиваетъ на темы о томъ,

...Что слѣдуетъ забыть
Вѣковъ протекшихъ идеалы,
Чтобъ дряхлый міръ преобразить,
Научные матеріалы,
Дискать, готовы, для того,
Чтобъ возводить иное зданье.

и все это творится съ молодою вѣрою, которой геройство и самоотверженность ни почему.

Итакъ, наука, совокупность добытыхъ наблюденій и опытомъ истинъ, долженствующая служить дѣлу обновленія общественнаго строя, — таковъ лозунгъ, которому никто не можетъ отказать въ сочувствіи, какъ бы порою ни увлекались и ни заблуждались его носители. Идеальный реалистъ Гайдуновъ — прямой потомокъ идеалиста — поэта и мыслителя Камкова (*Свѣтжее преданье*, т. III, 311—450), рисующаго передъ своею юною ученицею „свѣтлый идеаль разума, силы и чести“ — не за предѣлами могилы, а въ жизни (III, 403). Аммонъ.

Призывъ къ свѣту и знанію, просвѣтляющимъ толпу и сглаживающимъ рознь общества, какъ отличительная черта поэзіи Полонскаго.

Каково же вліяніе поэзіи на умы и сердца, на жизнь человечества? гдѣ осязательная польза, ея приносимая?

Вотъ вопросъ, съ которымъ „чернь“ постоянно обращается къ поэту, и вотъ какой отвѣтъ даетъ на него Я. П. Полонскій:

Сколько разъ твердила чернь поэту:
Ты, какъ вѣтеръ, не даешь плода,
Хлѣбныхъ зеренъ ты не сѣешь къ лѣту,
Жатвы не собираешь въ осень. — Да,
Духъ поэта — вѣтеръ; но, когда онъ вѣетъ,
Въ небѣ облака съ грозой плывутъ,
Подъ грозой тучиѣй родная нива зрѣетъ,
И цвѣты роскошнѣе цвѣтутъ. (*Юбилей*
Шиллера, т. I, 360.)

Одинъ изъ высшихъ образцовъ такой плодотворной поэзіи представляетъ собою творчество „всемирнаго поэта Германіи“, для котораго „всѣ народы равны“, на столѣтній юбилей котораго, отпразднованный всею Европою, отозвался и нашъ поэтъ.

Шиллеръ!... Чье полиѣе сердце было
Пѣсенъ вѣчныхъ, чистыхъ и святыхъ?
Чья душа сильнѣй людей любила
И стояла горячѣй за нихъ?
О, не ты ль смѣшалъ людей съ полубогами,
Въ идеалѣ видѣлъ божество,
Свѣту разума надъ мракомъ и страстями
Приготовилъ въ мірѣ торжество? (*Ibid*).

Однако, наступитъ ли когда-нибудь день этого торжества? „Духъ вражды и разъединенья“ въ теченіе тысячелѣтій держать міръ въ невѣжествѣ и злѣ; люди кутоѣ цѣпи другъ на друга, кровавый бой кипитъ повсюду, и „истина не смѣетъ быть нагой“. И, несмотря на это, вся Европа „отпѣла и отликовала юбилей пѣвца человѣчности, потому что языкъ поэзіи, какъ и первый крикъ ребенка, кричащій міру о кровномъ союзѣ“, есть общее достояніе всѣхъ націй; это — языкъ неизмѣнный во всѣ вѣка, понятный всѣмъ сердцамъ, вопреки разноязычію, разноплеменности и враждѣ народовъ. Конечно, —

Лучшихъ дней не скоро мы дождемся:
Лишь поэты, вѣстники боговъ,
Говорятъ, что всѣ мы соберемся
Мирно раздѣлять плоды трудовъ,
Что безумный произволъ свобода свяжетъ,
Что любовь прощеніемъ свяжетъ грѣхъ,
Что *побѣда мысли* смертнымъ путь укажетъ
Къ торжеству, отрадному для всѣхъ.

„Мечты“! — скажутъ на это хладнокровные люди. Поэтъ и самъ знаетъ, что путь далекъ; но все же „съ каждымъ вѣкомъ человѣчество шагаетъ впередъ“, и въ нашъ „желѣзный“ вѣкъ въ побѣжденныхъ уже воскресаетъ сила духа, а побѣдитель опускаетъ свой грозный мечъ, пугаясь грома побѣдъ. Въ этомъ и сказывается *победа мысли*, провозвѣстниками которой являются поэты, и торжество этой мысли въ будущемъ, хотя бы и очень отдаленномъ, для нихъ несомнѣнно, потому что

...для мысли, какъ для воздуха и свѣта,
Невозможно выдумать заставъ.

У всѣхъ въ сердечной глубинѣ звучить одна и та же живая струна, когда громко говоритъ „Божій голосъ“, — вѣчный голосъ любви, — и въ этомъ сила поэзіи, пробуждающей добрыя чувства. (Ibid., 357—361.)

Но если поэтъ ставитъ себѣ высокую задачу — быть глашатаемъ гуманности и при этомъ не только умягчать сердца, возводя идеалъ въ божество и рисуя картины блаженнаго мира и благоволенія въ будущемъ, но и жечь сердца своимъ глаголомъ, быть проповѣдникомъ-бойцомъ, — онъ долженъ быть особенно чутокъ къ содержанію своихъ пѣсень: человѣчество легко даетъ себя убаюкивать сладкими звуками, а дѣло поэта — будить его на жизнь и борьбу. Поэтому Я. П. Полонскій признаетъ законность упрековъ за „тюремныя“ пѣсни „о любви, о славѣ, о волѣ золотой“, внимая которымъ, вздыхали за стѣной узники въ оковахъ: эти пѣсни были умѣстны въ свое время; когда же пришла свобода, нужны иные мотивы:

Теперь ты, братъ, на волѣ
Другія пѣсни пой,
Пой о цнпяхъ, о злобѣ,
О дикости людской,

Чтобъ мы не задремали,
Внимая пѣснѣ той.
(Когда я былъ въ неволѣ,
т. II, 9—10.)

Конечно, поэтъ безусловно свободенъ пѣть, что и какъ ему вздумается, и никто не имѣетъ права указывать ему сюжеты; но, разъ поставленъ вопросъ о нравственномъ воздѣйствіи поэзіи на общество, сила этого воздѣйствія неоспоримо зависитъ отъ выбора предметовъ для художественнаго воплощенія. Кто хочетъ жечь сердца людей, тотъ долженъ вооружиться бичомъ, „выжимать и пить сокъ общественнаго

зла“, по выраженію нашего поэта (*И. С. Аксакову*, т. I, 266—366).

Однако, если порою общество требуетъ отъ поэта, чтобы онъ не давалъ ему задремать, то и противоположное явленіе наблюдается не менѣе, если не болѣе, часто: толпа не любитъ, чтобы ее будили и тревожили ея сладкій, безмятежный сонъ. „Озлобленный“ поэтъ пожинаетъ не только вѣнки и привѣтъ со стороны современниковъ, но и ненависть и проклятія; не всѣ дѣти „озлобленнаго вѣка“ рукоплещутъ, когда имъ показываютъ вѣрное изображеніе ихъ страстей и пороковъ.

Жрецы бранятъ толпу, —

Толпа жрецамъ свиститъ... (Т. I, 422).

Но еще тяжелѣе недоброжелательства холодное равнодушіе общества къ человѣку, честно исполняющему свой долгъ передъ нимъ, какъ бы стоящему впредь до смѣны на высокой каланчѣ въ морозъ и вьюгу темной зимней ночи и своевременно подающему сигналъ объ угрожающей опасности. Вчитаемся внимательно въ прекрасную, глубоко продуманную и прочувствованную аллегорію Я. П. Полонскаго *На каланчѣ* (т. II, 347—354); вспомнимъ ея заключительныя строки:

За своевременный сигналъ
(Хотя бы городъ ты спасалъ)
Никто тебя благодарить
Не станетъ, — даже, можетъ быть,
Тебя и не замѣтять, братъ;
И тутъ никто не виновать:
И чернь слѣпа, и высока
Та вышка, гдѣ тебя судьба
Поставила...

Подобно этому часовому, поэтъ поставленъ судьбою высоко надъ всѣми и озираетъ жизнь съ высоты своего сторожевого поста, и эта высота, отдѣляющая его отъ „слѣпой черни“, дѣлаетъ для послѣдней незамѣтнымъ того, кто бодрствуетъ надъ ея судьбами: толпа, пожалуй, знаетъ про него, но не думаетъ о немъ, и ей не приходится въ голову благодарить своего стража за своевременно поднятую тревогу, какъ и въ случаѣ пожара не приходится на мысль даже справиться о томъ, кто первый оповѣстилъ о немъ.

...И не легка
Твоя задача, — та борьба
Страстей и долга... Но, пока

Тебя не смѣнитъ кто-нибудь,
На высотѣ своей побудь...

Эта борьба страстей и долга съ поэтическою силою выражена въ предшествующихъ строкахъ стихотворенія: въ то время, какъ дежурный сигнальщикъ мерзнетъ на холодѣ, исполняя свой *общественный* долгъ, фантазія уноситъ его въ иной міръ, рисуетъ ему картины природы и мирнаго *личнаго* счастья, тянетъ его съ вышки *домой*, отъ холода и мрака зимы къ лѣтнему теплу и свѣту; человекъ изнемогаетъ, его мечты сливаются въ непробудный сонъ... „Бѣдняга! въ *смерть* свою влюбленъ!“ Такъ дѣятель, съ наслажденіемъ забывшійся и заснувшій подъ бременемъ своей трудной задачи, можетъ *умереть* для своего дѣла.

Но еще и другая борьба не легче, если не труднѣе, первой: долгъ исполненъ, тревога поднята, а виновникъ тревоги стоитъ на своей каланчѣ, видитъ борьбу съ общимъ бѣдствіемъ, но какъ бы ни замирало его сердце, не имѣетъ права покинуть свой постъ, не можетъ *активно* вмѣшаться въ общее дѣло, хотя бы и близкіе ему люди гибли въ пламени.

А онъ глядитъ, тоской томимъ,
И легче быть ему въ огнѣ
Иль, жертвуя собой, спасать,
Чѣмъ такъ — стоять, стоять, стоять
На безопасной вышинѣ.

Конечно, поэтъ — не часовой и не обреченъ, подобному ему, на тягостное бездѣйствіе внѣ сферы своего прямого назначенія; но не всякому человеку дано быть заразы и служителемъ слова и активнымъ дѣтелемъ. „Ратникъ свободы униженной“, поэтъ находитъ оружіе *въ стихахъ*. Поэту не нуженъ „мстительный клинокъ“; онъ безоруженъ и, когда льется кровь, онъ

Молчить иль бредить, какъ пророкъ,

бредить

Отъ старыхъ ранъ, отъ новой боли,
Отъ непосильной намъ борьбы,
Отъ горя, отъ негодования,
Отъ безнадежнаго исканья
Иной спасительной судьбы.

(Пустыя ножны, т. III, 108—110.)

При этомъ слишкомъ часто онъ не имѣетъ иныхъ соратниковъ, кромѣ своихъ вдохновеній, какъ заявляетъ Я. П. Лонскій (*Впередъ и впередъ! вся душа моя въ пламени*, т. I, 428—429), и не только потому, что „слѣпая чернь“ не замѣчаетъ его на высотѣ, но и потому еще, что ряды людей нестройны, и что у каждаго знамени поэтъ вмѣстѣ съ друзьями встрѣчаетъ и враговъ, натывается на ложь и корыстные побужденія, будучи готовъ биться и умереть за правду.

И правду любилъ я, ни въ комъ не увѣренный,
Друзьямъ и врагамъ руки жалъ, какъ потерянный. (*Ibid.*)

„Знамена“ слишкомъ часто носятъ на себѣ отпечатокъ партійныхъ крайностей и связанной съ ними тупой и узкой нетерпимости, претящей чувству правды: такъ „бульдогъ“, о которомъ мы уже упоминали выше, мнящій себя носителемъ знамени, ставитъ въ вину нашему поэту, что онъ прогресса хочетъ — „и ничуть не кровожаденъ“, что въ глазахъ „бульдoga“, конечно, нескладно и даетъ ему поводъ осypать поэта презрительными, по его мнѣнiю, кличками „теоретикъ“, „лирикъ“, „классикъ“, „либераль“, „эстетикъ“... Отъ подобнаго нелѣпаго лая, раздающагося изъ различныхъ лагерей, поэту не остается иного убѣжища, кромѣ его творчества, гдѣ онъ чувствуетъ себя свободнымъ отъ сектантскаго духа, какъ самъ онъ объясняетъ бульдогу:

Мой Парнасъ есть просто уголь,
Гдѣ свобода обитаетъ,
Гдѣ свободенъ я отъ всякихъ
Ретроградовъ, нигилистовъ,
Отъ властей литературныхъ
И завистливыхъ артистовъ. (*Письма къ музѣ, письмо*
1-е, т. II, 98—107.)

На ряду съ узкостью исповѣдуемыхъ принциповъ неясность, сбивчивость понятій, неизбежная въ незрѣломъ обществѣ, порождаетъ крайнюю путаницу въ умахъ, ведетъ къ бессмысленной розни, и немудрено, что иной разъ и самъ поэтъ чувствуетъ себя „потеряннымъ“ посреди общаго хаоса и утрачиваетъ способность яснаго различенія.

Не то глупца, не то врага
Другъ въ другѣ видитъ наше племя:
Злость стала людямъ дорога,—
Спокойно мыслить намъ не время.
(*Рознь*, т. II, 115—118).

Въ такую смутную пору лирикъ, „забитый сатирою“, обреченъ на молчаніе; но оказывается, что и сатирикъ, „бичъ зла, вреда и пустоты“, вызванный нами въ дѣятельности, поникъ головой, потерявъ власть надъ толпою. Объясненіе факта на лицо:

Толпа въ чутьѣ непогрѣшима
И поняла, что сгоряча
Ты все клеймилъ неумолимо,
Зла отъ добра не отлича. (Ibid.)

Въ этомъ заключается величайшая опасность, какой подвергается „озлобленный поэтъ“, и эта опасность всегда налицо, потому что не легко соблюсти равновѣсіе человѣку, котораго мучить

Вся эта современность злая,
Вся эта безтолочь живая,
Весь этотъ сонмъ тирановъ и льстецовъ
Иль эта кучка маленькихъ бойцовъ,
Самолюбивыхъ и въ припадкахъ гнѣва
Готовыхъ бить направо и налѣво.

(Одному изъ усталихъ, т. I, 382).

„Застрѣльщики безъ всякой рати“, готовые кстати и не-кстати щеголять своимъ задоромъ, играть въ войну, топтать свое, даже ничуть не самостоятельны въ своихъ запутанныхъ мысляхъ и чувствахъ: они „випянутся заемной враждой“; каждый „молокососъ“ считаетъ себя призваннымъ рѣшать заходящіе къ намъ съ запада очередные тамъ вопросы и входитъ при этомъ въ азартъ, тогда какъ жизненные, насущные вопросы, едва затронутые, хоронятся „безъ шума и гражданскихъ слезъ“ (*Рознь*). Крайности, разладъ и тьма, — таковъ итогъ этого грустнаго созерцанія:

Одни изъ насъ хотятъ застою,
Довѣрѣя полнаго покоя,
Другіе бышенихъ скачковъ...
И смутный гулъ идетъ отъ спора,
Отъ несмолкаемаго хора
Въ разладъ поющихъ голосовъ.
Завистливы, себялюбивы,
То слишкомъ скромны, то кичливы,
Мы *ощутно* идемъ въ разбродъ,
Не то назадъ, не то впередъ.

И такъ сойдетъ со сцены цѣлое поколѣніе, не соединивъ ни разу своихъ разрозненныхъ силъ въ одно спасительное

дѣло (ibid.). Остается надѣяться на будущее: вспомнимъ характерное произведеніе Я. П. Полонскаго, невольно напоминающее „Думу“ Лермонтова, но не обрывающееся, подобно ей, нотою негодованія, а провидящее въ будущемъ лучъ свѣта. „Тошій умъ“ принесетъ тошій плодъ, и отъ „трусливо блуждающей толпы“ ничего ожидать міру.

Проходите! отъ васъ ничего не останется,—

Ни рѣшенныхъ задачъ ни побѣдъ...

И потомство съ любовью на васъ не оглянется,

Затеряетъ въ потемкахъ вашъ слѣдъ...

(„Проходите толпою“, т. II, 339—340.)

Но потомство не остановится на отрицательномъ отношеніи къ предкамъ, а само пойдетъ дальше,—

Пожелаетъ простора для мысли и генія,

И тогда,— о, тогда, *можетъ быть*,

Все проснется съ зарей обновленія,

Чтобъ не даромъ бороться и жить... (Ibid.)

Но откуда же взойдетъ эта заря? — Изъ груди поэта невольно вырывается крикъ: „больше свѣта“; но къ этому страстному пожеланію немедленно примѣшивается жгучій вопросъ, раздѣляющій людей на враждебные лагеря, склонные, по русской поговоркѣ, видѣть свѣтъ только въ своемъ окошкѣ. Unde lux?... На этотъ вѣчный вопросъ мы находимъ у Я. П. Полонскаго своеобразный отвѣтъ, свидѣтельствующій о широтѣ его взгляда:

Откуда же взойдетъ та новая заря

Свободы истинной,—*любви и пониманья?*

(Откуда?! т. II, 50—51.)

Взойдетъ ли она изъ-за ограды того монастыря, гдѣ Несторъ писалъ свои сказанья, или изъ-за стѣнъ московскаго Кремля, восторжествовавшего надъ татарами, Польшею и Наполеономъ, или съ береговъ Невы, гдѣ работалъ великій труженикъ культуры, или изъ папской столицы, или изъ славянской земли, родины Гуса и Жишки, или, наконецъ, отъ того Запада,

... гдѣ партіи шумятъ,

Гдѣ борются съ трибунъ народные витія,

Гдѣ отъ искусства къ намъ несется ароматъ,

Гдѣ отъ *науки цѣлѣбно-жгучей ядъ*,

Того гляди, коснется язвъ Россіи?...

Отвѣтъ на этотъ рядъ вопросовъ въ ясной и сжатой формѣ даетъ понять, что поэтъ умѣетъ, по завѣту Гете, возвыситься надъ партійными пристрастіями, не оставаясь равнодушнымъ къ тому, чѣмъ живетъ все человѣчество:

Мнѣ, какъ поэту, дѣла нѣтъ,
Откуда будетъ свѣтъ, лишь былъ бы это свѣтъ,—
Лишь былъ бы онъ, какъ солнце для природы,
Животворящъ для духа и свободы
И разлагалъ бы все, въ чемъ духа больше нѣтъ.

Откуда придетъ свѣтъ, — покажетъ будущее; яснѣе представляется поэту, въ какой именно *формѣ* взойдетъ надъ міромъ заря любви и *пониманья*. Тьма разгоняется свѣтомъ знанія: „не просвѣтила насъ наука“, — въ этомъ Я. П. Полонскій справедливо видитъ одну изъ основныхъ причинъ отмѣченной имъ печальной розни въ нашемъ обществѣ (т. II, 117).

Царство науки не знаетъ предѣла,
Всюду слѣды ея вѣчныхъ побѣдъ,
Разума слово и дѣло,
Сила и *свѣтъ*. (Т. I, 262—263.)

Люби науку, — это плодъ
Усовершенствованныхъ думъ;
Надъ ней пытай свой шаткій умъ
И свѣтъ ея неси впередъ. (*Завѣтъ*, т. II, 392—393.)

„Цѣлбно-жгучій ядъ“ науки долженъ преобразить „темную толпу“ въ гражданъ „свѣтлаго царства“.

Міру, какъ новое солнце, сіяетъ
Свѣточъ науки, и *только при немъ*
Муза чело украшаетъ
Свѣжимъ, вѣнкомъ. (*Ibid.*)

Гдѣ толпа прозябаетъ въ невѣжествѣ, тамъ поэтъ и его муза слышатъ мало „братски отзывныхъ, живыхъ голосовъ“; тамъ немного имъ придется записать дѣлъ и словъ, „вѣщихъ и полныхъ значенія правды святой“, словъ, разрѣшающихъ сомнѣнія, являющихся источникомъ силы и покоя. Поэтъ уже ушелъ „изъ-подъ власти темныхъ силъ“ и „озарилъ наукой мракъ волхвованій“; его муза — „жрица мысли“, освобожденная отъ оковъ невѣжества и суевѣрія (*На кладбищѣ*, т. I, 237—239); но поэтъ — „нервъ народа“, и чѣмъ слабѣе духовная связь между нимъ и народною массою, тѣмъ

тягостиѣ его положеніе, тѣмъ сильнѣе онъ чувствуетъ свое одиночество посреди темной толпы, тѣмъ ограниченнѣе область его вліянія. Такъ, поэтъ, полагавшій свое призваніе въ томъ, чтобы „воспѣть страданья народа, изумляющаго терпѣньемъ, и бросить хотъ единый лучъ сознанья на путь, которымъ Богъ его ведетъ“, ощущалъ съ душевною болью, что „пѣснь его безслѣдно пролетѣла“ и не дошла до того самаго народа, которому была посвящена вся его любовь. Мы уже слышали отъ Я. П. Полонскаго, что его пѣсня не можетъ разлиться потокомъ въ темную ночь и ждетъ яснаго утра; въ другомъ мѣстѣ, описывая холодную, пасмурную петербургскую весну, онъ невольно обращается мыслью къ народу:

О, если русскій народъ
Такъ же *встанетъ ото сна,*
Такъ же *цвѣтеть!*... —
Прелестъ такого расцвѣта
Не вдохновитъ и поэта...
Дайте жъ тепла, чтобъ порой
Вѣяло мнѣ изъ окна
Свѣжей грозой, —
Чтобъ солнце, какъ сердце, горѣло,
Чтобъ все говорило и пѣло:

Здравствуй весна! (*Въ маѣ 1867 г., т. I, 433—434*).

Вдохновеніе слабѣетъ и измѣняетъ поэту, застигнутому на степномъ перепутьѣ „свучно-безцвѣтными сумерками“, вмѣсто *дневнаго свѣта*, съ холоднымъ дождемъ и вѣтромъ (*Въ степи, т. II, 143—147*).

Муза, и та, наконецъ, вмѣстѣ со мною стала дрогнуть.
Все говорило ей: *стой! не залетай высоко!*...
Здѣсь даже сказки свои перезабыла старуха,
И *безъ осмысленныхъ словъ* тянется грустный напѣвъ.

Поэтъ встрѣчаетъ въ степи мужика-пахаря и сразу чувствуетъ, какъ мало между ними общаго („*умъ мой и руки мои, видно, не въ помощь тебѣ!*“); шутя онъ предлагаетъ мужику промѣнять его рабочую влчу на Пегаса, чуднаго крылатаго коня, приведеннаго къ намъ изъ Греціи черезъ Европу:

„Слыхалъ ли
Ты объ Европѣ хотъ что-нибудь?“... — „*Нѣтъ, не слыхалъ*“...

Поэтъ описываетъ темному человѣку чудныя свойства удивительнаго коня; слушая его рѣчи, мужикъ подозрѣваетъ

въ своемъ собесѣдникѣ колдуна, но слышитъ въ отвѣтъ, что у него есть другое, странное прозвище: люди зовутъ его *поэтомъ*.

„Слыхалъ ли ты это
Громкое слово: поэтъ?“ — *Не слыхалъ, милый, съ роду*
не слыхивалъ...
Что жъ это значить — поэтъ?! — То же почти, что
колдунъ.

Таково духовное общеніе между поэтомъ и народомъ, находящимся въ состояніи первобытнаго невѣжества: при словѣ *поэтъ* простодушный народъ таращитъ глаза, какъ тотъ колдунъ въ драматической фантазіи Я. П. Полонскаго, который задаетъ дѣвочкамъ-подросткамъ загадку, обѣщая въ награду за удачное рѣшеніе исполненіе любого желанія, — и слышитъ отъ одной изъ нихъ вопросъ: „А если я пожелаю поэтическаго дара?...“ (*Лѣсныя чары*, т. V, 81). А между тѣмъ по деревнямъ могло бы явиться не мало Ломоносовыхъ; „но къ свѣту нѣтъ пути, и свѣтъ ихъ не влечетъ“ (*Хандра и сонъ М. В. Ломоносова*, т. I, 394—400).

Сообразно со степенью развитія человѣка, „не ученаго грамотѣ“ и думающаго о томъ, какъ бы Богъ далъ прокормиться до весны при помощи тощей лошаденки, ограничены и его духовныя потребности: на вопросъ поэта, куда бы онъ полетѣлъ на Пегасѣ, мужикъ отвѣчаетъ:

— „Да куда полетѣть?—нешто въ городъ;
Али бы къ куму махнулъ... А не то обрубилъ бы
Чертовы крылья анаемѣ, да и запрягъ бы въ телѣгу“.
(*Въ степи*).

Трезвый взглядъ на дѣйствительность предохраняетъ поэта отъ туманныхъ увлеченій: устами Камкова (*Свяжее преданіе*, III, 404) онъ признаетъ славянофильство „преждевременнымъ и ложнымъ, пока нашъ мужичекъ безъ языка“.

Аммонъ.

**Нѣтъ правды безъ любви къ природѣ,
Любви къ природѣ нѣтъ безъ чувства красоты.**

Здѣсь мы находимъ, что *чувство красоты*, источникъ любви къ природѣ, является ступенью на пути къ правдѣ, какъ и чувство добра, порождающее любовь къ человѣче-

ству. Изъ этого положенія вытекають важныя слѣдствія: если поэзія должна вести къ правдѣ, а правды нѣтъ безъ любви вообще и любви къ природѣ въ частности, то, очевидно, истинный поэтъ долженъ одинаково одушевляться и чувствомъ красоты и чувствомъ добра. Однако далеко не у всѣхъ поэтовъ оба эти элемента развиты въ равной степени; здѣсь мы подходимъ къ вѣчному вопросу о тенденціозномъ и безтенденціозномъ искусствѣ, и спрашивается, каково же отношеніе нашего поэта къ тѣмъ его собратіямъ, которые служатъ лишь одному изъ принциповъ, составляющихъ содержаніе поэзіи. Въ этомъ вопросѣ предъ нами съ наглядною ясностію выступаетъ широта взгляда Я. П. Полонскаго, не допускающаго никакихъ узкихъ односторонностей: вспоминая съ любовію и благодарностію „вѣщаго пѣвца страданій и труда“, невозмутимаго бойца передъ дверями гроба, учившаго „гражданству“ (О. Н. А. Некрасовъ, т. II 71—72), онъ въ то же время шлетъ дружескій привѣтъ поэту — *счастливцу*, мечты котораго „не знаютъ роковыхъ стремленій“ и который способенъ забыть весь міръ за счастливою рыбной ловлей:

О, въ этотъ мигъ передъ тобой
Что значать Римъ и всѣ преданья,
Обломки славы міровой (А. Н. Майкову, т. I. 291—296).

Я. П. Полонскій любитъ Камену мирнаго пѣвца, которой было неловко, когда поэтъ-художникъ вздумалъ было выйти изъ свойственной ему сферы и пошелъ съ своей подругой „на шумную арену народныхъ браней и страстей“. Но — *summi siquae*: природа беретъ верхъ надъ *искусственной* тенденціей. „Олимпійская жена“ осталась вѣрна своему поэту и самой себѣ и вновь весело ушла съ нимъ „въ объятія природы“. Посланіе къ А. Н. Майкову заключается сердечнымъ завѣтомъ:

Прости, мой другъ! не знай желаній
Моей блуждающей души!

Для того, чтобы *созидать* и быть сердцемъ *ближе къ истинѣ*, не нужно далеко странствовать, потому что

Слѣды прекраснаго художникъ
Повсюду видитъ и — творить,
И оиміамъ его горитъ
Вездѣ, гдѣ ставитъ онъ треножникъ,
И гдѣ Творецъ съ нимъ говорить. (Ibid).

Итакъ, художникъ, служащій *прекрасному*, тѣмъ самымъ приближается къ *истинѣ*, та же глубокая мысль, которую мы только что отмѣтили выше:

Нѣтъ правды безъ любви къ природѣ,
Люби къ природѣ нѣтъ безъ чувства красоты.

Съ неменьшею любовью относится Я. П. Полонскій къ чистой лирикѣ Фета, „соловья-поэта“, „любимца розъ“, чьи волшебныя мечты „не знаютъ нашихъ бѣдъ“, —

Ни злобы дня, ни думы омраченной,
Ни ропота, ни лжи, на все ожесточенной,
Ни поражений, ни побѣдъ. (А. А. Фетъ, т. II, 3 S4—375).

Онъ славить красоту, поетъ привѣтъ вѣчной веснѣ, и этотъ идеалъ не даетъ душѣ поэта зачерствѣть и на склонѣ жизни является источникомъ вдохновенія, „вечернихъ огней“:

На склонѣ скорбныхъ дней еще глаза поэта
Сквозь бездну зла и лжи провидятъ красоту;
Еще душа таитъ горячую мечту
И вдохновеніе,—послѣдній проблескъ свѣта.
(Вечерніе огни, т. II, 326—327.)

И еще разъ Я. П. Полонскій возвращается къ поэзіи Фета—по поводу 50-лѣтняго юбилея покойнаго поэта (28 января 1889 года). Въ этомъ прекрасномъ стихотвореніи немногими, но яркими штрихами изображается міровая игра природы, „затѣянная богами“, игра, въ которую „Фетъ затѣшался и пѣлъ“: немного можно указать поэтическихъ произведеній, гдѣ была бы проведена такая блестящая параллель между жизнью природы и жизнью сердца. Помяну, каковы должны быть пѣсни поэта, внушенныя этою вѣчною гармоніею міровъ:

Пѣсни его были чужды суетѣ и минутъ увлеченія,
Чужды теченью измѣненныхъ нами идей:
Пѣсни его *вѣковыя*,—въ нихъ вѣчный законъ тяготѣнія
Къ жизни,—и нѣга вакханки, и жалоба фей...
Въ нихъ находила природа свои отраженія...
Были *невнятные* и *дики* его вдохновенія
Многимъ—но тайна боговъ требуетъ чуткихъ людей.
(Т. II, 442—443.)

Такая „невнятная“ поэзія, мало доступная для мысли, но говорящая чуткому сердцу, по своему характеру близко под-

ходить къ музыкѣ, геній которой поэтому не даромъ любилъ „сочетанія словъ“ Фета, спаянныхъ въ „нѣчто“ душевнымъ огнемъ; но этого мало: и геній поэзіи видѣлъ въ его стихахъ *мерцаніе правды*, —

Капли, гдѣ солнце своимъ отраженнымъ лучомъ
Намъ говорило: „я солнце!... (Ibid).

Опять та же непрерывная цѣпь — чувство красоты, любовь къ природѣ, *правда*, къ которой поэтъ долженъ вести человѣчество.

Аммонъ.

Національные, славянскіе и общечеловѣческіе мотивы поэзіи Полонскаго.

Поэтъ — „всечеловѣкъ“; идеалъ, который онъ носитъ въ себѣ, есть идеалъ всемірный, — знамя „божественной человѣчности“, братской любви и сознанія; его духъ — отраженіе духа, дышащаго міровою любовью“ и возмущающагося *мировымъ зломъ*. Богъ далъ ему силу „сознавать *весь міръ* такимъ, чтобъ пѣть и лучшаго желать“. Поэтому онъ бережетъ въ душѣ

Ту заповѣдную мечту,
Что *встѣмъ народамъ* смутно снилась,
И что въ земную красоту
Еще нигдѣ не воплотилась (т. II, 271).

Это — мечта, но въ ней одной заключается истинная жизнь; все остальное призрачныя явленія, химеры, осужденныя на смерть, ненужныя Божьимъ небесамъ (*Стансы*, т. II, 391).

Безъ этой творческой мечты
Нѣтъ правды въ людяхъ, смысла въ лицахъ, —
Нѣтъ ни одной живой черты
На историческихъ страницахъ (т. II, 271).

Но, если поэтъ не различаетъ „эллина“ отъ „іудея“ онъ тѣмъ не менѣе ближе всего сознаетъ и ощущаетъ кровную связь со своимъ народомъ: „нервъ человѣчества“ есть черезъ это и притомъ, по преимуществу, „нервъ народа“; онъ волна океана, называемаго Россією, и живетъ одною жизнью со *своимъ великимъ цѣлымъ*. Міровыя упованія и скорби не

заслоняють отъ его взора текущей народной жизни со всѣмъ ея горемъ и надеждами (*На корабль*, т. I, 261, *Былый*, т. I, 346—348, *Голодъ*, т. I, 468—470, *Московскимъ торговцамъ*, т. II, 328—329, *Борицу*, т. III, 88—89, *Въ голодный годъ*, т. III, 104—105); жажда для всего міра восхода новой зари, онъ всего сильнѣе желаетъ, чтобы цѣлебная сила прикоснулась до „язвъ Россіи“. Родина нерѣдко бываетъ сурова къ поэтамъ и ихъ иллюзіямъ, и вѣра въ свой народъ, въ свою страну не разъ переживаетъ испытанія; къ горячему, неугасимому чувству любви къ родинѣ примѣшивается порой горечь сомнѣнія, разочарованія, даже озлобленія. Творецъ *Горя отъ ума* „отдыхалъ душою“ на югѣ отъ „ледяного сѣвера“, гдѣ онъ оставилъ за собою „бездушную зиму“, „холоднаго сердца“ (т. II, 275—276), — и Я. П. Полонскій также живо чувствуетъ, что „холодный сѣверъ нашъ печаленъ и суровъ“ (т. II, 285); мы уже видѣли, какъ его мучитъ народная темнота (*Въ степи*), какое грустное впечатлѣніе производитъ на него холодная, мрачная, похожая на осень весна русской природы и русской народной жизни (*Въ маѣ 1867 г.*), какъ угнетаютъ его душу безтолковая, незрѣлая рознь, путаница и озлобленіе въ умахъ русскихъ людей, отсутствіе высшихъ идеаловъ въ окружающемъ обществѣ, его пустота, безцвѣтность и пошлость (*Рознь, Одному изъ усталыхъ, Приходите толпою, Хандра, На пути изъ юстей*, т. I, 217—221). Все это тѣмъ тяжелѣе ложится на душу, что человѣку приходится самому жить прямо лицомъ къ лицу съ этой сѣрой обстановкой и страдать отъ нея, а инстинктивное чувство тяготѣнія къ своему еще усиливаетъ тягость ощущенія. Я. П. Полонскій вспоминаетъ дѣтскіе годы, когда все окружающее являлось въ радужномъ свѣтѣ, когда все бралось на вѣру, и умъ еще не зналъ разочарованія, — и невольно жалѣетъ, что не могъ на всю жизнь остаться при дѣтскихъ наивныхъ фантазіяхъ (*Дѣтское геройство*, т. I, 423—425). Это было время, когда поэтъ любилъ свой родной край безсознательно, какъ векша, цапля или воронъ любятъ сумракъ бора, береговой иль и кучу сора. Но настали дни юности, и поэтъ сталъ любить свою родину, какъ сынъ — родную мать, женихъ — невѣсту, гражданинъ — права или свободу... Что будетъ дальше? „Буду ль я по гробъ мечтательно любить родной

мой край?" спрашиваетъ поэтъ самого себя и отвѣчаетъ:
„не знаю“.

Мать можетъ сына оскорбить,
Невѣста можетъ измѣнить,
Народъ свободу погубить,
Все можетъ быть...

Но, — нѣтъ, — не дай мнѣ Богъ простыть,—

Простыть къ родному краю! (*Въ ребяческіе дни*, т. II, 73.)

Это моленіе услышано, — и поэтъ продолжаетъ любить свою родину, видя въ ней залогъ усовершенствованія, неугасающій духъ идеальныхъ порывовъ, готовность на безкорыстные подвиги любви:

Сіяй намъ, вѣра! Прочь сомнѣнья!
Русь не была бы никогда
Такой великою Россіей,
Когда бъ она была чужда
Любви, завѣщанной Мессіей.

(15 июля 1888 г., т. II, 376—379.)

Мы еще не оскудѣли сердцемъ; мы еще рады считать плѣнныхъ братьями, помогать разрозненнымъ единовѣрцамъ. Безъ насъ не встала бы Греція, не пала бы власть Наполеона, безъ насъ забыли бы славяне:

Распатывая вражьи силы,
Мы не считали нашихъ ранъ...
Мы за геройскія дѣянья
Не ждали злата и серебра...
За дѣло славы и добра
Мы не просили воздаянья...
И если перстъ Господній вновь
Намъ цѣль великую укажетъ,—
Что дѣлать? сердце намъ подскажетъ
И христіанская любовь. (*Ibid.*)

Стало-быть, поэтъ вѣрить, что его народъ способенъ, насколько это возможно вообще, осуществить всемірный идеалъ. Тѣмъ болѣе ему видѣть уклоненія отъ этого идеала и слышать злобныя нареканія иноземцевъ, если они не лишены правды. Не менѣе молодого художника Игната (*Въ концы сороковыхъ годовъ*, т. III, 233—310) самъ поэтъ скорбѣлъ, когда западная пресса въ одинъ голосъ обзывала русскихъ

варварами, врагами свободы и прогресса; онъ говоритъ одновременно про своего героя и про себя самого:

Патріотизмъ его былъ безъ защиты;

Онъ, такъ сказать, былъ въ сердце пораженъ (т. III, 273).

На крики и навѣты клеветы, навѣянные духомъ одной злобы или узкаго непониманія, исходятъ ли они отъ чужихъ, или отъ своихъ, если и заставляютъ страдать, то развѣ отъ сознанія умышленной или слѣпой несправедливости, могутъ возмущать, какъ ложь, раздражать, какъ тупость, — и не болѣе. Всѣмъ такимъ яростнымъ хулителямъ Россіи поэтъ отвѣчаетъ:

Но этихъ криковъ и клеветъ
Не струсить никакой поэтъ,—
Гордиться будетъ нареканьемъ
Когда твой умъ или твой духъ
Ему послужитъ оправданіемъ.

(Бранятъ, т. I, 401—403.)

Давая завѣтъ „усовершенствовать то, что есть, — себя, свой даръ, свой трудъ“, указывая на это стремленіе, какъ на живой предметъ заботъ, какъ на единственную честь человѣка, — нашъ поэтъ заключаетъ свои заботы такими словами:

Будь вѣренъ родинѣ своей,
Да просіяетъ и она,
Коль Богомъ сила ей дана

Усовершенствовать людей. (Завѣтъ, т. II, 392—393.)

Родина поэта явила не мало примѣровъ этой данной ей силы, и одинъ изъ этихъ примѣровъ Я. П. Полонскій выводитъ передъ нами, чувствуя память Ломоносова: увѣнчивая тѣнь великаго русскаго піонера за „трудный подвигъ начинанья“, за „первый лучъ народнаго сознанья“, такъ ярко блеснувшій въ его лицѣ, поэтъ поднимаетъ „торжественный бокалъ во славу разума, съ прошедшимъ сочетавъ *грядущій идеалъ* (Хандра и сонъ М. В. Ломоносова, т. I, 394—400).

Начатое однимъ продолжаютъ другіе. „Возрожденіе русской музы“, геній, вмѣстившій въ себя сѣверъ, западъ и востокъ, пророкъ, жгущій сердца, поэтический Мессія — таковъ главный представитель родной поэзіи, „всеобъемлющій и великій, какъ Россія“ (А. С. Пушкинъ, т. II, 312—316). У гроба Тургенева поэтъ надѣлаетъ вѣнкомъ родину, по-

дарившую намъ „истолкователя трехъ нашихъ поколѣній“, поэта русскихъ думъ, вѣщуна, пролившаго въ сердца тепло и свѣтъ.

Пусть всѣ эти цвѣты
Отчизна милая вполететь въ свой тернѣ колючій,
Чтобъ обновить свои надежды и мечты.

(27 сентября 1883 г., т. II, 322—323.)

Не даромъ богатырь Иванъ Буслаевичъ, ополчающійся на Кривду сперва силою меча, а потомъ силою слова, которое сильнѣе меча, — ходитъ по Руси. Заря обновленія, мы видѣли, можетъ взойти и изъ-за стѣнъ Кремля, и изъ-за ограды кievскихъ монастырей, и съ береговъ Невы.

Между человѣчествомъ и родиною есть еще два соединительныхъ звена, постоянно близкихъ сердцу поэта: первое изъ нихъ — Европа, та „старая“ Европа, которая „пугливо ждетъ внезапныхъ потрясеній“ (Въ альбомъ Андо, т. II, 380—381), та „живая статуя“, которая изнываетъ на пути къ новому столѣтію подъ бременемъ оружія, „ждетъ войны и гнета“. Какъ на родинѣ, такъ и здѣсь грустная дѣйствительность мало соотвѣтствуетъ идеалу: духъ зла еще торжествуетъ надъ „Божіимъ духомъ“; Асмодей плодитъ озлобленныя партіи, искажаетъ высокія стремленія, разжигаетъ безчеловѣчную, бессмысленную рѣзню. Поэтъ совѣтуетъ молодой Японіи не подражать Европѣ, не знать ея гордыхъ грезъ и позднихъ сожалѣній, итти впередъ „безъ пресыщенія, безъ наглої нищеты, безъ рабскаго смиренія“ (II, 380); но „самобытный геній“ юнаго народа, не нуждающійся въ „заемныхъ вдохновеніяхъ“, тѣмъ не менѣе, долженъ усвоить результаты, добытые вѣковою работою европейской мысли, приобщиться „цѣлебно-жгучаго яда“ наукъ, разливающагося съ Запада. Самобытный геній долженъ стать ученикомъ; но разъ онъ самобытный, — онъ въ свою очередь будетъ давать полезныя уроки своему учителю, и процессъ обученія станетъ взаимнымъ. „Учись у ней, — уча“, (ibid.). Старая Европа въ глазахъ поэта не представляется безнадежно дряхлою: она еще способна сама учиться у другихъ. Мы вновь переживаемъ средніе вѣка; Европа, „холодная, разсчитливая, злая“, глядитъ на кровь нашихъ братьевъ-славянъ, одна Россія рукоплещетъ имъ, прославляетъ ихъ геройство и оплакиваетъ ихъ мученія (т. IV, 178),

но свѣтъ грядетъ, — и гордый Альбіонъ, ратующій за торгашей, за Магомета, за рабство, познаетъ истинный „духъ вѣка“, раскроетъ глаза и очнется въ ужасъ (т. II, 217); не даромъ она родина Шекспира и Байрона, духъ котораго былъ сродни духу Греціи (т. IV, 20). Также точно „просвѣщеннѣйшій народъ“, „нашъ великій просвѣтитель“, опьянѣвъ въ чаду военной славы, слѣдуя инстинктамъ дикаря, забывъ на время идеалы человѣчности, наступаетъ на горло своей жертвѣ и дробить ея члены, какъ на плахѣ (*Сложилъ свой мечъ*, т. II, 1—4); все измѣнилось со временъ Шиллера, — но навсегда ли? Можетъ ли страна, породившая пѣвца гуманности, навѣки пропахнуть запахомъ крови и пороха? Пробужденіе должно послѣдовать, и оно послѣдуетъ, хотя, можетъ быть, нѣсколько поздно: у исторіи, у „духа вѣка“ есть своя Немезида для тѣхъ, кто не слышитъ во-время его голоса. Эту Немезиду уже извѣдала однажды Франція дореволюціонная и дважды Франція императорская (ср. *Духъ вѣка*); теперь, когда поворно палъ подъ Седаномъ отъ своего произвола тотъ, „кто думалъ произволъ собой увѣковѣчить“ (т. II, 3), — если падетъ Франція, обезоруженная его клеветами, „съ ея могилы встанетъ мститель“, который дастъ понять безпощадному побѣдителю „силу полураздавленныхъ идей“ (*ibid.*, 4), и Германія на ряду съ Альбіономъ очнется „передъ судилищемъ Бога“.

Мало отраднато представляеть взору поэта современная Европа на протяженіи почти пяти десятилѣтій: мы приводили на память стихотворенія, относящіеся къ эпохѣ 70—80-хъ годовъ; укажемъ еще *Одному изъ дѣтей въ Парижѣ* (т. I, 333—334), рисующее эпоху торжества французскаго цезаризма 50—60-хъ годовъ.

Враждуйте, племена всѣхъ странъ!
Вотъ вамъ республика и тронъ,
И христіанство, и Коранъ,
Мадзини и Наполеонъ!

(*На Черномъ морѣ*, т. I, 260.)

Таковъ крикъ, направляющій ходъ событій въ Европѣ. Но та же искони разрозненная, пропитанная духомъ вражды Европа встала, какъ *одинъ человекъ*, чтобы „отликовать“ юбилей того, кто приготовилъ торжество свѣта надъ мракомъ. Значитъ, идеализмъ еще не умеръ, связывается еще съ вы-

питательной силой, и въ будущемъ сіяетъ свѣтъ любви и разума.

Крестовые походы

Еще не кончены, и рыцари Креста
Средь торгашей, льстецовъ и лицемѣровъ
Еще не вымерли... (*Келіотъ*, т. IV, 178).

Второе звено въ указанной выше цѣпи — славянство и вообще православный Востокъ, не менѣе Запада занимающій видное мѣсто въ поэзіи Я. П. Полонскаго. Кромѣ указанныхъ выше стихотвореній, внушенныхъ событіями кровавой борьбы за свободу, приведемъ еще такія пьесы, какъ *Симеонъ царь Болгарскій* (т. II, 41—46), *Черногорскій ключъ* (II, 408—409), наконецъ, поэму *Келіотъ* (т. IV, 20—179), произведенія, проникнутыя живѣйшимъ сочувствіемъ къ судьбамъ греко-славянскаго міра (но не къ „растлѣнной“ Византіи, — II, 45). Славяне дороги Я. П. Полонскому не только какъ люди, томящіеся подъ варварскимъ игомъ и рвущіеся къ свободной человѣческой жизни, но и какъ единоплеменники и единовѣрцы; къ братству общечеловѣческому присоединяются еще ближайшія, тѣснѣйшія узы, значеніе которыхъ поэтъ признаетъ вполнѣ. Эти забытые судьбою народы — братья намъ и между собою по преимуществу (т. II, 191, 194, 219), и измѣна этому кровному родству есть истинное дѣло Сатаны, который принимаетъ, какъ сына, славянина-ренегата, лицемѣрившаго ради политики и вѣрно служившаго адскому начертанью: „Славянъ больше всѣхъ истребляй, славянинъ“ (*Ренегатъ*, т. II, 198). Симпатія поэта къ его „нищимъ братіямъ“, которыхъ надменный англичанинъ обзываетъ допотопными христіанами и неучами (т. IV, 167), такъ жива, что даже ему грезится во снѣ, будто онъ сражается за нихъ съ ихъ врагами, — „да расточатся духи зла, и да воскреснетъ христіанство“ (*Грезы*, т. II, 191—194). Враги — не одни Османы; поэтъ съ ужасомъ видитъ и не хочетъ вѣрить, что во славу Магомета выслали крещенныхъ солдатъ; Европа, какъ Пилать, умываетъ руки, отпускаетъ Варавву и выдаетъ Христа въ угоду фарисеямъ. Стыдясь за просвѣщеніе, поэтъ обличаетъ „безчеловѣчную и безбожную политику“, при которой все ничтожно — и богатство, и слава, и при которой нельзя идти впередъ, несмотря ни на какіе расчеты:

Въ дѣлахъ, въ которыхъ невозможно,
Чтобъ человѣкъ и Богъ сошлись, —
Нѣтъ духа истины... Спасти
Нельзя блестящимъ лицемѣремъ...
Дни вашей славы сочтены...
Воскресъ нашъ духъ, и мы возстали.
У сильныхъ міра не спросясь,
Мы помощи отъ братьевъ ждали,
Мы — не надѣялись на васъ... (Ibid., 193).

Пробужденіе отъ сна возвращаетъ поэта къ дѣйствительности? какъ далеко залетѣлъ его духъ, „жалкій плѣнникъ тѣла“! И къ чему:

... Какое дѣло
Возставшимъ братіямъ моимъ
До тѣхъ, кто въ мірѣ одержимъ
Одними грезами.. (Ibid., 194).

Дѣйствительно, имъ пока не до грезъ; но придетъ время, — и эти самые братья узнаютъ и оцѣнятъ по достоинству того, кто

... въ народъ свой
Вѣрилъ и — страдалъ,
И ему на цѣпи братьевъ
Издали казалъ (т. II, 219).

Эти стихи Я. П. Полонскаго, посвященные памяти Тютчева, не менѣе приложимы къ самому ихъ автору.

Сознаніе русско-славянской солидарности, однако, не превращается у нашего поэта ни въ какую политическую теорію на подкладѣ вражды и презрѣнія къ западному міру. Всякій духъ вражды и исключительности чуждъ его душѣ; если просвѣщенная Европа изъ политическихъ расчетовъ хладнокровно смотритъ на гибель христіанъ или даже помогаетъ туркамъ душить ихъ, — это вызываетъ понятное негодованіе и стыдъ за просвѣщеніе, побуждаетъ даже на время усомниться въ будущности Европы, какъ мы сейчасъ видѣли; но поэтъ далекъ отъ того, чтобы выводить изъ этого несовмѣстимость, діаметральную противоположность Запада и Востока и еще менѣе — злорадоваться по поводу гніенія перваго. Его точка зрѣнія общечеловѣческая и христіанская; его единственная горячая мольба — о прекращеніи розни, о братствѣ всѣхъ народовъ на началахъ

любви и равноправности, безъ поглощенія однихъ націй другими:

Боже!

Когда же, наконецъ, враждѣ и фанатизму,
Невѣжеству и варварству народовъ
Положишь ты предѣлъ?.. Когда исчезнетъ рознь
Религій, расъ, племенъ, идей и націй,
И всепревозмогающею станетъ
Одна святая сила — истина?... (*Келіотъ*, IV, 178.)

Этотъ вопросъ, проходящій красною нитью по всей поэзіи Я. П. Полонскаго, конечно не скоро дождется отвѣта; но лишь бы не угасала вѣра въ святую силу истины, — и человеку на склонѣ лѣтъ становится легче дышать и нести бремя своей жизни: одного блѣднаго луча достаточно для того, чтобы надѣяться на восходъ солнца, на наступленіе тепла и свѣта. Такъ, проснувшись въ потемкахъ, поэтъ съ усиленіемъ разглядываетъ сквозь завѣшенные гардины полосу ночного неба, —

И этой малости довольно, чтобы понять,
Что я еще не слѣпъ, и что во мракѣ этомъ
Все, все пророчески полно холоднымъ свѣтомъ,
Чтобъ утра теплаго могли мы ожидать!

(*Въ потемкахъ*, т. III, 114.)

„Измученный“ поэтъ бредетъ по дорожной слякоти и плохо видитъ передъ собою дорогу, но несетъ еще съ собою

Страсти жаръ неутоленной,
Холодъ мысли непреклонной,
Жажду *правды роковой* (*Н. И. Лорану*, т. II, 357—359.)

Эта ноша тяжела при осенней непогодѣ: „умъ тупѣетъ, грудь устала, чувство стынетъ въ этой мглѣ“. Другое дѣло, если бы было теплое лѣто: тогда путь казался бы не дологъ, сердечный жаръ не простылъ бы, —

Я бъ надеждою безпечной
Духъ мой втайнѣ веселилъ...
И меня бъ съ утратой силъ
По дорогѣ къ *правдѣ вѣчной*
Холодъ мысли не знобилъ (*ibid.*, 359).

Но, несмотря на мракъ и непогоду, поэтъ все-таки идетъ со своею ношею, и чувство усталости и унынія, по време-

намъ овладѣвающее слабою природою человѣка, опять смѣняется бодрою вѣрою и жаждою жизни и кипучей дѣятельности. Не можемъ отказать себѣ и читателямъ въ удовольствіи привести цѣликомъ прекрасную „Аллегорію“ Я. П. Полонскаго, написанную на эту тему:

Я ѣду... Мракъ меня гнететъ,
И въ ночь гляжу я... Огонекъ
Навстрѣчу мнѣ то вдругъ мелькнетъ,
То вдругъ, — какъ будто вѣтерокъ
Его задуетъ, — пропадетъ...
Ужъ тамъ не станція ли ждетъ
Меня въ свой тѣсный уголокъ?...
Ну, что жъ! Я знаю напередъ:
Возница слѣзетъ съ облучка
И клячъ усталыхъ отпряжетъ,
И при мерцаньи ночника
Въ сырой покой меня сведетъ
И скажетъ: лягъ, родной мой, вотъ
Досчатый одръ, — засни пока...
А ну, какъ я, презрѣвъ покой,
Не захочу, не лягу спать
И крикну: живо, хрычъ съдой!
Вели мнѣ лошадей мѣнять!
Да слушай ты: впряги не клячъ, —
Лихихъ коней, чтобъ могъ я вскачъ
Опередившихъ насъ догнать!...
Чтобъ могъ прижать я къ сердцу вновь
Все, что впередъ умчалъ злой рокъ:
Свободу, молодость, любовь...
Чтобъ загорѣвшійся востокъ
Открылъ мнѣ даль, — чтобъ новый день
Разсвѣялъ этой ночи тѣнь
Не такъ, какъ этотъ огонекъ!...

(Аллегорія, т. II, 341—342.)

Какъ это стихотвореніе, такъ и другое, напоминающее его (*Въ темлѣ жизни*, т. II, 182), очевидно, навѣяно Пушкинскою *Темлой жизни*, но поражаетъ своимъ неожиданнымъ финаломъ: вмѣсто вечерней дремоты и желанія отдыха снова просыпается задоръ и пылъ утра жизни! Поучительно сопоставить эту *Аллегорію* съ *Спрыми годами*; изъ этого сопоставленія мы, можетъ быть, убѣдимся, что сердце поэта и теперь такой же „плохой мертвецъ“, какимъ было во дни его молодости, когда не хотѣло умирать „изъ-за каждой хорошенькой вуклы“ (*Плохой мертвецъ*, т. I, 240). Правда,

Сърые годы писаны позже *Аллегоріи* приблизительно на десятилѣтіе, но зато въ одной эпохѣ съ ними относятся *Правда и Кривда* и послѣднія главы *Собака*, и *Монолог*, и *Я—чадо природы*.

Вообще неумолимое время, хотя и вліяетъ на тонъ лирики Я. П. Полонскаго, но это вліяніе не настолько сильно, чтобы можно было говорить о различіи характера его творчества въ различныя эпохи, и чтобы при разборѣ его произведеній со стороны ихъ настроенія нужно было особенно кропотливо справляться съ годами ихъ написанія. Во всѣ эпохи своей жизни поэтъ неизмѣнно шелъ „по дорогѣ къ правдѣ вѣчной“, и самыя мучительныя разочарованія и сомнѣнія никогда не могли убить въ немъ вѣру въ эту правду. Вѣра въ идеаль, озарявшая его юность, продолжаетъ и въ старости свѣтить ему во мракѣ путеводною звѣздою.

Мы могли бы привести еще не мало яркихъ примѣровъ гуманной отзывчивости нашего поэта и его бодрой чуткости къ очереднымъ вопросамъ, волнующимъ общество (*Міазмъ*, т. II, 24—29, *Шимонъ*, II, 30—34, *Казимиръ Великій*, II, 129—136, *Натурищица*, II, 282—284, *Что мнѣ она?* т. II, 297—298, *За непогрѣшимость*, т. II, 5—8, *На улицахъ Парижа*, II, 138—140, *Старые и новые души*, II, 61—65, *Послѣ чтенія „Крейцеровой сонаты“*, III, 69—72), — но полагаемъ, что и сказаннаго вполне достаточно для выясненія личности Я. П. Полонскаго, какъ человѣка и поэта. Не задаваясь бесполезною задачею — опредѣлять мѣсто, занимаемое имъ въ ряду русскихъ писателей, — скажемъ только, что во всякомъ случаѣ почетное мѣсто въ исторіи русской поэзіи обезпечено за Я. П. Полонскимъ. Его дѣятельность — фактъ, который не пройдетъ безслѣдно для русскаго самосознанія; въ его поэзіи мыслящій русскій читатель найдетъ все, чѣмъ жило, страдало и чему вѣрило его сердце. Со всѣми ея кажущимися противорѣчіями и блужданіями во тьмѣ эта поэзія человѣчности, исканія свѣта представляетъ одно цѣлое, проникнутое единымъ духомъ, всегда полное мысли и чувства, изящное по формѣ, и, изученная въ цѣломъ, она оставляетъ глубокое впечатлѣніе. Отъ большинства современныхъ ему поэтовъ Я. П. Полонскій выгодно отличается широтою міросозерцанія, разнообразіемъ мотивовъ, отсутствіемъ партійной узкости въ вопросахъ общественныхъ

или литературныхъ. Это — одинъ изъ людей 70-хъ годовъ, по счастью для насъ сохранившій идеализмъ своей юности, вмѣстѣ съ тѣмъ не отставшій отъ вѣка и давшій намъ, кромѣ своей лирики, цѣнную галерею правдивыхъ портретовъ изъ русской жизни разныхъ эпохъ: Алексѣй Гайдунъ и баронъ Кульгофъ, Шушу и Гвоздевъ проходятъ передъ нами, чередуясь съ фигурами 40-хъ и даже 30-хъ годовъ, каковы художникъ Игнатій, Камковъ и эксцентрическій визионеръ-мечтатель Вадимъ Кирилинъ (*Мечтатель*, V, 405—474). *Художникъ-гуманистъ*, — вотъ, по нашему мнѣнiю, наиболѣе вѣрное опредѣленiе личности нашего уважаемаго поэта. Позволяемъ себѣ надѣяться, что изданiе полного собранiя стихотворенiй не означаетъ еще превращенiя поэтической дѣятельности, что духъ поэта сохранить и на будущiе годы свою бодрость, и что до конца не порвется кровная связь поэта съ его роднымъ, холоднымъ сѣверомъ.

Пусть злая осень добила дождемъ
Пажити, вѣтромъ измятыя, —
Вы, какъ птенцы, народились въ моемъ
Сердцѣ, — *надежды крылатыя*.
Солнце зоветъ васъ покинуть туманъ, —
Солнце зоветъ все, что молодо,
Къ свѣту, къ теплу, въ рай полуденныхъ странъ,
— Отъ листопада и холода.
Тщетно! *Для сѣвера* вы рождены,
Вьюгъ нашихъ трусить не будете
И, пострадавши до новой весны,
Пѣснями лѣсъ нашъ разбудите (т. II, 296.)

Это писано уже довольно давно; но мы и теперь ждемъ пѣсенъ и не теряемъ надежды услышать ихъ. Толпа вообще „неотзывчива“ (т. II, 357); но равнодушный свѣтъ былъ, по словамъ Я. П. Полонскаго, *неравнодушенъ* къ Ѳ. И. Тютчеву, въ которомъ искры Божьяго огня сверкали ярче отъ окружающаго бездушья или злобы дня (т. V, 218—219).

Оттого ль, что не отъ свѣта
Онъ спасенья ждалъ,
Выше всѣхъ земныхъ кумировъ
Ставилъ идеаль...
Пѣснь его глубокой скорбью
Западала въ грудь
И, какъ звѣздный лучъ, тянула
Въ безконечный путь (Ibid.).

Этими словами, примененными къ другому, уже свершившему свое дѣло поэту, будетъ въ свое время выражаться отношеніе потомства къ поэзіи Я. П. Полонскаго.

Аммонъ.

Полонскій, какъ поэтъ, связанный неразрывно духовною жизнію съ народомъ и человѣчествомъ, отражаетъ на себѣ всѣ колебанія общественнаго настроенія.

Всякій поэтъ идетъ „дорогою свободной“, слѣдуя своему душевному складу, и Я. П. Полонскій вполне признавая „дорогу“ А. Н. Майкова и Фета, самъ не можетъ итти по ней: въ нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ (т. II, 213—214, 442—443), онъ упоминаетъ о *нашихъ бѣдахъ, невѣдомыхъ волшебнымъ мечтамъ Фета, объ излюбленныхъ нами идеяхъ*, желаетъ другу не знать желаній его *блуждающей души*. Просыпаясь яснымъ лѣтнимъ утромъ въ гостяхъ у того же Фета, онъ слышитъ, какъ „муза птичьихъ тѣсенъ“ влечетъ его въ свои чертоги, и заявляетъ въ отвѣтъ на этотъ призывъ къ безмятежному жизнерадостному пѣнію:

Но, какъ рабъ *иной* привычки, Врядъ ли я приму-участье
Жаждающій *иного* счастья, Въ этой птичьей переключкѣ!..
(Въ гостяхъ у А. А. Фета, т. III, 40.)

При всей своей любви и чуткости къ природѣ и при всемъ умѣніи улавливать ея безконечно разнообразныя мотивы и воплощать ихъ въ гармоническіе звуки, Я. П. Полонскій, какъ въ свое время вѣрно указалъ еще Добролюбовъ, лишь потому часто и съ любовью уходитъ въ созерцаніе природы и ея тайнъ, что окружающая жизнь представляетъ его взору слишкомъ мало отраднаго; грустный въ общемъ и мѣстами безотрадный колоритъ его поэзіи есть прямой результатъ „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ“. Однако эта грусть не ведетъ ни къ *квѣтизму* ни къ пессимизму: первый несвойственъ всей духовной личности поэта, для котораго страдать — значитъ жить; отъ второго его спасаетъ вѣра въ идеалъ, муза и до сего дня продолжаетъ *бодрить* его. Прежде всего мы находимъ у Я. П. Полонскаго неоднократное и яркое выраженіе мысли

о неразрывной духовной связи поэта съ его народомъ и со всѣмъ человѣчествомъ:

Писатель, если только онъ
Волна, а океанъ — Россія,
Не можетъ быть не возмущень,
Когда возмущена стихія.

Писатель, если только онъ
Есть *нервъ великаго народа*,
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена свобода".
(Въ альбомъ К. Ш..., т. I, 388.)

То же самое выраженіе, но въ еще болѣе широкомъ значеніи, мы находимъ въ раннемъ драматическомъ по формѣ произведеніи Я. П. Полонскаго: *Больной писатель*:

Нервъ человечества, — писатель, — потрясень. (Т. III, 153).

Итакъ, писатель — волна, частица цѣлаго океана, писатель — *нервъ народа и человечества*, — таковъ тотъ типъ поэта, къ какому примыкаетъ Полонскій. Такъ и самъ онъ смотритъ на свою поэтическую дѣятельность: она, какъ вѣрный барометръ, отражаетъ всѣ колебанія общественной температуры. Отвѣчая на нападки ультра-реальнаго и злобствующаго критика, выведеннаго въ образѣ лающего бульдога, поэтъ отражаетъ обвиненіе въ неясности его туманныхъ пѣсень:

Если пѣснь моя туманна, —
Значить, жизнь еще туманнѣй...
Если пѣсня, какъ барометръ,

Вамъ не лжетъ насчетъ погоды,
Злитесь вы, зачѣмъ такъ вѣрентъ
Этотъ градусникъ свободы.

(Письма къ музѣ, письмо 1-е, т. II, 105.)

Можно, конечно, „подогрѣвать свои пѣсни на огнѣ заемной мысли“, но изъ этого подогрѣванія не выйдетъ ничего, кромѣ фальши (ibid.). Сердце поэта — родникъ его пѣсень, и, смотря по тому, омраченъ ли онъ тучами, или озаренъ свѣтомъ, пѣсня, льющаяся изъ родника, будетъ мрачна или свѣтла:

Мое сердце — родникъ, моя пѣснь — волна, —
Пропадая вдали, — разливается...

Подъ грозой — моя пѣсня, какъ туча, темна,
На зарѣ — въ ней заря отражается. (Т. I, 225.)

Свѣтъ и воздухъ, просторъ и приволье нужны для того, чтобы пѣсня поэта перестала уныло журчать, а разлилась, какъ потокъ, забывъ тоскующій, минорный тонъ:

Чтобы пѣсня моя разлилась, какъ потокъ,
Ясной зорьки она дожидается:

Пусть не темная ночь, пусть горящій востокъ
Отражается въ ней, отливается...

Пусть чиликають вольныя птицы вокругъ,
Сонный лѣсъ пусть проснется, — нарядится,
И сова, — пусть она не тревожитъ мой слухъ
И, слѣпая, подальше усядется. (Т. II, 156.)

Если этого необходимаго условія нѣтъ на лицо, то и уединеніе, устраненіе себя отъ довучнаго свѣта, отчужденіе отъ людей на лонѣ природы не принесетъ душѣ „покоя и забвенія“, — цѣнное признаніе въ устахъ поэта, неоднократно извѣдаваго на себѣ тщету подобныхъ попытокъ. Поэтъ, „больное дитя“, — не можетъ ни брести заодно съ толпой ни жить одиноко (*Памяти В. М. Гаршина*, т. II, 369—372). Обращаясь къ „одному изъ усталыхъ“, ожесточенному людскою тупостью и мелочностью или утомившемуся въ погонѣ за наукою и въ бѣготнѣ „по слѣдамъ младаго поколѣнія“, Я. П. Полонскій указываетъ, что прошли тѣ дни, „когда лѣсную глушь преданье чудными духами населяло“, что мы отошли отъ міеологической эпохи и унесемъ въ пустыню на днѣ разбитой, но все еще живой души не только невыносимыя воспоминанья, но и „неутомимыя, законныя желанья, и жажду жить и двигаться съ толпой“.

О, я и самъ *желалъ* уединиться!
Но, другъ, мы и въ глуши не перестанемъ злиться,
И къ злой толпѣ воротимся опять.

Природа — мать не любитъ вынужденно одинокихъ людей, и доставляя полное наслажденіе безмятежной душѣ жизнерадостнаго лирика, не умѣетъ утѣшать ожесточенныхъ. Не надолго смиряется тревога духа при созерцаніи чудной природы, не надолго разглаживаются „морщины на челѣ“, и изстрадавшійся человѣкъ получаетъ способность „постигнуть счастье на землѣ“ и „видѣть въ небесахъ Бога“.

И ничего не слѣдуетъ природа
Съ такимъ отшельникомъ, которому нужна
Для счастья законная свобода,
А для свободы — вольная страна.
(Одному изъ усталыхъ, I, 382—384).

Аммонъ.

Национализмъ и идеализмъ поэзіи Полонскаго.

Съ появленіемъ сборника новыхъ стихотвореній поэта ¹⁾, отпраздновавшаго свой полувѣковой юбилей, критикѣ, естественно ожидать прежде всего двухъ вопросовъ: 1) сохраняетъ ли поэтъ въ новыхъ произведеніяхъ прежнія достоинства своей поэзіи, не ослабли ли ея звуки и краски? и 2) представляютъ ли эти произведенія позднѣйшихъ годовъ выраженіе чувствъ, вновь переживаемыхъ поэтомъ, т.-е. не повторяется ли въ нихъ лишь пережитое въ дни былые?

Для того, чтобы основательно отвѣтить на эти вопросы о новыхъ стихотвореніяхъ Я. П. Полонскаго, слѣдуетъ привести на память важнѣйшія черты его поэзіи за все время его поэтической дѣятельности и сопоставить ихъ съ произведеніями, вошедшими въ новый сборникъ, подлежащій нынѣ оцѣнкѣ, — что мы и постараемся сдѣлать въ нашей рецензіи. Но для знающаго отличительное свойство музы Полонскаго отвѣтъ на второй изъ этихъ вопросовъ не требуетъ продолжительнаго изслѣдованія, если вспомнить, что наиболѣе характеристическія произведенія его лирики не только выражаютъ то, что дѣйствительно пережито и прочувствовано (какъ то бываетъ у каждаго истиннаго поэта), но является, по большей части, выраженіемъ такихъ ощущеній, которыя оставались въ глубинѣ души поэта дольше, чѣмъ это обыкновенно бываетъ у поэтовъ другого темперамента. Полонскій — одна изъ тѣхъ задумчивыхъ русскихъ натуръ, которая не торопится сообщать свои чувствованія. Ощущеніе западаетъ въ душу такого поэта, и потомъ при благоприятныхъ условіяхъ извлекается имъ оттуда. Вотъ почему оно въ большинствѣ случаевъ не сохраняетъ ѣдкой остроты своей, какъ это мы видимъ у многихъ поэтовъ другого душевнаго склада; его лирическое выраженіе является у него весьма рѣдко крикомъ восторга или громкимъ воплемъ челоуѣка, получившаго свѣжую рану. Если это — дума, то она уже носитъ слѣды долговременнаго внутренняго процесса: поэтъ выражаетъ ее, предварительно поискавъ ей выхода среди неоднократныхъ сомнѣній. Таково общее свойство его поэзіи, не исключая и большей части произведеній юныхъ лѣтъ.

¹⁾ „Вечерній Звонъ“. Стихи 1887—1890 гг.

Итакъ, онъ не только долженъ почувствовать выраженное, но и пожить съ нимъ: оно выливается въ поэтическую форму уже тогда, когда сгущается до послѣдней степени, на которой еще доступно формовкѣ. При такой природѣ творчества, едва ли можно ожидать возвращенія поэта къ давно прошедшимъ ощущеніямъ для ихъ повторенія, какъ-то бываетъ у поэтовъ, легко настраивающихъ свои лиры и ищущихъ какого бы то ни было предмета для своихъ пѣсенъ, при чемъ всегда удобнымъ матеріаломъ служатъ вариации на старыя темы. Это не значитъ, чтобы въ душѣ Полонскаго не могло всплывать давнее былое и становиться вновь предметомъ поэтического произведенія: но когда это бываетъ, то у него оно перерабатывается въ новый матеріалъ и является воспоминаніемъ со всѣми чертами новаго факта душевной жизни, который подвергается описанному выше процессу переживанія.

Въ этой сдержанности чувства — и сильная и слабая сторона лирики Полонскаго: слабая — потому, что она не поражаетъ, не зажигаетъ всякаго читателя; нѣтъ въ ней того жала, которое уязвляетъ и неподатливую для поэтическихъ впечатлѣній натуру: оттого слава такого поэта не громка, кругъ его читателей не очень обширенъ; для массы его произведенія мало замѣтны. Но есть и сильная сторона такого таланта: произведенія его охотно перечитываются по нѣскольку разъ; не поражая съ перваго раза, они, при многократномъ возвращеніи къ нимъ, нравятся болѣе и болѣе. Не собирая вокругъ себя толпы, его муза незамѣтно приобрѣтаетъ себѣ друзей. Полонскій никогда не былъ предметомъ долгихъ журнальных толковъ, но онъ близкій собесѣдникъ многихъ и въ тишинѣ кабинета, и за семейнымъ столомъ, и въ комнатѣ молодой дѣвушки, и въ дѣтской комнатѣ. Его дѣйствіе не публичное, а индивидуальное; поэзія его не блестящая, а задушевная.

Уже эта краткая характеристика творчества Полонскаго показываетъ, что мы имѣемъ дѣло не съ поэтомъ-виртуозомъ, который можетъ обратить вниманіе любымъ изъ своихъ произведеній независимо отъ выражающей въ нихъ личности самого поэта. Потому сборникъ его стихотвореній для насъ является не только прибавленіемъ извѣстнаго числа пьесъ, болѣе или менѣе прекрасныхъ, которыя ждали бы

лишь эстетической оцѣнки, какъ новый вкладъ въ русскую антологию. Мы приступили къ чтенію „Вечернаго Звона“ съ интересомъ болѣе многостороннимъ. Намъ занимаетъ онъ прежде всего, какъ новая глава поэтической жизни русскаго человѣка, отразившаго въ своихъ стихотвореніяхъ полнѣе, нежели кто-либо изъ другихъ лириковъ, внутреннюю жизнь, того поколѣнія, котораго онъ такой симпатичный представитель, и той среды, которой онъ принадлежитъ по своему воспитанію и литературной дѣятельности. Нравственный и умственный законъ, съ которымъ онъ выступилъ на поэтическое поприще, опредѣляется условіями, которыя должно признать благопріятными. Условія эти — русская природа и семья, русская поэзія пушкинскаго періода и Московскій университетъ той поры его, когда въ студенческой средѣ уже были значительно пробуждены мысль и поэтический вкусъ, нравственное чувство и гражданская совѣсть, благодаря оживленію научныхъ силъ и дарованій въ средѣ профессоровъ конца тридцатыхъ и начала сороковыхъ годовъ нашего вѣка. Подъ этими вліяніями образовался душевный складъ поэта, который онъ сохранилъ неизмѣнно до нашихъ дней. Трудовая жизнь, доставшаяся на его долю, не удаляла его отъ среды, которая составляетъ у насъ большую часть читающихъ; постоянная близость къ литературному кругу давала возможность питать умственные интересы, съ которыми вступилъ онъ въ жизнь; обстоятельства жизни не удаляли его и отъ народной среды, пониманіе которой видно въ каждомъ его стихотвореніи, касающемся ея области. Читая произведенія Полонскаго, чувствуешь себя во всевозможныхъ сферахъ русской жизни, которая ему близка, которую онъ не только внимательно наблюдаетъ, но въ которой онъ самъ — непрестанный участникъ. Обладая натурою, по преимуществу, художественною, онъ тѣмъ не менѣе не уединяется въ область художественнаго содержанія для того, чтобы сибаритствовать въ ней, но она служитъ ему для свободнаго поэтическаго воспроизведенія пережитого въ житейской толпѣ на ряду съ своими братьями: потому его поэзія такъ жизненна. вмѣстѣ съ тѣмъ, воспитывая свою фантазію произведеніями европейскаго искусства, онъ не подчинился ни одному иноземному гению и сохраняетъ всюду свою великорусскую природу.

Національність умственного и нравственного склада Полонскаго составляет отличительную черту его поэзіи, настолько выдержанную въ его произведеніяхъ, какой бы области они ни касались, что его можно признать изъ всѣхъ лириковъ второй половины нашего вѣка наиболѣе русскимъ по тому, какъ онъ относится къ окружающей его дѣйствительности, т.-е. какъ она отражается въ его фантазіи, и по чувству и по характеру, насколько она выражается въ его произведеніяхъ, не говоря уже о языкѣ, которымъ онъ ихъ пишетъ. И это справедливо не только въ отношеніи къ тѣмъ произведеніямъ, гдѣ онъ рисуетъ картины и портреты изъ народной жизни, какъ напр.: „Голодь“, „Старая няня“, „Мельникъ“, „Зимняя пѣсня русалокъ“, „Въ степи“, второе „письмо къ музѣ“ и т. п. или къ тѣмъ, которыя даже усвоены низшими слоями грамотнаго люда, каковы: „За окномъ въ тѣни мелькаетъ“, „Затворщица“, „Подойди ко мнѣ старушка“; но и къ тѣмъ его стихотвореніямъ, въ которыхъ онъ вступаетъ въ область чувствъ и мыслей, этой средѣ недоступныхъ, каковы напр.: „Холодѣющая ночь“, „На Женевскомъ озерѣ“, „Финскій берегъ“, „Чтобы пѣсня моя разлилась“, „На улицахъ Парижа“, и многія другія.

Согласно этому русскому складу, муза Полонскаго является намъ кроткою, но въ то же время не уступчивою въ завѣтныхъ своихъ чувствахъ; образъ мыслей ея благороденъ, но чуждъ рыцарства; она выразительна, но далека отъ всякихъ эффектовъ; линіи ея красивы, но свободны отъ всякой позы. Порою можетъ даже показаться, что Полонскій доходитъ до крайнихъ предѣловъ простоты, за которыми уже лежитъ область тривиальнаго: но та поэтическая школа, въ которой онъ воспитывался, въ большинствѣ его произведеній, охраняетъ его отъ рискованнаго шага въ эту область, враждебную поэзіи — и простота отличаетъ его поэзію лишь постольку, поскольку необходима и неизбежна при той искренности, которая свойственна каждому его лирическому изліянію.

При такомъ характерѣ лирики Полонскаго, она получаетъ для насъ интересъ правдивой хроники, написанной перомъ художника, который занимаетъ въ ней центральное мѣсто. Потому каждый новый сборникъ его стихотвореній, неразрывно, съ интересомъ эстетическимъ, удовлетворяетъ и ин-

тересу свойственному повѣствованіямъ о лицахъ, успѣвшихъ захватить наше вниманіе и симпатію своею внутреннею жизнію.

Внутренняя жизнь поэта этого склада, который очерченъ нами выше, привлекаетъ прежде всего тѣмъ идеализмомъ, который въ теченіе полувѣка сохранялъ онъ, несмотря на неблагопріятныя условія.

Поэтъ выступилъ на свое поприще въ эпоху разложенія патріархальныхъ порядковъ общественной жизни и традиціоннаго образа мыслей. Онъ вступилъ въ умственное теченіе вѣка, ознаменованное разладомъ мысли съ потребностями чувства и совѣсти. Эта борьба захватила его душу на ряду съ его современниками — и, конечно, наложила значительную печать на его поэзію. Здѣсь индивидуальность поэтической натуры Полонскаго проявила характеръ, весьма отличный отъ другихъ его собратій на поприщѣ слова. Въ то время, какъ одни, отдавшись эвдемоническому жизнелюбію, безъ вниманія къ интересамъ высшаго порядка, видѣли удовлетвореніе всѣхъ человѣческихъ потребностей въ пользованіи виѣшними благами жизни, другіе, отвернувшись отъ вѣковыхъ запросовъ вѣры и разума, ограничивали свой кругозоръ практическою сферою гражданскихъ заботъ и согласно съ ними перестраивали понятія о нравственности, третьи являлись популяризаторами упрощеннаго механическаго міровоззрѣнія, — а изъ совокупности всѣхъ этихъ усилій слагался кодексъ современнаго матеріализма, который на время обманулъ многихъ своею стройностію, — въ это время натуры, настроенныя идеалью, чувствовали болѣе, чѣмъ когда-либо, свое одиночество. Изъ нихъ личности, мысль которыхъ была возбуждена и которые, слѣдовательно, не могли удовлетворяться догматизмомъ, пассивно усвояемымъ въ дѣтствѣ, были предоставлены и наукою и жизнію исключительно самимъ себѣ. Полонскій однажды выразительно высказалъ это горькое чувство одиночества:

Какое дѣло вамъ, счастливыцъ,
До вспышекъ сердца моего?
Вы не дали ему отрады —
И не возьмете ничего.
Какое дѣло вамъ, педанты,
До скорби духа моего?

Вы на вопросъ мой, самый жгучій,
Не отвѣчали ничего.
Сокровищъ сердца, силы мысли
Ужъ я не жду ни отъ кого...
И все, чѣмъ я дышу покуда,
Творю почти изъ ничего.

Не трудно понять, какъ нелегко жилось среди такихъ условій жизни личности, которая не можетъ поступиться своимъ идеализмомъ: она носить въ душѣ неодолимую потребность гармоническаго міровоззрѣнія — и остается съ нею одна, не находя никого, кто раздѣлилъ бы съ нею эту умственную жажду; она алчетъ увидѣть хотя малѣйшее осуществленіе гармоніи въ жизни — и окружена людьми, отрицающими самый принципъ этой гармоніи. Не удивительно, что Полонскій такъ часто возвращался къ выраженію чувства душевной боли, которую причиняло ему зрѣлище окружавшей его жизни: согласно сдержанному его характеру, это выражается у него чаще какъ чувство недовѣрія къ жизни:

Жизнь движется впередъ походкою неровной:
Ея намѣренья ужели ты постигъ?
Чтобъ высказать себя, жизнь ловить мигъ условный:
Ужели отъ тебя зависитъ этотъ мигъ?
Жизнь терпѣливая привыкла къ испытаньямъ —
Не вѣдаетъ конца и не спѣшитъ къ концу.
Поэтъ! не вѣрь ея тоскливымъ ожиданьямъ,
И вѣрь съ трудомъ ея веселому лицу.
Порою это чувство уже звучитъ упрекомъ:
Хоть сотую долю тяжелыхъ задачъ
Рѣши ты намъ жизнь безтолковая,
Некстати къ намъ нѣжная,
Некстати суровая,
Слѣпая, безпутно-мятежная!
(„И въ праздности горе и горе въ трудѣ“).

Наконецъ несостоятельность жизни вызываетъ у поэта чувство страданія:

Покоя-ль ожидать? — но тамъ, гдѣ наши силы
Стремятся на просторъ и рвутся изъ пеленъ,
Гдѣ правды нѣтъ еще, а вымыслы постылы —
Тамъ нѣтъ желаннаго покоя внѣ могилы,
Тамъ даже сонъ любви — больной, тревожный сонъ.
(„Среди хаоса“).

И поэтъ не могъ придавать цѣны поученіямъ жизни. Онъ шелъ своимъ путемъ и съ юности искалъ разсвѣтъ этотъ мракъ, вѣруя въ свѣтъ знанія и творчества:

И я сынъ времени, и я
Былъ на дорогѣ бытія
Встрѣчаемъ демономъ сомнѣнья...
Весь міръ открытъ моимъ очамъ,
Я снова городъ, могучъ, спокоенъ.
Пускай разрушенъ прежній храмъ,
О чемъ жалѣть, когда построенъ
Другой — не на холмѣ гробовъ?...
...И вотъ
Всѣ геніи земного міра
И всѣ кому послушна лира,
Мой храмъ наполнили толпой.

Эта вѣра въ царство мысли, противоположное темной житейской сферѣ, бывала высказана Полонскимъ неоднократно съ силою искренняго убѣжденія, когда онъ писалъ:

Для созерцающихъ очей
И для внимательнаго слуха
Доступенъ тайный образъ духа,
И внятень смыслъ его рѣчей.
(„О, подними свое чело.“)
Міру, какъ новое солнце, сіяетъ
Свѣточъ науки, и только при немъ
Муза чело украшаетъ
Свѣжимъ вѣнкомъ.
(„Царство науки не знаетъ предѣла“).

Изъ послѣднихъ стиховъ ясно, въ какую тѣсную связь съ озареніемъ разума ставитъ Полонскій успѣхъ поэтической дѣятельности. Въ одномъ изъ стихотвореній 1872 г. онъ ставитъ въ числѣ условій, необходимыхъ для поэзіи, на ряду съ вѣрою, воспріимчивостію души къ красотамъ природы и къ чувствамъ людей, — и энергію разума, но разума, ищущаго раскрыть смыслъ жизни, управляемой закономъ высшей истины:

Пока вникаешь ты въ задачу жизни сложной,
Пока ты вѣришь въ непреложный
Законъ любви, добра и истины святой —
Поэзія еще съ тобою, милый мой.
(„Поэзія“).

Искомая поэтомъ полнота душевной жизни въ одномъ изъ лучшихъ стихотвореній поставлена даже въ прямую зависимость отъ познанія міра:

Изъ вѣчности музыка вдругъ раздалась,
И въ безконечность она полилась,
И хаосъ она на пути захватила,
И въ безднѣ, какъ вихрь, закружились свѣтила:
Пѣвучей струной каждый лучъ ихъ дрожить,
И жизнь, пробужденная этою дрожью,
Лишь только тому и не кажется ложью,
Кто слышитъ порой эту музыку Божью,
Кто разумомъ свѣтель, — въ комъ сердце горить.

И когда поэтъ постигаетъ эту гармонію вселенной, онъ обрѣтаетъ бодрость духа, и эгоистическія чувства умягчаютъ въ немъ передъ высшими законами вселенной (см. стих.: „Міровая ткань“).

Но поэтъ вѣритъ въ возможность осуществленія гармоніи не только во вселенной, но и въ исторической жизни людей; онъ полагаетъ важнѣйшею ошибкою тѣхъ, кто управляетъ судьбами народовъ на землѣ, непониманіе *духа вѣка*, въ которомъ мудрецъ долженъ понять указаніе свыше:

Жизнь гаснетъ — духъ неугасимъ;
Мы погасить его не въ силахъ;
Онъ не хоронится въ могилахъ,
Отъ мертвыхъ онъ идетъ къ живымъ.
Духъ вѣка — это Божій духъ;
Онъ міровой любовью дышитъ,
И только тотъ его не слышитъ,
Кто къ злобѣ дня склонилъ свой слухъ.
Его не слышитъ Вавилонъ,
Его не слышитъ и Востокъ растлѣнный;
Ни Вальтазаръ нашъ современный,
Ни современный Фараонъ.

(„Духъ вѣка“).

Сказаннаго достаточно, чтобы видѣть, какъ глубоко мотивировано у Полонскаго его недовѣріе къ служенію поэзии тѣмъ житейскимъ злбамъ дня, которыя всецѣло поглощали его современниковъ, отказавшихся отъ идей высшаго порядка. Онъ глубоко чувствовалъ, что житейскія тревоги, болѣзненно помутившія современниковъ, могли бы и должны были бы получить иное разрѣшеніе, если бы разумъ *дѣятелей* былъ озаренъ болѣе. Его уклоненіе отъ гражданской

дидактической поэзии были слѣдствіемъ не равнодушія къ общественному дѣлу, но слишкомъ для него яснаго безсилія такой поэзіи. (Смотр., напр., его стих.: „Поэту гражданину“.)

Для уясненія, какъ смотритъ поэтъ на отношеніе житейской среды къ поэзіи, особенно важны „Жалобы музы“, гдѣ муза повѣствуетъ, какъ она, снявъ вѣнокъ съ своего чела и покинувъ вдохновляющую ее природу, обращалась къ людямъ различныхъ сферъ — и была отвергнута всѣми ими: одни отвергли ее потому, что она не даетъ земныхъ благъ, другіе — потому, что она одѣта слишкомъ бѣдно, третьи — потому, что принимаютъ ея слова за несбыточные грезы; иные — потому, что фанатически привязались къ своимъ утопіямъ, или преисполнены вражды, или заняты кровавой борьбою, среди которой муза по совѣсти не знаетъ, кому желать побѣды.

Поэтъ вѣрнѣе въ иное назначеніе поэзіи: онъ вѣрнѣе въ красоту, какъ идеаль, который собственной силою покоряетъ людей и нѣкогда долженъ осуществиться въ жизни. Дѣло поэта воплощать красоту взаимно всѣхъ другихъ измѣнчивыхъ мечтаній:

Я сберегу мечту иную —
Ту заповѣдную мечту,
Что всѣмъ народамъ смутно снилось,
И что въ земную красоту
Еще нигдѣ не воплотилась.
Безъ этой творческой мечты
Нѣтъ правды въ людяхъ, смысла въ лицахъ,
Нѣтъ ни одной живой черты
На историческихъ страницахъ.
(„Я красоты не разлюбилъ“).

Таковъ выводъ Полонскаго послѣ многолѣтняго служенія на поприщѣ поэзіи. Но уже въ началѣ этого поприща онъ такъ же понималъ свое назначеніе. Въ одномъ изъ произведеній первой поры онъ выразилъ это въ формѣ воспоминанія художника о дняхъ проведенныхъ въ Элладѣ, гдѣ его вниманіе приковала своей первобытной красотой древняя статуя, лицо которой пощадило время. Въ одну ночь, совершая это воплощеніе красоты, художникъ далъ себѣ обѣтъ:

...и въ тайникѣ
Моей юной души всѣ черты
Я хотѣлъ уловить и съ собой

До утра унести ихъ домой,
Чтобы съ утреннимъ первымъ лучомъ
Въ мертвый мраморъ ударить рѣзцомъ,
Благороднымъ и рѣзкимъ чертамъ
Уловленную мысль передать
И чредою грядущимъ вѣкамъ
Все, что было завѣщено намъ,
Въ первобытной красѣ завѣщать.

(„Статуя“).

Но, полагая свое назначеніе въ служеніи красотѣ, поэтъ разумѣетъ подъ красотою не предметъ безразличнаго въ нравственномъ отношеніи наслажденія, но то нравственно-благотворное начало, которому суждено пересоздать чело-вѣчество. „Гармонія учитъ его по-человѣчески страдать“. („Когда октава за октавой“); поэзію свою олицетворяетъ онъ въ видѣ нагорнаго ключа, который, будучи рожденъ мглою, плившею съ земли къ звѣздамъ, пригрѣтый ласкою Божія луча, растаявъ въ чистый ключъ, и хотя задавленъ снѣжною лавиною, но весь полонъ надежды вырваться изъ-подъ этой ледяной власти, чтобы послужить „и другу и недругу“.

Погоди, когда-нибудь
Выбьюсь я на вольный путь!
На долину я сойду
Водопадомъ упаду,

Засверкаю жемчугомъ,
Покачусь живымъ ручьемъ...
Буду жажду утолять
Ваши силы обновлять.

Какъ увидимъ ниже, поэту нашему хорошо знакомы удары, наносимые такому идеализму мрачными рѣшеніями ума его современниковъ; но въ минуты истинно-поэтическаго вдохновенія ничто не смущаетъ его. Нагорный ключъ твердъ передъ предостереженіями своему порыву:

Много встрѣтишь ты преградъ:
Скалы гребнями торчать...
И, я знаю, между скалъ
Темный въ бездну есть провалъ.

Какъ легко тебѣ упасть
Въ эту каменную пасть,
Гдѣ весь вѣкъ горятъ одни
Лишь подземные огни.

Бодро отвѣчаетъ ключъ на эти охлаждающія рѣчи:

Силъ моихъ не истребятъ —
Ни провалъ ни самый адъ;
И въ провалѣ и въ аду
Я товарищей найду.
Вмѣстѣ съ лавой огневой,
Вмѣстѣ съ пепломъ и золой,

Я, чтобъ небо увидеть,
Буду землю колебать.
У какойнибудь горы
Я сгущу мои пары, —
Надъ дымящимся жерломъ
Встану темнымъ я столбомъ;

Буду грозно клокотать,
Сърымъ пламенемъ дышать,
И меня стпровождать
Будутъ молніи и громъ.
Но едва лучистый видъ
Неба взоръ мой прояснить,

Я не въ грезахъ, наяву
Синей тучкой поплыву,
Засверкаю жемчугомъ,
Упаду косымъ дождемъ...
Буду жажду утолять,—
Ваши силы обновлять.

Въ другой разъ, заимствуя у Фета олицетвореніе поэзіи въ образѣ „вечернихъ огней“, Полонскій высказываетъ такую увѣренность стараго поэта:

На склонѣ скорбныхъ дней еще глаза поэта
Сквозь бездну зла и лжи провидятъ красоту;
Еще душа таитъ горячую мечту
И вдохновеніе — послѣдній отблескъ свѣта.

Вотъ — вотъ они —

О Господи! твои вечерніе огни!

Итакъ взгляды Полонскаго на красоту, служеніе которой избираетъ онъ какъ главное дѣло жизни, не имѣетъ ничего общаго со взглядомъ тѣхъ, которые смотрятъ на красоту, какъ на средство услажденія эгоистической жизни, какъ на условіе нравственнаго комфорта среди окружающаго ихъ унынія, тревогъ и страданія. Но онъ въ то же время чувствуетъ, какъ никто, всю ложь утилитарнаго стихотворства, которое, забывая природу искусства, пытается служить жизни помимо силы красоты. По его понятіямъ, всякое общественное благо можетъ быть предметомъ поэзіи, но только подъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы оно было поставлено предъ очи во всей силѣ побѣдоносной красоты. Такъ, олицетворивъ свободную мысль въ образѣ Фрины, побѣдившей своею красотою и доносчика и судей, поэтъ заключаетъ:

Свободная мысль, если ты не больная,
Не тощая мысль, а полна красоты
И силы, явись намъ, какъ Фрина нагая,
Во всемъ обаяньѣ своей наготы,
И смѣло скажи ты намъ: знайте, кто я!
Смутится доносчикъ, и ахнетъ судья, —
И полны восторгомъ, и полны смятеніемъ
Толпы за толпой потекутъ съ увлеченіемъ. („Фрина“).

Изъ предыдущаго ясно, что умонастроеніе Полонскаго поставило его между двухъ силъ: силою жизни хаотической, исполненной коренныхъ заблужденій чувства и разума, „безтолковой“, какъ поэтъ называетъ ее, — и звучащей въ дѣлахъ

силою гармоніи, которую заглушаетъ эта житейская безто-
толочь, силою свѣта, котораго ищетъ онъ въ области знанія
и искусства. Переносить это положеніе не легко, и оно не-
избѣжно соединено съ страданіемъ — и страданіе положило
замѣтный слѣдъ на его поэзію. Ему такъ рѣдко достается
душевный покой, а между тѣмъ, по одному изъ лучшихъ
самопризнаній поэта, ему именно нуженъ этотъ покой:

Чтобы пѣсня моя разлилась, какъ потокъ,
Ясной зорьки она дожидается.
Пусть не темная ночь, пусть горящій востокъ
Отражается въ ней, отливается.
Пусть чирикаютъ вольныя птицы вокругъ,
Сонный лѣсъ пусть проснется — нарядится,
И сова — пусть она не тревожитъ мой слухъ,
И, слѣпая, подальше усядется.

И ему-то, такъ жаждущему ясныхъ впечатлѣній, суждено
выносить всю тяжесть умственного и нравственного безвре-
менья. Для поэтической дѣятельности въ такую пору нужно
много силъ, глубокая вѣра въ свой идеалъ, чтобы поэзія
стала борьбой и горѣла увѣренностью въ побѣдѣ.

Нашъ поэтъ порою окрыляется этой силой, и его душа
обрѣтаетъ тогда энергію. Онъ умѣетъ почувствовать мощь
Прометея, несущаго Божественный свѣтъ темнымъ людямъ —

Любовь и свободу
Отъ страха и чаръ,
И жажду познанья
И творческій даръ.
Вдругъ разорвалась
Ночи завѣса —
Брызнули въ пространство
Молніи Зевеса, —
И проснулись боги,
И богини съ ложа
Поднялись, пугливымъ
Крикомъ міръ встревожа.
И посланный ими
Въ багровомъ дымѣ
Мелькнулъ черный воронъ
И ринулся въ тьму —
Онъ близко... онъ ищетъ...
Межъ скалъ и лѣсовъ
Того, кто похитилъ
Огонь у боговъ.

Я иду — и свѣтъ мой
Свѣтитъ по дорогѣ,
Я ужъ знаю тайну,
Что не вѣчны боги...
Міръ земной, я знаю,
Пересозданъ снова,
И уста роняютъ
Пламенное слово.
Не могъ утаить я
Святого огня...
И воронъ изъ мрака
Завидѣлъ меня:
Когтями и клювомъ
Онъ рветъ мою грудь,
И кровью обрызганъ
Тяжелый мой путь.
Пусть въ борьбѣ паду я!
Пусть въ цѣпяхъ неволи
Буду я метаться
И кричать отъ боли —

Ярче будетъ скорбный	Съ безсмертіемъ духа
Образъ мой свѣтиться,	Съ небеснымъ огнемъ?
Съ крикомъ дальше будетъ	Вѣдь то, что я создалъ
Мысль моя носиться...	Любовью моею
И что тогда, боги!	Сильнѣе желѣзныхъ
Что сдѣлаетъ громъ	Когтей и цѣпей.
	(„Прометей“).

Но такой подъемъ душевныхъ силъ не могъ стать характеристическою особенностью русскаго поэта второй половины нашего вѣка, когда самая сильная душа растрачивалась на одно только самосохраненіе отъ скептицизма, который подтачиваетъ вдохновеніе поэтовъ. Въ минуту сознанія такой участи Полонскій выразительно резюмировалъ свое положеніе въ извѣстномъ стихотвореніи „Нищій“, гдѣ, изобразивъ старика, собирающаго подавнія и раздающаго ихъ

Большимъ, калѣкамъ и слѣпцамъ,
Такимъ же нищимъ, какъ и самъ, —

онъ прибавляетъ:

Въ нашъ вѣкъ таковъ иной поэтъ:
Утративъ вѣру юныхъ лѣтъ,
Какъ нищій старецъ изнуренъ,
Духовной пищи просить онъ,
И все, что жизнь ему ни шлетъ,
Онъ съ благодарностью беретъ,
И душу дѣлитъ пополамъ
Съ такими жъ нищими, какъ самъ.

Поэтический путь Полонскаго есть характерная повѣсть нашего современника-идеалиста со всѣми колебаніями его духа между ревниво охраняемыми священными чаяніями истины, добра и красоты, глубоко запавшими въ его душу и мертвящими вѣяніями скептицизма, ожесточенія и цинизма. Здѣсь не мѣсто изслѣдовать весь ходъ поэтической мысли Полонскаго на этомъ пути колебаній и страданій. Будетъ достаточно указать на два-три характернѣйшія prizнанія поэта.

Таково его стихотвореніе „Муза“, произведеніе зрѣлой поры, гдѣ читаемъ:

Я съ ней дѣлилъ неволи бремя —
Наслѣдье мрачной старины —
И жажду пересилить время,
Уйти въ пророческіе сны.

Ея нервическаго плача
Я былъ свидѣтелемъ не разъ —
Такъ тяжела была для насъ
Память жизнью данная задача!

Съ трогательною искренностью поэтъ раскрываетъ глубокую тайну этихъ бесѣдъ съ своею музою:

Зато печаль моя порой	Смѣшенъ ей былъ весь нашъ
Ея безжалостно смѣрила,	Парнассъ
Она въ вѣнокъ лавровый свой	И наша пойманная кляча —
Меня, какъ мальчика, рядила.	Давно измученный Пегасъ;
Безъ вѣры въ ясный идеалъ	Но этотъ смѣхъ — предвѣстникъ
Смѣшно ей было вдохновенье,	плача —
И звонкій голосъ заглушалъ	Ни разу не поссорилъ насъ.
Мое рюмованное пѣнье.	

Въ другой разъ, въ минуту поэтической хандры, въ стихотвореніи болѣе поздней поры, перечисливъ утраты и разочарованія, поэтъ заключаетъ свое раздумье такими словами:

А сколько злыхъ измѣнъ, вражды, насмѣшекъ, слезъ
Ты встрѣтишь?— не сочтешь!
Нѣтъ, безнаказанно, братъ, до сѣдыхъ волосъ
И ты не доживешь!
Путь долгой жизни есть путь къ жизни безнадежной —
Таковъ законъ судьбы...

Ужели неизбежный?

(„Молчи, минутнаго покоя не тревожь“).

И поэтъ, на самомъ дѣлѣ, носящій въ душѣ вѣру и въ достоинство человѣческой природы, и въ силу познанія и творчества, и въ бессмертную душу, во всю жизнь не могъ приобрѣсти смѣлости шага на пути своемъ: перечитывая его стихотворенія постоянно переходишь отъ ясныхъ созерцаній и сильнаго чувства удовлетворенія къ сосредоточенному грустному раздумью. Правда, отъ этого озаренія его души радостнымъ чувствомъ приобрѣтаешь большую цѣну и большее довѣріе къ его искренности. Поэтъ не является, какъ очень многіе стихотворцы нашего времени, чѣмъ-то въ родѣ спеціалиста по части чувствъ жизнерадостныхъ или, наоборотъ, скорбныхъ, при чемъ послѣднія не всегда добросовѣстно мотивированы. Читая Полонскаго, постоянно чувствуешь, что это голосъ живого человѣка, берущаго перо только тогда, когда въ душѣ созрѣваетъ дѣйствительная потребность слова.

Въ связи съ этимъ и простота его склада и слога. Неприязнительность его творчества нерѣдко бываетъ причиной того, что самыя высокія мысли, достойны стать формулами его міровоззрѣнія, оказываются словно оброненными въ стихотвореніяхъ, главный предметъ которыхъ незначителенъ и которые проведены въ иномъ тонѣ.

При такомъ нравственномъ темпераментѣ Полонскій долженъ являться въ своей поэзіи особенно деликатнымъ въ сферѣ тѣхъ вопросовъ, которые составляютъ наибольшую для него святыню. Врагъ лжи, онъ готовъ лучше молчать объ этихъ предметахъ его совѣсти, нежели говорить о нихъ, если онъ не увѣренъ, что будетъ вѣрно понятъ читателями. Это замѣчается всякій разъ, когда онъ касается вопросовъ вѣры, любви къ отечеству и гражданскихъ идеаловъ. Тутъ болѣе, нежели гдѣ-нибудь, виденъ человѣкъ, второй половины нашего вѣка, которому хорошо извѣстно, что эти предметы слишкомъ часто практиковались многими непризнанными, что въ выраженіе связанныхъ съ этими предметами чувствъ вкралась рутина, а съ нею невыносимая для него неискренность. И онъ недовѣрчивъ къ себѣ въ этой области болѣе, нежели въ чемъ-нибудь другомъ. Основное свойство его души — жажда вѣры, и потому ей такъ сродно вѣчное исцаніе ея, и такъ естественны у него упреки себя въ мало-вѣріи. Но онъ торжественно отрекся отъ пропаганды невѣрія устами изображеннаго имъ язычника, которому въ знаменательномъ снѣ самъ Зевсъ, наскучившій куреніями жрецовъ, среди народа, утратившаго былыя чувства искренней вѣры, общается участіе въ трапезѣ безсмертныхъ, если онъ пойдетъ проповѣдовать, что Зевса не существуетъ...

— Я клялся страдать за Зевса,
Но — страдать за отрицанье...
Пощади!

отвѣчаетъ язычникъ, и Зевсъ отвергъ его, обѣщаясь найти другихъ пророковъ („Сонъ язычника“).

Но, съ другой стороны, поэтъ нашъ не беретъ за учительство, не рѣшится выкрикивать призывы къ вѣрѣ. Всюду, гдѣ онъ касается ея, онъ какъ бы самъ заслушивается ея призыва и, готовый скорѣе учиться ей, нежели учить, тѣмъ болѣе вызываетъ на вѣру сердце читателя. Изъ нашихъ

лириковъ онъ задушевнѣе всѣхъ откликается на голосъ народной вѣры. Всякій разъ, когда онъ подходитъ съ этой стороны къ народу, онъ даетъ чувствовать, что эта вѣра для него драгоценное сокровище. Припомнимъ, наприимѣръ, „Письма къ музѣ“, гдѣ поэтъ напоминаетъ ей свои скитанія съ нею среди родныхъ полей:

Помнишь — молоды-безпечны
И отверженно—убоги,
За возами шли мы полемъ
Вдоль проселочной дороги...
.....
И не юною подругой,
И не дѣвушкой любимой —
Божествомъ ты мнѣ казалась,
Красотой невыразимой.
Я молчалъ — ты говорила:
„Нашу бѣдную Россію
Не стихи спасутъ, а вѣра
Въ Божій судъ или въ Мессію.

И не наши Цицероны,
Не Горации, — иная
Вдохновляющая сила —
Сила правды трудовая
Обновить тотъ міръ, въ которомъ
Славу добываютъ кровью, —
Міръ съ могущественной ложью
И съ безсильною любовью“...
Съ той поры, мужая сердцемъ,
Постигать я сталъ, о муза,
Что съ тобой безъ этой вѣры
Нѣтъ законнаго союза.
(„Второе письмо“).

Когда ему приходится стать лицомъ къ лицу съ душою, освященной этой вѣрой, — сколько смиренія въ его отношеніи къ ней, хотя онъ не скрываетъ, что она не можетъ быть удѣломъ его. Въ прекрасномъ стихотвореніи „Старая няня“ онъ, между прочимъ, обращается къ ней съ такими словами:

Черезъ тридцать лѣтъ домой
Я вернулся, и слѣпой
Ужъ засталъ тебя старушкою,
Въ темной кухнѣ, съ чайной
кружкою —
Ты догадывалась...
Слезно радовалась!
И когда я легъ вздремнуть,
Ты пришла меня разуть,
Какъ дитя свое любимое,
Старика, въ гнѣздо родимое
Воротившагося,
Истомившагося.
Я измученъ былъ, а ты
Прожила безъ суеты
И мятежныхъ думъ не вѣдала,

Капли яду не отвѣдала —
Яду мающихся,
Сомнѣвающихся.
И напомнила Христа
Ты страдальцу безъ креста
Гражданину, сыну времени,
Посреди родного племени
Прозябающему,
Изнывающему.
Богъ съ тобой! я жизнь мою
Не смѣняю на твою...
Но ты мнѣ близка, безродная,
Въ самомъ рабствѣ благородная,
Не оплаченная
И утраченная!

Такое же осторожное отношеніе у Полонскаго къ предмету патріотическихъ чувствъ. Онъ не довольствуется дѣт-

ской стихійной привязанностью къ родинѣ или любовнымъ влеченіямъ къ ней юноши, но ищетъ опоры своей любви къ отечеству въ его способности вызвать въ себѣ уваженіе и довѣріе (см. стих. „Въ ребяческіе дни“ и „Бранить“). И зато, когда приходится Полонскому слагать хвалу великимъ людямъ своего отечества — она у него является неразрывною съ прославленіемъ самой Россіи. Таковы юбилейныя стихотворенія посвященныя воспоминаніямъ о Ломоносовѣ Крыловѣ, Пушкинѣ, Тургеневѣ. Любуясь въ нихъ воплощеніемъ народнаго генія, онъ отдается вполне своему патріотическому чувству. Особенно ярко выразилось оно въ извѣстномъ стих.: „А. С. Пушкинъ“.

Характеръ общественнаго настроенія той среды, гдѣ пришлось Полонскому провести большую часть поэтического поприща, чаще всего ставилъ его лицомъ къ лицу съ ложью въ области гражданскихъ помысленій. Свой гражданскій идеалъ Полонскій выражалъ неоднократно и положительно, какъ сторонникъ законной свободы (см. „Одному изъ усталыхъ“, „Въ альбомѣ К. Ш.“) и отрицательно, ярко выставляя ложь наивныхъ утопій (напр. въ стих.: „Фантазія бѣднаго малаго“) и жестокость, скрытую подъ громкими принципами („На улицахъ Парижа“), и ограниченное самодовольство публициста, обратившаго политическую пропаганду въ ремесло („1-е письмо къ музѣ, сатирическое“).

Мягкая природа музы Полонскаго сообщила свой характеръ и тѣмъ произведеніямъ, которыя были вдохновлены чувствомъ любви. Онъ выразилъ многообразно радости и тревоги любви отъ первыхъ дѣтскихъ мечтаній до безумнаго кипѣнія „поздней молодости“, позднихъ грезъ безъ отзыва („Увидалъ изъ-за тучи утѣсь“), и даже завистливаго чувства старости къ младости („Старикъ“). Но изъ всѣхъ пѣсенъ Полонскаго о любви, которыхъ найдется до 50, только одна пытается выразить порывъ страсти („Поцѣлуй“). Обыкновенно поэтъ останавливается или на призрачномъ чувствѣ, созданномъ мечтою („Цвѣтокъ“, „Вальсъ: лучъ надежды“, „Чивита-Веккіа“, „Бредъ“, „Увидалъ изъ-за тучь“), или на чувствѣ, охлажденномъ недовѣріемъ къ нему („Послѣдній разговоръ“, „Прощай“, „Нѣтъ, нѣтъ! не оттого признаньемъ медлю я“, „Лѣсъ“, „Что если...“), или разочарованіемъ въ предметъ любви („Вижу ль я...“, „Новой Лаурѣ“). Онъ

особенно любить остановиться на чувствѣ, которое остается скрытымъ въ глубинѣ души, не высказанное („Письмо“; „Наивная жалоба“; „Прости“; „Утрата“). Рѣже выражается чувство беззавѣтное, но которому угрожаютъ люди („Маска“, „Затворница“, „Отрочество“) или которому грозитъ измѣна или предательство („Подойди ко мнѣ, старушка“, „Орелъ и Змѣя“). Идиллическое изображеніе любви встрѣчаемъ только въ 4 стихотвореніяхъ, но въ двухъ изъ нихъ выбранны моменты, когда полнота наслажденія нарушается наступившей разлукой („Пришли и стали тѣни ночи“) или мукою ожиданія („Выйду ль я, за оградой...“). Юная радость любви изображена лишь въ двухъ стихотвореніяхъ („Ахъ, какъ у насъ хорошо на балконѣ“; „За окномъ въ тѣни мелькаетъ“...).

Но если поэтъ не останавливается на изображеніи страсти, то мы находимъ у него болѣе оригинальныя темы въ изображеніи любви, гдѣ представляется она какъ цѣнное положительное благо жизни. Таковы: „Ночь въ Крыму“, гдѣ воспѣта любовь, ставшая надолго вдохновительницей поэта.

Эта музыка души	Съ юга вѣющимъ тепломъ...
Мнѣ въ иные, злые годы	Мнѣ и вѣрилось и пѣлось...
Послѣ бурь и непогоды	Я внималъ и мнѣ хотѣлось
Ясно слышалась въ тиши.	Этой музыки во всемъ.
Я внималъ, а сердце грѣлось	

Благотворное дѣйствіе любви выражено и въ стихотвор.: „Вчера священники...“: въ день Свѣтлаго Христова воскресенія, поэтъ чувствуетъ, какъ теплый лучъ любви подкрѣпляетъ его вѣру.

Изъ стихотвореній, воспѣвающихъ любовь, у Полонскаго самыя оригинальныя тѣ, въ которыхъ изображается прочная привязанность. Таковы: „Финскій берегъ“ и „Старый Орелъ“. Въ первомъ изображена любовь въ народной трудовой средѣ, высказываемая съ неожиданнымъ равнодушіемъ, но заявляемая энергическимъ дѣломъ. Второе, одно изъ лучшихъ стихотвореній Полонскаго, изображаетъ привязанность, которою любящій готовится унести его за предѣлы гроба.

Изъ стихотвореній этого рода особенно выделяются три, выражающіе горе любящаго сердца при постигшей его утратѣ („Безуміе горя“, „Послѣдній вздохъ“ и „Я читаю книгу пѣсенъ“). Эти превосходныя стихотворенія поражаютъ разно-

образіемъ, представляя три момента скорби, всякій разъ съ новой ея стороной.

Обзоръ нашъ лирики Полонскаго отъ начала его поэтической дѣятельности до 1887 года, стихотворенія котораго уже входятъ въ составъ „Вечернаго звона“, заключимъ перечисленіемъ тѣхъ пьесъ, гдѣ художественное дѣйствіе на читателя поэтъ передаетъ цѣльнымъ законченнымъ созданіемъ своей фантазіи, которыя живутъ уже собственною жизнію, такъ что каждое подобное произведеніе вырастаетъ въ сжатую поэму или въ драматическую сцену. Кто разъ прочиталъ „Бѣду-проповѣдника“, „Факира“, „Весталку“, „У Аспазіи“, „Наядѣ“, „Агарь“, „Вакханку и Сатира“, „Казимира Великаго“ — тотъ уже не забываетъ ихъ: такъ врѣзываются они въ душу читателя и яркостію образовъ и гармоніею оригинальнаго стиха.

Поливановъ.

Цѣльность, свѣжесть и народность міросозерцанія Полонскаго — пѣвца свободы и любви.

Сдѣлать полный обзоръ поэтической дѣятельности Якова Петровича Полонскаго представляетъ задачу чрезвычайной трудности, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма благодарную. Трудную — потому что приходится разъяснять то, что, казалось бы, давнымъ давно стало ясно въ теченіе полувѣковой литературной карьеры маститаго поэта; благодарную — потому что мало кто обладаетъ такимъ многообъемлющимъ талантомъ, какъ Я. П. Полонскій. Прежде всего, онъ возвышенный лирикъ, и съ этой стороны его знаетъ читающая публика, по традиціи сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ. Онъ превосходный эпическій рассказчикъ, и блестящій образецъ его творчества въ этомъ родѣ всѣмъ извѣстный „Кузнечикъ-музыкантъ“, за которымъ скрывается цѣлый рядъ другихъ по истинѣ замѣчательныхъ поэмъ. Наконецъ, Полонскій замѣчательный беллетристъ, повѣсти и романы котораго необыкновенно ярко и многосторонне отражаютъ русскую жизнь, затрогивая самые живые ея вопросы. Эти беллетристическія произведенія Полонскаго проникнуты самымъ теплымъ чувствомъ по отношенію къ молодости, къ истинному прогрессу, къ благородной и благонадежной свободѣ. Во всякой европейской странѣ нѣ-

сколькихъ романовъ такого рода было бы вполне достаточно для упроченія за авторомъ перворазрядной литературной репутаціи.

Но въ области лирической поэзіи Полонскій проявилъ свой талантъ съ наибольшею силою; даже тѣ, кто его не знаетъ, какъ поэта, или даже не любить и не хочетъ знать, признають въ немъ первостепеннаго лирика, непосредственнаго преемника пушкинскихъ традицій въ родной поэзіи.

Все развитіе этого самобытнаго таланта представляется намъ теперь въ послѣдовательномъ цѣломъ его проявленіи, отражая, вмѣстѣ съ тѣмъ, и постепенное развитіе нашего общественнаго сознанія, насколько оно выясняется въ характеристикѣ эстетическихъ эмоцій той или другой эпохи. Въ нашей русской жизни эти эпохи смѣняются, къ сожалѣнію, слишкомъ быстро, такъ быстро, что даже между ними утрачивается историческая преемственность. Всякій пойметъ, что можно разумѣть подъ словами сороковые, шестидесятые годы, помня, что пятидесятые составляли между ними связующее, подготовительное звено; но ничто конкретное не укладывается въ терминъ 70-хъ, 80-хъ годовъ, — таково наше время, не то вѣлое, не то неопредѣленное.

А поэтъ нашъ все живетъ, все поетъ, ни отъ чего не отставая, ни отъ вѣка ни отъ смѣняющихся передъ его глазами поколѣній. Неужели не благотворно вмѣстѣ съ нимъ, пересматривая плоды его долготѣней музы, оглянуться назадъ, вспомнить, чѣмъ мы живемъ въ теченіе полувѣка, что мы перечувствовали, запасъ какихъ живыхъ силъ и словъ у насъ сохранился.

Донскиваясь того, что составляетъ главную сущность поэзіи Полонскаго, съ ея идейной стороны, мы видимъ, что черезъ всѣ его стихотворенія проходитъ яркою ниткою одна руководящая идея — идея свободы. У насъ наготовѣ цѣлый рядъ выписокъ, чтобы подтвердить высказанную нами мысль; но прежде, чѣмъ привести ихъ, считаемъ нужнымъ объяснить по щекотливому вопросу: что есть свобода?

Въ великомъ нашемъ государствѣ, въ каждой живой душѣ никогда не изсякнетъ благодарная память о величайшемъ изъ земныхъ монарховъ нашего вѣка, а за монархомъ этимъ твердо укрѣпилось имя царя-освободителя. Духъ свободы и общаго во всѣхъ родахъ преуспѣянія вдохнулъ великій госу-

дарь въ своихъ многочисленныхъ подданныхъ, жизненная задача которыхъ состоитъ въ разумномъ усвоеніи и развитіи началъ, дарованныхъ имъ державнымъ отцомъ ихъ.

Основнымъ началомъ законной, естественной и всѣмъ понятной гражданской свободы должно быть слѣдующее всѣмъ понятное, категорическое, нравственное требованіе, долженствующее имѣть силу для каждой отдѣльной личности: дѣйствуй такъ, чтобы правило твоей жизни могло стать правиломъ общаго законодательства. Это великое нравственное требованіе не нами въ первый разъ выдуманно, не нами впервые повторяется, и будетъ всегда повтораться, какъ величайшая и простѣйшая истина, исшедшая изъ устъ гениальнѣйшаго мыслителя нашего вѣка.

Этой-то „все проникающей, все создающей“ свободы и жаждетъ благородная душа, а не свободы поправанія чужой свободы, что есть главное начало анархіи и деспотизма, аракеевщины и коммунизма.

Искренній и непосредственный поэтъ всего ярче и прямѣе выразилъ этотъ вѣчный съ его стороны запросъ свободы въ слѣдующемъ небольшомъ, но выкованномъ стихотвореніи, блестящемъ безупречнымъ желѣзнымъ стихомъ:

Писатель—если только онъ
Волна, а океанъ—Россія,
Не можетъ быть не возмущенъ,
Когда возмущена стихія.

Писатель, если только онъ
Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена свобода.

(стран. 268).

И ничто, какъ мы видимъ изъ другихъ стиховъ маститаго поэта, не сломило благородныхъ чувствъ пѣвца своей родины, любимой имъ такою, какова она есть. Онъ знаетъ, что есть орлы, которые съ „подшибленными крыльями“ живутъ уже не тѣмъ, чѣмъ жили въ дни былые, которые сами про себя говорятъ:

Въ республикахъ не находилъ
Себѣ свободы.. сталъ вникать
И понялъ все свое безсилъе,
И къ сердцу сталъ я прижимать
Свои подшибленные крылья.

(Современная идиллія, т. I, стран. 264)

Знаетъ онъ также и тѣхъ, что „сожгли все, чему поклонялись, и поклонились тому, что сжигали“, — знаетъ забыв-

шихъ всѣ идеалы своихъ юныхъ дней, какъ это выражено въ характерной пьесѣ „Оградная встрѣча“ (336), но самъ остался неподкупно живымъ и непосредственнымъ, такъ что и на склонѣ лѣтъ находить въ себѣ силы дать слѣдующія, исполненные самой благородной энергіи, поэтическія строки:

Еще на солнце я гляжу и не моргаю,
И вижу далеко играющихъ орлятъ,
Отлечь ихъ жадными глазами провожаю
И знать хочу — куда они летятъ...
Но я отяжелѣлъ, одряхъ, не безъ кручины
Сажу одинъ я на краю стремнины,
У разореннаго гнѣзда,
И только изрѣдка, позабывая годы,
На отдаленный шумъ, ихъ крикъ и кличъ свободы:
„Сюда, сюда, старикъ, сюда!“
Я поднимаю машущія крылья,
Хочу летѣть, на сколько хватитъ силъ...
(Старый орелъ, т. I, стран. 236—237).

И такія убѣжденія несетъ поэтъ во всю свою долгую жизнь, свято вѣруя и внушая другимъ, что

Нѣтъ правды безъ любви къ природѣ,
Люби къ природѣ нѣтъ безъ чувства красоты,
Къ познанью нѣтъ пути намъ безъ пути къ свободѣ,
Труда — безъ творческой мечты... (стран. 221).

Что здѣсь разумѣется та благородная и справедливая свобода, о которой мы говорили выше, видно изъ многихъ произведеній нашего поэта, гдѣ съ содроганіемъ говорится о свободѣ иного рода, свободѣ, льющей кровь и посягающей на спокойствіе человѣческаго рода. При этомъ, симпатичною чертою поэзіи Полонскаго является та глубокая человѣчность, съ какою онъ говоритъ о явленіяхъ и людяхъ, противныхъ его собственному духу; здѣсь нѣтъ тупого озлобленія, но звучитъ нота глубокой жалости къ людямъ, которые не вѣдаютъ, что творять, — нота истинной скорби за бѣдствія, переживаемыя человѣчествомъ отъ этого невѣдѣнія. Въ примѣръ приведемъ отрывокъ изъ стихотворенія „Жалобы музы“ (226), гдѣ муза поэта въ своихъ блужданіяхъ находитъ въ тюрьмѣ представителя людей такого рода:

Къ холодной стѣнѣ прислонясь головой,
Сидѣлъ тамъ одинъ человѣчекъ больной.
Я знала его: то былъ сущій добрякъ,
Убить комара не рѣшился бъ никакъ,

Подстрѣленной птицы ему было жаль,—
Сидитъ онъ — мечта унесла его вдаль —
И шепчетъ онъ: О! если бѣ воля да власть,
Я могъ бы все сдвинуть, поднять и потрѣсть.
Я залить бы кровью предѣлы земли,
Чтобъ новые люди родиться могли...
— И ты, — я сказала, — ручаешься въ томъ,
Что новая будетъ природа потомъ,
Что терны и роза-царица садовъ,
Политые кровью взойдутъ безъ шиповъ?

Но если чувствомъ скорби вѣетъ отъ этой пѣсни о бессильномъ безуміи, то чувствомъ глубокаго негодованія проникнуто, на примѣръ, такое стихотвореніе, какъ „На улицахъ Парижа“ (341). Здѣсь яркими красками изображена гибель одной скромной жертвы звѣрства во время коммуны; неподдѣльною грустью, а не злобною пропіею звучать здѣсь рядомъ стоящіе заключительные стихи:

Дочь нужды, дитя народа
Разстрѣлять ведутъ, — и слышенъ
Крикъ: да здравствуетъ свобода!

Такая свобода, теряющаяся въ какомъ-то дикомъ сліяніи анархіи и деспотизма, ненавистна глубоко человѣчной душѣ поэта. И отдыхаешь душою, внимая пѣснямъ, въ которыхъ воплотились такое неподкупно твердое служеніе своимъ завѣтнымъ идеаламъ добра, справедливости, и протестъ противъ всякаго попранія этихъ идеаловъ находить всегдашній отзвукъ въ его поэзіи, какъ, напр., въ его стихотвореніи „Литературный врагъ“:

Господа! я нынче все бранить готовъ, —
Я не въ духѣ — и не въ духѣ потому,
Что одинъ изъ самыхъ злыхъ моихъ враговъ
Изъ-за фразы осужденъ итти въ тюрьму...

Признаюсь вамъ, не изъ нѣжности пустой
Чуть не плачу я, — а просто потому,
Что подавлена проклятою тюрьмой
Вся вражда во мнѣ, кипѣвшая къ нему.

Онъ язвилъ меня и въ прозѣ и въ стихахъ;
Но мы бились не за старые долги,
Не за барыню въ фальшивыхъ волосахъ,
Пѣть! — мы были безкорыстные враги!

Вольной мысли то владыка, то слуга,
Я собирался безпощаднымъ быть врагомъ,
Поражая безпощаднаго врага;
Но — тюрьма его прикрыла, какъ щитомъ.

Передъ этою защитой я — пигмей...
Или вы еще не знаете, что мы
Легче вѣруемъ подъ музыку цѣпей
Всякой мысли, выходящей изъ тюрьмы.

Иль не знаете, что даже злая ложь
Облекается въ сіяніе добра,
Если ей грозитъ насилья острый ножъ,
А не сила неподкупнаго пера.

Я вчера еще перо мое точилъ,
Я вчера еще кипѣлъ и возражалъ;
А сегодня умъ мой крылья опустилъ,
Потому что я боецъ, а не нахаль.

Я краснѣлъ бы передъ вами и собой,
Еслибъ узника да вздумалъ уличать.
Поневолю онъ замолкъ передо мной,—
И я долженъ поневолю замолчать.

Онъ страдаетъ, оттого что есть семья, —
Я страдаю, оттого что слышу смѣхъ...
Но, что значить гордость личная моя,
Если истина страдаетъ больше всѣхъ!

Нѣтъ борьбы, и — ничего не разберешь, —
Мысли спутаны случайностью слѣпой, —
Стала свѣтомъ недосказанная ложь,
Недосказанная правда стала тьмой.

Въ этомъ стихотвореніи вы слышите не надрывающіеся вопли человѣка партіи, которой распинается за своего собрата, но грусть человѣка, видящаго съ высоты своихъ идеаловъ всю безцѣльность и даже злоуредность ненужной жестокости, которая вноситъ только еще большую путаницу въ затемнившіяся и безъ того понятія и отношенія.

На смѣну этимъ ненужнымъ жестокостямъ душа поэта жаждетъ во всемъ преуспѣяніи и развитіи, онъ непрестанно ищетъ

Словъ, разрѣшающихъ наше сомнѣнье,
Въ челѣ наша сила и гдѣ нашъ покой,
Вѣщихъ и полныхъ значенья
Правды святой. (Стран. 175).

Поэту мнится, что проеѣщающая всѣхъ и вся мысль
предстанетъ передъ людьми и наставитъ ихъ:

... Мающихся,
Сомнѣвающихся.

(Старая няня, стран. 334).

И вотъ въ какой полной картинѣ представляется его во-
ображенію появленіе этой всеосѣщающей мысли.

Свободная мысль, если ты не больная,
Не тощая мысль, а полна красоты
И силы, явись намъ, какъ Фрина нагая,
Во всемъ обаяннн своей наготы,
И смѣло скажи ты намъ: знайте, кто я!
Смутится доносчикъ и ахнетъ судья.
И полны восторгомъ, и полны смятеніемъ
Толпы за тобой потекутъ съ увлеченіемъ.
(Фрина, стран. 203).

И вотъ тогда-то, быть можетъ,

... „безумный произволъ свобода свяжетъ
И любовь прощеніемъ свяжетъ грѣхъ,
И побѣда мысли смертнымъ путь укажетъ
Къ торжеству, отрадному для всѣхъ.

Но кто же поведетъ насъ по этому пути свободы и пре-
успѣянія.

Кто этотъ геній, что заставить
Очнуться насъ отъ тяжелыхъ сновъ,
Разъединенныхъ мысли сплавить
И силу новую поставить
На мѣсто старыхъ рычаговъ?
Кто упроститъ задачи сложность?
Кто къ совершенству дастъ возможность
Расчистить миллионъ дорогъ?
(Неизвѣстность, стран. 243).

А между тѣмъ теплая, можно сказать наивная вѣра под-
сказываетъ, что:

Предтеча, можетъ быть, Уже проселками шагаетъ, Глубоко вѣрить и не знаетъ, Гдѣ ночевать, что ѣсть и пить. Кто знаетъ, можетъ быть, слу- чайно	Онъ и къ тебѣ ужъ заходилъ, Мечты мечтами замѣнилъ, И въ молодую душу тайно Иныя думы заронилъ... (Тамъ же).
--	--

Но предтеча невѣдомъ, и остается угнетающее жизнь
недоумѣніе:

Откуда же взойдетъ та новая заря
Свободы истинной любви и пониманья?
(Откуда? стран. 134).

А поэтъ все-таки не сдается, не поступается своими вѣч-
ными запросами правды и говорить:

Мнѣ, какъ поэту, дѣла нѣтъ,
Откуда будетъ свѣтъ, лишь былъ бы это свѣтъ,
Лишь былъ бы онъ, какъ солнце для природы,
Животворящъ для духа и свободы,
И разлагалъ бы все, въ чемъ духа больше нѣтъ...
(Откуда? стран. 315).

Но что же испытываетъ на жизненномъ пути пѣвецъ та-
кихъ гимновъ свободы и любви, вѣрно ли, что

... пока весь этотъ міръ
И не оглохъ и не ослѣпнулъ,
Ты званый гость на Божій пиръ.
(Старый Сазандаръ, стран. 82).

Но, еще юный въ пору созданія этого стихотворенія, нашъ
поэтъ дѣлаетъ такое признаніе:

Мнѣ въ огромномъ этомъ мірѣ Я лишній гость на этомъ пирѣ,
Невесело, и, можетъ быть, Гдѣ собралися ѣсть и пить;

„Пѣсенъ даръ“ его „тревожитъ“, но онъ думаетъ, что
его „пѣснямъ некому внимать“...

И что на старости, быть можетъ, его
„Въ раю не будутъ ждать“!
(Ibid., стран. 83).

И чувство этой грусти легко понять. Съ одной стороны,
самъ поэтъ увѣренъ въ чрезвычайной возвышенности пред-
мета своихъ вдохновеній, и вотъ этотъ источникъ:

Я — недоступный мыслямъ празднымъ —
Я тотъ, кто въ благодати своей,
Законы далъ звѣздамъ алмазнымъ,
Свободу далъ душѣ твоей.
Живой источникъ мыслей тайныхъ,
Свой вѣчный свѣтъ вливая въ нихъ,
Мнѣ мало дѣла до случайныхъ
Тревогъ и радостей твоихъ.

Но, безконечно всюду вѣя,
Хочу, чтобъ жизнь была полна,
Въ твоей душѣ вопросы сѣя,
Дышу на эти сѣмена —

И говорю: на почвѣ скудной
Дай вырѣть Божьимъ сѣменамъ,
Въ день благодатной жатвы трудной
Я за дѣла твои воздамъ.

(Внутренній голосъ, стран. 153).

Съ другой стороны, гдѣ отзвукъ этой возвышенной свободы и „вѣчной повсюду творящей любви“? Напротивъ, всѣ, заслушавшись дѣльцовъ и пѣвцовъ „дѣлъ случайныхъ“, сторонились отъ истинной поэзіи, и поэту оставалось излить свою грусть въ слѣдующихъ прочувствованныхъ строкахъ:

Когда я былъ въ неволѣ,
Я помню, голосъ мой
Пѣлъ о любви, о славѣ,
О волѣ золотой,
И узники вздыхали
Въ оковахъ за стѣной.

Когда пришла свобода,
И я на тотъ же ладъ
Пою — меня за это
Клевещутъ и язвятъ:
„Тюремныя все пѣсни
Поешь ты“, говорятъ.

— Когда ты былъ въ неволѣ,
Ты за своей стѣной
Могъ пѣть о лучшей долѣ,
О волѣ золотой,
И узники вздыхали,
Внимая пѣсни той!

Теперь ты, братъ, на волѣ
Другія пѣсни пой,
Пой о цѣпяхъ, о злобѣ,
О дикости людской,
Чтобъ мы не задремали,
Внимая пѣсни той.

(298—299).

И со всѣхъ сторонъ обступаетъ поэта какой-то непроглядный мракъ: одни не понимаютъ, другіе не даютъ сказать слова; съ двухъ концовъ идетъ это попятаніе высшихъ началъ человѣческой природы и разума, и люди, стоящіе посрединѣ, въ гордомъ сознаніи своего человѣческаго достоинства, задыхаются въ безсиліи, а если въ дѣйствительномъ мірѣ нѣтъ свободныхъ путей для развитія свободной жизни, то тогда наступаетъ міръ призраковъ.

Какъ по воздуху (говоритъ поэтъ) иду я
Вдаль за тридцать земель,
И хочу я въ тридцатомъ
Государствѣ кончить путь,
Чтобъ хоть тамъ свободнымъ словомъ
Облегчить больную грудь.

(Сны, Подсолнечное Царство, стран. 161—162).

Лучшіе идеалы начинают представляться поэту лишь какъ достояніе фантазіи, — фантазіи даже больной, и поэтъ влагаетъ разрѣшеніе міровой задачи въ слѣдующія слова сумасшедшаго:

Да, господа, міръ обновленъ.—Вѣка
Къ благословенному придвинули насъ вѣку,
Вамъ скажетъ всякая приказная строка,
Что счастье нужно человѣку.
Народы поднялись и обнажили мечъ;
Но образумились и обнялись какъ братья.
Гербы и знамена — все надо было сжечь,
Чтобъ только снять печать проклятья.
Настало царствіе небесное — свѣтло —
Просторно... — На землѣ нѣтъ ни одной столицы
Тирановъ также нѣтъ — и все какъ сонъ прошло:
Рабы, оковы и темницы.
Науки царствуютъ — видѣнья отошли,
Одни безумцы ими одержимы...
Чу! слышите — поютъ со всѣхъ концовъ земли
Невидимые херувимы.
Ликуйте! вѣчную привѣтствуйте весну!
Свободы райской гимнъ изъ сердца такъ и рвется,
И я тянусь, тянусь какъ лучъ, въ одну струну!
Что если сердце оборвется!!
(Сумасшедшій, стран. 190—191).

И другой такой же фантастъ, въ озлобленіи на угнетающую человѣчество мачеху природу, восклицаетъ въ „Фантазіяхъ бѣднаго малаго“:

Я хочу, чтобъ ей на зло повсюду
Разлилось довольство, чтобъ законы
Были всѣ законы наслажденья,
Чтобъ меня судила справедливость,
Чтобъ тяжелый трудъ былъ равномѣрно
И по-братски раздѣленъ со всѣми,
Чтобъ свобода умѣряла страсти,
Чтобы страсти двигались народомъ,
Какъ пары колесами машины,
Облегчая руки человѣка,
Созидаая новыя богатства.
(Стран. 246).

Среди хаоса человѣческихъ страстей и недоумѣній, сводящихъ на нѣтъ все то, что мерещится намъ хорошаго и свѣтлаго, невольно создается въ отзывчивой душѣ или рѣзкое ожесточеніе, или меланхолическій упадокъ духа. Только *сильные* духомъ, люди вдохновенные, чувствующие, что они

посланы въ міръ со свѣтомъ истины, который долженъ теплиться пока не возсіяетъ во всей красѣ, — только такіе люди остаются тверды въ борьбѣ съ жизнью, какъ бы не угнетала ихъ судьба. Поэты—именно такіе избранники providѣнія, и вотъ почему мы не удивляемся, когда изъ устъ престарѣлаго пѣвца нашихъ завѣтныхъ идеаловъ исходятъ слѣдующія жизненные рѣчи:

Въ дни юности любилъ я родину, какъ сынъ
Родную мать, поэтъ — природу,
Женихъ— неvěсту, гражданинъ —
Права или свободу.
Но буду ль я по гробъ мечтательно любить
Родной мой край? — не знаю.
Мать можетъ сына оскорбить,
Неvěста можетъ измѣнить,
Народъ свободу погубить,
Все можетъ быть...
Но — нѣтъ, — не дай мнѣ Богъ простыть —
Простыть къ родному краю! (Стран. 289).

Пусть эти простые, душевные слова будутъ поэтическимъ наставленіемъ для нашего юношества, черствѣющаго среди гнетущей повседневности. И, пожалуй, представители этихъ народившихся и даже уже созрѣвшихъ и безвременно перезрѣвшихъ поколѣній, перечитавъ приведенные нами плоды возвышеннаго поэтического вдохновенія, съ вялою улыбкою на пошлыхъ устахъ скажутъ, что все это расплывчатые, неопредѣленные мечтанія и идеалы. Да, это идеалы неопредѣленные, ибо нѣтъ предѣла стремленіямъ тѣхъ, кто ими вдохновленъ, кто, питая ими свой духъ, всю свою земную жизнь, чувствуетъ въ груди своей небесный трепетъ, между тѣмъ какъ отрекающіеся отъ этихъ неопредѣленныхъ идеаловъ дѣлаются рабами плоти. Неопредѣленные идеалы свободы и всепрощающей любви въ былое время скрашивали самую сѣрую жизнь, на служеніе, на упорядоченіе которой выступало много бойцовъ. Многіе изъ нихъ брали на себя бремя вполне опредѣленныхъ задачъ и честно несли это бремя. Но всякое трудное дѣло спорится только тогда, когда слухъ труженика ласкаетъ пѣсня. Этотъ запросъ гармоніи сказанъ въ русской „дубинушкѣ“, безъ которой русскій народъ не берется за тягчайшія работы. Пѣсня эта не подсказываетъ работнику, какъ онъ долженъ трудиться,

но она производит то душевное волненіе, которое приводит въ уравновѣшенное напряженіе всѣ его умственные, нравственные и физическія силы. Вотъ почему попреки поэзіи безсодержательностью, неопредѣленностью, расплывчатостью суть попреки пустыхъ, лукавыхъ и анемичныхъ душъ. Люди сильные и здоровые никогда не спрашиваютъ, что дѣлать? Въ крови ихъ горитъ „огонь желаній“, въ душѣ ихъ „силъ избытокъ“, въ умѣ тѣснятся тысячи плановъ, и они только просятъ: не мѣшай, посторонись. А если на ихъ трудъ повѣсть словомъ привѣта, благодарности и звуками поэтической гармоніи, то работа кипитъ и поспѣваетъ.

Вотъ почему дидактическая поэзія, берущаяся диктовать человѣку весь кодексъ нравственной и практической жизни, никогда не можетъ имѣть мѣста среди энергичнаго и живого общества, а поэзія возвышенная, питающаяся не вчерашними, не сегодняшними тенденціями, но „всепроникающими, все-созидающими“ началами человѣческой жизни, сохранится въ памяти отдаленнѣйшихъ потомковъ.

Есть одно требованіе, которое русская критика всегда предъявляла и предъявляетъ всякому литературному произведенію: это требованіе народности. Требованіе это вовсе не праздное, но въ опредѣленіи народности у насъ царитъ сбивчивость понятій. Одни находятъ возможнымъ назвать народнымъ только то, что вполне выражаетъ сущность русскаго духа, но это, въ переводѣ на обще европейскій языкъ, значитъ національное. Другіе же понимаютъ народность въ самомъ узкомъ значеніи этого слова, разумѣя подъ народностью въ литературѣ только то направленіе, которое все свое поэтическое вниманіе сосредоточиваетъ на мужикѣ. Къ этому слѣдуетъ прибавить еще одно требованіе, которому долженъ удовлетворять народный поэтъ: онъ долженъ быть понятенъ и доступенъ самымъ низкимъ слоямъ общества, самому что ни на есть народу. Въ такомъ смыслѣ истинно-народнымъ поэтомъ былъ Беранже во Франціи. Кромѣ того, еще, по отношенію къ народнымъ массамъ, въ произведеніяхъ поэта, которыя писаны не для одного дня, должно сказаться ясное и сознательное пониманіе духа и нуждъ своего народа, нашего такъ называемаго меньшаго брата, потому что эта масса составляетъ фундаментъ, на которомъ *зидается все зданіе.*

Послѣднее изъ этихъ качествъ, неоспоримо свойственно поэзіи Полонскаго, и, что особенно цѣнно въ его, правда, немногочисленныхъ стихотвореніяхъ, гдѣ передъ вами является мужицкая душа, — въ этихъ стихотвореніяхъ всегда картинно, правдиво и честно представлена и разница въ міровоззрѣніи мужика и барина. Въ подтвержденіе нашей мысли сошлемся на стихотвореніе „Въ степи“ (352.)

Нарисовавъ невыразимо прекрасную картину степи, но не той дѣйственной степи, видомъ которой восторгался когда-то Гоголь, а степи, ставшей въ наши дни поприщемъ колоссальнаго земледѣльческаго труда, авторъ представляетъ себя въ положеніи человѣка, увлеченнаго этимъ степнымъ призывомъ, этимъ чернымъ, но благороднымъ трудомъ. Встрѣтившись съ крестьяниномъ-пахаремъ, онъ предлагаетъ ему промѣнять свою клячу съ сохою на его поэтическаго пегаса, и когда послѣ объясненія, что такое пегасъ, у крестьянина является подозрѣніе, что онъ имѣетъ дѣло съ колдуномъ, авторъ оправдывается передъ нимъ:

„Нѣтъ, не колдунъ, у меня есть другое старинное прозвище: Люди меня обзываютъ поэтомъ. Слыхалъ ли ты это Громкое слово: поэтъ?

— „Не слыхалъ, милый! съ роду не слыхивалъ. Что жъ это значить — поэтъ?“

— „То же почти, что колдунъ“.

— „А, коли такъ, ты-бъ, родимый, мнѣ кладъ указалъ, гдѣ зарыть“.

— „Кладъ у тебя подъ рукой, только засѣй свою пашню, Изъ подъ земли самъ собой къ осени выйдетъ твой кладъ“.

Понялъ мужикъ эту причту и почесалъ свой затылокъ:

— „Съ этого клада“, сказалъ онъ, „дай Богъ до весны прокормиться“

...Ишь, лошаденка-то — кожа да кости! — Крылатая лошадь —

Тоже, чай, тощая! Ты мнѣ ее покажи,

Да ужъ потомъ и тово — и вымѣнивай. Кто же те знаетъ;

Грамотъ я не учень; можетъ статься, и вправду такое

Водится чѣдо заморское“.

— „Ну, а куда бы, любезный, Ты бы на немъ полетѣлъ!“

— „Да куда полетѣть? — нешто въ городъ:

Али бы къ куму махнулъ. А не то обрубилъ бы

Чертовы крылья анаемѣ, да и запрягъ бы въ телѣгу“.

— „Ну, дядя, врядъ ли намъ выгодно будетъ мѣняться.

Ты на Пегасъ моемъ далеко не уѣдешь, а я

Съ клячей твоей не вспашу и одной десятины“...

(Стран. 355—356).

Здѣсь какъ живой передъ вами русскій мужикъ, съ его смиреннымъ довольствомъ скромною мужицкою долею, но вмѣстѣ съ тѣмъ, съ его прямолинейнымъ, иногда даже жестокимъ стремленіемъ ко всеобщей нивелировкѣ, и эта нивелировка, конечно не остановится передъ обрѣзываніемъ крыльевъ у всякаго рода пегасовъ, полетъ которыхъ представляетъ самыя свѣтлыя страницы въ исторіи мыслящаго человѣчества.

Впрочемъ, въ этомъ, можетъ быть, и сила простого человѣка, который выносивше своего бывшего барина и выходитъ изъ борьбы съ жизнью съ цѣльною душою тамъ, гдѣ баринъ доходитъ до полного ослабленія личной энергіи. Этотъ контрастъ въ сильныхъ поэтическихъ образахъ выраженъ Полонскимъ въ его стихотвореніи „Старая няня“ (331). Передъ вами выступаетъ вся жизнь и этой крѣпостной няни, сначала съ ея молодыми страстями и затѣмъ со старческимъ покаяніемъ, а съ другой стороны, жизнь всѣмъ намъ понятнаго —

...страдальца безъ креста,
Гражданина, сына времени
Прозябающаго,
Изнывающаго. (335)

Передъ вами двѣ измученныя жизнью души, но какая страшная пропасть раздѣляетъ ихъ міросозерцанія, и поэтъ, глубоко понимая это, гороритъ:

Я измученъ былъ, а ты
Прожила безъ суеты
И мятежныхъ думъ не вѣдала,
Капли яду не отвѣдала,
Яду маящихся,
Сомнѣвающихся. (334)

И далѣе:

Богъ съ тобой! Я жизнь мою
Не смѣняю на твою...
Но ты мнѣ близка, безродная,
Въ самомъ рабствѣ благородная.

Но о скорби русскаго интеллигентнаго человѣка, насколько она выразилась въ поэзіи Полонскаго, будетъ рѣчь впереди, а здѣсь кстати сказать, что муза его всегда отеливалась на страданія „сѣятеля нашего и хранителя“; онъ никогда не забывалъ, что

Далеко отъ просвѣщенныхъ,
Капитальныхъ городовъ,

Низнутъ жалкія селенія,
Гнѣзда темныхъ бѣдняковъ.
Тамъ невѣжество, тамъ тяжкій
Трудъ смѣняется нуждой... (Шиньонъ, стр. 351.)

Помнилъ онъ также и давность этихъ страданій, и тягость трудовъ, вынесенныхъ народомъ на своихъ плечахъ, каковыми, на примѣръ, навсегда останется въ русской исторіи строеніе Петербурга (см. „Міазмъ“, стр. 301), а изъ бѣдствій, совершавшихся на глазахъ поэта, съ самою удивительною силою отпечатлѣнь народный голодъ въ стихотвореніяхъ „Голодъ“ (стр. 280) и „Казимиръ Великій“ (361).

Говоря о тѣхъ стихотвореніяхъ Полонскаго, въ которыхъ мы усматриваемъ народность того или иного рода, нельзя не остановиться на такихъ произведеніяхъ его музы, какъ „Мельникъ“ (206) и „Бѣглый“ (212).

Съ одной стороны, въ ихъ художественномъ содержаніи заключается глубокое пониманіе истинно-народнаго духа, со всею его удалью и ширью, со всѣми недостатками, но и со всѣми достоинствами, а съ другой стороны, они такъ просты, задушевы, несложны въ своемъ поэтическомъ построеніи, что обладаютъ всѣми данными для того, чтобы проникнуть въ народные массы. Особенно важна здѣсь задушевность, присутствіе которой во всякомъ стихотвореніи, третируемомъ иногда свысока среди интеллигентныхъ читателей, всегда располагаетъ къ себѣ читателей изъ низшихъ слоевъ, и здѣсь-то секретъ необычайной популярности такихъ стихотвореній Полонскаго, какъ „Затворница“, „Въ одной знакомой улицѣ“, (стр. 47), „За окномъ въ тѣни мелькаетъ“ (стр. 16) и „Подойди ко мнѣ, старушка“ (146), — все это достоинство каждаго пѣсенника, — какъ задушевнѣйшее „Солнце и мѣсяцъ“ стало достояніемъ школы всѣхъ слоевъ общества. Это послѣднее стихотвореніе должно быть особенно дорого нашему общественному сознанію; какъ одно изъ немногихъ, встрѣчаемыхъ въ нашей жизни культурныхъ явленій, объединяющихъ всѣхъ и вся, потому что на такомъ воспоминаніи дѣтства, какъ выученное наизусть „Солнце и мѣсяцъ“, могутъ сойтись и верховный сановникъ и бѣднѣйшій мужикъ, прошедшій начальную школу.

До сихъ поръ мы рассматривали поэзію Полонскаго исключительно на почвѣ общественныхъ идеаловъ и вопросовъ. Но

Вѣдь эти идеалы отличаются чистотою, и эти вопросы находятъ своихъ поборниковъ только въ томъ обществѣ, въ составъ котораго входятъ индивидуальныя личности, съ высоко-настроеннымъ духомъ, съ облагороженными чувствами и помысленіями, выражающимися въ благородныхъ же формахъ. Поэтъ долженъ непремѣнно быть отзывчивымъ эхомъ этого рода личной психологіи и въ стихахъ своихъ давать намъ, такъ сказать, конкретныя формы всему тому, что тѣснится въ нашихъ чувствахъ и помысленіяхъ, но, по недостаточности личной силы словъ, по недостатку гибкости личнаго воображенія, не находитъ себѣ непосредственнаго выраженія. Въ области такого рода личной поэзіи Полонскій является поэтомъ въ высшей степени содержательнымъ и поучительнымъ, на всемъ протяженіи его долговременной поэтической дѣятельности, при чемъ особую черту музы его составляетъ слѣдующее: сохраняя въ теченіе сорока пяти лѣтъ въ полной неприкосновенности всю силу и чистоту своей поэтической манеры, Полонскій, вмѣстѣ съ тѣмъ, сохранилъ въ столь же полной неприкосновенности то молодое одушевленіе, которымъ проникнуты упрочившія его извѣстность стихотворенія сороковыхъ годовъ. Здѣсь нѣтъ холодной реторики и того старческаго шипѣнья, которое иногда бывало свойственно поэтамъ на склонѣ ихъ поэтической дѣятельности и которое заставляетъ ихъ „сжигать все, чему они поклонялись, поклоняться тому, что когда-то сжигали“, уничтожать или передѣлывать самыя сильныя изъ своихъ произведеній, созданныхъ всею мощью молодого поэтического духа. Напротивъ, поэзія Полонскаго дышитъ неувадаемымъ благоуханіемъ, тѣмъ самымъ благоуханіемъ, которое свозитъ въ каждой строчкѣ стихотворенія „Ночью“ (464), самой послѣдней поры творчества нашего поэта. Приводимъ цѣликомъ это небольшое стихотвореніе:

Чу, соловьи!... Звѣзды имъ улыбаются,
Тѣни имъ шепчутъ привѣтъ,
Радужнымъ роемъ въ душѣ просыпаются
Грезы утраченныхъ лѣтъ.
Дышитъ тепломъ эта ночка весенняя,
Вкрадчиво пахнетъ сирень.
Спи, братъ, чтобъ могъ ты во снѣ откровеннѣе
Бредить, чѣмъ въ суетный день.

Суетный день былъ врагомъ поздней нѣжности,
Поздней надежды и слезъ!...
Спи, милый другъ, чтобъ не знать безнадежности
И не осмѣивать грёзъ!

Мы привели это стихотвореніе только за тѣмъ, чтобы показать высоту и изящество тона, въ которомъ написаны граціознѣйшія стихотворенія Полонскаго. Если же искать истинно глубокаго и картинно-психологическаго содержанія, то чрезвычайнаго вниманія заслуживаетъ стихотвореніе „Умирающій“ (457). Предъ нами на смертномъ одрѣ чловѣкъ, высоко одаренный, свободный отъ предразсудковъ, отъ вѣры, а вмѣстѣ съ этою послѣднею — отъ надежды и любви. Онъ очень недурно прожилъ всю свою жизнь, и только теперь предсмертныя муки заставили его понять, что всю свою жизнь освобождая себя отъ всего, угнетающаго его личное существованіе, онъ собственноручно наложилъ на себя цѣпи рабства. Онъ самъ себя спрашиваетъ:

Хочу рѣшить вопросъ: свободенъ я, иль рабъ?
И если рабъ, то у кого въ неволѣ?

Кто сталъ теперь на смертномъ одрѣ его „бездущнымъ палачомъ“? задаетъ онъ себѣ вопросъ, и самъ себѣ отвѣчаетъ:

Палачъ, что подвергалъ меня колотью,
И жегъ, и рвалъ меня, и мучилъ какъ злодѣй,
Былъ то, что всѣ мы называемъ плотью —
Сплетеньемъ мускуловъ, жилъ, мяса и костей.
И вотъ та плоть, которую я холилъ
И улаживать себя неволилъ,
И почиталъ единосущнымъ съ „я“
Началомъ и концомъ земного бытія, —
Та плоть, которую любилъ я, повалила
Меня какъ лютый звѣрь, какъ жертву прикрутила
Къ постели и заставила стонать... (Стран. 458).

Далѣе слѣдуетъ уже не исповѣдь, а безпощаднѣйшій самоанализъ, необычайно объективный и безпристрастный, но вмѣстѣ съ тѣмъ гордый и ясный, во всемъ сознаніи чловѣческаго разума, разборъ своего собственнаго „я“, безъ жалобъ, безъ покаянія, но съ полнымъ сознаніемъ того, что переживаемыя страданія составляютъ прямой резуль-

татъ прожитой жизни человѣка нашихъ дней, который говоритъ:

Такъ, собственнаго разложенья
Свидѣтель, — я гляжу на всѣ свои мученья,
Какъ на слѣпое, роковое мщенье
Стихійныхъ, вѣчныхъ силъ, — за то, что я живу
Во времени и жить ихъ заставляю;
За то, что въ призраки влюбленный, — наяву
Я эти призраки обнять желаю;
За то, что всѣ мы — жалкіе рабы,
Рабы безчувственной природы,
Рабы измѣнчивой судьбы,
Рабы измышленной свободы
И плоти собственной рабы;
За то, что съ дѣтства до порога
Могины мы дышать не можемъ безъ оковъ...
Не мнилъ я быть рабомъ у Бога
И сталъ рабомъ Его рабовъ... (Стр. 460).

Какъ благородно выражень здѣсь поэтический протестъ противъ культа плоти и эгоизма, который, по выраженію поэта, —

обезцвѣчиваетъ все,
Что грѣтъ, чѣмъ свѣтло земное бытіе! (451).

Здѣсь нѣтъ раздражающаго ханжества, но поражаетъ необычайная глубина объективнаго взгляда и всепримиряющей и всепрощающей любви.

Такая цѣльность и свѣжесть личнаго міросозерцанія поэта и его запросовъ къ жизни сказались въ его лучшихъ стихотвореніяхъ, и гораздо болѣе ранняго періода, — въ стихотвореніяхъ, въ которыхъ постоянно и энергично изливался тотъ же протестъ противъ законовъ и запросовъ плоти, попирающей святая святыхъ человѣческаго духа, противъ

...обидъ напрасныхъ,
Соблазнитель безстрастныхъ,
Сокрушительной борьбы.

Любители и знатоки поэзіи узнаютъ эти стихи, взятые изъ такой превосходной пьесы, какъ „Натурщица“ (187), да и все это стихотвореніе есть энергическое выраженіе вышесказаннаго протеста, въ образахъ самой непосредственной и безыскусственной поэзіи.

Нечего говорить, что поэтической душѣ съ такимъ внутреннимъ настроеніемъ, которому въ рѣдкихъ случаяхъ является соотвѣтствіе въ переживаемой дѣйствительности, свойственно изливаться въ звукахъ грусти и печали.

Этотъ контрастъ задушевныхъ идеаловъ и запросовъ личнаго духа съ тѣмъ, что угнетало въ дѣйствительности, превосходно вылился въ стихотвореніи „Женщинѣ“, составляющемъ безъ сомнѣнія одинъ изъ крупнѣйшихъ перловъ лирики Полонскаго. Здѣсь, вмѣстѣ съ глубокимъ содержаніемъ, самая вышняя форма производитъ захватывающее впечатлѣніе, которое не поддается пересказу и критическому разложенію.

Тѣмъ же чувствомъ грусти проникнуто стихотвореніе „На пути изъ гостей“ (134), заключающее въ себѣ, между прочимъ, и характернѣйшую картину русской общественности, или вѣрнѣе, отсутствія таковой у насъ, если не считать за общественность пародію на нее; особенно полезно запомнить изъ этого стихотворенія слѣдующую глубоко вѣрную мысль:

Много есть чудныхъ, прекрасныхъ людей,
Свѣтлыхъ умомъ, и вполнѣ благородныхъ,
Но и они, въ родѣ блѣдныхъ тѣней,
Меркнутъ душою въ гостиныхъ холодныхъ.
Есть у насъ такъ называемый свѣтъ,
Есть даже люди, а общества нѣтъ:
Русская мысль въ одиночку созрѣла,
Да и гуляетъ безъ дѣла! (Стр. 136).

Эта неопредѣленность основъ нашей жизни съ не меньшею силою выразилась въ стихотвореніи „Среди хаоса“ (256), которое отражаетъ въ себѣ метанья нашего мыслящаго общества изъ стороны въ сторону, и по преимуществу неудачные поиски какого-то особеннаго труда, особенной дѣятельности, между тѣмъ какъ на дѣлѣ же надъ всѣмъ царитъ одна случайность, и ей слишкомъ поворно подчиняются всѣ и вся, а между тѣмъ, говоритъ поэтъ, —

Случайность не творить, не мыслить и не любить,
А мы — мы всѣ рабы случайности слѣпой,
Она не видитъ насъ и, не жалѣя, губить;
Но вѣрить ей толпа и долго, долго будетъ
Ловить ее впотьмахъ и звать ее судьбой. (257).

Кромѣ всѣхъ этихъ стихотвореній, въ которыхъ отличалась извѣстная мысль, отражающая тотъ или иной строй

человѣческихъ чувствъ, множество такихъ отраженій невольно запоминается, при чтеніи самыхъ обыкновенныхъ, казалось бы, лирическихъ стихотвореній, по преимуществу эротическаго характера. Чрезвычайная осмысленность этихъ стихотвореній и глубокая чистота ихъ внѣшней формы составляетъ яркое отличіе этой стороны поэтической дѣятельности Полонскаго. Вотъ почему нельзя не желать популярности стихамъ Полонскаго среди теперешней молодежи. Только самая близорукая педагогія можетъ старательно исключать изъ обихода юношескаго чтенія всякое стихотвореніе, гдѣ говорится о любви. Любовь — это чувство стихійное, просыпающееся рано или поздно, смотря по внутренней организаціи, — въ естественныхъ или неестественныхъ проявленіяхъ, смотря по обстановкѣ воспитанія характера. Любовь — это есть такая же душевная способность, какъ и всѣ другія, и должна быть воспитана на ряду съ ними, а между тѣмъ, по установившемуся обычаю, отъ юноши запрятывается всякій, хотя бы самый чистый, самый поэтический намекъ на любовь. Между тѣмъ, инстинктъ, самъ по себѣ, ищетъ себѣ удовлетворенія и выраженія, и въ этихъ поискахъ вступаетъ иногда на самую ложную, испорченную дорогу. Не надо забывать, что въ благородную поэтическую форму чрезвычайно трудно вложить неблагородное, прозаически-пошлое содержаніе, и наоборотъ. Сживаясь съ истинно-поэтическими образами, сохраняя въ своей памяти изящныя реченія, впечатлѣвающія въ себѣ тѣ или иные порывы чувства, однимъ словомъ, получивъ эстетическое воспитаніе, мы сторонимся отъ безнравственнаго, — иногда прежде всего потому, что оно претитъ чувству прекраснаго. Усвоеніе поэтическаго содержанія вышесказаннаго рода облагораживаетъ самый языкъ, вносить въ нашъ обыденный лексиконъ поэтическую возвышенность, само собою исключаящую пошлость и грубость.

Съ этой точки зрѣнія мы ставимъ чрезвычайно высоко такіа стихотворенія Полонскаго, какъ „Пришли и стали тѣни ночи“ (2), „Отрочество“ (339), „Заплета свои темныя косы вѣнцомъ“ (240), „Прости“ (108), „Наивная жалоба“ (49) и очень многія другія.

Въ томъ же воспитательномъ смыслѣ, какъ поэтическій матеріалъ, ведущій къ облагороженію ума, чувства и воображенія, можетъ быть отмѣченъ цѣлый рядъ стихотвореній,

въ которыхъ васъ поражаетъ и восхищаетъ не какая-либо опредѣленная идея, но непосредственная красота поэтического образа, производящая въ душѣ въ высшей степени пріятное и тѣмъ самымъ, какъ мы сказали о томъ выше, чрезвычайно полезное, поднимающее духъ сердечное волненіе. Къ такимъ стихотвореніямъ, безъ сомнѣнія, можно отнести: „Статуя“ (18), „Разсказъ волнъ“ (22), „Качка въ бурю“ (108), „На берегахъ Италіи“ (144), „Подсолнечное царство“ 161, „Чайка“ (202), „На желѣзной дорогѣ“ (229), „Нагорный ключъ“ (316), „На закатѣ“ (328), „Струйка“ (463), „На каланчѣ“ (471) и многія другія.

Наконецъ, энергія чувства, высокій подъемъ духа — все это прекрасно выражено въ такихъ стихотвореніяхъ, какъ „Кумиръ“ (36), „Подражаніе корану“ (43), „Мое сердце родникъ“ (138), вышеупомянутое стихотвореніе „Старый орелъ“, „Впередъ и впередъ“ (275) и др.

Мы поставили передъ нашими читателями цѣлую галерею художественныхъ произведеній, заключающихся въ лирическихъ стихотвореніяхъ Я. П. Полонскаго, но далеко не исчерпали всего содержанія богатѣйшаго источника вдохновеній нашего маститаго поэта. Многосторонность его таланта исключаетъ возможность прямолинейнаго о немъ сужденія, признанія безупречными классическими произведеніями именно тѣхъ, а не иныхъ его произведеній. Поэзія Полонскаго — это то *эхо*, о которомъ съ такою поэтическою силою высказался Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи этого имени, и потому каждый, съ своей точки зрѣнія, находитъ въ этой поэзіи то, что дорого его духу и удовлетворяетъ его художественный вкусъ. Мы, съ своей стороны, видя въ стихотвореніяхъ Полонскаго то, что мы видимъ, старались подтвердить свою точку зрѣнія фактами, почерпнутыми изъ богатаго содержанія его поэзіи, между тѣмъ какъ весьма возможно, что поэзія Полонскаго произведетъ самое отрадное впечатлѣніе и на тѣхъ, кто взглянетъ на нее съ совершенно иной точки зрѣнія. Изъ этого только слѣдуетъ, что истина всегда и для всѣхъ одна и та же; что истинное дарованіе можетъ оставаться въ тѣни только до поры, до времени, только въ силу какихъ-либо временныхъ и скоропреходящихъ условій повседневности, и рано или поздно является для всѣхъ во всей своей силѣ и красотѣ.

Но неужели, — можетъ воскликнуть читатель, — лирическая поэзія Полонскаго заключаетъ одни только перлы и перлы? Мы этого нигдѣ не сказали, но дѣйствительно выдвинули на первый планъ цѣлый рядъ превосходныхъ поэтическихъ произведеній. Въ то же время мы не отрицаемъ, что среди этихъ стихотвореній найдется нѣсколько, неудовлетворяющихъ эстетическому вкусу; но мы считаемъ себя вправѣ обойти ихъ молчаніемъ: съ одной стороны, мы опасаемся субъективности собственнаго и, такъ сказать, беспочвенно высказаннаго личнаго сужденія, потому что о вкусахъ, какъ извѣстно, не спорять, и одно и то же стихотвореніе, обладающее всѣми поэтическими достоинствами, можетъ очень нравиться однимъ, а другимъ быть крайне несимпатично; съ другой стороны, число такихъ стихотвореній чрезвычайно незначительно, не только въ сравненіи съ представленными нами образцами поэзіи Полонскаго, но и съ тѣми, о которыхъ мы не упомянули, не имѣвши къ тому опредѣленнаго случая, тѣмъ болѣе, что, какъ уже и выше сказано, тутъ можетъ идти рѣчь только о внутреннемъ содержаніи; что же касается внѣшней стороны, — формы, то въ этомъ отношеніи Полонскій поэтъ положительно безупречный: его чисто-русскій языкъ безусловно свободенъ отъ какихъ бы то ни было дѣланыхъ формъ и выраженій, въ доброе старое время извѣстныхъ подъ именемъ поэтическихъ вольностей, а нынѣ иногда выставляемыхъ за образцы гибкости языка. Такая чистота и строгость языка тѣмъ болѣе поражаетъ въ поэзіи Полонскаго, что онъ чрезвычайно разнообразенъ въ выборѣ формъ и размѣровъ и вездѣ выходитъ безупречнымъ побѣдителемъ, создавая во всѣхъ родахъ самые живые и увлекательные стихи.

Гаршинъ.

Поэзія Полонскаго — поэзія человѣчности.

Я. П. Полонскій былъ однимъ изъ крупныхъ поэтовъ послѣ пушкинской эпохи, выступившихъ въ половинѣ этого столѣтія и наполнившихъ своими созданіями сокровищницу русской поэзіи. Если бы лирическія стихотворенія и поэмы собирались въ такіе же музеи, какъ картины и статуи, для *храненія* созданій красоты въ мірѣ поэзіи, то въ такой на-

ціональний поетическій музей пришлось бы помѣстить большую часть произведеній Я. П. Полонскаго, и если бы захотѣли изучать русское представленіе о прекрасномъ, слѣдовало бы пристально изучать Я. П. Полонскаго

Обыкновенно имя Я. П. Полонскаго сопоставляютъ съ именами А. Н. Майкова и А. А. Фета. Дѣйствительно, въ ихъ поетической судьбѣ много общаго. Размѣры ихъ дарованій приблизительно одинаковы; всѣ три поэта выступили на поетическое поприще и пѣли свои пѣсни въ одно время и дожили приблизительно до одного возраста. Но если не требовать чисто внѣшняго сходства, то необходимо признать, что поетическій трилистникъ русской поэзіи состоитъ изъ четырехъ листовъ: къ именамъ Я. П. Полонскаго, А. Н. Майкова, А. А. Фета слѣдуетъ присоединить еще имя гр. А. К. Толстого. Въ самомъ дѣлѣ, дарованіе этого поэта и по свойствамъ и по размѣру подобно дарованіямъ членовъ поетической тріады; произведенія его относятся къ послѣ пушкинской эпохѣ, и никакой другой поэтъ во всей русской литературѣ не приближается къ тріадѣ въ такой мѣрѣ, какъ именно гр. А. К. Толстой.

Такимъ образомъ, русская поэзія середины нашего вѣка (хотя поетическая дѣятельность Фета, Майкова и Полонскаго и продолжалась до послѣднихъ годовъ этого столѣтія, но основныя черты ея оставались неизмѣнными) характеризуется этими четырьмя именами: гр. А. К. Толстой, А. А. Фетъ, А. Н. Майковъ и Я. П. Полонскій. Ими созданы лучшія произведенія въ области лирики любви, природы и въ области баллады — словомъ, тѣ произведенія чистой красоты, которыя подобно тому, какъ картины и статуи украшаютъ нашу внѣшнюю жизнь, — украшаютъ наше духовное существованіе.

Сходство вопросовъ, занимавшихъ воображеніе этихъ четырехъ поэтовъ, сходство отношенія къ нимъ у всѣхъ четырехъ поразительное. Технические приемы у нихъ тоже приблизительно одинаковы. Несомнѣнна принадлежность ихъ къ одной литературной школѣ. У всѣхъ четырехъ можно найти стихотворенія, въ которыхъ они какъ бы сливаются, напоминая одинъ другого. Но это сходство — сходство культуры, воспитанія, школы. По темпераменту же, по личности нѣтъ поэтовъ болѣе отличныхъ одинъ отъ другого, какъ поэты трилистника о четырехъ листьяхъ. Это квартетъ, или

точнѣ тріо съ аккомпаниментомъ фортепіано, въ которомъ роль серіозной віолончели принадлежитъ А. Н. Майкову, пѣвучей скрипки — гр. А. К. Толстому, страстнаго альта — А. А. Фету и объединяющей болѣ широкой гармоніи фортепіано — Я. П. Полонскому.

Широта и гуманность взгляда — вотъ главные черты, отличающія Я. П. Полонскаго отъ его сотоварищей по поэзіи. Эти его черты можно прослѣдить во всемъ — въ его отношеніяхъ къ искусству, къ природѣ, къ любви, къ женщинѣ, наконецъ, въ выборѣ его темъ для балладъ.

Вспомнимъ, какъ относились къ искусству гр. А. К. Толстой, А. Н. Майковъ и А. А. Фетъ. Майковъ и Фетъ прямо считали себя жрецами искусства. „Съ бородою сѣдою верховный я жрецъ“, рекомендуетъ себя А. А. Фетъ. А. Н. Майковъ называетъ поэтовъ хранителями священнаго огня на алтарѣ. Гр. А. К. Толстой приглашаетъ своихъ послѣдователей грести противъ теченія, и тогда „верхъ надъ конечнымъ возьметъ безконечное“. Я. П. Полонскій чуждъ и холоднаго, безстрастнаго жречества А. Н. Майкова и А. А. Фета, и воинственнаго задора гр. А. К. Толстого, хотя не менѣ ихъ вѣрить въ силу искусства. Прославленію этой силы посвящена его баллада „Бѣда-проповѣдникъ“. Ослѣпшаго святого водилъ мальчикъ, и вотъ однажды онъ усталъ или просто захотѣлъ обмануть старца, и среди пустыни онъ увѣрилъ святого, что его жаждутъ слушать люди.

И старца лицо просіяло мгновенно.
Какъ ключъ, пробивающій каменный слой,
Изъ устъ его блѣдныхъ живою волной
Высокая рѣчь потекла вдохновенно...
Безъ вѣры такихъ не бываетъ рѣчей!
Казалось, слѣпцу въ славѣ небо являлось;
Дрожащая къ небу рука поднималась,
И слезы текли изъ потухшихъ очей.
Но вотъ ужъ сгорѣла заря золотая,
И мѣсяца блѣдный лучъ въ горы проникъ;
Въ ущелье повѣяла сырость ночная...
И вотъ, проповѣдуя, слышитъ старикъ,
Зоветь его мальчикъ, смѣясь и толкая:
„Довольно, пойдемъ! Никого уже нѣтъ...“
Замолкъ грустно старецъ, головой поникая;
Но только замолкъ онъ — отъ края до края:
Аминь!“ ему грянули камни въ отвѣтъ.

Такимъ образомъ, въ Я. П. Полонскомъ живетъ не менѣе сильная вѣра въ необходимость и важность искусства. Но тѣмъ не менѣе, поэтъ, по его мнѣнію, долженъ жить одною жизнью со своимъ народомъ:

Писатель,—если только онъ
Волна, а океанъ — Россія,
Не можетъ быть не возмущенъ
Когда возмущена стихія.

Писатель,—если только онъ
Есть нервъ великаго народа.
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена свобода.

И дѣйствительно, Я. П. Полонскій въ теченіе всей своей поэтической дѣятельности старался откликаться на всѣ современныя ему политическія событія и общественныя настроенія. Въ особенности эта черта его дѣятельности замѣтна въ его послѣднихъ стихотвореніяхъ. Русская общественная жизнь въ послѣднія пятнадцать лѣтъ приняла совершенно своеобразный характеръ. Молодежь почти не участвуетъ въ ней. Выдающіеся общественные дѣятели — старики, или люди близкіе къ старости, и притомъ не такіе старики, которые до сѣдыхъ волосъ сохраняютъ молодое сердце, но дѣйствительные старики по складу ума и характера — испушенные опытомъ, осторожные медлительные, консервативные. Въ литературѣ мы замѣчаемъ то же самое. Наиболѣе выдающіеся писатели, тѣ, къ голосу которыхъ прислушиваются, принадлежать къ старшимъ поколѣніямъ. Немногочисленные юные по возрасту и новые по идеямъ обладаютъ весьма ограниченнымъ талантомъ и притомъ какъ то невліятельны въ публикѣ. Въ эти послѣднія пятнадцать лѣтъ роль поэтовъ выразителей современнаго общественнаго настроенія, какими были въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ Н. А. Некрасовъ и А. Н. Плещеевъ, взяли на себя А. М. Жемчужниковъ и Я. П. Полонскій, оба — поэты уже преклонныхъ лѣтъ. Въ особенности ярка роль Я. П. Полонскаго. Въ своей поэтической дѣятельности послѣднихъ пятнадцати лѣтъ онъ обнаружилъ необыкновенную даже для него самого чуткость къ общественнымъ настроеніямъ, и отзывался рѣшительно на всѣ злобы дня. Его поэзія послѣднихъ лѣтъ можетъ быть по справедливости признана характеризующей общественныя настроенія русскаго общества въ концѣ XIX вѣка.

Въ самомъ дѣлѣ, самымъ характернымъ общественнымъ явленіемъ послѣднихъ пятнадцати лѣтъ можетъ быть названъ поворотъ къ мистическому, основанный на недовольствѣ окрѣ-

жающимъ. Мистическій элементъ, который никогда не былъ чуждъ поэзіи Я. П. Полонскаго, какъ разъ къ тому времени сильнѣе зазвучалъ въ его стихахъ. Именно къ послѣднимъ годамъ жизни поэта относится созданіе его замѣчательной поэмы „Мечтатель“. Въ ней все характерно для нашей эпохи: и время дѣйствія поэмы, перенесенное въ дореформенные годы, когда не знали точной науки и вѣрили живѣе и глубже, и крайняя напряженная религіозность героя, доводящая его до видѣній, и, наконецъ, ея эротизмъ. Вѣдь темы, основанныя на любви къ женщинамъ, всегда пріобрѣтаютъ особый интересъ въ эпохи, лишенные интересовъ общественныхъ.

Не менѣе рельефно характеризуются поэтомъ и отрицательныя стороны современной жизни. Его сатира не зла, но выразительна. Какъ на лучшіе образцы этой сатиры, можно указать на его „Разговоръ“, гдѣ имѣется очень вѣрная и образная критика современной молодой безсильной поэзіи. Въ этомъ стихотвореніи попадаются весьма сильные стихи, характеризующіе новыхъ поэтовъ:

Есть форма, но она пуста,	Въ какомъ такомъ подлунномъ
Красива, но не красота.	мірѣ,
Спросите: гдѣ эти лилеи,	Въ Россіи или въ Кашемирѣ?!
Нарцисы, лавры, купы розъ,	Не спрашивайте! — Самъ поэтъ
Чинары, темныя аллеи,	Вамъ затруднится дать отвѣтъ
И капли жемчуга и слезъ,	и т. д.

А вотъ необычайно вѣрно и живо набросанный портретъ современнаго дѣльца изъ крупнаго чиновнаго міра.

Оттого что онъ вѣрить въ людей пересталъ,
Онъ изысканно вѣжливымъ сталъ;
Оттого что онъ въ истинѣ пользы не видитъ,
Никого онъ словомъ не обидитъ;
Оттого что онъ съ дѣтства насильно учень,
Въ свѣтъ науки не вѣруетъ онъ,
Вѣрить только въ удачу, да въ хитрость людскую,
Да въ чины, да въ мощну золотую.

Такая отзывчивость, такое глубокое и вѣрное пониманіе общественныхъ типовъ поневолѣ заставляютъ задаться вопросомъ: отчего же Я. П. Полонскій не былъ выразителемъ общественныхъ настроеній, подобно Н. А. Некрасову, въ теченіе всей своей поэтической дѣятельности?

Причины этого коренятся въ самомъ свойствѣ характера музы Я. П. Полонскаго. Онъ старался отъливаться на общественныя событія, но всегда и прежде всего онъ былъ поэтомъ, и вопросы искусства стояли у него на первомъ планѣ. Между тѣмъ, общественныя условія въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ требовали принесенія интересовъ искусства въ жертву общественнымъ интересамъ. Искусство казалось тогда излишнею роскошью, безъ которой пока можно обойтись. Пока не выстроенъ домъ, его рано украшать, надо всѣ силы напрячь для того, чтобы построить самое зданіе. Русское общество переживало тогда своего рода иконоборческій періодъ, находящій свое объясненіе отчасти и въ обновленномъ составѣ этого общества. Въ составъ его членовъ вошли новые элементы, выбившіеся изъ низшей среды, въ которой непонятны были эстетическія стремленія поэтовъ. Я. П. Полонскій не могъ идти при такихъ условіяхъ по теченію, такъ какъ, раздѣляя общественныя настроенія, поскольку они касались политическаго устройства, онъ не могъ сочувствовать ему въ литературномъ отношеніи. При этомъ Я. П. Полонскій, по отзывчивости своей натуры, не могъ замкнуться въ самомъ себѣ, какъ это сдѣлали А. Н. Майковъ и А. А. Фетъ, и по недостатку воинственности не могъ такъ открыто выступать противъ теченія, какъ призывалъ къ тому гр. А. К. Толстой.

Напротивъ, въ болѣе ранній періодъ времени — въ сороковые годы — Я. П. Полонскій, тогда еще молодой человѣкъ, несмотря на отсутствіе въ Россіи собственной политической жизни, выказалъ себя достаточно тонко настроеннымъ въ общественномъ отношеніи, что и отразилось на его поэмѣ „Въ сороковыхъ годахъ“ и на связанныхъ съ нею лирическихъ стихотвореніяхъ.

Впрочемъ, какъ сказано, не этими своими общественными стихотвореніями дорогъ намъ Я. П. Полонскій. Конечно, для насъ отрадно было имѣть его выразителемъ нашихъ общественныхъ настроеній за послѣднія пятнадцать лѣтъ; но главная его заслуга въ томъ, что онъ обогатилъ русскую поэзію произведеніями чистой красоты, которыя всегда будутъ освѣжать и ободрять утомленный пошлостью жизни умъ всякаго нуждающагося въ согрѣваніи божественнымъ огнемъ поэзіи.

Лучшими произведеніями Я. П. Полонскаго мы считаемъ его баллады. Къ этому разряду мы относимъ всѣ лирико-эпическіе опыты, въ которыхъ поэтъ созерцаетъ излюбленные имъ историческіе или фантастическіе образы. Этими балладами всего лучше опредѣляются вкусъ и симпатіи поэта.

Для гр. А. К. Толстого весьма характерны его древне-русскія баллады, рисующія благородные образы древней Руси, не знавшей еще ни татарскаго хана ни московскихъ воеводъ. Свобода и удалъ — его излюбленные идеалы. Любимыми темами А. Н. Майкова были безстрастіе и спокойный героизмъ, съ которыми встрѣчали смерть и горе древніе и средневѣковые люди. „Три смерти“, „Пульчинелль“, „Брингильда“ даютъ намъ образы этой холодной, нѣсколько жесткой, но въ то же время безукоризненной красоты.

Любимыми образами Я. П. Полонскаго являются гуманные, вызывающіе любовь и состраданіе люди. Его лучшая баллада „Казимиръ Великій“ посвящена польскому королю, отворившему свои житницы народу въ годину бѣдствія. Въ другой изъ лучшихъ его балладъ „Кассандра“, греческая царица отказывается полюбить бога потому, что ея народу угрожаетъ бѣдствіе. „Финскій берегъ“ посвященъ трогательной заботливости финскихъ рыбаковъ о своихъ товарищахъ во время бури. „На улицахъ Парижа“ призываетъ сочувствіе къ одной изъ жертвъ революціи. Таковы любимые образы Я. П. Полонскаго.

Я. П. Полонскій не можетъ отдаться своимъ грезамъ безъ мысли о своихъ ближнихъ. Его не прельщаетъ внѣшняя красота — красота статуй и картинъ. Ему нужна одухотворенная красота, говорящая о глубокомъ смыслѣ, о душѣ, о страданіяхъ ея переживаемыхъ, о благородствѣ мыслей. Возьмемъ для примѣра женскіе портреты, въ изобиліи нарисованные нашими четырьмя поэтами.

У А. Н. Майкова эти портреты поражаютъ чисто внѣшнею красотою. Не говоримъ уже о древне-греческихъ его стихотвореніяхъ, но и въ современныхъ, если исключить большія поэмы, какихъ женщинъ онъ создалъ? Смуглянку Фіорину въ вѣнѣхъ изъ дубовыхъ листьевъ и съ нитью фальшивыхъ перловъ въ волосахъ; холодную кокетку миссъ Мери; страстную Фортунату и робкую русскую, которая, боясь пересудовъ свѣта, не рѣшилась ничего сказать любимому человѣку

въ моментъ разлуки. Характеристики А. А. Фета еще болѣе общи. Правда, онъ трогательно говоритъ объ обаяніи женщины, которая кажется ему вся въ огняхъ, о милой вкрадчивости другой, которая при первой встрѣчѣ вошла въ тайники его души, гдѣ хранится недоступно отъ взора людей все, что судьбами въ отраду посылалось намъ; но большинство его героинь характеризуется тѣмъ, что онѣ сняты поэту въ коронѣ звѣздной, что у нихъ пухлыя ручки и сладкія губки — словомъ, качествами спеціально женскими, а не общечеловѣческими. То же можно сказать и о гр. А. К. Толстомъ.

Не такова женщина у Я. П. Полонскаго. Когда онъ описываетъ даже античныхъ женщинъ, извѣстныхъ профессиональною красотою, какова была Аспазія, онъ рисуетъ ее съ благороднѣйшей точки зрѣнія, изображая не тѣло, а душу. Фантазія поэта нарисовала античную гетеру ожидающею Перикла послѣ одной изъ его рѣчей. „Площадь отсюда видна мнѣ, покрытая тѣнью сквозныхъ галлерей“, говоритъ она:

Шумъ ея замеръ, и — это молчаніе
Въ полдень такъ странно, что вновь
Сердце мнѣ мучить тоска ожиданія,
Радость, тревога, любовь.
Буйныхъ Аеинъ тишину изучила я,
Это — Периклъ говорить...
Если блѣдна и молчитъ его милая,
Значить, — весь городъ молчитъ!...
Чу! шумъ на площади... рукоплесканія...
Друга вѣнчаетъ народъ!...
Но и въ лавровомъ вѣнкѣ изъ собранія
Онъ къ этой двери придетъ.

Неправда ли, Я. П. Полонскій изобразилъ любовь аеинской гетеры въ такомъ видѣ, что ее можно поставить въ примѣръ даже самой образцовой женѣ?

Но еще болѣе яркій примѣръ того, какая именно красота привлекала вниманіе Я. П. Полонскаго, можетъ дать нижеслѣдующее извѣстное его стихотвореніе, особенно характерное, если сопоставить его съ воспѣваніями женщинъ у А. Н. Майкова и А. А. Фета:

Что мнѣ она! — не жена, не любовница,
И не родная мнѣ дочь!
Такъ отчего жъ ея доля проклятая
Спать не даетъ мнѣ всю ночь!?

Спать не даетъ оттого, что мнѣ грезится
Молодость въ душной тюрьмѣ:
Вижу я — своды... окно за рѣшоткою...
Койку въ сырой полутъмѣ...
Съ койки глядятъ лихорадочно-знойныя
Очи безъ мысли и слезъ,
Съ койки висятъ чуть не до полу темныя
Космы тяжелыхъ волосъ...
Не шевелятся ни губы ни блѣдныя
Руки на блѣдной груди,
Слабо прижатые къ сердцу безъ трепета
И безъ надеждъ впереди...
Что мнѣ она! — не жена, не любовница,
И не родная мнѣ дочь!
Такъ отчего жъ ея образъ страдальческій
Спать не даетъ мнѣ всю ночь!?

Я. П. Полонскій одинъ изъ немногихъ поэтовъ видѣлъ въ женщинѣ прежде всего человѣка и относился къ ней какъ къ человѣку. Красота, которую онъ воспроизводилъ, — красота души, а не тѣла. Изъ этой точки зрѣнія его вытекаетъ и его отношеніе къ любви, проникающее его любовныя стихотворенія.

У Я. П. Полонскаго, въ отличіе отъ многихъ другихъ поэтовъ, любовь изображена во всемъ ея разнообразіи — со всѣми ея радостями, огорченіями, а главное тревогами и заботами. Оттого это чувство, носящее часто характеръ божественности у другихъ поэтовъ, впервые получаетъ свойства человѣчности въ стихахъ Я. П. Полонскаго. Онъ, какъ Софократъ философію, свелъ любовь съ неба на землю.

Я. П. Полонскій знаетъ и прекрасно рассказываетъ привлекающую чувственную сторону любви:

Пришли и стали тѣни ночи
На стражѣ у моихъ дверей.
Смѣлый глядитъ мнѣ прямо въ очи
Глубокій мракъ ея очей.
Надъ ухомъ шепчетъ голосъ нѣжный,
И змѣйкой бьется мнѣ въ лицо
Ея волосъ моей небрежной
Рукой измятое кольцо.
Помедли, ночь! густою тьмою
Покрой волшебный міръ любви!
Ты, время, дряхлую рукою
Свои часы останови!

Но покачнулись тѣни ночи,
Бѣгутъ, шатаясь, назадъ;
Ея потупленные очи
Уже глядятъ и не глядятъ;
Въ моихъ рукахъ рука застыла;
Стыдливо на моей груди
Она лицо свое сокрыла...
О, солнце, солнце! Погоди!

Еще лучше умѣетъ онъ говорить о сердечной привязанности, сохраняющейся на всю жизнь и дѣлающей изъ любви самый надежный щитъ отъ земныхъ невзгодъ. Но при всемъ томъ поэтъ понималъ, что

Не всякому дано любви хмельной напитокъ
Разбавить дружбы трезвою водой,
И дотянуть его до старости глубокой
Съ наперсницей когда-то молодой.

И это сознаніе заставляетъ поэта съ самаго начала относиться къ любви съ сомнѣніемъ и недоверіемъ, не столько отдаваться настоящему, сколько думать о будущемъ. А такое отношеніе къ любви у нашего поэта вноситъ въ стихотворенія, посвященные любви, правдивость и искренность. Читатель, который познакомится съ этимъ чувствомъ по стихамъ Я. П. Полонскаго, получитъ о немъ болѣе жизненное понятіе, чѣмъ знакомый съ любовью по стихамъ А. Н. Майкова и А. А. Фета. И хотя въ такомъ чувствѣ нѣтъ божественности, но его правдивость имѣетъ иное не менѣе драгоценное обаяніе; такое впечатлѣніе производитъ, напримѣръ, откровенная любовь въ заключительныхъ строфахъ известнаго стихотворенія „Подойди ко мнѣ, старушка“:

На устахъ ея улыбка,
Въ сердцѣ — слезы и гроза:
Съ упоеніемъ и грустью
Онъ глядитъ въ ея глаза.
Говоритъ она: обманъ твой
Я предвижу, и не лгу,
Что тебя возненавидѣть
И хочу, и не могу.

Онъ глядитъ все такъ же грустно,
Но лицо его горитъ...
Онъ къ плечу ея устами
Припадая, говоритъ:
Берегись меня! — я знаю,
Что тебя я погублю,
Оттого что я безумно,
Горячо тебя люблю!...

Разсудочный элементъ, внесенный Я. П. Полонскимъ въ эротическую лирику, еще сильнѣе слышится въ его стихахъ, посвященныхъ описаніямъ природы: Я. П. Полонскій не сливается съ нею, какъ А. А. Фетъ, въ стихотвореніяхъ кото-

Спать не даетъ оттого, что мнѣ грезится
Молодость въ душной тюрьмѣ:
Вижу я — своды... окно за рѣшеткою...
Койку въ сырой полутьмѣ...
Съ койки глядятъ лихорадочно-знойныя
Очи безъ мысли и слезъ,
Съ койки висятъ чуть не до полу темныя
Космы тяжелыхъ волосъ...
Не шевелятся ни губы ни блѣдныя
Руки на блѣдной груди,
Слабо прижатые къ сердцу безъ трепета
И безъ надеждъ впереди...
Что мнѣ она! — не жена, не любовница,
И не родная мнѣ дочь!
Такъ отчего жъ ея образъ страдальческій
Спать не даетъ мнѣ всю ночь?

Я. П. Полонскій одинъ изъ немногихъ поэтовъ видѣлъ въ женщинѣ прежде всего человѣка и относился къ ней какъ къ человѣку. Красота, которую онъ воспроизводилъ, — красота души, а не тѣла. Изъ этой точки зрѣнія его вытекаеть и его отношеніе къ любви, проникающее его любовныя стихотворенія.

У Я. П. Полонскаго, въ отличіе отъ многихъ другихъ поэтовъ, любовь изображена во всемъ ея разнообразіи — со всѣми ея радостями, огорченіями, а главное тревогами и заботами. Оттого это чувство, носящее часто характеръ божественности у другихъ поэтовъ, впервые получаетъ свойства человѣчности въ стихахъ Я. П. Полонскаго. Онъ, какъ Софоклъ, свелъ любовь съ неба на землю.

Я. П. Полонскій знаетъ и прекрасно рассказываетъ привлекательную чувственную сторону любви:

Пришли и стали тѣни ночи
На стражѣ у моихъ дверей.
Смѣлый глядитъ мнѣ прямо въ очи
Глубокій мракъ ея очей.
Надъ ухомъ шепчетъ голосъ нѣжный,
И змѣйкой бьется мнѣ въ лицо
Ея волосъ моей небрежной
Рукой измятое кольцо.
Помедли, ночь! густою тьмою
Покрой волшебный міръ любви!
Ты, время, дрыхлою рукою
Свои часы останови!

Но покачнулись тѣни ночи,
Бѣгутъ, шатаются, назадъ;
Ея потупленные очи
Уже глядятъ и не глядятъ;
Въ моихъ рукахъ рука застыла;
Стыдливо на моей груди
Она лицо свое сокрыла...
О, солнце, солнце! Погоди!

Еще лучше умѣетъ онъ говорить о сердечной привязанности, сохраняющейся на всю жизнь и дѣлающей изъ любви самый надежный щитъ отъ земныхъ невзгодъ. Но при всемъ томъ поэтъ понималъ, что

Не всякому дано любви хмельной напитокъ
Разбавить дружбы трезвою водой,
И дотянуть его до старости глубокой
Съ наперсницей когда-то молодой.

И это сознание заставляетъ поэта съ самаго начала относиться къ любви съ сомнѣніемъ и недоувѣріемъ, не столько отдаваться настоящему, сколько думать о будущемъ. А такое отношеніе къ любви у нашего поэта вноситъ въ стихотворенія, посвященные любви, правдивость и искренность. Читатель, который познакомится съ этимъ чувствомъ по стихамъ Я. П. Полонскаго, получитъ о немъ болѣе жизненное понятіе, чѣмъ знакомый съ любовью по стихамъ А. Н. Майкова и А. А. Фета. И хотя въ такомъ чувствѣ нѣтъ божественности, но его правдивость имѣетъ иное не менѣе драгоценное обаяніе; такое впечатлѣніе производитъ, напримѣръ, откровенная любовь въ заключительныхъ строфахъ известнаго стихотворенія „Подойди ко мнѣ, старушка“:

На устахъ ея улыбка,
Въ сердцѣ — слезы и гроза:
Съ упоеніемъ и грустью
Онъ глядитъ въ ея глаза.
Говорить она: обманъ твой
Я предвижу, и не лгу,
Что тебя возненавидѣть
И хочу, и не могу.

Онъ глядитъ все такъ же грустно,
Но лицо его горитъ...
Онъ къ плечу ея устами
Припадая, говоритъ:
Берегись меня! — я знаю,
Что тебя я погублю,
Оттого что я безумно,
Горячо тебя люблю!...

Разсудочный элементъ, внесенный Я. П. Полонскимъ въ эротическую лирику, еще сильнѣе слышится въ его стихахъ, посвященныхъ описаніямъ природы: Я. П. Полонскій не сливается съ нею, какъ А. А. Фетъ, въ стихотвореніяхъ кото-

раго часто не видишь, гдѣ кончается поэтъ и начинается природа; онъ не умѣетъ и выбирать прекрасныхъ картинъ и любоваться ими съ чувствомъ тонкаго художника, какъ умѣетъ это дѣлать А. Н. Майковъ. Природа предстаетъ передъ поэтомъ какъ живая загадка, разгадать которую онъ хочетъ своимъ поэтическимъ чутьемъ. Онъ не живетъ одною жизнью съ природой и не восторгается передъ ея красотою; но старается ее анализировать и истолковывать ея смыслъ. Наклонность къ мистицизму, всегда составлявшая отличительную черту поэта, заставляетъ его видѣть въ природѣ символъ чего-то болѣе глубокаго, и всего чаще поэтъ пользуется описаніями природы въ качествѣ символическихъ, выставляя ихъ лишь условными терминами вмѣсто подразумеваемыхъ подъ ними отвлеченныхъ понятій. Какъ на особенно удачный примѣръ такого пользованія сравненіями съ природою, можно указать хотя бы на стихотвореніе:

На закатѣ.

Вижу я, сизыя съ золотомъ тучи
Загромождили весь западъ; въ ихъ щель
Свѣтитъ заря; каменистыя кручи,
Ребра утесовъ, березникъ и ель
Озарены вечерѣющимъ блескомъ;
Ниже — безбрежное море. Изъ мглы
Темные скачутъ и мчатся валы
Съ неумолкаемымъ гуломъ и плескомъ.
Къ морю тропинка въ кустахъ чуть видна,
Къ морю схожу я, и —
— Здравствуй, волна!
Мнѣ, охлажденному жизнью и свѣтомъ,
Дай хоть тебя встрѣтить теплымъ привѣтомъ!
Но на скалу набѣжала волна, —
Тяжко обрушилась, въ пѣну зарылась
И прошумѣла, отхлынувъ назадъ:
— Новой волны подожди, — я разбилась...
Новыя волны бѣгутъ и шумятъ, —
То же, все то же я слышу отъ каждой...
Сердце полно безконечною жаждой,
Жду — все темно, — погасаетъ закатъ...

Подобное же аллегорическое значеніе имѣютъ и пьесы: „Уже надъ ельникомъ, изъ-за вершинъ колючихъ“, „Утро“, „Качка въ бурю“, „Въ хвойномъ лѣсу“ и другія. Лишь въ немногихъ стихотвореніяхъ, въ родѣ „Посмотри, какая

мгла", описаніяхъ италіанской природы, да въ многочисленныхъ строфахъ „Мими“ мы имѣемъ дѣло съ чистыми описаніями; но тутъ Я. П. Полонскій не идетъ дальше простаго эскиза или рамки для дѣйствія романа.

То же аллегорическое значеніе имѣетъ, конечно, и лучшее изъ всѣхъ произведеній Я. П. Полонскаго — его поэма „Кузнечикъ-музыкантъ“. Въ сущности всю эту поэму можно разсматривать какъ одно большое описаніе дуга, населеннаго насѣкомыми, прикрашенное игривой фантазіей поэта, надѣляющей этихъ насѣкомыхъ человѣческими страстями и видящаго цѣлую маленькую драму въ мірѣ насѣкомыхъ. Не менѣе справедливо, впрочемъ, разсматривать эту поэму и съ обратной точки зрѣнія, а именно считать ее за драму изъ жизни людей, наряженныхъ въ костюмы и страсти насѣкомыхъ для того, чтобы сдѣлать ее поэтичнѣе, легче и окутать той дымкой фантазіи, которая позволяетъ многое оставить недоговореннымъ и тѣмъ открыть тысячи тропинокъ, по которымъ мысль читателя гуляла бы уже совершенно произвольно. Но какъ бы ни разсматривать это произведеніе Я. П. Полонскаго, какой бы смыслъ ему ни придавать, — одно въ немъ вполнѣ несомнѣнно: по необыкновенной художественности, по удивительной увлекательности, заставляющей читателя, позабывъ обо всемъ, увлечься судьбою насѣкомыхъ-героевъ поэмы, по изумительно граціозному, остроумному стиху, обильному примѣрами звукоподражаній, гибкому и мелодичному, по множеству яркихъ описаній — эта поэма представляетъ совершенно исключительное, рѣдкое явленіе во всей всемірной литературѣ. Если даже разсматривать ее какъ простую игрушку — это игрушка ювелира, подобная тому „Пріему у великаго могола“, въ которомъ каждая фигурка, сдѣланная изъ серебра и украшенная эмалью, представляетъ художественное созданіе, и который хранится въ числѣ прочихъ рѣдкостей въ Дрезденскомъ музеѣ, возбуждая восторгъ и удивленіе туристовъ. „Кузнечикъ-музыкантъ“ — такая же художественная достопримѣчательность русской поэзіи.

Но, быть можетъ, всего замѣчательнѣе въ стихахъ Я. П. Полонскаго — самъ поэтъ. Въ лирической поэзіи много значить личность автора. Поэтъ не только отражаетъ въ своихъ стихахъ общечеловѣческія чувства, воспѣваетъ людей и пред-

меты, съ которыми онъ сталкивается, онъ отражаетъ обыкновенно, сверхъ того, еще и собственную свою личность. И часто впечатлѣніе отъ художественности образовъ портится присутствіемъ въ стихахъ самой личности поэта, иногда сухой, мелочной и черствой. Зато какъ пріятно встрѣтиться въ стихахъ съ прелестною личностью автора. Такова личность поэта въ стихахъ Я. П. Полонскаго. Мягкость, незлобіе, благородство, добродушный юморъ постоянно просвѣчиваютъ во всѣхъ его стихотвореніяхъ.

Особенно хорошо рисовалъ поэтъ себя въ старости. Какъ поэтично сравнивалъ онъ свое молодое вдохновеніе при преклонномъ возрастѣ съ весною въ старомъ хвойномъ лѣсу:

Лѣсъ, какъ бы кадильнымъ ды-	Смолянистымъ и цѣлебнымъ
момъ,	Ароматомъ этихъ ранъ
Весь пропахнувшій смолой,	Я люблю дышать всей грудью
Дышитъ гнилью вѣковой	Въ теплый утренній туманъ.
И весною молодой.	Вѣдь и я былъ также раненъ,—
А смолу, какъ слезы, точить	Раненъ сердцемъ и душой,—
Сосенъ старая кора,	И дышу такой же гнилью
Вся въ царапинахъ и ранахъ	И такую же весной...
Отъ ножа и топора.	

Въ такихъ и другихъ подобныхъ этой пьесахъ изливается личность поэта. И черты ея составляютъ вмѣстѣ съ тѣмъ отличительныя черты и всей его поэзіи, независимо отъ содержанія, какимъ въ данное время занятъ поэтъ. Самый стихъ его такой простой, „домашній“. Это не мраморный стихъ А. Н. Майкова, не столь наполненный внутренней музыки, что становится лишнимъ перевлаживать его на пѣніе, стихъ А. А. Фета, не просящійся, напротивъ того, на ноты стихъ гр. А. К. Толстого — это плавная, кроткая рѣчь близкаго друга, полная задушевныхъ нотъ, отъ которыхъ дѣлается тепло, сладко и покойно на сердцѣ. И если въ А. Н. Майковѣ мы цѣнимъ его искусство создавать красивые и героичные образы, возникающіе въ воображеніи какъ статуи, изваянныя рѣзцомъ, или картины, написанныя кистью; въ гр. А. К. Толстомъ цѣнимъ его любовь къ Россіи и русской свободѣ, гармоничность его стиха и изысканную аристократичность его чувствъ; въ А. А. Фетѣ его горячую страстность и умѣнье наслаждаться любовью и природою, наряду съ музыкальностью его стиха, — то въ Я. П. Полонскомъ

насъ чаруетъ и плѣняетъ прежде всего его гуманная, сердечная личность, вызывающая симпатію ко всякому образу и настроенію, создаваемому его поэзіей. *Красновъ.*

Правдивость, кристаллическая чистота чувства, несравненный лиризмъ—отличительныя свойства поэзіи Полонскаго.

Въ дѣлѣ поэзіи живуча только поэзія.

Эти слова я взялъ изъ небольшой статьи Тургенева о Полонскомъ. Статья эта напечатана очень давно, кажется, въ 1870 г., и посвящена защитѣ Полонскаго отъ нападеній *Отечественныхъ Записокъ*, издававшихся тогда Некрасовымъ. И вотъ въ заключеніе этой превосходной статьи Тургеневъ пишетъ: „что касается критика „Отечественныхъ Записокъ“, то ограничусь тѣмъ, что выражу ему одно мое убѣжденіе, надъ которымъ онъ, вѣроятно, вдоволь посмѣется. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ его глазахъ патронъ его, г. Некрасовъ, неизмѣримо выше Полонскаго, что даже странно сопоставлять эти два имени: а я убѣжденъ, что любители русской словесности будутъ перечитывать лучшія стихотворенія Полонскаго, когда самое имя Некрасова покроется забвеніемъ. Почему же это? А просто потому, что *въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна поэзія*, и что въ бѣлыхъ ниткахъ спитыхъ, всякими приносами приправленныхъ, мучительно высиженныхъ измышленіяхъ „скорбной“ музы Некрасова ея-то, поэзія-то и нѣтъ на грошъ“.

Вотъ что писалъ Тургеневъ много лѣтъ назадъ: его предсказаніе сбылось совершенно, да въ сущности это было вовсе не предсказаніе, а дѣло совершенно очевидное для всѣхъ, понимавшихъ что такое поэзія. Иначе, вѣдь, эти дѣла не дѣлаются. Тутъ есть какой-то таинственный законъ, выраженный Тургеневымъ въ его словахъ: *въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна поэзія*. Неизмѣнное дѣйствіе этого закона мы наблюдаемъ во всей всемірной литературѣ: жива и живетъ только поэзія; всякія же подобія поэзіи, всякія поддѣлки подъ нее исчезаютъ чрезвычайно быстро, вмѣстѣ съ тѣмъ поколѣніемъ, которое питалось ими, не будучи въ состояніи, по скудости своей духовной организаціи, цѣ-

таться истинной поэзіей. То же самое случилось съ Некрасовымъ, и этотъ примѣръ тѣмъ болѣе знаменательный, что у Некрасова былъ талантъ, но сломившійся и стершійся среди борьбы съ преобладавшею въ душѣ его враждебною этому таланту стихіей. Вотъ почему отъ Некрасова осталось немного стихотвореній, гдѣ блещутъ крупныя таланта — да и эти, лучшія стихотворенія навсегда испорчены какою-нибудь фальшивою нотой.

Некрасовъ продалъ свое первородство за чечевичную похлебку — и вотъ въ чемъ его трагизмъ. Но разъ продавши свое первородство, онъ, конечно, долженъ былъ испытать одинаковую участь съ тѣми, у которыхъ не было никакого „первородства“, которые, не имѣя никакого таланта, поддѣлывались подъ поэзію, — съ тѣми, которые въ своихъ „скорбныхъ“ стихахъ „подобны безстыдной нищѣ съ *чужимъ* ребенкомъ на рукахъ“. И Некрасовъ, продавши свое первородство, подпалъ общему закону, гласящему, что *въ толпѣ поэзіи живуща только одна поэзія*. Будущія поколѣнія не станутъ читать его, какъ не станутъ читать Минаева, Курочкина и проч. Дѣло это очень понятное. Истинные любители поэзіи среди этихъ будущихъ поколѣній станутъ искать въ прошедшемъ и настоящемъ *истинной* поэзіи — и въ прошедшемъ они найдутъ Пушкина, Лермонтова, Майкова, Полонскаго, Фета, Тютчева, Огарева; огромное же большинство этихъ будущихъ поколѣній, не способное воспринимать истинную поэзію, станетъ искать суррогатовъ ея, поддѣлки подъ поэзію; но, конечно, въ своемъ вкусѣ, — станетъ искать этой поддѣлки не въ прошедшемъ, а въ настоящемъ, ибо фальсификаторовъ поэзіи всегда найдется много, и они имѣютъ то преимущество передъ фальсификаторами прошлаго времени, что они новѣе и фальсифицируютъ сообразно со вкусомъ современной толпы, сообразно со вкусами современныхъ потребителей поддѣльной поэзіи.

Такимъ образомъ для истинной поэзіи во *всякомъ поколѣніи*, во всѣхъ будущихъ поколѣніяхъ, найдутся цѣнители и поклонники ея, фальшивая же поэзія существуетъ только для одного поколѣнія, вмѣстѣ съ нимъ сходитъ со сцены, ибо слѣдующее поколѣніе уже заводитъ свою фальшивую поэзію. Мѣ видѣли это и на примѣрѣ русской поэзіи. Все *фальшивое*, что было съ самаго ея начала, отпало, умерло,

забылось и никѣмъ не вспоминается; все живое, истинно поэтическое живетъ, помнится и цѣнится всѣми любителями поэзіи, переходя изъ поколѣнія въ поколѣніе. Да вотъ хоть бы Полонскій. Имъ восхищались его современники, свидѣтели начала его поэтическаго поприща, имъ восхищались и слѣдующія два поколѣнія, восхищается третье, и, безъ сомнѣнія, поэзія Полонскаго будетъ жить до тѣхъ поръ, пока будетъ живъ русскій языкъ. Ибо невозможно себѣ представить, чтобъ и чрезъ сто лѣтъ истинный любитель поэзіи не восхитился такими стихотвореніями, какъ *Солнце и мѣсяцъ*, *Бѣда проповѣдникъ*, *Пришли и стали тѣни ночи*, *Чайка* и проч. и проч.: эти произведенія вѣчныя.

Всѣ эти и подобныя мысли о поэзіи такъ ясны, такъ, казалось бы, понятны сами по себѣ, что только удивляешься малой распространенности среди нашего читающаго общества. На это, мнѣ кажется, есть двѣ причины. Первая заключается въ томъ, что вообще людей, дѣйствительно любящихъ поэзію, очень мало, а, вѣдь, мы способны понять только то, что любимъ. Во-вторыхъ, наша современная критика, которая руководитъ мнѣніями читающей публики, до сихъ поръ еще проникнута духомъ отрицанія поэзіи. Правда, теперь уже никто (кромѣ развѣ какихъ-нибудь архаическихъ критиковъ, которые пребываютъ вѣрными „принципамъ“ Писарева) прямо не отрицаетъ поэзію; не отрицаютъ ее даже и косвенно, „съ заранѣе обдуманнѣмъ намѣреніемъ“, напротивъ, поощряемые критикой и, безъ сомнѣнія, читателями, „пшты“ плодятся у насъ во множествѣ; но повторяю, въ нашей современной критикѣ остался духъ отрицанія поэзіи.

Этотъ духъ выражается въ томъ, что, на словахъ признавая поэзію, не признаютъ ея истиннаго значенія, не признаютъ, что въ дѣлѣ поэзіи важна только поэзія и больше ничто. И, не признавая этого въ поэзіи, ищутъ всего, чего угодно: мысли, тенденціи, того или иного содержанія, но только не поэзіи. Такимъ образомъ, современная критика, рассматривая и дѣйствительно великія созданія поэзіи, ищетъ въ нихъ не поэзіи, а чего-то другого, признаетъ ихъ значенія не за поэзію, а за что-то другое. Вотъ въ чемъ ошибка. Самую поэзію считаютъ дѣломъ второстепеннымъ, прихотью, забавой, пріятнымъ удовольствіемъ — и только. Между тѣмъ, искусство вообще, и поэзія въ частности „есть высшее изъ

земныхъ дѣлъ“, по выраженію А. Григорьева — и если не такъ, если искусство, поэзія, сами по себѣ не имѣютъ серіознаго значенія, то, конечно, правы тѣ, которые съ пренебреженіемъ смотрятъ на эту заботу, которая поглощаетъ иногда всю жизнь человѣка.

А я только доказывалъ, что поэзія есть дѣло великое, а не забава. Не буду повторять тогдашнія свои разсужденія, а приведу лучше слова Ренана о томъ же предметѣ. Кстати, Ренанъ у насъ авторитетъ для многихъ. Онъ беретъ дѣло съ иныхъ точекъ зрѣнія, разсуждаетъ иначе, чѣмъ разсуждалъ я, но мы приходимъ къ одному и тому же заключенію о значеніи поэзіи. Вотъ что пишетъ Ренанъ:

„Если бы философія, наука, искусство, литература, были только пріятнымъ препровожденіемъ времени, забавою праздныхъ, предметомъ роскоши, фантазіи любителей, словомъ, „изъ суетныхъ дѣлъ наименѣе суетнымъ“, то могли бы быть времена, когда ученый долженъ бы былъ сказать вмѣстѣ съ поэтомъ:

Стыдъ тому, кто можетъ пѣть, тогда какъ Римъ горитъ!

„Но если трудъ мысли есть самая серіозная вещь на свѣтѣ, если съ нимъ связаны судьбы человѣчества и усовершеніе недѣлимаго, то этотъ трудъ, подобно дѣламъ религіознымъ, имѣетъ цѣну во всякое время, во всякую минуту. Посвятить наукѣ и культурѣ ума только часы спокойствія и досуга значило бы оскорблять человѣческій умъ, значило бы предполагать, что есть вещи, болѣе серіозныя, чѣмъ изысканіе истины. Но если такъ, если бы философія составляла интересъ низшаго разряда, то человѣкъ, отдающій жизнь на служеніе высшимъ цѣлямъ, желающій имѣть право сказать въ послѣднюю свою минуту: „я исполнилъ свое назначеніе“, могъ ли бы такой человѣкъ посвятить на философію хотя бы одинъ часъ, — зная, что на немъ лежатъ болѣе высокія обязанности?

„Есть хорошія вещи, которыя всегда хороши, и если для развитія науки и искусствъ мы станемъ ждать спокойствія, то можетъ быть мы долго прождемъ. Если бы такъ разсуждали наши отцы, они сложили бы руки и не оставили бы намъ своего наслѣдства. Да, наконецъ, что *за дѣло*, — надеженъ или не вѣренъ завтрашній день? Что

за дѣло, принадлежитъ ли намъ будущее, или нѣтъ? Развѣ истина отъ этого менѣе прекрасна и Богъ менѣе великъ? Если бы міръ разрушался, то все еще слѣдовало бы философствовать, и я увѣренъ, что если когда-нибудь наша земля подвергнется катаклизму, то въ эту страшную минуту найдутся люди, которые среди разгрома и хаоса будутъ питать чистую, безкорыстную мысль, и, забывая о своей близкой смерти, будутъ созерцать явленіе съ тѣмъ, чтобы вникнуть въ его высшій смыслъ“.

Наука, искусство, философія, имѣютъ цѣну лишь потому, что онѣ суть вещи религіозныя, то-есть, что онѣ даютъ человѣку духовный хлѣбъ. „Едино есть на потребу“. Нужно признать это предписаніе Великаго Учителя нравственности, какъ принципъ всякой благородной жизни, какъ правило обязанностей человѣческой природы.

„Глубокій упадокъ современнаго общества происходитъ оттого, что умственная культура не разумѣется, какъ вещь религіозная, оттого, что поэзія, наука, литература рассматриваются, какъ предметъ роскоши“.

Вотъ прекрасныя и прекрасно выраженныя мысли. Ренанъ особенно настаиваетъ, что наука, философія, искусство (то-есть и поэзія), подобны дѣламъ религіознымъ, что все это имѣетъ цѣну лишь потому, что онѣ суть вещи религіозныя. Вотъ почему науку, философію, искусство нельзя рассматривать какъ предметъ роскоши, и, прибавимъ, нельзя также обращать въ средство для какихъ-нибудь постороннихъ имъ цѣлей. Нельзя этого дѣлать по очень простой причинѣ: не потому, чтобъ это кто-нибудь произвольно запретилъ, не потому, что это кому-нибудь не нравится, не сходится съ какими-нибудь авторитетными мнѣніями, а просто потому, что какъ только мы обратимъ науку, философію, искусство въ предметъ роскоши, или какъ только мы обратимъ ихъ въ средство для осуществленія какихъ бы то ни было постороннихъ имъ цѣлей — моральныхъ, политическихъ, житейскихъ — какъ только мы это сдѣлаемъ, такъ тотчасъ же наука, философія, искусство потеряютъ свое достоинство, перестанутъ быть наукой, философіей, искусствомъ. Такимъ образомъ казнъ тѣхъ, кто желаетъ обратить науку, философію, литературу въ средство для достиженія цѣлей моральныхъ, политическихъ и проч. —

казнь ихъ заключается въ томъ, что и цѣлей своихъ они не достигаютъ.

Чтобъ уяснить еще нашу мысль, приведемъ прекрасныя слова Юрія Самарина о религіи: „Вѣра не палка“, пишетъ онъ въ предисловіи ко 2-му тому сочиненій Хомякова, — „и въ рукахъ того, кто держитъ ее, какъ палку, чтобъ защищать себя и пугать другихъ, она разбивается въ щепы. Вѣра служитъ только тому, кто искренно вѣритъ; а кто вѣритъ, тотъ уважаетъ вѣру; а кто уважаетъ ее, тотъ не можетъ смотрѣть на нее какъ на средство“.

Эти же слова совершенно примѣнимы къ философіи, къ наукѣ и поэзіи. Всѣ эти прекрасныя вещи разбиваются въ щепы, какъ только мы вздумаемъ обратить ихъ въ средство. Цѣль науки и философіи — изысканіе и открытіе истины въ тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ истина имъ доступна, а помимо этой цѣли они не могутъ преслѣдовать никакихъ иныхъ, подъ страхомъ потерять достоинство науки и философіи; цѣль искусства, поэзіи — воплощать истину въ живыхъ образахъ или въ живыхъ настроеніяхъ души, и иной цѣли искусство и поэзія имѣть не могутъ, подъ страхомъ перестать быть искусствомъ и поэзіей.

Все это такъ ясно и понятно, все это истины, не требующія почти и доказательства, а развѣ только уясненія и развитія — и, тѣмъ не менѣе, все это еще такъ смутно въ понятіяхъ нашего читающаго общества и современной критики, которая руководитъ этимъ обществомъ. Отсюда и постоянныя недоразумѣнія въ оцѣнкѣ произведеній поэзіи и искусства, отсюда — тѣ недоумѣнія и робость, съ которыми встрѣчаетъ наша критика и наше читающее общество разныя нелѣпыя новинки въ родѣ драмъ Ибсена и Метерлинка. Между тѣмъ для критики, имѣющей твердыя точки опоры, въ этихъ новинкахъ нѣтъ ничего загадочнаго и таинственнаго; напротивъ, онѣ представляютъ собою дѣло слишкомъ ясное... Итакъ, *въ поэзіи важна только поэзія*.

Съ этой точки зрѣнія мы и постараемся раскрыть смыслъ и показать значеніе произведеній Полонскаго. Вотъ что, между прочимъ, говоритъ покойный Н. Н. Страховъ (Замѣтки о Пушкинѣ) о задачахъ и обязанностяхъ критики по отношенію къ истинно-поэтическимъ произведеніямъ:

„Во-первыхъ нужно быть способнымъ къ очарованію; непремѣнно нужно испытать на самомъ себѣ обаяніе того чародѣя, о которомъ хотимъ разсуждать. Восторгъ понимается только восторгомъ, и кто его никогда не чувствовалъ въ ясной степени, тотъ пусть лучше о немъ не говоритъ.

„Во-вторыхъ, нужно совладать съ своимъ очарованіемъ, нужно настолько выбиться изъ-подъ его власти, чтобъ имѣть возможность обратить его въ наслажденіе сознательное и отчетливое. Когда что-нибудь приводитъ насъ въ восторженное настроеніе, то въ насъ обыкновенно пробуждается память и способность многихъ другихъ очарованій, ничуть не связанныхъ съ тѣмъ, что дѣйствуетъ на насъ, какъ говорится, въ идеальный міръ и начинаемъ блуждать по этому міру; мы приходимъ въ возвышенное настроеніе и смутно наполняемся всякаго рода мыслями и чувствами, свойственными этому настроенію. Иногда одно слово, одинъ звукъ, одно движеніе заставляютъ насъ плакать и задыхаться отъ нахлынувшего потока ощущеній, гдѣ-то глубоко въ насъ спавшихъ.

„Эту восторженность, расходующуюся во всѣ стороны, намъ слѣдуетъ обратить въ опредѣленное и отчетливое вниманіе къ тому, что у насъ передъ глазами; нужно умѣть идти за писателемъ и художникомъ всюду, куда онъ насъ ведетъ, и видѣть все, что онъ намъ показываетъ. Тогда только мы будемъ различать поэзію отъ умозрѣнія, музыку отъ поэзіи и т. д., и въ каждомъ явленіи находить его своеобразную красоту, въ каждой частности извѣстную жизнь и силу.

„Но и этого еще мало. Когда мы проникаемся тѣмъ особымъ очарованіемъ, которое свойственно тому или другому творцу или творенію, намъ нужно и это очарованіе довести до сознательности и опредѣленности. Отъ рѣчей великихъ писателей, отъ формъ и звуковъ великихъ художниковъ, выходитъ какой-то свѣтъ, проникающій всѣ ихъ созданія, ослѣпляющій насъ такъ, что мы сперва не въ силахъ отчетливо видѣть каждую черту и все намъ кажется однимъ потокомъ красоты. Каждое слово Пушкина есть слово очарованное, уже потому, что — Пушкина. Мы встрѣчаемъ это слово съ полнымъ и чуткимъ вниманіемъ; даже самый

ничтожный слѣдъ несравненнаго таланта, лежащій на какой-нибудь рѣчи, не ускользаетъ отъ насъ, — этого довольно, чтобы самая простая и незначительная рѣчь окружилась для насъ какимъ-то сіяніемъ.

Если мы не выйдемъ изъ-подъ власти этого обаянія, мы никогда не получимъ способности вполне и правильно судить о нашемъ поэтѣ. Для полнаго пониманія намъ нужно свободно подниматься на всякія точки зрѣнія; философія, поэзія, искусство — не развлеченіе или прихоть, — они въ концѣ-концовъ требуютъ для себя самаго высокаго и строгаго суда, и этому суду не должно мѣшать никакое пристрастіе. Воплощенныя мысли должны быть судимы по высшему мѣрилу красоты, — по глубинѣ своей правды и чистотѣ своего чувства“.

Такъ какъ мы уже заговорили, по поводу словъ Тургенева, о поэзіи Полонскаго и Некрасова, то здѣсь намъ представляется превосходный примѣръ, ясно показывающій въ чемъ дѣло.

У Полонскаго и Некрасова есть стихотворенія, написанныя на одну и ту же тему. Кромѣ того, какъ нарочно, оба эти стихотворенія — юношескія. Стихотвореніе Полонскаго написано въ сороковыхъ годахъ, когда поэтъ былъ еще студентомъ Московскаго университета; стихотвореніе Некрасова написано въ 1845 году, слѣдовательно, когда Некрасову было уже двадцать четыре года и онъ уже вошелъ въ кружокъ Бѣлинскаго, гдѣ считался поэтомъ, подающимъ огромныя надежды. Оба стихотворенія, какъ я уже сказалъ, написаны на одну тему, и притомъ тему очень скользкую, столь скользкую, что малѣйшая поэтическая фальшь тотчасъ же и ясно обнаруживается. Вотъ почему особенно интересенъ именно этотъ примѣръ. Эти стихотворенія — *Встрѣча* Полонскаго и *Когда изъ мрака заблужденья* Некрасова. Приведу цѣликомъ и то и другое. Вотъ стихотвореніе Некрасова:

Когда изъ мрака заблужденья
Горячимъ словомъ убѣжденья
Я душу падшую извлекъ,
И вся, полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавшій порокъ;
Когда забывчивую совѣсть
Воспоминаніемъ казня,
Ты мнѣ передавала повѣсть

Того, что было до меня,
И вдругъ, закрывъ лицо руками,
Стыдомъ и ужасомъ полна,
Ты разрѣшилася слезами,
Возмущена, потрясена, —
Вѣрь, я внималъ не безъ участія,
Я жадно каждый звукъ ловилъ...
Я понялъ все, дитя несчастья!
Я все простилъ и — все забылъ.

Зачѣмъ же тайному сомнѣнью	Въ душѣ болѣзненно пугливой
Ты ежечасно предана?	Гнетущей мысли не тай!
Толпы безмысленному мнѣнью	Грустя напрасно и бесплодно,
Ужель и ты покорена?	Не пригрѣвай змѣи къ груди,
Не вѣрь толпѣ пустой и лживой,	И въ домъ мой смѣло и свободно,
Забудь сомнѣнія свои,	Хозяйкой полною входи!

Вотъ стихотвореніе Полонскаго — *Встрѣча*:

Вчера мы встрѣтились: она остановилась,
Я также... Мы въ глаза другъ другу посмотрѣли...
О Боже! какъ она съ тѣхъ поръ перемѣнилась,
Въ глазахъ потухъ огонь и щеки поблѣднѣли...
И долго на нее глядѣлъ я молча, строго...
Мнѣ руку протянувъ, бѣдняжка улыбнулась;
Я говорить хотѣлъ; — она же, ради Бога,
Велѣла мнѣ молчать, и тутъ же отвернулась,
И брови сдвинула, и выдернула руку,
И молвила: прощайте, до свиданья!
А я хотѣлъ сказать: на вѣчную разлуку
Прощай, погибшее, но милое созданье*).

Вотъ два стихотворенія, оба они принадлежатъ совершенно молодымъ людямъ, оба — плодъ первоначальныхъ юношескихъ вдохновеній — но, посмотрите, какая разница!

Въ стихотвореніи Некрасова выразилась не только натура, но и воспитаніе его, точно такъ же, какъ и въ стихотвореніи Полонскаго выразилась не только натура, но и воспитаніе его. Въ стихотвореніи Полонскаго вы тотчасъ же замѣтите чувства и отношеніе къ жизни юноши, воспитаннаго традиціонно, въ хорошей, благочестивой и цѣломудренной семьѣ, чувства юноши по природѣ мягкаго, и, какъ выражались въ сороковыхъ годахъ, „простодушнаго“; кромѣ того, въ этомъ стихотвореніи тотчасъ же виденъ студентъ — и именно московскій студентъ временъ Грановскаго и Станкевича, временъ идеалистическихъ мечтаній и „прекраснодушія“ — тѣхъ временъ, которыя описаны Тургеневымъ въ *Яковъ Пасынковъ*. Въ стихотвореніи есть недостатки, есть и прямо комическая строчка:

И долго на нее, глядѣлъ я молча, строго...

*) „Погибшее, но милое созданье“ — выраженіе оплошное, вслѣдствіе неумѣстнаго его употребленія, принадлежитъ Пушкину:

И ласками, прости меня Господь,
Погибшаго, но милаго созданья.

Пиръ во время чумы.

Вамъ тотчасъ представляется молодой человѣкъ, почти еще мальчикъ, который и не умѣетъ глядѣть-то „строго“, но при подобномъ обстоятельстве считаетъ „своею священною обязанностью“ глядѣть именно такъ.

Но посмотрите въ то же время, какое у этого почти еще мальчика истинно-поэтическое проникновеніе въ душу падшей дѣвушки, въ душу этого погибшаго, или погибающаго, но дѣйствительно милаго созданія:

Мнѣ руку протянувъ, бѣдняжка улынулась;
Я говорить хотѣлъ; — она же, ради Бога,
Велѣла мнѣ молчать, и тутъ же отвернулась,
И брови сдвинула, и выдернула руку,
И молвила: прощайте, до свиданья!

Какъ хорошо! Вотъ — истинная поэзія. Разружьте тутъ форму, нарушите хоть сколько-нибудь гармонію стиха, его „напѣвъ“, если можно такъ выразиться, — и все исчезнетъ, и вы не поймете и не почувствуете того настроенія души, которое здѣсь передано. А теперь вы это чувствуете, — чувствуете, что душа этой падшей дѣвушки еще чиста, еще не погразла въ пороки, хотя сама она — уже „погибшее созданье“, уже осквернена прикосновеніемъ разврата. И чувствуя это, ваше сердце сжимается болѣзненнымъ состраданіемъ, и вы готовы заплакать надъ этимъ падшимъ созданіемъ, надъ этимъ оскверненнымъ „образомъ и подобіемъ“, — ваше сердце сжимается отъ этихъ простыхъ словъ, которыми поэтъ рассказываетъ вамъ печальную исторію; а въ то же время вы остаетесь совершенно равнодушны къ патетическимъ возгласамъ о томъ какъ „ты провляла, ломая руки, тебя опутавшій порокъ“. Отчего же это?

Да, отъ того, что тутъ, у Полонскаго — истинная поэзія, значить, и правда, простая и трогательная, а тамъ, у Некрасова, реторика, и значить — ложь. Полонскому мы вѣримъ, и наше сердце сжимается болью и страданіемъ при его простомъ разсказѣ, Некрасову, его паѳосу, мы не вѣримъ, и остаемся равнодушными — остаемся равнодушными, потому что въ этомъ паѳосѣ „ея-то, поэзія, нѣтъ и на грошъ“, говоря словами Тургенева, а есть даже и прямо канцелярская проза, какъ въ строчкѣ: „Вѣрь, я внималъ *не безъ участія*“.

Въ стихотвореніи Полонскаго есть недостатокъ — холодъ *заключительныхъ* двухъ строкъ, не соотвѣтствующій трога-

тельности всего стихотворенія; это недостатокъ молодости; но и этотъ недостатокъ скорѣе говорить въ пользу поэта: онъ предпочитаетъ этотъ искренній холодъ искусственному пафосу.

Посмотрите теперь на стихотвореніе Некрасова, написанное на ту же тему. Что мы тутъ видимъ? Приподнятую реторику и мелодраматизмъ, очень грубый, лубочный. Здѣсь сказалось отсутствіе искренняго чувства и испорченный вкусъ — испорченный тѣми „образцами“, на которыхъ воспитался Некрасовъ. Если на Полонскаго положили неизгладимую печать неопредѣленныя, но идеалистическія настроенія сороковыхъ годовъ и поэзія Пушкина, то на Некрасова, по вѣрному замѣчанію Н. Н. Стрхова, положилъ неизгладимую печать... Александринскій театр. „Настоящею школой, университетомъ г. Некрасова“ — писалъ Н. Н. Стрховъ еще въ семидесятомъ году, — „былъ Александринскій театр, откуда онъ заимствовалъ и сюжеты своихъ стиховъ, и тотъ водевильный складъ, который сохранился у него до послѣднихъ дней“.

Вотъ вѣрное замѣчаніе, которое поясняетъ многое въ поэзіи Некрасова. Онъ воспитался въ „Александринкѣ“, какъ говорятъ въ просторѣчій. Первыми его литературными опытами были водевили и переводы мелодрамъ. И вотъ, водевиль и тогдашняя мелодрама положили неизгладимую печать на его стихи. И въ стихотвореніи *Когда изъ мрака заблужденья* рассказана не душевная драма падшей женщины, такъ превосходно освѣщенная, на примѣръ, у Полонскаго однимъ поэтическимъ намекомъ, а сочинена мелодрама, построенная на ходульных положеніяхъ и фальшивыхъ чувствахъ, выраженныхъ языкомъ напыщенной реторики.

Я нарочно остановился на этомъ примѣрѣ. Тутъ ясно видно, чѣмъ истинная поэзія отличается отъ фальшивой, и, кромѣ того, тутъ уже можно указать на нѣкоторыя черты, характеризующія музу Полонскаго...

Эти черты, которыя можно замѣтить уже въ первоначальномъ его стихотвореніи — природное простодушіе, соединенное съ юношескимъ идеализмомъ, отлившимся, однако, въ извѣстныя условныя формы.

Юношескій идеализмъ, самъ по себѣ, всегда одинъ и тотъ же. И у Владимира Ленскаго (*Евгеній Онгинъ*), и у

юноши — Полонскаго, и, я думаю, у современного неиспорченного юноши сущность этого идеализма заключается въ томъ же самомъ:

Негодованье, сожалѣнье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
Въ немъ рано волновали кровь...

Но этотъ, такъ-сказать, общій идеализмъ, сообразно съ эпохой, а отчасти и сообразно съ индивидуальностью, принимаетъ тѣ или инныя формы выраженія, отливается въ то или иное міросозерцаніе. Юношескій идеализмъ Полонскаго отлился именно въ то міросозерцаніе, которое господствовало тогда въ Московскомъ университетѣ, и главными выразителями котораго были Грановскій и Станкевичъ. О содержаніи и характерѣ этого міросозерцанія прекрасно говоритъ покойный Н. Н. Страховъ:

„Это — поклоненіе *всему прекрасному и высокому*, служеніе истинѣ, добру и красотѣ, любовь къ просвѣщенію и свободѣ, ненависть ко всякому насилію и мраку. По мѣсту духовнаго развитія г. Полонскій принадлежитъ Москвѣ и Московскому университету сороковыхъ годовъ, и онъ до конца остается вѣренъ лучшимъ стремленіямъ тогдашней блестящей эпохи. Въ его стихахъ вы безпрестанно встрѣтите теплое слово, обращенное къ свѣтлымъ идеаламъ, которыми тогда жила литература и которые, *въ сущности, никогда не должны въ ней умирать*. Любовь къ человечеству, стремленіе къ свѣту науки, благоговѣніе предъ искусствомъ и предъ всѣми родами духовнаго величія — вотъ постоянныя черты поэзіи г. Полонскаго. Если г. Полонскій не былъ провозвѣстникомъ этихъ идей, то онъ всегда былъ ихъ вѣрнымъ поклонникомъ“.

„Совершенно справедливо“, продолжаетъ Н. Н. Страховъ, „что такое направленіе, которое мы называемъ *чистымъ западничествомъ*, не имѣетъ рѣзкаго обособленія, что оно составляетъ нѣкоторый анахронизмъ въ настоящее время (писано въ семидесятомъ году), когда мнѣнія раздробились и дошли до своихъ крайнихъ выводовъ; но тѣмъ не менѣе, это весьма ясное и, главное, очень хорошее *направленіе*“.

Это міровоззрѣніе, не имѣющее рѣзкаго обособленія, Н. Н. Страховъ называетъ *распутьемъ*. „Таково *распутье*“,

пишетъ онъ, „на которое постоянно приходятъ думы поэта“. И тутъ же прибавляетъ: „на этомъ распуты стояли Грановскій, Герценъ, Тургеневъ и главная масса ихъ поколѣнія. Съ этого распуты уже давно сошла русская литература; но мы должны признать это распутье мѣстомъ очень чистымъ и сухимъ сравнительно съ тѣмъ болотомъ и кочками, въ которыя забрались многіе дѣтели послѣдняго поколѣнія“.

Это распутье, дѣйствительно, было мѣстомъ чистымъ. Изъ нашего *чистаго западничества*, безъ сомнѣнія, вышелъ и нашъ литературный нигилизмъ, со всѣми его безобразіями: такова его генеалогія; но, безъ сомнѣнія же, чистое западничество, западничество Грановскаго, Станкевича, не имѣетъ тутъ *сознательной* вины. Безъ сомнѣнія, и Станкевичъ, и Грановскій съ отвращеніемъ отвернулись бы отъ этихъ безобразныхъ явленій, столь унижавшихъ литературу, какъ отвернулся отъ нихъ Полонскій. Это совершенно понятно. Мириться съ этими явленіями невозможно было, исповѣдуя тѣ мысли, которыя исповѣдывали Станкевичъ и Грановскій, которыя, вслѣдъ за ними, исповѣдовалъ Полонскій. Нельзя было, поклоняясь *всему высокому и прекрасному*, мириться съ отрицаніемъ и, болѣе того, съ издѣвательствами надъ этимъ высокимъ, прекраснымъ (самый яркій примѣръ, издѣвательство надъ Пушкинымъ), а съ этого отрицанія и издѣвательства начался литературный нигилизмъ; нельзя было съ тенденціями литературнаго нигилизма соединить „любовь къ просвѣщенію и свободѣ“; а „ненависть ко всякому насилію и мраку“ должна была распространиться и на литературный нигилизмъ, не останавливавшійся ни передъ какимъ нравственнымъ насиліемъ и совершенно отрицавшій свѣтъ науки, философіи и поэзіи. Такъ оно и случилось. Чистые западники отвернулись отъ литературнаго нигилизма, какъ отворачивались и отъ грубыхъ формъ консерватизма, и отъ грубыхъ формъ славянофильства — и отвернувшись такъ и остались на *распуты*, при міросозерцаніи, въ которомъ все было неопредѣленно...

Изъ этого неопредѣленнаго міросозерцанія вытекаетъ и неопредѣленное отношеніе къ Россіи, къ родинѣ своей, къ народу своему. Это неопредѣленное отношеніе чрезвычайно ярко и характерно высказалось въ одномъ стихотвореніи

Полонскаго, озаглавленномъ *Бранятъ*. Вотъ это стихотвореніе:

По всѣмъ землямъ, на всѣхъ моряхъ
Ты (то-есть Россія) слышишь гулъ извѣстовъ ложныхъ
И бранный крикъ на всевозможныхъ
Тебѣ знакомыхъ языкахъ.
Бранить тебя иноплеменникъ,
Бранить тебя родной твой сынъ,
Бранить свободный твой измѣнникъ
И братъ твой, плѣнный славянинъ.
Бранить хохолъ великорусскій,
Бранить малороссійскій ляхъ,
Великорусъ въ уздѣ французской
И нѣмецъ въ русскихъ орденахъ.
Бранятъ тебя (какъ будто знаютъ!)
Бранятъ, когда воображаютъ,
Что ты наукой растлѣна
И что измѣны сѣмена
Въ тебѣ посѣялъ врагъ лукавый.
Бранятъ за то, что ты вѣрна,
Гордишься суетною славой
И чтить орлы да знамена.
Бранятъ за то, что ты богата,
Не деньги любишь, а почетъ,
И потеряла всякій счетъ
Тобой разбросаннаго злата.
Бранятъ за то, что ты бѣдна,
Разорена, истомлена —
Громада слабости примѣрной,
Бранятъ за то, что ты страшна
Своею силой непомѣрной
И можешь маніемъ руки
Поднять Европу на штыки.
Бранятъ за то, что лицемеришь,
Таишь подъ маской простоты
Честолюбивыя мечты;
За то, что слишкомъ вѣришь ты;
За то, что ничему не вѣришь
И ничего не признаешь.
Бранятъ за правду и за ложь,
Бранятъ за раннюю свободу,
Бранятъ за то, что не даютъ
Свободы твоему народу.
И если я, поэтъ твой бѣдный,
Свою надсаживая грудь,
Спою тебѣ какой-нибудь
Хвалебный стихъ или гимнъ побѣдный,

О! — закричать — кого надуть
Онъ хочетъ? — человекъ онъ вредный,
Позоръ народа своего!
И ежели не лобъ онъ мѣдный,
То — льстецъ, — наплюемъ на него...
Но этихъ криковъ и клеветъ
Не струсить никакой поэтъ —
Гордиться будетъ нареканьемъ,
*Когда твой умъ или твой духъ
Ему послужитъ оправданьемъ...*

Это стихотвореніе написано въ 1865 году, когда брань на Россію со всѣхъ сторонъ особенно усилилась, особенно была слышна. Оно не имѣетъ поэтическихъ достоинствъ, но чрезвычайно интересно и любопытно, какъ выраженіе той неопредѣленности, которою страдало наше чистое западничество. Н. Н. Страховъ очень тонко и глубоко понялъ смыслъ этого стихотворенія. Вотъ что онъ говоритъ о немъ:

„Вотъ стихотвореніе, въ которомъ съ удивительною правдивостью изображается настроеніе поэта. Брань, сыплющаяся на Россію, задѣваетъ его за живое; онъ чувствуетъ расположеніе сложить своей родинѣ какой-нибудь побѣдный гимнъ, или хоть хвалебный стихъ, но онъ боится, что на него закричатъ, точно такъ же, какъ нѣкогда кричали на Пушкина:

Глупцы кричать: куда, куда?
Дорога здѣсь!

„Этихъ криковъ, однако же, не побоялся бы поэтъ, если бы умъ или духъ Россіи представлялъ ясно оправданіе его стиховъ. Но — тутъ-то и бѣда! Поэтъ, хотя вѣритъ, что это оправданіе найдется, но еще не видитъ его, еще ждетъ, еще требуетъ, чтобы родина принесла и показала это оправданіе. *Это искренняя любовь, которая жалуется, что не можетъ перейти въ сознательное поклоненіе своему предмету*“.

Такъ вотъ въ чемъ главнѣйшая слабая сторона нашего чистаго западничества, вотъ гдѣ его ахиллсова пята. Недостатокъ осмысленной любви къ родинѣ и народу своему, недостатокъ *тпы* въ Россію. Но, въ такомъ случаѣ, въ чемъ же заключается смыслъ и значеніе этого міросозерцанія, въ чемъ заключаются тѣ „свѣтлые идеалы, которыми тогда жила литература“ и которые, по словамъ такого *истиннаго литератора* какъ Н. Н. Страховъ, *никогда не должны въ ней уми-*

ратъ? Мы знаемъ, въ чемъ заключаются эти идеалы: въ поклоненіи всему высокому и прекрасному, въ любви къ наукѣ, въ преклоненіи предъ искусствомъ и предъ всѣми родами духовнаго величія. Поэтому міросозерцанію преступно обращать науку, искусство, литературу въ средство для какихъ бы то ни было цѣлей, по этому міровоззрѣнію наука, литература, искусство имѣютъ свои, безконечно высокія цѣли: возвысить человѣка, развить въ немъ благородныя чувства, усовершенствовать его разумъ. Во всемъ этомъ заключается, такъ-сказать, азбука просвѣщенія — и вотъ въ чемъ огромное значеніе этого идеалистическаго міровоззрѣнія. Безъ этой азбуки нельзя сдѣлать ни одного шага впередъ, и кто, не усвоивъ ее, кое-какъ научится читать по верхамъ, тотъ навсегда останется въ положеніи Гоголевскаго Петрушки, котораго занимало не содержаніе книги, а самый процессъ чтенія. Безъ этой азбуки, безъ подкладки этого высокаго романтизма, не проникнутая его духомъ, всякая проповѣдь соціально-политическая, какъ бы ни были вѣрны ея основанія, тотчасъ же огрубѣетъ, обратится въ сухую доктрину, чуждую и враждебную живой жизни; безъ этой азбуки, не проникнутая духомъ этого высокаго романтизма, всякая проповѣдь моральная точно также огрубѣетъ, превратится въ сухую доктрину, чуждую и враждебную живой жизни. И то и другое мы видимъ въ настоящее время во всевозможныхъ нашихъ *направленіяхъ*, именно и страдающихъ тѣмъ, что ихъ покинулъ духъ этого высокаго и благотворнаго романтизма... Но точно также само по себѣ это міровоззрѣніе чистаго западничества, не воплощенное ни въ какой реальности, чуждое духу своего народа, его *сърдъ*, его надеждѣ, оставляетъ людей на распутьи и часто мѣшаетъ имъ выразить *все* свое внутреннее содержаніе въ той области духа, гдѣ они дѣйствуютъ, будь то наука, философія или поэзія...

Теперь мы знаемъ каково міровоззрѣніе Полонскаго; посмотримъ, какъ это міровоззрѣніе повліяло на его поэзію...

По поводу мыслей, только что высказанныхъ, нѣкоторые мои знакомые, которые дѣлаютъ мнѣ честь интересуясь моею литературною дѣятельностью, указывали мнѣ на противорѣчіе, которое я допустилъ по ихъ мнѣнію. Это, кажущееся имъ, противорѣчіе касается моего мнѣнія о сороковыхъ годахъ и о романтизмѣ, о которомъ я съ такимъ сочувствіемъ

говорилъ въ моей статьѣ, которому я придаю такую важность и значительность въ дѣлѣ развитія русскаго самосознанія. Ссылались на мою книгу о Тургеневѣ, гдѣ, по мнѣнію ссылавшихся, я *иначе* отнесся къ сороковымъ годамъ, къ тѣмъ, кого принято называть „людьми сороковыхъ годовъ“, къ ихъ идеямъ и къ ихъ настроеніямъ. Раньше этого, то-есть, раньше появленія моихъ статей о Полонскомъ, мнѣ приходилось выслушивать такія же замѣчанія; кромѣ того, въ разное время я получилъ нѣсколько писемъ отъ лицъ мнѣ незнакомыхъ, высказывавшихъ тѣ же упреки. А въ одномъ изъ этихъ писемъ прямо задается вопросъ: какъ я могу совмѣщать постоянно развиваемыя мною въ моихъ статьяхъ христіанскія, и именно православныя мнѣнія, съ *преклоненіемъ* (именно это слово употребляетъ авторъ письма) предъ тѣмъ, что я называю *романтизмомъ*, съ преклоненіемъ, столь ярко выразившимся, по мнѣнію автора письма, во многихъ моихъ статьяхъ.

Надо отвѣтить на эти вопросы и недоумѣнія.

Я давно собирался это сдѣлать въ отдѣльной статьѣ, но все откладывалъ. Теперь представляется удобный случай и я имъ воспользуюсь. Тѣмъ болѣе, что и къ непосредственному предмету нашихъ разсужденій, къ поэзіи Полонскаго, все это имѣетъ очень близкое отношеніе.

Никакого противорѣчія, на мой взглядъ, у меня нѣтъ.

Сперва скажемъ о частномъ случаѣ: о теперь высказанныхъ мною взглядахъ и о взглядахъ, высказанныхъ въ моей книгѣ о Тургеневѣ — и затѣмъ уже коснемся вопроса вообще.

Дѣло въ томъ, что въ книгѣ о Тургеневѣ я коснулся сороковыхъ годовъ и настроеній тѣхъ людей, которыхъ принято называть „людьми сороковыхъ годовъ“ лишь постольку, поскольку это необходимо было для моей главной цѣли: выясненія смысла произведеній Тургенева. Но внимательный читатель замѣтитъ, что и тамъ мое отношеніе къ сороковымъ годамъ то же самое, какъ и теперь, только оно не столь ясно выражено. Что же касается романтизма, то уже и не внимательный читатель замѣтитъ въ моей книгѣ о Тургеневѣ то же *преклоненіе* передъ романтизмомъ.

Теперь перейдемъ на общую почву.

Чистые западники, какъ Грановскій, Станкевичъ, Герценъ (говоримъ о немъ какъ о писателѣ, а не какъ о политиче-

скомъ агитаторѣ) остались на распутьѣ; но это распутье, по вѣрному замѣчанію Н. Н. Страхова, было мѣстомъ очень чистымъ. Тридцатые, сороковые годы — время нашего романтизма, время страстнаго увлеченія Шекспиромъ, Гёте, Шиллеромъ и очень высокою философіей — Гегелевскою. Но, увлекаясь всѣмъ этимъ, мы въ то же время переживали болѣзнь прививки: мы росли не на свѣжемъ воздухѣ, а въ теплицѣ, корнями мы вросли не въ почву, а въ искусственно приготовленную тепличную землю. И сороковые годы, поскольку они выразились въ такъ называемыхъ „людяхъ сороковыхъ годовъ“, дали прекрасный цвѣтъ, но не дали плода. Цвѣтъ этотъ заключался въ *настроеніяхъ* людей сороковыхъ годовъ, въ настроеніяхъ, выражавшихся преклоненіемъ предъ всѣмъ высокимъ и прекраснымъ предъ наукой, искусствомъ, предъ всякою душевною красотой. И вотъ эти-то настроенія есть то *положительное*, что внесли въ жизнь люди сороковыхъ годовъ. Литературный нигилизмъ послѣдующаго времени разсѣялъ въ обществѣ эти настроенія, но, безъ сомнѣнія, какъ только въ этомъ обществѣ снова явится стремленіе къ идеальному, какъ только оно „возжаждетъ истины и свѣта пожелаетъ“, оно воротится именно къ этимъ настроеніямъ и добромъ помянетъ тѣхъ, кто внесъ въ русскую жизнь эти настроенія, сдѣлавшія для насъ все великое, созданное Европой, роднымъ и своимъ. И тѣ же вѣянія высокаго романтизма отразились въ великихъ нашихъ писателяхъ, далеко опередившихъ свою эпоху — въ Пушкинѣ и Гоголѣ. Тотъ и другой, безъ сомнѣнія, великіе романтики, но уже выросшіе не въ теплицѣ, а прямо изъ почвы, но уже развивавшіеся не въ тепличной атмосферѣ, а окруженные здоровымъ, хотя и суровымъ воздухомъ жизни. Вотъ почему эти великіе не только усвоили вѣянія высокаго романтизма, но и претворили эти вѣянія въ свое, самобытное, очистивши ихъ, такимъ образомъ, отъ всего фальшиваго, безпокойно страстнаго и болѣзненнаго.

Достоевскій, великій романтикъ, и въ то же время русскій человекъ до мозга костей, не только по чувству, но и по міровоззрѣнію, съ величайшимъ увлеченіемъ говоритъ объ этомъ романтизмѣ сороковыхъ годовъ. Есть его статья въ *Дневникъ Писателя* 1876 года, озаглавленная *Смерть Жоржъ-Занда*. И вотъ что онъ пишетъ по поводу смерти знаменитой романистки:

„Прошлый, майскій № *Дневника* былъ уже набранъ и печатался, когда я прочелъ въ газетахъ о смерти Жоржъ-Занда (умерла 27-го мая — 8-го іюня). Такъ и не успѣлъ сказать ни слова объ этой смерти. А между тѣмъ, лишь прочтя о ней, понялъ, что значило въ моей жизни это имя, — сколько взялъ этотъ поэтъ въ свое время моихъ восторговъ, поклоненій, и сколько далъ мнѣ когда-то радостей, счастья! Я смѣло ставлю каждое изъ этихъ словъ, потому что все это было буквально. Это одна изъ нашихъ (то-есть *нашихъ*) современницъ вполне — идеалистка тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Это одно изъ тѣхъ именъ нашего могучаго, самонадѣяннаго и въ то же время больного столѣтія, полного самыхъ невыясненныхъ идеаловъ и самыхъ неразрѣшимыхъ желаній, — именъ, которыя, возникнувъ тамъ у себя, въ „странѣ святыхъ чудесъ“ переманили отъ насъ, изъ нашей вѣчно создающейся Россіи, слишкомъ много думъ, любви, святой и благородной силы порыва, живой жизни и дорогихъ убѣжденій. Но не жаловаться намъ надо на это; вознося такія имена и преклоняясь предъ ними, русскіе служили и служатъ прямому своему назначенію“.

Тутъ дѣло, конечно, не въ Жоржъ-Зандѣ; Жоржъ-Зандъ дала только поводъ; дѣло тутъ во всей совокупности европейской культуры, въ тѣхъ „святыхъ чудесахъ“, которыя привлекали наше вниманіе, вызывали наше поклоненіе и наши восторги, въ тѣхъ великихъ именахъ, которыя были выразителями могучихъ вѣяній высокаго романтизма, незнакомаго опытному міру, ибо онъ есть порожденіе христіанской культуры. Вотъ къ чему надо отнести слова Достоевскаго: „Но не жаловаться намъ надо на это: вознося такія имена и преклоняясь предъ ними, русскіе служили и служатъ прямому своему назначенію“.

Далѣе, въ той же статьѣ, Достоевскій поясняетъ свои мысли. „Многое, очень многое“, пишетъ онъ, „что мы взяли изъ Европы и переложили къ себѣ, мы не скопировали только какъ рабы у господъ, какъ непремѣнно требуютъ того Потугины, а привили къ нашему организму, въ нашу плоть и кровь, иное же пережили и даже выстрадали *самостоятельно*, точь-въ-точь какъ тѣ тамъ, на Западѣ, для которыхъ все это было свое, родное.“

„Ихніе поэты намъ, по крайней мѣрѣ, большинству развитыхъ людей нашихъ, точно также родные, какъ и имъ, тамъ у себя — на Западѣ“, пишетъ далѣе Достоевскій. — „Я утверждаю и повторяю, что всякій европейскій поэтъ, мыслитель, филантропъ, кромѣ земли своей, изъ всего міра, наиболѣе и наироднѣе бываетъ понятъ и принятъ всегда въ Россіи. Шекспиръ, Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Диккенсъ — роднѣе и понятнѣе русскимъ, чѣмъ, напримѣръ, нѣмцамъ, хотя, конечно, у насъ и десятой доли не расходится экземпляровъ этихъ писателей въ переводахъ, чѣмъ въ многокнижной Германіи. Французскій конвентъ 1794 года, посылая патентъ на право гражданства а роёте allemand Schiller, l'ami de l'humanite, хотъ и сдѣлалъ тѣмъ прекрасный, величавый и пророческій поступокъ, но и не подозрѣвалъ, что на другомъ краю Европы, въ варварской Россіи, этотъ же Шиллеръ гораздо національнѣе и гораздо роднѣе варварамъ русскимъ, чѣмъ не только въ то время — во Франціи, но даже и потомъ, во все наше столѣтіе, въ которомъ Шиллера, гражданина французскаго и l'ami de l'humanité, знали во Франціи лишь профессора словесности, да и то не всѣ, да и то чуть-чуть. А у насъ онъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, въ душу русскую всосался, клеймо въ ней оставилъ, почти періодъ въ исторіи нашего развитія обозначилъ. Это русское отношеніе ко всемірной литературѣ есть явленіе почти не повторявшееся въ другихъ народахъ въ такой степени, во всю всемірную исторію, и если это свойство есть дѣйствительно наша національная русская особенность, — то какой обидчивый патріотизмъ, какой шовинизмъ былъ бы въ правѣ сказать что-либо противъ этого явленія и не захотѣть, напротивъ, замѣтить въ немъ прежде всего самаго широко-общающаго и самаго пророческаго факта въ гаданіяхъ о нашемъ будущемъ“.

Въ заключеніе своей статьи, сказавши что Жоржъ-Зандъ умерла семидесяти лѣтъ и можетъ быть давно пережила свою славу, Достоевскій замѣчаетъ:

„Но все то, что въ явленіи этого поэта составляло „новое слово“, все что было „всечеловѣческаго“, — все это тотчасъ же въ свое время отозвалось у насъ, въ нашей Россіи, сильнымъ и глубокимъ впечатлѣніемъ, не миновало насъ и тѣмъ доказало что всякій поэтъ — новаторъ

Европы, всякій пришедшій тамъ съ новою мыслью и съ новою силой, не можетъ не стать тотчасъ же и русскимъ поэтомъ, не можетъ миновать русской мысли, *не стать почти русскою силой*“.

Эти слова надо примѣнить ко всему великому, что было на Западѣ: Шекспиръ и Гёте, Декартъ и Кантъ, Гегель и Шопенгауэръ не миновали русской мысли и стали почти русскою силой, пройдя сквозь горнило русскаго самосознанія. И надо прибавить, что все *мелкое*, заимствованное нами изъ Европы, послѣ кратковременнаго успѣха моды или скандала, отпадало, отпадаетъ и будетъ отпадать, какъ наносная шелуха; все же великое всасывается въ русскую душу, оставляетъ на ней клеймо, выражаясь словами Достоевскаго.

Въ другой своей статьѣ, помѣщенной въ томъ же *Дневникѣ Писателя* за 1876 годъ, Достоевскій снова, касаясь того же вопроса о значеніи для насъ европейской культуры, беретъ дѣло еще съ другой стороны, и, какъ говорится, ставитъ вопросъ ребромъ. Вторая глава этого нумера *Дневника Писателя* имѣетъ слѣдующее заглавіе: *О любви къ народу. Необходимый контрактъ съ народомъ*. Здѣсь сперва говорится объ отношеніи образованнаго общества къ народу — и длинное разсужденіе объ этомъ резюмируется въ слѣдующихъ строкахъ: „Я думаю такъ: врядъ ли мы столь хороши и прекрасны, чтобы могли поставить самихъ себя въ идеаль народу и потребовать отъ него, чтобы онъ сталъ такимъ же, какъ мы“. И еще уясняя свою мысль Достоевскій продолжаетъ: „Это мы должны преклониться предъ народомъ и ждать отъ него всего и мысли и образа; преклониться предъ правдой народною и признать ее за правду, даже и въ томъ ужасномъ случаѣ, если бъ она вышла отчасти изъ Четы-Минеи“. Высказавъ такъ твердо и настойчиво эту свою мысль, Достоевскій вслѣдъ за тѣмъ съ чрезвычайнымъ воодушевленіемъ говоритъ слѣдующія многозначительныя слова:

„Но, съ другой стороны, преклониться мы должны подъ однимъ лишь условіемъ: и это *sine qua non*, чтобы народъ и отъ насъ принялъ многое изъ того, что мы принесли съ собой. Не можемъ же мы совсѣмъ передъ нимъ уничтожиться и даже передъ какой бы то ни было его правдой; наше пусть остается при насъ и мы не отдадимъ его ни

за что на свѣтѣ, даже, въ крайнемъ случаѣ, и за счастье соединенія съ народомъ. *Въ противномъ случаѣ, пусть ужъ мы оба погибаетъ врознь.* Да противнаго случая и не будетъ вовсе: я же совершенно убѣжденъ, что это *нѣчто*, что мы принесли съ собой, существуетъ дѣйствительно, — не миражъ, а имѣетъ и образъ, и форму, и вѣсь“.

Что подразумѣваетъ Достоевскій подъ этимъ *нѣчто* совершенно очевидно изъ всей его литературной дѣятельности; подразумѣваетъ онъ здѣсь именно то, о чемъ говорилъ въ статьѣ о Жоржъ-Зандѣ, отрывки изъ которой мы привели выше.

Вотъ какъ ставить вопросъ Достоевскій. Мы видимъ, какъ дороги ему тѣ настроенія, тѣ расположенія души, которыя воплотились, нашли себѣ выраженіе въ романтизмѣ. Онъ думаетъ, что эти настроенія составляютъ такую драгоценность, нѣчто для насъ столь безконечно дорогое, чего нельзя уступить ни въ какомъ случаѣ и ни за какую цѣну. Много-знаменательны эти его слова: „Въ противномъ случаѣ пусть уже мы оба погибаетъ врознь!“ Въ этихъ словахъ выражается и страстное отношеніе къ тѣмъ настроеніямъ, которыя вошли въ душу русскаго человѣка, претворились въ его плоть и кровь — и въ то же время выражается мысль, что однихъ этихъ настроеній, что одного этого высокаго романтизма *недостаточно*, что съ *однимъ этимъ* можно погибнуть; „пусть уже мы оба погибаетъ врознь“. Достоевскій видѣлъ, что съ *однимъ этимъ* Европа погибаетъ, что могучій и высочій романтизмъ не спасъ ея, что Шекспиръ и Шиллеръ, Рафаэли и Веласкесы, Ньютоны и Канты въ самой Европѣ забыты, что они не помѣшали измельчать и ополниться европейской мысли, европейскому чувству, что они не помѣшали въ Европѣ возникновенію низменныхъ теченій мысли, совершенно противоположныхъ и враждебныхъ вѣяніямъ высокаго романтизма. Все это зналъ Достоевскій и все это постоянно высказывалъ въ своихъ произведеніяхъ. Въ *Подросткѣ* Версильовъ говоритъ, рассказывая о томъ, какъ хотѣлъ эмигрировать въ Европу: „Вѣдь я зналъ, что найду тамъ лишь великое кладбище, что ѣду поклониться великимъ мертвецамъ“. Я ѣхалъ, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, — *хоронить* Европу. Это мысли самого Достоевскаго: онъ часто и пространно развивалъ ихъ отъ

своего лица. Въ томъ же *Подросткѣ* Версильовъ говоритъ слѣдующее:

„Русскому Европа такъ же дорога, какъ и Россія: каждый камень въ ней милъ и дорогъ. Европа такъ же была отечествомъ нашимъ, какъ и Россія. О, болѣе! Нельзя болѣе любить Россію, чѣмъ люблю ее я, но я никогда не упрекалъ себя за то, что Венеція, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ наукъ и искусствъ, вся исторія ихъ мнѣ милѣй, чѣмъ Россія. О, русскимъ дороги эти старыя, чужіе камни, эти чудеса стараго Божьяго міра, эти осколки святыхъ чудесъ; и даже намъ это дороже, чѣмъ имъ самимъ. У нихъ теперь другія мысли и другія чувства, и они перестали дорожить старыми камнями. Тамъ консерваторъ всего только борется за существованіе; да и петролейчикъ лѣзетъ только изъ-за права на кусокъ“.

Это, съ нѣкоторыми ограниченіями, опять-таки мысли самого Достоевскаго. Въ романѣ, и влагая ихъ въ уста героя романа, онъ высказываетъ ихъ яснѣе, ярче, откровеннѣе, чѣмъ въ своихъ публицистическихъ статьяхъ. Замѣчательно, что тѣ же мысли относительно современной Европы и ея будущности, мысли, высказанныя столь близкимъ къ славянофильству Достоевскимъ, были высказаны Герценомъ уже давно, еще въ его книгѣ *Съ того берега*.

Итакъ, ясно, что хотѣлъ сказать Достоевскій словами: „пусть ужъ мы оба *погибаемъ* врознь“.

Но тутъ же онъ прибавляетъ: „да противнаго случая и не будетъ вовсе“.

Безъ сомнѣнія не будетъ, да и быть не можетъ: романтизмъ не можетъ помѣшать намъ возвратиться къ правдѣ народной. Объ этомъ свидѣлствуетъ и правильно понятая сущность романтизма, и правильно понятая правда народная, объ этомъ свидѣлствуютъ и такія великія явленія русскаго духа, какъ Пушкинъ и Гоголь — оба великіе романтика.

Что такое романтизмъ? Я уже сказалъ выше, что онъ есть созданіе христіанской культуры, античный міръ не зналъ его — античный міръ не зналъ этого страстнаго, томительнаго, безпокойнаго состоянія духа, этого исканія нездѣшняго, неземнаго, этой неудовлетворительности ничѣмъ земнымъ, — не зналъ этого состоянія духа, составляющаго

сущность романтизма, не зналъ этого вѣчнаго стремленія къ идеалу, недостижимому здѣсь на землѣ.

Вотъ величайшій изъ романтиковъ — Шекспиръ, вотъ великое его созданіе — *Гамлетъ* — плодъ всей совокупности его душевной жизни — и смыслъ этого созданія заключается въ стремленіи къ недостижаемому идеалу, въ стремленіи найти примиреніе въ лонѣ высшей и вѣчной правды. Вотъ другой великій романтикъ — Байронъ. Въ чемъ смыслъ его поэзіи, почему она бессмертна? Повторяю, что я писалъ объ этомъ въ своемъ этюдѣ о Вл. Короленко, коснувшись вопроса о правдѣ и искренности въ искусствѣ.

„Если мысль писателя есть плоть и кровь его, его чувства, *вымучившіяся* до слова и образовъ, его настроеніе будетъ *искренне* даже при ложной мысли, при ложномъ міросозерцаніи“, писалъ я. „Такова, напримѣръ, искренняя поэзія Байрона, его искренній лиризмъ въ тѣхъ его произведеніяхъ, гдѣ отразились не житейскія его мысли, страсти и пристрастія, а чувствуется творческое движеніе духа. Здѣсь Байронъ выражалъ, главнымъ образомъ, именно *вымучившіяся* до словъ и образовъ свои чувства, и вотъ почему, хотя его міросозерцаніе, хотя его настроеніе далеко не совпадало съ объективною правдой, онъ въ своихъ *искреннихъ* созданіяхъ былъ ближе къ этой правдѣ, нежели люди и писатели, не домучившіеся до нея, а взявшіе ее напрокатъ; вотъ почему, когда никто не будетъ читать добродѣтельного Соути, поэзія порочнаго Байрона, но выраженію суроваго его критика Маколея, „будетъ жить до тѣхъ поръ, пока будетъ живъ англійскій языкъ“.

„Только то волнуетъ сердце, что идетъ отъ сердца“, говоритъ Гётевскій Фаустъ — и этими словами прекрасно характеризуется значеніе *искренности* въ искусствѣ. Въ искреннемъ порывѣ всегда есть обаятельно дѣйствующая правда, между тѣмъ какъ въ самой искусной поддѣлкѣ подъ правду нѣтъ и слѣда ея, а есть всего только одно резонерство, только мертвящая буква, но не животворящій духъ.

И, разъясняя, свою мысль, я прибавилъ:

„По поводу моего указанія на Байрона быть можетъ скажутъ: „пустъ у него былъ высокій умъ, но было ли чисто его сердце, а тѣмъ не менѣе онъ великій лирикъ“. Правда, у Байрона былъ омраченный умъ, но умъ возвышенный,

изъявленное язвами страшными, язвами позорными сердце, но сердце великое. Тамъ было чему просвѣтиться, было чему очиститься, и вся жизнь Байрона представляет собою стремленіе къ этому просвѣтлѣнію. Эта-то страшная и трагическая борьба омраченнаго духа съ возвышеннымъ умомъ и великимъ сердцемъ, это-то стремленіе къ идеалу, погасшее въ немъ лишь съ послѣднимъ дыханіемъ жизни, составляютъ сущность поэзіи Байрона, ту сущность, которая дѣлаетъ эту поэзію бессмертною“...

Таково значеніе и смыслъ романтизма. Какъ же случилось, что въ Европѣ, создавшей „святыя чудеса“, по выраженію Хомякова, предъ которыми мы преклоняемся, этотъ романтизмъ смѣнился низменными и пошлыми настроеніями, ушелъ въ прошлое, не совершивъ всего цикла своего развитія? Но въ Европѣ этому романтизму негдѣ было найти исхода своимъ стремленіямъ, ибо этотъ исходъ онъ не могъ найти въ искаженномъ католичествомъ христіанствѣ. И величайшій изъ романтиковъ, Шекспиръ, есть порожденіе не католическаго, а протестантскаго духа (до того, что его *монахъ* Лоренцо въ *Ромео и Юлии* по своему міровоззрѣнію чистый протестантъ),— духа, тогда еще сильнаго, еще проникнутаго возвышенными христіанскими воззрѣніями, — но односторонность этого духа сказалась въ томъ, что величайшій изъ великихъ романтиковъ лишь остановился въ трагическомъ раздуміи передъ тайной міра и жизни, и въ *Гамлетѣ* пришелъ только къ мрачному и трагическому „примиренію“, къ примиренію на почвѣ мистическаго фатализма... А другой великій романтикъ Байронъ, не найдя исхода для своихъ терзаній, кончилъ трагическимъ нигилизмомъ...

Таковы судьбы романтизма въ Европѣ; иными онѣ должны быть и будутъ у насъ. Романтизмъ, воспринятый нами, претворенный нами въ плоть и кровь нашу, найдетъ себѣ исходъ въ правдѣ народной, о которой говорилъ Достоевскій, то-есть въ правдѣ чистаго, неискаженнаго христіанства. Да вѣдь этотъ романтизмъ, въ соединеніи съ началами народными, уже создалъ у насъ Пушкина и Гоголя, а въ свѣтѣ правды христіанской и европейской романтизмъ становится и будетъ становиться для насъ все яснѣе и яснѣе, все понятнѣе и понятнѣе. И быть можетъ настанетъ время, когда у насъ въ Россіи Шекспира, напимѣръ, поймутъ такъ глу-

боко и всесторонне, какъ не понимали его нигдѣ и никогда. Наше время, время какой-то общей усталости и апатіи, время въ высшей степени прозаическое, время, когда литература, искусство, наука мало кого интересуютъ сами по себѣ, когда всѣ наши *направленія* обращаютъ и науку, и литературу, и искусство въ средство — наше время, конечно, время очень печальное. Печально оно тѣмъ, что самыя высокія идеи понимаются грубо и вульгарно, что самыя непреложныя истины облачаются въ такую грубую и непривлекательную оболочку, что кажутся какою-то окаменѣвшею ложью. Но безъ сомнѣнія, великая идея не умерла, да и не умретъ, пока найдется хоть одинъ человѣкъ, который станетъ напоминать о ней, и можно надѣяться, что эти идеи, идеи высокаго романтизма, уже осмысленныя и просвѣтленныя истиннымъ христіанствомъ, овладѣютъ слѣдующими поколѣніями еще съ небывалою силой. Не даромъ же эти идеи были выстраданы нашими отцами и дѣдами, не даромъ же совершилось все наше предшествующее развитіе. И если намъ, въ смыслѣ воспитанія общества, приходится начинать съ азбуки просвѣщенія, съ тѣхъ неопредѣленныхъ, но высокихъ и чистыхъ идей, которыми были пронизаны люди сороковыхъ годовъ — что дѣлать, начнемъ съ этого. Тѣмъ болѣе, что эти идеи не мѣшаютъ русскимъ быть русскими. Живой примѣръ — Полонскій. Онъ совершенно проникнутъ высокими, но неопредѣленными идеями сороковыхъ годовъ, но въ своей поэзіи онъ русскій отъ головы до ногъ. И въ его поэзіи — въ тѣхъ настроеніяхъ, гдѣ онъ является истиннымъ поэтомъ, европейскій романтизмъ, какъ и у Пушкина, претворился въ нѣчто самобытное, а неопредѣленные идеи сороковыхъ годовъ какъ бы воплотились въ конкретныхъ поэтическихъ образахъ. Разсматривая смыслъ и значеніе поэзіи Полонскаго, мы увидимъ какъ это случилось.

Какъ же объяснить, что Полонскій, чистый западникъ по своему неопредѣленному и нѣсколько туманному міросозерцанію, любящій свою родину болѣе инстинктивно, нежели осмысленною любовью, — какъ объяснить, что этотъ Полонскій, въ своей поэзіи, русскій отъ головы до ногъ и что въ самыхъ романтическихъ своихъ произведеніяхъ онъ выражаетъ не западно-европейскій, а чисто русскій романтизмъ, — романтизмъ русскаго чувства, русской природы, русскихъ

сказочныхъ и легендарныхъ представлений? Трудно представить что-нибудь болѣе романтическое, чѣмъ его обаятельное стихотвореніе *Зимняя невеста*, — о немъ мы еще будемъ говорить подробно, — а между тѣмъ въ этомъ стихотвореніи переданы русскія чувства, изображена русская природа такъ, какъ ихъ умѣлъ передавать и изображать развѣ только Пушкинъ. У Н. Н. Страхова въ его книгѣ *Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ* мы находимъ отчасти объясненіе этого явленія.

„Направленіе поэта“, говоритъ, между прочимъ, Н. Н. Страховъ, „можетъ быть для него мало характеристично. Созданное другими, вытекающее изъ ложныхъ или правдивыхъ, но, во всякомъ случаѣ, сильныхъ потребностей умственной жизни цѣлаго народа, направленіе можетъ захватить собой поэта точно такъ же, какъ оно захватываетъ тысячи другихъ людей. Конечно, есть высшія натуры, которыя не поддаются общему потоку. Пушкины или Львы Толстые — безопасны отъ всякихъ направленій и твердо идутъ своею дорогою, которая оказывается прямѣе, новѣе и шире всѣхъ современныхъ имъ направленій. Но люди меньшей силы бываютъ увлекаемы общимъ потокомъ. Тогда важнѣе всего слѣдуетъ не за потокомъ, а за тою борьбой съ нимъ, которая всегда обнаруживается у самостоятельнаго таланта“. „Мы были бы“, прибавляетъ къ этому Н. Н. Страховъ, желая пояснить примѣромъ свою мысль, „чрезвычайно несправедливы къ г. Некрасову, если бы смотрѣли на него, какъ на нѣкотораго Минаева большихъ размѣровъ, хотя такъ смотреть на себя самъ г. Некрасовъ, хотя въ минаевщинѣ онъ поставляетъ всю свою славу. Въ г. Некрасовѣ есть нѣчто большее, чѣмъ нѣтъ въ г. Минаевѣ и во всемъ направленіи, которому они оба служатъ“.

Вотъ какъ объясняется дѣло — и это объясненіе очень вѣрное именно для русскихъ поэтовъ. Съ европейскими поэтами не бываетъ такихъ случаевъ — не бываетъ, чтобъ ихъ міровоззрѣніе иногда шло совершенно въ разрѣзъ съ ихъ поэзіей, или, по крайней мѣрѣ, не совершенно соответствовало ей. Шекспиръ и по своему міровоззрѣнію и въ своей поэзіи англичанинъ до мозга костей, Байронъ, проклинавшій свою родину, „страну торгашей“, какъ онъ выражался, тѣмъ не менѣе, и по своему міровоззрѣнію, и въ

своей поэзіи, даже въ этихъ самыхъ своихъ проклятіяхъ, опять-таки англичанинъ до мозга костей, типичнѣйшій англійскій аристократъ. У насъ не такъ. У насъ величайшій поэтъ нашъ и въ то же время великій поэтъ всемірный, Пушкинъ, въ своей поэзіи всегда, съ самаго начала — русскій, въ своемъ міровоззрѣніи становится русскимъ уже лишь въ зрѣломъ періодѣ своего творчества. Эта наша особенность очень понятна. Европейскому поэту не съ кѣмъ и не зачѣмъ бороться, онъ просто творитъ, выражая въ своемъ творествѣ жизнь души своей и жизнь души своей націи, — Пушкину, вслѣдствіе особенностей развитія русской культуры, пришлось вступить въ борьбу со всѣмъ великимъ, что было въ Европѣ, хотя бы съ байронизмомъ, и онъ выйдя изъ этой борьбы побѣдителемъ, изъ нея вынесъ *свое* міровоззрѣніе, и создалъ русскую поэзію. Конечно, Пушкинъ „шелъ своею дорогой“ и она оказалась „пряме, новѣе и шире“ всѣхъ современныхъ ему направленій: онъ и въ своемъ міросозерцаніи и въ своей поэзіи опередилъ далеко свой вѣкъ. Нельзя того же сказать о Л. Толстомъ — здѣсь Н. Н. Страховъ ошибается. Эта ошибка понятна въ статьѣ, написанной еще въ тысяча восемьсотъ семидесятомъ году, двадцать шесть лѣтъ тому назадъ, — но теперь дѣло слишкомъ выяснилось, чтобы впасть въ ту же ошибку. Именно въ Л. Толстомъ мы видимъ яркій примѣръ той раздвоенности между міросозерцаніемъ и поэзіей, о которой говоритъ Н. Н. Страховъ. Покойный Фетъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ* очень удачно назвалъ Толстого „западникомъ на подделадѣхъ изъ русской овчины“ — и со своимъ своеобразнымъ юморомъ прибавилъ, что по нашему климату иначе и нельзя. И Толстой какъ въ своей поэзіи, такъ и въ своей раздвоенности, дѣйствительно, представляетъ одно изъ оригинальнѣйшихъ явленій русской жизни. Начавши съ вражды ко всему искусственному, приподнятому во имя простоты и искренности чувства и мысли — онъ пришелъ на нашихъ глазахъ къ своеобразному нигилизму, въ которомъ, какъ въ фокусѣ, отразилось все отрицательное броженіе русской мысли нашего, уже оканчивающагося, столѣтія. Но его поэзія — совершенно оригинальная, русская по духу, — и именно этою своею оригинальностью она поражаетъ иностранцевъ. Въ его поэзіи яснѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, можно видѣть борьбу

съ потокомъ современности, которая, по замѣчанію Н. Н. Страхова, „всегда обнаруживается у самостоятельнаго таланта“; на немъ съ чрезвычайною ясностью можно видѣть истину того утвержденія, что „настоящій поэтъ все-таки останется самимъ собою, выскажетъ свою душу“. Въ этой борьбѣ Толстой всегда побѣждалъ почти безъ усилія — до того безъ усилія, что въ такихъ произведеніяхъ его, какъ *Война и Миръ*, *Анна Каренина* едва замѣтны, хотя все же замѣтны, слѣды этой борьбы. Но въ послѣднихъ его художественныхъ произведеніяхъ, въ тѣхъ *художественныхъ притчахъ*, которыя онъ пишетъ начиная со *Смерти Ивана Ильича* (ибо *Смерть Ивана Ильича*, *Крейцеровъ Соната*, *Хозяинъ и Работникъ*, очевидно, принадлежать къ роду художественныхъ притчъ), эта борьба выступаетъ яснѣе — и тѣмъ яснѣе, чѣмъ дальше. Въ *Смерти Ивана Ильича* нигилизмъ Толстого едва замѣтенъ; тамъ вопросъ о значеніи жизни и смерти поставленъ совершенно въ духѣ народнаго міропониманія; въ *Крейцеровой Сонатѣ* и въ *Хозяинѣ и Работникѣ* мы видимъ уже ясные слѣды этого нигилизма...

Мы остановились на Толстомъ потому, что этотъ примѣръ чрезвычайно уясняетъ дѣло, о которомъ у насъ идетъ рѣчь. Борьба этого огромнаго дарованія съ отразившимися въ своеобразномъ нигилизмѣ Толстого вліяніями эпохи ясно показываетъ намъ, какое значеніе имѣютъ эти вѣянія эпохи для истиннаго поэта, даже если они и захватятъ его. Эти вѣянія эпохи у поэта, выразятся только „плѣнной мысли раздраженіемъ“ — и не въ этомъ раздраженіи „плѣнной мысли“ выскажется его душа: она выскажется въ поэтическихъ его созданіяхъ. Это съ такою ясностью видно на примѣрѣ Толстого, что не требуетъ дальнѣйшихъ поясненій и доказательствъ.

Въ приведенномъ Н. Н. Страховымъ примѣрѣ Некрасова тоже самое сказалось иначе, но тоже съ большою ясностью. Если у Толстого, какъ поэта, мы видимъ борьбу огромнаго и разносторонняго дарованія съ вѣяніями времени, борьбу, въ которой даже и самыя эти вѣянія приняли своеобразный характеръ, характеръ специфическаго *толстовскаго* нигилизма, то у Некрасова, какъ поэта, мы видимъ борьбу дарованія чрезвычайно односторонняго, притомъ борьбу совершенно бессознательную, борьбу съ мелкими и низменными

вѣяніями эпохи. И эти вѣянія почти постоянно побуждаютъ его. Если можно такъ выразиться, діапазонъ дарованія Некрасова былъ чрезвычайно бѣденъ, въ немъ была только одна поэтическая нота.— нота личной тоски о даромъ погубленной жизни, и только эта нота, составлявшая все душевное богатство Некрасова, высказалась въ его поэзіи...

Относительно Полонскаго надо сказать еще иное. Кроткая душа поэта почти и неспособна къ борьбѣ. Онъ самъ говорить о себѣ:

Въ моей душѣ проклятій нѣтъ...

И прибавляетъ:

Когда судьба меня карала, —
Увы, всѣмъ общая судьба, —
Моя душа не уставала,
По силамъ ей была борьба...

Конечно, эти строки относятся къ интимному, душевному міру поэта, а не къ области того, что называютъ *убѣжденіями, мировоззрѣніемъ, направленіемъ*; но и въ этой области онъ не вступалъ ни въ какую серіозную борьбу. Усвоивъ себѣ *убѣжденія* или *направленіе* идеализма сороковыхъ годовъ, онъ остался съ этими *убѣжденіями* на всю жизнь и часто высказывалъ ихъ въ своихъ произведеніяхъ или какъ положительные *убѣжденія* или противопоставляя ихъ тѣмъ взглядамъ литературнаго нигилизма, которые какъ бы и вытекали изъ иныхъ мнѣній сороковыхъ годовъ, однако были совершенно антипатичны поэту. Но въ сущности онъ не вступаетъ въ борьбу съ антипатичными ему взглядами, онъ только какъ бы жалуется на нихъ. Образчикъ такой жалобы на разныя антипатичныя ему *направленія* мы видимъ въ его стихотвореніи *Бранятъ*, приведенномъ нами раньше, вотъ еще другое, очень характерное въ этомъ отношеніи, стихотвореніе:

Когда я былъ въ неволѣ,
Я помню, голосъ мой
Пѣлъ о любви, о славѣ,
О волѣ золотой, —
И узники вздыхали
Въ оковахъ за стѣной.
Когда пришла свобода
И я на тотъ же ладъ

Пою, — меня за это
Клевещутъ и язвятъ:
Тюремныя все пѣсни
Поешь ты, говорятъ.
— Когда ты былъ въ неволѣ,
Ты за своею стѣной
Могъ пѣть о лучшей долѣ,
О волѣ золотой, —

И узники вздыхали,
Внимая пѣснѣ той!
Теперь ты, братъ, на волѣ
Другія пѣсни пой,

Пой о цѣпяхъ, о злобѣ,
О дикости людской, —
Чтобъ мы не задремали
Внимая пѣснѣ той...

Вотъ прозрачная аллегорія. Поэтъ — „прекраснодушный“ человекъ сороковыхъ годовъ, а его хотятъ заставить пѣть „о цѣпяхъ, о злобѣ, о дикости людской“, да еще тогда, когда уже никто не мѣшаетъ ему пѣть свойственныя ему пѣсни „о любви, о славѣ, о волѣ золотой“; и вотъ его „клеветуютъ и язвятъ“, ибо то чистое золото поэзіи, которое онъ даетъ не нужно только-что сорвавшимся съ цѣпи и опьяненнымъ свободой рабамъ: имъ нужны пѣсни злобы и мести, хотя бы и заднимъ числомъ, хотя бы и напускной злобы и мести. И они нашли своего поэта — Некрасова, который выразилъ это настроеніе, который, даже въ поискахъ за душевнымъ примиреніемъ, высказалъ эту поистиннѣ-чудовищную мысль:

Злобою сердце питаться устало,
Много въ ней правды, да радости мало...

„Много въ ней правды“, то-есть въ *злобѣ*! Вотъ какимъ чудовищнымъ чувствомъ отразились эти требованія пѣть „о цѣпяхъ, о злобѣ, о дикости людской“. Полонскій, конечно, не могъ думать, что въ злобѣ есть правда, и вотъ онъ жалуется, что его „клеветуютъ и язвятъ“... Самая *кротость* поэта ставилась ему въ вину.

Я уже сказалъ, что у Полонскаго какъ у поэта нѣтъ борьбы: ни борьбы съ антипатичными ему вѣяніями ни борьбы съ собственнымъ направленіемъ. Онъ просто раздваивается: тамъ гдѣ онъ является истиннымъ поэтомъ, нѣтъ и слѣда вліянія его направленія: онъ здѣсь выражаетъ настроенія своей *русской* души и является несравненнымъ лирикомъ; тамъ, гдѣ онъ высказываетъ въ стихахъ свое *направленіе*, гдѣ онъ стремится замѣнить поэтическое „проникновеніе“ „міропониманіемъ“ — тамъ поэзія просто оставляетъ его и вмѣсто ея онъ даетъ намъ только „плѣнной мысли раздраженіе“. Это замѣтилъ и Тургеневъ въ своемъ небольшомъ, но замѣчательномъ *Письмѣ*, написанномъ въ защиту Полонскаго отъ нападеній критикъ *Отечественныхъ Записокъ*.

„Г. критикъ“, пишетъ Тургеневъ, „не признаетъ оригинальности въ Полонскомъ; но стоить обладать нѣкоторою лишь тонкостью слуха, чтобы тотчасъ же признать его стихъ, его манеру. Стихотвореніе (стихотвореніе это: *Царство науки не знаетъ предѣловъ*), — которое критикъ не безъ коварнаго умысла (постыдная, въ нашей журналистикѣ часто употребляемая уловка) приводитъ „какъ одно изъ лучшихъ“ и надъ которымъ онъ потомъ глумится — вовсе не можетъ служить примѣромъ того, чѣмъ собственно отличается поэзія Полонскаго. Въ этомъ стихотвореніи выражается скорѣе *слабая сторона его таланта, а именно: его нѣсколько наивное подчиненіе тому, что называется высшими философскими взглядами, постыднымъ словомъ общечеловѣческаго прогресса* и т. п. Искреннее уваженіе, даже удивленіе, которымъ онъ проникается предъ лицомъ этихъ „вопросовъ“, внушаетъ ему стихотворенія то торжествующія, то печальныя, въ которыхъ благонамѣренность и чистота убѣжденій не всегда сопровождаются глубиной мысли, силой и блескомъ выраженія. Не въ подобныхъ произведеніяхъ слѣдуетъ искать настоящаго Полонскаго; зато тамъ гдѣ онъ говоритъ о *дѣйствительно пережитыхъ имъ ощущеніяхъ и чувствахъ*, тамъ гдѣ онъ рисуетъ образы навѣянные ему ежедневною, почти будничною жизнью, то своеобразною, почти до странности смѣлою фантазіей (укажу, на примѣръ, на стихотвореніе *Тишь и Мракъ*), — тамъ онъ если не всякій разъ заявляетъ себя мастеромъ, то ужъ навѣрно всякій разъ привлекаетъ симпатію читателя, возбуждаетъ его вниманіе, а иногда въ счастливыя минуты, достигаетъ полной красоты, трогаетъ и потрясаетъ сердце“.

Вотъ мастерская характеристика, чрезвычайно проникающая, дающая возможность разобратся въ произведеніяхъ Полонскаго. Тургеневъ прямо не дѣлаетъ того указанія, которое сдѣлали мы, но оно неизбежно вытекаетъ изъ его характеристики: въ поэзіи Полонскаго нѣтъ борьбы, она просто раздвигается: тамъ гдѣ онъ истинный поэтъ, онъ совершенно независимъ отъ своего *направленія*; тогда же когда, по слову Пушкина, „душа вкушаетъ хладный сонъ“, и когда поэтъ, несмотря на это, все же усиливается творить, — тогда въ своихъ произведеніяхъ онъ выражаетъ *только „плѣнной мысли раздраженіе“*. Дѣло въ томъ, что

этотъ кругъ (то-есть, то, что Тургеневъ называетъ „высшими философскими взглядами“) впечатлѣній и чувствъ, не пережить имъ дѣйствительно и глубоко, и вотъ почему и его восторги и его печаль по поводу разныхъ явленій „прогресса“ хотя и искренни, но поверхностны и наивны.

Но Тургеневъ ошибается, думая, что критикъ *Отечественныхъ Записокъ* съ коварнымъ умысломъ приводитъ стихотвореніе *Царство науки* „какъ одно изъ лучшихъ“. Въ томъ-то и комизмъ, въ томъ-то и обличеніе подобнаго сорта критиковъ, что это сдѣлано и до сихъ поръ дѣлается искренно. Критику, совершенно не понимающему и нечувствующему поэзіи, дѣйствительно поэтическія созданія Полонскаго кажутся уже никуда негодными, и онъ искренно указываетъ какъ на лучшее, на такое стихотвореніе, которое хоть сколько-нибудь подходитъ къ его понятіямъ о томъ, чѣмъ должна быть и чѣмъ должна заниматься поэзія — онъ искренно указываетъ какъ на лучшее, на „идейное“, по его мнѣнію, стихотвореніе, т.-е. на такое, въ которомъ уже вовсе нѣтъ поэзіи. Онъ недоволенъ и этимъ стихотвореніемъ, то уже потому что оно, на его вкусъ и на его пониманіе, недостаточно „идейно“ и недостаточно „прогрессивно“.

Тутъ нѣтъ никакого коварства, тутъ полная искренность и совершенное непониманіе того предмета, о которомъ критикъ разсуждаетъ — и вотъ это-то интересно.

Интересна и вся эта старая исторія, — интересна потому, что она и до сихъ поръ повторяется слово въ слово — и до сихъ поръ въ нашей журналистикѣ о поэзіи разсуждаютъ точно также.

Въ *Отечественныхъ Запискахъ* порицали Полонскаго за то что въ его поэзіи нѣтъ *направленія*. Коршъ, тогда издававшій *С.-Петербургскія Вѣдомости*, хотя и помѣстилъ письмо Тургенева въ защиту Полонскаго, отрывки изъ котораго мы приводили, но помѣстилъ въ сопровожденіи редакціоннаго примѣчанія. Коршъ не согласенъ съ Тургеневымъ; онъ болѣе склоняется на сторону *Отечественныхъ Записокъ*, и ему кажется, что въ дѣлѣ поэзіи важна вовсе не поэзія — и онъ пишетъ въ своемъ примѣчаніи:

„Талантъ г. Полонскаго самъ по себѣ не очень сильный преимущественно почерпаетъ свое содержаніе въ сферѣ лич-

ныхъ, лирическихъ ощущеній, *лучшее время которыхъ пережило обществомъ и прошло*“.

Это слово въ слово то же самое, что говорилось еще такъ недавно о поэзии Фета въ иныхъ журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ, появившихся по случаю смерти поэта. Очевидно, мы никакъ не можемъ сдвинуться съ этого мѣста, очевидно, каждому истинному поэту и до сихъ поръ приходится испытывать то о чемъ говорить Пушкинъ:

Услышишь судъ глупца...

Въ виду этого, въ виду того, что и до сихъ поръ сужденія о поэзии остаются все тѣ же, полезно будетъ привести въ высшей степени мѣткія и объясняющія самую сущность дѣла слова Н. Н. Страхова, сказанныя имъ по поводу только-что приведеннаго нами „примѣчанія“ Корша.

„Вотъ и судъ и поученіе вамъ, г. Тургеневъ, и вамъ, г. Полонскій“, писалъ Н. Н. Страховъ. „Что вы не пустяками занимаетесь? Время лирическихъ ощущеній прошло. Г. Коршъ пресерьіозно думаетъ что теперь не время быть поэтомъ, а, конечно, *самое время*, — издавать такую газету какъ *С.-Петербургскія Вѣдомости*“.

„Пѣть съ чужого голоса“, продолжаетъ Н. Н. Страховъ, „толковать о предметахъ, въ которыхъ ничего не смыслишь, не имѣть за душою ни единого искренняго слова, ни одного натурального звука, но за то кричать во все горло, — какъ только другіе закричали, негодовать и благодарствовать, хотъ заднимъ числомъ, но пылко, объявить себя даже защитникомъ цѣлаго человѣчества и — размазывать, размазывать, размазывать, — подражать, подражать, подражать, — путать, путать, путать... вотъ дѣятельность достойная нынѣшняго времени“.

И — увъ! — кто не узнаетъ въ этой печальной картинѣ многихъ чертъ присущихъ и современной журналистикѣ...

Но — говорить далѣе Н. Н. Страховъ:

„Мы думаемъ иначе. Дѣйствительную мысль, дѣйствительное творчество мы считаемъ чистымъ золотомъ литературы, единственно цѣннымъ среди той массы фальшивыхъ и блестящихъ побрякушекъ, которыми ежедневно заваливается нашъ литературный рынокъ. Мы не мало не радуемся, что у насъ остаются *С.-Петербургскія Вѣдомости* и, напротивъ,

считаемъ за великое счастье, что у насъ есть еще Полонскій“.

Такъ судили и будутъ судить о подобныхъ дѣлахъ люди дѣйствительно знающіе въ нихъ толкъ, но такія мнѣнія, къ сожалѣнію, и до сихъ поръ не вошли въ общее сознаніе..

Мы уже сказали, что Полонскій — несравненный лирикъ. Въ этомъ его главная сила, въ этомъ и главная сущность его поэзіи. Тургеневъ въ своемъ *Письмѣ*, отрывки изъ котораго мы приводили, говорить, характеризуя поэзію Полонскаго, — что онъ пьетъ изъ маленькаго стакана, но изъ своего стакана. Изъ маленькаго — да: не весь Божій міръ открыть передъ нашимъ поэтомъ, какъ онъ открыть передъ Шекспиромъ или Пушкинымъ, не все онъ видитъ въ поэтическомъ прозрѣніи, есть много чувствъ и мыслей безконечно значительныхъ, которыя не вдохновляютъ его, — но „онъ пьетъ изъ своего стакана“: въ своемъ лиризмѣ онъ оригиналенъ и своеобразенъ, этотъ лиризмъ не похожъ ни на чей другой, — въ его лиризмѣ обнаруживается еще новая тайна души человѣческой, до него никѣмъ не обнаруженная. Вотъ почему на нашъ взглядъ смѣшно даже говорить о томъ (о чемъ, между тѣмъ, постоянно говорятъ), какой поэтъ Полонскій — первостепенный или второстепенный? Онъ *истинный* поэтъ, и разъ это такъ — онъ равенъ всему великому, что было въ области поэзіи. Равенъ, безъ сомнѣнія, въ кругу тѣхъ поэтическихъ чувствъ и образовъ, въ которомъ онъ остается истиннымъ поэтомъ. Этотъ кругъ не широкъ, но вѣдь мы и судимъ поэта только въ этомъ кругу, да и не имѣемъ никакого права на иной судъ. То, что онъ создалъ, представляетъ собою, *въ этомъ родѣ*, высшую степень творчества — и мы не имѣемъ никакого права спрашивать у него или ставить ему въ упрекъ, что его творчество выразилось только въ этой области чувствъ и образовъ. Онъ пьетъ изъ маленькаго стакана, но въ этомъ стаканѣ тоже, ничѣмъ не испорченное, не имѣющее постороннихъ примѣсей, чистое вино поэзіи, какъ и въ кубкѣ Шекспира и Пушкина. И вотъ почему поэзія Полонскаго, такъ же какъ и поэзія Пушкина, Фета, Майкова, Огарева, Тютчева, будетъ жить, пока будетъ живъ русскій языкъ, и вотъ почему эта поэзія никогда не утратитъ своего обаянія и своего значенія для истинныхъ любителей поэзіи. Въ этомъ-то смыслѣ я и

говору, что поэзія Полонскаго равна всему великому, что было въ этой области: эта истинная поэзія.

Всякая истинная поэзія имѣетъ существенный признакъ: отсутствіе насильственности, отсутствіе напряженности и преднамѣренности. Всякая же истинная поэзія имѣетъ и другой существенный признакъ: свой, своеобразный напѣвъ, если такъ можно выразиться, свою музыку сгixa. Возьмите иныхъ нашихъ поэтовъ, не лишенныхъ даже нѣкотораго дарованія, прекрасно владѣющихъ стихомъ, но пьющихъ не изъ своего стакана... Вы тотчасъ же въ ихъ стихахъ, въ звукѣ, въ напѣвѣ этихъ стиховъ слышите то напѣвъ Пушкина, то Лермонтова, то Фета, Майкова, Полонскаго. И тутъ дѣло не въ размѣрѣ, а во внутреннемъ теченіи рѣчи; вслѣдствіе этого особаго, одному лишь этому поэту свойственнаго внутреннего теченія рѣчи, стихъ того же размѣра получаетъ другой звукъ. И если у васъ чуткое къ поэзіи ухо, вы тотчасъ же различите между собой стихи Майкова, Фета, Огарева и Полонскаго, хотя бы они были написаны въ одномъ размѣрѣ: въ стихотвореніи каждаго поэта вы услышите свой напѣвъ.

Въ поэзіи Полонскаго мы находимъ оба существенные признака истинной поэзіи: его поэзія свободна отъ преднамѣренности и имѣетъ свой напѣвъ: „Худо ли, хорошо ли онъ поетъ“, сказалъ Тургеневъ о Полонскомъ, „но поетъ уже точно по своему“— и прибавилъ: „стоить обладать лишь нѣкоторою тонкостію слуха, чтобы тотчасъ признать его стихъ, его манеру“. Въ примѣчаніи къ этимъ своимъ словамъ и поясняя ихъ Тургеневъ говоритъ:

„Кто не чувствуетъ особаго оригинальнаго оборота, особаго лада стиховъ въ родѣ слѣдующихъ:

Уже надъ ельникомъ изъ-за вершинъ колючихъ
Сіяло золото вечернихъ облаковъ,
Когда я рвалъ густую сѣть плавающихъ
Болотныхъ травъ и водяныхъ цвѣтовъ —

или:

Прихвачу летучій локонъ
Я вѣнкомъ изъ бѣлыхъ розъ,
Что растить по стекламъ оконъ
Утренній морозъ —

„тому, конечно, этого растолковать нельзя“.

Безъ сомнѣнія, — какъ нельзя растолковать глухому отъ рожденія, что такое звукъ и что существуетъ на свѣтѣ безконечное разнообразіе звуковъ, а слѣпородженному — что такое свѣтъ, и что существуетъ въ мірѣ безконечное разнообразіе цвѣтовъ и оттѣнковъ.

Этотъ оригинальный напѣвъ неразрывно связанъ съ другимъ существеннымъ свойствомъ поэзіи — съ отсутствіемъ преднамѣренности, то-есть съ *искренностью* ея. Искренность здѣсь заключается въ выраженіи оригинальной душевной жизни поэта — и эта поэтическая искренность иначе не можетъ быть выражена, какъ оригинальнымъ напѣвомъ. Такимъ образомъ, дѣло сводится къ свободѣ поэзіи: истинная поэзія непременно *свободна*. Объ этой свободѣ поэзіи лучше всего намъ скажетъ Шиллеръ устами императора въ своемъ *графѣ Габсбургскомъ*. Когда пѣвецъ говоритъ:

Въ струнахъ золотыхъ вдохновенъ живеть;
Пѣвецъ о любви благодатной поеть,
О всемъ, что святого есть въ мірѣ,
Что душу волнуетъ, что сердце манить..
О чемъ же властитель воспѣтъ повелитъ
Пѣвцу на торжественномъ пирѣ?
Императоръ отвѣчаетъ:
Не мнѣ управлять пѣснопѣвца душой.
Пѣвцу отвѣчаетъ властитель:
Онъ высшую силу призналъ надъ собой,
Минута — ему повелитель.
По воздуху вихорь свободно шумить.
Кто знаетъ: откуда, куда онъ летитъ?
Изъ бездны потокъ выбѣгаетъ:
Такъ пѣснь зарождаетъ души глубина,
И темное чувство отъ дивнаго сна,
При звукахъ воспринимъ, пылаетъ“.

Вотъ какъ понималъ великій поэтъ поэзію и свободу поэзіи, и это бы хорошенъко надо запомнить тѣмъ нашимъ „критикамъ“, которые и до сихъ поръ хотятъ „управлять пѣснопѣвца душой“, которые и до сихъ поръ требуютъ, чтобы поэзія служила *ихъ* идеямъ. Они упускаютъ изъ виду, что это прежде всего *невозможно*, потому что, какъ только поэтъ теряетъ свою свободу, какъ только онъ начинаетъ пѣть по заказу, такъ тотчасъ же онъ перестаетъ быть поэтомъ. Они упускаютъ изъ виду что, такимъ требованіемъ отъ поэзіи (если она ему подчинится) они дѣлаютъ поэзію *безсильною*

и, такимъ образомъ, не достигаютъ и *своей цѣли*: обращеніе людей посредствомъ поэзіи къ *своимъ* идеямъ. На душу человѣческую дѣйствуетъ только поэзія, а всякая поддѣлка подъ нея, въ лучшемъ случаѣ, остается чужда этой душѣ, остается безплодною, въ худшемъ же, уродуетъ эту душу, давая ей вмѣсто хлѣба — камень. Не учить намъ надо поэтовъ о чемъ имъ пѣть, а воспринимать ихъ поэзію въ свою душу, благоговѣйно вникая въ ея таинственный смѣсль. То что сказалъ Шиллеръ примѣнимо ко всѣмъ истиннымъ поэтамъ. Не идеи управляютъ ими, а нѣчто иное, — высшее, что живетъ въ глубинѣ души. Не идеями какими-нибудь руководствуясь и желая ихъ выразить создаетъ Шекспиръ *Гамлета*, Пушкинъ — *Русалку* или *Скупого Рыцаря*, а выражая въ этихъ созданіяхъ жизнь своей души; и *Гамлет*, и созданія Пушкина „зарождаютъ души глубина“, и Шекспиръ и Пушкинъ въ своей поэзіи рассказываютъ „дивные сны“, по слову Шиллера, — сны исполненные мрачной меланхолии у Шекспира, глубокой, но просвѣтленной чѣмъ-то, какъ бы не земнымъ, грусти у Пушкина; они рассказываютъ сны, которые имъ чудились, когда душа ихъ освобождалась отъ всего суетнаго и житейскаго — и уже, конечно, отъ хлама разныхъ ходячихъ „идей“ ихъ времени. Всякая истинная поэзія выходитъ изъ этихъ тайниковъ души — и вотъ почему поэзія сама по себѣ есть дѣло таинственное: она таинственнымъ процессомъ создаетъ нѣчто *новое*, чего нѣтъ въ природѣ, чего не было до того во всей вселенной — она создаетъ особые міры, — и дѣло критики не „управлять пѣснопѣвца душой“, а разгадать тайну этихъ вновь созданныхъ міровъ. Это чувствуютъ всѣ, одаренные болѣе или менѣе поэтическою натурой, это чувствовалъ Тургеневъ, по міровоззрѣнію своему всегда склонный подчиниться ходячей тенденціи, но по натурѣ истинный поэтъ, — онъ это чувствовалъ и прекрасно выразилъ свое чувство въ слѣдующихъ словахъ, написанныхъ имъ въ его лирическомъ отрывкѣ *Довольно*:

„Искусство, въ данный мигъ, пожалуй, сильнѣе самой природы, потому что въ ней нѣтъ ни симфоніи Бетховена, ни картины Рюиздала, ни поэзіи Гёте — и одни лишь тупые педанты или недобросовѣстные болтуны могутъ еще *толковать* объ искусствѣ какъ о подражаніи природѣ“.

И при такомъ только взглядѣ на дѣло мы поймемъ огромное и самостоятельное значеніе искусства, огромное и самостоятельное значеніе поэзіи, и станемъ въ надлежащее отношеніе къ ней; не будемъ требовать отъ нея того чего намъ хочется, а будемъ брать у нея то, что она намъ даетъ; и, наконецъ, во всякой истинной поэзіи, какъ бы ни былъ малъ кругъ поэтическихъ чувствъ и образовъ поэта, мы почувствуемъ ту же великую тайну, тайну творчества, зародившагося помимо воли поэта въ таинственной глубинѣ души его. Тутъ полезно будетъ снова напомнить слова Ренана о томъ, что поэзія „подобно дѣламъ религіознымъ имѣетъ цѣну во всякое время, во всякую минуту“, что наука, искусство, философія, поэзія „суть вещи религіозныя“. Теперь, послѣ всего только-что нами сказаннаго о свойствахъ и значеніи поэзіи, быть-можетъ понятнѣе и яснѣе станутъ эти слова.

Къ поэзіи Полонскаго очень подходятъ стихи Шиллера:

Пѣвецъ о любви благодатной поетъ,
О всемъ, что святого есть въ мірѣ,
Что душу волнуетъ, что сердце манитъ...

Но вотъ за это-то его упрекали, и, конечно, будутъ снова упрекать. Конечно, снова объявлять, что онъ поэтъ „личныхъ лирическихъ ощущеній, лучшее время которыхъ пережито обществомъ и прошло“. Гоненіе на поэтовъ за сюжетъ ихъ пѣсенъ не прекратилось; Некрасовская традиція еще жива; и теперь въ извѣстной части публики и въ извѣстной части журналистики готовы обратиться къ поэту съ тѣмъ же увѣщаніемъ и упрекомъ, съ которымъ обращался къ нему Некрасовъ еще въ 1856 году, въ своемъ стихотвореніи *Поэтъ и Гражданинъ*:

Съ твоимъ талантомъ стыдно спать:
Еще стыднѣе въ годину горя
Красу долинъ, небесъ и моря,
И ласки милой воспѣвать...

Въ своей поэзіи Полонскій именно и воспѣваетъ „ласки милой“, и „красу небесъ, долинъ и моря“. Между тѣмъ насъ увѣряютъ, что это *стыдно*. Но стыдно не это, а постыдно то отношеніе къ природѣ и особенно къ любви, которое высказано Некрасовымъ и до сихъ поръ утверждаютъ

его послѣдователями. Н. Н. Страховъ въ своей статьѣ *Ходъ нашей литературы* (статья помѣщена во II томѣ *Борьбы съ Западомъ*) прекрасно объясняетъ въ чемъ тутъ дѣло. Дѣло въ „пакостныхъ понятіяхъ“, какъ онъ выражается, о любви, дѣло въ томъ, что подъ словомъ любовь, о которой стыдно пѣть, подразумѣвается вовсе не любовь, а что-то иное. Сперва Н. Н. Страховъ, остановившись на стихотвореніи Некрасова *Поэтъ и Гражданинъ*, говоритъ о немъ по существу.

Объясняя въ чемъ заключается сущность дѣла, онъ пишетъ:

„Итакъ, два предмета самымъ прямымъ и настоящимъ образомъ запрещаются поэзіи: *краса долинъ, небесъ и моря*, то-есть любовь. Спрашивается, почему же эти предметы вредны? Некрасовскій гражданинъ увѣряетъ, что непомѣрно *стыдно* думать о нихъ *въ минуту горя*. Но развѣ можно куда-нибудь убѣжать отъ природы и любви? Развѣ это зависитъ отъ человѣческаго произвола?

„И чему же могутъ мѣшать природа и любовь? Не составляютъ ли онѣ нашей лучшей радости, не укрѣпляютъ ли онѣ насъ въ минуту величайшаго горя? Насъ увѣряютъ, что взглянуть на небо и подумать о любимомъ существѣ бываетъ иногда стыдно; *да это не стыдно не только „въ минуту горя“, а и въ минуту самой смерти*“.

Вотъ прекрасное объясненіе и глубокое указаніе на то, что люди думающіе такъ, какъ Гражданинъ обнищали душой, потеряли самое драгоцѣнное, что есть у человѣка: способность къ чистой любви и безкорыстному созерцанію. А, потерявъ эту способность, человѣкъ тотчасъ же приобретаетъ искаженное, уродливое понятіе о любви. Вотъ почему, по словамъ Н. Н. Страхова —

„Любовь ему является только какъ наслажденіе, какъ *ласки милой*, которыя дѣйствительно *стыдно воспѣвать*, если съ ними не связано ничего кромѣ мысли объ удовольствіи. Между тѣмъ любовь вѣдь не состоитъ изъ одной клубнички и имѣетъ ту духовную сторону, которая безмѣрно глубока и которой кажется ни на минуту не долженъ бы забывать ни одинъ поэтъ“.

Отрицаніе природы, конечно, ни къ чему не привело. Какъ ея ни отрицай, она все же будетъ „красою вѣчною сіять“ — отрицать ее нельзя: можно отъ нея отвернуться — и „шіты“ Некрасовской школы такъ и сдѣлали. Но съ любовью вышло иначе.

„Любви устыдились и перестали ее воспѣвать“, пишетъ Н. Н. Страховъ. „Но спрашивается, перестали ли влюбляться и жениться? О, нѣтъ! влюблялись и женились по-прежнему, только втихомолку, не дѣлая изъ этого серьезнаго дѣла и не поднимая большого шума изъ-за такихъ пустяковъ. Перестали думать и говорить о любви, но на дѣлѣ отъ нея нимало не отказались. И вотъ, такъ какъ понятія о любви понизились, упростились и огрубѣли, то стали происходились явленія смѣшныя и безмысленныя или даже отвратительныя и ужасныя. Смѣшно было, когда влюбленные скрывали свои постыдныя чувства и сохраняли видъ гражданской суровости и равнодушія; отвратительно было, когда никакого чувства дѣйствительно не было, и любовь принималась за *естественную потребность*, въ родѣ ѣды и питья“.

Какія же послѣдствія вышли изъ того, что перестали думать и говорить о любви? Послѣдствія самыя плачевныя.

„Странное и печальное зрѣлище представляетъ это извращеніе душъ подъ вліяніемъ противоестественныхъ идей“, читаемъ далѣе въ той же статьѣ Н. Н. Страхова. „Вотъ наглядное доказательство, какъ права, естественна и полезна поэзія, воспѣвающая любовь. Она одухотворяетъ это чувство, возвышаетъ и истолковываетъ лучшее его значеніе и такимъ образомъ противоудѣствуетъ всякаго рода разврату, который неизбѣжно является, какъ скоро отношенія между полами опредѣляются какими-нибудь другими началами, все равно деньгами или гражданскими убѣжденіями. Даже чувственную страсть можно считать въ этомъ случаѣ лучшимъ правиломъ, чѣмъ низведеніе любви на степень простой физической потребности, чѣмъ холодное сластолюбіе, неоправдываемое никакою страстью, не дѣлающее никакого выбора.“

„Каковъ бы ни былъ смыслъ, въ которомъ прежніе поэты воспѣвали любовь, онъ, по самому свойству поэзіи, никогда не заключалъ въ себѣ ничего грязнаго. Пушкинъ, напримеръ, котораго Добролюбовъ называлъ съ насмѣшкой *эротическимъ* поэтомъ, есть истинный образецъ цѣломудрія. Онъ возвелъ въ нашей литературѣ чувство любви до его совершенной чистоты; онъ умѣлъ смотрѣть на женщину,

Благоговѣя богомольно
Передъ святыней красоты.

„Между тѣмъ, теперь мы дошли до того, что не понимаемъ этой святости и этого цѣломудрія. Любовь стала синонимомъ клубнички. Съ какимъ азартомъ журналистика набрасывалась и набрасывается на всякаго поэта или романиста, который вздумаетъ изображать любовь! Можно подумать, что здѣсь дѣйствуетъ достойный почтенія ригоризмъ, гражданское пуританство. Между тѣмъ, въ дѣйствительности, тутъ иногда обнаруживается только развратное понятіе о любви, любовь считается вещью совершенно дозволительною, простою, ежедневною, но говорить о ней нельзя, такъ какъ въ сущности она все-таки только клубничка, и на большее значеніе претендовать не должна, чтобы какъ нибудь — сохрани Боже! — не отвлекъ насъ отъ тѣхъ серьезныхъ дѣлъ, которыя мы постоянно дѣлаемъ.

„Естественно, что, когда стихотворцы имѣютъ такіа пакостныя понятія, то у насъ не будетъ и пѣсень о любви“.

О цѣломудрії Пушкинской поэзіи Н. Н. Страховъ, въ краткомъ подстрочномъ примѣчаніи высказываетъ слѣдующія глубокія и вѣрныя мысли:

„Это требовало бы подробнаго развитія и доказательства. Цѣломудріе состоитъ не въ томъ, что объ извѣстныхъ предметахъ умалчивается, а въ томъ *какъ* о нихъ говорится. Есть люди, которые оказываются нецѣломудренными даже въ самомъ стараніи избѣгать этихъ предметовъ и въ той осторожности, съ которою ихъ касаются. Пушкинъ же, написавшій столько шуточныхъ неприличностей, и въ нихъ не возмущаетъ истинно-цѣломудреннаго чувства; а въ серьезныхъ произведеніяхъ у него не только всегда на грязные предметы устремленъ совершенно чистый взглядъ, но и является въ удивительной простотѣ и высотѣ тотъ перевѣсъ духа надъ плотью, который свойственъ настоящей поэзіи и настоящему цѣломудрію“.

Все это въ области нашей современной поэзіи, или, вѣрнѣе сказать, въ области современныхъ „піитическихъ упражненій“, или стоитъ на той же точкѣ, или пошло еще далѣе, пошло по тому пути, котораго не предвидѣла „некрасовская школа“. Между тѣмъ этотъ путь совершенно послѣдовательное развитіе того отношенія къ любви, которое проповѣдывала некрасовская школа. Я говорю о тѣхъ нашихъ современныхъ піитахъ, которые называютъ себя

„декадентами“. Если „некрасовская школа“ въ стихахъ и въ прозѣ, въ писаніяхъ своихъ критиковъ, публицистовъ, романистовъ, видѣла въ любви только „естественную потребность“ и предписывала поэзіи или молчать о ней, или воспѣвать ее именно какъ „естественную потребность“ (какъ это сдѣлалъ авторъ романа *Что съплать?*), то „декаденты“ въ своей поэзіи выражаютъ уже не просто развратное отношеніе къ любви, а чувство сопровождающее какое-то странное и чудовищное извращеніе полового инстинкта. Безъ сомнѣнія, это и есть послѣдовательный переходъ отъ взгляда на любовь только какъ на „естественную потребность“; такой взглядъ ведетъ къ развратному отношенію къ любви, а уже отъ простого разврата только одинъ шагъ до разврата извращеннаго, до разврата который, ищетъ все новыхъ и новыхъ, все болѣе и болѣе утонченныхъ и извращенныхъ формъ чувственного наслажденія, до разврата который идеализируетъ самъ себя. Въ поэзіи „декадентовъ“ мы и видимъ стремленіе идеализировать, облечь прозрачнымъ покровомъ манящей тайны извращенныя развратомъ чувства и мысли... И истинный поэтъ, всегда цѣломудренный, знающій въ чемъ заключается тайна истинной любви, въ чемъ заключается тайна красоты, тотчасъ же увидитъ и пойметъ въ чемъ дѣло. Тотчасъ же увидѣлъ и понялъ это Полонскій и выразилъ въ своемъ стихотвореніи *Декадентъ*.

Какъ лѣсная щебетунья
За мелькнувшимъ мотылькомъ,
Погнался онъ въ полнолуны
За болотнымъ огонькомъ.
На него съ недоумѣньемъ
Смотрятъ старые лѣса,
И ночныя небеса
Съ ихъ звѣздистымъ населень-
емъ—
Смотрятъ — что за чудеса!...
Обожжется иль задуетъ
Онъ блудящій огонекъ?
Неужель онъ самъ не чувствуетъ,
Что отъ бреда недалеко?

Парижане жаднымъ взоромъ
Ужъ давно слѣдятъ за нимъ,—

Налету за метеоромъ...
Онъ для нихъ неуловимъ,
Какъ порывъ слѣпыхъ влеченій,
Какъ порывъ искать добра
Въ жадѣ новыхъ покушеній —
Въ пробѣ смѣлаго пера,
Для котораго стара
Школа жизни — даже геній...
Вотъ и мы уже за нимъ
Съ умиленіемъ слѣдимъ,
И никто изъ насъ не знаетъ,
Обожжется иль поймаетъ
Онъ блудящій огонекъ?
Самъ ли онъ въ потьмахъ блу-
ждаетъ

И отъ бреда недалеко,—
Пли мы, какъ дѣти, грезимъ

<i>И за нимъ въ болото лѣземъ,—</i>	Поражаетъ новизной—
<i>За болотнымъ огонькомъ?</i>	Диссонансами,— и чуетъ,
<i>Или мы, съ кончиной вѣка,</i>	Что онъ музыкой стиховъ
<i>Такъ извѣтримъ во всемъ,</i>	Озадачилъ крикуновъ...
<i>Что безъ вѣры въ человека</i>	— Обожжется иль задуетъ
<i>Все намъ стало ни о чемъ?</i>	Онъ болотный огонекъ?
Потерявшіе дорогу	Все равно,— онъ насъ чаруетъ:
Легковѣстные умы,	То на что-то негодуетъ,
И добру, и злу, и Богу	То бросаетъ намъ намекъ,
Точно такъ же служимъ мы,	Не лязвить и не врачуетъ.
Какъ и дьяволу, разврату,	И отъ бреда недалеко...
И обиженному брату,	Мы,— рабы нелѣпой моды,
И блестящей суетѣ,	Исказители свободы,—
Богачамъ и нищетѣ,	Декадента признаемъ,
<i>И растлѣнной куртизанкѣ —</i>	И щебечемъ, и поемъ...
Идеалу милыхъ дамъ,—	Онъ свое благословеніе
Женѣ, судьбою данныхъ намъ —	Палету дать можетъ намъ,
Для любви и перебранки...	Вдохновенное внушеніе —
И въ мистическій туманъ	<i>Дать блуждающимъ огнямъ</i>
Вѣрить мы готовы снова —	<i>Образъ нашихъ милыхъ дамъ.</i>
Но все это ужъ не ново...	<i>Запахъ балнаго ихъ танца</i>
Дайте новый намъ обманъ!...	<i>Превращать въ цвѣты страстей,</i>
Но такой, чтобъ былъ неясенъ,—	Слышать музыку ружанца,
Декадента дайте! — Онъ	Видѣть звуки ихъ рѣчей,—
И въ безуміи прекрасенъ,	Такъ какъ все проходить мимо —
И для сердца не опасенъ,	Намъ таинственность нужна —
И загадоченъ, какъ сонъ,	Въ родѣ радужнаго дыма,
<i>Идеалъ смѣшавъ съ порокомъ,</i>	Въ родѣ бреда или сна...
Декадентъ глядитъ пророкомъ,	

„Декаденство“ представляетъ собой ядовитый цвѣтокъ, выросшій на гнилой, болотной почвѣ,— на почвѣ тѣхъ возрѣвнѣй, которыя, отрицая духовную сторону человека и реабилитируя права плоти, свели понятіе о любви на понятіе о естественной потребности. „Декаденство“ вовсе не та поэзія неуловимыхъ чувствъ и впечатлѣній, какую мы находимъ у Фета, не поэзія „останавливающая мгновеніе“, мгновеніе чистаго созерцанія. Въ этой поэзіи все чисто, все имѣетъ духовную основу, въ ней именно ярче всего выразился перевѣсъ духа надъ плотью. Стоитъ припомнить хоть одно изъ подобныхъ стихотвореній Фета, чтобы это стало очевиднымъ. Вотъ первое, какое мнѣ припомнилось:

Облакомъ волнистымъ	Вижу: кто-то скачигъ
Пыль встаетъ въ дали;	На лихомъ конѣ.
Конный или иѣшій —	Другъ мой, другъ далекій,
Не видать въ пыли!	Вспомни обо мнѣ!

Посмотрите, какая здѣсь прозрачная чистота чувства, раствореннаго прозрачною же грустью — чувства неуловимаго, проходящаго по душѣ, какъ легкое облако, но уловленнаго поэтомъ въ этомъ „остановившемся мгновеньи“.

„Декаденты“ употребляютъ тотъ же пріемъ, но повернувши его въ другую сторону. Они тоже хотятъ уловить неуловимыя движенія, но не движенія чувства, не трепеть души, а неуловимыя движенія *чувственности* — тѣ неуловимыя движенія, которыя есть чудовищныя извращенія здоровой чувственности.

Идеаль смѣшавъ съ порокомъ...

Вотъ въ чемъ дѣло. Тутъ уже не только отсутствіе духовной стороны, тутъ просто нравственная и физическая анемія, въ состояніи которой недоступно ни здоровое движеніе чувства ни здоровое движеніе чувственности:

Дать блуждающимъ огнямъ
Образъ нашихъ милыхъ дамъ,
Запахъ бальнаго ихъ танца
Превращать въ цвѣты страстей...

И тутъ же невольно вамъ вспоминается строчка этого же стихотворенія, говорящая о томъ кому мы служимъ:

И растлѣнной куртизанкѣ —
Идеалу милыхъ дамъ...

„Декаденство“ именно и есть поэзія „растлѣнной куртизанки...“

Надъ „декадентской поэзіей“ много смѣялись и подчасъ очень остроумно (напр. Вл. С. Соловьевъ), но я думаю, что это явленіе гораздо серіознѣе, чѣмъ это кажется съ перваго раза и что одна насмѣшка — недостаточное орудіе. Я коснулся тутъ „декаденства“ мимоходомъ; но главное орудіе противъ него — это *истинная поэзія*, которая всегда цѣломудренна, цѣломудренна и въ изображеніи страстей, пороковъ, въ изображеніи даже странныхъ извращеній души человѣческой. О томъ, какъ относится истинная поэзія къ любви, какъ она воспѣваетъ и понимаетъ это чувство мы и будемъ говорить сейчасъ посвятивъ разборъ стихотвореній Полонскаго написанныхъ на эту тему.

Мы уже сказали, что истинный поэтъ всегда цѣломудренъ въ воспѣваніи любви и въ отношеніи къ ней. Мутная струя сладострастія никогда не оскверняетъ истинную поэзію. Такое отношеніе къ любви вытекаетъ изъ самой сущности поэзіи, и когда мы поймемъ въ чемъ заключается эта сущность, для насъ ясно станетъ, что иначе и быть не можетъ. Изложу здѣсь подробно тѣ мысли, которыя я уже высказывалъ о сущности поэзіи.

Мы постоянно говоримъ: это поэзія, а это — проза, и, такимъ образомъ, противопологаемъ поэзію дѣйствительности. Что же мы хотимъ этимъ сказать? Что это *общее* во всѣхъ поэтическихъ созданіяхъ, вслѣдствіе чего мы говоримъ: это поэзія? Что общаго, напримѣръ, между стихотвореніемъ Фета *Котъ поетъ глаза прищуря*, гдѣ въ поэтическомъ изображеніи воспроизводится обыкновенное, будничное явленіе, и между такимъ стихотвореніемъ Полонскаго, какъ *Зимняя невеста*, поэмой Пушкина, балладой Гёте или трагедіей Шекспира? Общее тутъ только одно — *поэтическое настроеніе души*.

Такимъ образомъ ясно, что источникъ поэзіи *не во вѣнши-немъ мірѣ, а въ душѣ человѣческой*, и вотъ почему мы совершенно правильно противопологаемъ поэзію дѣйствительности, говоря: это поэзія, а это дѣйствительность; вотъ почему для поэзіи Иванъ царевичъ и сѣрый волкъ, мышиный королькъ и человѣкъ-щелушка (Гофманъ) такая же дѣйствительность, какъ и тотъ котъ, тотъ мальчикъ, которые описаны въ стихотвореніи Фета.

Значитъ, есть двѣ дѣйствительности: дѣйствительность поэтическая и дѣйствительность обыкновенная? Нѣтъ, есть только одна дѣйствительность — поэтическая, дѣйствительность, воспринимаемая не чувственнымъ человѣкомъ, а его божественной природой, его душой. Для чувственного плотскаго человѣка существуетъ только міръ явленій, и этотъ міръ явленій отражается въ его чувствахъ: вотъ та дѣйствительность, которую мы называемъ прозаическою, которую противопологаемъ поэзіи. Для человѣка духовнаго міръ явленій, — міръ случайный и преходящій не существуетъ, онъ не отражается въ его душѣ, въ ней отражается лишь то *вѣчное*, что скрыто въ явленіи, такое же вѣчное, истинное и бессмертное, какъ и сама душа человѣческая: вотъ *поэти-*

ческая действительность непреходящая, всегда сущая, всегда себя равная. Когда душа человеческая засыпает, когда плоть берет перевѣсъ надъ духомъ, подавляетъ его, человекъ живетъ призрачною жизнью среди міра явленій, воспринимаетъ своими чувствами лишь впечатлѣнія отъ этого міра, однимъ словомъ живетъ въ прозаической дѣйствительности; когда душа человеческая просыпается, когда духъ беретъ перевѣсъ надъ плотью, человекъ получаетъ способность созерцать — и душа его созерцаетъ то *вѣчное*, что скрыто за міромъ явленій, созерцаетъ *нетлѣнную красоту*, будетъ ли то красота покаянія, красота трагическаго страданія, красота пробуждающагося чистаго чувства любви или красота природы... Это великолѣпно понималъ и великолѣпно выразилъ Пушкинъ:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ забавахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ всѣхъ ничтожнѣй онъ...

Въ „забавахъ суетнаго свѣта“ или въ дѣлахъ суетнаго свѣта — это все равно, потому что результатъ получается одинъ и тотъ же: „душа вкушаетъ *хладный сонъ*“, то-есть закрывается для поэтической дѣйствительности: человекъ живетъ уже не духовною и даже не душевною жизнью, а только чувственною, плотскою.

Такъ бываетъ съ поэтами по свидѣтельству Пушкина: когда плоть беретъ верхъ надъ духомъ, душа ихъ погружается въ „хладный сонъ“, они теряютъ сознаніе поэтической дѣйствительности, отдаются теченію жизни, міру явленій. Только для поэтовъ это состояніе „хладнаго сна“ есть состояніе ненормальное, въ такіе промежутки они какъ бы перестаютъ быть сами собой; для людей обыкновенныхъ это есть состояніе обыкновенное, и, напротивъ, все, что выводитъ ихъ изъ этого состоянія кажется имъ ненормальнымъ и страннымъ.

Итакъ, источникъ поэзіи въ душѣ человеческой, слѣдовательно, въ безконечномъ, въ безсмертномъ, въ нетлѣнномъ. Какое же отношеніе поэтическая дѣйствительность имѣетъ

къ дѣйствительности обыкновенной, которую мы противопоставляемъ поэзіи?

Говорятъ иногда, что въ поэзіи мы видимъ *преобразенную* дѣйствительность. Это прекрасное, очень точное выраженіе: въ немъ схвачена самая сущность дѣла, но оно, къ сожалѣнію, для многихъ и даже для чуткихъ къ поэзіи людей не совсѣмъ ясно. Что значитъ „преобразенный“? Когда мы говоримъ: „онъ весь преобразился, его нельзя было узнать“, то всегда подразумеваемъ, что человѣкъ, вслѣдствіе извѣстныхъ обстоятельствъ, обнаружилъ самую сущность своей натуры, до тѣхъ поръ бывшею для насъ неясною. Въ этомъ смыслѣ употреблено это слово и по отношенію къ величайшей священной тайнѣ Преображенія Господня. Воплотившееся Божество, преобразившись, явилось во всей своей божественной славѣ, то-есть обнаружило истинную свою сущность, до того скрытую въ образѣ обыкновеннаго человѣка. Теперь намъ станетъ понятнѣе, что такое „преобразенская дѣйствительность“. Это дѣйствительность обнаружившая *истинную свою сущность*. И только въ поэзіи дѣйствительность обнаруживаетъ истинную свою сущность, то-есть *преображается*. Эта истинная сущность дѣйствительности есть *красота*: — первозданная красота міра и человѣка, созданныхъ Творцомъ, и повредившаяся въ природѣ и затемнившаяся въ падшей, обремененной грѣхомъ душѣ человѣческой. Душа человѣческая только въ минуты *чистаго созерцанія* прозрѣваетъ эту первозданную красоту въ мірѣ и въ человѣкѣ; такъ прозрѣваютъ ее избранники Божіи — истинные поэты, прозрѣваютъ въ большей или меньшей степени, выражаютъ въ своихъ созданіяхъ это прозрѣніе яснѣе или темнѣе, съ большею или меньшею примѣсью земного, случайнаго, но и прозрѣваютъ и выражаютъ одну и ту же красоту во всемъ ея безконечномъ разнообразіи.

Поэзія есть дѣло таинственное. Черезъ поэзію мы соприкасаемся съ мірами иными, съ ихъ таинственнымъ спокойствіемъ, съ ихъ истинною красотой. Скорбь, тоска, грусть, преобразенныя поэзіей, являются какъ бы уже не здѣшними, напоминаютъ скорбь, тоску, грусть чистыхъ безплотныхъ духовъ, которые, конечно, скорбятъ и тоскуютъ, глядя съ своей высоты на грѣховный міръ, на человѣка, искажившаго въ себѣ данные ему образъ и подобіе... Вотъ

почему поэтическое настроеніе непременно имѣетъ характеръ религіозный.

Что же такое истинная поэзія, что такое истинный поэтъ? Въ одномъ изъ стихотвореній Фета мы находимъ слѣдующія строфы:

И такъ прозрачна огней безконечность,
И такъ доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я изъ времени въ вѣчность,
И пламя твое узнаю, солнце міра...

Здѣсь сказано то главное, что нужно сказать о поэзіи и о поэтѣ. Поэзія есть *прозрѣніе* изъ „времени въ вѣчность“, поэтъ прозрѣваетъ „изъ времени въ вѣчность“ и, найдя въ душѣ своей *вѣчное*, находитъ его во всѣхъ явленіяхъ природы и жизни. Прозрѣніе красоты — вотъ въ чемъ заключается сущность поэзіи:

Только пчела узнаетъ въ цвѣткѣ затаенную сладость,
Только художникъ во всемъ чуетъ прекраснаго слѣдъ...

Вотъ почему поэтъ всегда цѣломудренъ, какъ цѣломудренна сама красота — та нетлѣнная красота, которая лишь отражается въ земномъ, которую мы созерцаемъ „какъ бы черезъ тусклое стекло“, и которую только поэтъ видитъ „лицомъ къ лицу“. Въ истинной поэзіи, когда она воспрѣваетъ любовь, мы находимъ то же цѣломудренное созерцаніе красоты, проявляющейся въ этомъ чувствѣ, какое находимъ въ созерцаніи поэзіей красоты природы, произведеній искусства, жизни человѣческой. Для того, чтобы пояснить нашу мысль, приведемъ стихотвореніе Фета *Диана*:

Богини дѣвственной округлыя черты,
Во всемъ величій блестящей наготы,
Я видѣлъ межъ деревъ, надъ ясными водами,
Съ яродолговатыми, безцвѣтными очами.
Высоко поднялось открытое чело,
Его недвижностью вниманье облегло, —
И дѣвъ моленію въ тяжелыхъ мукахъ чрева
Внимала чуткая и каменная дѣва.
Но вѣтеръ на зарѣ между листовъ проникъ,
Качнулся на водѣ богини ясный ликъ;
Я ждалъ — она пойдетъ съ колчаномъ и стрѣлами,
Молочной бѣлизной мелькая межъ древами,
Взирать на сонный Римъ, на вѣчной славы градъ,
На желтоводный Тибръ, на группы колоннадъ,
На стогны длинные... Но мраморъ недвижимый
Бѣлѣлъ передо мной красой непостижимой...

Я уже не говорю о необыкновенной, „пушкинской“ гармоничности этого стихотворения, о чарующей музыкѣ стиха, но оно — высокій образец чистаго созерцанія красоты созерцанія духовнаго, къ которому не примѣшивается ничто земное и страстное. Паѳосъ этого стихотворения, вызваннаго созерцаніемъ изображенія языческой богини, тѣмъ не менѣе, проникнуть христіанскимъ настроеніемъ. Въ этомъ стихотвореніи дана мѣра нашего отношенія къ языческому искусству. Эллинскій геній какъ бы проникъ въ тайну первозданной красоты человѣческаго тѣла, красоты еще не затемненной земною страстью, и выразилъ эту тайну въ дивныхъ созданіяхъ скульптуры. Поэзія христіанскаго настроенія прозрѣваетъ тайну этой первозданной красоты человѣческаго тѣла.

.... Но мраморъ недвижимый
Бѣлѣлъ передо мной *красой непостижимой*.

Настроение этого стихотворения напоминаетъ настроеніе того пустынника и подвижника, который, увидавъ женщину необыкновенной красоты, заплакалъ отъ умиленія предъ дивнымъ созданіемъ Творца.

Іоаннъ Лѣствичникъ, рассказавъ этотъ случай, какъ высокій примѣръ цѣломудрія, прибавляетъ:

„Если такой человѣкъ въ подобныхъ случаяхъ всегда имѣетъ такое же чувство, то онъ воскресъ нетлѣннымъ прежде общаго воскресенія“.

Тоже можно сказать о поэтѣ въ тѣ мгновенья чистаго созерцанія, когда красота кажется ему *непостижимой*, то-есть уже не дѣломъ природы и не дѣломъ рукъ человѣческихъ...

Только возвысившись до такого чистаго созерцанія красоты можно постигать и *любовь* какъ нѣчто безконечно прекрасное и чистое, отражающее въ себѣ здѣсь, на землѣ, любовь божественную. Такъ и постигаютъ любовь всѣ истинные поэты. Воспѣвая ее, они воспѣваютъ не „жаръ въ крови“, а „жаръ души“, что бы они ни воспѣвали: первое ли смутное и робкое движеніе молодого чувства, счастливую ли, раздѣленную любовь, или любовь трагическую, ту любовь, которая по слову Шиллера — „сильнѣе смерти“. Такъ воспѣваетъ любовь и Полонскій. Онъ цѣломудренъ и тогда, когда воспѣваетъ любовь счастливую, раздѣленную, когда воспѣваетъ утѣхи любви... Вотъ одно изъ лучшихъ его стихо-

Какъ двѣ звѣздочки теплились глазки,
И на мнѣ остановленный взоръ,
Выражалъ и любовь и укоръ.
Наконецъ, она тихо сказала:
„Я давно и вездѣ васъ искала!“
Измѣнилъ рѣчи трепетный звукъ,
Я узналъ трепетъ милыхъ мнѣ рукъ.
О, во имя любви простодушной,
Не снимай этой маски бездушной!
Я боюсь, другъ мой милый, любя,
Въ этотъ мигъ я боюсь за тебя.
Въ пестротѣ, въ многолюдствѣ собранья,
Пусть пройдетъ клевета безъ вниманья,
И любви откровенной слова
Не подслушаетъ злая молва!

Вотъ граціозное стихотвореніе, удивительное по изяществу и простотѣ тона, по изящной непринужденности стиха. И здѣсь — какая прозрачная ясность и кристальная чистота чувства! Здѣсь въ стыдливомъ намека въспѣто зарожденіе чувства, это стихотвореніе какъ бы прологъ къ стихотворенію *Пришли и стали тѣни ночи*. И здѣсь, въ этихъ любовныхъ стихотвореніяхъ лиризмъ Полонскаго особенный, своеобразный, не похожій ни на чей другой — лиризмъ *простодушій*, простодушной граціи, лиризмъ „иногда не ловкой“, говоря словомъ Тургенева, „но всегда любезной правдивости впечатлѣній“. Но —

Мигъ еще — и нѣтъ волшебной сказки...

Молодой лиризмъ, лиризмъ какой-то кроткой и простодушной вѣры въ жизнь, который мы чувствуемъ въ этихъ и подобныхъ стихотвореніяхъ Полонскаго смѣняется иными настроеніями, и поэтъ рассказываетъ намъ иныя сказки — сказки о несбывшихся желаніяхъ, о погибшихъ надеждахъ, воспоминанія о томъ что „желалось и снилось“, что прошло и никогда не возвратится. Но и въ этихъ стихотвореніяхъ, къ которымъ мы теперь перейдемъ, все та же кристальная чистота чувства и звучитъ все тотъ же особенный, одному Полонскому свойственный, лиризмъ...

Чтобы совершенно понять особенности и своеобразность лиризма Полонскаго, сравнимъ его съ другимъ нашимъ лирическимъ поэтомъ, который обыкновенно и считается „пѣвцомъ любви“, съ Фетомъ. Въ этомъ сравненіи намъ станутъ

болѣе ясными всѣ особенности Полонскаго и вся своеобразность его лиризма.

Какъ извѣстно, Фетъ перевелъ на русскій языкъ главное сочиненіе Шопенгауэра, *Миръ какъ воля и представленіе*. Изученіе этого замѣчательнаго философа дало окраску его мировоззрѣнію, окончательно сформировало его.

Съ точки зрѣнія Шопенгауэровской философіи понималъ онъ и поэзію, напримѣръ, *Фауста*, какъ то видно изъ предисловія, которое онъ предпослалъ переводу второй части этой трагедіи.

Но въ русской натурѣ и самый философскій пессимизмъ отражается своеобразно, получаетъ особую окраску и, становясь не логичнымъ, приводитъ не къ отчаянію и отрицанію міра, а къ какому-то смутному исканію того таинственнаго, что скрыто въ этомъ мірѣ, что доступно не разуму, въ безсиліи останавливающемуся на порогѣ вѣчности, а только поэтическому прозрѣнію и постиженію. Какъ у Л. Толстого его пессимистическое настроеніе, вызванное нѣкоторыми событіями его личной жизни (смертью любимаго брата. Смотри объ этомъ въ *Воспоминаніяхъ* Фета) и увлеченіемъ философіей Шопенгауэра отразилось тревожнымъ исканіемъ смысла жизни и смерти, совершенно своеобразными воззрѣніями на этотъ смыслъ жизни, наконецъ, высоко-художественными страницами о смерти, разсѣянными во всѣхъ его произведеніяхъ, такъ и у Фета пессимистическое настроеніе въ его поэзіи *преобразилось*, отразившись прозрѣніемъ въ то таинственное, что скрыто за міромъ явленій, постиженіемъ этого таинственнаго, какъ Божества... Ярче всего это настроеніе выразилось въ его стихотвореніяхъ *Смерть и измученъ жизнью*. Вотъ первое изъ нихъ:

„Я жить хочу!“; кричитъ онъ дерзновенный,
Пускай обманъ! О дайте мнѣ обманъ!“
*И въ мысляхъ нѣтъ, что это ледъ мгновенный,
А тамъ, подъ нимъ, бездонный океанъ!*
Бѣжать? Куда? Гдѣ правда? Гдѣ ошибка?
Опора гдѣ, чтобы руки къ ней простерть?
Что ни развѣтъ живой, что ни улыбка,
Уже надъ нимъ торжествуетъ смерть.
Слѣпцы напрасно ищутъ, гдѣ дорога,
Довѣрясь чувствъ слѣпымъ поводырямъ, —
Но если жизнь базаръ крикливый Бога,
То только смерть Его безсмертный храмъ...

Этотъ ужасъ предъ жизнью, это смущеніе предъ міромъ явленій, шаткимъ и условнымъ, приводитъ поэта не къ отчаянію, а къ смутному предчувствію, что только въ смерти заключается зерно безсмертія. Въ другомъ стихотвореніи *Измученъ жизнью* это смутное предчувствіе уже переходитъ въ ясное прозрѣніе:

Измученъ жизнью, коварствомъ надежды,
Когда имъ въ битвѣ душой уступаю,
И днемъ и ночью смыкаю я вѣжды
И какъ-то странно порой прозрѣваю.
Еще темнѣе мракъ жизни всендневной,
Какъ послѣ яркой осенней зарницы,
И только въ небѣ, какъ зовъ задушевный,
Сверкаютъ звѣздъ золотыя рѣсницы.
И такъ прозрачна огней безконечность,
И такъ доступна вся бездна ээира,
Что прямо смотрю я изъ времени въ вѣчность,
И пламя твое узнаю солнце міра.
И неподвижно на огненныхъ розахъ,
Живой алтарь мірозданья курится,
Въ его дыму, какъ въ творческихъ грезахъ,
Вся сила дрожить и вся вѣчность снится...
И все что мчится по безднамъ ээира,
И каждый лучъ плотской и безплотный,
Твой только отблескъ, о солнце міра!
И только сонъ, только сонъ мимолетный!
И этихъ грезъ въ міровомъ дуновеньи,
Какъ дымъ несусь я и таю невольно,
И въ этомъ прозрѣньи, и въ этомъ забвеньи,
Легко мнѣ жить и дышать мнѣ не больно...

Въ этомъ стихотвореніи уже весь Фетъ: именно постоянная „прозрѣвающая“ задумчивость придаетъ особый и своеобразный колоритъ его поэзіи. Его, какъ поэта, не интересуетъ то, что на поверхности жизни, онъ весь углубился въ то таинственное и загадочное, что живетъ тамъ, въ глубинѣ, подъ поверхностью жизни, онъ прислушивается къ звукамъ оттуда, къ звукамъ едва уловимымъ, но яснымъ для поэтического слуха. Онъ умѣетъ подслушать эти звуки, которые томятъ насъ своею неопредѣленностью и таинственностью, — онъ умѣетъ ихъ подслушать и напомнить ихъ намъ, какъ забытый мотивъ, который мы потеряли и съ тоскою ищемъ...

Эта „прозрѣвающая“ задумчивость придаетъ особый колоритъ и любовнымъ стихотвореніямъ Фета. Въ подобныхъ

стихотвореніяхъ у него нѣтъ ни первической тоски и ядовитой насмѣшки Гейне ни сентиментальности Мюссе. Старую и вѣчно юную исторію неудавшейся любви, несбывшихся желаній, погибшихъ надеждъ онъ рассказываетъ по-своему, тономъ той спокойной на видъ, но глубокой, тягостной грусти, которая такъ характерна для русской натуры. Смыслъ подобныхъ его стихотвореній лучше всего можно охарактеризовать стихомъ Мицкевича (*Дяды*):

.....Другое еще есть оружье:
Пронзаешь насквозь оно душу,
А раны не видно снаружи...

Да, — „раны не видно снаружи“, тутъ полное спокойствіе, — но это спокойствіе зловѣщей морской зыби надъ кораблемъ, затонувшимъ со всѣми людьми, которые на немъ плыли къ своей цѣли, со всѣми ихъ страстями, надеждами и порывами... Вотъ два подобныя стихотворенія:

Въ тиши и мракѣ таинственной ночи,
Я вижу блескъ привѣтный и милый,
И въ звѣздномъ хорѣ знакомыя очи,
Горять въ степи надъ забытой могилой.
Трава поблекла, пустыня угрюма,
И сонъ сиротливъ одинокой гробницы,
И только въ небѣ, какъ вѣчная дума,
Сверкаютъ звѣзды залитыя рѣсницы.
И снится мнѣ, что ты встала изъ гроба,
Такою, какою съ земли отлетѣла,
И снится, снится мы молоды оба,
И ты взглянула, какъ прежде глядѣла...

Что здѣсь слышится? *Преображенное* горе, преобразенное страданіе, утратившее свой грубый, земной характеръ, — и потому-то это стихотвореніе такъ безконечно трогательно и такъ поэтично; потому-то оно найдетъ живой отзвукъ въ душѣ всякаго, кто испытываетъ тяжкія, не вознаградимыя потери, но сохранилъ въ душѣ своей чувство религіозное или поэтическое. Въ этомъ стихотвореніи какъ бы слышится отдаленный поэтическій отзвукъ трогательнаго народно-христіанскаго вѣрованія въ жизнь безконечную, въ общеніе между живыми и усопшими, чувствуется несознанная, но живущая въ глубинѣ души надежда на загробное свиданіе...

Въ этомъ стихотвореніи, безъ сомнѣнія, гейневскій мотивъ, — но какая разница! У Фета нѣтъ ничего болѣзнен-

наго, нѣтъ этого какого-то чувственного мистицизма, слѣдовъ еще не остывшей земной страсти, какъ всегда у Гейне въ стихотвореніяхъ на подобныя темы. Здѣсь нѣтъ какъ бы уже ничего земного, а одна чистая „память сердца“, глубокая и тягостная грусть, свидѣтельствующая о простомъ, чистомъ и сильномъ чувствѣ.

Все минуло, потухло, осталось только не здѣшнее, не земное, осталась только та любовь, которая не боится и не подвластна никакому року, которая сильнѣе смерти, потому что бессмертна — осталась чистая любовь и чистая скорбь. Въ этомъ стихотвореніи какъ бы отразилось народно-христіанское представленіе объ общеніи съ умершими, объ общеніи съ ними въ неизмѣняющейся уже любви, въ любви очищенной отъ всего земного, но живой и реальной. Отсюда и особый тонъ этого стихотворенія, особый характеръ его трагизма: это трагизмъ примиренія, трагизмъ глубокой скорби, растворенной надеждой, тотъ трагизмъ, который такъ свойственъ русскому народному характеру.

Вотъ другое стихотвореніе, которое какъ бы служить дополненіемъ къ первому, какъ бы съ нимъ связано:

Солнца лучъ промежъ липъ былъ и жгучъ и высокъ,
Предъ скамьей ты чертила блестящій песокъ,
Я мечтамъ отдавался, я вѣрилъ веснѣ,
Ничего ты на все не отвѣтила мнѣ.
Я давно угадалъ, что мы сердцемъ родня,
Что ты счастье свое отдала за меня,
Я рвался, я твердилъ не о нашей винѣ,
Ничего ты на все не отвѣтила мнѣ.
Я стоналъ, повторялъ, что нельзя намъ любить,
Что минувшіе дни мы должны позабыть,
Что въ грядущемъ цвѣтутъ всѣ права красоты,
Мнѣ и тутъ ничего не отвѣтила ты...
Съ опочившей я глазъ былъ не въ силахъ отвѣсть:
Всю погасшую тайну хотѣлъ я прочесть,
И лица твоего мнѣ простили ль черты...
Ничего, ничего не отвѣтила ты...

Вотъ — старая и вѣчно юная исторія, какія любилъ разсказывать Гейне и снова какая разница! У Гейне ко всѣмъ этимъ исторіямъ о томъ, что онъ ее любилъ, а она его не любила или онъ и она любили, но злой рокъ помѣшалъ ихъ любви, — у Гейне всѣ эти исторіи разрѣшаются однимъ чувствомъ:

Старинная сказка — но вѣчно
Останется юной она!
И лучше бъ на свѣтъ не родился
Тотъ, съ кѣмъ она сбыться должна...

Не такъ у нашего поэта. Его муза слишкомъ любить жизнь, чувствуетъ ея значительный и таинственный смыслъ, чувствуетъ, что есть въ этой таинственной жизни что-то стоящее и выше личнаго счастья и выше личнаго страданія, слишкомъ вѣрить въ безсмертное и нетлѣнное чувство чистой любви, чтобы видѣть исходъ трагедіи въ стонахъ и вопляхъ безсильнаго отчаянія. Стихотворенія Фета глубже и трагичнѣе подобныхъ же стихотвореній Гейне, его трагизмъ проще и возвышеннѣе.

Исторія самая простая: онъ ее любилъ, и она его любила, но злой рокъ помѣшалъ ихъ счастью. Что стало между ними? какая преграда возможна для чувства искренняго и чистаго? Конечно, только одна: сознаніе чего-то великаго, повелительнаго, принудительнаго нравственно, чему надо принести въ жертву чувство. Въ этомъ стихотвореніи цѣлый романъ, цѣлая трагедія совершенно развитая и законченная. Онъ — колеблется, терзается, не можетъ остановиться ни на чемъ, потому что его любовь еще затемнена страстью; она только любить, страсть не можетъ коснуться ея, она слишкомъ чиста для этого, и вотъ свою любовь она сразу и безповоротно подчиняетъ тому высшему и непреложному, безъ подчиненія которому для нея невозможно и самое счастье. Передъ нами во всемъ своемъ обаяніи встаетъ образъ русской дѣвушки, чистой, бесконечно любящей, женственно-кроткой, но строгой, почти суровой въ своемъ чувствѣ. У нея нѣтъ силы не слушать, но есть сила молчать:

Ничего, ничего не отвѣтила ты...

Что онъ подразумѣваетъ, когда говоритъ „минувшіе дни мы должны позабыть?“ Только то, что онъ прочелъ въ ея взглядѣ, въ ея чертахъ, все, что совершилось въ ея душѣ, всю незримую и тѣмъ болѣе тяжелую драму. Вотъ это „минувшее“ надо позабыть, а кромѣ этого и о живой и о мертвой онъ можетъ сказать только одно:

Ничего, ничего не отвѣтила ты...

Она не вынесла душевной муки и умерла. И вотъ тутъ-то это „минувшее встало, какъ яркій и *опытный* фактъ:

Всю *погасшую тайну* хотѣлъ я прочесть...

Но уже никто не можетъ проникнуть эту тайну, унесенную въ могилу. И въ этомъ мука — но мука, очищающая душу, заставляющая „примириться“, преклониться предъ высшею правдой, предъ высшимъ судомъ... Пройдутъ годы — и душевная борьба разрѣшится тѣмъ грустнымъ, чистымъ и скорбнымъ чувствомъ, которымъ проникнуто первое изъ этихъ двухъ стихотвореній:

И снится мнѣ, что ты встала изъ гроба
Такою, какою съ земли отлетѣла...

И вотъ *это* уже останется на всю жизнь, постоянно будетъ жить и звучать въ душѣ — будетъ жить и звучать оно, это чувство, уже не затемненное земною страстью, чувство, которое человекъ унесетъ съ собой и туда, въ жизнь безконечную...

Въ этомъ стихотвореніи въ образѣ этой умершей дѣвушки сказалась какъ бы неуловимая грѣза о нездѣшной, небесной, неприступной чистотѣ, грѣза объ одной изъ тѣхъ царственныхъ женскихъ натуръ, которыхъ „судьба — какъ смерть неотразима...

Такою же глубиной и серіозностью, такою же простотой и правдой проникнуты всѣ стихотворенія Фета на трагическія темы — они проникнуты тѣмъ особымъ, величавымъ трагизмомъ, который въ самомъ себѣ носитъ залогъ примиренія съ жизнью, во имя проницающей самую эту жизнь высшей красоты...

Какъ мы видимъ и увидимъ дальше еще яснѣе, лиризмъ Полонскаго вообще, и лиризмъ его любовныхъ стихотвореній имѣетъ своеобразный отпечатокъ и не похожъ ни на лиризмъ Фета, ни на лиризмъ Огарева, ни на лиризмъ Тютчева. У него нѣтъ „прозрѣвающей“ задумчивости какъ у Фета, нѣтъ тягостнаго и глубокаго поэтическаго раздумья надъ жизнью; онъ не претворяетъ какъ Фетъ въ поэзію глубокую философскую мысль. Напротивъ, когда онъ пытается это сдѣлать, онъ становится безсильнымъ, совершенно подтверждая слова Тургенева, что слабая сторона его таланта заключается въ нѣсколько наивномъ подчиненіи тому,

что называется высшими философскими взглядами. Онъ не поэтъ глубокаго поэтическаго раздумья, онъ поэтъ *просто-душныхъ, но глубокихъ поэтическихъ впечатлѣній*. У него нѣтъ и той рефлексіи слабаго духомъ человѣка, какъ у Огарева, рефлексіи дающей окраску даже и любовнымъ стихотвореніямъ этого поэта (напримѣръ, *Я помню робкое желанье*). Онъ не скажетъ, какъ Огаревъ:

И съ каждымъ годомъ все страшнѣе устарѣлость,
Больнѣе чувствовать, страшнѣй желать,
И кажется, что жить — отчаянная смѣлость...

Онъ не скажетъ, какъ Огаревъ, въ стихотвореніи, въ которомъ онъ хоронитъ сердце —

Шли годы, ласки стали рѣже
И высохъ слезъ потокъ живой,
И только оставались тѣ же
Желанья съ прежнею тоской...

Какъ глубокое поэтическое раздумье, такъ и та странная изломанность души, какую мы замѣчаемъ у Огарева, чужды Полонскому. Простодушная вѣра въ жизнь не смѣняется у него Фетовскимъ задумчивымъ „прозрѣніемъ“ или изломанностью Огарева, она смѣняется какою-то кроткою жалобой и какъ бы недоумѣніемъ передъ собственными поэтическими впечатлѣніями. Прочтите его прелестное стихотвореніе *Лунный светъ*:

На скамьѣ, въ тѣни прозрачной
Тихо шепчущихъ листовъ,
Слышу — ночь идетъ и слышу
Переключку пѣтуховъ.
Далеко мелькаютъ звѣзды,
Облака озарены,
И, дрожа, тихонько льется
Свѣтъ волшебный отъ луны.
Жизни лучшія мгновенья,
Сердца жаркія мечты,
Роковыя впечатлѣнья
Зла, добра и красоты;
Все что близко, что далеко,
Все что грустно и смѣшно,
Все что спитъ въ душѣ глубоко —
Въ этотъ мигъ озарено.
Отчего былая радость
Безотраднa, какъ печаль!

*Отчего печаль былая
Такъ свѣжа и такъ ярка!...
Непонятное блаженство!
Непонятная тоска!*

Вотъ какъ и вотъ чѣмъ у него разрѣшаются „роковыя впечатлѣнія зла, добра и красоты“. Обратите вниманіе на стихи, набранные курсивомъ. Читая ихъ кажется, что слова „роковыя впечатлѣнія“, пожалуй, тутъ и неумѣстны, что во всемъ этомъ чудесномъ и по поэтичности настроенія стихотворенія слово „роковыя“ — какая-то описка, не соответствующая ни тону, ни тому настроенію тихой, проходящей по душѣ какъ легкое облако грусти, которымъ проникнуто все стихотвореніе.

И даже, когда въ воспоминаніи поэта возникаетъ то трагическое, что пережила его душа, самый этотъ трагизмъ приобретаетъ колоритъ какой-то кроткой, чуждой тягостнаго раздумья покорности. Вотъ одно изъ лучшихъ стихотвореній Полонскаго въ этомъ родѣ — одно изъ тѣхъ стихотвореній, которыя даютъ ему право на названіе истиннаго поэта:

Я читаю книгу пѣсенъ:
„Рай любви — змѣя любовь“, —
Ничего не понимаю —
Перечитываю вновь.
Что со мной! съ невольнымъ страхомъ
Въ душу крадется тоска...
*Словно книгу заслонила
Чья-то мертвая рука,
Словно чья-то тѣнь поникла
За плечомъ и въ тишинѣ
Тихо плачетъ, — тихо дышитъ
И дышашъ мѣшаетъ мнѣ.*
Словно эту книгу пѣсенъ
Прочитать хотятъ со мной
Потухающія очи
Съ накопившею слезой.

Вотъ стихотвореніе, изумительное по своему мистическому колориту, — по тому мистическому чувству, которое невольно сообщается и читателю; но какая разница между этимъ мистическимъ настроеніемъ и мистическимъ настроеніемъ Пушкина (*Заклинаніе*), или Фета (хотя бы въ приведенныхъ здѣсь стихотвореніяхъ) или Байрона (*явленіе Альпу призрака Франчески въ Каринеской невестѣ*). У Пушкина —

это страстный порывъ души, жаждущей разорвать завѣсу, скрывающую вѣчность:

Явись возлюбленная тѣнь
Какъ ты была передъ разлукой,
Блѣдна, холодна, какъ зимній день,
Искажена послѣдней мукой.
Явись какъ дальняя звѣзда,
Какъ легкій звукъ, иль дуновение,
Иль какъ ужасное видѣнье,
Мнѣ все равно: сюда, сюда...

Здѣсь напряженное чувство мистическаго обожанія, ничего не боящагося и не передъ чѣмъ не останавливающагося. У Фета — тягостное раздумье передъ погасшею на вѣки тайной. Читая Байрона, вы испытываете какой-то замораживающій сердце ужасъ какъ ночью на пустынномъ кладбищѣ; вы чувствуете эту призрачную натуру привидѣнія, вы чувствуете какъ бы уже физически прикосновеніе этихъ длинныхъ, мраморно-бѣлыхъ перстовъ, пронзительный холодъ этого прикосновенія; у Полонскаго вы тоже чувствуете этотъ призракъ, — но страхъ наводимый этимъ *кроткимъ* привидѣніемъ совсѣмъ особаго характера. Это не тотъ страхъ, который „власы подъемлетъ“, это страхъ, который хотѣлось бы продлить, это кроткое привидѣніе, съ которымъ жаль разстаться...

И въ то же время то таинственное, мистическое, что порой охватываетъ душу человѣческую, передано здѣсь съ поразительною искренностію и поразительною правдивостію впечатлѣнія:

Тихо плачешь, — тихо дышишь
И дышать мѣшаетъ мнѣ...

Это простодушіе, это какая-то кроткая покорность передъ жизнью, соединенная съ необыкновенною правдивостію впечатлѣній, даютъ окраску лучшимъ произведеніямъ Полонскаго. Состояніе души бурной и мятежной ему непонятно. Когда они проникаютъ въ чужую душу, онъ ищетъ тамъ сродное себѣ, ищетъ этой кроткой покорности и наивной, „любезной“, по выраженію Тургенева, правдивости впечатлѣній. Приведу одно стихотвореніе, которое пояснитъ нашу мысль, тѣмъ болѣе, что въ немъ изображается состояніе

женской души. Это стихотвореніе называется *Колокольчикъ*.
Вотъ оно:

Улеглася метелица; путь озарень...
Ночь глядитъ миллионами тусклыхъ очей.
Погружай меня въ сонъ колокольчика звонъ,
Выноси меня тройка усталыхъ коней!
Мутный дымъ облаковъ и холодная даль.
Начинаютъ яснѣть; бѣлый призракъ луны
Смотритъ въ душу мою и былую печаль
 Паряжаетъ въ забытые сны.
То вдругъ слышится мнѣ, — страстный голосъ поетъ,
 Съ колокольчикомъ дружно звеня:
„Ахъ, когда-то, когда-то мой милый придетъ,
 Отдохнуть на груди у меня!
У меня ли не жизнь! Чуть заря на стеклѣ
Начинаетъ лучами съ морозовъ играть,
Самоваръ мой кипитъ на дубовомъ столѣ,
И трещитъ моя печь, озаря въ углѣ
За цвѣтной занавѣской кровать...
У меня ли не жизнь! Ночью ль ставень открыть, —
По стѣнѣ бродитъ мѣсяца лучъ золотой;
Забушуетъ ли вьюга, — лампада горитъ,
И, когда я дремлю, мое сердце не спитъ,
 Все по немъ изнывая тоской!“
То вдругъ слышится мнѣ, — тотъ же голосъ поетъ,
 Съ колокольчикомъ грустно звеня:
Гдѣ-то старый мой другъ? я боюсь онъ войдетъ
 И, ласкаясь, обниметъ меня!
Что за жизнь у меня! И тѣсна, и темна,
И скучна моя горница; дуетъ въ окно...
За окошкомъ растетъ только вишня одна,
Да и та за промерзлымъ стекломъ не видна
 И, быть-можетъ, погибла давно...
Что за жизнь! Полинялъ пестрый полога цвѣтъ,
Я больная брожу и не ѣду къ роднымъ;
Побранить меня некому, — милаго нѣтъ...
Лишь старуха ворчитъ, какъ приходитъ сосѣдь,
Оттого что мнѣ весело съ нимъ...

Кто не оцѣнитъ необыкновенной простоты этого стихотворенія, соединенной съ изяществомъ, этой виртуозной простоты, кто не оцѣнитъ этого поэтического изображенія русской природы, русскаго быта — тому, конечно, не доступна поэзія, да и душа у него не русская. Но обратимъ вниманіе на изображеніе душевной жизни. Сколько въ душевной жизни этой женщины милаго, капризно-дѣтскаго

и наивно-дѣтскаго, сколько здѣсь кроткаго и простодушнаго въ самомъ этомъ дѣтски-капризномъ...

Я больная брожу и не ѣду къ роднымъ,
Побранить меня некому — милого нѣтъ...

Вотъ подобныя-то настроенія, столь сродныя его душѣ, никто не передаетъ такъ, какъ Полонскій въ своей поэзіи. И, несмотря на его *западничество*, въ подобныхъ стихотвореніяхъ вы чувствуете русскую душу, чувствуете живое вѣяніе этой души, весь ея особенный складъ — простой, просто-душной, чувствуете душу, которая невольно отвращается отъ всего искусственнаго, приподнятаго, изломаннаго.. Полонскій — поэтъ чистымъ сердцемъ, поэтъ простыхъ душъ, не мудрашихъ надъ жизнью, а воспринимающихъ ее такою какою она есть, и какъ она выражается своею поэтическою стороною. И вотъ почему тамъ, гдѣ онъ измѣняетъ себѣ, своему природному настроенію, гдѣ онъ пытается не воспринимать съ наивнымъ простодушіемъ поэзію жизни, а пытается проникнуть въ ея тайну, тамъ тотчасъ же онъ становится искусственнымъ, впадаетъ въ приподнятый тонъ, такъ не идущій къ нему. Ни мрачное отчаяніе Байрона, ни глубокая, глубоко затаенная грусть Пушкина, претворившая въ себѣ все — и отчаяніе, и ненависть, и отрицаніе, и негодованіе, ни тягостное, просвѣтленное поэзіей раздумье Фета, — ни одно изъ этихъ настроеній нейсвойственно душѣ Полонскаго. И въ своихъ любовныхъ стихотвореніяхъ, переходя отъ воспѣванія зарождающагося чувства, утѣхъ любви къ воспоминаніямъ о томъ, что было и не вернется, что навсегда потухло, онъ остается съ тѣмъ же настроеніемъ покорной грусти, изъ которой находитъ выходъ въ *несбыточномъ*. Какъ и всѣ истинные поэты, онъ знаетъ и чувствуетъ, что здѣсь на землѣ есть только греза счастья, греза, которая уходитъ, оставивъ неизгладимый слѣдъ въ душѣ, но онъ не зоветъ эту грезу назадъ, какъ Огаревъ, у него нѣтъ той муки, какъ у Фета („всю погасшую тайну хотѣлъ и прочесть“) — муки, разрѣшающейся застывшею скорбью (припомнимъ стихотвореніе *Въ тиши и мракъ таинственной ночи*). Заключительный и разрѣшающій аккордъ любовныхъ стихотвореній Полонскаго — его дивное стихотвореніе *Зимняя невѣста*, гдѣ нѣтъ ни плача о „мечтѣ несбывша-

гося сна“ ни тяжелой грусти, гдѣ и самая эта „мечта несбывшагося сна“ разрѣшается въ фантастической грезѣ, въ сказочномъ мірѣ, который одинъ кажется поэту настоящей, необманчивою, непризрачною дѣйствительностью.

Во всемірной поэзіи можно замѣтить довольно странное, на первый взглядъ, явленіе: эта поэзія не воспѣваетъ счастливой любви. Я говорю о поэтахъ первоклассныхъ, о поэтахъ значительныхъ — объ истинныхъ поэтахъ. Эта поэзія воспѣваетъ зарождающуюся любовь, рѣдко — раздѣленную любовь, но любовь, продолжающуюся всю жизнь, она не воспѣваетъ и не потому, что не вѣритъ возможности такой любви, а потому что этой поэзіи мнится, что такая любовь не можетъ разцвѣсть совершенно здѣсь, на землѣ, и непременно обо что-нибудь сокрушится. Посмотрите у Шекспира, какова судьба Ромео и Юліи, Гамлета и Офеліи — и такая судьба, въ прозрѣніи поэта, вовсе не случайность, ибо еслибы эта судьба была случайною, то объ трагедіи Шекспира потеряли бы смыслъ, такъ какъ въ поэзіи нѣтъ мѣста ничему случайному. У Пушкина мы видимъ то же самое: предъ нами судьба Татьяны, женщины способной къ истинной, глубокой любви, — и несчастной, покорно несущей крестъ свой; и въ томъ же *Евгеніи Онегинѣ* предъ нами судьба Ольги, недавно еще невѣсты погибшаго на дуэли Ленскаго:

Мой бѣдный Ленскій! изнывая
Не долго плакала она.
Увы! Невѣста молодая,
Своей печали не вѣрна.
Другой увлекъ ея вниманье,
Другой умѣлъ ея страданье
Любовной лестью усыпить —
Уланъ умѣлъ ее плѣнить,
Уланъ любимъ ея душою...
И вотъ, ужъ съ нимъ предъ алтаремъ
Она стыдливо подъ вѣнцомъ
Стоитъ съ поникшей головою,
Съ огнемъ въ потупленныхъ очахъ,
Съ улыбкой легкой на устахъ...

„Такимъ образомъ, наступило „счастье“ для Ольги, — но посмотрите, съ какимъ добродушнымъ юморомъ относится Пушкинъ къ этому „счастью“. Съ уланомъ своимъ Ольга, *безъ сомнѣнія*, превосходно уживется, если онъ не слишкомъ

дурного характера, и будетъ — „вѣрная супруга и добродѣтельная мать“. Ужилась бы она такъ же и съ Ленскимъ, хотя онъ пѣлъ „нѣчто и туманну даль“, — но это ничему не мѣшаетъ, ибо есть всего только дань юности. Это предвидитъ и Пушкинъ:

А можетъ быть и то: поэта
Обыкновенный ждалъ удѣлъ.
Прошли бы юношески лѣта,
Въ немъ пыль души бы охладѣла;
Во многомъ онъ бы измѣнился,
Разстался бъ съ музами, женился;
Въ деревнѣ, счастливъ и рогать,
Носилъ бы стеганный халатъ:
Узнать бы жизнь на самомъ дѣлѣ,
Подагру-бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ,
Пилъ, ѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ,
И, наконецъ, въ своей постели
Скончался бъ посреди дѣтей,
Пласивыхъ бабъ и лѣкарей...

Итакъ, Ольга будетъ счастлива, — но вѣдь это не то счастье, о которомъ говорятъ поэты. Имъ кажется, что того счастья, которое грезится имъ, нѣтъ вовсе, что оно какъ-то всегда прерывается въ самомъ зародышѣ. Это говорятъ поэты своими произведеніями, это говорятъ они и прямо, ясно и опредѣленно, какъ сказалъ нашъ Пушкинъ:

Пора, мой другъ, пора. Покоя сердце просить,
Летятъ за днями дни и каждый день уносить
Частицу бытія: а мы съ тобой вдвоемъ
Располагаемъ жить. *И глядь — все прахъ, умремъ!*
На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля.

На этомъ сознаніи и основано то высокое, какъ бы уже религиозное „примиреніе“ съ жизнью, которое мы находили въ зрѣлыхъ произведеніяхъ Пушкина и смыслъ котораго выраженъ имъ въ этихъ строфахъ:

Мой путь унылъ. Сулить мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать
Я жить хочу, *чтобъ мыслить и страдать...*

Гѣте, въ тѣхъ произведеніяхъ, гдѣ онъ является великимъ поэтомъ, такъ же точно не вѣрять въ счастье здѣсь, на землѣ. Гдѣ-то, кажется въ *Поэзии и Правдѣ*, онъ говорить

что во всю жизнь можетъ быть одну минуту былъ счастливъ А исторія Фауста и Гретхенъ — этотъ перлъ Гётевской поэзіи? Опять, вѣдь это не *случайное*, напротивъ, это именно то, что всегда *прибываетъ*, старая и вѣчно новая исторія: разыгратъся она можетъ и иначе, но смыслъ ея все тотъ же, какъ тогда, такъ и теперь.

Припомнимъ еще одного великаго поэта — Сервантеса. Онъ дѣйствительно изобразилъ намъ это счастье... въ любви Донъ-Кихота къ Дульциней Тобозской. Что изъ того, что она была скотницей, если рыцарю печальнаго образа она казалась принцессой? Но увы, и здѣсь счастье оказывается недолговѣчнымъ. Какъ только Донъ-Кихоть превратился въ „Алонзо Добраго“, онъ тотчасъ же увидѣлъ, что Дульцинея вовсе не Дульцинея, а скотница... Намъ можетъ быть сказать, что въ нашей литературѣ есть изображеніе этого счастья любви на всю жизнь и укажутъ на Наташу въ *Войнѣ и мирѣ*. Конечно, въ этомъ образѣ есть много обаятельнаго, но вѣдь это не Юлія, не Офелія, не Гретхенъ, не Татьяна (припомнимъ хотя бы романъ Наташи и Анатоля Курагина) и если представимъ эту Наташу женой Пушкина, то онъ вѣрно и ей сказалъ бы то же, что сказалъ своей женѣ:

На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля...

Шопенгауэръ въ своей *Метафизикѣ любви* касается и этого вопроса. Онъ, сказавъ, что любовь „всюду является демономъ производящимъ гибель и разрушеніе“, — спрашиваетъ: „отчего этотъ шумъ, этотъ страхъ, эта забота и смятеніе? Вѣдь дѣло, *повидимому*, идетъ лишь о томъ, что какому-нибудь Ивану пригласилась какая-нибудь Марья или Матрена“.

Въ подстрочномъ примѣчаніи Шопенгауэръ говоритъ: „я не смѣю выражаться, что называется, на чистоту и потому пусть благосклонные читатели сами переведутъ эту фразу на аристофановскій языкъ“.

Всѣмъ извѣстно, какъ Шопенгауэръ отвѣчалъ на свой вопросъ: эти „шумъ и смятеніе“, какъ онъ выражается, происходятъ вслѣдствіе борьбы „генія рода“, преслѣдующаго свои родовыя цѣли, и желающаго къ нимъ направить любовь, съ желаніями и требованіями индивидуума. Это поло-

женіе знаменитый философъ развиваетъ на нѣсколькихъ страницахъ, съ чрезвычайнымъ остроуміемъ, иллюстрируя свои разсужденія множествомъ примѣровъ. Но — остроуміе остается остроуміемъ, а противорѣчія остаются противорѣчіями — и съ точки зрѣнія Шопенгауэра, очень вѣрно объясняющаго любовныя отношенія множества людей, никакъ нельзя понять исторію Ромео и Юліи, Гамлета и Офеліи, Фауста и Гретхенъ. И замѣчательно, что, приводя много примѣровъ, онъ обходитъ *именно эти*. Почему „генію рода“ понадобилось разъединить Ромео и Юлію, Гамлета и Офелію, зачѣмъ „генію рода“ понадобилось преступленіе Гретхенъ — это остается непонятнымъ.

Такимъ образомъ, мы снова остаемся при той же загадкѣ. Поэзія же показываетъ намъ лишь одно: что стремленіе къ счастью неосуществимому здѣсь, на землѣ, всегда оканчивается печально. То же самое говоритъ намъ и поэзія Полонскаго — эта простодушная поэзія, поэзія наивныхъ сердцемъ и простыхъ душъ не мудрящихъ надъ жизнью, а воспринимающихъ ее такъ, какъ она выражается своею поэтическою стороною. Мы знаемъ его стихотворенія, въ которыхъ воспѣваются первые проблески чувства и потомъ счастливая, раздѣленная любовь: какая тутъ наивная вѣра въ жизнь и наивная вѣра въ любовь! Эту вѣру можетъ пополебать только что-нибудь неотразимо убѣдительное, эта вѣра столь наивна, что уже и имѣя въ душѣ это неотразимо-убѣдительное, онъ все еще *не понимаетъ*:

Я читаю книгу пѣсенъ:
Рай любви — змѣя любовь,
Ничего не понимаю,
Перечитываю вновь...

И лишь неотразимо-убѣдительное, что заняло мѣсто въ глубинѣ души — убѣждаетъ:

...книгу заслонила	За плечомъ — и въ тишинѣ
<i>Чья-то мертвая рука...</i>	Тихо плачетъ, тихо дышитъ
...чья-то тѣнь поникла	<i>И дышать мѣшаетъ мнѣ...</i>

Наивную вѣру побуждаетъ та необыкновенная *правдивость впечатлѣній*, которая, какъ мы уже говорили, составляетъ характерную черту поэзіи Полонскаго... Стихотвореніе *Я читаю книгу пѣсенъ* имѣетъ какъ бы свою прелюдію въ дру-

гомъ, ранѣ написанномъ, прелестномъ стихотвореніи — *Послѣдній вздохъ*. Вотъ оно:

Подѣлуй меня...	Какъ мертвецъ глядѣлъ...
Моя грудь въ огнѣ...	Я склонилъ мой слухъ...
Я еще люблю...	Но увы! мой другъ,
Наклонись ко мнѣ...	Твой послѣдній вздохъ
Такъ въ прощальный часъ,	Мнѣ любви твоей
Лепеталъ и гасъ	Досказать не могъ.
Тихій голосъ твой,	И не знаю я,
Словно тающій	Чѣмъ развяжется
Въ глубинѣ души	Эта жизнь моя!
Догорающей.	Гдѣ доскажется
Я дышать не смѣлъ, —	Мнѣ любовь твоя!
Я въ лицо твое,	

Вотъ поэзія простодушныхъ до наивности, но глубоко-поэтическихъ впечатлѣній. Впечатлѣнія эти неотразимы своею необыкновенною правдивостью: въ нихъ нѣтъ ничего приподнятаго, ходульнаго, изломанно-нервнаго, того, что необходимо должно отпасть, какъ безсознательная душевная ложь; но наивную вѣру въ жизнь смѣняетъ наивный же вопросъ:

И не знаю я,
Чѣмъ развяжется
Эта жизнь моя!

Должно явиться исканіе исхода изъ этого страннаго душевнаго состоянія, изъ этого какого-то страннаго изумленія, когда человѣкъ только еще изумленно оглядывается и спрашиваетъ...

Гдѣ доскажется
Мнѣ любовь твоя!

Надо чему-то „досказаться“, что-то осталось, и осталось самое главное, самое важное — осталась какая-то неразрѣшенная печаль. Пока — это только *впечатлѣніе*, —

Но, какъ вино, — печаль минувшихъ дней,
Въ моей душѣ чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй...

Эта нарастающая печаль разрѣшается въ поэзіи Полонскаго другимъ впечатлѣніемъ же:

...чья-то тѣнь поникла
За плечомъ — и въ тишинѣ
Тихо плачетъ, тихо дышитъ,
И дышать мѣшаетъ мнѣ...

Что-то было и навсегда потухло, осталось одно это кроткое привидѣніе — призракъ несбыточнаго счастья. И вотъ —

Отчего былая радость
Безотраднa какъ печаль	Непонятное блаженство,
.....	Непонятная тоска!...

Поэтъ покоряется этой непонятной тоскѣ — „въ моей душѣ проклятій нѣтъ“, говорить онъ — и ищетъ исхода этой тоскѣ въ несбыточномъ. И раньше это несбыточное, этотъ сказочный міръ плѣнялъ его — еще между юношескими его произведеніями есть превосходное стихотвореніе *Зимній путь*, въ которомъ выражена именно эта тоска о несбыточномъ:

Ночь холодная мутно глядитъ
Подъ рогожу кибитки моей;
Подъ полозьями поле скрипитъ,
Подъ дугой колокольчикъ гремитъ,
А ямщикъ погоняетъ коней.
За горами, лѣсами, въ дыму облаковъ,
Свѣтитъ пасмурный призракъ луны;
Вой протяжный голодныхъ волковъ
Раздается въ туманѣ дремучихъ лѣсовъ...
Мнѣ мерещатся странные сны.
Мнѣ все чудится, будто скамейка стоитъ,
На скамейкѣ старуха сидитъ —
До полуночи пряжу прядетъ,
Мнѣ любимыя сказки мои говорить,
Колыбельныя пѣсни поеть.
И я вижу во снѣ, какъ на волкѣ верхомъ
Бду я по тропинкѣ лѣсной
Воевать съ чародѣемъ-царемъ
Въ ту страну, гдѣ царевна сидитъ подѣ замкомъ,
Изнывая за крѣпкой стѣной.
Тамъ стеклянный дворецъ окружаютъ сады;
Тамъ жаръ-птицы поютъ по ночамъ
И клюютъ золотые плоды;
Тамъ журчитъ ключъ живой и ключъ мертвой воды...
И не вѣришь и вѣришь очамъ!
А холодная ночь такъ же мутно глядитъ
Подъ рогожу кибитки моей;
Подъ полозьями поле скрипитъ,
Подъ дугой колокольчикъ гремитъ,
И ямщикъ погоняетъ коней.

Въ тоскѣ по несбыточномъ, выраженной въ этомъ стихотвореніи, какъ бы уже слышится предчувствіе того, что въ

жизни, въ мірѣ явленій, душа поэта не найдетъ удовлетво-
ренія, что существуетъ какая-то странная дисгармонія между
порывами души и жизнью — и когда эта дисгармонія обна-
руживается со всею силой, когда грезы любви, счастья раз-
биваются одна за другой, тамъ, въ несбыточномъ, въ ска-
зочномъ мірѣ, въ мірѣ безбрежной фантазіи находитъ поэтъ
разрѣшеніе этой дисгармоніи и исходъ своей тоскѣ. Онъ
создаетъ дивное стихотвореніе *Зимняя невѣста*. Вотъ оно:

Весь въ пыли ночной метели,
Бѣлый вихрь изъ полутьмы
Порываясь, льнетъ къ постели
Бабушки-зимы.

Складки полога надъ нею
Шевелить, задувъ огни,
И поетъ ей: вѣю-вѣю!

Бабушка, засни!

То не вопли, то не стоны, —
То бубенчики звенять,
То малиновые звоны

По вѣтру летятъ...

То не духи въ гнѣвѣ рьяномъ
Поднимаютъ снѣгъ столбомъ,
То несутся кони съ пыльнымъ,

Соннымъ ямщикомъ;

То не къ бабушкѣ-старушкѣ
Скачетъ внучикъ молодой,
Прикорнута къ ея подушкѣ

Буйной головой;

То не къ матушкѣ въ усадьбу
Сынъ летитъ на подставныхъ, —
Скачетъ къ дѣвицѣ на свадьбу
Удалой женихъ.

Какъ онъ бѣсится, какъ пла-
четъ!

Видно молодъ, — не въ тер-
пежъ!...

Тройка медленнѣе скачетъ...

Пробираетъ дрожь...

Очи мглою застилаетъ, —

Ни дороги ни версты

Только вѣтеръ развѣваетъ

Гривы да хвосты.

И зачѣмъ спѣшитъ онъ къ
мѣсту?

У меня ли не ночлегъ?

Я совью ему невѣсту

Блѣдную, какъ снѣгъ.

Прихвачу летучій локонъ

Я вѣнкомъ изъ бѣлыхъ розъ,

Что растить по стекламъ оконъ

Утренній морозъ;

Грудь и плечи облеку я

Тканью легкой, какъ туманъ,

И невѣсты, чуть дохну я,

Всколыхнется станъ, —

Вспыхнутъ искристымъ мер-
цаемъ

Влажно темные глаза...

И — лобзанье за лобзаньемъ...

Скатится слеза!...

Ледяное сердце будетъ

Къ сердцу пламенному льнуть...

Позабывшись, онъ забудетъ

Заметенный путь...

И глядѣть ей будетъ въ очи

Нескончаемые дни,

Нескончаемая ночь...

Бабушка засни!...

Вотъ по истинѣ чудное стихотвореніе, одинъ изъ перловъ
поэзіи вообще и одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ алмазовъ въ
поэтическомъ вѣнцѣ Полонскаго. Къ этому стихотворенію
примѣнимы стихи Шиллера:

Одинъ лишь звукъ убавъ въ гармоніи чудесной,

Одинъ лишь цвѣтъ возьми у радуги небесной —

Что значить звукъ одинъ, и что единый цвѣтъ?
Но нѣтъ гармоніи и радуги ужъ нѣтъ...

Въ *Зимней. невестѣ* именно это и есть: форма и содержаніе такъ слиты, что ихъ разъединить нельзя, не уничтоживши всего. Въ этомъ стихотвореніи русская природа, русскій бытъ, русскій сказочный міръ — все это претворено въ чистое золото поэзіи; въ этомъ стихотвореніи поэтичность изображенія совершенно сливается съ настроеніемъ, а изумительная энергія рѣчи со свободой стиха, съ необыкновеннымъ чувствомъ мѣры. И въ то же время, по какой-то своей кристалльной прозрачности вся картина подобна видѣнью, которое вотъ-вотъ исчезнетъ, истаетъ въ туманѣ:

Мигъ еще — и нѣтъ волшебной сказки,
И душа опять полна возможнымъ...

Вотъ отъ этого-то „возможнаго“ душа поэта и уходитъ въ міръ „волшебной сказки“ и силой своего поэтического дара онъ эту волшебную сказку обращаетъ для насъ въ дѣйствительность, въ ту поэтическую дѣйствительность, среди которой, говоря словами Фета, „легко жить и дышать не больно“...

Вотъ какимъ поэтическимъ, чуднымъ аккордомъ заключаются любовныя стихотворенія Полонскаго, — аккордомъ, въ которомъ съ такою силой, энергіей и страстностью выразилась жажда безконечной любви, безконечнаго обожанія, безконечнаго счастья...

Въ драматической поэмі гѣрафа А. Толстого *Донъ-Жуанъ* Сатана придумываетъ способъ погубить героя этой поэмы, именно схватившись за то стремленіе къ идеалу, къ безконечному счастью, которое живетъ въ душѣ Донъ-Жуана. И Сатана рассказываетъ, какой пытке на всю жизнь онъ предастъ его:

Когда жъ захочетъ онъ моимъ огнемъ палимъ,
Въ объятіяхъ любви найти себѣ блаженство,
Исчезнетъ для него видѣнье совершенства,
И женщина, какъ есть, появится предъ нимъ.
И пусть онъ бѣсится. Пусть ловить съ вѣчною жадой
Все новый идеалъ въ объятіяхъ дѣвы каждой!
Такъ съ волей пламенной, съ упорствомъ на челѣ,
Съ отчаяньемъ въ груди, со страстію во взорѣ,
Небесное Жуанъ пусть ищетъ на землѣ
И въ каждомъ торжествѣ себѣ готовитъ горе!...

Только въ чувствѣ религиозномъ и поэтическомъ можно найти выходъ изъ этихъ сѣтей Сатаны — и поэзія находитъ этотъ исходъ, ибо истинная поэзія всегда „прозрачается“ жизнь *въ ея цѣломъ*, въ совокупности земного и небеснаго, и это небесное находитъ въ поэтической мечтѣ, въ просвѣтлѣніи жизни этою мечтой. И поэты вѣрятъ, что все минетъ, а ихъ поэтическая мечта останется, и люди, утомленные дѣйствительностью, этимъ пестрымъ мельканіемъ китайскихъ тѣней, всегда будутъ искать истинной жизни сердца въ этой поэтической мечтѣ...

Почти всѣ поэты въ стихахъ своихъ говорили о поэзіи, о своей „музѣ“, о томъ, въ чемъ они видятъ значеніе поэзіи и поэта. Говорить объ этомъ и Полонскій. И то, что онъ говоритъ о своей „музѣ“, совершенно подтверждаетъ ранѣе высказанныя нами мысли объ его поэзіи. Его поэзія — поэзія простыхъ душъ и чистыхъ сердецъ, и прибавимъ, поэзія наивныхъ впечатлѣній. Гдѣ онъ выходитъ изъ круга такихъ впечатлѣній, гдѣ онъ философствуетъ, тамъ онъ перестаетъ быть поэтомъ. Склонность же философствовать объясняется въ немъ очень просто: вѣдь онъ московскій студентъ сороковыхъ годовъ, временъ Грановскаго и Станкевича, времени философскихъ кружковъ, въ которыхъ, среди „всенощныхъ“ споровъ, каждый параграфъ *Эстетики* или *Логик* Гегеля брался съ бою, когда, по словамъ Герцена, „зачитывались до дыръ и до паденія листовъ“ ничтожныя философскія брошюры, выходившія „въ разныхъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ Германіи“. Это благоговѣніе къ философіи у Полонскаго осталось навсегда. Между тѣмъ по природѣ онъ вовсе не имѣетъ склонности къ философствованію; эта склонность у него — не развитая кружками сороковыхъ годовъ, природная склонность, а приобрѣтенная въ этихъ кружкахъ привычка. Я не хочу сказать этимъ, что область, которую мы называемъ философскою, закрыта для поэзіи Полонскаго. Вовсе нѣтъ. Но онъ тогда силенъ здѣсь, когда эта область отражается въ наивныхъ его впечатлѣніяхъ, а не тогда, когда онъ подходитъ къ ней съ раздумьемъ; *его* философское раздумье не претворяется въ поэзію, какъ оно претворяется у Пушкина, у Шекспира, у Байрона, у Фета. Но когда область философская отражается въ его наивныхъ впечатлѣніяхъ, тогда онъ даетъ намъ неподражаемую поэзію...

Есть у него стихотвореніе *Тишь и мракъ* (это стихотвореніе находится среди нѣсколькихъ другихъ, имѣющихъ общее заглавіе *Сны*). По темѣ, по той области фантастичнаго, которая отразилась въ немъ, оно очень подходитъ къ *Тѣмъ* Байрона и къ стихотворенію Гейне *Сумерки боговъ*. Какъ у Байрона, какъ у Гейне, такъ и у Полонскаго въ фантастической грезѣ изображается одно и то же, изображается какъ —

Шатнулись основы міровыя,
И дрогнули и небо и земля,
И наступила тьма предвѣчной ночи.

Всѣмъ памятна *Тьма*, Байрона — эта грандіозная, какая-то апокалипсическая фантазія, всѣмъ памятна и *Сумерки боговъ* — фантазія, быть можетъ, еще болѣе грандіозная во второй половинѣ стихотворенія, а въ первой — проникнутая мрачною, и тѣмъ болѣе страшною ироніей, что этой ироніи приданъ колоритъ зловѣщей шутливости*). И у Байрона, и у Гейне оба эти стихотворенія есть плодъ глубокаго и мучительнаго философскаго раздумья, претвореннаго въ поэзію. У Полонскаго стихотвореніе *Тишь и Мракъ* есть какъ бы неожиданное и страшное для самого поэта *впечатлѣніе*, которое, выйдя изъ тайниковъ души его, прошло передъ нимъ какъ таинственное, замораживающее въ жилахъ кровь привидѣніе, чтобы исчезнуть при первомъ блескѣ зари... Байронъ начинаетъ свою *Тьму* многозначительными словами: „Мнѣ снился сонъ... но то былъ не совѣстный сонъ“. Гейне описываетъ въ своихъ *Сумеркахъ* разрушеніе міра такъ, какъ будто онъ самъ его видитъ. У Полонскаго — это дѣйствительно только сонъ, тяжелый комшаръ, но сонъ многозначительный, въ которомъ сказались тайныя, въ недоступной глубинѣ скрытыя предчувствія и прозрѣнія души... И стихотвореніе Полонскаго производитъ неотразимое впечатлѣніе, — впечатлѣніе той наводящей оторопь таинственности, которой нѣтъ въ стихотвореніяхъ Байрона и Гейне. Вотъ это стихотвореніе:

Я спалъ — и гнетущаго страха
Волненье хотѣлъ превозмочь, —

*) Въ этомъ своемъ стихотвореніи (второй половинѣ) Гейне хотѣлъ аллегорически изобразить первую французскую революцію; но главный его смыслъ — есть прямой смыслъ, то-есть изображеніе разрушенія міра. Аллегорія отпадетъ, а съ этимъ, прямымъ своимъ смысломъ, стихотвореніе навсегда останется во всемірной поэзіи.

И видѣлъ я сонъ, *будто сътѣтъ*
Какая-то странная ночь:

Дымясь, неподвижныя звѣзды
Въ эфирѣ горять, какъ смола,
И запахомъ ладана сильно
Ночная пропитана мгла.

И мѣсяцъ холодный, какъ будто
Мертвецъ, посреди облаковъ
Стоитъ надъ долиной, покрытой
Рядами могильныхъ холмовъ.

Недвижно поникли деревья;
Далеко стоятъ тишина:
Природа какъ будто не дышитъ
Въ объятіяхъ мертваго сна.

И весь я вниманье, — и сердцемъ
Далеко я въ ночь уношусь,
И жду хоть одинаго звука, —
И крикнуть хочу, и — боюсь!

И вдругъ, *съ легкимъ трескомъ все небо*
Подвинулось, — звѣзды текутъ,
И катится мѣсяцъ, какъ будто
На немъ гробъ тяжелый везуть.

И темныя тучи печальнымъ
Надъ нимъ балдахиномъ висятъ,
И красныя звѣзды, какъ свѣчи,
Повитыя крепомъ, горятъ.

И катится мѣсяцъ все дальше
И дальше въ бездонную ночь,
И звѣзды за нимъ въ безконечность
Уходятъ изъ глазъ моихъ прочь...

Ихъ слѣдъ, какъ дымокъ отъ фосфора,
Какъ облачко, въ черной дали
Расплылся, — и мракъ непроглядный
Одѣлъ мертвый черепъ земли.

И сталъ я блуждать въ этомъ мракѣ
Одинъ, какъ слѣпецъ. *Не ночной,* —
Могильный былъ мракъ, и повсюду
Была тишина и покой.

Такой былъ покой и такая
Была тишина, что — листокъ
Въ лѣсу покачнись или капля
Скатись, — я услышать бы могъ.

То весь замиралъ я и долго
Стоялъ неподвижно; то билъ
Я въ землю ногами, не видя
Ни ногъ ни земли, то ходилъ, —

Кружась, какъ помѣшанный, — падаль,
Лежалъ, самъ съ собой говорилъ,
Вставалъ, щупалъ воздухъ руками
И вдругъ — чью-то руку схватилъ...

И мигомъ я понялъ, что это
Была не мужская рука:
У ней были нѣжные пальцы,
Она была стройно легка.

И такъ эту руку схватилъ я,
Какъ будто добычу поймавъ, —
И такъ я былъ радъ, что, казалось,
На время дышать пересталъ.

„Ага! не одинъ я, — не всѣ мы
Пропали!“ я думалъ, „есть грудь
Другая, которая можетъ
И закричать и вздохнуть“.

„О, кто ты?“ шепталъ я, „хоть слово
Скажи мнѣ, хоть слово! и мнѣ
Оно будетъ музыкой въ этой
Могильной, нѣмой тишинѣ...“

„Откуда ты шла? Гдѣ застигла
Тебя эта тьма? — Говори!
Мнѣ звуки рѣчей твоихъ будутъ
Сіяніемъ новой зари“.

Молчанье, — молчанье; ни слова
Ни вздоха... Одна лишь рука
Незримая руку мнѣ жала
И трепетала слегка.

Напрасно порывисто, жадно
Уста я устами ловилъ,
Напрасно лобзалъ ее въ очи
И плечи слезами кропилъ.

Она предавала все тѣло
Мучительнымъ ласкамъ моимъ,
А я, — я шепталъ: „умоляю,
Порадуй хоть словомъ однимъ“.

Молчанье, молчанье — и вотъ ужъ
Я самъ пересталъ говорить,

И помню, во снѣ ,какъ безумецъ,
Готовъ былъ ее укусить!

Но въ эту минуту, рѣанувшись,
Какъ змѣй, ускользнула она,
И стало опять: *мракъ во мракъ*
И въ тишинѣ — тишина...

Съ простертыми долго руками
Ходилъ я, рыдая, стена,
Шатаясь — *и тѣмъ обнималъ я,*
И тѣмъ обнимала меня.

Спокнувшись на что-то, я поднялъ
Какую-то книгу, — раскрылъ
Страницы и легъ съ ней на землю,
И лбомъ къ ней припалъ, — и застылъ.

Изъ книги, мнѣ чудилось, буквы
Всплывали, — и ярче огня
Сверкали и въ жгучія строки
Слагались въ мозгу у меня.

И страшныя мысли читалъ я
Въ невидимой книгѣ, — какъ вдругъ
На словъ „проклятье“ очнулся —
И оглянулся вокругъ. —

О, Боже мой! гдѣ я? — Сквозь щели
Затворенныхъ ставенъ сквозятъ
Лучи золотые! то солнца
Глаза золотые глядятъ.

Глядятъ и смѣются, — и сердце
Очнулось и, жизни привѣтъ
Почуя, выиграло, какъ будто
Впервые увидѣло свѣтъ...

Тургеневъ въ своемъ *Письмѣ*, о которомъ мы упоминали, указавъ на это стихотвореніе Полонскаго, сказалъ только, что оно поражаетъ „своеобразною, до странности смѣлою фантазіей“. Въ небольшомъ письмѣ Тургеневъ, конечно, и не могъ вдаваться въ подробности. На *Тишь и мракъ* онъ указалъ только какъ на одно изъ лучшихъ стихотвореній Полонскаго, противопоставляя, между другими, и это стихотвореніе его слабымъ произведеніемъ, слабость которыхъ заключается „въ подчиненіи тому, что называется высшими философскими взглядами“. Въ самомъ дѣлѣ, какъ мы уже *сказали*, здѣсь нѣтъ раздумья о загадкѣ міра и его судьбахъ,

здѣсь есть только ужасающее *впечатлѣніе*, какъ бы навсегда остановленное силой поэтической фантазіи. Но это впечатлѣніе, пожалуй, страшнѣе, пожалуй, болѣе взволнуетъ, скорѣе прерветъ дыханіе слушателя, нежели раздумье Байрона и Гейне, претворенное въ поэзію. Страшную картину оканчивается *Тьма* Байрона:

. Такъ постепенно
Всѣхъ голодъ истребилъ; лишь двое гражданъ
Столицы пышной — нѣкогда враговъ —
Въ живыхъ остались... Встрѣтились они
У гаснущихъ остаткахъ алтаря,
Гдѣ много было собрано вещей
Святыхъ.
Холодными, костлявыми руками,
Дрожа, вскопали золу... огонекъ
Подъ слабымъ дуновеньемъ вспыхнулъ слабо,
Какъ бы въ насмѣшку имъ; когда же стало
Свѣтлѣе, оба подняли глаза,
Взглянули, вскрикнули, и тутъ же вмѣстѣ
Отъ ужаса взаимнаго, внезапно
Упали мертвыми.
. И міръ былъ пустъ...

Величественнымъ и трагическимъ аккордомъ заключаются
Сумерки Гейне:

Шатнулись основы міровыя,
И дрогнули и небо и земля,
И воцарилась тьма предвѣчной ночи...

Но у Полонскаго, повторяю, есть та жуткая таинственность, какой нѣтъ у Байрона и Гейне. Тутъ — не „шатнулись основы міровыя“ и какъ будто все „перешло“ — перешло въ какомъ-то тихомъ, странномъ и страшномъ движеніи: „съ легкимъ трескомъ все небо подвинулось“ — и все скатилось медленно „въ бездонную ночь“. Осталась — тьма.

И вы чувствуете, что это —

. Не ночной,—
Могильный былъ мракъ...

А эта чья-то рука, а эти мертвые подѣлуи, мертвыя ласки — и это молчанье... Это страшнѣе двухъ враговъ у Байрона, страшнѣе этотъ живой человѣкъ, оставшійся среди мрака:

И стало опять: *мракъ во мракъ*,
И въ тишинѣ — *тишина*...

Страшнѣе этотъ живой человѣкъ, который „тѣмъ обнималъ“ и „тѣмъ обнимала“ его...

И простодушный поэтъ, отдаваясь своимъ впечатлѣніямъ, постигнувъ ужасъ этого жутко-тайнственнаго, не ночного, а могильнаго мрака, лучше чѣмъ постигли его „премудрые и разумные“... Здѣсь нѣтъ мрачной поэзіи Байрона, здѣсь есть трепетъ души простой и наивной, прозрѣвающей смыслъ и значеніе тайны, смыслъ и значеніе скрытые отъ насъ, — трепетъ души прозрѣвающей самый образъ этой тайны...

Полонскій очень часто въ своихъ стихахъ любитъ философствовать, но своими поэтическими признаніями о поэзіи и поэтѣ онъ подтверждаетъ, что поэтическое философствованіе — не его дѣло. Гёте, напримѣръ, и когда поэтически философствуетъ — смѣлъ до дерзновенія. Полонскій же, когда начинаетъ философствовать, дѣлается робокъ и неувѣренъ, и, наоборотъ, когда отдается непосредственнымъ впечатлѣніямъ — становится смѣлъ до дерзновенія, и въ дерзости своей выходитъ побѣдителемъ, какъ бы оправдывая призывъ Шиллера:

Wage Du zu irren und zu träumen!...*)

Вотъ, что онъ говорить о себѣ, какъ о поэтѣ:

Мое сердце — родникъ, моя пѣсня — волна, —

Пропадая вдали, — разливается...

Подъ грозой — моя пѣсня, какъ туча, темна,

На зарѣ — въ ней заря отражается.

Если жъ вдругъ вспыхнуть искры неожиданной любви

Или на сердцѣ горе накопится, —

Въ лоно пѣсни моей льются слезы мои,

И волна уносить ихъ торопится.

Очевидно, тутъ дѣло идетъ о поэзіи впечатлѣній и только впечатлѣній — обозначенъ даже и кругъ этихъ впечатлѣній, и то какъ они возникаютъ, откуда берутся: эти впечатлѣнія только впечатлѣнія сердца.

Есть другое стихотвореніе Полонскаго — *Нищій*. Само по себѣ прекрасное, оно ясно характеризуетъ и другую сторону его поэзіи:

Знавалъ я нищаго, — какъ тѣнь,

Съ утра, бывало, цѣлый день

Старикъ подъ окнами бродилъ

И подаянія просилъ;

*) То-есть: „Дерзай заблуждаться и грезить!“

Но все, что въ день ни собиралъ,
Бывало, къ ночи раздавалъ
Больнымъ, калѣкамъ и слѣпцамъ, —
Такимъ же нищимъ, какъ и самъ.
Въ нашъ вѣкъ таковъ иной поэтъ, —
Утративъ вѣру юныхъ лѣтъ,
Какъ нищій старецъ изнуренъ,
Духовной пищи просить онъ,
И все, что жизнь ему ни шлетъ,
Онъ съ благодарностью беретъ,
И душу дѣлитъ пополамъ
Съ такими жъ нищими, какъ самъ.

Вообще въ поэзіи Полонскій видитъ нѣчто религіозное, внѣ религіознаго чувства онъ не признаетъ и чувства поэтического. Въ его стихотвореніи *Поэзія* мы читаемъ:

Пока у алтаря въ день свѣтлый воскресенья,
Иль въ покаянный будній день,
Ты видишь передъ собой свѣтъ въ правдѣ откровенья,
А за собой неправды тѣнь;
Пока ты чувствуешь благоговѣйный трепеть,
Пока молитвенный твой лепеть,
Есть вѣра страстная, а не обрядъ пустой, —
Поэзія еще съ тобою, милый мой!

Но, какъ только исчезнетъ чувство религіозное, такъ тотчасъ же исчезнетъ и поэзія:

Когда же истина навѣкъ тебя покинетъ,
И торжествующій обманъ
На міръ страдающій со всѣхъ сторонъ надвинетъ.
Свой ослѣпительный туманъ;
Когда замолкнетъ все въ душѣ твоей тревожной
И ты повѣришь въ непреложный
Законъ неволи, зла и пошлости людской, —
Поэзія тебя покинетъ милый мой...

Довольно ясно, что хочетъ сказать Полонскій, но тутъ, повидимому, заключено нѣкоторое неправильное отношеніе къ поэзіи.

Это стихотвореніе Полонскаго — *Поэзія* довольно длинное, заключаетъ въ себѣ нѣсколько куплетовъ — я привелъ только два лучшіе. Въ общемъ, на мой взглядъ, это — одно изъ слабыхъ стихотвореній Полонскаго; но оно интересно тѣмъ, что въ немъ выражено прямое отношеніе его къ поэзіи. Но если принять буквально тѣ требованія, которыя здѣсь

Полонскій предъявляетъ къ поэзіи, то, пожалуй, намъ придется исключить изъ поэтовъ Байрона и Шелли. Ошибка въ томъ, что Полонскій въ этомъ стихотвореніи какъ бы отождествляетъ свою поэзію съ поэзіей вообще. Въ его поэзіи мы дѣйствительно находимъ, такъ-сказать, непосредственную религіозность; безспорно также, что всякая истинная поэзія религіозна — но не всякая поэзія религіозна непосредственно. Такъ, религіозность поэзіи Байрона, поэзіи Шелли заключается въ выраженномъ съ такою силой въ поэзіи того и другого стремленіи къ идеалу, которое погасаетъ только съ послѣднимъ дыханіемъ жизни, въ исканіи настоящей жизни, въ неудовлетворенности ничѣмъ земнымъ...

Въ одномъ куплетѣ стихотворенія Полонскаго *Поэзія* есть такіа строки:

Пока страстями ты себя не истиранилъ
И не поникъ отъ скорбныхъ думъ:—

Пока вотъ этого не случилось, говоритъ Полонскій — „поэзія еще съ тобою, милый мой“. Но вѣдь Байронъ именно „себя страстями истиранилъ“ и „поникъ отъ скорбныхъ думъ“, но, тѣмъ не менѣе, поэзія высокая и трагическая осталась съ нимъ... Почему же? Да потому что и среди „страстей“, и среди „скорбныхъ думъ“ стремленіе къ идеалу не погасало въ его душѣ, и мучило и терзало эту душу. Такимъ образомъ, поэзія покинетъ поэта только тогда, когда въ немъ погаснетъ стремленіе къ безконечному идеалу... Навная вѣра сердца, вѣра простыхъ душъ и чистыхъ сердецъ есть даръ Божій; но такіе, какъ Байронъ, приобрѣтаютъ ее — если приобрѣтаютъ — путемъ нестерпимаго душевнаго страданія. Это — „алчущіе и жаждущіе правды“ — и, безъ сомнѣнія, они насытятся. Полонскій говоритъ о себѣ: „въ моей душѣ проклятій нѣтъ“, а Байронъ только и дѣлалъ, что проклиналъ, но, вѣдь, въ его проклятіяхъ слышится страстное порываніе къ тому же идеалу, которому поклоняется и Полонскій. Вѣдь въ Байронѣ выразилась тоска цѣлыхъ поколѣній — и эти пожеланія могли бы сказать о немъ, объ этомъ своемъ кумирѣ, стихами же самого Полонскаго:

Невольный крикъ его — нашъ крикъ,
Его порывы — наши, наши!
Онъ съ нами пьетъ изъ общей чаши,
Какъ мы *отравленъ* — и *великъ*!

У Полонскаго есть эта наивная вѣра сердца, этотъ даръ Божій — и эта-то вѣра теплится, какъ лампада, озаряя своимъ тихимъ и кроткимъ свѣтомъ его поэзію.

Въ *Письмѣ* Тургенева мы находимъ слѣдующее, чрезвычайно вѣрное замѣчаніе о поэзіи Полонскаго. „Всякій, даже поверхностный читатель“, пишетъ онъ — легко замѣтитъ *струю тайной грусти разлитую во всѣхъ произведеніяхъ Полонскаго*; она свойственна многимъ русскимъ, но у нашего поэта она имѣетъ особое значеніе. *Въ ней чувствуется нѣкоторое недоверіе къ себѣ, къ своимъ силамъ, къ жизни вообще; въ ней слышится отзвучіе юркихъ опытовъ, тяжелыхъ воспоминаній“.*

Вотъ тонкое замѣчаніе о характерѣ грусти Полонскаго; что характеръ его грусти таковъ, мы могли видѣть уже во многихъ его стихотвореніяхъ. Вотъ одно превосходное, и одно изъ самыхъ характерныхъ въ этомъ смыслѣ:

Уже надъ ельникомъ, изъ-за вершинъ колючихъ,
Сіяло золото вечернихъ облаковъ,
Когда я рвалъ весломъ густую сѣть пловучихъ
Болотныхъ травъ и водяныхъ цвѣтовъ.
То окружая насъ, то снова разступаясь,
Сухими листьями шумѣли тростники;
И нашъ челнокъ шелъ, медленно качаясь,
Межъ топкихъ береговъ извилистой рѣки.
Отъ праздної клеветы и злобы черни свѣтской
Въ тотъ вечеръ, наконецъ, мы были далеко,
И смѣло ты могла, съ довѣрчивостью дѣтской,
Себя высказывать свободно и легко.
И голосъ твой пророческій былъ сладокъ,
Такъ много въ немъ дрожало тайныхъ слезъ,
И мнѣ плѣнительнымъ казался безпорядокъ
Одежды траурной и свѣтлорусыхъ косъ.
Но грудь моя тоской невольною сжималась,
Я въ глубину глядѣлъ, гдѣ тысячи корней
Болотныхъ травъ невидимо сплеталось,
Подобно тысячѣ живыхъ, зеленыхъ змѣй.
*И міръ иной мелькалъ передо мною,
Не тотъ прекрасный міръ, въ которомъ ты жила...
И жизнь казалась мнѣ суровой глубиной,
Съ поверхностью, которая свѣтла.*

Вотъ стихотвореніе удивительное по музыкѣ стиха — въ которой, въ самой музыкѣ, въ напѣвѣ, въ стихотвореніи какъ бы уже слышится тайная грусть, и именно того ха-

рактера, о какомъ говорилъ Тургеневъ. Гдѣ же причина этой грусти? „Недовѣріе къ себѣ и своимъ силамъ, къ жизни вообще“; кромѣ того, сюда прибавляются „горькіе опыты“ и „тяжелыя воспоминанія“. Очень часто все это приводитъ даже и людей, по натурѣ кроткихъ, къ мрачному отчаянію, къ отрицанію жизни и тяжелой апатіи. Что же спасло отъ этого Полонскаго, какъ поэта? А вотъ именно та теплая и наивная вѣра сердца, которая сохранилась въ немъ невредимою, пройдя и черезъ склонность къ философствованію. Эта вѣра сердца претворила все: недовѣріе къ себѣ, къ жизни, горькіе опыты и тягостныя воспоминанія — претворила все это въ *тайную грусть*, разлитую во всѣхъ его произведеніяхъ. Но въ его поэзіи мы видимъ и слѣды борьбы, въ которой побѣдила наивная вѣра сердца. Вотъ одно изъ лучшихъ стихотвореній подобнаго характера:

Священный благовѣстъ торжественно звучить,
Во храмахъ оиміамъ, во храмахъ пѣснонѣнсь;
Молиться я хочу; но тяжкое сомнѣнье
Святые помыслы души моей мрачить.
И вѣрю я и вновь не смѣю вѣрить;
Боюсь довѣриться чарующей мечтѣ;
Передъ самимъ собой боюсь я лицемѣрить;
Разсудокъ бѣдный мой блуждаетъ въ пустотѣ...
И эту пустоту ничто не озаряетъ;
Дыханьемъ бурь мой свѣточъ погашень,
Бездонный мракъ на вопль не отвѣчаетъ...
А жизнь — жизнь тянется, какъ непонятный сонъ...

Но это тягостное состояніе духа разрѣшается инымъ настроеніемъ, настроеніемъ проникнутымъ грустью, но уже освободившимся отъ „тяжелыхъ сновидѣній“.

О, подними свое чело!	Иди впередъ и невозвратно.
Не вѣрь тяжелымъ сновидѣн- ямъ;	Не бойся душу предавать
Не предавайся сожалѣн- іямъ;	Потоку чувствъ и мыслей новыхъ,
О томъ, что было и прошло,	Своимъ стремленіемъ готовыхъ
О томъ, что спитъ въ сырыхъ могилахъ,	Тебя невольно увлекать —
Чего мы воротить не въ силахъ.	Туда, гдѣ впереди такъ много
Зачѣмъ такъ рано погребать	Сокровищъ спрятано у Бога!
Невозможныя надежды,	Для созерцающихъ очей
И съ простодушіемъ невѣжды	И для внимающаго слуха
Во всеуслышанье роптать?	<i>Доступенъ тайный образъ духа</i>
<i>Чтобъ жизнь была тебѣ понятна,</i>	<i>И внятенъ смыслъ его рѣчей —</i>
	Глаголь, въ пустынѣ вопіющій,
	Неумолкаемо-зовущій.

Гдѣ же черпаетъ поэтъ эту силу, побѣждающую сомнѣіе? Безъ сомнѣнія, въ томъ отдаленномъ, полузабытомъ, два слышномъ дѣтскомъ лепетѣ души, въ первоначальныхъ печатлѣніяхъ этой души. Въ душѣ поэта возникаютъ „виѣнья первоначальныхъ, чистыхъ дней“, и снова ясно слышенъ ему полузабытый лепетъ:

Любилъ я тихій свѣтъ лампы золотой,
Благоговѣйное вокругъ нея молчаніе,
И, тайнаго исполненъ ожиданья,
Какъ часто я, откинувъ пологъ свой,
Не спалъ, на мягкій пухъ облокотясь рукою,
И думалъ: въ эту ночь хранитель-ангелъ мой
Придетъ ли въ тишинѣ бесѣдовать со мною?...
И мнилось мнѣ: на ложѣ, близъ меня,
Въ сіяньѣ трепетномъ лампаднаго огня,
Въ блѣдно-серебряномъ сидѣлъ онъ одѣяныи...
И тихо, шепотомъ я повѣрялъ ему
И мысли, дѣтскому доступныя уму,
И сердцу дѣтскому доступныя желанья.
Мнѣ сладокъ былъ покой въ его лучахъ;
Я весь проникнуть былъ божественною силой.
Съ улыбкою на пламенныхъ устахъ,
Задумчиво внималъ мнѣ свѣтлокрылый;
Но очи кроткія его глядѣли вдаль,
Они грядущее въ душѣ моей читали,
И отражалась въ нихъ какая-то печаль,
И ангелъ говорилъ: „Дитя, тебя мнѣ жаль!
„Дитя, поймешь ли ты слова моей печали?“
Душой младенческой я ихъ не понималъ,
Края одеждъ его ловилъ и цѣловалъ,
И слезы радости въ очахъ моихъ сверкали.

Вотъ что спасло наивную вѣру сердца, вотъ что дало ему выйти изъ того душевнаго состоянія, когда „жизнь янется какъ непонятный сонъ“. И поэтъ находитъ этотъ выходъ еще въ ранней юности своей, когда имъ создано го прекрасное стихотвореніе:

О, Боже, Боже!
Не Ты ль вѣщаль,
Когда мнѣ даль
Живую душу:
Любить, — страдать, —
Страдать и жить —
Одно и то же.
Но я ропталъ,

Когда страдалъ,
Я слезы лилъ,
Когда любилъ,
Негодовалъ,
Когда внималъ
Суду глушцовъ
Иль подлецовъ...
И утомленный,

Какъ полусонный,
Я былъ готовъ
Борьбѣ тревожной
Предпочитать
Покой ничтожный
Какъ благодать.

Прости! — И снова
Душа готова
Страдать и жить,
И за страданья
Отца созданья
Благодарить...

Съ этимъ общимъ настроеніемъ, лишь на фонѣ котораго чередуются разнообразныя оттѣнки, остается Полонскій въ своей поэзіи навсегда...

Мы уже говорили въ чемъ, въ общихъ чертахъ, заключается сущность психологическаго процесса, совершающагося въ душѣ поэта.

Поэзія имѣетъ свой источникъ не во внѣшнемъ мірѣ, не въ мірѣ явленій, а въ душѣ человѣческой. Вотъ почему для поэта существуетъ, какъ реальность, только одна дѣйствительность — дѣйствительность поэтическая; дѣйствительность же обыкновенная, міръ явленій, для него — міръ призрачный. Когда душа поэта „вкушаетъ хладный сонъ“, когда онъ живетъ въ мірѣ обыкновенной дѣйствительности, въ мірѣ разнообразныхъ страстей и интересовъ, мѣшающихъ чистому созерцанію — такое состояніе души для поэтовъ есть состояніе души не нормальное. Въ такомъ состояніи души, по слову Пушкина —

...межъ дѣтей ничтожныхъ міра
Быть можетъ всѣхъ ничтожнѣй онъ...

Отсюда и та странная раздвоенность, которую можно замѣтить у всѣхъ поэтовъ.

Каковъ же смыслъ этой раздвоенности, въ чемъ заключается ея сущность?

Когда говорятъ о поэзіи, обыкновенно, тутъ же, говорятъ о *вдохновеніи*. Что же такое вдохновеніе? Пушкинъ сказалъ: „вдохновеніе нужно такъ же въ геометріи, какъ и въ поэзіи“. Если выразить эту мысль общѣе, то можно сказать, что вдохновеніе такъ же нужно въ наукѣ, философіи, какъ и въ поэзіи. Это, безъ сомнѣнія, и хотѣлъ сказать Пушкинъ. Это же хотѣлъ сказать и Ренанъ, приравнивая науку, философію и поэзію къ дѣламъ религиознымъ. Но, безъ сомнѣнія, вдохновеніе чуждо каменщикамъ науки, оно проявляется лишь, въ творцахъ, въ архитекторахъ ея; точно такъ же чуждо оно педантамъ философіи — оно проявляется лишь у творцовъ у истинныхъ философовъ.

Пушкинъ въ поэзіи своей вотъ что говоритъ о вдохновеніи:

Тамъ, долѣ яркія видѣнья	Моими играми, досугомъ;
Вились, летѣли надо мной	Мнѣ звуки дивные шептаѣ,
<i>Въ часы ночного вдохновенья.</i>	И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
Все волновало нѣжный умъ:	Была полна моя глава;
Прѣтущій лугъ, луны блистанье,	Въ ней грезы чудныя рождались;
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,	Въ размѣры стройные стекались
Старушки чудное преданье.	Мои послушныя слова
<i>Какой-то демонъ обладалъ</i>	И звонкой рифмой замыкались...

И въ томъ же самомъ стихотвореніи Пушкина мы находимъ еще слѣдующія строки о вдохновеніи:

Вамъ ваше дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кипитъ, бурлитъ воображенье.
Оно застынетъ — и тогда
Постыло вамъ и сочиненье...

Такимъ образомъ Пушкинъ смотрѣлъ на вдохновеніе, какъ на тотъ *безсознательный* актъ творчества, которымъ замыкается напряженный трудъ мысли и усилія чувства. Когда онъ говоритъ, что въ геометріи такъ же нужно вдохновеніе, какъ и въ поэзіи, онъ подразумѣваетъ, что и въ наукѣ трудъ мысли замыкается безсознательнымъ творческимъ актомъ. Ньютонъ открылъ свой законъ безсознательнымъ творческимъ актомъ, который заключилъ собою трудъ мысли; когда Архимедъ воскликнулъ свое знаменитое „эврика“! — его, какъ выражаются, *остыла мысль*, долго и мучительно не поддававшаяся упорному размышленію... Но характеръ вдохновенія въ поэзіи — иной. Въ открытіи Ньютона не выразилась жизнь души его, — во вдохновенномъ созданіи поэта выражается жизнь души его. Къ труду мысли, заключающемуся актомъ творчества, тутъ прибавляется еще что-то безконечно значительное. Вспомнимъ Шиллера:

Не мнѣ управлять пѣснопѣвца душой
.....
Онъ высшую силу призналъ надъ собой —
Минута ему повелитель...

Здѣсь говорится о томъ же самомъ, о чемъ говоритъ Пушкинъ въ этомъ стихѣ:

Какой то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ...*)

*) Слово „демонъ“ употреблено здѣсь не въ буквальный его смыслъ, а въ смыслъ духа вообще — невѣдомаго духа.

И Шиллеръ и Пушкинъ говорятъ намъ, что въ минуты вдохновения душою поэта управляетъ какъ бы нѣчто внѣ его живущее, нѣчто высшее. Въ поэзіи вдохновеніе не только „проникновеніе“, какъ въ наукѣ, но и нѣкоторое *преображеніе* самой души поэта... Только въ этомъ преобразенномъ состояніи души можно созерцать и *преобразенную* дѣйствительность...

Вотъ откуда происходитъ то раздвоенное состояніе души, которые мы замѣчаемъ у всѣхъ истинныхъ поэтовъ.

Какъ же объяснить эту таинственную раздвоенность, какъ объяснить, по крайней мѣрѣ, то, что поддается объясненію въ этомъ таинственномъ процессѣ?

Н. Н. Страховъ пытается объяснить это, проводя параллель между состояніемъ души людей не обладающихъ поэтическимъ даромъ и состояніемъ души поэтовъ.

„Много есть на свѣтѣ людей, въ которыхъ содержится самое чудесное задатокъ, самая величайшая *возможность*“, пишетъ онъ въ своемъ *Замечаніи о Пушкинѣ*. „Бому удалось видѣть такихъ людей въ благоприятныя минуты, когда въ слѣдъ собою-то раскрывались, только еще облекали свое развитіе или когда они вдругъ развертывались во всю свою глубину и ширину. Тутъ, конечно, останавливался въ изумленіи передъ этими изумленіемъ. Какой блескъ, какая красота! И что же? Великая сила не можетъ быть передана или приобрѣтена, но сила можетъ быть подавлена, остановлена, задумана. Люди, много обѣщавшіе, явно носившіе въ своей душѣ богатство самыхъ прекрасныхъ силъ, обыкновенно не выполняли своихъ обѣщаній, томились, гусчуть и дѣлаются часто весьма тощими людьми. Если только не погнѣбать зорко. Они теряютъ иногда такое ясное пониманіе того, что изволитъ такъ тремъ говорить въ ихъ душѣ, они съ презрѣніемъ и насмѣшкой отмахиваются о тѣхъ величайшихъ порывахъ, которыми когда-то жили, но смыслъ которыхъ для нихъ потонулъ страданіемъ. Не знаютъ иногда человѣкъ тѣмъ самому себѣ не беречь того, что въ немъ всего драгоценнѣе, а убивать эти драгоценности на всякія дѣтскія побрякушки.“

Такая обыкновенная история, въ той или другой степени она совершается съ каждымъ человѣкомъ. Въ такомъ человѣкѣ пробудятъ зародки многихъ силъ и лишь немногое изъ нихъ развивается.

„Совершенно подобное явленіе происходитъ въ душѣ поэтовъ, но только не въ теченіе долгаго времени, а ежеминутно, по крайней мѣрѣ, пока они остаются поэтами. Процессъ развитія силъ и ихъ погасанія дѣлается хроническимъ, и поэтъ носитъ въ себѣ постоянно два міра, две душевныя области, одну свѣтлую, а другую темную. Противорѣчіе, существующее между пламеннымъ юношей и ополѣвшимъ старикомъ, какъ будто является въ душѣ поэтовъ не послѣдовательно, а одновременно. Можно сказать, что иной поэтъ бываетъ въ одно время и юнъ и старъ, и уменъ и тупъ, и возвышенъ и пошлъ.

„Это странное явленіе ничуть однако же не страннѣе того, что человѣкъ былъ когда-то уменъ, но не сохранилъ своего ума и отупѣлъ. Мы съ изумленіемъ спрашиваемъ, куда же дѣвался этотъ умъ? какъ это возможно? Такъ точно поэтъ, только-что создавшій превосходное произведеніе, оказывается тутъ же обыкновеннымъ и даже тупымъ человѣкомъ, и мы съ изумленіемъ спрашиваемъ: куда же дѣвался божественный огонь, который мы видѣли?

„Для многихъ поэтическихъ даръ составляетъ то же, что воспоминаніе о быломъ счастьи или о блестящей роли, которую когда-то удалось играть человѣку: это и радость и мука, это источникъ борьбы и всякаго разлада.

„Но нужно брать вещи такъ, какъ онѣ есть. Нелѣпо былъ бы тотъ критикъ, который, находя въ поэтѣ обыкновеннаго человѣка или дюжиннаго мыслителя, порѣшилъ бы на этомъ основаніи, что его читать и хвалить не стоить. Принимаясь за изученіе поэта, нелѣпо ставить на первое мѣсто его направленіе или личныя особенности. Прежде всего и больше всего нужно имѣть въ виду ту *преображенную личность*, которую носитъ въ своей душѣ всякій истинный поэтъ и которая иногда далеко не совпадаетъ съ его будничною и, такъ сказать, внѣшнею личностію. А иначе мы ничего не поймемъ, мы упустимъ самую суть дѣла, гоняясь за вещами второстепенными“.

Вотъ прекрасное и наглядное объясненіе дѣла, съ которымъ, однако, нельзя совершенно согласиться: оно не совершенно объемлетъ предметъ разсужденія. Подобное же объясненіе душевнаго состоянія натуръ поэтическихъ мы находимъ у Гёте.

Вотъ что онъ говоритъ о Фаустѣ, объ этомъ поэтѣ въ наукѣ и философіи:

То полнъ земныхъ и страстныхъ вожделѣній,
То алчетъ звѣздъ въ безуміи хотѣній,
И широко волнуется грудь,
Нигдѣ и ни на чемъ не можетъ отдохнуть...

А самъ Фаустъ говоритъ о себѣ: „въ моей груди двѣ души“. Точно также и у истинныхъ поэтовъ. Борьба этихъ двухъ душъ, одной жаждущей „земныхъ и страстныхъ вожделѣній“, другой не удовлетворяющейся ничѣмъ земнымъ, и алчущей „звѣздъ въ безуміи, хотѣній“ — вотъ эта-то постоянная борьба и составляетъ сущность душевной жизни поэта. Въ этомъ его отличіе отъ людей, не имѣющихъ поэтического дара, въ этомъ его отличіе и отъ тѣхъ, о комъ говоритъ Страховъ: поэты есть люди высшей природы, и эту ихъ природу ничто заглушить не можетъ, она непременно выразится такъ или иначе.

Но все-таки лучше всего объясняютъ истинную природу поэта сами поэты. У Полонскаго есть одно въ высшей степени замѣчательное стихотвореніе, говорящее именно объ этомъ и на которомъ необходимо внимательно остановиться. Оно называется *Двойникъ*:

Я шелъ и не слыжалъ, какъ тѣли соловьи
И не видалъ, какъ звѣзды затопались.
И слушалъ я шаги — шаги не знаю чьи —
За мной въ лѣсной глуши неясно повторялись,
Я думалъ — эхо... звѣрь... колыхнется тростникъ
Я вѣрить не хотѣлъ, дрожа и замирая,
Что по моимъ слѣдамъ, на шагъ не отставая,
Идетъ не человѣкъ, не звѣрь, а мой двойникъ.
То я бѣжать хотѣлъ, пугливо озираясь,
То самого себя какъ мальчика стыдилъ...
Вдругъ злость меня взяла — и страшно задыхаясь,
Я самъ пошелъ къ нему навстрѣчу и спросилъ:
— Чтѣ ты пророчишь мнѣ или зачѣмъ пугаешь?
Ты призракъ; или обманъ фантазій большой? —
— Ахъ, отвѣчалъ двойникъ: — *ты видишь мнѣ мѣшаешь,*
И не даешь внимать гармоніи ночной;
Ты хочешь отравить меня своимъ сомнѣньемъ,
Меня, — живой родникъ поэзій твоей!...
И, не сводя съ меня испуганныхъ очей,
Двойникъ мой на меня глядѣлъ съ такимъ смятеньемъ,
Какъ будто бы не онъ, среди ночныхъ тѣней,
Не онъ, а я къ нему явился привидѣньемъ!

Вотъ превосходное стихотвореніе, въ которомъ передано чрезвычайно глубокое психологическое наблюденіе. Въ немъ — анализъ души не только поэта, но и всякаго человѣка, въ минуты чистаго покаянія, которыя испытываютъ всѣ люди, даже закоренѣлые злодѣи*). Всѣ люди, въ инныя минуты своей жизни, видѣли этого своего двойника, видѣли его въ тѣ мгновенія, когда человѣкъ приходитъ въ смятеніе отъ самого себя; но у всѣхъ людей этотъ двойникъ является вызванный настроеніемъ глубокаго покаянія, съ поэтами этотъ двойникъ живетъ постоянно и когда они погружены въ „хладный сонъ души“ онъ напоминаетъ о себѣ, какъ напоминаетъ въ стихотвореніи Полонскаго. Онъ не „пророчить“ и не „пугаетъ“, какъ пророчить и пугаетъ двойникъ вызванный муками совѣсти, онъ только жалуется:

...ты видѣть мнѣ мѣшаешь
И не даешь внимать гармоніи ночной...

У Полонскаго, въ этомъ стихотвореніи мы находимъ больше, чѣмъ объясненіе — превосходное *изображеніе* той душевной раздвоенности, какая свойственна поэтамъ. Тутъ какъ бы уже поднять край завѣсы, скрывающій эту тайну, и, хотя сквозь туманъ поэтическаго изображенія, но можно прозрѣвать ее. Въ послѣднихъ же строкахъ стихотворенія мы находимъ, кромѣ того, удивительное „проникновеніе“ въ душу человѣческую, страдающую и раскаявающуюся:

И не сводя съ меня испуганныхъ очей,
Двойникъ мой на меня глядѣлъ съ такимъ смятеніемъ,
Какъ будто бы не онъ, среди ночныхъ тѣней,
Не онъ, а я къ нему явился привидѣніемъ...

Кто не испытываетъ именно этого состоянія, когда „обративши очи въ глубь души“, видя ее, эту свою душу „въ такихъ кровавыхъ, въ такихъ смертельныхъ язвахъ“, человѣкъ самъ себѣ кажется какимъ-то пугающимъ привидѣніемъ...

И въ этомъ стихотвореніи, какъ и вездѣ у Полонскаго, это не тягостное раздуміе претворенное въ поэзію — это

*) Припомнимъ хотя бы Ричарда III-го. Онъ почти уже воплощенный дьяволъ, — но и онъ переживаетъ одно мгновеніе, похожее на раскаяніе:

Смѣнить коня! Перевяжите раны!
Умилосердись Иисусе!

и далѣе, до конца монолога.

мгновенное, пугающее *впечатлѣніе*, переданное съ удивительною простотою и наивною... Поэтъ даже какъ бы боится этихъ мгновенныхъ, пугающихъ впечатлѣній, которыя онъ воспроизводитъ въ такихъ стихотвореніяхъ какъ *Двойникъ*, *Тишь и мракъ* и т. п. — онъ какъ бы хочетъ заставить свою музу уклониться отъ нихъ, — и выражаетъ это въ слѣдующихъ прекрасныхъ стихахъ:

Чтобы пѣсня моя разлилась, какъ потокъ, —
Ясной зорьки она дожидается;
Пусть не темная ночь, пусть горящій востокъ
Отражается въ ней, отливается;
Пусть чирикаютъ вольныя птицы вокругъ,
Сонный лѣсъ пусть проснется, нарядится,
И сова — пусть она не тревожитъ мой слухъ
И слѣпая — подальше усядется...

Но пугающія впечатлѣнія помимо воли поэта врываются въ его душу и помимо его воли обращаются въ чистое золото поэзіи. Не будучи въ состояніи уклониться отъ нихъ, онъ принимаетъ какъ нѣчто неизбежное эти пугающіе и угнетающіе душу впечатлѣнія, но относится къ нимъ своеобразно, съ какою-то грустною и тихою покорностію, находя прибѣжище все тамъ же — въ поэзіи.

Это прекрасно выражено въ его превосходномъ стихотвореніи, въ которомъ все — чистая поэзія. Стихотвореніе это называется *Чайка*:

Поднялъ корабль паруса,
Въ море сплѣснуть онъ, родной покидая заливъ,
Буря его догнала и швырнула на каменный рифъ.
Бьется онъ грудью объ грудь
Скаль, опрокинутыхъ вѣчнымъ прибоемъ морскимъ,
А бѣлогрудая чайка летаетъ и стонетъ надъ нимъ.
Съ бурей обломки его
Въ даль унеслись; чайка сѣла на волны — и вотъ
Тихо волна, покачавъ ее, новый вопль издаетъ.
Вотъ отдѣлились опять
Крылья отъ скачущей пѣны — и, вѣтра быстрѣй,
Мчитъ она, упавая въ объятія вечернихъ тѣней.
Счастье мое, — ты корабль,
Море житейское бьетъ въ тебя бурной волной —
Если погибнешь ты, буду какъ чайка стонать надъ тобой.
Буря обломки твои
Пусть унесетъ! Но пока будетъ пѣна блестящая,
Дамъ я волнамъ покачать себя, прежде чѣмъ въ ночь улетѣть...

Тургеневъ объ этомъ стихотвореніи замѣчаетъ: „Я не много знаю стихотвореній на русскомъ языкѣ, которыя по теплотѣ чувства, по унылой гармоніи тона стояли бы выше этой *Чайки*. Весь Полонскій высказался въ немъ“.

Здѣсь эти слова „весь Полонскій высказался въ немъ“, сказанныя мимоходомъ и которыя Тургеневъ не поясняетъ, нельзя понимать буквально. Тургеневъ, очевидно, хотѣлъ сказать, что въ этомъ стихотвореніи высказался ясно характеръ поэтического отношенія къ жизни Полонскаго. Что таковъ смыслъ словъ Тургенева, видно изъ того, что онъ въ своемъ *Письмѣ* именно и возстаетъ противъ мнѣнія (высказаннаго въ *Отечественныхъ Запискахъ*), которое видѣло въ Полонскомъ „литературнаго эклектика“, съ одной стороны, и однообразнаго поэта — съ другой. Но дѣло въ томъ, что впечатлѣнія Полонскаго чрезвычайно разнообразны, въ своей поэзіи онъ трогаетъ обширную гамму впечатлѣній, но всѣ эти впечатлѣнія дѣйствительно претворяетъ въ одномъ тонѣ, въ одномъ напѣвѣ, чрезвычайно своеобразномъ, одному ему свойственномъ. Вотъ почему стихи Полонскаго тотчасъ же можно отличить отъ всякихъ другихъ. И этотъ его тонъ яснѣе всего выразился въ *Чайкѣ*. Потому-то Тургеневъ и сказалъ, что въ этомъ стихотвореніи уже весь Полонскій.

Гдѣ граница той власти, которую поэзія имѣетъ надъ душой человѣческой? Когда она теряетъ эту власть и становится безсильною? Вотъ вопросы чрезвычайно интересные сами по себѣ и приобретающіе еще большій интересъ, потому что отъ разрѣшенія ихъ косвенно зависитъ и разрѣшеніе вопроса о поэзіи вообще.

Въ своихъ *Замѣткахъ о Пушкинѣ* Н. Н. Страховъ пишетъ, между прочимъ, слѣдующее:

„Самымъ понятнымъ на свѣтѣ люди считаютъ жизнь, т.-е. наши потребности, желанія, наслажденія и страданія, практическія цѣли и практическіе труды. Все это имѣетъ для насъ непосредственную достовѣрность и несомнѣнное значеніе, ибо все это, какъ говорится, прямо беретъ насъ за живое. Искусство не принадлежитъ къ этой области; это какое-то придаточное и производное явленіе, стремленіе зачѣмъ-то переживать нашу жизнь еще разъ, но не въ дѣйствительности, а въ воображеніи, *въ мечтахъ*, какъ говорили во времена Пушкина и Жуковскаго. Человѣкъ, положимъ,

испытываетъ радость или горе. Ему мало того, что эти чувства дѣйствительно присутствуютъ въ его душѣ; онъ начинаетъ пѣть, т.-е. онъ повторяетъ свои чувства въ словахъ и звукахъ. Ему для чего-то нужно это воплощеніе испытываемыхъ имъ движеній души, и легко убѣдиться, что оно не есть простое повтореніе. Чувства въ пѣснѣ являются въ нѣкоторомъ преображенномъ видѣ и получаютъ, очевидно, какое-то другое значеніе.

„Странно дѣйствуютъ пѣсни. Положимъ, смерть отняла у человѣка любимое, дорогое существо, и онъ подавленъ своимъ несчастіемъ. Убѣжать отъ трупа и забыть его — вотъ самое прагматическое, что можно сдѣлать. Между тѣмъ, люди стараются какъ будто растравить свою горестъ, упиться ею. Раздаются похоронныя пѣсни, и сердца надрываются, и льются слезы даже у тѣхъ, кто безъ этого могъ бы остаться спокойнымъ и равнодушнымъ. Но удивительное дѣло! *Горе, нарочно вызванное, нарочно повторенное и углубленное, становится легче*: оно потеряло свой прежній грубый характеръ, поднялось на какую-то высоту и преобразилось.

„Тутъ мы взяли искусство въ непосредственномъ соприкосновеніи съ жизнью. Но въ другихъ случаяхъ непрактическій характеръ искусства обнаруживается еще рѣзче и яснѣе. Любитель пѣсенъ поетъ и грустныя, и веселыя пѣсни, когда ему не о чемъ ни грустить ни веселиться. Онъ при этомъ испытываетъ и радость, и грусть, но, очевидно, *не такія*, какія свойственны дѣйствительной жизни. Если бы печаль, ужасъ, негодованіе и тому подобныя чувства, испытываемыя нами, когда мы отдаемся созерцанію произведеній искусства, были вполнѣ похожи на чувства, которыя тѣми же именами обозначаются въ дѣйствительности, то мы, конечно, убѣгали бы отъ большей части художественныхъ произведеній. Между тѣмъ, среди веселаго общества часто исполняется мрачный Requiem, и мы готовы каждый день смотрѣть въ театрѣ на убійства и сумашествія. Люди, для которыхъ недоступенъ истинный характеръ художества, которые слишкомъ погружены въ жизнь, иногда удивляются этому. „Охота наводить на себя тоску!“ замѣчаютъ они. Но и веселая музыка ихъ иногда не веселитъ, а только раздражаетъ. Очевидно, для искусства нужно быть нѣсколько свободнымъ душой, немножко забыть о себѣ“.

Такимъ образомъ, мы видимъ одну категорію людей неподвластныхъ поэзіи: это люди „которые слишкомъ погружены въ жизнь“ и для которыхъ, поэтому, „недоступенъ истинный характеръ художества“. Отсюда прямой и первый выводъ: „очевидно для искусства (такъ же какъ и для пониманія его) нужно быть нѣсколько свободнымъ душой, немножко забыть о себѣ“.

Но этимъ ли только ограничена власть поэзіи, т.-е. тѣмъ, что она недоступна для людей слишкомъ погруженныхъ въ житейскую суету? Объ этомъ намъ всего лучше узнать бы отъ поэтовъ, но они какъ-то не касаются этой темы, или, вѣрнѣе сказать, касаются только одной ея стороны, а именно, непониманія поэзіи людьми погруженными въ суету жизни. Этой стороны дѣла касаются всѣ поэты; почти у всѣхъ мы находимъ выраженіе негодованія и пренебреженія къ толпѣ, подъ которой и подразумеваются эти не подвластные поэзіи люди:

Не пробудить васъ лиры гласъ —

говорить Пушкинъ.

Но другой стороны дѣла, и не менѣе, а болѣе интересной, сколько могу припомнить, не касается ни одинъ изъ поэтовъ, по крайней мѣрѣ, не касается прямо. Исключеніе составляетъ Полонскій, — этотъ простодушный поэтъ наивныхъ впечатлѣній, столь правдивый, что его правдивость, по замѣчанію Тургенева, бываетъ иногда *неловкою*, хотя всегда *любезною*. Мнѣ кажется именно эта неловкая, но столь любезная правдивость и сдѣлала то, что именно онъ, Полонскій, коснулся „другой стороны дѣла“, обнаруживающей *безсиліе* поэзіи въ иныхъ случаяхъ. Для того чтобы обнаружить безсиліе поэзіи надъ душой людей житейской пошлости — для этого не надо было наивной правдивости, не останавливающейся ни передъ какими впечатлѣніями, ибо тутъ, пожалуй, заключается нѣкоторое торжество поэзіи. Но „другая сторона“ представляетъ собою совсѣмъ иное безсиліе... И вотъ этой-то стороны дѣла коснулся Полонскій.

Тургеневъ въ своемъ *Письмѣ*, характеризуя талантъ Полонскаго, говоритъ слѣдующее:

„Талантъ его представляетъ особенную, лишь ему одному свойственную смѣсь простодушной граціи, свободной образ-

ности языка, на которомъ еще лежитъ отблескъ Пушкинскаго изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлѣній. *Временами и какъ бы бессознательно для него самого онъ изумляетъ прозорливостію поэтическаго взгляда*“.

Въ подтвержденіе этой своей мысли о прозорливости поэтическаго взгляда Полонскаго Тургеневъ ссылается на его стихотвореніе *Жалобы Музы*. Кромѣ ссылки на него, объ этомъ стихотвореніи ничего, не сказано, — но вотъ это и есть то самое стихотвореніе, которое мы имѣли въ виду, говоря, что одинъ Полонскій — скажемъ прямо — *посмѣлъ* коснуться безсилія поэзіи... Не знемъ, въ чемъ Тургеневъ видѣлъ „прозорливость“ этого стихотворенія, онъ этого не объясняетъ — мы же видимъ ее именно въ этомъ. Въ этихъ *Жалобахъ Музы* поэтъ касается и той стороны дѣла, какой касались и другіе поэты, т.-е. безсилія поэзіи надъ черствыми и тупыми людьми. Такъ, въ стихотвореніи есть слѣдующее мѣсто:

— И вотъ, проходя вереницей колоннъ
Къ палатамъ, гдѣ царствуютъ нѣга и сонъ,
Я (т.-е. Муза) стала стучаться въ чертогъ богача.
Онъ принялъ меня, про себя бормоча:
Какъ бѣдно одѣта! какъ трудно узнать!
Гдѣ прежнія рѣчи, гдѣ прежняя статья!
О бѣдныхъ ему я шепнула, — богачъ
Сказалъ мнѣ: Все знаю, — напрасно не плачь...
Не нужно мнѣ горькихъ совѣтовъ твоихъ,
Пускай бѣдняка развращаетъ твой стихъ!

Есть въ стихотвореніи еще нѣсколько подобныхъ же мѣстъ. Но общій смыслъ его — иной. Въ самомъ началѣ стихотворенія Муза говоритъ вотъ что:

Я пѣть не могу, —
Я встрѣчаю на каждомъ шагу
Озлобленныхъ, бѣдныхъ, измятыхъ судьбой,
Идутъ они порознь изъ сумрака въ мглу,
Отъ извѣстнаго зла къ неизвѣстному злу,
И не ищутъ звѣзды путевой...
И не нужно имъ сердце мое, — факель мой!...

Такъ вотъ еще надъ кѣмъ безсильна поэзія: надъ озлобленными, бѣдными, измятыми судьбой и надъ тѣми, *которые идутъ „изъ сумрака въ мглу“*.

Въ *Жалобахъ Музы* есть одно очень характерное мѣсто — и лучшее въ стихотвореніи, — которое уяснитъ намъ многое въ томъ дѣлѣ, о которомъ идетъ рѣчь.

Вотъ это мѣсто:

— Зашла я въ больницу и слышала бредъ
Преступницы бѣдной семнадцати лѣтъ, —
Во снѣ она плакала, Бога звала, —
Проснувшись, опять равнодушна была
И усмѣхалась при словѣ „развратъ“.
Никто не зашелъ къ ней, — ни сестры, ни братъ,
Ни другъ, — только я наклонилась надъ ней,
Какъ няня, съ сердечною пѣсней моею...
Напрасно! Больная махнула рукой
И молвила мнѣ: „уходи! Богъ съ тобой!
Я вѣрила грезамъ, — пора перестать...
Я пала, и знаю, что мнѣ ужъ не встать...“
— И съ горькимъ упрекомъ пошла я къ тому,
Кто бросилъ дитя это въ вѣчную тьму.

Его уязвила я мѣткимъ стихомъ;
Но мѣдному лбу стихъ мой былъ нипочемъ.
— Зашла я въ темницу, — мнѣ сторожъ помогъ
Переступить заповѣдный порогъ...
Къ холодной стѣнѣ прислоняся головой,
Сидѣлъ тамъ одинъ человѣчекъ больной.
Я узнала его, — то былъ сущій добрякъ,
Убить комара не рѣшился бѣ никакъ,
Подстрѣленной птицы ему было жаль...
Сидитъ онъ, — мечта унесла его вдаль, —
И шепчетъ онъ: „О! если бы воля да власть!
Я могъ бы все сдвинуть, поднять и потрясть, —
Я залилъ бы кровью предѣлы земли,
Чтобъ новыя люди родиться могли...“
— И ты, я сказала, — ручаешься въ томъ,
Что новая будетъ природа потомъ,
Что терны и роза — царица садовъ, —
Политые кровью, взойдутъ безъ шиповъ? —
„Ручаюсь! сказалъ онъ, „и ты поручись,
Вѣрь новому чуду, — не то — провались!“
— Мой другъ, провалиться я рада, — но какъ?!
Мнѣ руку пожалъ и заплакалъ бѣднякъ.
Вдали колокольный слышался звонъ...
И съ сердцемъ измученнымъ вышла я вонъ.
Куда жъ мнѣ уйти отъ неволи и думъ!
Что новаго скажетъ мнѣ уличный шумъ!?
Отъ гула шаговъ да отъ стука колесъ

Раздастся ли въ воздухѣ новый вопросъ?!
И чудилось мнѣ... мысль носилась одна:
— И мы всѣ не нужны, и ты не нужна...

.

Какъ глубоко трогательны эти простые стихи о бѣдной дѣвушкѣ, о бѣдной преступницѣ, напоминающей Гётевскую Гретхенъ, только взятую въ русскомъ быту и въ свѣтѣ русской поэзіи. Въ этой бѣдной преступницѣ сквозитъ душа чистая и цѣломудренная, — ибо только такія души способны къ чистому покаянію, къ такому покаянію, когда человѣкъ не ищетъ для себя оправданій, — и уже эти двѣ строки заставляютъ сжиматься сердце до боли:

Во снѣ она плакала, Бога звала,
Проснувшись, опять равнодушна была...

И вотъ надъ этою-то душой поэзія не имѣетъ власти, здѣсь она безсильна, — и поэтъ показываетъ намъ это безсиліе. Что же это значитъ? А значитъ это, что поэзія безсильна надъ душой преступною, поглощенною чѣмъ-то неизмѣримо высшимъ, чѣмъ какая бы то ни было поэзія, — поглощенною *покаяніемъ*. Поэзія можетъ воспѣть красоту этого покаянія, красоту этого страданія, — но надъ душой человѣка терзаемаго раскаяніемъ она безсильна. И, между тѣмъ, та же поэзія имѣетъ страшную силу надъ душой преступною, но не кающеюся. Гамлетъ говорить:

... Слышала я,
Преступныхъ душу такъ глубоко искусство поражало,
Что сознавались они въ убійствахъ...

И тутъ же испытываетъ силу искусства надъ душой короля.

Какъ прекрасно указалъ Н. Н. Страховъ, горе, претворенное въ поэзію становится легче, потому что „оно потеряло свой прежній грубый характеръ, поднялось на какую-то высоту, преобразилось“, — но съ угрызениями совѣсти поэзіи нечего дѣлать — она здѣсь безсильна. Безъ сомнѣнія, „искусство есть высшее изъ *земныхъ дѣлъ*“, какъ сказалъ Ап. Григорьевъ, — но только изъ земныхъ дѣлъ, — а надъ ними, надъ этими земными дѣлами, есть нѣчто *высшее*, и одно это высшее, только оно одно можетъ умиротворить преступную и кающуюся душу... Припомнимъ одну дивную сцену

изъ *Пира во время чумы* Пушкина — появленіе священника, который хочетъ увести Вольсингама съ „безумнаго“ пира. Когда священникъ напоминаетъ ему объ умершей его матери, Вольсингамъ отвѣчаетъ:

Зачѣмъ приходишь ты
Меня тревожить? Не могу, не долженъ
Я за тобой идти; я здѣсь удержанъ
Отчаяньемъ, воспоминаньемъ страшнымъ,
Сознаньемъ беззаконья моего
И ужасомъ той мертвой пустоты,
Которую въ дому моемъ встрѣчаю...
.....
.....
Тѣнь матери не вызоветъ меня
Отсель; поздно слышу голосъ твой
Меня зовущій; признаю усилія
Меня спасти... Старикъ, иди же съ миромъ;
Но, проклять будь, кто за тобой поидетъ...

Вотъ изумительное по силѣ, правдѣ и глубинѣ изображеніе того холоднаго отчаянія, которое заглушаетъ все — даже муки совѣсти. И чтобы разбить это отчаяніе, заставить размячнуться это застывшее въ отчаяніи сердце, священникъ прибѣгаетъ къ послѣднему средству. Но вотъ конецъ сцены:

Священникъ. Матильды чистый духъ тебя зоветъ!
Вольсингамъ (встаетъ). Клянись же мнѣ съ поднятой
къ небесамъ,

Иссохшей, блѣдною рукой, оставить
Въ гробу навѣкъ умолкнувшее имя!
О, если бъ отъ очей ея безсмертныхъ
Скрыть это зрѣлище! Меня когда-то
Она считала чистымъ, гордымъ, вольнымъ,
И знала рай въ объятіяхъ моихъ...
Гдѣ я? Святое чело свѣта! вижу
Тебя я тамъ, куда мой падшій духъ
Не достигнетъ уже...

Женскій голосъ. Онъ сумасшедшій:
Онъ бредитъ о женѣ похороненной!...

Священникъ. Пойдемъ, пойдемъ!
Вольсингамъ. Отецъ мой! Ради Бога
Оставь меня!

Священникъ. Спаси тебя Господь!
Прости, мой сынъ!

Вотъ изумительное изображеніе того отчаянія, той скорби, надъ которою бессильно все земное и которая можетъ быть

умиротворена лишь прикосновеніемъ нездѣшнаго, неземного, прикосновеніемъ Того, Кто однимъ словомъ, однимъ наложеніемъ руки исцѣляетъ всѣ недуги души... Именно это почувствовалъ священникъ: „Прости, мой сынъ. *Спаси тебя Господь*“...

Вотъ гдѣ безсильна поэзія — какъ безсильно и все земное, — вотъ надъ какими душами она не имѣетъ власти...

Но тамъ же, въ тюрьмѣ, Полонскій находитъ и еще душу, надъ которою безсильна поэзія. Трогательно и въ то же время забавно у него это изображеніе „человѣчка“, который былъ „сущій добрякъ“ и въ то же время мечталъ о томъ, чтобы залить міръ кровью. И надъ нимъ безсильна поэзія, если она не воспѣваетъ того, чего по существу своему не можетъ воспѣвать — бредъ слабоумнаго маньяка...

Здѣсь, въ *Жалобахъ музы*, какъ мы видимъ, Полонскій въ первый разъ касается того явленія, которое принято называть *нигилизмомъ*. Безъ сомнѣнія, „человѣчекъ“, такъ удачно и съ такимъ добродушіемъ изображенный имъ, — нигилистъ. Бывали и такіе, точно такіе — и очень много. Но и къ этому явленію Полонскій въ своей поэзіи относится чрезвычайно своеобразно.

Изъ всѣхъ нашихъ поэтовъ въ своей поэзіи нигилизмъ затронулъ серьезно только одинъ Майковъ, въ своей превосходной поэмѣ *Княжна*. Въ этой поэмѣ мы имѣемъ удивительный по глубинѣ и силѣ поэтической анализъ одной стороны нигилизма: въ этой поэмѣ съ неотразимою ясностью, съ безпощадною правдой поэзіи, отъ которой некуда уйти, показано, что нигилизмъ есть страшная и тяжкая кара „за грѣхи отцовъ“ и въ то же время месть исторической Немезиды... По характеру своего дарованія Полонскій совершенно иначе коснулся нигилизма. Здѣсь, какъ и всегда, онъ остается поэтомъ наивныхъ впечатлѣній, переданныхъ съ *любезною* правдивостью. Здѣсь, какъ и всегда, его поражаетъ, даетъ пищу его впечатлительности конкретный фактъ; и здѣсь нѣтъ раздумья претвореннаго въ поэзіи, а есть лишь впечатлѣнія, претворенныя въ поэзію. Вотъ эти впечатлѣнія, выраженные въ стихахъ — другого названія я не приберу этому стихотворенію:

Что мнѣ она! — не жена, не любовница,
И не родная мнѣ дочь!

Такъ отчего жъ ея доля проклятая
Спать не даетъ мнѣ всю ночь!?
Спать не даетъ, оттого, что мнѣ грезится
Молодость въ душной тюрьмѣ:
Вижу я — своды... окно за рѣшеткою...
Койку въ сырой полутѣмѣ...
Съ койки глядятъ лихорадочно-знойныя
Очи безъ мысли и слезъ,
Съ койки висятъ чуть не до-полу темныя
Космы тяжелыхъ волосъ...
Не шевелятся ни губы ни блѣдныя
Руки на блѣдной груди,
Слабо прижатая къ сердцу безъ трепета
И безъ надеждъ впереди...
Что мнѣ она?— не жена, не любовница,
И не родная мнѣ дочь!
Такъ отчего жъ ея образъ страдальческій
Спать не даетъ мнѣ всю ночь!?...

Это впечатлѣніе, очевидно, навѣяно другимъ впечатлѣніемъ, тоже претвореннымъ въ поэзію. И въ этомъ, другомъ своемъ впечатлѣніи Полонскій даетъ очень глубокую и вѣрную картину душевной жизни, приводящей къ нигилизму. Вотъ это прекрасное стихотвореніе. Оно называется *Что съ ней?*

I.

Когда изъ пеленъ порывалась она,
Молилась и жарко мечтала,
Растлѣнная жизнь, зла и грязи полна,
Ей раны свои обнажала.
И въ лучшіе дни, какъ цвѣла красота,
Мечты ея вяли и вяли;
Ни ласковыхъ словъ не шептали уста,
Ни дѣтскихъ молитвъ не шептали.
Пытливый огонь изъ-подъ темныхъ рѣсницъ
Мерцая, въ ней мысль загоралась.
Въ тѣ дни много-много запретныхъ страницъ
Въ безсонныя ночи читалось...
Ея жажда правды томила до слезъ...
На Западѣ бури шумѣли,
И къ намъ проникалъ за вопросомъ вопросъ,
Какъ вѣтеръ, свистя въ наши щели...
Отъ этого вольнаго вѣтра спасти
Нельзя лицемѣрной морали,
Когда люди свято велятъ намъ блюсти
Все то, что они попирали...

II.

И духъ отрицанья ее поѣтилъ,
Онъ понялъ, какая въ ней сила;
Онъ юную душу настолькоъ плѣнилъ
Насколько душа та — изныла;
Науку, семью, государство, права,
Религію, гений, искусство, —
Все, все превратилъ онъ въ пустыя слова,
Насилуя разумъ и чувство.
Иди, говорилъ онъ, иди вслѣдъ за мной,
И будетъ твой путь — путь свободный,
И скоро среди мастерскихъ мы съ тобой
Сойдемся на тризнѣ народной.
На каждой верстѣ — будетъ общій дворецъ;
За трудъ — будетъ плата любовью;
И будетъ тогда отрицанью конецъ, —
Созрѣетъ — политое кровью.
И эти туманныя рѣчи она
При насъ горячо повторяла;
Ея слабый голосъ дрожалъ, какъ струна,
Въ немъ гордая вѣра звучала.

III.

А время все шло, — шло, и много надеждъ,
Имъ грубо задѣтыхъ, сломалось,
Чадясь, погасали восторги невѣждъ, —
И мысль на вѣтру колебалась.
Поблекло лицо ея, — въ темныхъ глазахъ
Мысль робкимъ огнемъ чуть мелькала,
И ужъ не улыбка на блѣдныхъ устахъ, —
Тѣнь прежней улыбки блуждала.
Ея предреканьямъ послушный кружокъ
Давно позабылъ ея грезы;
У каждаго путь свой — и свой уголокъ
Нашелся для грезъ и для прозы.
И тотъ, кто взялъ дань съ ея сердца, и тотъ
Пошелъ ужъ другою дорогой,
Ей бросивши на руки много заботъ
И грудь познакомивъ съ тревогой...
И вотъ, чтобъ друзей не осталось слѣда,
Нужда въ ея дверь постучалась...
И билась она, и искала труда, —
И гдѣ теперь? Что съ нею сталося?

IV.

Ушла ли на Западъ она, въ край чужой,
Гдѣ жатва давно ужъ созрѣла,

И все, что не смято въ ней братской враждой,
Для новой вражды уцѣлѣло?
Ушла ли она въ наши степи, — туда,
Гдѣ нѣтъ ни конца ни начала,
Гдѣ требуетъ время иного труда
И вѣры иного закала?
Или, изможденная страшной борьбой,
Въ чаду, въ тѣснотѣ еле дышитъ,
И чуткая, слышитъ бредъ жизни хмельной
И — Боже! — неужели слышитъ, —
Какъ духъ отрицанья глумится надъ ней,
И даже ее отрицаетъ,
Ее, — кто ему въ жертву несъ радость дней
И ради его погибаетъ!
Ожесточенная врядъ ли пойметъ,
Что въ безднѣ людскихъ заблуждений
Лишь только поэтъ искры сердца найдетъ,
А искры ума — только геній.

Здѣсь мы видимъ то, что часто встрѣчалось въ нигилизмѣ: заблужденіе слабаго ума, соединенное съ благородными порывами рано оскорбленнаго сердца. Но центръ всего дѣла, безъ сомнѣнія, не въ бѣсѣ-отрицателѣ, который, очевидно, былъ мелкій бѣсъ, изъ самыхъ „не чиновныхъ“. Долго ли было, въ самомъ дѣлѣ, въ головѣ слабоумной „превратить въ пустыя слова“ — „науку, семью, государство, права, религію, геній и искусство“ — вѣдь для этой головы все это, исключая развѣ *семьи* — и безъ того было „пустыми словами“, то-есть, словами, содержаніе которыхъ совершенно неизвѣстно. Центръ дѣла не тутъ — онъ совсѣмъ въ иномъ:

И въ лучшіе дни какъ цвѣла красота,
Мечты ея вяли и вяли.

*Ни ласковыхъ словъ не шептали уста,
Ни дѣтскихъ молитвъ не шептали...*

Не шептали — потому что некому было ихъ шептать, потому что никто не научилъ ихъ шептать — некому было и никто не научилъ въ той растлѣнной жизни“, которая „зла и грязи полна“ и среди которой выросла и развилась юная отрицательница. Такую душу легко было побѣдить демон-отрицателю, даже и мелкаго разбора. Безъ сомнѣнія, и стихотвореніе *Что мнѣ она?* — навѣяно воспоминаніемъ о подобной же юной отрицательницѣ. И въ томъ, и въ другомъ стихотвореніи свѣтитъ трогательная жалость къ этимъ

нравственно-худосочнымъ, къ этимъ умственно-слабымъ, погибающимъ безо всякой своей вины, какъ тѣ щепки, которыя летятъ куда попало, когда рубятъ лѣсъ...

Въ этихъ статьяхъ я далеко не исчерпалъ все содержаніе поэзіи Полонскаго. На многое пришлось только намекнуть. Такъ, напримѣръ, я до сихъ поръ не упомянулъ еще о *Кузничикъ-Музыкантъ*. Но если заняться подробнымъ анализомъ этого превосходнаго произведенія Полонскаго, то пришлось бы посвятить ему отдѣльную статью. Ограничусь лишь нѣсколькими замѣчаніями. Тонъ *Кузничика* — это основной тонъ Полонскаго, тонъ придающій какую-то эйриность его изображеніямъ, тонъ поэтической наивности и простодушнаго примиренія. Это основной тонъ, и вся поэзія Полонскаго является разнообразными варіаціями этого тона. „Простодушная грація“ поэзіи Полонскаго болѣе всего выразилась именно въ *Кузничикъ*.

Хотѣлось бы сказать еще о стихотвореніяхъ Полонскаго, темой для которыхъ послужилъ античный міръ. Ихъ довольно много, и всѣ они превосходны. Приходится опять сказать кратко лишь то существенное, что можно о нихъ сказать. Если у Пушкина, у Майкова античный міръ какъ бы самъ встаетъ передъ нами, заслоняя поэтовъ; если Фетъ передаетъ намъ свое впечатлѣніе отъ этого міра (напримѣръ въ стихотвореніи *Диана*), то у Полонскаго тѣ же впечатлѣнія, но какія то совсѣмъ инныя, особенныя. Онъ какъ бы видитъ во снѣ этотъ античный міръ, его искусство, легенду, которою жилъ онъ — онъ видитъ все это какъ бы во снѣ — и вѣрить и не вѣрить этому сну. Таковы лучшія его стихотворенія на эти темы, какъ напримѣръ „Статуя и Наяды“ — и этою своею особенностью онъ производятъ неотразимое и неизгладимое впечатлѣніе. Чтобы дать понятіе о подобныхъ его стихотвореніяхъ приведемъ здѣсь одно — *Наяды*.

Я всю ночь просидѣлъ на уступѣ скалы,
И знакомый мнѣ ропотъ я слышалъ у ногъ:
То Эгейское море катило валы

И плескало на рыхлый песокъ.

Тамъ, довѣрясь пустынь, я громко читалъ
Заунывныя пѣсни отчизны моей,
Говорилъ я народу, не видя людей,
И далеко по взморью мой голосъ звучалъ.
Надъ пучиною, въ лонѣ глубокихъ небесъ,

Почиваль громовержецъ Зевесъ...
Все попрежнему! — вѣра была не нова...
И я громко боговъ уличаль; но едва
Я замолкъ, — на яву увидалъ чудный сонъ:
Въ лунный блескъ изъ воды поднялась голова
И другая, и третья, и слѣдомъ за ней,
На поверхности ровно-бѣгущихъ зыбей,
И вдали и вблизи, цѣлый рой
Ихъ возникъ изъ пучины морской.
То все были Наяды. Въ серебряной мглѣ
Рисовались ихъ очерки; тихо онѣ
Колыхались иплыли, какъ пѣна, къ землѣ,
И нагя мерпали при полной лунѣ...
И луны отраженье колебля, заливъ
Тихо къ отмели несъ ихъ, журча какъ потокъ,
И къ отлогому берегу, молча, приплывъ,
Нимфы моря локтями на влажный песокъ
Оперлись и понизли...

Я долго не могъ
Ни понять ни разслушать ихъ. Вдругъ
Сладкогласная рѣчь поразила мой слухъ:
Это онъ! земнородный титанъ Прометей,
Что похитилъ огонь у небесъ! — это онъ,
Одарившій думою людей!
Не его ли мы слышали стонъ?
Тихе сестры! — быть можетъ, опять
Мы услышимъ страдальческій голосъ его,
Научающій мыслить, страдать
И любить, не боясь никого!
Въ этотъ мигъ надъ заливомъ свинцовой горой
Поднялася громада — волна. Страшный гулъ
Сонный воздухъ потрясъ, и изъ пѣны морской.
Закачавшись, трезубецъ мелькнулъ.
Кверху — брызнулъ фонтанъ, книзу — прынулъ каскадъ,
Захрапѣли подводные кони... Я могъ
Только видѣть сквозь брызги зубчатый вѣнокъ
Сѣдовласаго бога — владыки Наядъ;
Но не видѣлъ лица его. Сильной рукой
Онъ вожжами хлестнулъ, и сердито-глухой
Раздался его голосъ: „Вотъ я васъ! назадъ!“
На-яву ли, — не знаю, быть можетъ, во снѣ,
Все мгновенно исчезло — и онъ, и онъ.
Только плачущій валъ
По песку прокатился до каменныхъ скалъ,
Только я просидѣлъ до румяныхъ лучей...
Поднимались ночные пары; чуть дышалъ
Поблѣднѣвшій заливъ, и я чутко молчалъ,
И молчало все...

Блѣдныя нимфы морей,
Не титанъ я, безсмертнаго міра творецъ.
Обманули васъ пѣсни отчизны моей!
Испугалъ васъ ревнивый отецъ!

Если вмѣстѣ съ этимъ стихотвореніемъ читатель обратитъ вниманіе на другое — *Статуя*, то онъ почувствуетъ всѣ особенности въ стихотвореніяхъ Полонскаго на подобныя темы...

Не могу не прибавить еще нѣсколько словъ ко всему сказанному о поэзіи. Мы говорили о поэзіи, объ ея свободѣ, о той дѣйствительности, которую она воспѣваетъ, о томъ презрѣніи въ міры иные, какое свойственно только поэзіи, наконецъ, о томъ, что созданія истинной поэзіи вѣчны. Да „вѣчны“, говорятъ иные, но до какихъ поръ?

„Пока живъ будетъ хоть одинъ пійтъ“, или пока мертвая природа щадитъ созданіе искусства? А потомъ?

Такіе или подобные вопросы задаетъ Тургеневъ въ своемъ *Довольно*.

„Не условность искусства меня смущаетъ“ — пишетъ онъ — „его бренность, опять-таки его бренность, его тлѣнь и прахъ — вотъ что лишаетъ меня бодрости и вѣры. Искусство, въ данный мигъ, пожалуй, сильнѣй самой природы, потому что въ ней нѣтъ ни симфоніи Бетховена, ни картины Рюиз-даля, ни поэмы Гёте — и одни лишь недобросовѣстные педанты или тупые болтуны могутъ еще толковать объ искусствѣ, какъ о подражаніи природѣ; но въ концѣ-концовъ, природа неотразима; ей спѣшить нечего и рано или поздно она возьметъ свое“. Сказавъ о томъ, какъ онъ понимаетъ природу, Тургеневъ продолжаетъ:

Она такъ же спокойно покрываетъ плѣснью божественный ликъ Фидіасовскаго Юпитера, бѣкъ и простой голышъ, и отдастъ на съѣдѣніе презрѣнной моли драгоценнѣйшія строки Софокла.

Очевидно, эти строки, эти сомнѣнія вытекаютъ изъ душевной раздвоенности Тургенева: потерявъ вѣру въ индивидуальное безсмертіе, а въ то же время самъ будучи поэтомъ, онъ никакъ не можетъ свести концы съ концами, и остается въ постоянномъ недоумѣніи. Если этотъ міръ, такимъ какъ онъ есть, не вѣченъ, то не могутъ быть вѣчны и произведенія искусства; это правда; но вѣчны они въ душѣ

ихъ творцовъ. Это чувствуютъ всѣ поэты, — а одинъ изъ нихъ выразилъ эти свои чувства въ слѣдующемъ прекрасномъ стихотвореніи:

Нѣтъ! мнѣ не вѣрится, что мы воспоминанья
О жизни въ гробъ съ собой не унесемъ,
Что смерть, прервавъ навѣкъ и радость и страданья,
Насъ усыпить забвенья тяжкимъ сномъ.
Раскрывшись гдѣ-то тамъ, ужель ослѣпнуть очи,
И уши навсегда утратить слухъ?
И память о быломъ во тьмѣ загробной ночи
Не сохранить освобожденный духъ?
Ужели Рафаэль, на томъ очнувшись свѣтъ,
Сикстинскую Мадонну позабылъ?
Ужели тамъ Шекспиръ не помнитъ о Гамлетѣ,
И Моцартъ Реквиемъ свой разлюбилъ?
Не можетъ быть! Нѣтъ, все что свято и прекрасно,
Простившись съ жизнью, мы переживемъ
И не забудемъ, нѣтъ! Но чисто не безстрастно
Возлюбимъ вновь, сливаясь съ Божествомъ!

Вотъ какъ понимаютъ или, лучше сказать, чувствуютъ поэты вѣчный смыслъ искусства; о значеніи же его здѣсь на землѣ, мы говорили раньше:

Wage du zu irren und zu träumen!... Вотъ чему насъ учить поэзія: „Дерзай заблуждаться и грезить“ — ибо тотъ, кто не умѣетъ заблуждаться и грезить — не человѣкъ, а механическая кукла, ибо безъ заблужденія и грезы и самый міръ обратился бы въ голую и бесплодную пустыню...

Николаевъ.

Полонскій — поэтъ задушевнаго чувства, его искренность и оригинальность.

Род. Я. П. Полонскій въ Рязани 6 дек. 1819 г.; сконч. въ С.-Пб. 18 окт. 1898 г. Умеръ поэтъ задушевнаго чувства. Этимъ не исчерпывается поэзія Полонскаго, но это, конечно, самая отличительная ея особенность. Надо всѣмъ разнообразіемъ житейскихъ, общественныхъ и историческихъ мотивовъ, освѣщенныхъ мягкимъ свѣтомъ его поэзіи, господствуетъ у Полонскаго эта внутренняя основа простого и глубокаго человѣческаго чувства. Эта простота проявляется даже тамъ,

гдѣ по сюжету всего менѣе можно было бы ее ожидать. Послѣ Пушкина и Лермонтова, но не по ихъ слѣдамъ, Полонскій отдалъ поэтическую дань Кавказу. Величіе природы, живописность туземнаго быта, героизмъ разнаго рода — русскій и черкесскій, мужской и женскій — все это у него на заднемъ планѣ, а по срединѣ — задушевная простота чувства, выступающаго и въ его прощаніи съ Кавказомъ:

...Одинокое сердце оглянется
И забьется знакомой тоской.
Вспомню домикъ твой, дворикъ, увѣшанный
Виноградными листьями, тѣнь,
Гдѣ, твоимъ лепетаньемъ утѣшенный,
Я вкушала безмятежную лѣнь...

Чѣмъ, кромѣ простоты задушевнаго чувства, отличаются тѣ стихотворенія Полонскаго, которыя стали популярными пѣснями: „Погадай-ка мнѣ, старушка“; „Мой костеръ въ туманѣ свѣтитъ“; „Въ одной знакомой улицѣ“? И на тѣ жизненныя темы, которыя возбуждали въ другихъ поэтахъ обличительное негодованіе въ ту или другую сторону, Полонскій отзывался съ тою же задушевною простотою, на примѣръ: „Что мнѣ она? не жена, не любовница и не родная мнѣ дочь“... Поэтъ не былъ слѣпъ къ сложности исторической жизни, но болѣе всего онъ отзывался на тѣ простыя человѣческія отношенія, которыя скрываются за этою сложностью: такъ, въ запутанной и темной исторической трагедіи — второй имперіи — онъ отмѣтилъ только два лица — мать и сына. А удивительный „Кузнечикъ-Музыкантъ“, въ которомъ та же глубина чувства превращаетъ зачинавшуюся сатиру въ идиллію и заканчиваетъ такою трогательною элегіей?... А какъ та же сила задушевности боролась у Полонскаго съ классическою формою и подъ конецъ одолевала ее („Аспазія“, „Кассандра“)!... Много оставилъ Полонскій для исторіи русской литературы, но то, что останется отъ него въ душѣ русскаго народа, пока живъ русскій языкъ, — то все написано имъ, какъ главнымъ послѣ Пушкина поэтомъ простого задушевнаго чувства. Это въ немъ самое цѣнное, что сразу вспомнилось при вѣсти о его кончинѣ. А подробная оцѣнка его поэзіи — впереди.

Соловьевъ В.

Яковъ Петровичъ Полонскій принадлежитъ къ числу безупречныхъ поэтовъ нашего времени. Мало того — онъ одинъ изъ талантливѣйшихъ. Молодое поколѣніе знаетъ наизусть многія стихотворенія Полонскаго; дѣти твердятъ его прекрасную пьесу „Солнце и мѣсяцъ“. Все это служить неоспоримымъ ручательствомъ искренности и оригинальности нашего поэта. Между тѣмъ многіе, и даже талантливые критики, упрекали его въ безличности. По нашему мнѣнію, онъ одинъ изъ самыхъ личныхъ поэтовъ современности, послѣ Огарева, Некрасова, Фета, Майкова. Въ чемъ же заключается оригинальная сторона произведеній Полонскаго? Справедливо замѣчено, что появленіе великаго поэта оставляетъ по себѣ нѣкоторую пустоту въ литературѣ, когда великій поэтъ смолкаетъ. Нужно быть слишкомъ самостоятельнымъ для того, чтобъ не увлечься общимъ потокомъ. Нужно быть Кольцовымъ или Лермонтовымъ. Говорить ли о колоссальной личности Пушкина, отозвавшагося, съ свойственной ему гениальностью, на всѣ вопросы времени и искусства? Пушкинъ замыкаетъ собой прежній періодъ нашей литературы, или, лучше сказать, заслоняетъ собой прежнюю литературу и полагаетъ прочное основаніе національному творчеству до того прочное, что прежняго порядка вещей какъ бы уже не существуетъ съ его появленіемъ въ литературѣ. Наслѣдство Пушкина раздробилось на части между позднѣйшими нашими поэтами, тѣми, которые, по справедливости, называются второстепенными. Вмѣстѣ съ новыми, самобытными элементами своей музыки, Пушкинъ внесъ въ литературу и широкое пониманіе образцовъ иностранныхъ. Онъ первый далъ намъ уразумѣть красоты поэтовъ Италіи, возвелъ насъ до пониманія Шекспира, далъ почувствовать прелести греческой антологіи, привилъ байроновскій жизненный элементъ къ русской поэзіи (вспомните, что современники сравнивали Байрона съ Руссо и находили огромное сходство между обоими великими писателями). Такимъ образомъ, гениальностью одного человѣка введены были въ поэзію нашу и настоящее искусство и настоящая жизнь. Послѣдующіе поэты поняли, что внѣ національности нѣтъ поэзіи, и что ни одно изящное произведеніе не можетъ быть признано поэтическимъ, не подѣйствуетъ на массы, не будетъ имѣть значенія, если окажется не-

удовлетворительнымъ въ художественномъ отношеніи. Отсюда начало раціональнаго изученія великихъ образцовъ искусства и начало жизненнаго творчества. И между всѣми отраслями нашей литературы существуетъ въ этомъ отношеніи прочное единство. Болѣе свободныя формы повѣсти и романа быстро двинулись впередъ, благодаря множеству замѣчательныхъ талантовъ, которые принялись разрабатывать эту свѣжую почву. Присматриваясь къ послѣднимъ результатамъ нашихъ беллетристовъ, нельзя не замѣтить, что они въ значительной степени готовятъ уже матеріалъ для лирическаго поэта, который тогда только можетъ могущественно начать свою дѣятельность, когда добыто будетъ для него полное жизненное содержаніе. Съ другой стороны, лиризмъ Пушкина все еще сохраняетъ за собой прежнее свое могущество. Да и что новаго внести въ жизнь, когда вы, читатель, все еще живете Пушкинымъ!

Среди нѣкотораго застоя нашей лирической поэзіи, происходящаго не по недостатку новыхъ талантовъ, а по причинамъ чисто историческимъ, нѣкоторые изъ нашихъ поэтовъ применили къ тому направленію, которое преобладаетъ въ новѣйшей беллетристикѣ. Сравнительно, это огромный шагъ впередъ, и совокупная дѣятельность Огарева, Хомякова, Аксаковыхъ, Майкова, Некрасова достигнетъ, можетъ быть, того, что и лирическая поэзія станетъ у насъ въ такія прямыя отношенія къ новѣйшей міровой жизни, въ какія романъ и комедія стали къ народной. Послѣ названныхъ нами писателей, Полонскій всѣхъ болѣе отличается теплотою чувства, проявленіемъ симпатической личности въ своихъ стихотвореніяхъ. Прямому, сильному выраженію этого чувства препятствуетъ какая-то робость, весьма объяснимая въ наше время застоя лиризма. Но возьмите любое изъ оконченныхъ стихотвореній Полонскаго, наиболѣе доставляющихъ подозрѣвать въ себѣ присутствіе объективнаго творчества, и вы увидите, что поэтъ прибѣгъ для выраженія своего чувства къ иносказательной формѣ. Это напоминаетъ намъ отчасти древнія народныя пѣсни, въ которыхъ душевныя ощущенія выражались соотвѣтствующими имъ образами природы. Вы скажете, можетъ быть, что такимъ же образомъ выражается и Фетъ, и другіе пластыки. Нѣтъ! Полонскій не увлекается образами, рисуя ихъ, насколько

нужно ему для выраженія своего чувства. Таковъ отличный характеръ нашего поэта. Чтобы убѣдиться, прочтите превосходныя стихотворенія его: „Дубокъ“, „Въ одной знакомой улицѣ“, „Качку въ бурю“, „Пришли и стали тѣни ночи“, „Мысли“, „Не жди“, „Моя судьба“, „Лѣсъ“, „Колыбель малютки“ и пр. и пр., — для полноты указанія намъ бы нужно было перебрать всю книгу. Въ этихъ-то стихотвореніяхъ скрывается натура поэта, полная сочувствія и въ высшей степени симпатичная. Отсюда получаютъ значеніе пьесы, написанная на Кавказѣ подъ южнымъ небомъ, въ уединеніи, среди роскошной природы. Теплота и искренность разлиты въ этихъ задушевныхъ страницахъ Полонскаго. Мы не станемъ разбирать здѣсь, по многимъ причинамъ стихотворенія „Дубокъ“; но изъ граціозной пьески: „Затворница“ такъ и просятся на память эти три стиха, которые говоритъ поэту дѣва его фантазіи:

Послушай, убѣжимъ!...
Гдѣ нѣтъ людей прощающихъ,
Туда возврата нѣтъ!

Тамъ, гдѣ поэтъ старается одолѣть чуждый ему элементъ или остается подражателемъ, стихи у него выходятъ и слабы и холодны. Сюда нельзя не отнести, на примѣръ, „Узника“, „Разказа волнъ“ и слабого перевода Гётева „Рыбака“. Зато какъ милы тѣ образы, которые онъ создаетъ подъ вліяніемъ собственнаго, непосредственнаго чувства! Что, на примѣръ, въ „Русой головкѣ“, которую онъ воспѣлъ и которую воспѣваютъ цѣлыя тысячи пѣвцовъ? А между тѣмъ простая, веселая пѣсенка эта такъ оригинальна, что невольно ложится на музыку. Какъ будто противясь внутреннему своему стремленію, поэтъ нашъ, въ послѣднее время, болѣе и болѣе старается облекать лирическія мысли свои въ образы, и въ этомъ отношеніи начинаетъ уже мастерски овладѣвать формой. У него начинаетъ вырабатываться даже собственная манера. Прочтите, на примѣръ, слѣдующее маленькое, но полное содержанія стихотвореніе, въ которомъ личность художника какъ бы совершенно скрыта, и если вы хоть сколько-нибудь знакомы съ нашимъ поэтомъ, вы скажете, что оно принадлежитъ Полонскому.

У АСПАЗІИ.

Гость.

Чтобъ это значило? — вижу, сегодня ты
Домъ свой, какъ храмъ, убрала:
Между колоннъ занавѣсы подняты;
Благоухаетъ смола;
Цитра настроена, свитки разбросаны;
У посыпающихъ полъ
Смуглыхъ рабынь твоихъ косы расчесаны;
Ставятъ амфоры на столъ.
Ты же блѣдна, — словно всѣми забытая,
Молча стоишь у дверей?

Аспазія.

Площадь отсюда видна мнѣ, покрытая
Тѣнью сквозныхъ галлерей.
Шумъ ея замеръ, и это молчаніе
Въ полдень такъ странно, что вновь
Сердце мнѣ мучить тоска ожиданія,
Радость, тревога, любовь.
Буйныхъ Аѳинъ тишину изучила я:
Это — Периклъ говорить...
Если блѣдна и молчитъ его милая,
Значить — весь городъ молчитъ!...
Чу! шумъ на площади... рукоплесканія...
Друга вѣнчаетъ народъ!...
Но и въ лавровомъ вѣнкѣ изъ собранія
Онъ въ эти двери войдетъ.

Таково же, если еще не выше, и другое изъ новѣйшихъ стихотвореній Полонскаго: „Агарь“. Мы не упоминаемъ о стихотвореніяхъ, которымъ уже давно наша критика воздала должную дань хвалы и поощренія; такія пьесы, какъ: „Пришли и стали тѣни ночи“, „Зимняя дорога“, „Уже подъ ельникомъ изъ-за вершинъ колючихъ“, „Качка въ бурю“ давно оцѣнены по достоинству. Теплый лиризмъ сквозитъ во всѣхъ произведеніяхъ Я. П. Полонскаго. Изъ-за образовъ вы видите поэтическую натуру, сочувствующую благороднымъ стремленіямъ времени. Посмотрите, какъ хороши у него всюду описанія природы, когда онъ касается ихъ мимоходомъ. Но Полонскій поэтъ лирическій по преимуществу, — онъ не увлекается ими, точно такъ же, какъ не въ силахъ былъ бы примѣнить и къ лиризму отрицательному,

который не по плечу его кроткой, любящей, сочувствующей музѣ. Какъ бы то ни было, книжка, лежащая передъ нами— плодъ свѣтлыхъ минутъ жизни одного изъ наиболѣе талантливыхъ современныхъ поэтовъ*). Она составляетъ превосходный подарокъ литературѣ и, думаемъ, уже встрѣтила общее сочувствіе публики. Мы показали общій характеръ музы Полонскаго, не излагая подробно всѣхъ ея достоинствъ и не указывая на недостатки, неизбежные всякой дѣятельности. И что Полонскому въ нашемъ совѣтѣ? Совѣтъ лежитъ въ самомъ времени. Отъ начала до конца своего поприща онъ былъ постоянно преданъ искусству и совершенствовался. Чистое, постоянное, усердное служеніе своему призванію, и при холодности, и при невниманіи критики, и при многотрудныхъ житейскихъ обстоятельствахъ, служеніе ничѣмъ не возмущаемое и ничѣмъ не остановимое, вотъ заслуга Полонскаго, вотъ его дорогое право на уваженіе современниковъ. Теперь поэтъ уже возмужалъ окончательно. Нагрянь въ литературу нашу счастливая волна лиризма, и поэтъ сдѣлаетъ многое.

Дружининъ.

Вдохновенная Муза почившаго поэта очень симпатична. Она женственно пассивна въ страданіи, незлобива и груститъ объ утраченныхъ дняхъ радости и счастья. Краткая и стыдливая, съ симпатичнымъ выраженіемъ задушевной искренности въ чертахъ, съ облачкомъ свѣтлой грусти на челѣ, съ кротко печальной улыбкой на устахъ, она нашептывала поэту полныя граціознаго юмора фантастическія сказки, навѣвала сладкія грезы, и въ стихахъ съ мѣрно качающимся ритмомъ напѣвами страстныя, смутно волнующія, какъ музыка, пѣсни, граціозно изящныя, какъ тонкая, причудливая арабеска. Міръ былъ населенъ для почившаго поэта какими-то чудными выдѣленіями, увлекавшими его далеко за предѣлы дѣйствительности, а природа представлялась ему въ видѣ какого то милаго и очень близкаго существа, съ которымъ онъ любилъ разсуждать о предметахъ, занимавшихъ его воображеніе. Это влеченіе Полонскаго къ неодушевленному міру животныхъ и въ жизни неодушевленной природы объясняется свойственною ему способностью

*) Стихотворенія Я. П. Полонскаго, 1855.

отзываться лишь на общее настроеніе, подмѣчать общій типъ, улавливать общій тонъ.— Ни холодный живописецъ, Майковъ, поклонникъ классическаго міра, но поэтъ едва уловимыхъ, мимолетныхъ ощущеній Фетъ, ни пантеистъ Тютчевъ, ни полный размахистой удали, остроумія мужества А. Толстой, ни меланхолически-сентиментальный Плещеевъ, не говорили и не говорятъ такъ сердцу читателя, какъ Полонскій, этотъ задумчивѣйшій изъ русскихъ лириковъ. Свободная образность языка придава его пѣвучему, музыкальному стиху, на которомъ еще лежитъ отблескъ Пушкинскаго изящества, необыкновенное обаяніе. Широко понимая задачи поэта и поэзіи, Полонскій часто служилъ искусству, воспринялъ отъ Пушкина широту поэтическихъ горизонтовъ. Онъ навсегда останется дорогъ русскому обществу не только какъ авторъ многихъ великолѣпныхъ стихотвореній, которыя вошли — въ видѣ пѣсенъ — даже въ народъ, но и какъ гуманистъ 40-хъ годовъ, проникнутый безграничныхъ уваженіемъ къ наукѣ и любовью къ правдѣ и челоуѣку.

Михайловъ.

Живое челоуѣческое чувство, теплое чувство народности, которыми согрѣты стихотворенія Полонскаго, и художественная ихъ форма.

Небольшая книжка; избранная подъ этимъ заглавіемъ*) и заключающая въ себѣ стихотворенія всего за четыре года, должна быть разсматриваема какъ прекрасный вечеръ того трудового поэтическаго дня, какимъ представляется жизнь Я. П. Полонскаго. Да, его литературная жизнь — это дѣйствительно жизнь поэта — въ томъ смыслѣ, какъ понималъ ее Пушкинъ, съ такою любовью охарактеризованный въ стихотвореніи, которымъ заключается лежащая передъ нами книжка. Я. П. Полонскій является однимъ изъ весьма немногихъ въ наши дни служителей чистаго искусства, т.-е. того, которое само себѣ цѣль — въ этомъ смыслѣ, что не поддѣлывается подъ вкусъ толпы, равнодушно пріемлетъ хулу и похвалу и не оспариваетъ глупца.“ Но въ тоже

*) „На Закатѣ“.

время Полонскій живой человѣкъ, и потому его поэзія отзывчива на вопросы вѣка и даже на вопросы дня, и онъ смѣло могъ бы сказать на своемъ закатѣ, что стихами своими онъ былъ „полезенъ“, что „чувства добрыя онъ людямъ возбуждалъ“. Образы дня воплощенія своихъ поэтическихъ думъ беретъ онъ, какъ и великій, имъ воспѣтый, учитель, отовсюду, между прочимъ, и изъ міра классическаго — но съ особенною любовію, какъ и Пушкинъ, изъ міра нашихъ народныхъ преданій. Муза явилась ему, рассказываетъ онъ намъ въ своемъ „Закатѣ“, еще во дни ребячества сказочно Царь-дѣвицей, которой нѣтъ краше на свѣтѣ. Тогда уже говоритъ онъ, она пригласила мнѣ на лбу свою печать.

Жду — вторичнымъ поцѣлуемъ
Заградивъ мои уста —
Красота въ свой тайный теремъ
Мнѣ отворить ворота!

Но въ этомъ ея тайномъ теремѣ ждетъ поэта не одно только сладострастное созерцаніе ея наружныхъ чаръ; — нѣтъ, въ него входитъ и затѣмъ, чтобы благоговѣнно дѣлать

Ту заповѣдную мечту,
Что всѣмъ народамъ смутно снилась
И что въ земную красоту
Еще нигдѣ не воплотилась.

Безъ этой творческой мечты, по его убѣжденію, — „нѣтъ законнаго союза съ музою“, которую онъ лишь называетъ, въ письмѣ своемъ къ ней, этимъ классическимъ именемъ, но которую понимаетъ совсѣмъ не въ античномъ, а въ христіанскомъ смыслѣ. Не даромъ же она указываетъ ему на вдохновляющую силу.

Обновить тотъ міръ, въ которомъ
Славу добываютъ кровью, —
Міръ съ могущественной ложью
И съ бессильною любовью.

Въ сжатой, но выразительной формѣ показываетъ намъ поэтъ, на основаніи библейскаго сказанія, какъ зачался этотъ грѣшный порядокъ вещей послѣ прародительскаго паденья:

И озиралъ злой духъ съ презрѣньемъ
Добычу смерти — пышный міръ. —

И вдругъ онъ опять встрѣчается съ соблазненной имъ женой...

Онъ ждалъ слезы — улыбки рая,
Моленій, робкаго стыда...
И чтожъ въ очахъ у ней? Такая
Непримиримая вражда,
Такая мощь души безъ страха,
Такая ненависть, какой
Не ждалъ онъ отъ земного праха
Съ его минутной красотой *).

Но этой непримиримой вражды, этой ненависти къ побѣдоносной жи еще недостаточно, чтобы выхватить у нея побѣду. Вражда, ненависть — только отрицательная сила, а для борьбы съ ложью — она же и зло — нужна сила положительная, нужно дѣятельное стремленіе къ правдѣ, къ добру, нужна любовь, стремящаяся уврачевать тѣ недуги, которые коренятся въ прародительскомъ грѣхѣ. Но вотъ уже скоро минетъ девятнадцать вѣковъ съ тѣхъ поръ, какъ Христосъ явилъ намъ воплощенный идеалъ этой любви, — а міръ все упорно глухъ къ ея живоноснымъ внушеніямъ. Нашъ поэтъ воспользовался старой легендой о Вѣчномъ Жидѣ, чтобы воплотить въ немъ эту вѣками застарѣлую глухоту — этотъ духовный недугъ „безучастія“. И поэтъ воспользовался старымъ легендарнымъ образомъ такъ, что онъ является у него живую уликою нашему просвѣщенному XIX столѣтію. Вѣчный жидъ спрашиваетъ:

Я ль одинъ изчадье свѣта?...
Вотъ во славу Магомета...
Распинается народъ...

А все потому, что такъ оно нужно той „могущественной жи“, предъ которою долженъ умолкнуть Духъ вѣка. Но поэтъ твердо вѣрить, что онъ не умолкнетъ.

Духъ вѣка — это Божій духъ... Ни современный Вавилонъ.

Его не слышалъ Вавилонъ,	Такъ вѣка чернь не поняла
Не слышитъ и востокъ раст-	И гильйотину вмѣсто трона
лѣнный,	Воздвигла и Наполеона
Ни Валтассаръ намъ современ-	Въ свои кумиры возвела.
ный,	

*) „Въ потерянномъ раю“.

Но если „стопобѣдному сыну молвы“, какъ величаетъ нашъ поэтъ Наполеона, за измѣну его „Духу вѣка“, Богъ уготовалъ пожаръ Москвы, то и для Англіи, предвѣщаетъ поэтъ, наступить, наконецъ, часъ суда за ея торгашескій „союзъ съ Магометомъ“. Цѣлый рядъ задушевныхъ стихотвореній посвященъ нашимъ поэтомъ восточному вопросу, котораго столь многозначенательный фазисъ только что пережить нами, а невдалекѣ за нимъ уже видится новый, и, можетъ быть, окончательный. И свою поминальную пѣсню старшему собрату поэту О. И. Тютчеву Я. П. Полонскій связалъ съ этою великою міровою задачей:

Оттого ль, что въ Божьемъ мірѣ	Оттого ль, что онъ въ народъ
Красота вѣчна,	Красота вѣчна, свой
У него въ душѣ витала	Вѣрилъ и страдалъ,
Вѣчная весна...	И ему на цѣни братьевъ
.....	Издали казалъ,—
Оттого ль, что не отъ свѣта	Чую: духъ его то вѣрить,
Онъ спасенія ждалъ,	То страдаетъ вновь,
Выше всѣхъ земныхъ кумировъ	Ибо льется кровь за братьевъ,
Ставилъ идеалъ...	Льется наша кровь!
.....	

Съ особенною силою воспроизведено поэтомъ настроеніе той поры — когда въ самый разгаръ Герцеговинскаго возстанія и передъ началомъ сербской войны, въ насъ только еще назрѣвало то, что вскорѣ потомъ разрѣшилась столь увлекающимъ одно время всѣхъ и такъ скоро потомъ поруганнымъ, втоптаннмъ въ грязь, „русскимъ добровольчествомъ“.

Мнѣ грезилось, что я за нихъ,
За нищихъ братіевъ моихъ
Иду сражаться съ ихъ врагами

.....
Мнѣ грезилось, меня ведутъ
Мнѣ лицемѣрно руки жмутъ
И руки вяжутъ...

Повѣствуетъ намъ поэтъ, воображая и себя въ положеніи Любибратича, предательски заманеннаго и арестованнаго австрійцами, а затѣмъ говоритъ какъ бы его устами:

Коли политика у васъ
Безчеловѣчна и безбожна —
Богатство, слава — все ничтожно —
И вамъ измѣнить вашъ расчетъ;
И не пойдете вы впередъ...
Воскресъ нашъ духъ и мы возстали

У сильныхъ міра не спросясь,
Мы помощи отъ братьевъ ждали
Мы не надѣялись на васъ...

.....
Такъ говорилъ я, горячася
И вдругъ — очнулся пристыженный...
Я дома!...
....Гдѣ жъ отвага,
Гдѣ мечъ побѣдный, гдѣ мой плѣнъ?...
Я посреди бездушныхъ, стѣнъ
Сижу и никну...*)

Ему только грезилось, что и онъ русскій, тамъ, гдѣ сражаются за свободу его братья и гдѣ вожди ихъ попадаютъ въ сѣти, разставленныя не одними турками, но и христіанами. Грезы однако же перестали, какъ извѣстно, быть грезами, — и въ дѣйствительности, наконецъ, оказалось уже не добровольческая только, но и общерусская освободительная война за славянъ.

Больно перечитывать то, что посвятилъ великой годинѣ поэтъ нашъ; больно послѣ всѣхъ горькихъ разочарованій, какими увѣнчались всѣ наши подвиги: особенно больно въ виду, съ одной стороны — свѣжей еще могилы героя, плакавшаго при нашемъ отступленіи отъ Цареграда, съ другой — того множества „жалкихъ Оерситовъ“, которые остались намъ въ утѣшеніе за „великаго Патрокла“, — Оерситовъ, такъ спокойно снесшихъ нашъ Берлинскій позоръ и не думающихъ о томъ, что скоро, скоро опять постучится въ двери женихъ, найдетъ насъ, пожалуй, совсѣмъ уже не запасшимся елеемъ! Но честь и слава поэту нашему, что онъ не измѣнился въ „братьямъ славянамъ“ и тогда, когда это имя обратилось въ насмѣшливую кличку, неизмѣнился потому, что тутъ, какъ и всегда, имъ руководила не мимолетная „злоба дня“, а глубокое проникновеніе „духомъ вѣка“, потому что и тутъ онъ „пѣлъ“ не по заказу, а въ силу того, что „пѣлось“, пѣлось же потому, что въ служитель „чистаго искусства“ билось живое, человѣческое чувство. Это чувство не переставало въ немъ биться, какъ не переставало оно биться и въ русскомъ народѣ — простомъ народѣ, обладающемъ въ данномъ случаѣ большимъ политическимъ смысломъ, чѣмъ его такъ называемая „интеллигенція“. Лонскій, какъ и великій его учитель, при всей, можно

*) Стихотвореніе Грѣзы.

сказать, космополитической широтѣ своей музы, одаренъ чутѣмъ народности, — и это чутѣ только поддерживаетъ въ немъ міровую широту, потому что народъ русскій не знаетъ національной исключительности — вслѣдствіе чего русской крестьянкѣ такъ легко было понять и полюбить всей душой Жанну д'Аркъ, какъ о томъ разсказалъ намъ однажды другъ нашего поэта, И. С. Тургеневъ („Живыя мощи“).

Народностью такъ и вѣетъ у Полонскаго отъ Старой няни, образъ которой написанъ имъ такъ тепло и такъ художественно законченно, что невольно напоминаетъ намъ Пушкинскія поэтическія отношенія къ его милой Аринѣ Родионовнѣ. Между тѣмъ типъ, воспроизведенный Полонскимъ, совершенно оригиналенъ. Это цѣлая исторія „крѣпостной дѣвчоночки, непричесанной, неотесанной, и въ зрѣлыя годы оставшейся далекою отъ того, чтобы быть идеаломъ педагогическихъ, да и другихъ добродѣтелей, тѣмъ не менѣе сердечно слюбившейся со своимъ питомцемъ — въ чемъ, можетъ быть, и заключается вся тайна настоящаго человѣческаго воспитанія. Все стихотвореніе написано во второмъ лицѣ — въ видѣ обращенія къ нянѣ.

Теплое чувство народности сказывается и въ старомъ посланіи — къ другу-писателю, проживающему волею судебъ за границей. Представивъ его себѣ въ театрѣ, превратившимся въ слухъ при выходѣ на сцену ея съ этимъ, давно знакомымъ обоимъ, вкрадчивымъ пѣніемъ, обращающимъ и старика въ юношу, поэтъ нашъ вдругъ замѣчаетъ:

Но — быть можетъ —
(Кто знаетъ?) грустною мечтой
Перелетѣлъ ты въ край родной,
Туда, гдѣ все тебя тревожитъ,
И слава, и судьба друзей,
И тотъ народъ, что отъ цѣпей
Страдалъ — и безъ цѣпей страдаетъ?
Повѣся носъ, потупя взоръ,
Быть можетъ, слышишь ты — качаетъ
Свои вершины темный боръ,
Несутся крики, — кто-то скачетъ,
А тамъ въ глуши, стучитъ топоръ,
А тамъ, въ избѣ, ребенокъ плачетъ...

Общее впечатлѣніе, оставляемое книжкою „на Закатѣ“, впечатлѣніе еще свѣжей, бодрой и чуткой поэтической силы.

Безпристрастіе, конечно, заставляетъ замѣтить, что есть въ этой книжкѣ и стихотворенія, какъ будто бы отзывающіяся утомленіемъ, — но такія, менѣе удачныя стихотворенія попадались у нашего поэта и прежде (попадаютъ и у каждаго), такъ что дѣло тутъ стало-быть не въ „Закатѣ“. Растянутою и черезъ то уже довольно слабою представляется поэма: „Старая борьба“, продолженіе „Келіота“, напечатаннаго еще въ сборникѣ „Озимь“. Не вполнѣ удался также — Сфинксъ (символическое воспроизведеніе Эдиповскаго сказанія — недовольно ясное какъ и все, отличающееся символизмомъ) и большая пьеса Кукулы (якобы сказка, также символическая, повидимому, и наименѣе удачная по формѣ, представляющая даже не мало вовсе не звучныхъ стиховъ). Но тутъ, какъ и въ прежнихъ сборникахъ, слабыя пьесы выкупаются съ избыткомъ такими, которыя и исполнены настоящаго вѣса по содержанію и отличаются художественной выдержанностью формы.

Полонскій, повторю еще разъ, это одинъ изъ самыхъ горячихъ поклонниковъ и прямыхъ послѣдователей того поэта, памяти котораго посвящено послѣднее стихотвореніе въ сборникѣ „На Закатѣ“.

Думается, что тѣнь Пушкина благосклонно взглянула бы на увѣнчаніе преміей поэтическаго „Заката“ Полонскаго купно съ цѣлымъ его поэтическимъ днемъ *).

Op. Миллеръ.

Особенность творчества Полонскаго и музыкальность и живописность его стихотвореній.

Самый вдохновенный изъ англійскихъ поэтовъ, Шелли, такъ говорить о началѣ своего творчества:

Есть Существо, есть женственная Тѣнь,
Желанная въ видѣніяхъ печальныхъ.
На утрѣ лѣтъ моихъ первоначальныхъ
Она ко мнѣ являлась каждый день,
И каждый мигъ среди лѣсныхъ прогалинь,
Среди замороженныхъ дикихъ горъ,
Среди воздушныхъ замковъ и развалинь
Она плѣняла дѣтскій жадный взоръ.
Мѣняясь въ очертаньяхъ несказанныхъ,
Скользя своей стопой по ткани сновъ,
Она пришла съ далекихъ береговъ,

*) „На Закатѣ“ удостоенъ Пушкинской преміи.

Изъ областей загадочно-туманныхъ,
Красавицей нездѣшнихъ острововъ,
И въ лѣтній день, ликующій и жаркій,
Когда небесный сводъ огнемъ блисталъ,
Она прошла такой чудесно-яркой,
Что я—увы!—ее не увидалъ.

Но и невидимая въ своемъ собственномъ образѣ, она давала себя чувствовать поэту во всемъ, что было отъ нея:

Въ глубокой тишинѣ уединенія,
Среди благоуханія цвѣтовъ,
Подъ шумъ ручьевъ, подъ звонкое ихъ пѣнье,
Сквозь гулъ неумолкающихъ лѣсовъ,
Она со мною тихо говорила,
И все дышало только ей одной,
Рѣка съ своей серебряной волной,
И сонмы тучъ, и дальнія свѣтила,
Влюбленный воздухъ, теплый вѣтерокъ,
И дождевой сверкающій потокъ,
И пѣнье лѣтнихъ птицъ, и все, что дышитъ,
Что чувствуетъ, звучитъ, живетъ и слышитъ.
Въ словахъ высокихъ вымысловъ и сновъ,
И въ пѣсняхъ и въ пророчествахъ глубокихъ,
Въ наслѣдii умчавшихся вѣковъ,
Отшедшихъ дней и близкихъ и далекихъ,
Въ любви къ другимъ, въ желанii свѣтлымъ быть,
Въ сказаньяхъ благороднаго ученя,
Что намъ велитъ навѣкъ себя забыть
И познавать блаженный смыслъ мученья,—
Во всемъ она сквозила и жила,
Въ чемъ правда и гармонія была.

Всѣ истинные поэты такъ или иначе знали и чувствовали эту „женственную Тѣнь“, но немногіе такъ ясно говорятъ о ней; изъ нашихъ яснѣе всѣхъ — Я. П. Полонскій. Это тѣмъ болѣе замѣчательно, что если мы возьмемъ совокупность его произведеній (хотя бы только стихотворныхъ), то далеко не найдемъ здѣсь той полной гармоніи между вдохновеніемъ и мыслью и той твердой вѣры въ живую дѣйствительность и превосходство *поэтической* истины сравнительно съ мертвящею рефлексіей, — какими отличаются напримѣръ Гёте, или Тютчевъ. Отзывчивый сынъ своего вѣка, Полонскій былъ впечатлителенъ и къ тѣмъ движеніямъ новѣйшей мысли, которыя имѣли антипоэтическій характеръ; во многихъ его стихотвореніяхъ преобладаетъ разсудочная рефлексія и про-

заическій реализмъ. И однако же никто послѣ Шелли, не указалъ съ такою ясностью на сверхчеловѣческій, „запредѣльный“ и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно дѣйствительный и даже какъ бы личный источникъ чистой поэзіи:

Въ дни ребячества я помню
Чудный отроческій бредъ:
Полюбилъ я Царь-дѣвицу,
Что на свѣтѣ краше нѣтъ.
На челѣ сіяло солнце,
Мѣсяцъ прятался въ кося,
По косицамъ рдѣли звѣзды, —
Богъ сіялъ въ ея красѣ.
И жила та Царь-дѣвица
Недоступна никому
И ключами золотыми
Замыкалась въ терему.
Только ночью выходила
Шелестить въ тѣни березъ:
То ключи свои роняла,
То роняла капли слезъ.
Только въ праздники, когда я
Полусонный брелъ домой,
Изъ-за рощи яркій, влажный
Глазъ ея слѣдилъ за мной.

И ужъ какъ случилось это, —
Наяву или во снѣ?!
Разъ она весной, въ часъ утра,
Зарумянилась въ окнѣ: —
Всколыхнулась занавѣска,
Вспыхнула розъ махровыхъ кустъ,
И, закрывъ глаза, я встрѣтилъ
Поцѣлуй душистыхъ устъ.
Но едва-едва успѣлъ я
Блескъ лица ея поймать,
Ускользая, гостя ко лбу
Мнѣ прижгла свою печать.
Съ той поры ея печати
Мнѣ ничѣмъ уже не смыть,
Вѣчно-юной Царь-дѣвицѣ
Я не въ силахъ измѣнить...
Жду, — вторичнымъ поцѣлуемъ
Заградивъ мои уста, —
Красота въ свой тайный теремъ
Мнѣ отворить ворота.

Ясно, что поэтъ здѣсь искрененъ, что это его настоящая вѣра, хотя бы порою онъ и колебался въ ней. Пусть, уступая на минуту ходячему мнѣнію, онъ называетъ откровеніе истины — „бредомъ“, — онъ „не въ силахъ измѣнить“ тому, что ему открылось въ этомъ бреду. Для его лучшаго сознанія красота и поэзія не могла уже быть пустымъ обманомъ, онъ, какъ и Шелли, зналъ, что это — существо и истинная сущность всѣхъ существъ, и если она и является, какъ тѣнь, то не отъ земныхъ предметовъ. „Есть существо, есть женственная тѣнь...“ „Богъ сіялъ въ ея красѣ...“ Такъ ли говорятъ поэты, не вѣрящіе въ поэзію? Для блестящаго и несчастнаго Лермонтова она была лишь созданіемъ его мечты:

Люблю мечты моей созданье
Съ глазами полными лазурнаго огня,
Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня
За рошей первое сіянье...

Но если поэтическая истина есть только созданіе мечты, то вся жизнь есть лишь „пустая и глупая шутка“, съ которою всего лучше покончить въ самомъ началѣ.

Счастливы поэтъ, который не потерялъ вѣры въ женственную Тѣнь Божества, не измѣнилъ вѣчно-юной Царь-дѣвицѣ: и она ему не измѣнитъ и сохранитъ юность сердца и въ раніе, и въ поздніе годы.

Много поэтическихъ мыслей, благородныхъ чувствъ и чудесныхъ образовъ внушила неизмѣнившему ей пѣвцу его Царь-дѣвица. Прежде чѣмъ отмѣтить и подчеркнуть въ отдѣльности тѣ стихотворенія и части стихотвореній, на которыхъ особенно видна ея печать, укажу на общую имъ всѣмъ черту, отличающую творчество Полонскаго сравнительно съ другими поэтами, не только уступающими, или равными ему, но и превышающими его силою художественнаго генія. Впрочемъ, съ точки зрѣнія строгой эстетической доктрины эта отличительная черта въ поэзіи Полонскаго можетъ-быть скорѣе недостатокъ, чѣмъ достоинство, — я этого не думаю, — во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что это черта оригинальная и въ высшей степени плѣнительная. Ее можно выразить такъ, что въ типичныхъ стихотвореніяхъ нашего поэта самый процессъ вдохновенія, самый *переходъ* изъ обычной матеріальной и житейской среды въ область поэтической истины *остается осязательнымъ*: чувствуется какъ бы тотъ ударъ, или толчокъ, тотъ взмахъ крыльевъ, который поднимаетъ душу надъ землею. Этотъ переходъ изъ одной сферы въ другую существуетъ конечно для всѣхъ поэтовъ, такъ какъ онъ есть неизбежное условіе истиннаго творчества; но у другихъ поэтовъ онъ далеко не такъ чувствителенъ, въ ихъ произведеніяхъ дается уже чистый результатъ вдохновенія, а не порывъ его, который остается скрытымъ, тогда какъ у Полонскаго онъ прямо чувствуется, такъ-сказать, въ самомъ *звукѣ* его стиховъ.

Вотъ два примѣра на удачу. Стихотвореніе „Памяти О. И. Тютчева“:

Оттого ль, что въ Божьемъ мірѣ
Красота вѣчна,
У него въ душѣ витала
Вѣчная весна,
Освѣжала зной грозою
И сквозь капли слезъ
Въ тучахъ радугой мелькала —
Отраженьемъ грёзъ.
Оттого ль, что отъ бездушья,
Иль отъ злобы дня,

Ярче въ немъ сверкали искры
Божьяго огня,
Съ раннихъ лѣтъ и до преклонныхъ
Безотрадныхъ лѣтъ
Былъ къ нему равнодушенъ
Равнодушный свѣтъ.
Оттого ль, что не отъ свѣта
Онъ спасенья ждалъ,
Выше всѣхъ земныхъ кумировъ
Ставить идеаль, —
Пѣснь его глубокой скорбью
Западала въ грудь
И, какъ звѣздный лучъ, тянула
Въ безконечный путь.

Развѣ не чувствуется здѣсь, какъ тотъ звѣздный лучъ, который тянулъ Тютчева, тянетъ и самого Полонскаго въ тотъ же безконечный путь вверхъ отъ бездушья и злобы дня. Въ послѣдней строфѣ, которую не привожу, поэтъ опять спускается въ эту злобу дня и прозу. Внимательный читатель замѣтилъ кое-что прозаическое и въ трехъ приведенныхъ строфахъ, но въ такой мѣрѣ, которая не только не мѣшаетъ ихъ чарующему впечатлѣнію, а напротивъ входитъ въ его составъ: чувствуешь въ поэтическомъ порывѣ и ту землю, отъ которой онъ оттолкнулся.

То не вѣтеръ — вздохъ Авроры Обозначились горы
Всколыхнулъ морской туманъ; И во мглѣ Данаевъ станъ...

Въ этомъ вздохѣ Авроры развѣ не слышится вздохъ поэзіи, всколыхнувшій житейскій туманъ въ душѣ поэта? Къ лучшимъ стихотвореніямъ Полонскаго всего болѣе примѣнимо то удивительное опредѣленіе или описаніе поэзіи, которое даетъ гениальный лирикъ Фетъ:

Однимъ толчкомъ согнать ладью живую
Съ нагложенныхъ отливами песковъ,
Одной волной подняться въ жизнь иную,
Учуять вѣтръ съ цвѣтушихъ береговъ,
Тоскливый сонъ прервать единымъ звукомъ,
Упитья вдругъ невѣдомымъ, роднымъ,
Дать жизни вздохъ, дать сладость тайнымъ мукамъ,
Чужое вмигъ почувствовать своимъ;
Шепнуть о томъ, предъ чѣмъ языкъ нѣмѣетъ,
Усилить бой безтрепетныхъ сердець, —
Вотъ чѣмъ пѣвецъ лишь избранный владѣетъ!
Вотъ въ чемъ его и признакъ, и вѣнецъ!

Этотъ размахъ и толчокъ, сгоняющій живую ладью поэзіи съ гладкихъ песковъ прозы почти всегда чувствуется у нашего поэта — чувствуется даже тогда, когда онъ остался неуспѣшнымъ, только раскачалъ, но не сдвинулъ ладью, — какъ напримѣръ въ юбилейномъ гимнѣ Пушкину: и здѣсь ошутителенъ порывъ вдохновенія, но безъ соотвѣтствующаго результата — само стихотвореніе неудачно и легко поддается пародіи. Но зато какъ прекрасно юбилейное привѣтствіе, обращенное къ Фету:

Ночи текли, — звѣзды трепетно въ бездну лучи свои сѣяли...
Капали слезы, — рыдала любовь, — и алѣлъ
Жаркій разсвѣтъ, — и тѣ грезы, что въ сердцахъ мы тайно лелѣяли,
Трель соловья разносила, и бурей шумѣлъ
Моря сердитаго валь, — думы зрѣли, и — рѣяли
Сѣрыя чайки... Игру эту боги затѣяли...

Поэзія есть участіе человѣка въ этой игрѣ, затѣянной богами; каждый поэтъ видитъ ее и участвуетъ въ ней по-своему.

Область и характеръ поэзіи Полонскаго какъ будто заранѣе очерчены въ одномъ изъ его первыхъ по времени стихотвореній:

Уже надъ ельникомъ, изъ-за вершинъ колючихъ
Сіяло золото вечернихъ облаковъ,
Когда я рвалъ весломъ густую сѣть пловучихъ
Болотныхъ травъ и водяныхъ цвѣтовъ.
То окружая насъ, то снова разступаясь,
Сухими листьями шумѣли тростники;
И нашъ челнокъ шелъ, медленно качаясь,
Межъ топкихъ береговъ извилистой рѣки.
Отъ празднои клеветы и злобы черни свѣтской,
Въ тотъ вечеръ, наконецъ, мы были далеко,
И смѣло ты могла съ довѣрчивостью дѣтской
Себя высказывать свободно и легко.
И голосъ твой пророческій былъ сладокъ,
Такъ много въ немъ дрожало тайныхъ слезъ,
И мнѣ плѣнительнымъ казался безпорядокъ
Одежды траурной и свѣтлорусыхъ косъ.
Но грудь моя тоской невольною сжималась,
Я въ глубину глядѣлъ, гдѣ тысячи корней
Болотныхъ травъ невидимо сплеталось,
Подобно тысячѣ живыхъ зеленыхъ змѣй.
И міръ иной мелькалъ передо мною, —
Не тотъ прекрасный міръ, въ которомъ ты жила...
И жизнь казалась мнѣ суровой глубиною
Съ поверхностью, которая свѣтла.

Спутница поэта въ ту минуту, — кто бы она ни была и какъ бы ее ни звали — являлась вѣрнымъ прообразомъ его поэтической дѣятельности. „Плѣнительнымъ безпорядкомъ“ отличаются его произведенія; есть и въ нихъ земной трауръ по мірскому злу и горю, но голова его музы сіяетъ золотистымъ отраженіемъ небеснаго свѣта; и въ ея голосѣ смѣшиваются тайныя слезы переживаемаго горя съ пророческою сладостью лучшихъ надеждъ; чувствительная — быть можетъ даже слишкомъ — къ праздности и злобѣ свѣтской, она стремится уйти туда, гдѣ за колючими вершинами земли сіяетъ золото вечернихъ облаковъ, и тамъ высказывается свободно и легко съ довѣрчивостью дѣтской.

Полонскій, какъ всѣ истинные поэты и мыслители, ясно видитъ противоположность между тѣмъ прекраснымъ и свѣтлымъ міромъ, въ которомъ живетъ его муза, и тою суровою и темною глубиною жизни, гдѣ сплетаются болотныя растенія своими змѣиными корнями. Но какъ же онъ относится къ этой общей и основной противоположности, — въ чемъ особенность его міросозерцанія? Для сравненія возьмемъ двухъ наиболѣе родственныхъ ему лириковъ — Тютчева и Фета.

Тютчевъ, который глубже другихъ поэтовъ чувствовалъ и ярче выражалъ и темную основу всякой жизни, и свѣтлый покровъ, наброшенный на нее богами, примирялъ эту коренную противоположность чисто-религіознымъ упованіемъ на окончательную побѣду свѣтлаго начала въ Христѣ и въ будущемъ христіанскомъ царствѣ. — Фетъ, на котораго тѣма и тяжесть бытія дѣйствовала болѣе своею житейскою стороною, обращенною къ практической волѣ, не думалъ ни о какомъ примиреніи или разрѣшеніи, а просто *уходилъ* въ дрожащія напѣвы своей поэзіи (его собственныя слова... и отчего въ дрожащія напѣвы я уходилъ, и ты за мною уйдешь...). Для Фета между двумя мірами нѣтъ ничего общаго, они исключаютъ другъ друга, и если жить и дѣйствовать приходится въ мірѣ практической воли, себя пожирающей, то пѣть и творить можно, только совсѣмъ забывая объ этомъ зломъ мірѣ, рѣшительно повертываясь къ нему спиной и уходя въ область чистаго созерцанія. Полонскій не остается при этой двойственности и разобщенности; не отворачиваясь безнадежно отъ темной жизни, не уходя всецѣло въ міръ *чисто-поэтическихъ* созерцаній и ощущеній, онъ ищетъ между

двумя областями примиренія и находить его въ той идеѣ, которая уже давно носилась въ воздухѣ, но вдохновляла болѣе мыслителей и общественных дѣятелей, нежели поэтовъ. У Полонскаго она сливается съ его поэзіей, входя болѣе или менѣе явно въ его художественное настроеніе. Это идея *совершенствованія*, или прогресса. Надъ жизнью земного человѣчества нашъ поэтъ не ставитъ, подобно переводчику Шопенгауэра, надпись изъ Дантовскаго ада; для него эта жизнь не адъ, а только *чистилище*, она возбуждаетъ въ немъ печаль, но не безнадѣжность. Хотя онъ не видитъ въ исторіи тѣхъ ясныхъ идеаловъ, въ которые вѣрилъ Тютчевъ, но она не есть для него, какъ для Фета, только торжище развратной толпы, буйной отъ хмеля преступленій, — онъ слышитъ въ ней глаголь, въ пустынѣ вопіющій, неумолкаемо зовущій:

О подними свое чело!	<i>Иди впередъ</i> и невозвратно
Не вѣрь тяжелымъ сновидѣньямъ,
.....	Туда, гдѣ впереди такъ много
Чтобъ жизнь была тебѣ понятна,	Сокровищъ спрятано у Бога.

Та безмятежная блаженная красота, которая открывается поэтическому созерцанію природы, должна будетъ открыться и въ жизни человѣчества:

О, въ отвѣтъ природѣ	Улыбнись природѣ!
Улыбнись, отъ вѣка	Вѣрь знаменованью.
Обреченный скорби	Нѣтъ конца стремленью;
Геній челоуѣка!	Есть конецъ страданью!

Сильнѣе, чѣмъ въ этихъ нѣсколько отвлеченныхъ стихахъ, выражается бодрое чувство надежды на лучшую будущность въ стихотвореніи *На корабль*, — прекрасномъ образчикѣ истинно-поэтической аллегоріи, въ которой конкретный частный образъ такъ внутренне связанъ съ болѣе общою идеей, такъ ясно ее выражаетъ, что вовсе нѣтъ надобности въ особомъ указаніи на нее, или въ истолкованіи смысла стихотворенія: этотъ смыслъ и его конкретное выраженіе здѣсь нераздѣльно слиты.

Стихаетъ. Ночь темна. Свисти, чтобъ мы не спали!..
 Еще вчерашняя гроза не унялась:
 Тѣ жъ волны бурныя, что съ вечера плескали,
 Не закачавъ, еще качаютъ насъ.

Въ безлунномъ мракѣ мы дорогу потеряли,
Разбитымъ фонаремъ не освѣщенъ компасъ,
Неси огня, звони, свисти, чтобъ мы не спали!—
Еще вчерашняя гроза не унялась...
Нашъ флагъ порывисто и безпокойно вѣетъ;
Нашъ капитанъ впотьмахъ стоитъ раздумья полнъ...
Заря, друзья, заря! Глядите, какъ яснѣетъ
И капитанъ, и мы, и гребни черныхъ волнъ.
Кто боленъ, кто усталъ, кто бодръ еще, кто плачетъ,
Что бурей сломано, разбито, снесено —
Все ясно: Божій день, вставая, зла не прячетъ...
Но не погибли мы, и много спасено...
Мы мачты укрѣпимъ, мы паруса подтянемъ,
Мы нашимъ топотомъ встревожимъ праздныхъ лѣнь —
И дальше въ путь пойдемъ, и дружно пѣсню грянемъ:
Господь, благослови грядущій день!

Свѣтлыхъ надеждъ на спасеніе родного корабля поэтъ не отдѣляетъ отъ вѣры въ общее всемірное благо. Широкій духъ всечеловѣчности, исключаящей національную вражду, свойственъ болѣе или менѣе и другимъ нашимъ, какъ и вообще всѣмъ истиннымъ поэтамъ; но изъ русскихъ, послѣ Алексѣя Толстого, онъ всѣхъ рѣшительнѣе и сознательнѣе выражается у Полонскаго, особенно въ двухъ стихотвореніяхъ, посвященныхъ Шиллеру и Шекспиру.

Съ вавилонскаго столпотворенья
И до нашихъ дней — по всей землѣ
Духъ вражды и духъ разъединенья
Держать міръ въ невѣжествѣ и злѣ
.....
У разноязычныхъ, у разноплеменныхъ,
У враждебныхъ странъ во всѣ вѣка
Только два и было неизмѣнныхъ
Всѣмъ сердцамъ понятныхъ языка:
Не кричить ли міру о союзѣ кровномъ
Каждога ребенка первый крикъ,
Не для всѣхъ ли націй въ родникѣ духовномъ
Черплеть силу генія языкъ?
Не затѣмъ ли вся Европа встала,
Засвѣтила тысячи огней
И отпѣла и отликовала
Шиллера столѣтній юбилей.

Полонскій, при всей своей восторженности, свободенъ отъ обмановъ ребяческаго оптимизма и не ждетъ золотого вѣка на завтрашній день; онъ не думаетъ, какъ одинъ зна-

менитый писатель, что еще одно усилие людей благонамбранных — и на землѣ водворятся миръ, правда и блаженство.

Лучшихъ дней не скоро мы дождемся:
Лишь поэты, вѣстники боговъ,
Говорять, что всѣ мы соберемся
Мирно раздѣлять плоды трудовъ, —
Что безумный произволъ свобода свяжетъ,
Что любовь прощеньемъ свяжетъ грѣхъ,
Что побѣда мысли смертнымъ путь укажетъ
Къ торжеству отрадному для всѣхъ...
Путь далекъ, но вся Европа встала и т. д.

Прогрессъ все-таки есть, хотя онъ мѣряется не годами,
а лишь цѣлыми вѣками:

Но впередъ шагая съ каждымъ вѣкомъ,
Что мы видимъ въ нашъ желѣзный вѣкъ?
Видимъ, — въ страхѣ передъ человѣкомъ
Опускаетъ руки человѣкъ, —

Въ побѣжденныхъ сила духа воскресаетъ...

Побѣдитель, раздражая свѣтъ,
Не затѣмъ ли мечъ свой грозный опускаетъ,
Что его пугаетъ громъ побѣдъ?

Мечъ упалъ, и вся Европа встала и т. д.

О, Германіи поэтъ всемірный!

Для тебя народы всѣ равны, —

Откликаюсь я на звонъ твой лирный

Тихимъ трепетомъ одной струны...

Той живой струны, что въ глубинѣ сердечной,

Братія, у всѣхъ у насъ звучитъ

Всякій разъ, когда любви намъ голосъ вѣчный

Божій голосъ — громко говорить.

Въ томъ же смыслѣ и обращеніе къ Шекспиру:

Европы сынъ, повитый Альбіономъ!

Пока растеть Европа — ты растешь...

Какъ Греція прошла на Западъ съ Аполлономъ,

Такъ нынѣ на Востокъ съ Европою, съ закономъ

Искусства вѣчнаго ты съ Запада идешь:

И раздвигается вдоль Сѣвера граница.

Такъ, если нѣкогда китайскимъ языкомъ

Заговораютъ тобой въ міръ вызванные лица,

Мы за тобой въ Китай съ Европою войдемъ.

Это было сказано болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ и
оказалось пророчествомъ, которое нынѣ начинаетъ сбываться.

Въ ранніе годы надежды нашего поэта на лучшую будущность для человѣчества были связаны съ его юношескою безотчетною вѣрою во всемогущество науки:

Царство науки не знаетъ предѣла,
Всюду слѣды ея вѣчныхъ побѣдъ —
Разума слово и дѣло,
Сила и свѣтъ.

.....
Міру какъ новое солнце сіяетъ
Свѣточъ наукъ, и только при немъ
Муза чело украшаетъ
Свѣжимъ вѣнкомъ.

Но скоро та же муза разрушила въ нашемъ поэтѣ это наивное поклоненіе мнимому царству науки, которая на самомъ дѣлѣ только познаетъ то, что бываетъ, а не творить то, что должно быть; онъ понялъ, что „міръ съ могущественной ложью и съ безсильною любовью“ можетъ быть спасенъ и обновленъ лишь иною, вдохновляющею силой — силой нравственной правды и вѣрою „въ Божій судъ или Мессію“:

Съ той поры, мужая сердцемъ, Что съ тобой безъ этой вѣры
Постигать я сталъ, о, муза, Нѣтъ законнаго союза.

Чѣмъ болѣе зрѣлою становится поэзія Полонскаго, тѣмъ явственнѣе звучитъ въ ней религіозный мотивъ, хотя и въ послѣднихъ стихотвореніяхъ выражается болѣе стремленіе и готовность къ вѣрѣ, нежели положительная увѣренность.

Жизнь безъ Христа — случайный сонъ.
Блаженъ, кому дано два слуха, —
Кто и церковный слышитъ звонъ,
И слышитъ вѣщій голосъ Духа.

И то и другое слышишь въ тихій вечеръ жизни. Все обмануло, все прошло, остается только вѣчность и ея земной залогъ:

На всѣ призывы безъ отвѣта
Уходишь ты, мой сѣрый день.
Одинъ закатъ не безъ привѣта,
И не безъ смысла эта тѣнь.

.....
Я къ ночи сердцемъ легковѣрнѣй,

Я буду вѣрить какъ-нибудь,
Что ночь, гася мой свѣтъ вечерній,
Укажетъ мнѣ на звѣздный путь.
Чу! колоколь... Душа поэта,
Благослови вечерній звонъ!

.
И жизнь и смерти призракъ — міру
О чемъ-то вѣчномъ говорятъ,
И какъ ни громко пой ты, — лиру
Колокола перезвонять.

Откуда однако это соперничество? И зачѣмъ подходить слишкомъ близко къ колокольнѣ? Пусть поэтъ слушаетъ колокола на томъ разстояніи, на которомъ ихъ звонъ трогаетъ, а не оглушаетъ, и пусть его лира поетъ о томъ же вѣчномъ, о чемъ звенятъ и они. Между духомъ, говорящимъ въ лучшихъ произведеніяхъ Полонскаго, и голосомъ истинной религіи, конечно, нѣтъ никакого противорѣчія, и нашъ славный поэтъ можетъ съ доброю совѣстью благословлять вечерній звонъ, съ которымъ такъ хорошо гармонируетъ его неослабѣвающее вдохновеніе.

Индивидуальностью у каждаго поэта, — какъ и у всякаго другого существа, — мы называемъ то, что свойственно ему исключительно, въ чемъ у него нѣтъ ничего общаго съ другими. Это есть та, совершенно особенная, своеобразная печать, которая налагается существомъ на все ему принадлежащее, — у поэта въ частности — на все, что становится предметомъ его творчества. Ясно, что въ каждомъ единичномъ случаѣ, для *этого* поэта, напримѣръ, его индивидуальный характеръ, какъ не выражающій никакого общаго понятія, вовсе не можетъ быть опредѣленъ словами, точно описанъ или разсказанъ. Индивидуальность есть *неизреченное*, или *несказанное*, что только чувствуется, но не формулируется. Оно можетъ быть только закрѣплено собственнымъ *именемъ*, и потому первобытная мудрость народовъ видѣла въ имени выраженіе самой глубочайшей сущности, самой подлинной истины именуемаго предмета.

Поэтому, если говорить, — какъ это приходится иногда слышать и читать, — что задача критики есть воспроизведеніе *индивидуальности* разбираемаго писателя, то это явное недоразумѣніе. Критика есть во всякомъ случаѣ *разсужденіе*, а прямымъ содержаніемъ разсужденія не можетъ быть то,

что не выражается въ общихъ понятіяхъ. Воспроизводитъ индивидуальное само по себѣ есть дѣло не критика, а поэта; да и то, если это поэтъ, по, преимуществу лирическій, то онъ рискуетъ при этомъ выразить болѣе свою, нежели чужую индивидуальность. Такъ напримѣръ, въ прекрасномъ стихотвореніи Я. П. Полонскаго о Тютчевѣ, приведенномъ въ началѣ моей статьи („Оттого ль, что въ Божьемъ мірѣ красота вѣчна...“), хотя чувствуется въ нѣкоторой мѣрѣ индивидуальность Тютчева, но еще болѣе отражается индивидуальность самого Полонскаго.

Прямая задача критики, — по крайней мѣрѣ философской, понимающей, что красота есть осязательное воплощеніе истины, — состоитъ въ томъ, чтобы разобрать и показать, что именно изъ полноты всемірнаго смысла, какіе его элементы, какія стороны или проявленія истины особенно захватили душу поэта и, по преимуществу, выражены имъ въ художественныхъ образахъ и звукахъ. Критикъ долженъ „вскрыть глубочайшіе корни“ творчества у даннаго поэта не со стороны его психическихъ мотивовъ — это болѣе дѣло біографа и историка литературы, — а главнымъ образомъ со стороны объективныхъ основъ этого творчества, или его идейнаго содержанія.

Что же касается до единичной и единственной въ своемъ родѣ индивидуальности даннаго поэта, налагающей свою *несказанную* печать на его творчество, то ее можно только отмѣчать, указывая на тѣ произведенія, въ которыхъ эта индивидуальность чувствуется съ наибольшею ясностью и полнотою.

Вотъ, напримѣръ, „Зимній путь“ Полонскаго:

Ночь холодная мутно глядитъ
Подъ рогожу кибитки моей;
Подъ полозьями поле скрипитъ,
Подъ дугой колокольчикъ гремѣтъ,
А ямщикъ погоняетъ коней.
.
Мнѣ все чудится, будто скамейка стоитъ,
На скамейкѣ старуха сидитъ, —
До полуночи пряжу прядетъ,
Мнѣ любимыя сказки мои говорить,
Колыбельныя пѣсни поетъ.
.

Или, напримѣръ, это („Качка въ бурю“):

Снится мнѣ: я свѣжъ и молодъ,
Я влюбленъ, мечты кипятъ...
Отъ зари роскошный холодъ
Проникаетъ въ садъ.
Скоро ночь,— темнѣютъ ели...
Слышу ласково-живой
Тихій лепетъ: „на качели
Сядемъ, милый мой!“
Станъ ея полу-воздушный
Обняла моя рука,
И качается послушно
Зыбкая доска...

Или, наконецъ, вотъ это („Колокольчикъ“):

Улеглася метелица, путь озаренъ...
Ночь глядитъ милліонами тусклыхъ очей.
Погружай меня въ сонъ, колокольчика звонъ,
Выноси меня, тройка усталыхъ коней!
Мутный дымъ облаковъ и холодная даль
Начинаютъ яснѣть; бѣлый призракъ луны
Смотритъ въ душу мою и былую печаль
Наряжаетъ въ забытые сны.
То вдругъ слышится мнѣ,— страстный голосъ поетъ,
Съ колокольчикомъ дружно звеня:
„Ахъ, когда-то, когда-то мой милый придетъ
Отдохнуть на груди у меня!
У меня ли не жизнь! Чуть заря на стеклѣ
Начинаетъ лучами съ морозомъ играть,
Самоваръ мой кипитъ на дубовомъ столѣ,
И трещитъ моя печь, озаряя въ углѣ
За цвѣтной завѣской кровать...
У меня ли не жизнь! Ночью ль ставень открыть,—
По стѣнѣ бродитъ мѣсяца лучъ золотой;
Забушуетъ ли вьюга,— лампада горитъ,
И когда я дремлю, мое сердце не спитъ,
Все по немъ изнывая тоской!“
То вдругъ слышится мнѣ,— тотъ же голосъ поетъ,
Съ колокольчикомъ грустно звеня:
„Гдѣ-то старый мой другъ? я боюсь,— онъ войдетъ
И, ласкаясь, обниметъ меня!
Что за жизнь у меня! — И тѣсна и темна,
И скучна моя горница; дуетъ въ окно...

За окошкомъ растеть только вишня одна,
Да и та за промерзлымъ окномъ не видна
И, быть можетъ, погибла давно...

.

Всякій согласится, что въ этихъ трехъ образчикахъ индивидуальность поэта чувствуется съ полною ясностью, что никто кромѣ Полонскаго не могъ бы написать этихъ стиховъ, — и однако пусть кто-нибудь попробуетъ опредѣлить, описать, или рассказать эту индивидуальную особенность, которою они запечатлѣны! Можно, конечно, указать разные признаки, какъ-то: соединеніе изящныхъ образовъ и звуковъ съ самыми произаческими представленіями, на примѣръ, въ первомъ стихотвореніи „рогожа кибитки“, а въ последнемъ „дуетъ въ окно“; затѣмъ — смѣлая простота выраженій, какъ во второмъ примѣрѣ „я влюбленъ“; далѣе можно указать, что во всѣхъ этихъ стихотвореніяхъ выражаются полусонныя, сумеречныя, слегка бредовыя ощущенія. Такія указанія будутъ совершенно вѣрны, но совершенно недостаточны; ибо, во-первыхъ, всѣ эти признаки можно найти и у другихъ поэтовъ, а во-вторыхъ, у Полонскаго найдутся стихотворенія также типичныя, но въ которыхъ *эти* особенности не замѣчаются, на примѣръ:

Пришли и стали тѣни ночи
На стражѣ у моихъ дверей,

Смѣлѣй глядитъ мнѣ прямо въ очи
Глубокоіи мракъ ея очей и т. д.

Или:

Ты, съ которой такъ много страданія
Терпѣливой я прожилъ душой,
Безъ надежды на миръ и свиданіе
Навсегда я простился съ тобой.
Но боюсь, если путь мой протянется
Изъ родимыхъ полей въ край чужой
Одинокое сердце оглянется
И забьется знакомой тоской и т. д.

Можно, наконецъ, печать индивидуальности видѣть, главнымъ образомъ, въ преобладаніи тѣхъ или другихъ звуковыхъ сочетаній у даннаго поэта, но это уже конецъ критики и притомъ конецъ довольно слабый; ибо ясно, что поэтическая индивидуальность никакъ не происходитъ отъ звукового характера стиховъ, а напротивъ этотъ специфическій звуковой

характеръ имѣть свое внутреннее основаніе въ духовной индивидуальности поэта.

Чу! Повѣдай чуткій слухъ: Это вѣтра шумъ — для слуха...
Вѣтеръ это, или духъ? Это вѣщій духъ — для духа.

Вообще индивидуальность есть нѣчто первоначальное и неразложимое, и никакія опредѣленныя особенности, ни отдѣльно взятая, ни въ соединеніи, не могутъ ее составить и выразить. Поэтому для „воспроизведенія индивидуальности“ поэта критику остается одинъ способъ: указывать на нее, такъ сказать, пальцемъ, т.-е. отмѣчать и, по-возможности, приводить тѣ произведенія, въ которыхъ эта индивидуальность сильнѣе проявилась и легче чувствуется. А затѣмъ главная, собственно критическая задача состоитъ все-таки не въ воспроизведеніи, а въ *оцѣнкѣ* данной поэтической дѣятельности *по существу*, т.-е. какъ *прекраснаго предмета*, представляющаго въ тѣхъ или другихъ конкретныхъ формахъ правду жизни, или смыслъ міра.

Поэзія, какъ высшій родъ художества, по своему заключаетъ въ себѣ элементы всѣхъ другихъ искусствъ. Истинный поэтъ влагаетъ въ свое слово нераздѣльно съ его внутреннимъ смысломъ и музыкальные звуки, и краски, и пластичныя формы. У различныхъ поэтовъ легко замѣтить преобладаніе того или другого изъ этихъ элементовъ, то или другое ихъ сочетаніе. Въ большихъ вещахъ Полонскаго (за исключеніемъ безупречнаго во всѣхъ отношеніяхъ „Кузнечика-Музыканта“) очень слаба архитектура: нѣкоторыя изъ его поэмъ недостроены, другія загромождены пристройками и надстройками. Пластическая (скульптурная) сторона сравнительно также мало выдается въ его стихотвореніяхъ. Зато въ сильной степени и равной мѣрѣ обладаетъ поэзія Полонскаго свойствами музыкальности и живописности. Особенно выступаетъ поэтъ-*живописецъ* въ кавказскихъ стихотвореніяхъ Полонскаго. Здѣсь ему предшествовали Пушкинъ и Лермонтовъ, но онъ не заимствовалъ отъ нихъ красокъ, и его картины Кавказа гораздо ярче и живѣе, чѣмъ у нихъ. Не только Лермонтовъ, но даже и Пушкинъ бралъ Кавказъ живьемъ лишь со стороны внѣшней природы, а человѣческая дѣятельность этого края изображается у него хотя вѣрными, но слишкомъ общими чертами. (Несравненное стихотво-

реніе: „Стамбуль гяуры нынче славятъ“ не относится собственно сюда.) Напротивъ, въ кавказскихъ стихотвореніяхъ Полонскаго именно мѣстная жизнь схвачена въ ея реальныхъ особенностяхъ и закрѣплена яркими и правдивыми красками. Сравните, напримѣръ, Лермонтовскую легендарную „Тамару“, при всемъ ея словесномъ великолѣпіи, съ историческою „Тамарой“ Полонскаго:

Молодые вожди, завернувъ въ башлыки
Свои мѣдные племѣ, стоятъ
И внимаютъ тому, что отцы старики
Ей въ отвѣтъ говорятъ...

Я не говорю про такое, напримѣръ, чисто-описательное произведеніе, какъ „Прогулка по Тифлису“, которое можно, пожалуй, упрекнуть въ фотографичности, но и чисто лирическія стихотворенія, вдохновленныя Кавказомъ, насыщены у Полонскаго настоящими мѣстными красками. Вотъ, напримѣръ, „Послѣ праздника“:

Вчера къ развалинамъ, вдоль этого ущелья
Скакали всадники, и были зажжены
Костры, и до утра былъ слышенъ гулъ веселья,
Пальба и барабанъ и вой зурны.
Изъ устъ въ уста ходила азартеша
И хлопали въ ладоши сотни рукъ,
Когда ты шла, Майко, сердца и взоры тѣша,
Плясать по выбору застѣнчивыхъ подругъ.
Сегодня вновь безлюдное ущелье
Глядитъ пустыней, мирная пальба
Затихла, выспалось похмелье,
И съѣхала съ горы послѣдняя арба...

Что жъ, медлю я... Бичѣ! — ты конюхъ мой проворный, —
Коня!... Ея арбу два буйвола съ трудомъ
Везутъ, — догонимъ... Вонъ, играетъ вѣтеръ горный
Катибы бархатной пунцовымъ рукавомъ.

Сравните благородныхъ, но безымянныхъ черкесовъ романтической поэзіи — съ менѣе благородными, но зато настоящими живыми туземцами, въ родѣ татарина Агбара, или героическаго разбойника Тамуръ-Гассана.

Вставай, привратникъ, отворяй	Разбойника Тамуръ-Гассана!
Ворѣта въ караванъ-сарай!	Далеко слухъ идетъ о немъ:
Готовъ ночлегъ для каравана	Тамуръ-Гассану ни почемъ
И въ гости жди и угощай	Отбить быковъ, связать чабана —

Рука съ нацѣленнымъ ружьемъ	Въ народѣ знаютъ, что Гассанъ
Дрожить при имени Гассана.	Хоть и въ горахъ живетъ ски-
.....	тальцемъ,—
Молва не даромъ бережетъ	Самъ по себѣ такой же ханъ,
Его отъ пули и булата,	Возьметъ червонцы у армянъ,
Онъ въ трехъ имперіяхъ живетъ	Но бѣдняка не тронетъ пальцемъ,
И съ каждой въ дань себѣ беретъ	Дастъ богомольцу золотой
Коней, оружіе и злато.	И съ Богомъ въ путь его
.....	проводить.

Мы помнимъ, какимъ безцвѣтнымъ языкомъ изъясняются кавказскія героини у Пушкина и Лермонтова. Даже влюбившись въ демона, княжна Тамара не находитъ яркихъ словъ и читаетъ стихи точно на урокъ изъ русской словесности:

Отецъ, отецъ, оставь угрозы,	Я плачу, видишь эти слезы,
Свою Тамару не брани,	Уже не первые они и т. д.

Такихъ литературныхъ упражненій мы у Полонскаго не находимъ. Вотъ какимъ настоящимъ языкомъ говорятъ у него кавказскія женщины:

Онъ у каменной башни стоялъ подь стѣной;
И я помню, на немъ былъ кафтанъ дорогой,
И мелькала подь краснымъ сукномъ
Голубая рубашка на немъ...

.....
Золотая граната растетъ подь стѣной;
Всѣхъ плодовъ не достать никакою рукой;
Всѣхъ красивыхъ мужчинъ для чего
Стала бъ я привораживать!...

.....
Разлучили, сгубили насъ горы, холмы
Эриванскія! Вѣчно холодной зимы
Вѣчнымъ снѣгомъ покрыты онѣ!...

... Обо мнѣ

Въ той странѣ, милый мой, не забудешь ли ты?

.....
Говорятъ, злая вѣсть къ намъ оттуда пришла!
За горами кровавая битва была!
Тамъ засада была... Говорятъ,
Будто нашихъ сарбазовъ отрядъ
Истребленъ ненавистной измѣною... Чу!
Кто-то скачетъ... Копыта стучать...
Пыль столбомъ... Я дрожу и молитву шепчу...
Не бросай въ меня камнями!...
Я и такъ уже ранена...

Кавказская жизнь не была только картиною для молодого поэта; она, повидимому, сильно задѣла и его личное существованіе. Но онъ сохранилъ свободу души и ясность поэтическаго сознанія:

Я не приду къ тебѣ... Не жди меня! Не даромъ
Едва потухло зарево зари,
Всю ночь зурна звучить за Авлабаромъ,
Всю ночь за банями поютъ сазандари.

.....
Не ты ли тамъ стоишь на кровлѣ подъ чадрою
Въ сіяньи мѣсячномъ? Не жди меня, не жди!
Ночь слишкомъ хороша, чтобъ я провелъ съ тобою
Часы, когда душѣ простора нѣтъ въ груди...
Когда сама душа, сама душа не знаетъ,
Какой еще любви, какихъ еще чудесъ
Просить или желать, но просить, но желаетъ,
Но молится предъ образомъ небесъ,—
И чувствуетъ, что уголокъ твой душевъ,
Что не тебѣ моимъ моленьямъ отвѣчать...
Не жди! Я въ эту ночь къ соблазнамъ равнодушенъ,
Я въ эту ночь къ тебѣ не буду ревновать.

Неизвѣстно, какъ отнеслась прекрасная грузинка къ этому простодушно-нелюбезному обращенію и чѣмъ она его объяснила; но для насъ совершенно ясно, что главная причина тутъ была „Царь-Дѣвица“ которая напоминала о себѣ поэту своимъ отраженіемъ въ ночномъ небѣ и не допустила его погружаться въ омутъ „соблазновъ“ болѣе, чѣмъ слѣдовало.

Какъ итогъ всего пережитаго имъ на Кавказѣ, поэтъ вынесъ бодрое и ясное чувство духовной свободы.

Душу къ битвамъ житейскимъ готовую
Я за снѣжный несущу переваль...
Я Казбекъ миноваль, я Крестовую
Миноваль, недалеко Дарьяль.
Слышу, Терека волны тревожныя
Въ мутной пѣнѣ по камнямъ шумять;
Колокольчикъ звенить, и надежныя
Кони юношу къ сѣверу мчатъ.
Выси горъ, въ облака погруженныя,
Разступитесь! Приволье станицъ...
Разстилаются степи зеленныя...
Я простору не вижу границъ.
И душа на просторъ вырывается
Изъ-подъ власти кавказскихъ громадъ...

Колокольчикъ звенить — заливается,
Кони юношу къ сѣверу мчатъ.

Все что было обманомъ, измѣною,
Что лежало на мнѣ словно цѣпь,—
Все исчезло изъ памяти — съ пѣною
Горныхъ рѣкъ, выбѣгающихъ въ степь.

Это чувство задушевнаго примиренія, отнимающаго у „жиз-
тейскихъ битвъ“ ихъ острый и мрачный, трагическій ха-
рактеръ, осталось у нашего поэта на всю жизнь и состав-
ляетъ преобладающій тонъ его поэзіи. Очень чувствительный
къ отрицательной сторонѣ жизни, къ ея злобѣ и пустотѣ —
онъ не сдѣлался пессимистомъ, не впалъ въ уныніе, которое
есть смертельный грѣхъ не только для религіи и философіи,
но также и для поэзіи. Въ самыя тяжелыя минуты личной
и общей скорби для него не закрывались „щели изъ мрака
къ свѣту“.

Мой умъ подавленъ былъ тоской,
Мои глаза безъ слезъ горѣли;
Надъ озеромъ сплетались ели,
Чернѣлъ камышъ, — сквозили щели
Изъ мрака къ свѣту надъ водой
И много, много звѣздъ мерцало;
Но въ сердце мнѣ ночная мгла
Холодной дрожью проникала,
Мнѣ видѣлось такъ мало, мало
Лучей любви надъ бездной зла.

Но эти лучи никогда не погасали въ его душѣ, они
отняли злобу у его сатиры и позволили ему создать его
оригинальнѣйшее произведеніе „Кузнечикъ-Музыкантъ“.

Чтобы ярче представить сущность жизни, поэты иногда
продолжаютъ, такъ-сказать, ея линіи въ ту или въ другую
сторону. Такъ Дантъ вымotalъ человѣческое зло въ девяти
грандіозныхъ кругахъ своего ада. Полонскій стянулъ и
сжалъ обычное содержаніе человѣческой жизни въ тѣсный
мірокъ насѣкомыхъ. Данту пришлось надъ мрачною громадою
своего ада воздвигнуть еще два огромные міра — очищающаго
огня и торжествующаго свѣта: Полонскій могъ вмѣстить
очищающій и просвѣтляющій моменты въ тотъ же уголокъ
поля и парка. Пустое существованіе, въ которомъ все дѣйстви-
тельное мелко, а все высокое есть иллюзія — существованіе
человѣкообразныхъ насѣкомыхъ или насѣкомообразныхъ лю-

дей, — преобразуется, получаетъ достоинство и красоту силою чистой любви и безкорыстной скорби. Этотъ смыслъ, разлитый во всей поэмѣ, сосредоточивается въ заключительной сценѣ — похоронъ, производящей до извѣстной степени, несмотря на микроскопическую канву всего разсказа, то очищающее душу впечатлѣніе, которое Аристотель считалъ назначеніемъ трагедіи.

Первостепенное мѣсто въ русской поэтической литературѣ было бы обезпечено за Полонскимъ и въ томъ случаѣ, если бы онъ создалъ только „Кузнечика-Музыканта“, подобно тому, какъ Грибоѣдовъ всѣмъ своимъ литературнымъ значеніемъ обязанъ единственно своей знаменитой комедіи. Но у Полонскаго, слава Богу, много и другого богатства, которому мы дали лишь очень неполный инвентарь. Изъ болѣе крупныхъ жемчужинъ назовемъ еще „Кассандру“.

Замѣтимъ однако, что она не безъ изъяна, отъ котораго, впрочемъ, ее очень легко было бы избавить, — стоитъ только зачеркнуть четвертую и пятую строфу, не измѣняя ни буквы въ предыдущемъ и въ послѣдующемъ. Дѣло въ томъ, что эти двѣ строфы (отъ стиха „Аполлона жрецъ суровый“ и до стиха „Шла изъ отчаго дворца“ включительно) составляютъ пояснительную вставку, излишнюю для пониманія и рѣшительно портящую поэтическое впечатлѣніе. Превосходный образъ идущей на свиданіе съ Аполлономъ пророчицы:

Лишь Кассандра легче тѣни,	Складки длинныя колышетъ
Не спѣша будить отца,	Удаляющійся шагъ...
Проскользнула на ступени	Глухи Гектора чертоги, —
Златоверхаго дворца;	Только храмы настезь, — тамъ
.....	Только мраморные боги
Ей въ лицо прохлада дышитъ,	Предвкушаютъ ейміамъ...
Ночи темъ въ ея очахъ;	

Этотъ прекрасный образъ и прекрасные стихи вдругъ прерываются объясненіемъ закулисной тайны — какъ и почему жрецъ Аполлона подстроилъ это дѣло:

Въ этомъ видѣлъ онъ спасенье	Скрывъ свое негодованье
Трои замкнутой врагомъ,	Къ назиданіямъ жреца,
И ей далъ благословенье	Дочь Пріама на свиданье
Сочетаться съ божествомъ;	Шла изъ отчаго дворца...

Это неумѣстное объясненіе, изложенное ужасно прозаическими стихами, сильно портитъ поэмѣ; а между тѣмъ ничто

не мѣшаетъ его выпустить, и, послѣ мраморныхъ боговъ,
предвкушающихъ еиміамъ, прямо продолжать:

Вотъ ужъ видны ей: могила,	Даль залива, и вѣтрила
Съ новой урной саркофагъ,	И костры и дымъ въ горахъ...

Далѣе черезъ нѣсколько строфъ есть еще маленькая вставка,
менѣе портащая дѣло, но все-таки лишняя и столь же легко
устраиваемая, именно начало рѣчи самой Кассандры:

Полюбила бъ я, быть можетъ,	Участь родины тревожить...
Да любви мѣшаетъ стыдъ...	Неизвѣстность тяготить...

Зачѣмъ это флегматическое разсужденіе, мало соотвѣт-
ствующее обстоятельствамъ времени, мѣста и образа дѣйствія,
когда далѣе слѣдуютъ такіе ясные и сильные стихи:

Ты стрѣлой сразилъ Ахилла	Я устала ненавидѣть,
Но Зевесъ, отецъ твой, намъ	Я любить хочу, но знай, —
За Ахилла мстить, и сила	Я, любя, хочу предвидѣть... —
Напираетъ на Пергамъ.	Даръ предвидѣнья мнѣ дай!

Въ большихъ поэмахъ Полонскаго изъ современной жизни
(человѣчьей и собачьей), вообще говоря, внутреннее зна-
ченіе не соотвѣтствуетъ объему. Нельзя однако согласиться
съ тѣми критиками, которые отрицаютъ у этихъ стихотво-
рныхъ повѣстей всякое поэтическое достоинство и увѣряютъ,
что авторъ писалъ ихъ стихами только потому, что ему
легко дается версификація. Но не менѣе легко онъ можетъ
писать и прозой, какъ доказываютъ его обширные романы.
Во всякомъ случаѣ было бы жалко, если бы онъ не воспользо-
вался стихомъ для такого, напримѣръ, описанія (въ поэмѣ
„Мими“):

Вотъ онъ пледъ свой перекинулъ	Гдѣ изъ-за горы лѣсистой,
На плечо, и не тревожа	Озаренное луною,
Спящей, темными дверями	Свѣтитъ море золотистой
Вышелъ вонъ дышать цвѣтами	Уходящей полосой,
Южной ночи, въ этомъ садѣ,	И любовно ластясь къ соннымъ
Въ этой трепетной прохладѣ,	Берегамъ, загроможденнымъ
Гдѣ богинь не мало бѣлыхъ,	Сглаженными валунами,
Подъ рѣзцомъ окаменѣлыхъ,	Лбснющими волнами
Въ неподвижныхъ покрывалахъ,	Ихъ зализываетъ раны
На высокихъ пьедесталахъ	И на отмели песчаны
.	Точно сыплеть жемчугами

Перекатными; и мнится,
Кто-то ходитъ и боится
Разрыдаться, только точитъ
Слезы, въ чью-то дверь стучится,
То шурша назадъ волочитъ
По песку свой шлейфъ, то снова

Возвращается туда же
И затѣмъ же... и другого
Ничего нѣтъ,— вѣчно та же
Музыка, пульсъ жизни вѣчной
Мировой, земной, сердечной.

Настоящее собраніе стихотвореній Полонскаго достойно заканчивается правдивымъ поэтическимъ разсказомъ „Мечтатель“. Смыслъ его въ томъ, что мистическая мечта рано умершаго героя оказывается чѣмъ-то очень дѣйствительнымъ.

Вообще въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ Полонскій заглядываетъ въ самые коренные вопросы бытія. Между прочимъ его поэтическому сознанію становится ясною тайна времени — та истина, что время есть только перестановка въ разныя положенія одного и того же существеннаго смысла жизни, который самъ по себѣ есть вѣчность. Указанія на эту истину я вижу въ стихотвореніи „Аллегорія“, яснѣе — въ стихотвореніи „То въ темную бездну, то въ свѣтлую бездну“, и всего яснѣе и живѣе сводитъ поэтъ концы съ концами временнаго существованія въ одинъ кругъ вѣчности въ слѣдующихъ стихахъ:

Дѣтство нѣжное, пугливое,
Безмятежно шаловливое —
Въ самый холодъ вешнихъ дней
Лаской матери пригрѣтое
И навѣки мной отпѣтое
Въ дни безумства и страстей,
Нынѣ всѣми позабытое,
Подъ морщинами сокрытое
Въ нѣдрахъ старости моей,—
Для чего ты вновь встревожило
Зимній сонъ мой,— словно ожило
И повѣяло весной? —

... ..
— Старче! Развѣ ты — не я?
Я съ тобой навѣки связано,
Мной вся жизнь тебѣ подсказана,
Въ ней сквозитъ мечта моя; —
Не напрасно вновь являюсь я,—
Твоей смерти дожидаюсь я,
Чтобъ припомнило и я
То, что въ дни моей безпечности,
Я забыло въ нѣдрахъ вѣчности,—
То, что было до меня.

Этимъ прекраснымъ, оригинальнымъ и глубокомысленнымъ комментариемъ на евангельскій стихъ: „если не обратитесь и не будете какъ дѣти, не войдете въ Царствіе Небесное“ — заключаю я свой краткій и неполный очеркъ; моя задача была не исчерпать поэзію Полонскаго, а только отмѣтить въ ней самое цѣнное на мой взглядъ. Соловьевъ В.

Одухотворенность природы съ чарующей живой душой, какъ особая область красоты въ стихотвореніяхъ Полонскаго.

Въ поэзіи Полонскаго мы имѣемъ цѣлую область изъ царства духовной красоты, и эта область — наша русская, такая же грустная и въ то же время мощная, какъ мечтательная грусть нашихъ пѣсень. Это не грусть слабости, дряблости и безсилія, это грусть сознанія великихъ душевныхъ силъ, еще не нашедшихъ себѣ приложенія, это грусть — исканія выхода для этихъ силъ. Нигдѣ эта грусть по собственной силѣ, не опредѣлившей еще своей цѣли, не выразилась такъ ясно, какъ въ прелестномъ стихотвореніи:

Для кого разцвѣла? Для чего развилась,
Для кого это небо — лазурь ея глазъ,
Эта роскошь — волнистыя кудри до плечъ?
Эта музыка устъ — ея тихая рѣчь?
Ясно можетъ она своимъ чуткимъ умомъ
Слышать голосъ души въ разговорѣ простомъ,
И для міра любви и для міра искусствъ
Много въ сердцахъ у ней незатронутыхъ чувствъ.
Прикоснется ли клавишъ — заплачетъ рояль;
На ланитахъ огонь, на рѣсницахъ печаль,
Подойдетъ ли къ окну — *безотчетно грустна*,
Въ *безотвѣтную* даль долго смотритъ она.
Что звенить тамъ вдали, и звенить, и зоветь?
И зачѣмъ тамъ, въ степи, пыль столбами встаетъ?
И зачѣмъ та рѣка широко разлилась?
Оттого ль разлилась, что весна началась?
И откуда, откуда тотъ вѣтеръ летитъ,
Что, стряхая росу, по цвѣтамъ шелеститъ,
Дышитъ запахомъ розъ и, концами вѣтвей
Помавая, влечетъ въ сумракъ влажныхъ аллей?
Не природа ли тайно съ душой говоритъ?
Сердце ль проситъ любви и безъ раны болитъ...
И на грудь тихо падаютъ слезы изъ глазъ...
Для кого разцвѣла? Для чего развилась?

Въ этомъ дивномъ стихотвореніи — сама муза Полонскаго! Если бы когда-нибудь ему поставили памятникъ, это стихотвореніе слѣдовало бы выбить на его мраморѣ! Развѣ въ этой дѣвушкѣ вы не видите невольное воплощеніе русской женской души, съ ея вопросами, съ ея стремленіями въ без-

отвѣтную даль, въ степь, гдѣ пыль встаетъ, на широкую рѣку, съ ея волнами, уходящую не вѣсть куда? И это не только женская русская душа, это мятежная, полная вопросовъ, жажды лучшаго, полная еще полусознанныхъ силъ, вообще душа цѣлой Руси, съ ея исканіями правды, съ ея тоской по невѣдомому. Въ этомъ стихотвореніи лежитъ также и ключъ къ объясненію той любви къ природѣ, на которую критика уже обратила вниманіе во многихъ замѣткахъ, явившихся о поэзіи Полонскаго; эта любовь къ природѣ есть особое своеобразное одухотвореніе природы, именно — своеобразное, потому что одухотвореніе природы — общая черта почти всякой поэзіи. Одухотвореніе Полонскаго не есть ни гётевскій холодный пантеизмъ, рѣшившій, что міръ и Богъ — одно, и потому разсматривающій природу покойно, безстрастно, почти безъ вопросовъ, и при видѣ покойныхъ и тихихъ вершинъ покойно говорящій себѣ: „подожди немного, отдохнешь и ты“. Это и не та метафорическая, трескучая антропоморфизація природы, къ которой былъ способенъ Гюго, у котораго чувство любви къ природѣ возникаетъ не изъ томительно сладкаго предчувствія родства ея съ нами, родства, нашепывающаго Полонскому надежды на болѣе высокое и широкое значеніе нашей жизни; отсюда-то у Полонскаго это сознаніе своей силы, которую еще не знаешь какъ и куда направить, отсюда тысяча вопросовъ у „безотвѣтной“ дали, какъ это мы видѣли и въ приведенномъ стихотвореніи, и во множествѣ другихъ: даже зимняя ночь, когда она „мутно глядитъ“ подъ рогожу кибитки поэта, и когда „за горами, лѣсами, въ дыму облаковъ, свѣтитъ пасмурный призракъ луны; вой протяжный голодныхъ волковъ раздается въ туманѣ дремучихъ лѣсовъ“ — поэту мерещатся странные сны, и въ этихъ снахъ, конечно, воплощается то же чувство, тѣ же вопросы. Эти сны, эти образы чисто русскіе, изъ народныхъ сказокъ; поэту грезится, что „на волкѣ верхомъ ѣдетъ онъ по тропинкѣ лѣсной, воевать съ чародѣемъ царемъ, въ ту страну, гдѣ царевна сидитъ подъ замкомъ, изнывая за крѣпкой стѣной“... Вы видите, какъ природа возбуждаетъ жажду еще невѣдомаго подвига, борьбы за какой-то прекрасный смутный идеалъ, являющійся въ видѣ страдающей царевны, *плѣненной чародѣемъ*. Эта вѣра въ невѣдомый, чувствуемый

сердцемъ, фантастическій міръ, вѣра изъ которой поэтъ черпаетъ и дальнѣйшую вѣру въ свои нравственные идеалы добра и красоты, въ верховную одухотворенную гармонію природы, проходитъ, яркою нитью въ его поэзіи и высоко настраиваетъ душу читателя. Еще ребенкомъ онъ думаетъ, что все въ природѣ устроено *нравственно*, что солнце, уходя спать, проситъ своего брата (мѣсяцъ) посторожить землю, а утромъ мѣсяцъ обо всемъ докладываетъ солнцу, и „если ночь была спокойна, солнце весело взойдетъ, если нѣтъ, — взойдетъ въ туманѣ, вѣтеръ дунетъ, дождь пойдетъ, въ садъ гулять не выйдетъ няня и дитя не поведетъ“.

Да иначе и быть не можетъ у такого поэта, который вездѣ, гдѣ столкнется съ природой, видитъ въ ней чарующую живую душу. Вотъ, наприимѣръ, что онъ чувствовалъ въ Элладѣ:

Помню ночь, — ночь была
Упоительной нѣги полна.
Въ облака погружаясь луна,
И изъ нихъ выплывая, была
Такъ тепла, такъ *волшебна* свѣтла,
Что, казалось, въ заливѣ морскомъ,
Золотымъ подвигаясь столбомъ,
Ея лучъ волны моря зажжетъ,
Что ей *именъ* *идь-то* нимфа поетъ!
Чей-то парусъ виднѣлся вдали;
Кто-то правилъ чуть видный рулемъ,
Темный руль *догоняли* струи,
Отливаясь вдали серебромъ...
И, колеблясь, прозрачно густой
Отъ земли къ небесамъ паръ ночной
Поднимался, какъ *будто* богамъ
Безъ огня, самъ собой, еиміамъ
Воскурался...

Эта вѣра не покидаетъ его и потомъ, она спасаетъ поэта въ тотъ мигъ, когда и къ нему, какъ къ „сыну времени“, явился „демонъ сомнѣнія“:

Священный благовѣстъ торжественно звучитъ,
Во храмѣ еиміамъ, во храмѣ пѣснопѣнъе,
Молиться я хочу, но тяжкое сомнѣнье
Святые помыслы души моей мрачить.
И вѣрю я, и вновь не смѣю вѣрить;
Боюсь довѣриться *чарующей* мечтѣ...

Это стихотвореніе кончается такъ: „А жизнь, жизнь таетъ, какъ непонятный сонъ“.

Вы предчувствуете, что „чувство или чутье жизни въ природѣ“ не остановится на этомъ мертвомъ отрицаніи, и, дѣйствительно, хотя поэтъ

Встрѣчаемъ демономъ сомнѣнья
.страдая, проклиналъ,
И, отрицая *Провидѣнье*,
Какъ благодати ожидать
Послѣдняго ожесточенья.

Но, говорить онъ:

Мнѣ было жаль волшебныхъ сновъ
Отрадныхъ дѣтскихъ упованій
И мнѣ завѣщанныхъ преданій
Отъ простодушныхъ стариковъ.
Когда молитвенный мой храмъ
Лукавый демонъ опрокинулъ.
На жертву пагубнымъ мечтамъ
Онъ *одного меня* покинулъ;
Я долго вликала: гдѣ же ты,
Мой искушитель? Дай хоть руку!
Изъ этой мрачной пустоты
Неси хоть въ адъ!...

Какая страшная глубина и прочувствованность въ этихъ немногихъ строчкахъ! Въ самомъ дѣлѣ, какою безсмысленною, безцѣльною грудой атомовъ является міръ, когда изъ него вырвана душа, вырвана поэзія! Это трупъ, да и мы въ немъ, тотчасъ же становимся трупами, маріонетками, механически подергиваемыми мертвыми толчками мертвыхъ безсмысленныхъ атомовъ! Поэтъ, менѣе чѣмъ кто-либо, можетъ вынести такое міросозерцаніе оскопленныхъ и засохшихъ мумій!

И вотъ, среди мятежныхъ думъ,
Среди мучительныхъ сомнѣній
Остановился шаткій умъ
И жаждетъ новыхъ откровений.
И если вновь, о демонъ мой,
Тебя нечаянно я встрѣчу,
Я на привѣтъ холодный твой
Безъ содроганія отвѣчу,
Весь міръ открыть моимъ очамъ,
Я снова гордо, могуче, спокоенъ —

*Пуškai разрушенъ прежній храмъ,
О чемъ жалѣть, когда построень
Другой — не на холмѣ гробовъ,
Не изъ разбросанныхъ обломковъ
Той ветхой храмины отцовъ,
Гдѣ стало тѣсно для потомковъ.
И какъ великъ мой новый храмъ,
Нерукотворенъ куполь вѣчный,
Гдѣ ночью путь проходитъ млечный,
Гдѣ ходитъ солнце по часамъ,
Гдѣ все живетъ, горитъ и дышитъ,
Гдѣ раздается вѣчный хоръ,
Который демонъ мой не слышитъ.
Который слышитъ Пнеагоръ...*

.
И вотъ
Всѣ гении земного міра,
И всѣ, кому послушна лира,
Мой храмъ наполнили толпой;
Гомера, Данта и Шекспира
Я слышу голосъ вѣковой.
Теперь попробуй, демонъ мой,
Нарушить этотъ гимнъ святой,
Наполнить смрадомъ это зданье.
О, нѣтъ! съ могуществомъ своимъ,
Безсильный, уходи къ другимъ,
И разбивай одни преданья
Остатки формъ безъ содержанья.

Оболенскій.

Гармоническое настроеніе души, создаваемое поэзіей Полонскаго, при разнообразіи затрогиваемыхъ ею областей чувствъ, ея изящная образность и прозрачная хрустальность стиха.

Вопреки обще-принятому мнѣнію, будто въ наше время не существуетъ больше никакого запроса на поэзію, будто среди поглощающихъ насъ практическихъ и общественныхъ интересовъ даже совѣстно заниматься такими пустяками какъ стихи, будто, однимъ словомъ,

Въ нашемъ вѣкѣ зрѣломъ,
Извѣстно вамъ — всѣ заняты мы дѣломъ —

вопреки всѣмъ этимъ увѣреніямъ, никогда, быть можетъ, не печаталось столько стиховъ и никогда русскіе поэты не обна-

руживали такой плодовитости, какъ именно въ настоящее прозаическое время. И что всего замѣчательнѣе, стихами переполнены именно тѣ журналы, которые болѣе всѣхъ глумятся надъ поэзіей и съ особеннымъ самодовольствомъ кричатъ о практическихъ задачахъ вѣка, о реалистическомъ и серьезномъ направленіи новаго поколѣнія вообще и своихъ сотрудниковъ въ особенности. Разверните любую книжку *Дня* или *Отечественныхъ Записокъ*, и вы найдете тамъ десятки страницъ, наполненныхъ стихами. Некрасовъ сочиняетъ цѣлыя опереточныя либретто, объемомъ въ нѣсколько печатныхъ листовъ. *Вѣстникъ Европы* также изобилуетъ стихотвореніями. Въ книжной торговлѣ являются многотомныя изданія Шиллера, Гёте, Байрона, Гейне въ русскихъ стихотворныхъ переводахъ, и не только являются, но и расходятся въ публикѣ съ замѣчательною быстротою, въ такомъ большомъ числѣ экземпляровъ, какого рѣдко достигаютъ самыя сенсационныя прозаическія изданія. Нѣтъ кажется ни одного такого маленькаго иностраннаго поэта, изъ котораго въ русскихъ журналахъ не являлось бы переводовъ. Если бы была возможна основательная книжная и журнальная статистика, мы, навѣрное, убѣдились бы, что въ самыя романтическія эпохи своей жизни, русское общество никогда не поглощало столько стиховъ, какъ въ послѣднія пятнадцать лѣтъ, ознаменованныя гоненіемъ на искусство вообще и поэзію въ особенности.

Мы могли бы воспользоваться этимъ обстоятельствомъ, чтобы показать, до какой степени вкусъ и потребности общества разошлись съ тенденціозною рутиной современнаго журнализма, если бъ это не было уже довольно старою и общеизвѣстною истиной.

Правда, во всей этой массѣ стиховъ, въ которой плаваетъ современная литература, очень не много поэзіи. Сомнѣваемся, напримѣръ, чтобы легко было открыть ея присутствіе въ новомъ произведеніи Некрасова, одна только вторая часть котораго заняла въ январьской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* полсотни страницъ, и изъ котораго мы, во избѣжаніе дальнѣйшей оцѣнки, приведемъ здѣсь слѣдующую выдержку:

Время вытти на поприще новое,
Честъ имѣю проектъ предложить,

Все обдуманно — дѣло готовое,
Стоить только уставъ сочинить.
Мысль — „Центральнаго дома терпимости“,
Такова наша мысль! Скажутъ намъ:
Прежде Невскій цѣлковыми вымости,
И на то я согласіе дамъ!
Вамъ порукою наше серіозное
Отношеніе къ дѣламъ вообще,
Что развитіе ей грандіозное
Мы надѣмся дать не вотще:
Лишь бы намъ разрѣшили концессию...
Учредимъ капиталъ на паяхъ,
И убивъ мелочную профессію,
Двинемъ дѣло на всѣхъ парусахъ!

Но если въ подобныхъ произведеніяхъ и замѣчается болѣе поддѣлки подъ вкусы толкучаго рынка, чѣмъ поэзіи, то нельзя однако же сказать, чтобы не появлялись въ наше время и настоящихъ, хорошихъ стиховъ, не чуждыхъ того поэтическаго вліянія, которое украшало и облагораживало поэзію предыдущей эпохи. Къ числу такихъ дѣйствительно поэтическихъ явленій текущей литературы слѣдуетъ отнести и новый сборникъ стихотвореній Я. П. Полонскаго *Озимь*, на который хотимъ обратить вниманіе нашихъ читателей.

Изъ поэтовъ сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ никто чаще Полонскаго не доставлялъ публикѣ эстетическихъ наслажденій. Муза его не утратила ни свѣжести ни плодovitости: въ его стихахъ и теперь слышится молодость, молодой поэтической задоръ и молодая задумчивость. Пишетъ Полонскій много, даже больше, чѣмъ писалъ прежде. Новая книжка его стихотвореній, составившаяся изъ произведеній послѣднихъ лѣтъ, включаетъ въ себѣ до сорока пьесъ, между которыми нѣсколько поэмъ значительнаго объема, а въ нее еще не вошли двѣ самыя большія повѣсти въ стихахъ, писанныя въ семидесятихъ годахъ, *Мими и Келіотъ* и большое сатирическое произведеніе *Собаки*, составляющее само по себѣ цѣлую книжку. Такая плодovitость возможна только при условіи, когда поэтъ вполне овладѣваетъ стихомъ и всѣми техническими трудностями своего искусства. Для Полонскаго „языкъ боговъ“, или, говоря проще, стихотворная рѣчь дѣйствительно составляетъ его природный языкъ. Размѣръ и рима ему повинуются охотно, на его стихахъ никогда не лежитъ печать напряженія или труда. Онъ не

дорабатываетъ свой стихъ до той изысканной виртуозности, которая иногда украшала, а чаще портила произведенія покойнаго Мея; но въ его стихѣ много изящества, соединеннаго съ простотою, и въ особенности много того совершенно индивидуальнаго качества, которое мы назвали бы хрустальною прозрачностью. Эта прозрачность, дѣлающая стихи Полонскаго иногда похожими на поэтизированный лепетъ ребенка, отражается и на самомъ содержаніи его поэзіи. Лучшими его вещами остаются до сихъ поръ тѣ, въ которыхъ выразилась присущая его таланту изящная грація мысли и формы и молодая, мечтательная и отчасти нарядная веселость. Рѣзкія и сильныя проявленія чувства не въ характерѣ этого таланта, и хотя въ нѣкоторыхъ позднѣйшихъ произведеніяхъ Полонскаго замѣтно стараніе придать стиху силу и горечь, но мы предпочитаемъ тѣ болѣе раннія созданія его музы, гдѣ онъ вполне вѣренъ своей поэтической природѣ, гдѣ онъ отдается въ одно и то же время своей нарядной печали и своей мечтательной, тихой веселости. Въ этомъ чарующемъ соединеніи различныхъ струнъ чувства, когда ни одинъ звукъ не раздается криливо и рѣзко, но слышится ропщущая и крадущаяся въ душу гармонія — заключается, по нашему мнѣнію, главное очарованіе поэзіи Полонскаго. Чтобы лучше пояснить нашу мысль, приведемъ здѣсь одно стихотвореніе, принадлежащее пятидесятымъ годамъ, но пропущенное почему-то въ прежнихъ изданіяхъ, и которымъ начинается книжка *Озимей*. Оно называется *Примадонна*:

О, пой, Примадонна!
Авось вдохновенье
Твое освѣжить насъ
Хотя на мгновенье;
Напомнить минуты
Отрады случайной, —
Минуты, для свѣта,
Покрытыя тайной.
Въ тяжелое время
Всеобщаго торга
Такъ рѣдки, такъ сладки
Волненья восторга!

О, пой, Примадонна!
Толпа рукоплещетъ;
Ожившее сердце
Пугливо трепещетъ...
И мнится: близъ рая,
У замкнутой двери,
Поетъ безнадежно
Заблудшая перь;
А демонъ изъ бездны,
Напѣву внимая,
Гремя рукоплещетъ
Изгнанницѣ рая.

Собственно говоря, это только поэтическая бездѣлка, и мы ссылаемся на нее вовсе не какъ на яркій образчикъ твор-

чества. У Полонскаго есть вещи гораздо болѣе серьезныя, гораздо полнѣе выражающія поэтическую мысль. Но намъ захотѣлось прежде всего напомнить это стихотвореніе потому, что въ его конструкціи, въ его стихѣ, въ изящномъ подъемѣ вдохновеннаго чувства съ особенною ясностью ощущается что-то мечтательное, нарядное и немножко грустное, что всегда есть въ лучшихъ произведеніяхъ нашего поэта. Пусть притомъ читатель обратитъ вниманіе, съ какою изящною творческою непринужденностью отъ лирической темы этого стихотворенія отдѣляется образъ съ опредѣленными, хотя только едва обозначенными чертаніями: примадонна, заставляющая „въ тяжелое время всеобщаго торга“ пугливо трепетать ожившее сердце, превращается въ заблудшую перь, поющую у вратъ потеряннаго рая, а толпа, пробужденная этою небесною мелодіей, та самая толпа, которая участвуетъ во „всеобщемъ торгѣ“, внимаетъ ей какъ демонъ мучительно и сладостно взволнованный въ своей темной безднѣ.

Изящная образность представляетъ одну изъ самыхъ увлекательныхъ сторонъ поэзіи Полонскаго. Припомнимъ его дивную и лучшую поему *Кузнечикъ Музыкантъ*; сколько тамъ разсыяно граціозныхъ, нарядныхъ, веселыхъ образовъ, сколько въ этихъ образахъ красивой поэтичности, тихаго чувства и иногда осторожной благородной поэзіи! Полонскій часто является замѣчательнымъ жанристомъ, въ лучшемъ, изящнѣйшемъ смыслѣ этого термина, которымъ такъ много злоупотребляютъ въ современномъ русскомъ искусствѣ. Въ его отношеніяхъ къ своимъ героямъ у него часто сквозитъ какая-то особая, чрезвычайно милая шутливость онъ какъ будто играетъ и ими, и своими стихами, и своими образами, играетъ той красотой, которою вѣетъ отъ изображаемыхъ имъ картинокъ. Вообще, весьма немногіе изъ нашихъ поэтовъ умѣютъ такъ изящно и мило шутить, какъ Полонскій: его иронія прозрачна, какъ солнечный лучъ. Припомнимъ хотя бы слѣдующія строки послѣ разговора бабочки съ кузнечикомъ во второй пѣснѣ этого прелестнаго шуточного эпоса:

И она сложила
Крылышки (такъ точно бабушкины внучки,
Гостю присѣдая, складываютъ ручки),
И по-надъ дорожкой, тихо ковыляя,

Словно листикъ, вѣтромъ сорванный, мелькая
Бѣлизною крыльевъ, понеслась Сильфида...
Скоро мой кузнечикъ потерялъ изъ вида
Полевую фею, подсканнулъ, вцѣпился
Въ усики ржаного колоса, — и злился,
Что проклятый вѣтеръ колосъ нагибаетъ,
Нагибая колосъ, видѣть вдаль мѣшаетъ...
Въ этомъ положеньи шмель его увидѣлъ
И нескромнымъ словомъ прыгуна обидѣлъ.
Бѣдненькій кузнечикъ тутъ же спохватился,
Растопырилъ фалды и въ траву свалился.

или припомнимъ слѣдующую сцену бала насѣкомыхъ:

Копоятся гости. Въ мѣсячномъ сіяньѣ,
Бабочки порхаютъ въ бальномъ одѣяньи.
Стрекоза, сцѣпившись съ стрекозой, несется, —
Пестрый вихорь вальса шелеститъ и вьется...
Жухолицы ходятъ около буфета;
Ползаютъ козявки... И, большого свѣта,
Жесткія особы, — божія коровки
Собрались другъ другу показать обновки.
Молча, подбираясь къ двумъ зеленымъ мухамъ,
Два жучка какихъ-то выступаютъ брюхомъ
На короткихъ ножкахъ. Муравей, съ шнуровкой
Подъ жилетомъ моднымъ, съ желтенькой коровкой
Важно и небрежно, присѣдая, пляшетъ и т. д.

Мы привели эти выдержки затѣмъ, что самыя талантливыя произведенія нашей поэзіи скоро забываются, и въ настоящее время мало кто помнитъ *Кузнечика Музыканта*, эту прелестнѣйшую изъ поэтическихъ шутокъ, которую во всякой другой литературѣ оцѣнили бы очень высоко. Мы причисляемъ ее къ шуткамъ, однако къ такимъ, гдѣ веселость идетъ рядомъ съ грустью, и гдѣ разлито много любвеобильнаго, искреннаго и хорошаго чувства: вспомнимъ хотя бы заключительную пѣснь поэмы, за чтеніемъ которой щемитъ сердце.

Образность, присущая таланту Полонскаго, мы назвали изящною, и въ этомъ качествѣ мы видимъ одну изъ индивидуальностей нашего поэта. Даже тамъ, гдѣ онъ рисуетъ образы мрачныя, отталкивающіе, онъ не оскорбляетъ вашего чувства. Въ новой книжкѣ его есть стихотвореніе *Глодь*, въ которомъ это народное бѣдствіе олицетворено въ живой фигурѣ, чрезвычайно яркой и вмѣстѣ съ тѣмъ не лишенной *сильнаго* народного колорита. И несмотря на мрачный ха-

ракторъ этой фигуры, несмотря на присутствіе народнаго элемента, понимаемаго у насъ обыкновенно въ смыслѣ простонародной грубости — взгляните, съ какимъ художническимъ тактомъ нарисованъ у Полонскаго этотъ страшный образъ:

Словно злое чудище,
Голодь зараждается,
Онъ въ дырявомъ рубищѣ
За гумномъ слоняется,
Въ огородахъ прячется,
Зимы дожидается,
На распутѣ плачется.
Буря ли проносится
Али дождикъ хлещется —
Пахарю мерещется,

Голодь въ избу просится
Воетъ волею — скоблется
Съ домовыми борется...
Съ алчною утробою,
Съ ненасытной злобою,
Съ вѣщими угрозами...
Голодь подъ морозами
Не боится холода,
Добѣжить до города...

Мы не претендуемъ въ этой бѣглоѣ замѣткѣ, вызванной появленіемъ *Озимей*, дать полную оцѣнку таланта Полонскаго и всего того, что онъ произвелъ въ продолжительный періодъ своей литературной дѣятельности. Эта почтенная, болѣе чѣмъ тридцатилѣтняя дѣятельность, могла бы быть предметомъ большой критической статьи. Въ настоящей замѣткѣ мы спѣшимъ перейти къ обзору тѣхъ, болѣе частью, позднѣйшихъ произведеній поэта, которыя вошли въ составъ новаго сборника его стихотвореній.

Далеко не раздѣляя мнѣніе тѣхъ, которые полагаютъ, что Полонскій истощилъ уже свои темы и свои лучшіе мотивы, мы должны однако сказать, что выборъ пьесъ для этого послѣдняго изданія не отличается тою строгостью, съ какою поэтъ отнесся къ самому себѣ въ первомъ изданіи, вышедшемъ въ срединѣ пятидесятихъ годовъ. *Озимь* не состоятъ изъ однихъ только чистыхъ жемчужинъ поэзіи, какъ та первая книжка стихотвореній Полонскаго. Въ новомъ сборникѣ есть вещи довольно слабыя, напр. *Мишенька*, *Помышанная Отрадная Встрѣча* и нѣкоторыя другія. Къ этой же категоріи мы отнесли бы и большой отрывокъ изъ поэмы *Братъ*, если бъ здѣсь нѣкоторыя отдѣльныя прекрасныя мѣста не выкупали блѣдности и растянутости цѣлаго. Можно пожалѣть также, что авторъ не исключилъ изъ многихъ весьма хорошихъ стихотвореній сильно вредящихъ имъ вставокъ тенденціознаго и рутинно-обличительнаго свойства (напримѣръ, въ стихотвореніи *Голодь* такъ и рѣжетъ куплетъ

объ ананасахъ въ сахарѣ и о свѣтскихъ красавицахъ). Все такое слѣдовало бы представить въ исключительное распоряженіе Некрасова, Минаева и имъ подобныхъ стихотворцевъ. Но такихъ, сравнительно слабыхъ произведеній, въ новомъ сборникѣ Полонскаго немного; они исчезаютъ между стихотвореніями, запечатлѣнными симпатичнымъ и еще свѣжимъ талантомъ. Лучшее изъ нихъ, по нашему мнѣнію — *Казимиръ Великій*. Тема его, указанная автору покойнымъ Гильфердингомъ, заимствована изъ разсказа польскаго лѣтописца Длугоша о раздачѣ королемъ Казимиромъ хлѣба изъ своихъ магазиновъ во время голода. Стихотвореніе начинается тѣмъ, какъ

Въ расписныхъ саняхъ, ковромъ покрытыхъ,
На распашку, въ буркѣ боевой,
Казимиръ, круль польскій, мчится въ Краковъ
Съ молодой, веселою женой.

Онъ спѣшитъ домой съ охоты. Въ Краковѣ его ждутъ „воеводы, шляхта, краковянки, музыка и танцы и вино“. Но круль не въ духѣ: онъ слышалъ, какъ бродячій гусляръ пѣлъ лѣсникамъ о страшномъ голодѣ, отъ котораго гибнетъ народъ, и пѣсня эта омрачила круля. Онъ везетъ гусляра съ собой для того, чтобы слышали веселящіеся магнаты „то, что спяна пѣлъ онъ лѣсникамъ“. Во время блестящаго пира въ новомъ королевскомъ замкѣ, среди нарядной толпы выступаетъ гусляръ.

Отъ него надворной вѣетъ стужей,
Искры снѣга таютъ въ волосахъ,
И какъ тѣнь лежитъ румянецъ сизый
На его обвѣтренныхъ щекахъ.

Онъ поетъ „про славные походы на сосѣдей, нѣмцевъ и татаръ“; въ толпѣ слышатся шумныя одобренія —

Только круль махнулъ рукой, нахмурысь —
Дескать, пѣсни эти я слыхалъ!

Гусляръ затягиваетъ другую — про любовь, про молодость и чары прекрасной королевы, но Казимиръ попрежнему мраченъ и велитъ пѣть ту пѣсню, которую подслушалъ онъ у

него въ лѣсу. Смущенный гусларь затягиваетъ заунывнымъ голосомъ:

Ой вы, хлопцы, ой вы, Божьи люди!
Не враги трубятъ въ побѣдный рогъ,
По пустымъ полямъ шагаетъ голодъ,
И кого не встрѣтитъ — валить съ ногъ.

Онъ поетъ про страданія хлопцовъ, про корысть пановъ, поднявшихъ цѣну на хлѣбъ въ эту годину народнаго бѣдствія.

Не успѣлъ онъ кончить этой пѣсни:
„Правда ли?“ вдругъ вскрикнулъ Казимиръ,
И привсталъ, и въ гнѣвъ весь багровый,
Озираетъ онѣмѣвшій пиръ.
Поднялись, дрожать, блѣднѣютъ гости.
Что же вы не славите пѣвца?
Божья правда шла съ нимъ изъ народа
И дошла до нашего лица...
Завтра же, въ подрывъ корысти вашей,
Я мои амбары отопру.
Вы... лжецы! Глядите, я, король вашъ,
Кланяюсь за правду гусларю...
И пѣвцу поклонъ отвѣсивъ, вышелъ
Казимиръ — и пиръ его притихъ...
„Хлопскій круль!“ въ сѣняхъ бормочутъ паны...
„Хлопскій круль!“ лепечутъ жены ихъ...

Какъ видятъ читатели, стихотвореніе это не совсѣмъ принадлежитъ къ области такъ называемаго „чистаго искусства“; въ немъ есть общественная идея, которая въ первоначальной редакціи стихотворенія, сколько намъ помнится, была выражена яснѣе, чѣмъ въ томъ видѣ, въ которомъ эта пьеса является въ *Озимяхъ*. Но никто, конечно, не назоветъ это произведеніе тенденціознымъ: идея въ немъ такъ тѣсно связана съ поэтическимъ образомъ, что ихъ не оторвать одну отъ другого. Если бы наши такъ называемые „гражданскіе“ поэты понимали въ такомъ смыслѣ внутреннюю содержательность поэзіи, литература освободилась бы отъ множества скучныхъ и фальшивыхъ созданій, наполнившихъ ее въ послѣдніе годы... Отрывокъ изъ поэмы *Братья* — самая длинная вещь въ сборникѣ. Мы опасаемся произнести объ этомъ произведеніи опредѣленное сужденіе, такъ какъ замыселъ поэта остался неисполненнымъ и идея невыясненною. Задумана была эта поэма, кажется, очень широко, и, судя по

нѣкоторымъ признакамъ, слѣдуетъ полагать, что поэтъ имѣлъ въ виду положить въ нее много задушевнаго, завѣтнаго и, можетъ быть, припомнитъ много личныхъ впечатлѣній. Но работа осталась не конченною, и напечатанный отрывокъ еще не даетъ возможности судить о цѣломъ. Мы видимъ только рядъ картинъ, написанныхъ мѣстами свободною и широкою кистью, мѣстами же не совсѣмъ удачныхъ. Герой поэмы, насколько онъ выяснился, принадлежитъ къ категоріи артистическихъ натуръ, которыми изобиловало наше общество сороковыхъ годовъ. Авторъ проводитъ его черезъ рядъ впечатлѣній, сначала въ Москвѣ, гдѣ на него обрушивается одна изъ тѣхъ псевдо-политическихъ невзгодъ, какія были нерѣдки въ тогдашнее время, потомъ въ Римѣ, въ интереснѣйшую эпоху, изгнанія папы и борьбы съ войсками французской республики. На этой канвѣ поэтъ изобразилъ много узоровъ, отмѣченныхъ поэтическою силой и красотой, въ особенности хороша картина тогдашняго Рима. Нельзя не остановиться также на слегка набросанной женской фигурѣ, появляющейся въ началѣ поэмы на пикникѣ, устроенномъ въ Москвѣ друзьями уѣзжающаго въ Римъ героя: по мягкости и изяществу рисунка, этотъ вскользь напечатанный образъ принадлежитъ къ самымъ удачнымъ въ поэмѣ. Въ загородный вокзалъ, гдѣ веселится кутящая молодежь, входитъ никому незнакомая дѣвушка:

Гостья, вѣя

Ночною влагой, какъ ночная фея,
Попавшая къ сатирамъ на банкетъ,
Дрожала... Зимней ночи холодъ
Лежалъ румянцемъ на ея лицѣ;
Румянецъ этотъ былъ, какъ утро молодъ,
И свѣжъ, какъ роза въ свадебномъ вѣнцѣ;
Прилившія къ ея кудрямъ снѣжинки
Растаяли въ алмазы; до косынки
До самыхъ плечъ ея, со всѣхъ сторонъ
Спадали кудри, русыя, какъ ленъ;
Ея глаза не измѣняли цвѣта —
И при свѣчахъ ясна была лазурь,
Лазурь, напоминающая лѣто
Въ дни жаркіе безъ пыли и безъ бурь...
Въ лиловомъ платьѣ, съ лентой надъ пробормомъ,
Въ надорванныхъ перчаткахъ, шла она,
Скользя по лицамъ беспокойнымъ взоромъ...

Къ сожалѣнію, въ дальнѣйшемъ роль этой дѣвушки оказывается довольно банальною, и поэтическое очарованіе, окружающее ея первое появленіе, разсѣивается. Шутка, которая всегда такъ мила и изящна у Полонскаго, на этотъ разъ является какъ-будто некстати.

Между мелкими стихотвореніями вышедшими въ *Озимы* болѣе другихъ намъ нравится *Ночная дума*, съ эпиграфомъ изъ Державина: „Я червь — я богъ“. Здѣсь мысль также глубока, какъ изящная форма. Въ ночной темнотѣ поэтъ прислушивается къ звукамъ, въ которыхъ скрывается неутомная, лихорадочная и страстная жизнь большого города, и имъ овладѣваетъ мысль о томъ что онъ, постигающій прекрасное и великое, полный титаническихъ сновъ — онъ червь ничтожный для этой многоголовой толпы, служащей личнымъ страстямъ и порокамъ.

Съ этой жаждой, что воды не просить,
И которой не залить виномъ,
Для себя — я духъ, стремленій полный,
Для другихъ — я червь на днѣ морскомъ.
Духа титаническіе стоны
Слышать ли во мракѣ кто-нибудь?
Знаетъ ли хоть кто-нибудь на свѣтѣ
Отчего такъ трудно дышитъ грудь!

Ночная дума облегчаетъ намъ переходъ къ тѣмъ довольно многочисленнымъ въ *Озимяхъ* стихотвореніямъ, въ которыхъ подъ болѣе или менѣе безукоризненною формою бьется тревожная мысль поэта, обращенная къ нерѣшеннымъ задачамъ и тайнымъ недугамъ современнаго общества. Тревожное и въ большинствѣ случаевъ, грустное отношеніе къ этимъ поэмамъ выразилось въ стихотвореніяхъ *Рознь*, *На улицахъ Парижа*, *У сатаны*, *Блаженъ озлобленный поэтъ*, *Старые и новые духи* и другіе. Въ этихъ произведеніяхъ мы напрасно стали бы искать твердо обозначенныхъ идеаловъ, но зато въ нихъ много человѣческаго отношенія ко всему человѣческому. Поэту, очевидно, необходима вѣра въ то, что подъ отрицательными явленіями современной дѣйствительности существуетъ нѣчто лучшее, хотя нельзя сказать, чтобы эта вѣра выражалась въ его стихотвореніяхъ въ формѣ достаточно доказательной. Въ особенности страннымъ представляется стихотвореніе: *Блаженъ озлобленный поэтъ*, гдѣ вы-

сказанныя Полонскимъ мысли очень мало совпадаютъ съ его собственною поэтической дѣятельностью и гдѣ замѣчается какъ бы попытка возвеличить ходульныя фигуры нашихъ доморощенныхъ Ювеналовъ. Болѣе ясное отношеніе къ общественнымъ темамъ мы находимъ въ большой фантастической сценѣ *У сатаны*. Содержаніе ея — докладъ Асмодея сатанѣ объ успѣхахъ зла среди человѣчества. „Зло свои силы утроило“ — говорить служебный геній тьмы:

Многое множество
Душъ я довелъ до ничтожества:
И какъ изъ ада
Кристаллизованный чадъ
Въ міръ выметають назадъ,
Такъ эти души, до злобы назрѣвшія
Окаменѣвшія,
Смерть выметаетъ въ твой адъ.

Сатана возражаетъ, что для ловли этихъ мелкихъ душонкъ „тысяча шмыгаетъ мелкихъ чертей“. Онъ интересуется узнать объ общемъ ростѣ человѣчества, узнать, куда ведетъ его разумъ? На отвѣтъ Асмодея, что умъ человѣческій хватается за эту путеводную нить, конецъ которой теряется въ безконечномъ, онъ замѣчаетъ, что лучшее средство гасить и вязать заключается въ разливанномъ морѣ человѣческой глупости. Онъ гнѣвенъ, его раздражаютъ слова Асмодея о прорастающихъ сѣменахъ блага и добра, объ успѣхахъ человѣческаго знанія. „Что сдѣлалъ ты для того, восклицаетъ онъ, чтобъ извратить Божье дѣло, чтобъ извести душу міра и умертвить его тѣло?“ Асмодей спѣшитъ успокоить его, что на землѣ добро часто завершается зломъ, и продолжаетъ такимъ образомъ:

Было великое время:
Изъ скептицизма
И злого сомнѣнія
Выросло сѣмя
Уразумѣнія.
Разумъ всѣмъ громко подсказывать сталъ:
„Равенство“, „братство“, „свобода“.
Тутъ не одинъ идеаль --
Три идеала!
Но у меня
Вышло изъ нихъ три уroda,
Три безобразія.

Взвѣсивъ невѣжество массъ,
Я заключилъ, что въ Европѣ у насъ
Массы людей — та же Азія:
Тотъ же мнѣшескій мракъ
Царствуетъ въ нѣдрахъ народа,
И воплотилась въ богиню свобода,
И нарядилась въ красный колпакъ;
Я приподнесъ ей въ тавернѣ

Чашу вина,
И захмелѣла она;
Эту блудницу, какъ идола черни,
Я препоясалъ мечомъ,
Ей подчинилъ эшафоты,
Рядомъ поставилъ ее съ палачомъ.
И не одни идіоты
Вѣрятъ съ тѣхъ поръ,
Что тиранка народа
Есть молодая свобода,
Что ея символъ — топоръ.

Отъ „свободы“ отчетъ Асмодея переходитъ къ „равенству“. Онъ продолжаетъ:

Изъ равенства тоже
Вышло Прокустово ложе,
Кровь полилась;
Вмѣсто креста, поднялась
Надъ головами
Та гильотина *святая*
Что, понижая
Уровень мысли во имя страстей,
Стала орудіемъ власти моей.
Люди губили людей безсознательно,
Гибель равняла людей,
И такъ успѣшно равняла,
Что окончательно
Равенство пало:
Цезарь возсталъ
Грозный и стопобѣдный,
И покорились ему какъ судьбѣ.
И поклонились
Даже фигурѣ его темно-мѣдной
На темно-мѣдномъ столбѣ!

Мы позволили себѣ эти выписки потому, что приведенныя мѣста представляютъ самую сильную и образную часть „фантастической сцены“, по серьезности замысла наиболѣе обращающей на себя вниманіе въ *Озимяхъ*. Надо однако, ска-

объ ананасахъ въ сахарѣ и о свѣтскихъ красавицахъ). Все такое слѣдовало бы представить въ исключительное распоряженіе Некрасова, Минаева и имъ подобныхъ стихотворцевъ. Но такихъ, сравнительно слабыхъ произведеній, въ новомъ сборникѣ Полонскаго немного; они исчезаютъ между стихотвореніями, запечатлѣнными симпатичнымъ и еще свѣжимъ талантомъ. Лучшее изъ нихъ, по нашему мнѣнію — *Казимиръ Великій*. Тема его, указанная автору покойнымъ Гильфердингомъ, заимствована изъ разсказа польскаго лѣтописца Длугоша о раздачѣ королемъ Казимиромъ хлѣба изъ своихъ магазиновъ во время голода. Стихотвореніе начинается тѣмъ, какъ

Въ расписныхъ саяхъ, ковромъ покрытыхъ,
На распашку, въ буркѣ боевой,
Казимиръ, круль польскій, мчится въ Краковъ
Съ молодой, веселою женой.

Онъ спѣшить домой съ охоты. Въ Краковѣ его ждутъ „воеводы, шляхта, краковянки, музыка и танцы и вино“. Но круль не въ духѣ: онъ слышалъ, какъ бродячій гусларь пѣлъ лѣсникамъ о страшномъ голодѣ, отъ котораго гибнетъ народъ, и пѣсня эта омрачила круля. Онъ везетъ гусларя съ собой для того, чтобы услышали веселящіеся магнаты „то, что спѣяна пѣлъ онъ лѣсникамъ“. Во время блестящаго пира въ новомъ королевскомъ замкѣ, среди нарядной толпы выступаетъ гусларь.

Отъ него надворной вѣетъ стужей,
Искры снѣга таютъ въ волосахъ,
И какъ тѣнь лежитъ румянецъ сизый
На его обвѣтренныхъ щекахъ.

Онъ поетъ „про славные походы на сосѣдей, нѣмцевъ и татаръ“; въ толпѣ слышатся шумныя одобренія —

Только круль махнулъ рукой, нахмураясь —
Дескать, пѣсни эти я слыхалъ!

Гусларь затягиваетъ другую — про любовь, про молодость и чары прекрасной королевы, но Казимиръ попрежнему мраченъ и велитъ пѣть ту пѣсню, которую подслушалъ онъ у

него въ лѣсу. Смущенный гусларь затагиваетъ заунывнымъ голосомъ:

Ой вы, хлопцы, ой вы, Божьи люди!
Не враги трубить въ побѣдный рогъ,
По пустымъ полямъ шагаетъ голодъ,
И кого не встрѣтитъ — валить съ ногъ.

Онъ поетъ про страданія хлопцовъ, про корысть пановъ, поднявшихъ цѣну на хлѣбъ въ эту годину народнаго бѣдствія.

Не успѣлъ онъ кончить этой пѣсни:
„Правда ли?“ вдругъ вскрикнулъ Казимиръ,
И привсталъ, и въ гнѣвъ весь багровый,
Озираетъ онѣмѣвшій пиръ.
Поднялись, дрожать, блѣднѣютъ гости.
Что же вы не славите пѣвца?
Божья правда шла съ нимъ изъ народа
И дошла до нашего лица...
Завтра же, въ подрывъ корысти вашей,
Я мои амбары отопру.
Вы... лжецы! Глядите, я, король вашъ,
Кланяюсь за правду гусларю...
И пѣвцу поклонъ отвѣсивъ, вышелъ
Казимиръ — и пиръ его притихъ...
„Хлопскій круль!“ въ сѣняхъ бормочутъ паны...
„Хлопскій круль!“ лепечутъ жены ихъ...

Какъ видятъ читатели, стихотвореніе это не совсѣмъ принадлежитъ къ области такъ называемаго „чистаго искусства“; въ немъ есть общественная идея, которая въ первоначальной редакціи стихотворенія, сколько намъ помнится, была выражена яснѣе, чѣмъ въ томъ видѣ, въ которомъ эта пьеса является въ *Озимяхъ*. Но никто, конечно, не назоветъ это произведеніе тенденціознымъ: идея въ немъ такъ тѣсно связана съ поэтическимъ образомъ, что ихъ не оторвать одну отъ другого. Если бы наши такъ называемые „гражданскіе“ поэты понимали въ такомъ смыслѣ внутреннюю содержательность поэзіи, литература освободилась бы отъ множества скучныхъ и фальшивыхъ созданій, наполнявшихъ ее въ послѣдніе годы... Отрывокъ изъ поэмы *Братія* — самая длинная вещь въ сборникѣ. Мы опасаемся произнести объ этомъ произведеніи опредѣленное сужденіе, такъ какъ замыселъ поэта остался неисполненнымъ и идея невыясненною. Задумана была эта поэма, кажется, очень широко, и, судя по

нѣкоторымъ признакамъ, слѣдуетъ полагать, что поэтъ имѣлъ въ виду положить въ нее много задушевнаго, завѣтнаго и, можетъ быть, припомнитъ много личныхъ впечатлѣній. Но работа осталась не конченною, и напечатанный отрывокъ еще не даетъ возможности судить о цѣломъ. Мы видимъ только рядъ картинъ, написанныхъ мѣстами свободною и широкою кистью, мѣстами же не совсѣмъ удачныхъ. Герой поэмы, насколько онъ выяснился, принадлежитъ къ категоріи артистическихъ натуръ, которыми изобиловало наше общество сороковыхъ годовъ. Авторъ проводитъ его черезъ рядъ впечатлѣній, сначала въ Москвѣ, гдѣ на него обрушивается одна изъ тѣхъ псевдо-политическихъ невзгодъ, какія были нерѣдки въ тогдашнее время, потомъ въ Римѣ, въ интереснѣйшую эпоху, изгнанія папы и борьбы съ войсками французской республики. На этой канвѣ поэтъ изобразилъ много узоровъ, отмѣченныхъ поэтическою силой и красотой, въ особенности хороша картина тогдашняго Рима. Нельзя не остановиться также на слегка набросанной женской фигурѣ, появляющейся въ началѣ поэмы на пикникѣ, устроенномъ въ Москвѣ друзьями уѣзжающаго въ Римъ героя: по мягкости и изяществу рисунка, этотъ вскользь напечатанный образъ принадлежитъ къ самымъ удачнымъ въ поэмѣ. Въ загородный вокзалъ, гдѣ веселится кутящая молодежь, входитъ никому незнакомая дѣвушка:

Гостья, вѣя

Ночною влагой, какъ ночная фея,
Попавшая къ сатирамъ на банкеть,
Дрожала... Зимней ночи холодъ
Лежалъ румянцемъ на ея лицѣ;
Румянецъ этотъ былъ, какъ утро молодъ,
И свѣжъ, какъ роза въ свадебномъ вѣнцѣ;
Прилипшія къ ея кудрямъ снѣжинки
Растаяли въ алмазы; до косынки
До самыхъ плечъ ея, со всѣхъ сторонъ
Спадали кудри, русыя, какъ ленъ;
Ея глаза не измѣняли цвѣта —
И при свѣчахъ ясна была лазурь,
Лазурь, напоминающая лѣто
Въ дни жаркіе безъ пыли и безъ бурь...
Въ лиловомъ платьѣ, съ лентой надъ пробормотъ,
Въ надорванныхъ перчаткахъ, шла она,
Скользя по лицамъ неспокойнымъ взоромъ...

Къ сожалѣнію, въ дальнѣйшемъ роль этой дѣвушки оказывается довольно банальною, и поэтическое очарованіе, окружающее ея первое появленіе, разсѣивается. Шутка, которая всегда такъ мила и изящна у Полонскаго, на этотъ разъ является какъ-будто нехстати.

Между мелкими стихотвореніями вышедшими въ *Озими* болѣе другихъ намъ нравится *Ночная дума*, съ эпиграфомъ изъ Державина: „Я червь — я богъ“. Здѣсь мысль также глубока, какъ изящная форма. Въ ночной темнотѣ поэтъ прислушивается къ звукамъ, въ которыхъ сказывается неутомонная, лихорадочная и страстная жизнь большого города, и имъ овладѣваетъ мысль о томъ что онъ, постигающій прекрасное и великое, полный титаническихъ сновъ — онъ червь ничтожный для этой многоголовой толпы, служащей личнымъ страстямъ и порокамъ.

Съ этой жаждой, что воды не просить,
И которой не залить виномъ,
Для себя — я духъ, стремлений полный,
Для другихъ — я червь на днѣ морскомъ.
Духа титаническіе стоны
Слышитъ ли во мракѣ кто-нибудь?
Знаетъ ли хоть кто-нибудь на свѣтѣ
Отчего такъ трудно дышитъ грудь!

Ночная дума облегчаетъ намъ переходъ къ тѣмъ довольно многочисленнымъ въ *Озимяхъ* стихотвореніямъ, въ которыхъ подъ болѣе или менѣе безукоризненною формою бьется тревожная мысль поэта, обращенная къ нерѣшеннымъ задачамъ и тайнымъ недугамъ современнаго общества. Тревожное и въ большинствѣ случаевъ, грустное отношеніе къ этимъ поэмамъ выразилось въ стихотвореніяхъ *Рознь*, *На улицахъ Парижа*, *У сатаны*, *Блаженъ озлобленный поэтъ*, *Старые и новые духи* и другіе. Въ этихъ произведеніяхъ мы напрасно стали бы искать твердо обозначенныхъ идеаловъ, но зато въ нихъ много человѣческаго отношенія ко всему человѣческому. Поэту, очевидно, необходима вѣра въ то, что подъ отрицательными явленіями современной дѣйствительности существуетъ нѣчто лучшее, хотя нельзя сказать, чтобъ эта вѣра выражалась въ его стихотвореніяхъ въ формѣ достаточно доказательной. Въ особенности страннымъ представляется стихотвореніе: *Блаженъ озлобленный поэтъ*, гдѣ вы-

сказанныя Полонскимъ мысли очень мало совпадаютъ съ его собственною поэтической дѣятельностью и гдѣ замѣчается какъ бы попытка возвеличить ходульныя фигуры нашихъ доморожденныхъ Ювеналовъ. Болѣе ясное отношеніе къ общественнымъ темамъ мы находимъ въ большой фантастической сценѣ *У сатаны*. Содержаніе ея — докладъ Асмодея сатанѣ объ успѣхахъ зла среди человѣчества. „Зло свои силы утроило“ — говорить служебный геній тьмы:

Многое множество
Душъ я довелъ до ничтожества:
И какъ изъ ада
Кристаллизованный чадъ
Въ міръ выметають назадъ,
Такъ эти души, до злобы назрѣвшія
Окаменѣвшія,
Смерть выметаетъ въ твой адъ.

Сатана возражаетъ, что для ловли этихъ мелкихъ душонкъ „тысяча шмыгаетъ мелкихъ чертей“. Онъ интересуется узнать объ общемъ ростѣ человѣчества, узнать, куда ведетъ его разумъ? На отвѣтъ Асмодея, что умъ человѣческій хватается за эту путеводную нить, конецъ которой теряется въ безконечномъ, онъ замѣчаетъ, что лучшее средство гасить и вязать заключается въ разливанномъ морѣ человѣческой глупости. Онъ гнѣвенъ, его раздражаютъ слова Асмодея о прорастающихъ сѣменахъ блага и добра, объ успѣхахъ человѣческаго знанія. „Что сдѣлалъ ты для того, восклицаетъ онъ, чтобъ извратить Божье дѣло, чтобъ извести душу міра и умертвить его тѣло?“ Асмодей спѣшитъ успокоить его, что на землѣ добро часто завершается зломъ, и продолжаетъ такимъ образомъ:

Было великое время:
Изъ скептицизма
И злого сомнѣнія
Выросло сѣмя
Уразумѣнія.
Разумъ всѣмъ громко подсказывать сталъ:
„Равенство“, „братство“, „свобода“.
Тутъ не одинъ идеаль --
Три идеала!
Но у меня
Вышло изъ нихъ три уroda,
Три безобразія.

Взвѣсивъ невѣжество массъ,
Я заключилъ, что въ Европѣ у насъ
Массы людей — та же Азія:
Тотъ же миѳическій мракъ
Царствуетъ въ нѣдрахъ народа,
И воплотилась въ богиню свобода,
И нарядилась въ красный колпакъ;
Я приподнесъ ей въ тавернѣ
Чашу вина,
И захмелѣла она;
Эту блудницу, какъ идола черни,
Я препоясалъ мечомъ,
Ей подчинилъ эшафоты,
Рядомъ поставилъ ее съ палачомъ.
И не одни идиоты
Вѣрятъ съ тѣхъ поръ,
Что тиранка народа
Есть молодая свобода,
Что ея символъ — топоръ.

Отъ „свободы“ отчетъ Асмодея переходитъ къ „равенству“. Онъ продолжаетъ:

Изъ равенства тоже
Вышло Прокустово ложе,
Кровь полилась;
Вмѣсто креста, поднялась
Надъ головами
Та гильотина *святая*
Что, понижая
Уровень мысли во имя страстей,
Стала орудіемъ власти моей.
Люди губили людей безсознательно,
Гибель равняла людей,
И такъ успѣшно равняла,
Что окончательно
Равенство пало:
Цезарь возсталъ
Грозный и стопобѣдный,
И покорились ему какъ судьбѣ.
И поклонились
Даже фигурѣ его темно-мѣдной
На темно-мѣдномъ столбѣ!

Мы позволили себѣ эти выписки потому, что приведенныя мѣста представляютъ самую сильную и образную часть „фантастической сцены“, по серіозности замысла наиболѣе обращающей на себя вниманіе въ *Озимяхъ*. Надо однако, ска-

зять, что общее впечатлѣніе пьесы довольно смутное: въ ней поэтъ слишкомъ далеко отошелъ отъ самого себя, и мы не чувствуемъ въ ней той чистой, прозрачной струи, которая присуща его поэзіи. вмѣсто того здѣсь слышится скорбное уныніе и смятеніе мысли, не находящей опоры. Сначала какъ будто поэтъ слѣдитъ за старой идеей борьбы добра со зломъ, истины съ ложью; но въ результатъ выходитъ скорѣе такъ, какъ будто множество волъ борется между собою, и судьбы міра зависятъ отъ того, какое изъ всѣхъ порожденныхъ въ немъ волъ восторжествуетъ надъ другими. Вообще во всѣхъ позднѣйшихъ произведеніяхъ Полонскаго, претендующихъ на такъ называемыя современныя общественныя темы, звучатъ унылыя и скорбныя звуки. Онъ ни отъ кого не ждетъ „сокровищъ сердца, силы и мысли“, и признается, что все, чѣмъ онъ дышитъ, покуда, онъ творить „почти изъ ничего“. Онъ сѣтуетъ, что „мы всѣ косимся на искусство“, что одна только „кариатура тѣшитъ насъ“, что „лирикъ забить сатирой“, и какъ бы въ опроверженіе тому, что самъ онъ сказалъ въ стихотвореніи: „Блаженъ озлобленный поэтъ“ онъ продолжаетъ:

Но гдѣ жъ и ты,
Бичъ зла, вреда и пустоты —
Ты, нами вызванный сатирикъ?
Увы! безъ власти надъ толпой
И ты поникъ своей головой:

Толпа въ чутьѣ непогрѣшима,
И поняла, что съ горяча
Ты все клеймилъ неумолимо,
Зла отъ добра не отлича...

Все это, какъ видятъ читатели, довольно далеко отъ пребыванія „озлобленнаго поэта“ въ состояніи блаженства и въ ореолѣ величія, какъ его изображаетъ Полонскій въ упомянутомъ диѳирамбѣ. Въ томъ же стихотвореніи *Рознь*, изъ котораго мы заимствовали только что приведенныя строки, поэтъ замѣчаетъ, что наше племя видитъ другъ въ другѣ „не то глупца, не то врага“, и обращается къ поколѣнію съ такими словами:

Застрѣльщики безъ всякой рати!
Въ войну играть — свое топтать —
Своимъ задоромъ щеголять
Мы рады кстатѣ и некстатѣ...
Когда къ намъ съ запада заходить
Чередовой, чужой вопросъ,
Изъ насъ — какой молокососъ,

Какой мудрец перомъ не водить!
Заемной кипитая враждой,
Мы поднимаемъ чуть не вой.
Литература колобродить...
Но если жизненный вопросъ,
Вопросъ насущный мы затронемъ —
Какъ скоро мы его хоронимъ
Безъ шума и гражданскихъ слезъ!

Вникая въ эти скорбные голоса, раздающіеся въ *Озимяхъ*, нельзя не притти къ заключенію, что общественныя темы представляютъ источникъ мало родственнѣй таланту нашего поэта, и что въ этой сферѣ у него нѣтъ ни ясно очерченнаго идеала ни положительнаго отвѣта на „проклятые вопросы“, съ которыми со временъ Гейне, такъ любятъ возиться поэты XIX вѣка. Поэтому, мы никакъ не можемъ согласиться съ рецензентомъ одной петербургской газеты, который опредѣляя лучшія стороны таланта Полонскаго, заключаетъ такъ: „Сверхъ того, у него есть отзывчивость на тревоженія современной жизни — отзывчивость, говорящая о поэтической впечатлительности его ума и чувства. Нѣтъ почти ни одного современнаго вопроса, ни одного движенія современной мысли, на которые такъ или иначе не отзывался бы Полонскій. А этого далеко нельзя сказать о всѣхъ его сверстникахъ и товарищахъ по искусству“. Мы, напротивъ, думаемъ что отзывчивость на современные вопросы, обнаружившаяся въ послѣдніе годы въ поэзіи автора *Кузнечика-музыканта*, есть отзывчивость искусственная, вызванная скорѣе внѣшнимъ спросомъ литературнаго рынка, чѣмъ внутреннимъ развитіемъ таланта. Лучшими произведеніями Полонскаго остаются попрежнему тѣ, гдѣ онъ отзывается на вѣчно и одинаково звучащія струны человѣческой природы, а не на раздраженія мимо идущихъ вопросовъ и явленій. Такъ и въ новомъ сборникѣ его стихотвореній, перлами слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, назвать тѣ, въ которыхъ онъ остается вѣренъ, своимъ прежнимъ вдохновеніямъ и отъ которыхъ вѣетъ прелестью ласковаго, молодого и мечтательнаго чувства. Изъ такого рода *Озимей* прорастаютъ свѣжіе весенніе злаки.

Поэзія Полонскаго — выразительница психических состояній автора.

Отличительную особенность Якова Петровича Полонскаго, какъ поэта, составляетъ то, что его можно назвать поэтомъ-философомъ, и въ этомъ нельзя не видѣть явственнаго отпечатка того вліянія, какое оказало на него знакомство съ кружкомъ Чаадаева. Почти всѣ его стихотворенія проникнуты какою-нибудь серіозной, а часто и глубокой мыслью, и нерѣдко въ ущербъ художественной цѣльности произведенія. Если, не стѣсняясь хронологіей, расположить его стихотворенія по той внутренней, психологической связи, которая всегда связываетъ всѣ произведенія писателя въ одно цѣлое, то въ нихъ совершенно явственно обнаружится нѣкоторая двойственность, существовавшая, очевидно, и въ душѣ самого художника. Сознательно онъ смотрѣлъ на явленія жизни преимущественно, какъ философъ, стараясь осмыслить ихъ силою ясной, отвлеченной мысли; безсознательно же, какъ художникъ, не могъ не признать власти тѣхъ безотчетныхъ настроеній, которыя, какъ вдохновеніе, знакомы всякому истинному художнику. Онъ былъ слишкомъ умственно развитъ для того, чтобы слѣпо смотрѣть на жизнь, но не могъ подняться до высоты и безстрастія отвлеченнаго мышленія, для того, чтобы спокойно обсуждать явленія жизни. Какъ философъ, онъ понималъ, что нельзя пѣть о томъ, чего не видишь и не понимаешь; для его вдохновенія ему нуженъ былъ ясный свѣтъ отвлеченной мысли.

„Чтобы пѣсня моя разлилась какъ потокъ,
говорить онъ,

Ясной зорьки она дожидается:
Пусть не темная ночь, пусть горящій востокъ
Отражается въ ней, отливается...
Пусть чирикаютъ вольныя птицы вокругъ,
Сонный лѣсъ пусть проснется, — нарядится,
И сова, — пусть она не тревожитъ мой слухъ —
И, слѣпая, подальше усядется.

Но, вглядываясь въ жизнь не только какъ философъ, но и какъ поэтъ, онъ чувствовалъ безсиліе отвлеченной мысли въ стремленіи разгадать смыслъ жизни, и она казалась ему

какой-то неразрѣшимой загадкой. Въ одномъ своемъ стихотвореніи, останавливаясь въ сердечномъ недоумѣніи передъ поразившей его въ глуши провинціальной жизни дѣвушкой, онъ спрашиваетъ:

Для кого расцвѣла? Для чего развилась?
Для кого это небо, — лазурь ея глазъ,
Эта роскошь, — волнистыя кудри до плечъ
Эта музыка, — усть ея тихая рѣчь?

Ясно можетъ она своимъ чуткимъ умомъ
Слышать голосъ души въ разговорѣ простомъ;
И для міра любви и для міра искусствъ
Много въ сердцѣ у ней незатронутыхъ чувствъ.

Прикоснется ли клавишъ, — заплачетъ рояль;
На ланитахъ огонь, на рѣсницахъ печаль...
Подойдетъ ли къ окну — безотчетно грустна,
Въ безотвѣтную даль долго смотреть она...

Что звенить тамъ вдали, — и звенить и зоветь?
И зачѣмъ тамъ, въ степи, пылъ столбами встаетъ?
И зачѣмъ та рѣка широко разлилась?
Оттого-ль разлилась, что весна началась!

И откуда, откуда тотъ вѣтеръ летитъ,
Что, строя росу, по цвѣтамъ шелеститъ,
Дышитъ запахомъ липъ и, концами вѣтвей
Помавая, влечетъ въ сумракъ влажныхъ аллей?

Не природа ли тайно съ душой говорить?
Сердце ль просить любви и безъ раны болить?
И на грудь тихо падаютъ слезы изъ глазъ...
Для кого расцвѣла? Для чего развилась?

Эти же вопросы онъ могъ обратить и къ своей музѣ, ибо во вдохновеніи художника присутствуетъ не одинъ только ясный свѣтъ отвлеченной мысли, но въ еще гораздо большей степени тѣ безотчетныя настроенія, конечная цѣль которыхъ таинственно скрыта даже отъ взоровъ самого художника.

Какъ философъ, какъ человѣкъ, отдающійся, по преимуществу, работѣ отвлеченной мысли, онъ не разъ переживалъ мучительное и не для всѣхъ безопасное состояніе сомнѣній, когда передъ неумолимой и безстрастной силой анализа падаютъ всѣ безотчетныя, но дорогія сердцу вѣрованія. Объ этомъ тяжеломъ душевномъ состояніи своемъ онъ такъ рассказываетъ въ своихъ стихотвореніяхъ:

Священный благовѣстъ торжественно звучитъ,
Во храмахъ оніміамъ, во храмахъ пѣснопѣнье;

Молиться я хочу; но тяжкое сомнѣнье
Святые помысли души моей мрачить.
И вѣрю я, и вновь не смѣю вѣрить;
Боюсь довѣриться чарующей мечтѣ;
Передъ самимъ собой боюсь я лицемѣрить;
Разсудокъ бѣдный мой блуждаетъ въ пустотѣ.
И эту пустоту ничто не озаряетъ:
Дыханьемъ бурь мой свѣточъ погашень.
Бездонный мракъ на вопль не отвѣчаетъ...
А жизнь — жизнь тянется, какъ непонятный сонъ...

Печальныя послѣдствія такого состоянія прекрасно изображены имъ въ стихотвореніи: „Подслушанныя думы“.

Зло, добро, — все такъ перемѣшалось,
Что и зло мнѣ зломъ ужъ не казалось,
И въ добрѣ не видѣлъ я добра...
Проходили дни и вечера, —
Вечера и ночи проходили,
И хотъ мысли все еще бродили,
Озаряя жизни темный путь, —
Ни на чемъ не могъ я отдохнуть.

Эта мучительная борьба сомнѣній разрѣшилась, наконецъ, у него, какъ у философа, твердой вѣрой въ неизбежность человѣческаго развитія, въ могущество человѣческаго гения. Въ стихотвореніи „И я сынъ времени“ онъ такъ изображаетъ эту побѣду свою надъ „демономъ сомнѣнья“:

И я сынъ времени, и я
Былъ на дорогѣ бытія
Встрѣчаемъ демономъ сомнѣнья;
И я, страдая, проклиналъ,
И, отрицая Провидѣнье,
Какъ благодати ожидалъ
Послѣдняго ожесточенья.
Мнѣ было жаль волшебныхъ сновъ
Отрадныхъ дѣтскихъ упованій
И мнѣ завѣщанныхъ преданій
Отъ простодушныхъ стариковъ.
Когда молитвенный мой храмъ
Лукавый демонъ опрокинулъ
На жертву пагубнымъ мечтамъ,
Онъ одного меня покинулъ;
Я долго кликалъ: Гдѣ же ты,
Мой искушитель? Дай хоть руку!
Изъ этой мрачной пустоты
Неси хоть въ адъ!

И вотъ, среди мятежныхъ думъ,
Среди мучительныхъ сомнѣній
Установился шаткій умъ
И жаждетъ новыхъ откровеній.
И если вновь, о демонъ мой,
Тебя нечаянно я встрѣчу,
Я на привѣтъ холодный твой
Безъ содроганія отвѣчу.
Весь міръ открыть моимъ очамъ,
Я снова гордъ, могучъ, спо-
коенъ —
Пускай разрушенъ прежній
храмъ,
О чемъ жалѣть, когда по-
строенъ
Другой — не на холмѣ гробовъ,
Не изъ разбросанныхъ обломковъ
Той ветхой храмины отповъ,
Гдѣ стало тѣсно для потомковъ

И какъ великъ мой новый храмъ,
Нерукотворенъ куполь вѣчный,
Гдѣ ночью путь проходитъ млеч-
ный,
Гдѣ ходитъ солнце по часамъ,
Гдѣ все живетъ, горитъ и ды-
шитъ,
Гдѣ раздается вѣчный хоръ,
Который демонъ мой не слышитъ,
Который слышитъ Пинагоръ.
И, чу!... въ отвѣтъ на эти звуки
Встаютъ
. И вотъ

Всѣ гениі земного міра,
И всѣ, кому послушна лира,
Мой храмъ наполнили толпой;
Гомера, Данте и Шекспира
Я слышу голосъ вѣковой.
Теперь попробуй, демонъ мой,
Нарушить этотъ гимнъ святой,
Наполнить смрадомъ это зданье.
О, нѣтъ! съ могуществомъ своимъ,
Безсильный, уходи къ другимъ
И разбивай одни преданья,
Остатки формъ безъ содержанья.

Вотъ тотъ путь, который совершила его философствующая мысль: доведя его до проклятій, до отрицанья Провидѣнія, почти до ожесточенья; заставить его разстаться съ волшебнымъ сномъ отрадныхъ дѣтскихъ упованій, воспринятыхъ имъ отъ „простодушныхъ стариковъ“ предшествовавшаго поколѣнія; опрокинувъ его молитвенный храмъ и повергнувъ его въ хаосъ мятежныхъ думъ и мучительныхъ сомнѣній, — она же, эта философствующая мысль, привела его къ другой вѣрѣ и ввела его въ новый, болѣе обширный храмъ, и онъ съ отраднымъ чувствомъ душевнаго успокоенія послѣ пережитой душевной бури говорить: „Что за бѣда, что разрушенъ мой маленькій, личный храмикъ, что опрокинуты мои личные боги: есть другой, болѣе обширный и уже неизблennyй, недосыгаемый ни для какихъ сомнѣній храмъ общечеловѣческой мысли, построенный совокупнымъ гениемъ всего образованнаго человѣчества, трудами безсмертныхъ выразителей общечеловѣческаго гения — Гомеровъ, Дантовъ, Шекспировъ. Въ этомъ храмѣ ничто не умираетъ, а, наоборотъ, „все живетъ, горитъ и дышитъ“, въ немъ „раздается вѣчный хоръ“, прославляющій всемогущество Творца. Этого обширнаго храма, воздвигнутаго гениемъ всего человѣчества, не разрушить уже никакой „демонъ сомнѣнія“, потому что онъ можетъ разрушать только то, что уже само начинаетъ разрушаться: одни преданья, одни „остатки формъ безъ содержанья“.

Такимъ образомъ, ведя неизбежную для всякаго мыслящаго человѣка борьбу съ „демономъ сомнѣнья“, всякій изъ насъ, по мнѣнію Полонскаго, можетъ найти точку опоры въ сознаніи связи своей личной жизни съ жизнью всего чело-

вѣчества. Но одного этого мало, ибо при такой постановкѣ вопроса почти уничтожается самая нравственная личность человѣка. Входя въ этотъ безграничный храмъ общечеловѣческаго прогресса, каждый отдѣльный человѣкъ дѣлается просто человѣкомъ толпы, и исчезаетъ, какъ отдѣльная нравственная личность, въ тѣсной и безчисленной толпѣ молящагося въ этомъ храмѣ челоѣчества. Приобщаясь путемъ умственного развитія къ этой общечеловѣческой толпѣ и преклонясь, вмѣстѣ съ нею, передъ геніемъ общечеловѣческаго прогресса, человѣкъ не можетъ и не долженъ забывать, что онъ не безличная составная часть этой толпы, но самостоятельное нравственное существо, живущее помимо этой общей жизни всего челоѣчества, какъ его составная часть, еще и своей отдѣльной, личной жизнью, которая должна же чѣмъ-нибудь руководствоваться. Полонскій не обошелъ и этого вопроса и въ стихотвореніи „Внутренній голосъ“ показалъ необходимость прислушиваться къ нашему внутреннему голосу, который въ каждомъ изъ насъ служитъ истиннымъ выраженіемъ нашей обособленной нравственной личности:

Когда душа твоя, страдая,
Полна любви; а между тѣмъ
Ты любишь, самъ не понимая,
Кого ты любишь и зачѣмъ, —
Изъ глубины, откуда бьется
Пульсъ жизни сердца твоего,
Мой голосъ смутно раздается:
Услышь его! пойми его!

Кто я? меня не видитъ око...
Но — близкій сердцу, какъ печаль, —
Я, какъ мечта, ношусь далеко,
Зову и — увлекаю вдаль.

Я — недоступный мыслямъ празднымъ, —
Я тотъ, кто въ благодати своей
Законы далъ звѣздамъ алмазнымъ,
Свободу далъ душѣ твоей.

Живой источникъ мыслей тайныхъ,
Свой вѣчный свѣтъ вливая въ нихъ,
Мнѣ мало дѣла до случайныхъ
Тревогъ и радостей твоихъ.

Но, безконечно всюду вѣя,
Хочу, чтобъ жизнь была полна,
Въ твоей душѣ вопросы сѣя,
Дышу на эти сѣмена —

И говорю: на почвѣ скудной
Дай вырѣсь Божьимъ сѣменамъ,
Въ день благодатный жатвы трудной
Я за дѣла твои воздамъ.

Только вѣря въ силу этого внутреннего голоса можно такъ смѣло призывать человѣка къ неустанному и безповоротному движенію впередъ, какъ это дѣлаетъ Полонскій въ слѣдующемъ стихотвореніи:

О, подними свое чело!	<i>Иди впередъ и невозвратно.</i>
Не вѣрь тяжелымъ сновидѣніямъ;	Не бойся душу предавать
Не предавайся сожалѣніямъ	Потоку чувствъ и мыслей новыхъ,
О томъ, что было и прошло,	Своимъ стремленіемъ готовыхъ
О томъ, что спитъ въ сырыхъ	Тебя невольно увлекать —
могилахъ,	Туда, гдѣ впереди такъ много
Чего мы воротить не въ силахъ.	Сокровищъ спрятано у Бога!
Зачѣмъ такъ рано погребать	Для созерцающихъ очей
Невозможалы надежды,	И для внимающаго слуха
И съ простодушіемъ невѣжды	Доступенъ тайный образъ духа
Во всеуслышанье роптать?	И внятень смыслъ его рѣчей —
Чтобъ жизнь была тебѣ по-	Глаголь въ пустынь вопіющій,
нятна,	Неумолкаемо зовущій.

Какъ философъ, Полонскій твердо вѣрилъ въ могущество
человѣческой мысли, въ силу науки, и вдохновенно говорилъ:

Царство науки не знаетъ предѣла,
Всюду слѣды ея вѣчныхъ побѣдъ —
Разума слово и дѣло,
Сила и свѣтъ.
Гордая муза, не бойся коварства!
Крики толпъ: отзовись хоть одинъ!
Этого свѣтлаго царства
Кто гражданинъ?
Въ темной толпѣ мы не много услышимъ
Братски отзывныхъ, живыхъ голосовъ:
Много ли жъ дѣлъ мы запишемъ
Много ли словъ?
Словъ разрѣшающихъ наше сомнѣнье,
Въ чемъ наша сила, и гдѣ нашъ покой,
Вѣщихъ и полныхъ значенья
Правды святой.
Міру, какъ новое солнце, сіяетъ
Свѣточъ науки и, только при немъ,
Муза чело украшаетъ
Свѣжимъ вѣнкомъ.

Для него, какъ для философа, само поэтическое вдохновеніе находилось въ зависимости отъ свѣта науки, потому что „только при немъ муза чело украшаетъ свѣжимъ вѣнкомъ“.

Но, какъ у поэта, какъ у человѣка, доступнаго голосу безотчетныхъ и неясныхъ, часто непонятныхъ для ума настроеній, у него сила фантазіи, поэтическаго вдохновенія часто брала верхъ надъ ясными выводами науки и колебала истины ума. Въ стихотвореніи „На кладбищѣ“ онъ говоритъ про себя, что, хотя

..... изъ области мечтаній,	И учила не бояться
Изъ-подъ власти темныхъ силъ	Ни живыхъ ни мертвецовъ.
Я ушелъ — и волхвованій	Но —
Мракъ науки озарилъ;	Отчего же на кладбищѣ
Муза стала мнѣ являться	Сердцу жутко въ часъ ночной?
<i>Жрицей мысли, безъ оковъ,</i>	

и далѣе рисуетъ тѣ суевѣрныя картины, которыя невольно возникаютъ въ его воображеніи, когда онъ бываетъ на кладбищѣ. Эту странную на первый взглядъ невозможность побороть силою ума суевѣрныхъ созданій воображенія онъ объясняетъ тѣмъ, что хотя и есть много областей, въ которыхъ умъ нашъ можетъ проявить все свое могущество и въ своемъ свободномъ полетѣ открыть неизблемые законы окружающихъ насъ явленій, но:

<i>Въ миръ тлѣный не выноситъ</i>	Здѣсь боюсь я вспомнить разомъ
<i>Умъ — свидѣтельства тѣмныхъ,</i>	Всѣ повѣрія отцовъ, —
<i>И, безкрылый, робко проситъ</i>	Няни сказочнымъ разсказамъ
<i>Убѣжать скорый отъ нихъ.</i>	Здѣсь повѣрить я готовъ!

Несмотря на всѣ эти колебанія, Полонскій, все таки, увлекался преимущественно ясной областью ума, и умственный трудъ былъ всегда ему дорогъ: уединенныя кабинетныя занятія, надъ книгой или надъ листомъ бумаги съ перомъ въ рукѣ, онъ считалъ единственнымъ приближеніемъ въ житейскихъ горестяхъ и тревогахъ. По его мнѣнію, каждый человѣкъ долженъ создать въ своей душѣ свой собственный, интимный уголокъ, завѣтныхъ думъ и стремленій, недоступный для суетнаго взора постороннихъ людей, и въ который, поэтому, никого не слѣдуетъ пускать въ тѣ минуты, когда человѣкъ, утомленный жизненной борьбой, жаждетъ душевнаго отдыха, душевной отрады и обновленія:

Уединись, если нужно — и съ твердостью
Въ уголъ свой насъ не пускай;

говорить онъ какой-то истомленной жизнью, но дорогой ему женщинѣ:

Смѣйся надъ нашей обидчивой гордостью, —
Нашу тоску презирай.
Уединеніе, трудъ, размышленіе,
Книги, перо и тетрадь...
Въ нихъ ты для сердца найдешь исцѣленіе
И для ума — благодать.

Какъ поклонникъ мысли, онъ былъ горячимъ и искреннимъ борцомъ за ея полную свободу. Въ стихотвореніи, написанномъ на юбилей Шиллера, онъ съ жаромъ проповѣдывалъ, что „для мысли, какъ для воздуха и свѣта, невозможно издумать заставъ“. И невозможно, прежде всего, потому, что мысль человѣческая зарождается тайно и незримо и ее нельзя не только поймать, остановить, преградить ей дорогу, но часто нельзя даже предвидѣть тѣхъ послѣдствій, къ которымъ она приведетъ. Иногда чуть свѣтящаяся въ сочиненіяхъ писателя мысль вдругъ загорается яркимъ блескомъ на его могилѣ, уже послѣ его смерти. Какъ на ночномъ небѣ, при внимательномъ наблюденіи, внезапно загораются посреди далеко мерцающихъ ночныхъ свѣтилъ все новыя и новыя „звѣзды свѣтозарня“,

Такъ и вы, туманныя	Такъ и вы надъ нашими
Мысли, тихо носитесь,	Темными могилами
И, неизъяснимыя,	Загоритесь нѣкогда
Въ душу глухо проситесь;	Яркими свѣтилами...

говорить онъ въ стихотвореніи „Звѣзды“.

Вотъ почему онъ твердо вѣрилъ, что „къ познанію нѣтъ пути намъ, безъ пути къ свободѣ“ („Поэту-гражданину“) и что

.....ничего не сдѣлаетъ природа
Съ такимъ отшельникомъ, которому нужна
Для счастья законная свобода,
А для свободы — вольная страна. —
(„Одному изъ усталыхъ“.)

Въ то же время онъ непоколебимо вѣрилъ, что только истинно-свободная мысль не нуждается ни въ какихъ постороннихъ украшеніяхъ и можетъ властно предстать передъ людьми, во всемъ обаяніи своей всемогущей, ничѣмъ и никѣмъ непобѣдимой наготы:

Свободная мысль, если ты не больная,
Не тощая мысль, а полна красоты
И силы, явись намъ, какъ Фрина нагая,
Во всемъ обаянны своей наготы,
И смѣло скажи намъ: знайте, кто я!
Смутится доносчикъ, и ахнетъ судья, —
И полны восторгомъ, и полны смятеніемъ
Толпы за тобой потекутъ съ увлеченіемъ. —
(„Фрина“.)

Поэтому онъ отличался терпимостью къ чужимъ мнѣніямъ,
отказывался бороться со связаннымъ, лишеннымъ свободы
слова противникомъ, былъ непримиримымъ и смѣлымъ вра-
гомъ всякаго внѣшняго насилія надъ мыслью и открыто
высказалъ это въ стихотвореніи „Литературный врагъ“.

Господа! я нынче все бранить готовъ, —
Я не въ духѣ, — и не въ духѣ потому,
Что одинъ изъ самыхъ злыхъ моихъ враговъ
Изъ-за фразы осужденъ итти въ тюрьму...
Признаюсь вамъ, не изъ нѣжности пустой
Чуть не плачу я, — а просто потому,
Что подавлена проклятою тюрьмой
Вся вражда во мнѣ, кипѣвшая къ нему.
Онъ явилъ меня и въ прозѣ и въ стихахъ;
Но мы бились не за старые долги,
Не за барыню въ фальшивыхъ волосахъ,
Нѣтъ! — мы были безкорыстные враги!
Вольной мысли то владыка, то слуга,
Я собирался безпощаднымъ быть врагомъ,
Поражая безпощаднаго врага;
Но — тюрьма его прикрыла, какъ щитомъ.
Передъ этою защитой — я пигмей...
Или вы еще не знаете, что мы
Легче вѣруемъ подъ музыку цѣпей
Всякой мысли, выходящей изъ тюрьмы...
Иль не знаете, что даже злая ложь
Облекается въ сіяніе добра,
Если ей грозитъ насилія острый ножъ,
А не сила неподкупнаго пера.
Я вчера еще перо мое точилъ,
Я вчера еще кипѣлъ и возражалъ;
А сегодня умъ мой крылья опустилъ,
Потому что я боецъ, а не нахаль.
Я краснѣлъ бы передъ вами и собой,
Если бъ узника да вздумалъ уличать!
Поневоля онъ замолкъ передо мной, —
И я долженъ поневоля замолчать.

Онъ страдаетъ оттого, что есть семья, —
Я страдаю, оттого что слышу смѣхъ...
Но, что значить гордость личная моя,
Если истина страдаетъ больше всѣхъ!
Нѣтъ борьбы, и ничего не разберешь, —
Мысли спутаны случайностью слѣпой, —
Стала свѣтомъ недосказанная ложь,
Недосказанная правда стала тьмой.
Что же дѣлать? и кого теперь винить?
Господа! во имя правды и добра, —
Не за счастье буду пить я, — буду пить
За свободу мнѣ враждебнаго пера!

Но эту свободу мысли онъ разумѣлъ не въ узкомъ только политическомъ смыслѣ, а главнымъ образомъ въ смыслѣ свободы отъ всякихъ пристрастныхъ, партійныхъ вліяній, отъ всякаго рабства передъ текущими мимолетными настроеніями. Вотъ почему онъ и не примкнулъ ни къ какой партіи и не былъ глашатаемъ какихъ-либо, хотя и соблазнительныхъ, но въ сущности узкихъ и преходящихъ вѣяній, такъ быстро смѣнявшихся у насъ въ тотъ многозначительный періодъ нашей общественной жизни, къ которому принадлежалъ и самъ Яковъ Петровичъ. У него есть нѣсколько стихотвореній, изображающихъ охватившую общество борьбу партій, но я остановлюсь только на одномъ изъ нихъ:

Впередъ и впередъ! вся душа моя въ пламени, —
За правду я биться готовъ,
Готовъ умереть, — но у каждого знамени
Съ друзьями встрѣчалъ я враговъ:
Друзья ополчались на ложь ненавистную, —
Враги, молча, думали думу корыстную.

Тамъ мира друзья, подъ эгидой воителей,
Точили, какъ мальчишки, ножъ!
Здѣсь хитрый обманъ ждетъ себѣ покровителей
Среди ненавидящихъ ложь...
И правду любилъ я, — ни въ комъ не увѣренный,
Друзьямъ и врагамъ руки жалъ, какъ потерянный.

— „Намъ нужно одно лишь твое безпристрастіе“,
Шептали друзья, — „помоги!“
— „Быть съ нами считай за великое счастье“,
Кичась намекали враги.
Друзья! вы отвыкли вникать и угадывать;
Враги! не желаю я спесь вашу радовать. —

*Не рабъ, — а поэтъ я, — гордыней обиженный... —
Не въ вашихъ нестройныхъ рядахъ
Пойду я; — нѣтъ ратникъ свободы униженной,
Оружье найду я въ стихахъ;
Соратники будутъ — мои вдохновенія,
И будетъ вождемъ ихъ духъ добраго генія.*

Такимъ образомъ, обуреваемый со всѣхъ сторонъ духомъ партій оглушенный нестройнымъ и противорѣчивымъ гуломъ враждующихъ другъ съ другомъ направленій, онъ нашелъ точку опоры въ своемъ поэтическомъ дарѣ и понялъ, что, какъ поэтъ, онъ долженъ остаться внѣ этой ожесточенной борьбы партій, чтобы сохранить свободу мнѣнія, независимость сужденія и отзывчивость на такія явленія жизни которыя всегда легко обходятся въ разгарѣ партійной борьбы.

Это приводитъ насъ къ необходимости остановиться на вопросѣ: какъ же онъ смотрѣлъ на призваніе поэта и на значеніе поэтического творчества? Если поэзія не должна быть отголоскомъ партійныхъ взглядовъ и мимолетныхъ временныхъ настроеній и направленій, то о чемъ же можетъ она говорить человѣку? На эти вопросы Полонскій отвѣчаетъ такъ же, какъ отвѣчали и отвѣчаютъ всѣ наши истинные поэты-художники. Онъ твердо и искренно вѣрилъ, что поэтъ есть провозвѣстникъ божественныхъ истинъ, открываемыхъ имъ въ окружающихъ его явленіяхъ жизни, а поэтому долженъ умѣть прислушиваться не къ преходящему голосу современныхъ, хотя бы и насущныхъ нуждъ и потребностей, а къ вѣчному, неизмѣнному глаголу Божества, раздающемуся во всѣхъ концахъ вселенной. Въ стихотвореніи, обращенномъ имъ къ другу его, извѣстному и тоже недавно почившему поэту А. Н. Майкову онъ говоритъ:

*Слѣды прекраснаго художникъ
Повсюду видитъ и творить,
И оиміамъ его горитъ
Вездѣ, гдѣ ставитъ онъ треножникъ,
И идъ Творецъ съ нимъ говоритъ.*

Въ стихотвореніи „Поэзія“ онъ видитъ поэзію только тамъ, гдѣ свѣтится искренняя истинная вѣра, любовь къ природѣ и ко всѣмъ ея явленіямъ, отзывчивость на страданія души человѣческой, гдѣ человѣкъ вѣритъ „въ непреложный законъ любви, добра и истины святой“. Истинное

созданіе искусства всегда вызываетъ въ нашей душѣ неуловимый, но живо нами ощущаемый „божественный ликъ“, что онъ и высказалъ въ стихотвореніи „Музыка“.

И плывутъ и растутъ эти чудные звуки!

Захватила меня ихъ волна...

Поднялась, подняла и невѣдомой муки,

И блаженства полна...

И божественный ликъ, на мгновенье,
Неуловимой сверкнувъ красотой,

Всплылъ, какъ живое видѣнье

Надъ этой воздушной кристалльной волной,—

И отразился

И покачнулся,

Не то улыбнулся...

Не то прослезился...

Поэзія — это свѣтъ Божественной мысли, который дорогъ намъ самъ по себѣ, независимо отъ того, откуда онъ идетъ. Такою именно мыслью оканчивается стихотвореніе „Откуда?“:

Мнѣ, какъ поэту, дѣла нѣтъ,

Откуда будетъ свѣтъ, лишь былъ бы это свѣтъ,

Лишь былъ бы онъ, какъ солнце для природы,

Животворящъ для духа и свободы

И разлагалъ бы все, въ чемъ духа больше нѣтъ!

Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы по взгляду Полонскаго поэтъ былъ человѣкомъ чуждымъ живой, окружающей его дѣйствительности, глухимъ и неотзывчивымъ на ея существенныя тревоги. Какъ гражданинъ своей земли, онъ долженъ жить одной съ нею жизнью, жить ея радостями и тревожиться ея горемъ:

Писатель, — если только онъ
Волна, а океанъ — Россія,
Не можетъ быть не возмущенъ,
Когда возмущена стихія.

Писатель, если только онъ
Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена свобода.

И мы находимъ у Полонскаго много произведеній, написанныхъ на темы, подсказанныя текущей дѣйствительностью, какъ напр., изъ мелкихъ стихотвореній: „На пути изъ гостей“, „Хандра“, „Жалобы музы“, а изъ поэмъ — всѣ его большія философско-сатирическія поэмы: „Кузничикъ-музыкантъ“, „Куклы“, „Собаки“, „Анна Галдина“.

Не останавливаясь на этихъ довольно извѣстныхъ произведеніяхъ, я не могу не привести здѣсь одного чуднаго,

вполнѣ художественнаго по своей цѣльности небольшого стихотворенія, показывающаго, что Полонскій вполнѣ отчетливо понималъ, въ чемъ кроется источникъ всѣхъ отрицательныхъ явленій жизни:

Вижу ль я, какъ во храмѣ смиренно она
Передъ образомъ Дѣвы, Царицы небесной стоитъ, —
Такъ молиться лишь можетъ святая одна.
И болить мое сердце, болить!
Вижу ль я, какъ на балѣ сверкаетъ она
Пожирающимъ взглядомъ, горячимъ румянцемъ ланить,
Такъ надменно блеситъ лишь одинъ сатана...
И болить мое сердце, болить!
И молю я Владычицу Дѣву, скорбя:
Ниспошли ей, Владычица Дѣва, терновый вѣнокъ,
Чтобъ ее за страданья, за слезы любя,
Я ее ненавиждѣть не могъ.
И зову я къ тебѣ, сатана! оглуши,
Ослѣпи ты ее! подари ей блестящій вѣнокъ...
Чтобъ ее ненавида всей силой души,
Я любить ее больше не могъ.

Въ этомъ прелестномъ стихотвореніи въ краткой, но поразительно изящной формѣ выражено роковое противорѣчіе въ человѣческой природѣ — противорѣчіе святости присущихъ человѣку идеальныхъ сторонъ его души и той плотской страстности, которая является основной почвой человѣческой грѣховности.

Вдумываясь въ явленія окружающей его дѣйствительности, какъ философъ, и отражая ихъ въ своихъ произведеніяхъ, какъ поэтъ, Полонскій, конечно, не могъ ограничиваться обсужденіемъ только явленій современной ему жизни. Его философствующая мысль должна была останавливаться и на болѣе широкомъ вопросѣ объ историческомъ призваніи Россіи, о ея миссіи, и онъ выразилъ свой взглядъ по этому вопросу въ прекрасномъ стихотвореніи „Заступница“:

Когда архангелъ протрубитъ въ трубу,
И мертвецы проснутся въ ужасъ; когда
Рѣшитъ земныхъ племенъ послѣднюю судьбу
Настанетъ страшный день послѣдняго суда;
Когда земная ось качнется подъ стопой
Царя земныхъ царей, судьи земныхъ судей,
Чтобъ вѣчный свѣтъ его проникъ въ сердца людей,
Чтобъ солище зла познало западъ свой;

Когда предъ Господа торжественно на судъ
Смущенные народы потекутъ,
Сложъ вѣнцы, послѣдній дать отвѣтъ
За тысячи прожитыхъ ими лѣтъ;
Когда и ты, о Русь, могучая! главою,
Въ числѣ другихъ державъ, поникнешь предъ Судьей,
И взглянетъ на тебя неотразимый взоръ,
Взоръ вопрошающій о подвигахъ добра...
Тогда въ невѣдѣнны, что скажетъ приговоръ,
Твоей заступницей придетъ твоя сестра,
Твоя Иверія, съ мольбою на устахъ,
И за тебя въ слезахъ повергнется во прахъ.
И смрадный адъ тогда умѣритъ клокотъ свой,
И стихнетъ херувимовъ звучный хоръ,
И ангеловъ сгустится свѣтлый строй
Вокругъ того, чей вѣчный приговоръ
Рѣшитъ послѣднюю судьбу земныхъ сестеръ, —
И молвитъ томная Иверія, въ слезахъ,
Преодолевъ души благоговѣйный страхъ;
„О, Царь царей! Господь! суди мои дѣла,
Но милуй Русь! — Безъ помощи сестры
Я бѣ тяжкимъ сномъ спала до сей поры,
Я бѣ никакихъ плодовъ тебѣ не собрала,
Когда избитая мечтами мусульманъ
Лежала я въ горахъ и кровь текла изъ ранъ,
Когда въ сынахъ моихъ я видѣла враговъ,
И слезы капали на пепель городовъ,
Единовѣрная, она ко мнѣ пришла, —
Не за добычею, — не за моимъ добромъ
Она пришла ко мнѣ въ ограбленный мой домъ, —
Нѣтъ! изъ любви она мнѣ руку подала!
Съ тѣхъ поръ, добро и зло — все съ ней дѣлила я,
Всю сладость бытія, всю горечь бытія,
Всѣ страшные врагамъ вѣнцы ея побѣдъ
И слезы тайныя во дни народныхъ бѣдъ.
О, Царь царей! Господь! суди мои дѣла,
Но милуй Русь!...“

Вотъ въ чемъ онъ видѣлъ нашу историческую миссію:
въ томъ, чтобы всегда быть защитниками и покровителями
обиженныхъ исторической судьбою, притѣсненныхъ и уни-
женныхъ народовъ-собратій.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что Полонскій не принад-
лежалъ къ разряду такъ называемыхъ „парнасцевъ“, заби-
рающихся въ заоблачныя области бесплодно-идеальныхъ
мечтаній, чуждыхъ живой дѣйствительности, а потому и

беспольныхъ для нея. Онъ чутко отзывался на всѣ существенные жизненные вопросы и эту свою поэтическую отзывчивость онъ самъ удачно выразилъ, сказавъ:

Подъ грозой моя пѣсня, какъ туча темна,
На зарѣ — въ ней заря отражается.

Но, замѣчая всѣ отрицательныя стороны жизни, страдая и мучаясь отъ нихъ, искренно и глубоко болѣя о нихъ душою, онъ не дошелъ до отчаянія, до озлобленія, до проклятій жизни. Его мягкое, глубоко-любящее сердце, его искренно-вѣрующая душа подсказала ему иное, болѣе достойное человѣка, отношеніе. Онъ видѣлъ отрицательныя стороны жизни, но не озлоблялся ими, а грустилъ о нихъ и глубоко сожалѣлъ о людяхъ:

Я ль первый отожду изъ міра въ вѣчность, ты ли,
Предупредивъ меня, уйдешь за грань могилъ
Повѣдать небесамъ страстей земныя были,
Невѣроятныя въ странѣ безплотныхъ силъ!
Мы оба поразимъ своимъ рассказомъ небо
Объ этой злой землѣ, гдѣ братъ мой просить хлѣба,
Гдѣ золото къ враждѣ, къ безумію ведетъ,
Гдѣ ложь всѣмъ явная наивно лицемѣритъ,
Гдѣ робкое добро себѣ пощады ждетъ,
А правда такъ страшна, что сердце ей не вѣритъ:
Гдѣ ненависть, — я боролся и страдалъ,
Гдѣ ты, — любя, — томила и страдала;
Но...

*Ты скажи, что я не проклиналъ;
А я скажу, что ты благословляла!...*

И онъ не только не проклиналъ жизнь, а даже готовъ былъ благословлять ее не потому, что смотрѣлъ на нее сквозь розовыя очки сентиментальнаго оптимиста, а потому, что понималъ, что земныя страданія неразлучны съ земною жизнью человѣка по существу, и, какъ ни тяжелы они, но ведутъ насъ къ счастью и блаженству, о которомъ всѣ люди такъ горячо мечтаютъ и къ которому ведетъ одинъ только вѣрный путь — страданія.

О, Боже, Боже:
Не ты ль вѣщаль,
Когда мнѣ далъ
Живую душу:
Любить, — страдать,
Страдать и жить —
Одно и то же.

Но я ропталъ,
Когда страдалъ,
Я слезы лилъ,
Когда любилъ,
Негодовалъ,
Когда внималъ
Суду глупцовъ

Иль подлецовъ...
И утомленный,
Какъ полусонный,
Я былъ готовъ
Борьбѣ тревожной,
Предпочитать
Покой ничтожный,

Какъ благодать.
Прости! И снова
Душа готова
Страдать и жить,
И за страданья
Отца созданья
Благодарить...

„Страдать и жить — одно и то же“, — говоритъ Полонскій въ этомъ стихотвореніи, а въ такомъ случаѣ, конечно, не за что и проклинать жизнь, не для чего озлобляться отъ ея отрицательныхъ явленій, которыя именно и причиняютъ намъ эти страданія.

Не должно предаваться отчаянію еще и потому, что страданія эти не вѣчны: они только переходная ступень; вѣчно же въ человѣкѣ одно неудержимое стремленіе впередъ, въ за-вѣтную область идеала, и пока человѣкъ не измѣнитъ этому, присущему ему стремленію, ему не страшны никакія страданія. Эта мысль прекрасно выражена Полонскимъ въ стихотвореніи „Утро“.

Вверхъ, по недоступнымъ
Крутизнамъ встающихъ
Горъ, туманъ восходитъ
Изъ долинъ цвѣтущихъ;
Онъ какъ дымъ уходитъ
Въ небеса родныя,
Въ облака свиваясь
Ярко-золотыя
И разсѣваясь.
Лучъ зари съ лазурью
На волнахъ трепещетъ;
На востокъ солнце,
Разгораясь блещетъ.
И сіяетъ утро,
Утро молодое

Ты ли это, небо,
Хмурое, ночное!
Ни единой тучки
На лазурномъ небѣ!
Ни единой мысли
О насущномъ хлѣбѣ!
О, въ отвѣтъ природѣ
Улыбнись, отъ вѣка
Обреченный скорби
Геній человѣка!
Улыбнись природѣ!
Впрѣь знаменованью!
Нѣтъ конца стремленью,
Есть конецъ страданью!

Оканчивая этимъ стихотвореніемъ нашъ краткій обзоръ основныхъ мотивовъ поэзіи Полонскаго, мы имѣемъ полное право сказать, что къ нему вполне примѣнимы слова, сказанныя его великимъ предшественникомъ и учителемъ Пушкинымъ:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ свой жестокий вѣкъ возславилъ я свободу
И милость къ падшимъ призывалъ.

Вимбергъ.

Разносторонность и отзывчивость музы Полонскаго.

Надо надѣяться, что недавнее появленіе отдѣльнаго полнаго изданія стихотвореній Полонскаго вызоветъ особенное, усиленное вниманіе къ этому, едва ли не равно богатому достоинствами и недостатками, своеобразному и прихотливому творчеству, — и у нашего поэтического сфинкса найдется, наконецъ, свой Эдипъ. А пока, нисколько не претендуя на роль этого послѣдняго, не имѣя въ виду даже пускаться въ отвѣтственные розыски и заключенія, ограничимся простымъ подборомъ матеріала для таковыхъ, снабдивъ его нѣсколькими пояснительными замѣчаніями.

Трудность оцѣнки поэзіи Полонскаго заключается, быть можетъ, помимо чрезвычайной разносторонности и отзывчивости его музы, въ своеобразной неопредѣленности настроеній, какъ бы окутывающей туманомъ и тайною весь его поэтический обликъ. Эта поэзія отнюдь не освѣщена внутреннимъ огнемъ теоретической мысли. Не сравнивая уже Полонскаго въ этомъ отношеніи съ „поэтами-философами“ — Тютчевымъ, Фетомъ, Баратынскимъ, достаточно сопоставить его хотя бы съ ближайшими сверстниками — Майковымъ, Огаревымъ или Алексѣемъ Толстымъ. Хотя не мыслители въ спеціальномъ значеніи слова, эти поэты вводятъ насъ въ кругъ творчества настолько яснаго, цѣльнаго и законченнаго, что намъ немедленно становятся понятны и границы и руководящія нити и главенствующій центръ этого творчества. „Поэзія классицизма“, — вотъ творчество Майкова; „поэзія материализма“ — вотъ творчество Огарева; „поэзія христіанской идеи“ — вотъ творчество Алексѣя Толстого. Таковы рѣшающіе моменты этихъ поэтическихъ индивидуальностей; во всемъ остальномъ онѣ могутъ разбрасываться и уходить далеко отъ центральной точки, но ея вліяніе, какъ сила магнитнаго полюса для стрѣлки компаса, будетъ чувствоваться всюду. Таковъ же въ общихъ чертахъ характеръ творчества и Лермонтова, Апухтина, гр. Голенищева-Кутузова. Своей неопредѣленностью, своей стихійной силою художественнаго воспроизведенія, при отсутствіи полнаго сознанія, Полонскій напоминаетъ среди нашихъ поэтовъ никого иного, какъ царя ихъ — Пушкина. Только у Пушкина мы встрѣчаемъ ту же

бессознательную вѣрность рисунка, то же какъ бы невольное проникновеніе въ правду явленія, то же „простодушіе“, ту же „искренность и наивность“, которыя отмѣчали у Полонскаго всѣ его критики. Подобно Пушкину, Полонскій любитъ и не боится обращаться къ самой обыденной, самой пошлой дѣйствительности, чтобы и тамъ найти искры поэзіи, чтобы раскрыть заключенную въ ней красоту. Какъ Пушкинъ умѣлъ „возводить въ перлъ созданія“ и „жаръ котлетъ“, и „бобровый воротникъ“, и „звонкую мостовую“ Одессы — такъ и у Полонскаго сплетаются въ истинно-художественную картину, „претворяются въ чистое золото поэзіи“, всѣ самыя мелкія и, казалось бы, безнадежно-прозаическія подробности реальной жизни. Что, наприимѣръ, можетъ быть анти-эстетичнѣе и возмутительно-уродливѣе петербургскихъ безконечныхъ, холодныхъ и сырыхъ лѣстницъ, уныло тонущихъ въ сумеркахъ осенняго дня? Нѣтъ, кажется, никакой возможности вдохновиться этимъ впечатлѣніемъ, отыскать здѣсь хоть единую черту, отвѣчающую высокимъ и свѣтлымъ требованіямъ художества. И, однако, поэтъ ухитряется сплести именно самое чуткое и возвышенное настроеніе сердца съ этой угнетающей обстановкой (стихотвореніе „У двери“):

Однажды въ ночь осеннюю,
Пройдя пустынный дворъ,
Я на крутую лѣстницу
Вскарабкался какъ воръ.
Тамъ дверь одну завітную
Въ потьмахъ нащупалъ я,
И. постучался. — Милая!
Не бойся... это я...
А мила въ окно разбитое
Сползала на чердакъ,

*И смрадъ стоялъ на лѣстницѣ,
И шевелился мракъ...*
Вотъ-вотъ она откликнется,
И блѣдная рука
Меня обниметъ трепетно
При свѣтѣ ночника.
По-прежнему, на грудь ко мнѣ
Склонясь, она вздохнетъ,
И страстный голосокъ ея
Порвется и замретъ.

Стихотвореніе кончается въ совершенно иномъ настроеніи, но съ тѣмъ же соотвѣтствіемъ обстановки и сюжета:

Мерещился мнѣ трупъ ея,
Потухшіе глаза,
И съ горькой укоризною
Застывшая слеза.
Я плакалъ, я съ ума сходилъ,
Я милой видѣлъ тѣнь,
Холодную и блѣдную,
Какъ этотъ сырѣй день.

Уже въ окно разбитое
На сумрачный чердакъ
Глядѣло небо тусклое,
Разсѣвая мракъ.
И дождь урчалъ по жолобу,
И вътеръ вилъ, какъ зѣбрь...

Аналогичныхъ примѣровъ у Полонскаго найдется много, начиная съ перваго же стихотворенія, которымъ открывается новое изданіе его стиховъ („Дорога“) и продолжая извѣстными романсами „За окномъ въ тѣни мелькаетъ...“ и „Въ одной знакомой улицѣ...“ Особенно же характерно въ этомъ отношеніи „Второе письмо къ музѣ“, а также стихотворенія „Колокольчикъ“ и „Финскій берегъ“.

Но это выслѣживаніе красоты, это рискованное балансированіе на границѣ прозы и поэзіи, не всегда кончается благополучно для Полонскаго — безусловный тактъ Пушкина не перешелъ къ нему. Вкусъ Полонскаго зависитъ, кажется, всецѣло отъ его вдохновенія: безсознательность творчества сказывается и здѣсь. Безукоризненно изящный „художникъ-аристократъ“, въ лучшихъ своихъ стихахъ, онъ способенъ иногда одной неловкой чертой, одной неудачной строчкой испортить впечатлѣніе цѣлой пьесы. (Такъ напримѣръ превосходное стихотвореніе „Послѣдній разговоръ“ испорчено невозможнымъ стихомъ „До пріятнаго свиданія съ тобой...“; въ посланіи къ Тургеневу досадная строчка „Повѣся носъ, потупя взоръ...“ портитъ вдохновенное лирическое мѣсто.) Такія стихотворенія, какъ „Голодь“, „Спирить“, „Встрѣча или тщетныя надежды старичка“ вызываютъ невольную досаду при каждомъ чтеніи.

Изъ послѣдней хижины
Выбейте костлявое
Чудище мозглявое,
Хриплое, увѣчное
И безчеловѣчное!—

что общаго имѣютъ съ поэзіей такіе стихи? Впрочемъ, объ этомъ печальномъ обстоятельствѣ не стоитъ распространяться, ибо недостатки поэта ни въ какомъ случаѣ не составляютъ его индивидуальности.

Гораздо интереснѣе тѣ особенности формы, тотъ *свой*, оригинальный „ладъ стиховъ“, отмѣченный въ поэзіи Полонскаго еще Тургеневымъ, который прорывается подчасъ даже въ самыхъ неудачныхъ его вещахъ, а въ удачныхъ составляетъ какъ бы колоритъ картины, „тонъ дѣлающей музыку“. Такими характерными строками кончается, напримѣръ, длинное и *натянутое* стихотвореніе „Міазмъ“:

Но съ тѣхъ поръ хозяйка въ сѣверной столицѣ
Что-то не живетъ ;
Вѣчно — то въ деревнѣ, то на югѣ, въ Ниццѣ...
Домъ свой продаетъ...—
И пустой стоитъ онъ, — только дождь стучится
Въ запертый подъездъ,
Да въ окошкѣхъ темныхъ по ночамъ слезится
Отраженье звѣздъ.

Прелестная „Качка въ бурю“ украшена типичнѣйшими штрихами à la Полонскій:

Снится мнѣ: я свѣжъ и молодъ.
Я влюбленъ, мечты кипятъ...
Отъ зари роскошный холодъ
Проникаетъ въ садъ.

Кто не чувствуетъ своеобразнаго очарованія такихъ стиховъ, ихъ безспорной индивидуальности, тому этого, по справедливому замѣчанію Тургенева, „нельзя растолковать“. „Это не по его части“. Но для „посвященныхъ“ эта черта составляетъ едва ли не главную прелесть поэзіи Полонскаго *).

Вмѣстѣ съ характеристикою формы, Тургеневъ далъ въ своей статьѣ ясный намекъ и на особенности содержанія, на излюбленныя темы вдохновеній нашего поэта, совѣтуя „искать настоящаго Полонскаго“ — „тамъ, гдѣ онъ рисуетъ образы, навѣянные ему *то ежедневною, почти будничною жизнью*, то своеобразною, часто до странности смѣлою *фантазійей*“. Мы видѣли уже, какъ справедлива первая половина этого указанія. Еще богаче второй изъ отдѣловъ намѣчен-

*) Иногда стихъ Полонскаго пріобрѣтаетъ неожиданную яркость и силу, или же чисто металлическую звучность (какъ въ „кавказскихъ“ стихотвореніяхъ):

Что жъ медлю я?... Бичѣ! — ты, конюхъ мой проворный,—
Коня!!.. Ея арбу два буйвола съ трудомъ
Везутъ, — догонимъ... *Вонъ, играетъ вътеръ горный*
Катайбы бархатной пунцовымъ рукавомъ...

Или:

Я не приду къ тебѣ... Не жди меня! Не даромъ,
Едва потухло зарево зари,
Всю ночь зурна звучитъ за Аслабаромъ,
Всю ночь за баянами поютъ сазандари.

Эти полновѣсные, звонкіе до звукоподражанія, точно вылитые изъ бронзы стихи не уступаютъ лучшимъ образцамъ Державина, Пушкина, Лермонтова или Языкова.

ныхъ Тургеневымъ. Фантастическій элементъ играетъ въ творчествѣ Полонскаго, можно сказать, господствующую роль: его стихотворенія въ большинствѣ похожи на сказки или легенды. У всякаго поэта есть свой специфическій источникъ вдохновенія, свой стимулъ творчества. Какъ вѣянія классицизма для Майкова, какъ абстрактная мысль для Тютчева, какъ восторгъ пантеистическаго созерцанія для Фета, — для Полонскаго такимъ стимуломъ служить проза жизни съ одной стороны, фантастическій міръ видѣній и сновъ съ другой. Уже первое стихотвореніе, обратившее на него нѣкогда вниманіе критики и публики, была знаменитая полу-сказка, полубасня „Солнце и мѣсяцъ“. Къ тому же жанру относится и шедевръ Полонскаго, „гвоздь“ его поэзіи — „Кузнечикъ-музыкантъ“.

Собственно стихотвореній съ чисто фантастическимъ сюжетомъ у Полонскаго немного (таковы, напр., довольно популярныя „Сны“, между которыми особенно удачно „Подсолнечное царство“). Гораздо чаще фантазія поэта не покидаетъ реальной почвы и сказочный элементъ прихотливо переплетается съ обыкновенною лирикой. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательно стихотвореніе „Холодѣющая ночь“. Здѣсь цѣлый рядъ личныхъ настроеній, всѣ переходы впечатлѣній при постепенномъ возвращеніи поэта съ юга на сѣверъ заключены въ фантастическомъ образѣ „Холодѣющей ночи“ — лиризмъ автора какъ бы дѣлится между нимъ и его аллегорической спутницей. Стихотворенія „Зимняя невѣста“, „Качка въ бурю“, „Зимній путь“, „Сбѣжавшая больная“, „Мельникъ“ — всѣ представляютъ эту ассимиляцію мечты и дѣйствительности. Даже когда Полонскій становится, кажется, твердо на реальный фундаментъ, когда онъ описываетъ какое-либо самое подлинное, чуть ли не ежедневное житейское „пронисшествіе“ — и тамъ создаетъ онъ какую-то полу-легенду, какую-то „сказку дѣйствительности“, какъ „Вдова“, „Казачка“, „Хуторки“ или чудесный „Деревенскій сонъ“. Наконецъ, прочитайте въ этомъ сборникѣ стихотворенія „Иная зима“, „Они“, „Лѣсъ“, „Въ глуши“, Заплета свои темныя косы вѣнцомъ...“ — по содержанію это самыя обыкновенныя лирическія пьесы, но въ какой призрачной обстановкѣ раскрываются ихъ настроенія, какимъ волшебнымъ огнемъ фантазіи *оварены* эти картины!

Здѣсь снова умѣстна ссылка на „Второе письмо къ музѣ“. Это стихотвореніе представляетъ какъ бы программу поэзіи Полонскаго:

Подо мной таились клады,	Фонарей, да бабы въ кичкахъ
Надо мной стрижи звенѣли,	Шли ко всеошной съ базара.
Выше — въ небѣ, — надъ Рязанью,	Имъ на встрѣчу съ колокольни
	Несся гулкой звонъ вечерній;
Къ югу лебеди летѣли.	Тѣни шире разростались,
А внизу виднѣлась будка	Я крестился суетврѣй...
Съ алебардой, мостъ, да пара	

Въ этой художественной миниатюрѣ сливаются оба „лейт-мотива“ творчества Полонскаго — поэзія будней и поэзія сказки.

Зная основные мотивы нашего поэта, сильныя стороны его таланта, легко угадать и слабыя — легко предвидѣть, что абстрактная философская мысль не можетъ быть близко свойственна этой фантастической лирикѣ. И, дѣйствительно, такъ называемые „вѣчные вопросы“ встрѣчаются обыкновенно Полонскимъ грустнымъ недоумѣніемъ или же безотчетною вѣрой, точнѣе даже попыткою вѣрить.

Его творческія впечатлѣнія не даютъ ему никакого рѣшенія мировыхъ загадокъ и изо всѣхъ его размышленій не складывается никакого опредѣленнаго міросозерцанія. Не даромъ же такимъ „труднымъ“ кажется Полонскій для его критиковъ. Самымъ лучшимъ изъ „философскихъ“ его стихотвореній является, кажется, „Міровая ткань“, которую читатель найдетъ въ этомъ сборникѣ.

Ткань природы міровая —
Риза Божья, — *можетъ быть* —

начинаетъ поэтъ. Все стихотвореніе, несмотря на достоинства формы, не даетъ ничего рѣзко типичнаго, индивидуальнаго въ своемъ содержаніи. Это не болѣе какъ „философскій трюизмъ“ — и, помимо подписи, его нѣтъ особыхъ основаній приписывать перу Полонскаго. Если за каждымъ аналогичнымъ стихотвореніемъ Тютчева или Фета, вы чувствуете скрытымъ цѣлый строй мысли, опредѣленную философскую систему, если, до извѣстной степени, то же впечатлѣніе получается даже отъ произведеній Майкова, Огарева, Алексѣя Толстого, то всѣ примѣры отвлеченнаго мышленія у Полонскаго представляютъ лишь разрозненные попытки случайнаго характера. Таковы въ этомъ сборникѣ

три первые пьесы: („Міровая тѣнь“, „Священный благо-вѣсть торжественно звучить...“ и „То въ темную бездну, но въ свѣтлую бездну...“); таковы въ собраніи стихотвореній „Ночная дума“, „Съ колыбели мы, какъ дѣти...“, „Дѣтство нѣжное, пугливое...“, „Н. И. Лорану“, („Другъ! по слякоти дорожной...“), „На пути“ („Хмурая застигла ночь...“), „Вечерній звонъ“, „Послѣ разлива весенняго — лѣто...“, „Сѣрые годы“, „Пустыя ножны“, „Выжатые лимоны“ (последнее интересно по своему фантастическому колориту)— и многія другія, — вплоть до не вошедшей въ новое изданіе, недавно напечатанной въ Нивѣ, „Капли“. Во всѣхъ этихъ вещахъ своеобразна и индивидуальна только форма—стихъ и образы Полонскаго; содержаніе же — если не сбивается на трюизмъ — не идетъ дальше элементарныхъ настроеній.

Впрочемъ, въ этомъ фактѣ нѣтъ еще, собственно говоря, ничего особенно печальнаго для нашего поэта: этотъ пробѣлъ таланта является, конечно, неизбежной оборотной стороной его достоинствъ.

Несамостоятельность отвлеченной мысли Полонскаго не укрылась и отъ Тургенева, несмотря на дружескія симпатіи его къ поэту. Онъ прямо отмѣчаетъ, какъ „слабую сторону таланта“ Полонскаго, „его нѣсколько наивное подчиненіе тому, что называется высшими философскими взглядами, послѣднимъ словомъ общечеловѣческаго прогресса и т. п. Искреннее уваженіе, даже удивленіе, которымъ онъ (Полонскій) проникается передъ лицомъ этихъ „вопросовъ“, внушаетъ ему стихотворенія, то торжествующія, то печальныя, въ которыхъ благонамѣренность и чистота убѣжденія не всегда сопровождается глубиною мысли, силой и блескомъ выраженія“. Дѣйствительно, вся публицистическая лирика Полонскаго, еще болѣе, чѣмъ его философскія попытки, подтверждаетъ заключеніе Тургенева. Правда, въ ней — среди многихъ слабыхъ — найдется не мало стихотвореній вполне удачныхъ и даже оригинальныхъ, не только по формѣ но и по трактовкѣ сюжета, (какъ „Шиньонъ“, „Орелъ и змѣя“, „Нищій“, „Бѣда-проповѣдникъ“, „Бѣглый“, „Литературный врагъ“, „На улицахъ Парижа“, „Что мнѣ она — не жена, не любовница...“, „Бранять“, „Враждою народовъ стезя...“ и др.), но всѣ они опять-таки не складываются ни въ какой опредѣленный строй мысли — въ систему по-

литических убѣжденій, представляясь рядомъ единичныхъ публицистическихъ опытовъ, связанныхъ съ именемъ Полонскаго только внѣшними своими качествами. Кромѣ того, и въ отдѣльности взятое каждое изъ этихъ стихотвореній не скажетъ намъ въ концѣ-концовъ ничего такого, чего мы не знали бы о данномъ предметѣ и до его прочтенія. Мысль стихотворенія можетъ быть вѣрна, постановка вопроса оригинальна, изложеніе остроумно, форма изящна, но ни разу гражданскіе стихи Полонскаго не откроютъ намъ новыхъ горизонтовъ, никогда не одушевятъ неожиданной энергіей. Конечно, „поэтъ-гражданинъ“, уже по самымъ условіямъ своей задачи, такъ сказать ex professio, всегда находится въ извѣстномъ подчиненіи „злобѣ дня“, и для него труднѣе, чѣмъ для кого-либо, соблюденіе завѣтовъ Пушкина:

...дорогою свободной

Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ...

или Майкова:

„Не отставай отъ вѣка“ — лозунгъ лживый,
Коранъ толпы. — Нѣтъ; выше вѣка будь!
Зигзагами онъ свой свершаетъ путь,
И вкривь, и вкось стремя свои разливы...

Но все же и въ границахъ этой „прикладной поэзіи“ остается полная возможность ясно запечатлѣть свою индивидуальность—заявить свою оригинальную profession de foi, какъ Тютчевъ и Алексѣй Толстой, или хотя бы лозунги своей партіи, какъ Некрасовъ.

До извѣстной степени можно, впрочемъ, принять характеристику „направленія“ Полонскаго, сдѣланную Страховымъ, который причисляетъ нашего поэта къ „чистымъ западникамъ“, сближая его съ такими его современниками и отчасти сотоварищами, какъ Грановскій, Герценъ, Тургеневъ. „Направленіе у г. Полонскаго есть“ — категорически заявляетъ Страховъ. — „Это направленіе, дѣйствительно, не имѣетъ въ себѣ ничего рѣзкаго, узкаго, бросающагося въ глаза, но, тѣмъ не менѣе, оно есть направленіе вполне ясное и опредѣленное. Это — знаменитое направленіе, котораго лучшимъ представителемъ былъ Грановскій. Это — поклоненіе *всему прекрасному и высокому* (курсивъ Страхова), служеніе истинѣ, добру и красотѣ, любовь къ просвѣщенію

и свободѣ, ненависть ко всякому насилию и мраку. По мѣсту духовнаго развитія г. Полонскій принадлежитъ Москвѣ и московскому университету сороковыхъ годовъ, и онъ до конца остается вѣренъ лучшимъ стремленіямъ тогдашней блестящей эпохи. Въ его стихахъ вы безпрестанно встрѣтите теплое слово, обращенное къ свѣтлымъ идеаламъ, которыми тогда жила литература и которые въ сущности никогда не должны въ ней умирать. Любовь къ человѣчеству, стремленіе къ свѣту науки, благоговѣніе передъ искусствомъ и предъ всѣми родами духовнаго величія — вотъ постоянныя черты поэзіи г. Полонскаго. Если г. Полонскій не былъ провозвѣстникомъ этихъ идей; то онъ всегда былъ ихъ вѣрнымъ поклонникомъ. Эта характеристика страдаетъ нѣкоторой неопредѣленностью что, впрочемъ, можетъ быть объяснено отчасти неопредѣленностью самого характеризоваемаго направленія — такъ называемаго „чистаго западничества“. Во всякомъ случаѣ цитированный отрывокъ представляетъ наиболѣе вѣсную защиту гражданской лирики Полонскаго. Тѣмъ интереснѣе, что она лишь подтверждаетъ высказанный выше взглядъ на несамостоятельность этой лирики: не только Полонскій не составлялъ самъ своей партіи, подобно Алексѣю Толстому, но даже въ тѣхъ рядахъ, куда не безъ основаній причисляетъ его Страховъ, онъ отнюдь не игралъ роли трибуна. По стихамъ Полонскаго нельзя возстановить всю цѣльность настроеній сороковыхъ годовъ, какъ по стихамъ Некрасова міросозерданіе „шестидесятниковъ“. И поэтому о вышеупомянутомъ „направленіи“ Полонскаго можно говорить лишь какъ о второстепенной подробности его поэзіи. Слѣдуя совету Тургенева, не въ этой сферѣ нужно „искать настоящаго Полонскаго“. Въ немногихъ публицистическихъ пьесахъ Фета, какъ „На смерть Дружинина“ или „Псевдо-поэту“, больше органической мысли и неподдѣльнаго воодушевленія гражданина, чѣмъ во всѣхъ аналогичныхъ произведеніяхъ Полонскаго.

„Талантъ Полонскаго — замѣчаетъ Тургеневъ — представляетъ особенную, ему лишь одному свойственную, смѣсь *простодушной* граціи, свободной образности языка, на которомъ еще лежитъ отблескъ пушкинскаго изящества, и какой-то *иногда* неловкой, но всегда любезной, *честности и правды*“

востн впечатлѣній. Временами, и какъ бы безсознательно для него самого, онъ изумляетъ прозорливостью поэтического взгляда“.

„Этой музы“ — продолжаетъ наблюденія Тургенева Страховъ — „доступны всѣ человѣческія чувства, во всю ихъ глубину, въ полномъ ихъ размѣрѣ. Но свойство этихъ чувствъ имѣетъ въ себѣ нѣчто *эирное*, лучшаго слова мы не придумаемъ. Душевные движенія этой музы часто не радостны, но всегда *свѣтлы*; онѣ не столько легки, какъ гармоничны и чисты. Все имѣетъ такой эирный характеръ, какой мы воображаемъ у существъ чуждыхъ грубой земной дѣйствительности, у духовъ, у пери и ангеловъ“.

Очевидно, всѣ наблюдатели сходятся въ общемъ впечатлѣніи отъ поэзіи Полонскаго, подтверждая, насколько чужда ей всякая рефлексія, всякій анализъ. Самъ Полонскій сознаетъ особенности своего творчества, его стихійную непосредственность:

Мое сердце — родникъ, моя пѣсня — волна,
Пропадая вдали, — разливается...
Подъ грозой — моя пѣсня, какъ туча, темна,
На зарѣ — въ ней заря отражается.
Если жъ вдругъ вспыхнутъ искры нежданной любви,
Или на сердцѣ горе накопится, —
Въ лоно пѣсни моей льются слезы мои,
И волна уноситъ ихъ торопится.

Въ замѣчательномъ стихотвореніи „Двойникъ“, превосходно комментированномъ Страховымъ, поэтъ какъ бы раскрылъ передъ нами тайну своего вдохновенія. Этотъ „двойникъ“, сперва такъ смутившій поэта своимъ явленіемъ, а затѣмъ самъ смущенный встрѣчею съ нимъ, есть ни что иное, какъ безсознательное чутье природы, внутреннее чувство, которое растеть и ширится въ уединеніи и душевной тишинѣ, и смущенно бѣжитъ при столкновеніи съ „внѣшнимъ чело-вѣкомъ“, при вторженіи равнодушнаго и ограниченнаго анализа:

Я шелъ и не слышалъ, какъ пѣли соловьи,
И не видалъ, какъ звѣзды загорались...
И слушалъ я шаги... шаги, не знаю чьи,
За мной въ лѣсной глуши неясно повторялись.
Я думалъ, — эхо... звѣрь... колышется тростникъ...
Я вѣрить не хотѣлъ, дрожа и замирая,

Что по моимъ слѣдамъ, на шагъ не отставая,
Идетъ не человекъ, не звѣрь, а мой двойникъ!
То я бѣжать хотѣлъ, пугливо озираясь,
То самого себя, какъ мальчика, стыдилъ...
Вдругъ злость меня взяла — и, страшно задыхаясь,
Я самъ пошелъ къ нему навстрѣчу и спросилъ:
— Что ты пророчишь мнѣ, или зачѣмъ пугаешь?
Ты призракъ или обманъ фантазіи больной? —
— Ахъ! отвѣчалъ двойникъ, — *ты видишь мнѣ мѣшаешь*
И не даешь внимать гармоніи ночной;
Ты хочешь отравить меня своимъ сомнѣньемъ,
Меня — живой родникъ поэзіи твоей!
И, не сводя съ меня испуганныхъ очей,
Двойникъ мой на меня глядѣлъ съ такимъ смятеньемъ,
Какъ будто я къ нему среди ночныхъ тѣней —
Я, а не онъ ко мнѣ явился привидѣньемъ!

Лучшія стихотворенія Полонскаго и были созданы въ тѣ минуты, когда онъ не „мѣшалъ“ своему „двойнику“, когда онъ не отравлялъ ничѣмъ „живой родникъ“ своей поэзіи.

Въ эти мгновенія природа была ему доступна и близка, какъ немногимъ. Онъ подходилъ къ ней съ тѣмъ же своимъ „простодушьемъ“, съ тою же „любезной и честной правдивостью впечатлѣній“. Въ отношеніяхъ Полонскаго къ природѣ нѣтъ и слѣда аналитической мысли Тютчева, почти отсутствуетъ даже восторженное увлеченіе Фета, которое все же опредѣляетъ точку зрѣнія автора, характеризуетъ его индивидуальность. Личность Полонскаго точно ступеньвается передъ природою; за картиною не видно художника. За исключеніемъ немногихъ намековъ на пантеизмъ („Не мои ли страсти“; „Тѣни“; „Сто лѣтъ пройдетъ, сто лѣтъ; забытая могила...“), въ поэзіи Полонскаго нѣтъ никакого объясненія природы — онъ и здѣсь не рѣшаетъ никакихъ загадокъ. Обычное отношеніе его къ природѣ — спокойное, но чуткое и глубокое созерцаніе (стихотворенія „Посмотри, какая мгла...“; „Дубокъ“; „Зари догорающей пламя“). И тогда ему иногда точно удается уловить тайную жизнь природы, подслушать ея дыханіе, какъ въ этихъ дивныхъ строкахъ (стихотвореніе „Дубокъ“):

Снились мнѣ бури, нашъ край посѣтившія, —
Молвилъ дубокъ молодой —
Снилось мнѣ, будто деревья подгнившія
Сломаны бурей ночной...

Снилось: подъ бурями выросъ высоко я,
Выше столѣтнихъ дубовъ;
Видѣлъ свободно я небо далекое,
Блескъ заревыхъ облаковъ.
Видѣлъ, какъ на небѣ тихо слетаются
Звѣзды въ узоръ золотой,
И говорятъ, что онъ загораются
Съ тѣмъ, чтобъ беречь мой покой...

Даже въ самомъ восторгѣ Полонскаго передъ природой есть что-то неопредѣленное и недосказанное. Въ этомъ отношеніи очень интересно сопоставить кавказское стихотвореніе его „Не жди!“ съ Фетовскими „Въ вечеръ такой золотистый и ясный...“ и „Какъ волнуяся я мыслію больною...“, гдѣ Фетъ точно поясняетъ Полонскаго и договариваетъ недосказанное имъ.

Вотъ стихи Полонскаго:

Я не приду къ тебѣ... Не жди меня! Не даромъ,
Едва потухло зарево зари,
Всю ночь зурна звучить за Авлабаромъ,
Всю ночь за банями поютъ сазандари.
Здѣсь теплый свѣтъ луны позолотилъ балконы,
Тамъ углубились тѣни въ виноградный садъ;
Здѣсь тополи стоятъ, какъ стройныя колонны,
А тамъ, вдали, костры веселые горять...
Пойду бродить! Послушаю, какъ льется
Нагорный ключъ во мглѣ заснувшихъ Саллалакъ,
Гдѣ звонкій голосъ твой такъ часто раздается,
Гдѣ часто вижу я, мелькаетъ твой „личакъ“.
Не ты ли тамъ стоишь на кровлѣ подъ чадрою,
Въ сіяньѣ мѣсячномъ? — Не жди меня, не жди!
Ночь слишкомъ хороша, чтобъ я провелъ съ тобою
Часы, когда душѣ простора нѣтъ въ груди...
Когда сама душа, сама душа не знаетъ,
Какой любви, какихъ еще чудесъ
Просить или желать, — не проситъ, но желаетъ,
Но молится предъ образомъ небесъ, —
И чувствуетъ, что уголокъ твой душевъ,
Что не тебѣ моимъ молениямъ отвѣчать...
Не жди! — Я въ эту ночь къ соблазнамъ равнодушень,
Я въ эту ночь къ тебѣ не буду ревновать.

А вотъ первое изъ упомянутыхъ стихотвореній Фета:

Въ вечеръ такой, золотистый и ясный,
Въ этомъ дыханьи весны всепобѣдной.
Не поминай мнѣ, о другъ мой прекрасный,

Ты о любви нашей, робкой и бѣдной!
Дышитъ земля всѣмъ своимъ ароматомъ,
Небу разверстая — только вздыхаетъ;
Самое небо съ нетлѣннымъ закатомъ
Въ тихомъ заливѣ себя повторяетъ.
Что же тутъ мы, или счастье наше?
Какъ и помыслить о немъ не стыдиться! —
Въ блескъ, какого нѣтъ шире и краше,
Нужно безумствовать, или смириться!

Эта параллель интересна также для сравненія внѣшней манеры обоихъ поэтовъ — характерныхъ красокъ и типичнаго „колорита“ ихъ стиховъ.

Временами Полонскій ощущаетъ „таинственность природы“, и въ немъ подымается вопросъ, на который онъ не находитъ отвѣта... Тютчевъ можетъ стройно и ясно отдать отчетъ въ своемъ пониманіи природы, несмотря на всю глубину и сложность этого пониманія, — стройно и ясно даже настолько, чтобы закончить свой взглядъ на „мѣръ таинственный духовъ“ прозаически-точнымъ резюме: „*отъ отчего намъ ночь страшна*“. Фетъ, послѣ долгаго весенняго упоенія „всемирной красотой“, придетъ къ тому же вдумчивому прозрѣнію. Въ юности онъ славилъ „майскую ночь“ безподобными стихами:

Какая ночь! На всемъ какая нѣга!
Благодарю, родной, полночный край!
Изъ царства льдовъ, изъ царства вьюгъ и снѣга
Какъ свѣжъ и чистъ твой вылетаетъ май!

Въ старости та же ночь дала ему разгадку его порыва:

Мой духъ, о ночь! какъ падшій серафимъ,
Призналъ родство съ нетлѣнной жизнью звѣздной...

Полонскій не найдетъ объясненія своимъ волненіямъ:

Отчего я люблю тебя, свѣтлая ночь?
Такъ люблю, что, страдая, люблюсь тобой!
Самъ не знаю, за что я люблю тебя, ночь...

Удивительное стихотвореніе „Лунный свѣтъ“, которое еще Страховъ отмѣтилъ какъ одно изъ наиболѣе характерныхъ для Полонскаго, рисуетъ переходъ отъ безотчетнаго созерцанія къ невольному недоумѣнію надъ собственнымъ настроеніемъ:

На скамьѣ, въ тѣни прозрачной Слышу — ночь идетъ, и слышу
Тихо шепчущихъ листовъ, Переключку пѣтуховъ.

Далеко мелькають звѣзды,
Облака озарены,
И, дрожа, тихонько летя
Свѣтъ волшебный отъ луны.
Жизни лучшія мгновенья,
Сердца жаркія мечты,
Роковыя впечатлѣнья,
Зла, добра и красоты;
Все, что близко, что далеко,
Все, что грустно и смѣшно,

Все, что спитъ въ душѣ глубоко—
Въ этотъ мигъ озарено.
Отчего жъ былого счастья
Миѣ теперь ничуть не жаль?..
Отчего былая радость
Безотраднa, какъ печаль?
Отчего печаль былая
Такъ свѣжа и такъ ярка?
Непонятное блаженство!
Непонятная тоска!

Очевидно, это тотъ моментъ, когда, говоря словами Фета, „добро и зло“, счастье и горе, — эти „роковыя“ условія повседневной людской жизни — „отпадаютъ, какъ прахъ могильный“, и человѣкъ остается наединѣ съ самимъ собой и съ вѣчно-свободной, вѣчно-безстрастной природой.

Та же первобытная свѣжесть и ясность духа, — та же радость непосредственнаго, безыскусственнаго общенія съ природою проникаетъ и чудесные пейзажи „Кузнечика-музыканта“, одушевляетъ оригинальные, фантастическіе силуэты этой граціозной поэмы. „Будьте просты, какъ дѣти“, — это изреченіе можно бы поставить эпиграфомъ лучшаго произведенія Полонскаго. Легкій и плавный стихъ, какая-то полудѣтская нѣжность и наивность рисунка, лукавый, незлобивый юморъ не исключаютъ здѣсь, однако, ни глубины содержания, ни тонкости психологическаго анализа, ни сатирической мѣткости. „Голубиная кротость“ не мѣшаетъ „змѣиной мудрости“. Все, что въ остальныхъ поэмахъ Полонскаго и въ гражданской его лирикѣ вспыхиваетъ лишь рѣдкими искрами, сосредоточивается въ немногихъ отрывкахъ, — не покидаетъ „Кузнечика-музыканта“ отъ первой строки до послѣдней. Точно Антея, прикосновеніе къ родной почвѣ воодушевило поэта, окрылило его вдохновеніе неожиданной силой и чуткостью. А природа стиховъ Полонскаго есть именно родная поэту, русская природа. Если у Тютчева воспоминанія юга выходятъ часто ярче и заманчивѣе „безобразныхъ сновидѣній“ сѣвера; если Майкова тянетъ всегда къ пламенному солнцу Рима и Аѳинъ; если Лермонтова вдохновляетъ грандіозный Кавказъ; если у Фета его воздушныя „мелодіи“ не даютъ впечатлѣнія индивидуальнаго изображенія и за очеркомъ „природы вообще“ почти стираются краски и особенности русскаго пейзажа, — то у По-

лонскаго находимъ мы знакомыя картины во всемъ ихъ разнообразіи). Здѣсь и русская волшебница, „бабушка-зима“, съ ея фантастическими метелями, съ фантастическими цвѣтниками на замерзшихъ окнахъ; здѣсь и русская, свѣтлая, томительно-прекрасная весна съ ея безсонною зарею, съ ея безбрежными разливами; здѣсь и русская темная, слезящаяся осень; здѣсь, наконецъ, — чаще всего — русское, знойное и роскошное лѣто. Время дѣйствія „Кузнечика-музыканта“ обозначено точно: это „Петровки“ — разгаръ лѣта. Но и большинство лучшихъ стихотвореній Полонскаго (какъ „Пришли и стали тѣни ночи...“, „Заплетя свои темныя косы вѣнцомъ...“, „Они“, „Подросла“, „Лѣсъ“) приурочивается къ тому же періоду: это все тотъ же знойный, сладострастный іюнь, тѣ же „лучезарныя тѣни“ лѣтнихъ ночей:

Уходя, день ясный плакалъ за горою
И, роняя слезы, жаркою зарею
Изъ-за темной рощи охватилъ край нивы.
Дню во слѣдъ глядѣла ночь — и переливы
Свѣта отражались и, дрожа, блуждали
По ея ланитамъ. Тихо начинали
Выходить свѣтила, мѣсяца предтечи,
Передъ Божимъ трономъ зажигая свѣчи.
Далеко стемнѣло море жатвы зыбкой.
Грустная береза обнялася съ липкой.
Призатихла роща. Только дубъ шушукать,
Только гдѣ-то дятель крѣпкимъ носомъ тукать,
Только гдѣ-то струйки смутно лепетали,
Только роковыя страсти не дремали,
Только насѣкомыхъ міръ неутомонный
Голосилъ немолчно въ тишинѣ безсонной...

Сдержанная страстность, которою проникнуть этотъ стройный аккордъ, весьма характерна для Полонскаго. Ею нерѣдко дышать его картины природы (ср. напр., великолѣпныя панорамы Египта въ стихотвореніи „Передъ закрытой истиной“ — III и VII), но всего рельефнѣе, конечно, сказывается она въ его лирикѣ любви.

Любовь Полонскаго отнюдь не нѣжная, постоянная привязанность Фета — это мятежная, порывистая страсть, — знойная, какъ его пейзажи. Нигдѣ поэтъ не ставитъ и не рѣшаетъ философской проблемы любви — анализъ и размысленіе и здѣсь замѣняются у него непосредственной цѣлостью впечатлѣній, художественнымъ созерцаніемъ конкрет-

ной жизни. Таковы стихотворенія „Пришли и стали тѣни ночи...“; „Пѣсня цыганки“ („Мой востеръ въ туманѣ свѣтитъ...“), „Финскій берегъ“, „Подойди ко мнѣ, старушка...“, „Неотвязная“, „Вотъ и ночь... Къ ея порогу...“, „Поцѣлуй“, „Ахъ, какъ у насъ хорошо на балконѣ, мой милый! смотри...“, „Вижу ль я, какъ во храмѣ смиренно она...“ и др. Во всѣхъ этихъ пьесахъ слышится дыханіе неподдѣльной, захватывающей страсти, но было бы грубой ошибкой смѣшивать ее съ элементарною чувственностью. Любовь Полонскаго не отрывается отъ земли, но, тѣмъ не менѣе, она есть настоящая любовь поэта, т.-е. самое чистое, глубокое и нѣжное чувство, какое только можетъ быть. У Полонскаго есть даже цѣлый отдѣлъ стихотвореній, посвященныхъ дѣтской и отроческой любви — психологическая область, въ которой онъ — въ русской, по крайней мѣрѣ, поэзіи — не имѣетъ соперниковъ. Такія, на примѣръ, пьесы, какъ „Они“, „Подросла“, „Въ глуши“, „Наивная жалоба“, „Иная зима“, „Въ гостинной сидѣлъ за раскрытымъ столомъ мой отецъ...“ по правдивости настроенія, по тонкому изяществу рисунка, по мягкимъ и нѣжнымъ краскамъ — настоящіе шедевры поэзіи. Разсвѣтъ любви проходитъ у Полонскаго всѣ ступени, — начиная отъ смутнаго броженія первыхъ желаній („Лѣсъ“, „Въ глуши“), продолжая всѣми оттѣнками полубезсознательнаго, инстинктивно растущаго чувства („Въ гостинной“, „Отрочество“, „Моей молоденькой сосѣдкѣ...“, „Дни измѣнчивы“, „Въ городѣ“, „Наивная жалоба“), кончая полнымъ разцвѣтомъ молодаго увлеченія („Они“, „Подросла“) — и переходомъ къ иному, болѣе зрѣлому чувству („Иная зима“).

Любопытно, что муза Полонскаго и въ жизни другихъ народовъ вдохновляется почти исключительно тѣми же мотивами поэтической страсти. Таковы лучшіе изъ кавказскихъ этюдовъ; такова испанская „Гитана“; таковы изъ классическихъ“ стихотвореній извѣстное „У Аспазіи“ и недавно написанное, превосходное — „Кассандра“. Вопреки мнѣнію Тургенева, приходится признать, что спеціальная жизнь древняго міра, духъ классицизма остались чужды Полонскому. За исключеніемъ двухъ небольшихъ стихотвореній („Диамея“ и „Эротъ“), въ его произведеніяхъ античный міръ является или въ видѣ простой обстановки, или же въ проявленіяхъ свойственныхъ всякой человѣческой жизни и вѣч-

ныхъ, насколько вѣчно само человѣчество. Въ недурномъ стихотвореніи „Статуя“ „античны“ развѣ только холодныя восклицанія „О, Эллада, Эллада!“; въ „Няядяхъ“ — мило-логическая обстановка; въ „Вакханкѣ“ и Сатирѣ — тоже (впрочемъ, стихотвореніе это не принадлежитъ къ числу удачныхъ и похвалы ему въ тургеневскихъ письмахъ возбуждаютъ лишь недоумѣніе). Наоборотъ, несомнѣнно продиктованныя вдохновеніемъ „У Аспазіи“ и Кассандра“ представляютъ простые отзвуки общечеловѣческаго чувства. Это все та же любовь-страсть Полонскаго, и участіе греческихъ героевъ и боговъ не превращаетъ еще ея въ настроеніе подлиннаго классицизма. Достаточно раскрыть Майкова, чтобы сравненіе выяснило вопросъ окончательно.

Подобно Тютчеву, Полонскій иллюстрируетъ чаще всего ирраціональную сторону любви — „поединокъ роковой“. Весь „Кузнечикъ-Музыкантъ“ посвященъ такой иллюстраціи. Отношенія героя-кузнечика къ бабочкѣ и аналогичныя отношенія возлюбленной его къ соловью — все это лишь развитіе второго куплета тютчевскаго „Предопредѣленія“ или его же „О, какъ убійственно мы любимъ!...“ Различіе этихъ произведеній есть то самое, что отмѣчаетъ Тютчева между всѣми русскими поэтами (за нѣкоторымъ исключеніемъ Фета и Баратынскаго), особенно противопоставляя его Пушкину. Дѣло въ томъ, что свѣтъ тютчевской поэзіи есть своего рода „рентгеновскій“ свѣтъ — онъ проникаетъ вглубь явленія, освѣщаетъ самый его скелетъ, его схему. Главныя стихотворенія Тютчева похожи на выраженные въ художественныхъ образахъ философскія формулы. Напротивъ, стихотворенія Пушкина и поэтовъ его типа (въ томъ числѣ и Полонскаго) можно сравнить съ обыкновенной или, лучше сказать, цвѣтной фотографіей. Здѣсь передъ нами живое тѣло съ его мясомъ, нервами и кровью — жизненное явленіе въ его конкретной обстановкѣ, со случайными подробностями и оттѣнками. Вотъ почему поэзія Тютчева — и только его — является, по своему, равносильной пушкинской: она составляетъ законное дополненіе послѣдней, относясь къ ней какъ теорія къ факту.

Всего яснѣе можно убѣдиться въ сказанномъ, конечно, на примѣрѣ. Слѣдующее, малоизвѣстное, но весьма замѣчательное по глубинѣ и отчетливости анализа, по яркому своеобразію формы, стихотвореніе Тютчева, представляетъ бле-

стящую схематическую иллюстрацію „рокового поединка“ любви:

Не говори: меня онъ, какъ и прежде, любить
Какъ прежде, мною дорожить...

О, нѣтъ! онъ жизнь мою безчеловѣчно губить,
Хоть вижу—ножъ въ рукѣ его дрожить.

То въ гнѣвѣ, то въ слезахъ, тоскуя, негодуя,
Увлечена, въ душѣ уязвлена,
Я стражду, не живу... имъ, имъ однимъ живу я;
Но эта жизнь—о, какъ горька она!

Онъ мѣритъ воздухъ мнѣ такъ бережно и скудно.
Не мѣрятъ такъ и лютому врагу...
Охъ, я дышу еще болѣзненно и трудно,
Могу дышать, но жить ужъ не могу!

Въ этомъ стихотвореніи нѣтъ ничего, что не имѣло бы прямого отношенія къ его психологической задачѣ, что — лучше сказать,—не составляло бы этой задачи. Здѣсь нѣтъ никакой обстановки, никакихъ привходящихъ подробностей: всѣ конкретныя, случайныя условія остались за предѣлами вдохновенія поэта. Стихотвореніе начинается вмѣстѣ со всплывшюю вызвавшимъ его чувства и кончается, какъ только это чувство обнаружено. Это именно только схема настроенія, страница изъ психологическаго атласа..

Совершенно иначе разработанъ тотъ же мотивъ Полонскимъ. Его стихотвореніе („Подойди ко мнѣ, старушка...“) начинается прелестной картинкой гаданія влюбленной дѣвушки. Старая цыганка предсказала ей, что ея возлюбленный обманетъ ее; полевой цвѣтокъ, у котораго она обрывала лепестки, шепча заповѣдныя слова, отвѣчалъ ей, напротивъ: „да“ — „темнымъ, сердцу внятнымъ языкомъ“...

На устахъ ея—улыбка
Въ сердцѣ слезы и гроза;
Съ упоеніемъ и грустью
Онъ глядитъ въ ея глаза.
Говоритъ она: обманъ твой
Я предвижу и не лгу,
Что тебя возненавидѣть
И хочу и не могу.

Онъ глядитъ все такъ же грустно;
Но лицо его горитъ...
Онъ, къ плечу ея устами
Припадая, говоритъ:
Берегись меня!—я знаю,
Что тебя я погублю,
Оттого, что я безумно,
Горячо тебя люблю!...

Это, очевидно, варіація тютчевской темы — то же явленіе, хотя и въ другомъ моментѣ. Психологія страсти раскрыта

здѣсь съ рѣдкою правдивостью: это тотъ же роковой трагизмъ „борьбы неравной двухъ сердецъ“, гдѣ слабому перспектива гибели, настолько же неизбежной, насколько и сознательной. Поэтъ-художникъ нашелъ въ конкретныхъ образахъ все то, что поэту-философу подсказало абстрактное размышленіе. Тютчевъ во встрѣчныхъ образахъ узнаетъ свою идею; въ образахъ Полонскаго заключена произвольная, нерѣдко имъ самимъ не угадываемая идея.

Творческая манера Полонскаго смягчаетъ жгучую горечь жизни — осто́въ трагедіи заслоняется массой художественныхъ деталей. Этимъ, отчасти, объясняется ясный колоритъ его поэзіи, ея „эпирность“, по выраженію Страхова. Но и сами по себѣ „всѣ его чувства“ — какъ справедливо замѣчаетъ тотъ же критикъ — „всѣ душевныя движенія не имѣютъ въ себѣ ничего слишкомъ тяжелаго, рѣзкаго и мрачнаго. И скорбь, и боль, и гнѣвъ — на всемъ лежитъ печать свѣтлой, гармонической натуры“. Большинство русскихъ поэтовъ — и самые крупные изъ нихъ, необходимо добавить, — обнаружили ту же бодрость, свѣжесть и свободу чувства, ту же ничѣмъ непоколебимую силу.

Мой путь уныль — сулитъ мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море...
Но не хочу, о други! умирать —
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать!

Настроеніе этихъ знаменитыхъ стиховъ нашло себѣ откликъ во всей поэзіи Фета, Тютчева, Кольцова, Полонскаго, Алексѣя Толстого, а отчасти — въ той или иной своеобразной формѣ — и Лермонтова, Майкова, даже Голенищева-Кутузова (потому что и въ культѣ смерти можетъ сказаться несокрушимая бодрость духа). „Въ битвѣ жизни“ побѣда всегда такъ или иначе оставалась здѣсь за человѣкомъ — за художникомъ, не уступавшимъ своей индивидуальности и ея завѣтныхъ стремленій. Чтобы „мыслить“, онъ согласенъ забыть о крушеніи личнаго счастья и обречь себя неотразимому страданію.

Не грози жъ ты мнѣ бѣдою
Не зови, судьба, на бой:

Готовъ биться я съ тобою,
Но не сладишь ты со мной!—

говоритъ Кольцовъ.

Когда судьба меня карала,
Увы! всёобщая судьба,

Моя душа не уставала,
По силамъ ей была борьба—

говорить Полонскій.

Страховъ приводитъ для иллюстраціи этой черты художественной личности Полонскаго стихотвореніе „Послѣдній вздохъ“. Это, дѣйствительно, очень удачный примѣръ. Моментъ, изображенный въ упомянутомъ стихотвореніи, принадлежитъ къ числу самыхъ ужасныхъ и тяжелыхъ, какіе только можетъ быть суждено пережить человѣку. Моментъ этотъ — смерть любимаго существа. Здѣсь легко было бы ожидать мучительныхъ диссонансовъ, порыва нестерпимаго отчаянья. Но какъ свѣтло и гармонично, хотя, вмѣстѣ съ тѣмъ, просто и естественно, — какъ нѣжно и трогательно настроеніе Полонскаго:

„Попѣлуй меня...
Моя грудь въ огнѣ...
Я еще люблю...
Наклонись ко мнѣ...“
Такъ въ прощальный часъ
Лепеталъ и гасъ
Тихій голосъ твой,
Словно тающій
Въ глубинѣ души
Догорающей.
Я дышать не смѣлъ, —
И въ лицо твое,

Какъ мертвецъ, глядѣлъ...
Я склонилъ мой слухъ...
Но, увы! мой другъ,
Твой послѣдній вздохъ
Мнѣ любви твоей
Досказать не могъ.
И не знаю я,
Чѣмъ развяжется
Эта жизнь моя!
Гдѣ доскажется
Мнѣ любовь твоя!

„Какая музыка, какая невыразимая прелесть!“ — воскликнемъ мы вмѣстѣ со Страховымъ.

Это стихотвореніе очень интересно и какъ одно изъ немногихъ рисующихъ взглядъ поэта на послѣднюю загадку жизни — тайну ея прекращенія. И здѣсь мы не находимъ у Полонскаго никакихъ гипотезъ. Какъ „вѣчные вопросы“ о Божествѣ, о мірѣ и жизни, какъ загадка любви, — „загадка смерти“ остается неразрѣшимой для Полонскаго. Грустнымъ, хотя свѣтлымъ и покорнымъ недоумѣніемъ кончается его встрѣча съ нею...

Перцовъ.

Широта содержания поэзии Полонскаго, изображающей русскую природу и жизнь, быть наших соплеменниковъ и другихъ народностей разныхъ вѣкоуъ.

Мы, можно сказать, живемъ въ юбилейную пору. Мы то и дѣло поминаемъ своихъ славныхъ предшественниковъ, про которыхъ можно сказать, что

...На насъ ихъ портреты
Укоризненно смотрять со стѣнъ...

Но мы догадываемся иногда чувствовать и тѣхъ, еще не ушедшихъ отъ насъ, дѣятелей, которые все же таки принадлежатъ порѣ, видимо, отъ насъ уходящей, — догадываемся, послѣ того какъ многимъ изъ недавно умершихъ дѣятелей приходилось отъ насъ при жизни солоно, и мы настоящимъ образомъ ихъ почтили только, опуская ихъ въ гробъ, въ могилу. Въ сущности, мы провожаемъ цѣлую, скрывающуюся отъ насъ, эпоху, — провожаемъ, несмотря на то, что „дальніе проводы — лишнія слезы“. Да, мы находимъ какую-то горькую сладость въ этихъ „лишнихъ слезахъ“...

Недавно, поминая Пушкина, мы точно будто бы пережили все то, что такъ преждевременно свело въ могилу нашего великаго поэта. А давно ли такъ больно доставалось ему отъ насъ за его поэтическую независимость? Давно ли мы вѣняли ему въ вину и то, что написалось у него уже подъ самый конецъ жизни:

Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа —
Не все ли намъ равно? Богъ съ ними! Никому
Отчета не давать, себѣ лишь одному
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотаъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья —
Вотъ счастье, вотъ права!

Мы, очевидно, поняли эту поэтическую *прихоть* въ буквальномъ смыслѣ, мы не разглядѣли въ ней вполне законнаго нежеланія писать *по заказу* — чьему бы то ни было, благородной смѣлости не ломать шапки ни передъ кѣмъ.

Не тотъ же ли самый Пушкинъ въ ту же самую пору сказалъ:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокий вѣкъ возславилъ я свободу
И милость къ падшимъ призывалъ.

Пушкинъ хотѣлъ и умѣлъ въ своемъ смыслѣ служить народу, только не выслуживаясь и у него, не добиваясь такъ называемой популярности. Онъ, несомнѣнно, отзывался и на такъ называемую „злобу дня“, только никогда не забывая при этомъ и служенія „вѣчной правдѣ“. Да, вѣдь, настоящій, глубокий отзывъ на все живое-текущее и возможное-то только при широкой отзывчивости на все человѣческое, при постоянномъ сознаніи той внутренней связи, которая существуетъ между черногорцемъ, отстаивающимъ свою дикую свободу отъ цивилизованнаго завоевателя, и Франклиномъ, въ сочувствіи которому обвинялся Екатериною нашъ Радищевъ, между какою-нибудь *Письмо плынаго Ирокеза* и Шиллеровымъ *Вильгельмомъ Теллемъ*.

Мы вернулись къ Пушкину, когда поняли, наконецъ, какъ ково оставаться обществу безъ широты поэтического и философскаго кругозора. Вернувшись къ Пушкину, мы вернулись и къ тѣмъ немногимъ современнымъ обитателямъ идеальныхъ высотъ, для которыхъ, какъ оказывается на повѣрку, вполне возможно слѣдить оттуда за всѣмъ, что происходитъ у насъ внизу. Вотъ такимъ-то образомъ мы вернулись и къ чувствуемому нами теперь, за его пятидесятилѣтнюю поэтическую дѣятельность, Я. П. Полонскому.

Да, мы уже не ставимъ и ему въ вину того, что находимъ у него не одни только современные или, лучше сказать, очередные мотивы, — что и онъ, подобно Пушкину, отзывался, такъ сказать, на все. Мы не станемъ, напримѣръ, пожимать плечами, прочитавъ его поэтическую небылицу о *Солнцѣ и мѣсяцѣ*¹⁾, въ которой, вопреки естественной, утверждается, будто бы мѣсяцъ даетъ каждодневно отчетъ солнцу въ томъ, что онъ видѣлъ ночью, и будто бы солнце весело всходитъ, если мѣсяцъ видѣлъ доброе, и заволакивается туманомъ, если онъ видѣлъ злое. Мы едва ли также

¹⁾ Полное собраніе сочиненій, т. I, стран. 1—2.

отвернемся отъ того *Амела*, который въ младенческіе годы поэта грустно задумывался у его изголовья, говоря:

Дитя, поймешь ли ты слова моей печали¹⁾?

Мы горькимъ опытомъ научились понимать, что та чистота младенца, надъ предстоящею утратой которой задумывается тутъ ангелъ, слишкомъ была бы нужна и юношѣ и зрѣлому мужу, — нужна именно для того, чтобъ онъ могъ, не колеблясь, пройти свое общественное поприще. Мы не осудимъ уже теперь и того *безумія горя*²⁾, которое съ такою страшною силой сказалось у нашего поэта послѣ тяжелой семейной утраты. Не каждый ли изъ насъ бываетъ способенъ повторить вслѣдъ за нимъ:

Когда твой гробъ исчезъ, заброшенный землею,
Увы! мой все еще насмѣшливо сіялъ —
И озирался я, покинутый тобою,
Душа души моей, и смутно сознавалъ,
Какъ не легко въ моемъ громадно-пышномъ гробѣ.

И порывался я очнуться, встрепенуться,
Подняться, — вѣчную мою гробницу изломать —

Какъ саванъ, сбросить это небо.
На солнце наступить и звѣзды разметать, —
И ринуться по этому кладбищу,
Покрытому обломками свѣтилъ,
Туда, гдѣ ты, гдѣ нѣтъ воспоминаній,

Прикованныхъ къ ничтожеству могилъ.

Конечно, иному изъ насъ представится тутъ не семейная, а иного рода утрата, — утрата всего того, во чтò вѣрилось, чтò нами чаялось, чтò испытало у насъ на глазахъ окончательное крушеніе, такъ что въ самомъ дѣлѣ какимъ-то огромнымъ гробомъ представляется намъ этотъ міръ съ его веселымъ, точно будто дразнящимъ насъ, солнцемъ, — міръ, въ которомъ мы будто живемъ, на самомъ же дѣлѣ медленно, заживо умираемъ.

Мы, пожалуй, только снисходительно выслушаемъ *наивную жалобу* той дѣвушки въ извѣстномъ стихотвореніи Полонскаго³⁾, которая употребляетъ всѣ усилія, чтобъ обратить

¹⁾ Тамъ же, стран. 32.

²⁾ Тамъ же, стран. 209—210.

³⁾ Тамъ же, стран. 49—50.

на себя вниманіе живущаго у нихъ въ домѣ студента, и которой приходится, опустивъ руки, сказать:

Но что ни дѣлаю, ничто не помогаетъ!
Попрежнему онъ холоденъ и тихъ,
Попрежнему сидитъ и книги все читаетъ,
Какъ будто хуже я его несносныхъ книгъ.

Насъ невольно, однакоже, привлекаетъ этотъ неподатливый образъ юноши, всецѣло погруженнаго въ знаніе для будущаго живого труда. Въ этомъ дѣвственномъ образѣ какъ бы намѣченъ уже Алеша, котораго вывелъ Полонскій въ своей большой поэмѣ: *Мими*¹⁾, — этотъ, сумѣвшій отстоять свою независимость, молодой человѣкъ, о твердую волю котораго сокрушился и идеальный соблазнъ красоты, и практическій соблазнъ комфорта и про котораго нашъ поэтъ въ заключеніе говорить:

Судя по блѣдности, по выраженью глазъ
И по его ланитамъ впалымъ,
Онъ много бѣдствовалъ и голодалъ не разъ.
Ожесточился, но... остался честнымъ малымъ.
Порой у насъ такихъ ребятъ
И понимать-то не хотять.

Да, хочетъ этимъ сказать поэтъ, частенько у насъ не хотять понять, что въ этихъ-то неподатливыхъ ни на какіе соблазны, — въ томъ числѣ и на соблазнъ выслуги, милостей, — выносливыхъ людяхъ и заключается *соль земли*, хотя бы и страстно кипѣли въ нихъ силы, отведенныя всѣ въ одну сторону — на общественное служеніе; не хотять понять, что надо только предоставить широкій законный исходъ этимъ кипучимъ силамъ, и онѣ-то и применуть къ самымъ твердымъ, самымъ надежнымъ устоямъ родной земли.

Съ перваго взгляда, пожалуй, только какою-то поэтической игрушкой представляется у Полонскаго поэма *Куклы*²⁾, но въ затаенномъ ея символизмѣ, несомнѣнно, заключается и извѣстный общественный смыслъ. Приглядитесь хорошенько къ этимъ *кукламъ*, и вы невольно признаете въ нихъ *людей*, только низведшихъ себя до *куколъ*. Вспомнимъ обращеніе къ одной изъ нихъ олицетворенной въ поэмѣ „Нужда“.

¹⁾ Полное собраніе сочиненій, т. III.

²⁾ Полное собраніе сочиненій, т. II.

„Познакомься со мной, и тебя я
Натолкну на ученье, умѣнье,
На заботу, работу, на прибыль,
И спасеть насъ обѣихъ терпѣнье —
Понемногу изъ куклы, въ которой
Нѣтъ ни сердца ни смысла, тебя я
Превращу въ золотую бабенку,
И счастлива ты будешь, родная...
Чай, слыхала? Нужда всѣхъ научить
Колачи ѣсть, не корку сухую, —
Колачи!!! Я — Нужда, и любого
Человѣка одѣну, обую“...
„Ты Нужда! — отмахнувшись руками,
Гнѣвно пискнула кукла: — о Боже!
Ты Нужда! Мнѣ, какъ нищей, нуждаться!
Да на что жъ это будетъ похоже?
Мнѣ, съ моимъ деликатнымъ сложеньемъ,
Съ воспитаньемъ моимъ и съ такою
Красотой, жить безъ всякой прислуги,
Да на рынокъ ходить — Богъ съ тобою!“

Поэтъ, конечно, нѣсколько прикрашиваетъ тутъ нужду, утверждая, будто она постоянно учитъ человѣка только уму-разуму. Часто, конечно, она учитъ и многому иному, низводя человѣка до томительныхъ, до душевно-тяжелыхъ профессій. Но поэтъ сумѣлъ, съ убійственною наглядностью, указать намъ и на это, напримѣръ, въ своей *Натурициѣ*¹⁾. Напрасно старается она у него утѣшительно вразумить себя, что она, вѣдь, не какая-нибудь соблазнительница со своею „Богомъ данною красотой — наготою“. Вырывается же у нея вслѣдъ за тѣмъ:

Мнѣ не стыдно, не обидно;
Только такъ — порой завидно,
Для чего я не манкенъ!
Твой манкенъ не просить хлѣба,
Не бояться кары неба,
Не кланять своей судьбы;
Онъ не зналъ обидъ напрасныхъ,
Соблазнитель безстрастныхъ,
Сокрушительной борьбы.
.....
Дни, года пройдутъ, быть можетъ,
Нагота моя поможетъ

¹⁾ Полное собраніе сочиненій, т. I, стран. 186 и 187.

И тебѣ карманъ набить.
Я же, снова голодая,
Можетъ-быть, приду, больная,
Подъ окно твое просить.

То же живое участіе ко всякой рабочей долѣ заставило Полонскаго очутиться на крыльяхъ воображенія и на *Каланчѣ*, чтобы подслушать душою, что ощущаетъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и что человѣчески чувствуетъ взгроможденный на нее пожарный, занимающій на такой высотѣ одно изъ самыхъ низменныхъ, а потому и наименѣе вознаграждаемыхъ мѣстъ¹⁾. Но и въ находящемся въ иномъ совсѣмъ положеніи *Больномъ писателѣ* Полонскій выставляетъ намъ, при надорванныхъ болѣзнію силахъ, того же рабочаго, напрасно остерегающагося, какъ бы этотъ, его такъ увлекающій, умственный трудъ не обратился, наконецъ, въ то же ремесло, только что не дающее умереть съ голоду. Напрасно такъ чутко слѣдить онъ за политическими событіями въ Европѣ, — ему некогда хорошенько надъ ними задуматься, некогда дать своимъ мыслямъ устояться, созрѣть и окрѣпнуть, — онъ, вѣдь, на самомъ дѣлѣ давно уже литературный поденщикъ, къ которому постоянно протягивается рука жены за деньгами на расходъ да на то лѣкарство, которымъ онъ еле-еле еще поддерживаетъ свои силы²⁾.

Даже и въ *Кузнечикъ-Музыкантъ*³⁾, этой, казалось бы, только граціозной поэтической шуткѣ, Полонскій выставляетъ передъ нами честнаго труженика артиста, не находящаго отзыва въ легковѣсной феѣ-бабочкѣ, плѣненной такимъ важнымъ маэстро, какъ соловей, въ свою очередь, относящійся къ ней свысока и доводящій ее до ранней смерти. Поэма отзывается, въ цѣломъ, духомъ того народнаго животнаго эпоса, въ которомъ въ лицѣ животныхъ, въ сущности, выступаютъ передъ нами тѣ же люди. Вспомнимъ, наконецъ, и такую подробность этой поэмы, какъ находящееся въ началѣ 5-й пѣсни поэтическое обращеніе кузнечика къ родной, умѣющей отзываться на всякую тяжелую долю, музѣ:

Плачь, родная Муза! Затяни ты пѣсню:
Не о томъ, какъ „ходить молодецъ на Прѣсню“,

¹⁾ Тамъ же, стран. 471 и сл.

²⁾ Полное собраніе сочиненій, т. II.

³⁾ Тамъ же.

Не о томъ, какъ „пряха пряла,— не лѣнилась“,
Не о томъ, какъ „Волга-матушка катилась“,—
Спой намъ пѣсню такъ, чтобъ туча разразилась
Надъ широкой нивой, чтобъ дождемъ шумящимъ
Пробѣжала сила по листьямъ дрожащимъ,
Чтобъ червей, враждебныхъ зелени и лѣту
Ненавистныхъ, падкихъ къ завязи и цвѣту,
Смыло, разнесло бы по крутымъ оврагамъ!
Туча дождевая, будь ты нашимъ благомъ!
Поднимая вѣтеръ, оборви ты сѣти
Паука съ крестами, чтò гордится въ свѣтѣ
Тѣмъ, что изсушилъ онъ множество народу,
Изъ души и сердца высосавъ свободу!

„Кузнечикъ-музыкантъ“, такимъ образомъ, оказывается и поэтомъ, даже поэтомъ, не чуждымъ своего рода „гражданскихъ мотивовъ“. Если же видѣть живую человеческую душу, какъ и слѣдуетъ видѣть ее, не только въ животныхъ, понимаемыхъ поэтически, но и въ поэтически понимаемомъ *Нагорномъ ключѣ* и *Утесѣ*, то и такъ озаглавленные, замѣчательныя по силѣ выраженія, стихотворенія Полонскаго окажутся не лишенными общественнаго смысла. Говорить же у нашего поэта *нагорный ключъ*:

Погоди, когда-нибудь
Выбьюсь я на вольный путь!
На долину я сойду,
Водопадомъ упаду,

Засверкаю жемчугомъ,
Покачусь живымъ ручьемъ...
Буду жажду утолять,
Ваши силы обновлять.

Напрасно угрожаютъ ключу преградами — скалами, которыя торчатъ гребнями, и глубокимъ проваломъ въ бездну. Онъ отвѣчаетъ:

Силъ моихъ не истребятъ
Ни провалъ ни самый адъ;
И въ провалъ и въ аду
Я товарищей найду.
Вмѣстѣ съ влагой огневой,

Вмѣстѣ съ тепломъ и золой,
Я, чтобъ небо увидеть,
Буду землю колебать.
На просторъ когда-нибудь
Потайной пророку путь¹⁾...

Такое же душевное участіе возбуждаетъ невольно и *утесъ*, отшатнувшійся отъ родимыхъ горъ и далеко ушедшій въ чужое бурное море.

¹⁾ Полное собраніе сочиненій, т. I, стран. 316—318.

...Пришлецъ недужный,
Онъ молчить, — уже съ разбитой
Грудью, вѣтъ вѣтрамъ открытой,
Посреди чужихъ — ненужный,
Посреди своихъ — забытый!

Мы невольно прислушиваемся къ лепету той волны, которая ластится къ одинокому пришельцу:

О утесъ! герой мой милый!
Надышись моею силой,
Позабудь свои проклятья,
Упади въ мои объятья!
Или — воротись къ великимъ
Тѣмъ горамъ, глухимъ и дикимъ,
Къ тѣмъ, когда-то милымъ братьямъ,
Къ ихъ цѣлямъ и къ ихъ объятьямъ¹⁾.

Свободно отзывчивый, подобно своему учителю Пушкину, на все живое, Полонскій, подобно ему, любовно относится и къ скудной русской природѣ, порою смѣняя ея незатѣйливыя картины величавыми картинами природы Кавказа, и къ обыкновеннымъ явленіямъ русскаго быта, порою переходя отъ нихъ къ чертамъ быта нашихъ восточныхъ инородцевъ, и къ выдающимся личностямъ нашего литературнаго пантеона, а подчасъ, наконецъ, и къ чарующимъ образамъ русской народной поэзіи. Однажды онъ даже придалъ своей музѣ причудливыя очертанія сказочной, замкнувшейся въ своемъ теремѣ *Царь-дѣвицы*, еще съ ребяческихъ лѣтъ ставшей для него предметомъ чуднаго бреда, а затѣмъ, наконецъ, какъ-то выглянувшей къ нему изъ окна и прижегшей ему ко лбу горячую печать своего поцѣлуя²⁾. А, вѣдь, посредницей между нею и поэтомъ вовсе не служила, повидимому, няня Полонскаго, обрисовавшаго намъ ее далеко не такъ, какъ когда-то Пушкинъ свою милую Арину Родионовну. *Старая няня* выставлена Полонскимъ безъ малѣйшаго, можно сказать, ореола, съ полнѣйшимъ жизненнымъ реализмомъ, не скрывающимъ всякихъ изъяновъ той отжившей уже среды, которая когда-то ее породила:

Ты дѣвчонкой крѣпостной
По дорогѣ столбовой

¹⁾ Тамъ же, стран. 318—321.

²⁾ Тамъ же, стран. 401 и 402.

Къ намъ съ обозомъ дотащилася;
Долго плакала, дичилася,
Не причесанная, не отесанная...

Вотъ какимъ образомъ обращается къ ней поэтъ, касаясь затѣмъ, уже прямо съ ироніей, и педагогическихъ ея изъяснень:

Славной няней ты была,	И, побитая не разъ,
Скоро въ роль свою вошла:	Ты любила, разсердясь,
Теребила меня за — воротъ	Потихоньку мнѣ оплачивать:
Да гулять водила за городъ....	Меня больно поколачивать,—
Съ горокъ скатывалась,	Я не жаловался,
Въ рождъ запрягивалась...	Отбояривался.

Поэтъ не скрываетъ отъ насъ и того, что она невольно посвящала его съ отроческихъ лѣтъ въ свои извѣстнаго рода пашни, сама же и каясь мальчику въ такихъ потайныхъ грѣхахъ. И все же его воспоминанія о ней сохраняютъ въ себѣ оттѣнокъ теплаго снисходительнаго состраданія, а говоря намъ о томъ, какъ онъ, послѣ тридцатилѣтней разлуки, снова увидался съ нею, уже старухою, онъ прямо даетъ намъ почувствовать, что тутъ-то, наконецъ, она въ самомъ дѣлѣ подѣйствовала на него воспитательно, — тѣми присущими ей духовными устоями народной жизни, отъ которыхъ онъ отшатнулся, подобно намъ всѣмъ, не замѣнивъ ихъ ничѣмъ инымъ, хотя сколько-нибудь устойчивымъ. Не даромъ же поэтъ говоритъ своей старой нянѣ:

И напомнила Христа	Посреди родного племени
Ты страдальцу безъ креста,	Прозябающему,
Гражданину, сыну времени,	Изнывающему ¹⁾ ...

Не заглядывая въ отдаленную глубь русскаго историческаго прошлаго, Полонскій раза два заглянулъ въ бытописанія нашихъ соплеменниковъ, какъ южныхъ, такъ и западныхъ. Покойный И. С. Тургеневъ, какъ мы сами слышали, относилъ прямо къ лучшимъ стихотвореніямъ Полонскаго его *Симеона, царя Бомарскаго*. Стихотвореніе это, дѣйствительно, отличается сжатою силой выраженія и глубокимъ пониманіемъ смысла юго-славянской исторіи — со стороны отношеній ея къ тому заживо разлагавшемуся въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ византійскому трупу, оживить котораго не смогло и само

¹⁾ Тамъ же, стр. 331—334.

христианство, со времени провозглашенія его государственною религіею лишившееся своей настоящей зиждительной силы. Никто иной, какъ грекъ, т.-е. грекъ-монахъ, очевидно, отчаявшійся, подобно всѣмъ вообще византійскимъ аскетамъ, въ возможности дѣятельной борьбы съ византійскою скверною, а потому и ударившійся, подобно имъ всѣмъ, въ аскетизмъ, останавливая коня, на которомъ возвращается царь Симеонъ послѣ своего свиданія съ императоромъ, пророчески укоряетъ болгарскаго царя въ томъ, что онъ далъ себя обойти, склонившись на лѣстивыя греческія рѣчи и удержавшись отъ нанесенія послѣдняго, рѣшительнаго удара Византіи.

„Что ты сдѣлалъ, царь великій, Царь славянскихъ христианъ, Уступилъ ты тронъ Востока Грозной власти мусульманъ!	Знай же, царь болгарскій, знай: Опустивъ свой мечъ, ты предалъ, Ты сгубилъ родной свой край! Вижу я потоки крови, Бездну ужасовъ и зла:
Ни союзы ни коварство, Византіи не спасутъ! Для сыновъ ея растлѣнныхъ Наступаетъ страшный судъ... Мечъ твой былъ въ десницѣ Бога;	Отъ Царьграда до Дуная Замолчать колокола, — И народъ твой будетъ, плѣнный, Цѣпи рабскія влечить, Надрываться, или — „братья, Помогите!“ голосить ¹⁾ .

Не менѣе удачно выбранъ и выполненъ нашимъ поэтомъ и сюжетъ изъ польской исторіи. Мы разумѣемъ его небольшую поэму *Казимиръ Великій*. Этотъ „хлопскій король“, какъ его называли, — самое, можетъ, быть, симпатичное лицо между всѣми польскими королями, вмѣстѣ же съ тѣмъ и самый добрый примѣръ для всѣхъ вообще представителей власти въ славянскомъ — и вообще-то, можно сказать, по преимуществу, „хлопскомъ“, т.-е. крестьянскомъ мірѣ. Казимиръ зазываетъ къ себѣ на пиръ народнаго пѣвца; но пѣвецъ поетъ ему только объ его походахъ да величаетъ его ненаглядную, по своей красотѣ, королеву. Не того совсѣмъ нужно народолюбивому королю, — ему нужно узнать отъ пѣвца народнаго всю правду о народной долѣ. И вотъ пѣвецъ рѣшается затянуть передъ королемъ такую именно пѣсню:

Ой, вы, холопы, ой, вы, Божьи люди!
Не враги трубятъ въ побѣдный рогъ,
По пустымъ полямъ шагаетъ голодъ
И, кого ни встрѣтитъ, — валитъ съ ногъ.

¹⁾ Тамъ же, стран. 312 и 313.

Продаетъ за пудъ муки корову,
Продаетъ послѣдняго конька...
Ой, не плачь, родная, по ребенкѣ! —
Грудь твоя давно безъ молока.
Ой, не плачь ты, хлопецъ, о дѣвчинѣ!
По веснѣ, авось, помрешь и ты...
Ужъ растутъ, — должно быть къ урожаю, —
На кладбищѣ новые кресты.

Казимиръ дождался того, къ чему онъ давно стремился,
и слѣдить за тѣмъ, что происходитъ вокругъ него.

Поднялись... дрожать... блѣднѣютъ гости.

„Что же вы не славите пѣвца!

Божья правда шла съ нимъ изъ народа —

И дошла до нашего лица...“

Говорить имъ король, договариваясь прямо до дѣла:

„Завтра же, въ подрывъ корысти вашей,

Я мои амбары отопру...

Вы... лжецы, глядите: „Я, король вашъ,

Кланяюсь за правду гуслыру“¹⁾.

Поэма — изъ дали временъ и написана въ чисто-эпическомъ топѣ, какъ, напримѣръ, и *Анчаръ* Пушкина; но если это, повидимому, столь спокойное, чисто-фактическое, такъ сказать, стихотвореніе великаго поэта служить лучшею уликой деспотизму, то и поэма Полонскаго — *живая проповѣдь* о томъ, что, дѣйствительно, сильная власть — это только власть, узнающая отъ самого народа всю правду.

Способность „перевоплощаться“ въ любую народность, отмѣченная Достоевскимъ у Пушкина, сказывается до извѣстной степени и у Полонскаго. Передъ нами возстаетъ подъ его перомъ и Индія съ ея губительнымъ для самой души удрученіемъ плоти²⁾, сродни которому приходится и аскетизмъ, доживающій свой вѣкъ въ принадлежащемъ уже эпохѣ новогреческой борьбы за независимость *Келіотъ*³⁾; и Египетъ, съ его олицетворенною истиной, никому не дающей узрѣть себя безъ покрова⁴⁾; и древняя Греція, съ ея глубоко-человѣчнымъ сказаніемъ о вдохновлявшемъ поэтовъ чутъ ли не всего

¹⁾ Тамъ же, стран. 365 и 366.

²⁾ *Факиръ*. Полн. собр. соч., т. I, стран. 24—31.

³⁾ *Передъ закрытою картиной*. Полн. собр. соч., т. I, стран. 195—201.

⁴⁾ Тамъ же. т. III.

міра, страждущемъ благодѣтелѣ человѣчества, Прометей¹⁾. Мы находимъ у Полонскаго и библейскіе — то чисто эпическіе, то полусимволическіе мотивы, и отзвуки бытовыхъ явленій и преданій мусульманскаго Востока, и сцены изъ временъ паденія язычества и распространенія христіанства. Эпоха разцвѣта среднихъ вѣковъ и начала новой исторіи почти не остановили на себѣ вниманія нашего поэта. За то онъ своеобразно откликнулся на грозныя явленія конца прошлаго вѣка въ своемъ стихотвореніи о *Шиньонѣ*, не дающемъ, повидимому, ни малѣйшаго повода предполагать въ немъ подобное содержаніе:

Въ вѣкъ осмнадцатый когда-то	Но народъ — Сампсонъ, Далилой
Мода пышная была,—	Позабытый, отстривъ
Честь и волосы народа	Гриву львиную, почувалъ
Въ жертву роскоши несла:	Сильь отчаянныхъ приливъ;
Короли, пажи, маркизы,	Надъ пирующими гнѣвно
Селадоны — старики,	Своды Франціи потресъ
И артисты и лакеи —	И отмстилъ чужеволосымъ
Всѣ носили парики.	За клочки своихъ волосъ ²⁾ .

Послѣдовавшее затѣмъ оскверненіе „свободы — богини чистой“ святотатственными руками тѣхъ „самодержавныхъ палачей“, которыхъ, устами А. Шенье, изобличилъ Пушкинъ, въ свою очередь, изобличено Полонскимъ въ его мистеріи: *У сатаны*, написанной по образцу извѣстныхъ байроновскихъ мистерій. Асмодей сообщаетъ въ ней:

... воплотилась въ богиню свобода,
И нарядилась въ красный колпакъ;
Я преподнесъ ей въ тавернѣ
Чашу вина,
И захмелѣла она;
Эту блудницу, какъ идола черни,
Я препоясалъ мечомъ,
Ей подчинилъ эшафоты,
Рядомъ поставилъ ее съ палачомъ,
И не одни идіоты
Вѣрятъ съ тѣхъ поръ,
Что тиранія народа
Есть молодая свобода,
Что ея символъ — топоръ³⁾.

¹⁾ Тамъ же, стран. 447—449.

²⁾ Тамъ же, стран. 349—352.

³⁾ Полн. собр. соч., т. II, стран. 300 и 30.

Иди, говорилъ онъ, иди вслѣдъ за мной,
И будетъ твой путь — путь свободный,
И скоро, среди мастерскихъ мы съ тобой
Сойдемся на тризнѣ народной.
На каждой верстѣ — будетъ общій дворецъ;
За трудъ — будетъ плата любовью;
И будетъ тогда отрицанью конецъ, —
Созрѣетъ — политое кровью.

Но что же съ ней сталося далѣе?

Ушла ли на Западъ она, въ край чужой,
Гдѣ жатва давно ужъ созрѣла,
И все, что не смято въ ней братской враждой,
Для новой вражды уцѣлѣло?
Ушла ли она въ наши степи, туда,
Гдѣ нѣтъ ни конца ни начала,
Гдѣ требуетъ время много труда
И вѣры иного закала?¹⁾

Не всѣ изъ тѣхъ женщинъ, которыми управляло чувство
неудовлетворенной правды, пошли по подобной опасной до-
рогѣ; другія направились по иной, повидимому, такой, что
не въ чемъ тутъ было и упрекнуть ихъ кому бы то ни было.
Но и эта дорога, такъ долго казавшаяся непроторенною для
женщины, вскорѣ представилась многимъ совсѣмъ для нея
и не подобающею. Поэтъ нашъ съ глубокимъ сочувствіемъ
отозвался объ одной изъ подобныхъ *Труженицъ*, вскорѣ такъ
легкомысленно и такъ нагло у насъ оклеветанныхъ.

Я помню блескъ и сухость глазъ
И блѣдность твоего чела,
Когда, съ дворовыми простясь,
Къ отцу проститься ты вошла...

Когда съ крыльца въ послѣдній
разъ
Сошла ты, словно торопясь.

...Если бъ даже въ этотъ мигъ
Предсталъ тебѣ самъ Донъ-
Жуанъ,

Чтобъ за улыбку устъ твоихъ
Отдать и сердце и карманъ,—
Ты бъ на него, какъ на шута
Взглянула, — такъ была свята,
Такъ дѣтски наслаждалась ты
Зарей свободы, такъ была
Полна возвышенной мечты
И цѣломудренно смѣла,
Такъ вѣрила, что жизнь и трудъ
Для всѣхъ рай Божій созда-
дутъ²⁾.

Было время, когда для тѣхъ юныхъ силъ, которыя жадно
доискивались новыхъ путей, неожиданно открылся особый ис-
ходъ, — и эти юныя силы восторженно за него ухватились.

¹⁾ Тамъ же, т. II, страл. 321—324.

²⁾ Полное собр. соч., т. II, стран. 5—13.

Мы такъ живо помнимъ эти лѣтніе мѣсяцы 1876 года, когда, заодно съ простыми русскими людьми, такъ и равными положить свою душу за своихъ отдаленныхъ братьевъ, просились туда же, съ горячими слезами на своихъ цвѣтушихъ щекахъ, образованные русскіе юноши и дѣвушки. Мы помнимъ, какъ глубоко сострадали они жертвамъ турецкаго варварства и какъ безстрашно отвѣчали на предостереженіе, что, вѣдь, и сами же они могутъ сдѣлаться жертвами. Мы помнимъ, какъ на откровенный вопросъ, предложенный нами кому-то изъ требовавшихъ тогда у Славянскаго общества средствъ, чтобы отправиться въ Сербію: „да не поѣдете ли вы на эти деньги не туда, а въ Женеву?“, мы получили короткій и ясный отвѣтъ отрицательнаго свойства, и знаемъ, что на самомъ дѣлѣ никто изъ отправившихся въ Сербію не измѣнилъ этому назначенію. Да, то была пора, воспользовавшись которою, можно было бы предотвратить многія печальныя явленія позднѣйшей поры. Овладѣть тогдашнимъ славянскимъ движеніемъ въ его міровомъ смыслѣ, понять, что славянское призваніе Россіи вызываетъ ее на смѣлое, ни передъ чѣмъ не останавливающееся рѣшеніе важнѣйшаго изъ европейскихъ вопросовъ, вопроса соціальнаго, — это значило призвать къ открытой и признанной дѣятельности самыя честныя, самыя самоотверженныя, самыя пылкія и надежныя юныя силы Россіи. Нашъ поэтъ отозвался на тогдашнее общественное движеніе въ пользу южныхъ славянъ цѣлымъ рядомъ горячихъ стихотвореній¹⁾, а отчасти и своею поэмою *Келотъ*²⁾, хотя она связана не съ славянскою, а съ греческою, т.-е. все же южно-христіанскою освободительною борьбой. Когда началась, наконецъ, не добровольческая только, но и открыто объявленная война Россіи съ Турціей, поэтъ нашъ написалъ свою прекрасную поэтическую варіацію на извѣстную тему Гете: *Kennst du das Land*.

Ты знаешь ли тотъ край, гдѣ высятся Балканы, —
Гнѣздо грабителей, орлятъ и Божьихъ грозъ,
Гдѣ солнца зной гноитъ зіяющія раны
И трупный запахъ слить съ благоуханьемъ розъ?...
Туда, туда, о милый мой,
Умчалась бы я слѣдомъ за тобой!

¹⁾ *Грезы, Вѣчный жидъ, Болгарка, Ренегатъ* (Полное собр. соч., т. I, стран. 402—414).

²⁾ Полное собр. соч., т. III.

Ты знаешь ли тотъ край, гдѣ страшное страданье
Встрѣчаетъ стономъ нашъ привычный къ лести слухъ,
Гдѣ женщина въ трудѣ найдетъ свое призванье
И закалитъ въ борьбѣ изнѣженный свой духъ!—

Въ тотъ страшный край, о милый мой,
Умчалась бы я слѣдомъ за тобой¹⁾!...

Поэтъ чутко подслушалъ этотъ голосъ самоотверженнаго женскаго сердца. Одну изъ тѣхъ, слухъ, которыхъ, казалось, дѣйствительно могъ бы привыкнуть, но не привыкъ, однакоже, къ лести, — ту самую, которой посвятилъ одно изъ своихъ „стихотвореній въ прозѣ“ и другъ Полонскаго, И. С. Тургеневъ, — покойную баронессу Вревскую, бросившую большой свѣтъ, чтобы сдѣлаться *настоящею* сестрой милосердія, воспѣлъ, какъ когда-то у насъ говорили, и нашъ поэтъ въ своемъ стихотвореніи *Подъ краснымъ крестомъ*²⁾.

Страшная, безпримѣрная, можетъ-быть, своими подвигами война увѣнчалась далеко не тѣмъ, что бы сколько-нибудь соотвѣтствовало размѣрамъ подобныхъ подвиговъ. Насъ, какъ и прежде, попутала наша дружба съ вѣковыми врагами славянскаго племени, — тѣми, кого, несмотря на постоянный съ ними союзъ официальной Россіи, такъ крѣпко не любятъ и самый чуждый всякой національной исключительности русскій человѣкъ. Извѣстно, до какой степени во время франко-прусской войны, несмотря на всѣ патріотическія преданія о совершенно ненужной, чуждой и малѣйшаго историческаго смысла, нашей отечественной войнѣ 1812 года, сочувствіе русскаго общества и даже русскаго народа было на сторонѣ Франціи. Когда война, смѣло можно сказать, нало чувству русскаго человѣка, окончилась полнымъ торжествомъ Германіи и слѣдствіемъ ея должна была оказаться военная диктатура въ Европѣ Германіи, поэтъ нашъ, когда-то такъ сочувственно привѣтствовавшій столѣтній *Юбилей Шиллера*³⁾, написалъ по адресу побѣдоноснаго германизма обличительное стихотвореніе: *Вложи свой мечъ*⁴⁾.

Твои трофеи — символы печали,
Тоски и ужасовъ. — „Довольно!“ восклицали.
Всѣ, для которыхъ идеаль⁵⁾;

¹⁾ *Туда!* Полное собр. соч., т. II, стр. 199.

²⁾ Тамъ же, стр. 427—430.

³⁾ Полное собр. соч., т. I, стр. 216—218.

⁴⁾ Т. III, стр. 345—347.

ствія, какіе создаютъ канву этой поэмы. Обыкновенно лирическія произведенія по объему очень скромны. И это вполне понятно. Сложность психической жизни въ смѣнѣ ея моментовъ не легко воплощается въ образѣ, который только извѣстными своими чертами отвѣчаетъ цѣлямъ поэта. Поэтому въ каждой лирической поэмѣ по необходимости являются или элементы аллегоріи или — для связи — отвлеченныя сужденія или мысли. И въ этой поэмѣ сквозь прозрачныя покровы образа иногда слишкомъ замѣтно проглядываетъ другая жизнь, сквозятъ типы и положенія не изъ міра насѣкомыхъ. Но въ основныхъ чертахъ фабула проходитъ на превосходномъ лирическомъ мотивѣ, въ которомъ отразилось пламенное и застѣнчивое сердце бѣднаго артиста. Онъ стоитъ въ центрѣ поэмы; капризная и кокетливая Сильфида, добродушный и грубоватый гуляка — только разнообразятъ основную мелодію, не возмущая ея элегическаго и граціозно-грустнаго характера.

Яснѣе всего тонъ поэмы сказался въ тѣхъ превосходныхъ картинахъ русскаго лѣта, въ которыхъ такъ слышны звуки стыдливой и глубокой тоски, затаенныхъ и непризнанныхъ страданій молодого маэстро.

Эось поднимала алыми перстами
Темные покровы ночи — и мѣстами
Въ небѣ загорались огненные пятна.
Жизнь, полупроснувшись, слабо и невнятно
Бормотала въ роцѣ, бормотала въ полѣ.
Поцѣлуй сливался съ ропотомъ неволи
Всюду, гдѣ лишь только брачныя оковы
Гименея были ржавы и не новы.
Поцѣлуй былъ звонче, ропотъ былъ нѣжнѣе,
Тамъ, гдѣ эти цѣпи были поновѣе.

Эти неясные звуки просыпающагося утра, эти поцѣлуи и ропотъ неволи красиво отбѣняютъ вдохновенныя думы влюбленнаго маэстро, который обдумываетъ виньетку къ злой эпиграммѣ, заказанной ему Сильфидой. Онъ еще вѣритъ въ свою звѣзду, надѣется тронуть сердце молодой феи своими стихами и музыкой.

Онъ, — скромный питомецъ поля, —

Поля, гдѣ лишь тучи подаютъ свой голосъ,
Колосится жатва и серпа ждетъ колосъ, —

страшная, быть может, никогда еще и неиспытанная „видавшимъ виды“ человѣческимъ родомъ, окончится торжествомъ не „германца-аристократа“, а „славянина-труженика и разночинца“. А что, ежели, при нашемъ неумѣнни-нехотѣнни понимать свои міровыя задачи, мы такъ и не возьмемъ въ толкъ, что надо и безъ чего нельзя, — и хозяйничанью въ цѣлой Европѣ нѣмецкаго капрала такъ и не видно будетъ конца? Какъ бы то ни было, но дѣйствительно только бредомъ *сумасшедшаго* остается то, о чемъ говорилъ Полонскій еще въ одномъ изъ своихъ старыхъ стихотвореній:

Народы поднялись и обнажили мечъ,
Но образумились и обнялись какъ братья.
Гербы и знамена — все надо было сжечь,
Чтобъ только снять печать проклятья.
Настало царствіе небесное, — свѣтло, —
Просторно... На землѣ нѣтъ ни одной столицы, —
Тирановъ также нѣтъ, — и все какъ сонъ прошло:
Рабы, оковы и темницы.
Науки царствуютъ, — видѣнья отошли,
Одни безумцы ими одержимы...
Чу!... слышите, — поютъ со всѣхъ концовъ земли
Невидимые херувимы¹⁾.

Было бы, разумѣется, странно, какъ бы горячо ни желали мы нашему поэту еще долгихъ лѣтъ, пожелать ему дожидаться той поры, когда все это перестанетъ быть только бредомъ сумасшедшаго. Поэтъ, конечно, не будетъ въ обидѣ, если мы пожелаемъ только, чтобы хотя немногіе изъ нашихъ юныхъ слушателей или читателей когда-нибудь дождались хотя бы малѣйшихъ признаковъ осуществленія — хотя бы только нѣкоторыхъ изъ такихъ сумасшедшихъ грѣзъ!

Ор. Миллеръ.

Основной мотивъ поэмы „Кузнечикъ-Музыкантъ“.

Всѣ особенности лирическаго таланта г. Полонскаго ясны и отчетливы всего оказались въ его лирической поэмѣ: „Кузнечикъ-Музыкантъ“. Нужна была необычная вѣра въ свои силы, чтобы попытаться воплотить въ образѣ такіа сложные отношенія и такіе переходы драматическаго дѣй-

¹⁾ Тамъ же, стран. 190 и 191.

ствія, какіе создаютъ канву этой поэмы. Обыкновенно лирическія произведенія по объему очень скромны. И это вполнѣ понятно. Сложность психической жизни въ смѣнѣ ея моментовъ не легко воплощается въ образѣ, который только извѣстными своими чертами отвѣчаетъ цѣлямъ поэта. Поэтому въ каждой лирической поэмѣ по необходимости являются или элементы аллегоріи или — для связи — отвлеченныя сужденія или мысли. И въ этой поэмѣ сквозь прозрачныя покровы образа иногда слишкомъ замѣтно проглядываетъ другая жизнь, сквозятъ типы и положенія не изъ міра насѣкомыхъ. Но въ основныхъ чертахъ фабула проходитъ на превосходномъ лирическомъ мотивѣ, въ которомъ отразилось пламенное и застѣнчивое сердце бѣднаго артиста. Онъ стоитъ въ центрѣ поэмы; капризная ѣ кокетливая Сильфида, добродушный и грубоватый гуляка — только разнообразять основную мелодію, не возмущая ея элегическаго и граціозно-грустнаго характера.

Яснѣе всего тонъ поэмы сказался въ тѣхъ превосходныхъ картинахъ русскаго лѣта, въ которыхъ такъ слышны звуки стыдливой и глубокой тоски, затаенныхъ и непризнанныхъ страданій молодого маэстро.

Эсѣ поднимала алыми перстами
Темныя покровы ночи — и мѣстами
Въ небѣ загорались огненные пятна.
Жизнь, полупроснувшись, слабо и невнятно
Бормотала въ рощѣ, бормотала въ полѣ.
Потѣлуй сливался съ ропотомъ неволи
Всюду, гдѣ лишь только брачныя оковы
Гименей были ржавы и не новы.
Потѣлуй былъ звонче, ропотъ былъ нѣжнѣе,
Тамъ, гдѣ эти цѣпи были поновѣе.

Эти неясныя звуки просыпающагося утра, эти потѣлуи и ропотъ неволи красиво отгѣняютъ вдохновенныя думы влюбленнаго маэстро, который обдумываетъ виньетку къ злой эпиграммѣ, заказанной ему Сильфидой. Онъ еще вѣритъ въ свою звѣзду, надѣется тронуть сердце молодой феи своими стихами и музыкой.

Онъ, — скромный питомецъ поля, —

Поля, гдѣ лишь тучи подаютъ свой голосъ,
Колосится жатва и серпа ждетъ колось, —

далъ въ своемъ сердцѣ мѣсто слишкомъ нарядной, слишкомъ гордой мечтѣ. Онъ не знаетъ жизни,—не знаетъ, что феи роскошныхъ цвѣтниковъ цѣнять не искусство и не артистовъ. И напрасно его поклонникъ и другъ-гуляка пробовалъ открыть ему глаза.

Солнце поднимаетъ .

Изъ-за сосенъ шаръ свой. Сильно припекаетъ
Жатву. Сладко пахнетъ въ воздухѣ гречихой,
По ржаному полю утренничекъ тихій,
Вѣтерокъ, гуляя, росу отрясаетъ,
Быть дождю или вѣтру — по росѣ гадаетъ,
И шумитъ соломой, словно безпокоюсь,
И ему колосья кланяются въ поясъ,
А лопухъ, высоко поднимая шишку
Съ вѣникомъ, изъ листьевъ сдѣлалъ точно крышку,
Такъ расположилъ ихъ, что подъ ихъ навѣсомъ,
Въ жаръ всегда прохладно молодымъ повѣсамъ;
Въ сей харчевнѣ много всякихъ насѣкомыхъ.

Въ этотъ жаркій день былъ тамъ и гуляка, который утромъ только даромъ тратилъ слова, стараясь образумить своего талантливаго друга. Въ этотъ жаркій день молодой маэстро искалъ свиданія съ своею Сильфидою и только мучилъ свое сердце, упиваясь милой болтовней легкомысленной кокетки. Ему улыбнулось счастье. Бабочка пригласила его къ себѣ и онъ не помнилъ себя отъ восторга.

Уходя, день ясный плакалъ за горою
И, роняя слезы, жаркою зарею
Изъ-за темной рощи охватилъ край нивы,
Дню вослѣдъ глядѣла ночь — и переливы
Свѣта отражались и, дрожа, блуждали
По ея ланитамъ. Тихо начинали
Выходить свѣтила, мѣсяца предтечи,
Передъ божьимъ трономъ зажигая свѣчи.
Далеко стемнѣло море жатвы зыбкой,
Грустная береза обнялася съ липкой.
Призатихла роща. Только дубъ шушукалъ,
Только гдѣ-то дятель крѣпкимъ носомъ тукалъ,
Только гдѣ-то струйки смутно лепетали...

Если бы бѣдный кузнецикъ умѣлъ понимать этотъ языкъ природы, онъ не сталъ бы съ такимъ увлеченіемъ дирижировать своимъ оркестромъ. Онъ бы понялъ, что этотъ вечеръ грозитъ ему новою бѣдою. Но онъ, ослѣпленный страстью,

весь отдался своей музѣ и любви, и не слышалъ, какъ за его спиною передавались злыя свѣтскія сплетни, — не зналъ, съ какимъ оскорбительнымъ презрѣніемъ говорила царица бала объ его дерзкихъ надеждахъ, какъ ловкіе льстецы увѣряли Сильфиду, что — заѣзжій соловей именно ей даетъ свою серенаду. Все, — какъ предсказывалъ грустный вечеръ, — окончилось драмой. Иностранецъ артистъ погубилъ легкомысленную фею. Одинокимъ трупомъ лежала бабочка „подъ корнями красной полевой гвоздики“. Вѣрный рыцарь своей Сильфиды, кузничекъ-музыкантъ, вмѣстѣ съ своимъ другомъ-гулякой отправился на поиски. Они нашли молодую фею положили ее на носилки и понесли домой, „подъ липки“.

Предразсвѣтный вѣтеръ, невидимкой вѣя,
Думалъ, что воскреснетъ молодая фея,
Шевелилъ у мертвой легкими крылами,
И дышалъ въ лицо ей влажными устами,
И потомъ далекимъ проносился стономъ,
И по всѣмъ дорожкамъ отдавался звономъ,
Чашечки лиловыхъ цвѣтиковъ качая.
И роса, какъ слезы, холодно сверкая,
Медленно стекала съ усиковъ цвѣтущей
Повилики, робко по стволамъ ползущей;
И благоухали тысячи растений;
И сквозъ дымъ деревья въ видѣ привидѣній
Головой кивали. Тихо раздвигая
Облака, встала зорька золотая.
И когда все стало ясно отъ улыбки
Пламенной богини, принесли подъ липки
Мертвую Сильфиду; — тамъ ее сложили,
Вырыли могилу и похоронили.
И, когда надъ этой новою могилой
Думалъ злую думу мой артистъ унылый,
Въ жаркихъ искрахъ солнца за лѣсной куртиной
Звучно раздавался рокотъ соловьиный.

Этотъ соловьиный рокотъ насмѣшливо и злобно отдавался въ сердцѣ унылаго маэстро. И что могло утѣшить его въ этой утратѣ? И мертвая была хороша Сильфида; вся природа — и вѣтеръ, и роса, и золотая зорька, — казалось, оплакивали ея смерть; красивы и граціозны были всѣ подробности ея похоронъ. Но развѣ это утѣшеніе?

На томъ колосистомъ полѣ, гдѣ любилъ и страдалъ кузничекъ, — въ дуллѣ, подъ липками, гдѣ проводила лѣто изба-

лованная Сильфида, — собиралось такое же пестрое и многолюдное общество, какъ въ любомъ городѣ или модномъ курортѣ. Вотъ мошка, которая грозитъ съ помощью науки умертвить звуки, созданные артистомъ; навозный жукъ „смуглый, толстый и рогатый, уши отъ простуды затыкая ватой“, слушаетъ новое произведеніе композитора и, ничего не понявъ толкомъ, рассказываетъ черной козявкѣ, которая весь день вертится и бьетъ баклуши, что „невращенъ молодой маэстро“; божья коровка ноетъ отъ восторга и падаетъ въ обморокъ; муравей, очень ловкій малый со шнуровкою подъ моднымъ жилетомъ, даетъ ей нюхать спиртъ въ маленькомъ флаконѣ; ночныя бабочки, „въ сѣренъкихъ бурнусяхъ, въ бѣлыхъ перелинкахъ и гранатныхъ бусахъ“, приходятъ въ негодованье, „раскусивши новой пѣсни содержанье“. Вотъ аристократическіе черви, которымъ довольно замѣтить бантикъ или узелъ галстука, чтобъ на остальное „не глядѣть и въ гордомъ пребывать покоѣ“; вотъ женихъ кузины Сильфиды, „который, безъ разбора, запахъ старыхъ сосенъ смѣшивалъ съ весеннимъ запахомъ фіалокъ, уважалъ шиповникъ и боялся галокъ“; вотъ смирный таракашекъ, круглый, какъ булка, который готовъ проводить господъ, если они ему дадутъ „на водку“; вотъ простоватый свѣтлякъ съ разбитымъ фонаремъ, который показываетъ дорогу въ лѣсъ; вотъ лѣсная оса, которая зло и ѣдко распускаетъ сплетни про вѣтряную Сильфиду. Словомъ, тѣ же типы, которыхъ сколько угодно въ любомъ обществѣ, тѣ же глупые и смѣшные люди, тѣ же паучки, пренаивные съ виду, и таракашки, которые такъ любятъ получать „на водку“. И здѣсь глупость еще забавнѣе, а мелочность еще смѣшнѣе, потому что цѣль эгоизма, по короткой мѣркѣ царства насѣкомыхъ, даже ничтожнѣе, а общественныя традиціи даже хуже, чѣмъ у людей.

Но все мелочное и смѣшное въ этомъ маленькомъ мірѣ безслѣдно исчезаетъ, какъ только показывается картина природы, въ голосахъ и звукахъ которой такъ трогательно и грустно звучитъ одна жалобная нотка, — горе отвергнутой любви и тоска разбитыхъ надеждъ кузнечика. И эта меланхолически-задумчивая, почти строгая нотка проходитъ сквозъ всю мелодію, уничтожая тривиальные и пошлые тоны дѣйствительности. Этотъ основной лирический мотивъ, объединяя въ себѣ всѣ элементы поэмы, граціозно и нѣжно звучитъ

своими послѣдними нотами надъ могилой бѣдной феи, пока не начинаютъ раздаваться надъ ней холодныя и блестящія рулады соловьиного рокоta.

Соколовъ.

Содержаніе и идея поэмы „Собаки“.

Произведенія автора „Кузнечика-музыканта“ и множества другихъ извѣстныхъ всей читающей Россіи поэмъ и стихотвореній, а также и прозаическихъ повѣстей и разсказовъ, — произведенія во всякомъ случаѣ крайне оригинальнаго и широкаго по замыслу, безспорно крупнаго и художественнаго, мы считаемъ себя въ правѣ, опираясь на эту напередъ дѣлаемую нами оговорку, начать съ указанія на недостатки. Указаніе это само по себѣ не обидно, ибо недостатки, какъ извѣстно, присущи всему, и абсолютнымъ совершенствомъ не обладаютъ даже и величайшія произведенія творчества человѣческаго. Можетъ быть, для оправданія этого вѣчнаго закона историческая судьба и сохранила для насъ и Аполлона Бельведерскаго и Венеру Милосскую предварительно исказивъ ихъ неполнотою. Кромѣ того, недостатки, о которомъ хотимъ говорить мы, въ значительной степени объясняется самимъ предметомъ, самимъ содержаніемъ юмористической поэмы г. Полонскаго и притомъ онъ приущъ ей въ значительно меньшей мѣрѣ, чѣмъ произведеніямъ большинства современныхъ писателей.

Недостатокъ, о которомъ говоримъ мы, есть недостатокъ единства. Обширный матеріалъ, составляющій содержаніе поэмы, представляется для насъ недостаточно объединеннымъ, а потому и самая поэма представляется страдающей нѣкоторымъ недостаткомъ художественной цѣлостности, а вслѣдствіе того и полноты, законченности, столь необходимыхъ для всякаго художественнаго произведенія. Невольно чувствуешь, что передъ нами проносится рядъ раздѣленныхъ временемъ, а иногда и пространствомъ эпизодовъ, схваченныхъ мѣтко и изображенныхъ опытнымъ перомъ, развертываются болѣе или менѣе послѣдовательно страницы исторической лѣтописи, маня читающаго къ объединенію ихъ въ умѣ своемъ, но не дѣйствуя еще на воображеніе читателя художественною цѣлостностью, законченностью и полнотою. Правда, мѣстомъ дѣйствія поэмы является псарня, а гс-

роями — собаки. Кто же станет отрицать, что уловить единство въ многолѣтнихъ жизненныхъ перипетіяхъ разнородной и разношерстной стаи — дѣло безспорно нелегкое, если даже и не совсѣмъ невозможное. Не устраняется трудность эта и сознаніемъ, что въ собакахъ изображаются люди, въ псарнѣ — общество, а въ перипетіяхъ исторической жизни этой псарни — исторія русскаго общества за послѣднія пятьдесятъ или семьдесятъ лѣтъ, съ особенною остановкою на послѣднемъ двадцатипятилѣтіи или тридцатилѣтіи; но именно современное-то русское общество или, точнѣе, историческая жизнь этого общества и не представляетъ сама собою готоваго уже фокуса, въ которомъ сосредоточивались бы и объединялись лучи отдѣльныхъ и разрозненныхъ явленій. Связь явленій невольно чувствуется, просится, такъ сказать, въ душу, но не бросается въ глаза сама собою, не выступаетъ сама собою наружу и уловляется для объективированія трудно. Недостатокъ цѣлостности единства русской жизни сказывается на всякомъ почти современномъ ея изображеніи, даже и тогда, когда изображается сравнительно меньшій промежутокъ времени или когда даже, безъ всякаго намека на преемство эпохъ и типовъ, изображается одна только настоящая современность. Эпизоды, явленія, типы, характеры изображаются вѣрно, тонко, изящно и по временамъ талантливо, но не иначе, какъ въ состояніи нѣкой хаотической разрозненности. Явленія живьемъ вырываются изъ дѣйствительности, а по временамъ и изображаются со всею жизненностью, то-есть, такъ сказать, тоже живьемъ, но гармонія, единство, цѣлостность картины не достигается, такъ какъ реальность сама по себѣ ни гармоніи ни единства не представляетъ, а фокусъ остается незримымъ и необъятнымъ для глаза художника-наблюдателя. Стоящіе ниже посредственности художники довольствуются тѣмъ, что придумываютъ, сочиняютъ фокусъ и нанизываютъ явленія, тенденціозно подчиняя ихъ своей точкѣ зрѣнія, то-есть становятся на любомъ пригоркѣ или муравьиной кочкѣ, объявляя кочку эту непоколебимою, а затѣмъ ловятъ и подбираютъ явленія съ непогрѣшимой высоты ея, руководствуясь ультра-буржуазнымъ принципомъ:— что намъ видно, то и дѣйствительно, а чего мы не видимъ, того и доискиваться не слѣдъ. Болѣе требовательные художники,— къ каковымъ несомнѣнно принад-

или менѣе разрозненные и не всегда гармонирующіе между собою эпизоды, вмѣсто „Собакаіады“ появились „Собаки“, — что относится не столько къ винѣ самого автора, сколько является послѣдствіемъ, съ одной стороны, строя или раз- строя всей современной жизни, а съ другой стороны, и на- строения или точнѣе неустройства всего современнаго твор- чества, зависящаго точно также отъ бытовыхъ и жизненныхъ причинъ.

Расскажемъ же въ нѣсколькихъ словахъ содержаніе юмо- ристической поэмы, какъ мы понимаемъ его.

Была прославленная, побѣдоносная стая, заявившая о себѣ на многихъ охотахъ. Но дѣятельной жизни славной стаи положенъ былъ предѣлъ своевольною, капризною Мир- зихой, молодою супругой Мирзы, владѣльца, а въ свое время и предводителя стаи. Вышло слѣдующее господское повелѣніе:

Такъ какъ лай собакій только насъ въ смущенье
Вводитъ понапрасну, — волкодавъ же воетъ
Ночью такъ, что можетъ нервы намъ разстроить,
Мы повелѣваемъ сторожей удвоить
И загнать на псарню всѣхъ собакъ...

И собакъ, разумѣется, заперли. Съ этого-то времени на- чинается для псарни, оторванной отъ всякаго дѣла, то, что называется на языкѣ человѣческомъ періодомъ застоя и не- подвижности. Вредныя послѣдствія этого новаго порядка вещей или, такъ-сказать, режима быстро начинаютъ сказываться. Сопутствующій застою періодъ называется г. Полон- скій „временемъ романтизма“. Сначала является только тоска о прошломъ, томленіе вынужденнымъ бездѣйствіемъ. Сначала, весною думалось собакамъ, что вотъ-вотъ на сворѣ

Поведутъ насъ въ дерби просѣкой лѣсною,
Что подъ звуки рога темный лѣсъ проснется,
Что въ хвостѣ у волка гончихъ лай заляется,
И что зайка сѣрый — уши на макушкѣ —
Выскочивъ дастъ тягу вдоль лѣсной опушки, —
А ему въ догонку, злы, легки и смѣлы,
Точно тетивую спущенныя стрѣлы,
Полетятъ борзые, — думалъ, что не даромъ
Въ носъ намъ сквозь ограду бьетъ душистымъ паромъ;
Что не даромъ гдѣ-то тучка гроыхнула,
Дожличкомъ запахло, ласточка юркнула,
Раздражая воздухъ крикомъ точно плачемъ...

родѣ Термоселовыхъ и компаніи. Въ этомъ усматривали тенденціозность, преступное стремленіе, отсталый взглядъ на вещи и т. п. Но посмотрите, какъ изображается вся эта Базаровская родня сочувствующими беллетристами: у однихъ свѣтлые герои являются во что бы то ни стало картонными людишками, хотя бы самыхъ преувеличенныхъ размѣровъ; у другихъ какъ, напримѣръ, у г. Эргеля — смѣшными до нельзя карикатурами, невольно побуждающими мало-мальски непредубѣжденного читателя сосредоточивать свое вниманіе, а иногда и симпатію на отрицательныхъ, темныхъ типахъ. Невольно припоминаешь, что эти же якобы свѣтлые типы, при отрицательномъ отношеніи къ нимъ Лѣскова Стебничаго, все-таки выходили сравнительно менѣе карикатурными.

Но если жизнь современная является зачастую карикатурой въ современномъ ея изображеніи, то отсюда вовсе не слѣдуетъ еще, чтобы жизнь, сама по себѣ, лишена была карикатурности, сама по себѣ не являлась карикатуристомъ и сатирикомъ. Эту-то карикатурную сторону нашей жизни и изображаетъ намъ Полонскій въ своей новой поэмѣ. Взмахи и удары бича его сатиры мѣткі и беспощадны. Но сквозь нихъ вы слышите иногда глубокіе и скорбные вздохи поэта-человѣка, брата людей, сына своей родины, — и это вноситъ въ общую картину какой-то смягчающій тонъ, какую-то примиряющую нотку. Васъ это трогаетъ и какъ бы нѣсколько успокаиваетъ...

Что касается до недостатка цѣлостности и единства, то онъ, кажется, сознается отчасти и самимъ авторомъ. Это видно, между прочимъ, изъ поэтического предисловія, написаннаго уже очевидно, по окончаніи самой поэмы.

Ахъ! Собакиаду я бъ желалъ состряпать,
Но коли не въ модѣ даже Иліада,
Можетъ провалиться и Собакиада.
Нѣтъ ужъ лучше все, что память продиктуетъ,
То и напишу я.

Явно, что авторъ самъ созналъ и почувствовалъ невозможность написать „Собакиаду“, то-есть схватить въ одно цѣлое и творчески объединить всѣ моменты и всѣ условія того человѣческаго, общественнаго движенія, героевъ и двигателей котораго изображаетъ онъ подъ видомъ собакъ. *Вмѣсто* стройной, цѣлостной картины явились только болѣе

или менѣе разрозненные и не всегда гармонирующіе между собою эпизоды, вмѣсто „Собакаіады“ появились „Собаки“, — что относится не столько къ винѣ самого автора, сколько является послѣдствіемъ, съ одной стороны, строя или раз строя всей современной жизни, а съ другой стороны, и на строения или точнѣе неустройства всего современнаго творчества, зависящаго точно также отъ бытовыхъ и жизненныхъ причинъ.

Разскажемъ же въ нѣсколькихъ словахъ содержаніе юмористической поэмы, какъ мы понимаемъ его.

Была прославленная, побѣдоносная стая, заявившая о себѣ на многихъ охотахъ. Но дѣятельной жизни славной стаи положенъ былъ предѣлъ своевольною, капризною Мирзихой, молодою супругой Мирзы, владѣльца, а въ свое время и предводителя стаи. Вышло слѣдующее господское повелѣніе:

Такъ какъ лай собачій только насъ въ смущеніе
Вводитъ понапрасну, — волкодавъ же воетъ
Ночью такъ, что можетъ нервы намъ разстроить,
Мы повелѣваемъ сторожей удвоить
И загнать на псарню всѣхъ собакъ...

И собакъ, разумѣется, заперли. Съ этого-то времени начинается для псарни, оторванной отъ всякаго дѣла, то, что называется на языкѣ человѣческомъ періодомъ застоя и неподвижности. Вредныя послѣдствія этого новаго порядка вещей или, такъ-сказать, режима быстро начинаютъ сказываться. Сопутствующій застою періодъ называется г. Полонскій „временемъ романтизма“. Сначала является только тоска о прошломъ, томленіе вынужденнымъ бездѣйствіемъ. Сначала, весною думалось собакамъ, что вотъ-вотъ на сворѣ

Поведутъ насъ въ дерби просѣкой лѣсною,
Что подъ звуки рога темный лѣсъ проснется,
Что въ хвостѣ у волка гончихъ лай зальется,
И что зайка сѣрый — уши на макушкѣ —
Выскочивъ дастъ тягу вдоль лѣсной опушки, —
А ему въ догонку, злы, легки и смѣлы,
Точно тетивую спущенныя стрѣлы,
Полетятъ борзые, — думалъ, что не даромъ
Въ носъ намъ сквозь ограду бьетъ душистымъ паромъ;
Что не даромъ гдѣ-то тучка громыхнула,
Дождичкомъ запахло, ласточка юркнула,
Раздражая воздухъ крикомъ точно плачемъ...

Думалось собакамъ, что всѣ эти отрадные симптомы пробужденія заставятъ проснуться и псарей и барина, что баринъ вновь возвратитъ собакамъ былую свободную жизнь ихъ:

И себя прославить и собакъ прославить.

Но симптомы пробужденія оказывались обманчивыми. Томительное бездѣйствіе продолжалось. Жизнь поневолѣ уходила, какъ говорится, внутрь. Недовольство положеніемъ вызывало всяческіе вопросы и смутные толки, такъ что и псарямъ становилось уже мало-мальски извѣстнымъ,

Что уже межъ нами кой-гдѣ бродятъ толки,
Толки, что собаки, дескать, тѣ же волки,
Что имъ также можно рыскать гдѣ угодно,
И что запираť ихъ врядъ ли благородно.

Но если либеральная мысль уже пробудилась и начала уже смутно и неопредѣленно высказываться, то все же періодъ этотъ былъ еще только періодомъ романтизма, то-есть неяснаго и неопредѣленнаго еще томленія, порыва и своего рода *Sehnsucht*. Едва появились только знакомые уже обманчивые симптомы, какъ пробуждались надежды и начинало трепетать сердце собачье.

Грохотаньемъ грома, вмѣстѣ съ синей тучей
Уносясь, мечты ихъ въ степи уносило;
Пѣнье ли кукушки такъ расшевелило
Ихъ собачье сердце, только въ лѣсъ дремучій
На просторъ тянуть ихъ стало такъ, что ныли
Ихъ собачьи души,— и собаки выли,
Трогательно выли, но не такъ, чтобъ очень...

Этотъ переходъ романтизма, томительнаго недовольства намѣчалъ уже задачи будущаго либерализма, хотя и оставался до конца самому себѣ вѣрнымъ, то-есть, не выходилъ изъ туманной неопредѣленности.

Такъ лучи свободы, въ розовую призму
Преломляясь, явно насъ вели къ лиризму:
И стихи плодились — плохо понимались,
Но когда читались, морды прояснялись,
И не только гончихъ, даже водолаза
Иногда плѣняла пламенная фраза,
Даже *амки* (то-есть наши дамы) то же,
Чуя духъ свободы, волновались лежа...

Этому періоду туманнаго романтизма остается до конца вѣрной собака-поэтъ, отъ имени которой ведется разсказъ. Первое появленіе *либерализма*, вѣроятно, должно было составлять содержаніе отсутствующихъ въ поэмѣ и якобы затерянныхъ авторомъ главъ (IV и V). Во вступленіи г. Полонскій говоритъ, что эта утрата не поэтическая шутка, что слова эти дѣйствительно были написаны имъ и дѣйствительно же потеряны. Въ примѣчаніи упоминается, между прочимъ, что въ этихъ главахъ „подробно говорилось о томъ, какъ собаки прорыли себѣ лазейку въ лѣсъ“. Эта лазейка была своего рода окномъ въ Европу...

Съ шестой главы общіе принципы либерализма оказываются уже намѣченными, но въ той же главѣ описываются и печальные исходы одиночныхъ порывовъ къ свободѣ — описываются на примѣрахъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ собакъ. При постепенномъ образованіи въ псарнѣ *либеральной* партіи не оказывается недостатка и въ протестахъ. Протестуетъ космополитъ-романтикъ водолазъ Магъ, который прежде всего и заронилъ въ псарнѣ широкую идею *зепрчества*, ни въ какомъ толкованіи не нуждающуюся, но остается чистымъ идеалистомъ и не мечтаетъ о примѣненіи идеи къ какому бы то ни было дѣлу. Протестуетъ и *псарнофиль* Вопило, доказывающій, что слѣдуетъ уважать преданія псарни, довольствоваться ими и чуждаться всякихъ нововведеній. Рѣчи этого *псарнофила* переданы очень остроумно, но, къ сожалѣнію, въ нихъ, какъ и всегда, повторяется только то, что искони принято шаблонно приписывать тому направленію, представителемъ котораго является на псарнѣ Вопило. Разумѣется, рѣчи его, какъ и всегда и вездѣ, заглушаются только собачьимъ лаемъ, гуломъ собачьихъ голосовъ. Не обращаютъ вниманія и на слова космополита-идеалиста, стараго романтика Мага. На сцену выступаетъ партія дѣла, подстрекаемая и предводительствуемая волкодавомъ Трезвонкою. Обсуждается и опредѣляется цѣль на лѣсномъ засѣданіи — засѣданіи, разумѣется, тайномъ, на которое приглашены только немногіе члены. Вотъ какъ обрисовываетъ цѣль эту либераль Трезвонка.

„Господа! онъ началъ,— для какой вы цѣли
Собрались подъ своды этой старой ели?
Господа! сначала цѣль мнѣ укажите,

А потомъ и лайте. Вы мнѣ говорите:
Цѣль извѣстна — это самосохраненіе,
Благосостояніе, миръ и просвѣщеніе.

Пока еще чисто романтическая неопредѣленность. Но Трезвонка высказывается и далѣе:

Наша цѣль — одна, чтобъ поровну достало
Всѣмъ ѣды и поила. Стало-быть сначала
Разберемъ, кто вправѣ утолять свой голодь...
Утолять свой голодь вправѣ тотъ, кто молодъ,
Кто не заразился старымъ предразсудкомъ,
Что живетъ онъ въ мірѣ не однимъ желудкомъ,
Кто рискуетъ жизнью, кто своей породы
Не падить во имя братства и свободы;
Остальные — лежни — въ праздности и лѣни
Дни свои проводятъ на измятомъ снѣгѣ
Своего подвала. Если ты не трусишь,
Если ты всѣмъ лежнямъ горло перекусишь,

то... то начнутся истинно блаженные для всѣхъ времена. Но если такъ цинично, прямо и эгоистично провозглашаетъ программу Трезвонка, ставшій во главѣ всего движенія и сразу же признанный всѣми за генія, то отнюдь не совсѣмъ такъ понимаютъ его подчиняющіеся ему слѣпо поклонники. Зароненная Магомъ великая идея звѣрчества еще живетъ въ нихъ и руководить ихъ побужденіями, а потому всѣ стремленія ихъ имѣютъ, такъ сказать, какъ говорится теперь, альтруистическій пошибъ или, по крайней мѣрѣ, альтруистическую окраску. Заходитъ прежде всего рѣчь о жизни своимъ трудомъ, о самопомощи, о всеобщемъ благѣ... Это-то все вдохновляетъ собачьи мозги и въ особенности приводитъ въ восторгъ легкомысленныхъ „амокъ“. Описываются удачные и неудачные подвиги такого рода. Между прочимъ, возникаетъ вопросъ о томъ, не послѣдовать ли примѣру пѣтуховъ и не завести ли многобрачія... Амки заявляютъ „о своихъ правахъ на такую же свободу“...

Не трудно замѣтить, что въ этомъ положеніи либерализмъ еще столь же безпрограмменъ, какъ и романтизмъ, его предшественникъ. Является и программа. Но эта программа не составляетъ продукта псарни, не вырабатывается ею и въ ней. Она создается страхомъ сытыхъ и довольныхъ за свое благосостояніе. Ее провозглашаетъ прежде всего аристократъ *Валетка* — барская собака, спящая на коврахъ и всегда

мужъ ея, командиръ псарни, солдатикъ замѣтили вольное поведеніе нѣкоторыхъ собакъ, увидали продѣланную лазейку и за подвиги Трезвонки и его несчастныхъ товарищей обрушилось гоненіе на всю ни чѣмъ неповинную псарню. Собачьей свободѣ снова положенъ былъ предѣлъ. Псарню снова заколотили, задѣлали и замуравили, уничтожили въ ней всѣ ходы и выходы. Трезвонка, возвратившійся тогда уже, когда лазейки были забаррикадированы частоколами, оказался временнымъ изгнанникомъ изъ родной псарни. Но онъ успѣлъ, однако, снова пробраться въ нее, можетъ-быть, и для новыхъ подвиговъ. А тѣмъ временемъ въ псарнѣ повѣяло новымъ духомъ. Проникла вѣсть, что въ виду ожидаемаго принца китайскаго, принца 'Стручка, родственника царя Гороха, предпримется снова охота и въ псарнѣ совершатся перемѣны. Вѣсть эту объявилъ аристократъ Валетка. Въ псарнѣ замѣтно наступали новые порядки. Собакъ начали прикармливать.

Наконецъ, на псарнѣ стали появляться
Господа и явно всѣмъ распоряжаться.
Мы сперва на крикъ ихъ лаемъ отзыватьсь,
Но потомъ притихли, съ духомъ ихъ осмѣясь,
Шли на зовъ; они же ласково трепали,
Щупали намъ ребра и сортировали,
Споря и о чѣмъ-то словно безпокоясь.

Собачья натура начала поддаваться. Но сортировавшій и ревизовавшій барченоекъ большинствомъ собакъ остался недоволенъ,

Только для Трезвона у него нашелся
Комплиментъ: „Отличный волкодавъ!“ и грубый
Демократъ Трезвонка вдругъ оскалилъ зубы
И такъ благодунно глянулъ изъ-подлобья,
Точно молвилъ: — вѣрно, ваше благородье,
Мы еще годимся!

Какъ собственно и на что собственно пригодился вышедшій цѣлымъ изъ воды виновникъ всей передраги Трезвонъ, такъ и остается для насъ невыясненнымъ. Но когда по приѣздѣ принца Стручка начались сборы на охоту и полное проявленіе собачьей подлости, когда уже опасно было заикнуться, что не все прекрасно, какъ уже наступилъ конецъ начала и „начали мы вовсе жить безъ идеала“, Трезвонъ-

признанъ былъ гениемъ и въ качествѣ своего рода диктатора, пользуясь чуть ли не диктаторскою властью, приступилъ къ осуществленію подслушанной программы. Обаяніе на избранныхъ имъ членовъ псарни произвелъ онъ громадное. Собачья стая съ восторгомъ рѣшаетъ приступить къ пропагандѣ между дикими звѣрями. Ораторами и вожаками движенія являются Трезвонъ и большая бродячая собака Ахиллъ. Но когда надо было выбрать агентовъ на опасные посты пословъ къ медвѣдямъ, волкамъ и лисицамъ, сильные ступшевываются. Диктаторъ Трезвонъ ловко отклоняетъ отъ себя эту честь. Посылаютъ къ медвѣдямъ пылкую молодую амку Сайгу, фанатично берущуюся за это дѣло; впрочемъ, до берлоги посылаютъ проводить ее знающаго мѣсто бродягу Ахилла. Къ волкамъ волей-неволей направляютъ дворягу Барбоса, а къ лисицамъ командировается „представитель плебеизма“, млѣющій передъ гениемъ Трезвонки — Орелка. Трезвонъ принимаетъ на себя только руководство движеніемъ и... пропаганду между зайцами. Исходъ пропаганды, конечно, не трудно предвидѣть, точно такъ же, какъ и судьбу самихъ пропагандистовъ. Трезвонка только слопалъ перваго попавшагося ему зайчика; сильный Ахиллъ убѣжалъ съ дороги; Барбоса съѣли волки; Сайгу сперва медвѣдь изранилъ, а потомъ на деревнѣ приняли за бѣшеную и повѣсили. Орелка остался цѣлъ, но зато вполне одураченъ и проведенъ былъ лисицами. Поэтъ-собака, описывая смерть Сайги, дѣлаетъ ей такую художественно-мѣткую характеристику:

Никого не знали, кто бъ тянулъ такъ лямку,
Какъ она тянула новую идею,
Ту, что ей надѣли, какъ хомутъ на шею.
Вся она служила дѣлу безотчетно,
Но прямолинейно и безповоротно.
Духъ ея тревожный и неугомонный
Носится доселѣ надо мною въ сонной
Атмосферѣ ночи мрачной и осенней...

Каковъ же былъ исходъ всего этого движенія, изъ котораго вполне сухимъ, то-есть вполне цѣлымъ и сохраннымъ вышелъ только Трезвонка, бывший его запѣвалою, руководителемъ и чуть ли не временнымъ диктаторомъ? Проведенныя глупымъ Орелкою, лисицы учинили опустошеніе въ прилежавшемъ къ псарнѣ птичникѣ. Ключница Арина и

что послѣ смерти онъ въ силу метаморфозы сдѣлается чело-
вѣкомъ.

Значить

На землѣ такимъ же буду плотояднымъ
Звѣремъ?

въ ужасѣ вопрошаетъ собака-идеалистъ. Но духъ объясняетъ,
что всѣ люди, окружавшіе псарню и упоминавшіеся въ
поэмѣ: и Мирза, и Мирзиха, и гости, и халуи, и принцъ-
охотникъ — только звѣри, носящіе обличіе челоѣка, что
великія идеи, высокія стремленія могутъ быть осуществлены
только челоѣкомъ.

Вѣчность

Въ очередь за звѣремъ ставить челоѣчность.
Людамъ лишь дается Богомъ и природой
То, что вы зовете братствомъ и свободой.

Но челоѣкъ именно челоѣчности-то въ себѣ и не осу-
ществляетъ; ее-то именно оставляетъ онъ въ пренебреженіи
и не вырабатываетъ въ себѣ.

Нѣтъ скачковъ у жизни, и перерождаясь
Въ челоѣка звѣри тѣмъ же остаются,
Чѣмъ и были: только съ гениемъ встрѣчаясь,
Медленно идеямъ его поддаются,
Или слѣпо вѣрятъ, или за умъ берутся.
Только тотъ, кто людямъ безкорыстно служить,
Звѣря одолѣетъ и обезоружитъ,
Но такихъ немного.

Но и подвигъ челоѣчности, при настоящихъ условіяхъ,
невыносимо еще труденъ.

Участь челоѣка

Чистаго быть жертвой звѣрческаго вѣка.
Но гряди, счастливецъ! На словахъ, на дѣлѣ
Будь сотрудникъ Божій и въ согбенномъ тѣлѣ.
Силу вѣчной правды и любви постигнуть
Только люди, только вѣра и усилія
Пробиваться къ свѣту придадутъ имъ крылья
Быть вездѣ со всѣми; лишь они достигнутъ
Цѣли формамъ жизни дать то совершенство,
Что создать народамъ высшее блаженство
Знать, любить и вѣрить и искать дорогу
Въ безднѣ безконечныхъ переходовъ къ Богу.

Итакъ, изъ всего изображенія собачьей, виноватъ, чело-
ѣческой комедіи вытекаетъ высокое поученіе *быть людьми*.

Протей сумѣлъ очевидно выдвинуться и сдѣлать себя замѣтнымъ, хотя далеко не на прежнемъ поприщѣ.

....Я остался съ нашимъ Водолазомъ
Не одинъ: вотъ вижу, мнѣ мигаетъ глазомъ
Марсъ, хромою дѣтина.

— Видѣлъ?

— Что такое?

Волкодава видѣлъ?

— Ахъ, оставь въ покоѣ!

Мнѣ какое дѣло: не видалъ.

Пожалуй,

Тоже отличится: на всѣ руки малый!

На этомъ и заканчивается, собственно говоря, грустная для многихъ и во многихъ отношеніяхъ, но выгодная для затѣявшаго ее и руководившаго ей Волкодава, собачья — нѣтъ, виноватъ — человѣческая комедія изображеніе которой посвящена юмористическая поэма Я. П. Полонскаго. Остается только сдѣлать выводъ изъ этой комедіи, подвести моральный итогъ ея. Этотъ нравственный выводъ дѣлаетъ водолазъ — Магъ, напоследокъ впавшій въ мистицизмъ, и повторявшій все одни и тѣ же загадочныя слова: „Прахъ метаморфоза — духъ преображенія“. Наконецъ, водолазъ Магъ заманиваетъ друга своего въ лѣсъ. Тамъ укладываютъ они переднія лапы на пень стараго дуба и начинается спиритическій сеансъ. Надъ участниками сеанса носятъ собачьи души.

Но и отвернуться

Не успѣлъ я, слышу, ужасомъ объятый,
Буль-буль-буль, и вижу изъ воды озерной
Въ видѣ водолаза, странный и косматый
Выдвинулся призракъ. Вотъ онъ тѣнью черной
Пробѣжалъ большими мягкими скачками
Въ темнотѣ сверкая яркими глазами
Съ голубымъ отливомъ. Долго онъ носился,
Какъ пятно въ туманѣ; вдругъ остановился,
Пристальнымъ и страшнымъ пронизалъ насъ взглядомъ,
Круто поднялъ спину, скокъ — и съ нами рядомъ
Сѣлъ. Тогда исчезли всѣ собачьи души
Кромѣ этой.

На другой день послѣ этого сеанса Магъ приноситъ поэту-собакѣ рукопись — разговоръ съ духомъ. Духъ предсказываетъ идеалисту близкую смерть, но и объявляетъ,

что послѣ смерти онъ въ силу метаморфозы сдѣлается человекомъ.

Значить

На землѣ такимъ же буду плотояднымъ
Звѣремъ?

въ ужасѣ вопрошаетъ собака-идеалистъ. Но духъ объясняетъ, что всѣ люди, окружавшіе псарню и упоминавшіеся въ поэмѣ: и Мирза, и Мирзиха, и гости, и халуи, и принцъ-охотникъ — только звѣри, носящіе обличіе человека, что великія идеи, высокія стремленія могутъ быть осуществлены только человекомъ.

Вѣчность

Въ очередь за звѣремъ ставить человѣчность.
Людамъ лишь дается Богомъ и природой
То, что вы зовете братствомъ и свободой.

Но человекъ именно человѣчности-то въ себѣ и не осуществляетъ; ее-то именно оставляетъ онъ въ пренебреженіи и не вырабатываетъ въ себѣ.

Нѣтъ скачковъ у жизни, и перерождаясь
Въ человека звѣри тѣмъ же остаются,
Чѣмъ и были: только съ геніемъ встрѣчаясь,
Медленно идеямъ его поддаются,
Или слѣпо вѣрятъ, иль за умъ берутся.
Только тотъ, кто людямъ безкорыстно служить,
Звѣря одолѣетъ и обезоружить,
Но такихъ немного.

Но и подвигъ человѣчности, при настоящихъ условіяхъ, невыносимо еще труденъ.

Участь человека

Чистаго быть жертвой звѣрческаго вѣка.
Но гряди, счастливецъ! На словахъ, на дѣлѣ
Будь сотрудникъ Божій и въ согбенномъ тѣлѣ.
Силу вѣчной правды и любви постигнуть
Только люди, только вѣра и усилія
Пробиваться къ свѣту придадутъ имъ крылья
Быть вездѣ со всѣми; лишь они достигнутъ
Цѣли формамъ жизни дать то совершенство,
Что создастъ народамъ высшее блаженство
Знать, любить и вѣрить и искать дорогу
Въ безднѣ безконечныхъ переходовъ къ Богу.

Итакъ, изъ всего изображенія собачьей, виноватъ, человеческой комедіи вытекаетъ высокое поученіе *быть людьми*.

Выставить это поученіе — такова была главная цѣль поэта-человѣка. Онъ и высказываетъ это устами собаки-автора:

Музой вдохновенный,
Самъ я то же думалъ; да и въ современной
Намъ литературѣ есть кой-что такое,
Что напоминаетъ мнѣ твое благое
Почуеніе *быть людьми*. Увы! невольно
Я пришелъ къ тому, что думаю...

Правда, и въ заключеніи этомъ есть еще много туманнаго и недосказаннаго, точно такъ же, какъ и въ самомъ изложеніи чувствуется, какъ уже говорили мы, нѣкоторый недостатокъ цѣлостности и художественнаго единства. Но уже и изъ приведенныхъ нами отрывковъ и краткаго изложенія содержанія читатель можетъ, конечно, видѣть, что юмористическая поэма Я. П. Полонскаго есть произведеніе во всякомъ случаѣ крупное, смѣлое, оригинальное, мѣстами весьма остроумное, мѣткое, въ значительной степени художественное и глубоко поучительное. Будемъ надѣяться, что не осуществится грустное предсказаніе, которымъ пѣвецъ оканчиваетъ свою поэму:

Боги! что-то будетъ съ рукописью этой!
Вѣдь собаки наши и читать не станутъ
Сихъ моихъ признаній... и не упомянутъ....

Въ признаніяхъ этихъ, во всякомъ случаѣ, очень много той грустной и горькой правды, прислушаться къ которой, вздуматься въ которую всегда бываетъ очень полезно и поучительно...

Н. А.

Отношеніе Полонскаго въ поэмѣ „Собаки“ къ обществу, отрицавшему поэзію и требовавшему отъ писателя гражданскихъ мотивовъ.

Съ крымской войны съ нашей изящной литературой случилось обстоятельство весьма неутѣшительное. Вѣкъ великихъ государственныхъ преобразованій настроилъ общество на вопросы экономическіе и политическіе, и настроилъ такъ, что все изящное стало ему почти чуждо. До крымской войны, при старой строгой цензурѣ и при старыхъ строгихъ порядкахъ, при полномъ отсутствіи политической жизни, все

вниманіе сосредоточивалось на художественныхъ произведеніяхъ. Это была крайность, но эта крайность, къ несчастію, замѣнилась другой: исключительной сосредоточенностію надъ явленіями общественной жизни. Прежде новое стихотвореніе Щербина, Фета, Полонскаго, Майкова, новая повѣсть Тургенева, Гончарова, Писемскаго, Григоровича составляли событіе, теперь событіе составляетъ казусное дѣло въ окружномъ судѣ, рѣшеніе земскаго собранія, концессія желѣзной дороги, вопросы финансовыя, вопросы о печати; прежде мы жили жизнью исключительно идеальной, теперь круто свернули въ жизнь практическую. Если тогда жизнь шла исключительно въ одну сторону, то теперь она точно также исключительно идетъ въ другую, а все исключительное уродливо и дурно вліяетъ на общество. Общество въ этомъ винить, разумѣется, нельзя: не до поросать, когда самое свинью палать, говоритъ русская пословица. Всѣ условія нашей политической и общественной жизни, наши гражданскія, экономическія права подвергались анализу, и чуть не каждый день приносятъ намъ извѣстіе, что въ государствѣ совершаются реформы и реформы, и совершаются такъ быстро, что тринадцать лѣтъ нынѣшняго царствованія кажутся намъ чуть не цѣлыми вѣками. Думать объ изящномъ массѣ публики, дѣйствительно, некогда. Борьба стараго съ новымъ, борьба принциповъ, борьба вопросовъ поглотила все, а потому не мудрено, что у насъ до такой степени затоптаны въ грязь лучшіе наши таланты, и что художественная критика сошла на задній планъ. У насъ требуютъ теперь отъ художника не таланта, не искусства, а просто того, чтобъ онъ былъ честнымъ гражданиномъ, и ратовалъ бы во имя общественныхъ интересовъ. „Соловья баснями не кормятъ“, говоримъ мы художникамъ. „Мы не хотимъ ни вашихъ звуковъ, ни вашихъ риѣмъ, ни вашихъ красокъ — мы заняты дѣломъ, мы спасаемъ свое достоинство и добиваемся своихъ правъ. Мы требуемъ отъ васъ не таланта, а гражданскихъ и политическихъ подвиговъ“.

И вотъ — талантливые критики, эти столпы и опоры искусства или перемерли или сошли со сцены. Литература наша и политика попали въ руки людей, можетъ быть, и исполненныхъ гражданскими доблестями, которые въ ротъ хмельного не берутъ, но которые дерутъ такъ немилосердно,

что даже уши вянутъ. Богъ знаетъ откуда, изъ какихъ трущобъ, изъ какихъ захолустьевъ гимназическихъ, семинарскихъ и университетскихъ выползла цѣлая фаланга какихъ-то невѣдомыхъ міру критиковъ, рецензентовъ и публицистовъ, нигдѣ не бывавшихъ, ничего не издававшихъ людей, которыхъ ни въ одинъ порядочный домъ не пускаютъ, и которымъ никто руки не протягиваетъ. Отличаясь банальнымъ либерализмомъ, такъ называемыми стремленіями, невѣжествомъ и неспособностью понимать что-либо дальше реального арбуза и реальныхъ женщинъ, эти господа опрокинулись всей своей массой на художниковъ: художники, народъ вообще робкій, т.-е. неспособный къ политикѣ, и не умѣющій себя защитить, трусили, съежились, и одинъ за другимъ сходятъ со сцены, оглушенные свистомъ этихъ господъ, которые больше знаютъ толку въ апельсинахъ, чѣмъ въ искусствѣ.

Пріемъ эти господа выбрали чрезвычайно удачный, т.-е. удачный для нихъ самихъ — пріемъ дешевый, которымъ порядочный критикъ никогда бы пользоваться не сталъ. Они не въ силахъ понять произведение и стало быть, произведение ихъ вовсе не интересуетъ, ихъ интересуетъ самъ авторъ, и единственный критерій оцѣнки, это — сочувствуетъ ли авторъ новѣйшимъ воззрѣніямъ или не сочувствуетъ, подтягиваетъ ли онъ подъ общій голосъ, или не подтягиваетъ.

За доказательствами ходить далеко нечего.

Послѣднія тринадцать лѣтъ у насъ во всѣхъ нашихъ полемикахъ нападалось больше на личность, чѣмъ на то, что эта личность говоритъ.

Нападки на Н. А. Некрасова сводились не на то, что онъ пишетъ, а на его частную жизнь.

Нападки на А. А. Краевского и на его „Голосъ“ и старыя „Отечественныя Записки“ сводятся на то, что Краевскій, правда ли, неправда ли, догналъ до чахотки Бѣлинскаго (что еще требуется доказать).

И. С. Тургеневъ написалъ „Дымъ“, романъ, въ которомъ онъ, дѣйствительно, много пересолилъ во мнѣніяхъ Потугина о русскомъ обществѣ. Нападки на него основываются вовсе не на этомъ пересолѣ. Въ старые годы Гоголь гораздо рѣзче отзывался о русской жизни, а Гоголя носили на рукахъ, но И. С. Тургеневъ провинился передъ нами романомъ „Отцы

и Дѣти“, гдѣ онъ смѣлой рукой изобразилъ черты поколѣнія современныхъ героевъ, поколѣнія неуклюжаго, восолапаго, безсердечнаго, живущаго болѣе мозгомъ, чѣмъ сердцемъ, болѣе принципомъ, чѣмъ душой, поколѣнія, которое искусственно прививало себѣ всѣ пороки нашихъ отцовъ и ни одной изъ ихъ добродѣтелей. И. С. Тургеневъ въ большой немилости у нашихъ критиковъ и рецензентовъ. Они замѣтили только слабыя стороны его романа и не поняли его сторонъ высокихъ и изящныхъ.

На Фета нападаютъ — на того самаго Фета, которымъ еще такъ недавно восхищались. Фета объявили „позомъ крѣпостного права“, на томъ основаніи, что Фетъ, къ величайшему скандалу нашихъ современныхъ дѣятелей, дѣйствительно, оказался чуть чуть не крѣпостникомъ. Его хозяйственные корреспонденціи, его забота объ имѣніи, его рассказы о непріятностяхъ со старостою, съ рабочими и т. п. дали нашимъ критикамъ и рецензентамъ богатый матеріалъ для упражненія ихъ остроумія. Изящные стихи Фета, глубоко прочувствованныя и задуманныя произведенія, все то, къ чему ни одинъ живой человѣкъ не можетъ отнестись равнодушно, было признано за плоды барской лѣни...

Благодаря той борьбѣ, которая происходитъ теперь*) у насъ въ обществѣ, благодаря эпохѣ, въ которую отцы борются съ дѣтьми, молодое не окрѣпло, а старое не умерло, благодаря этому хаосу, мы видимъ, что талантливейшіе изъ нашихъ писателей перестаютъ писать, они дѣлаются сатириками на современное общественное настроеніе.

Н. О. Щербина пересталъ быть лирикомъ и ничего не производитъ, кромѣ талантливыхъ злыхъ эпиграммъ, которыя не печатаются, но которыя каждый знаетъ наизусть.

Кроткій и тихій Я. П. Полонскій, по поводу котораго мы пишемъ статью, изъ лирика сдѣлался юмористомъ.

А. Н. Майковъ пересталъ писать вещи, въ родѣ первой части „Трехъ Смертей“ и отдался исключительно произведеніямъ, пишущимися по случаю.

Будущность передъ нами стоитъ некрасивая. Старые писатели изгоняются изъ литературы, а новыхъ у насъ не заводится, и то, что и завелось, далеко не замѣняетъ старыхъ.

*) Статья написана въ 1868 г.

У старыхъ было изящество, старые были джентльмены, а новые... кто изъ новыхъ равняется старымъ? Между новыми и старыми такая же разница, какъ между великими художниками италянскою и испанскою школы и новѣйшими живописцами. Мы живемъ въ тяжелый вѣкъ, мы живемъ въ вѣкъ борьбы, въ вѣкъ, когда все кипитъ политическими страстями, и когда люди, понимающіе и знающіе arts шагна прекраснаго отгѣснены на задній планъ людьми, которые его не знаютъ.

Графъ А. К. Толстой уже давно предложилъ всѣмъ жрецамъ искусства не трусить, не блѣднѣть передъ современнымъ настроеніемъ, а плыть „противъ теченія“. Предложеніе его, само собою разумѣется, благородно и честно, но противъ теченія выплыть весьма не легко.

Во времена гоненія на христіанство, назорей скучивались въ тѣсныя кружки, прячась отъ гоненій язычниковъ; во времена иконоборцевъ, вѣрующіе таили иконы въ домахъ, въ подвалахъ, ожидая, что воротится время, когда изящное и поэтическое всплыветъ на свѣтъ Божій; въ средніе вѣка католическіе монахи таили въ своихъ монастыряхъ творенія Платона и Аристотеля; во времена инквизиціи ученые не погашали свѣтильника науки.

Омары могутъ жечь александрійскія библіотеки, безтолковыя критики и рецензенты могутъ ругаться и издѣваться надъ личностями современныхъ поэтовъ и писателей, но имъ, нечуткимъ на изящное, не одолѣть изящнаго. Буря политическихъ страстей, отрицаній, насмѣшки, страсти къ скандаламъ, благоговѣнія передъ всѣмъ уродливымъ и колоссальнымъ пролетитъ. Небольшая ладья, которая несетъ по морю житейскому поэтовъ и художниковъ, не можетъ потонуть въ этомъ морѣ. У насъ она тонетъ, какъ тонетъ во Франціи, какъ на время потонула въ Германіи, потому что и Россія, и Франція и Германія находятся въ борьбѣ — потому что у насъ, у нѣмцевъ, у французовъ теперь въ ходу одни политическіе вопросы и однѣ политическія страсти. То, что гибнетъ у насъ на материкѣ Европы, то вольно и свободно процвѣтаетъ теперь въ Англіи, гдѣ святая борьба за права человѣчества сдѣлалась нормальной, гдѣ министръ финансовъ Гладстонъ имѣетъ не только досугъ, но и возможность писать комментаріи на Гомера. Пускай наши со-

временные дѣятели и гонять и губять наше русское искусство, пускай въ писателяхъ видятъ они только ихъ личность пускай отрицаютъ искусство, пускай не понимаютъ его — но его сохранять тѣ, про которыхъ говоритъ Я. П. Полонскій.

И для немногихъ я поэтъ.

Нападаютъ на личность, нападаютъ на автора, на его домашній бытъ, на его личную исторію, и не касаются его книги. Говорятъ „N. N. человѣкъ дурной, гражданинъ плохой, стало-быть, все, что онъ ни пишетъ, должно подвергаться преслѣдованію“. Но забываютъ, что одинъ изъ величайшихъ мыслителей рода человѣческаго, лордъ Бэконъ, былъ взяточникъ, и что этому взяточнику родъ человѣческій обязанъ величайшими открытіями въ области мысли. Вольтеръ и Руссо въ ихъ частной жизни были люди не весьма красивые, судя по тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя намъ о нихъ остались, но все-таки мы не можемъ ихъ не уважать несмотря на всѣ ихъ ошибочные выводы, въ родѣ *Contrat Social* или доводовъ о томъ, что Христосъ былъ ни что иное, какъ индѣйскій Кришну.

Забудемъ личные промахи авторовъ, забудемъ промахи И. С. Тургенева, какъ забудемъ промахи Я. П. Полонскаго, А. Н. Майкова, Фета, Мея; но если въ нашей литературѣ появляется что-либо хорошее, написанное человѣкомъ, который почему-либо заслужилъ у нашихъ рецензентовъ дурное о себѣ мнѣніе, будемъ мы разбирать сочиненіе это независимо отъ автора, насколько это возможно для пониманія этого сочиненія. Мы принимаемъ за правило: судить людей не потому, каковы они *in se*, а потому что они сдѣлали.

Великіе дѣятели прошлаго вѣка, какъ Потемкинъ, Суворовъ, графъ Алексѣй Орловъ, Остерманъ, Бестужевъ, даже самъ государь Петръ Алексѣевичъ, въ частной своей жизни далеко не подходили къ тѣмъ идеаламъ о человѣкѣ, которые въ настоящее время составились. Но это были люди, которые, при всѣхъ ихъ ошибкахъ, при всѣхъ некривостяхъ частнаго и домашняго быта, сдѣлали для насъ столько, что мы не можемъ не быть имъ благодарны. Что намъ за дѣло до нравственности человѣка, который далъ намъ Новороссійскій край и Таврическій полуостровъ? Что намъ за дѣло до нравственности человѣка, который со-

строилъ намъ на болотѣ Петербургъ и прорубилъ въ Европу окно? Что намъ за дѣло до нравственности той великой женщины, которая отняла у Польши наши русскія земли и приковала навѣки къ нашему государству? Намъ дѣлать до частной жизни людей, мы не вмѣшиваемся въ то, кто въ которомъ часу обѣдалъ, кто что ѣтъ, кто что пьетъ, кто съ кѣмъ знается, единственное мѣрило для оцѣнки человека, это — ея дѣянія. Елизавета англійская и Кромвель были личности такія некрасивыя, какъ кардиналъ Ришелье, какъ нашъ Иванъ III, какъ Людовикъ XI, какъ Кортесъ и какъ Пизаро. Не частной, не домашней жизни требуемъ мы отъ дѣателей или отъ писателей — пусть они дома дѣлаютъ, что имъ угодно, пусть знаются, съ кѣмъ хотятъ — мы отъ нихъ требуемъ дѣла, мы отъ нихъ требуемъ пониманія современныхъ вопросовъ, и мы требуемъ отъ нихъ изящества, нравственного величія.

Все это говорили мы по поводу сочиненій Я. П. Полонскаго. На Я. П. Полонскаго наши теперешніе рецензенты окрысились и одно время нападали на него, а теперь заблагодарасудили о немъ умалчивать, тогда какъ его стихотворенія вообще дышатъ той дѣвственной нѣжностью, той красотой, тѣмъ глубокимъ пониманіемъ жизни и любви, которой именно недостаетъ у новѣйшихъ нашихъ поэтовъ. Кто помнитъ его стихотвореніе „Качка въ бурю“, „Мраморное сердце“, стихотвореніе, въ которомъ онъ, запуганный и забытый современнымъ настроеніемъ, объявляетъ, что онъ поэтъ для немногихъ, тотъ забудетъ всѣ его промахи и примирится съ нимъ. Если мы копаемся въ его мелкихъ произведеніяхъ, то не съ тѣмъ, чтобъ придирается къ нему, а затѣмъ именно, чтобъ понять и толково объяснить, каковъ его талантъ, и каково его настроеніе. Иначе намъ будетъ трудно понять его „Кузнечика-музыканта“ и „Ночь въ Лѣтнемъ саду“, по поводу которыхъ мы пишемъ настоящую статью.

Взглядъ Я. П. Полонскаго на нашу литературу, а особенно критическую, выражается у него въ слѣдующихъ стихахъ, которыми начинается его поэма „Братья“.

И стоитъ ли заботится для васъ
О тройственныхъ созвучьяхъ! Слухъ потерянь:
Пѣвучій голосъ музы не плѣнитъ

Того, кто съ колыбели былъ увѣренъ,
Что любить современность и развить.
Терплю я современность, какъ больные
Свои недуги терпятъ, — любо имъ
Болтать о нихъ, — не даромъ же иные
Здоровяки завидуютъ больнымъ.
Но у людей (такая ужъ порода)
На фразы и на тѣ должна быть мода.
Такъ, напримѣръ, не въ модѣ презирать
Толпу; — но я могу толпѣ сказать:
Не нужно мнѣ твоихъ рукоплесканій!
Съ меня довольно собственныхъ моихъ
Страстей и думъ, стремленій и страданій,
Чтобъ ими отогрѣть мой бѣдный стихъ.

Здѣсь Я. П. Полонскій совершенно правъ. Дѣйствительно, въ рукоплесканіяхъ толпы можетъ нуждаться только политическій дѣятель, такъ какъ генералъ или полковой командиръ нуждается въ томъ, чтобъ ему солдаты крикнули: „Здравія желаемъ, ваше превосходительство!“ Для частнаго человѣка это совершенно не нужно. Художникъ прежде всего человѣкъ частный. Несмотря на установившееся мнѣніе, мы позволяемъ себѣ сомнѣваться, будто дешевые рецензенты судьи надъ авторомъ. Рукоплесканій, дѣйствительно, не нужно; слышать рукоплесканія каждому пишущему человѣку какъ каждому актеру, какъ каждому автору, очень пріятно, но только тогда пріятно, когда рукоплесканія эти послышатся за дѣло. Нѣтъ ничего противнѣе и возмутительнѣе, какъ рукоплесканія, слышимыя за то, что заслужившій ихъ поддался вкусамъ и прихотямъ толпы. Собственныхъ страстей и думъ, стремленій и страданій, дѣйствительно, каждому довольно. Поэтъ, художникъ отличается тѣмъ отъ политическаго дѣятеля, что онъ совершенно отъ толпы независимъ, Толпа рукоплещетъ цыганамъ, рукоплещетъ пріѣзжему пѣвцу, рукоплещетъ фокуснику, канатному плясуну, рукоплещетъ актеру, который сумѣлъ ее двинуть, рукоплещетъ публицисту, который разжегъ ея страсти, рукоплещетъ политическому дѣятелю, который ее расшевеливаетъ, но рукоплесканія массы остаются точно такъ же ничтожными, какъ и сама масса. Масса, толпа, удивительно склонна на всякій подкупъ. Стоитъ ей польстить, и она очертя голову, ринется куда угодно. Массу водили всякіе Жижки, Наполеоны, Пугачевы, водили ее Костюшки, водилъ ее Гарибальди, Хауе-

ресъ ее водилъ, и водилъ императоръ Максимиліанъ, тогда какъ Галилей огданъ былъ подь судъ инквизиціи, а Колумбъ чуть-чуть не попалъ въ домъ сумашедшихъ, Новиковъ посидѣлъ въ крѣпости, Радищевъ угодилъ въ Сибирь, и масса рукоплескала гоненіямъ ихъ, какъ та же самая масса одно время возносила Сперанскаго и потомъ радовалась его паденію. Масса, толпа ни въ чемъ не судья. Повиноваться ей и признавать ея приговоръ за нѣчто абсолютное, значитъ продать себя, значитъ потерять вѣру во все святое и сдѣлаться ея лакеемъ. Какъ ни философствуй, но критеріа, кромѣ личности, мы не найдемъ. Массѣ, толпѣ — воля вольная, но кто хочетъ душу свою спасти, тотъ толпѣ не подчинится. Сегодня въ ней такія идеи, такіе принципы, завтра будутъ другія идеи, другіе принципы. Родъ человеческій существуетъ не первую тысячу лѣтъ, всякіе интересы суть интересы переходящіе — нуженъ исходъ, и этотъ исходъ Я. П. Полонскій намъ указываетъ, а не согласиться съ нимъ нельзя:

Гражданскую и всякую свободу
Свободой поэтической моею
Предупредивъ, я буду пѣть природу,
Искусство, зло, добро, родникъ идей —
Все буду пѣть — и все, что человѣчно,
То истинно, — что истинно, то вѣчно.
Такъ разумъ мой — есть разумъ общій всѣмъ,
Единый, не смущаемый ничѣмъ, —
Какъ Богъ, онъ свѣтитъ всѣмъ народамъ въ мірѣ,
И если есть народы на звѣздахъ,
И тамъ — все тѣ же „дважды два четыре“,
И тамъ — все тотъ же Прометей въ цѣпяхъ.

Какъ личность, какъ человѣкъ, живущій полною жизнью, у котораго сердце бьется и пульсъ трепещетъ, Я. П. Полонскій, „всякую свободу, гражданскую и политическую, предупреждаетъ своей свободой поэтической“. Выраженіе это довольно неясно, но всякое лыко въ строку вплетать мы не будемъ и постараемся избѣгнуть слабостей нашихъ рецензентовъ и критиковъ — придирайтесь къ словамъ. Для насъ совершенно ясно, что онъ хотѣлъ сказать, что прежде гражданской и политической свободы онъ нуждается въ свободѣ личной, и въ этомъ онъ правъ. Кто лично не освобо-
дился отъ предразсудковъ, отъ всякой грязи и чепухи

скаго можно совершенно основательно примѣнить слова Лермонтова:

Съ кого они портреты пишутъ, А если случалось имъ,
Гдѣ разговоры эти слышать? То мы ихъ слышать не хотимъ.

Само собою разумѣется, что есть на свѣтѣ кузнечики, и кузнечики весьма талантливые, которые гоняются за аристократическими бабочками, обрываются и приходятъ въ отчаяніе оттого, что иностранный залетный соловей отбиваетъ у нихъ этихъ бабочекъ. На нашъ взглядъ, кузнечикъ такъ же жалокъ, какъ жалокъ въ „Дымѣ“ г. Литвиновъ, который во имя своихъ скромныхъ добродѣтелей, не совладалъ съ велико-свѣтской Ириной. Музыкантъ, художникъ, поэтъ, литераторъ, даже просто чиновникъ, полюбивъ какую-нибудь бабочку, какъ выражается Я. П. Полонскій, долженъ былъ бы заставить ее полюбить себя, — заставить не силой, разумѣется, не кулакомъ, а своими собственными нравственными достоинствами. Нѣтъ ничего комичнѣе мужчины, которому женщина отказываетъ въ любви. Подобные случаи бываютъ и бываютъ весьма нерѣдко, но жаловаться на нихъ не годится.

Поэма Я. П. Полонскаго начинается слѣдующимъ роскошнымъ описаніемъ:

Не сверчка нахала, что скрипять у печекъ,
Я пою: герой мой — полевой кузнечикъ,
Росту небольшого, но продолговатый,
На спинѣ носилъ онъ фракъ зеленоватый:
Тонконогій, тощій и широколобый,
Былъ онъ сущій геній — даръ имѣлъ особый:
Музыкантомъ слылъ онъ между насѣкомыхъ,
И концерты слушать приглашалъ знакомыхъ.
Подъ роскошной жатвой жилъ онъ въ полѣ чистомъ,
Оглашая воздухъ безконечнымъ свистомъ
Своего оркестра....

Этотъ кузнечикъ, по словамъ автора, былъ художникъ скромный, прятавшійся отъ всѣхъ, но былъ художникъ нашего времени. Всякая литературная и художественная тля на него нападала. Поминая своего героя, авторъ говорить ему:

И тебя дразнили пiskyны пустые,
Комары — злодѣи, трубачи степные,

Я знаю, область есть иная,	Какъ гражданинъ—сердцамъ въ
Тамъ разумъ вѣчно живетъ,	отвѣтъ
О жизни тамъ, живымъ, живая	Слова любви свожу на землю;
Любовь торжественно поетъ.	Но—для немногихъ я поэтъ.
Я какъ поэтъ, ей жадно внемлю	

И въ этомъ отношеніи Я. П. Полонскій совершенно правъ. Когда люди идутъ на штыки, когда идетъ такая борьба, какъ въ наше время, само собою разумѣется, до поэзіи далеко. Онъ поетъ для немногихъ, — для тѣхъ, у которыхъ, какъ мы ужъ выше сказали, сохранится на минуту борьбы и гоненія свѣточъ изящнаго.

Все, что писалъ Я. П. Полонскій до сихъ поръ, дышало глубокимъ пониманіемъ человѣческаго сердца, тѣмъ самымъ изяществомъ, тихимъ, кроткимъ, устраняющимъ отъ борьбы, — которое напоминаетъ Ромео и Юлію. Вотъ — знаменіе времени, *sign of the times*; какъ любятъ нѣсколько мистически выражаться англичане. — Н. О. Щербины, бросивъ лирику, сталъ писать эпиграммы, А. Н. Майкова, поэтъ лирическаго и эпическаго, добились до того, что онъ сталъ писать *rièses d'occasion*, а Я. П. Полонскій изъ лирика неизбѣжно долженъ былъ, наконецъ, взяться за „бичъ сатиры“.

Передъ нами лежатъ два его произведенія: „Кузнечикъ-музыкантъ“ и „Ночь въ лѣтнемъ саду“. На основаніи этихъ двухъ произведеній мы и хотимъ уловить новое направленіе таланта Я. П. Полонскаго, — именно сатирическое, и весьма не лишне будетъ опредѣлить, въ которую сторону бросить онъ своей сатирой.

Изданная въ 1863 г. шутка въ видѣ поэмы „Кузнечикъ-музыкантъ“ уже отчасти опредѣлила новое направленіе поэта и ясно указала, что у него, кромѣ лирики, есть огромный талантъ на сатиру. По нашему мнѣнію, Кузнечикъ-музыкантъ произведеніе далеко не блестящее. Въ „Кузнечикъ-музыкантъ“ Я. П. Полонскій болѣе блещетъ стихами, чѣмъ содержаніемъ. Герой его, этотъ кузнечикъ, далеко не завиденъ и не стоитъ того, чтобы писать объ немъ цѣлую поэму. Потому, какъ авторъ описываетъ кузнечика — этотъ кузнечикъ не заслуживаетъ ни малѣйшаго уваженія. Это какое-то кроткое, тихое существо, которое живетъ „въ чистомъ полѣ“, и котораго первая мимолетная бабочка *изобьетъ* чуть не на смерть. Къ этому произведенію Я. П. Полон-

скаго можно совершенно основательно примѣнить слова Лермонтова:

Съ кого они портреты пишутъ, А если случалось имъ,
Гдѣ разговоры эти слышать? То мы ихъ слышать не хотимъ.

Само собою разумѣется, что есть на свѣтѣ кузнечики, и кузнечики весьма талантливые, которые гоняются за аристократическими бабочками, обрываются и приходятъ въ отчаяніе оттого, что иностранный залетный соловей отбиваетъ у нихъ этихъ бабочекъ. На нашъ взглядъ, кузнечикъ такъ же жалокъ, какъ жалокъ въ „Дымѣ“ г. Литвиновъ, который во имя своихъ скромныхъ добродѣтелей, не совладалъ съ велико-свѣтской Ириной. Музыкантъ, художникъ, поэтъ, литераторъ, даже просто чиновникъ, полюбивъ какую-нибудь бабочку, какъ выражается Я. П. Полонскій, долженъ былъ бы заставить ее полюбить себя, — заставить не силой, разумѣется, не кулакомъ, а своими собственными нравственными достоинствами. Нѣтъ ничего комичнѣе мужчины, которому женщина отказываетъ въ любви. Подобные случаи бываютъ и бываютъ весьма нерѣдко, но жаловаться на нихъ не годится.

Поэма Я. П. Полонскаго начинается слѣдующимъ роскошнымъ описаніемъ:

Не сверчка нахала, что скрипитъ у печекъ,
Я пою: герой мой — полевой кузнечикъ,
Росту небольшого, но продолговатый,
На спинѣ носилъ онъ фракъ зеленоватый:
Тонконогій, тощій и широколобый,
Былъ онъ сушій геній — даръ имѣлъ особый:
Музыкантомъ слылъ онъ между насѣкомыхъ,
И концерты слушать приглашалъ знакомыхъ.
Подъ роскошной жатвой жилъ онъ въ полѣ чистомъ,
Оглашая воздухъ безконечнымъ свистомъ
Своего оркестра....

Этотъ кузнечикъ, по словамъ автора, былъ художникъ скромный, прятавшійся отъ всѣхъ, но былъ художникъ нашего времени. Всякая литературная и художественная тля на него нападала. Поминая своего героя, авторъ говоритъ ему:

И тебя дразнили пискуны пустые,
Комары — злодѣи, трубачи степные,

И въ тебя влюблялись божія коровки,
И мутила зависть многія головки;
Съ тѣмъ же музыкальнымъ то-есть направленьемъ,
Съ тою же охотой, да не съ тѣмъ умѣньемъ.
И грозилась мошка съ помощью науки,
Умертвить тобою созданные звуки,
И тяжеловѣсный жукъ неоднократно
Увѣрялъ, что уши смачивать пріятно
На твоихъ концертахъ, а не то де уши,
Какъ трава, завянуть отъ ужасной суши.
Въ частной жизни также къ добренькимъ коровкамъ,
Къ мушкамъ и козявкамъ часто въ пренеловкомъ
Былъ бы положеніи: слушать ихъ признанья,
Робко избѣгая тайнаго свиданья.
Но ничто однако жъ не поколебало
Твоего покоя; никакое жало
Твоему таланту не казалось вреднымъ:
Въ музыкальномъ мірѣ былъ ты всепобѣднымъ.
Ты вполне блаженъ былъ — но — пришла невзгода....

Невзгода кузнечику припала та, что вдругъ ни съ того ни съ сего — здорово живешь — припорхнула къ нему какая-то бабочка аристократка, кокетка, дама высшаго свѣта, и ему показалось, что она въ него влюблена. Затѣмъ кузнечикъ, отъ природы безсильный, вялый, тихій по нраву, не столько кузнечикъ, сколько сверчекъ запечный, подумалъ, что подобная госпожа останется къ нему равнодушна. Винить бабочку мы не можемъ: замѣнить роскошное дупло, въ которомъ она жила, замѣнить ея гостей — червячковъ, кузнечикъ не могъ, какъ Литвиновъ не могъ вознаградить Ирину за все, что она теряла разрывомъ съ Ратмирскимъ. Что въ самомъ дѣлѣ, кузнечикъ представлялъ этой бабочкѣ? Свою ниву, свои пѣсни, свое чувство изящнаго, кротость, доброту, тогда какъ именно эта нива, эта кротость и эта доброта не дали бы этой бабочкѣ ровно ничего. За брилліанты платится золотомъ. Если бабочка эта была брилліантъ въ его глазахъ, то онъ долженъ бы былъ за нее заплатить чѣмъ нибудь подходящимъ. Онъ долженъ былъ бы ее подкупить не только своимъ талантомъ, но своею славою, своимъ именемъ, своимъ общественнымъ положеніемъ — онъ долженъ былъ бы доставить ей обстановку лучше той, въ которой она жила — онъ долженъ былъ быть для нея кавалеромъ. *Развѣ серьезной, хотя бы и свѣтской женщиной, нужны*

одни вздохи да стихи? Ей нуженъ человекъ, который стоилъ бы ея. Около этой бабочки вздыхало множество кузнечиковъ и прочихъ насекомыхъ. Но ей нуженъ былъ звѣрь сильный, и ее не могъ подкупить концертъ, въ которомъ отличался кузнечикъ, и гдѣ публика была самая обыкновенная, гдѣ —

Даже жукъ навозный, начинивъ утробу
Всякой дрянью, смуглый, толстый и рогатый,
Уши отъ простуды затыкая ватой,
За толпой туда же пробрался сторонкой,
Ничего не понявъ, но замѣтилъ тонкій
Хвостъ у музыканта, и бочкомъ поплелся
Разсказать сосѣдямъ, что де онъ сошелся
Съ молодымъ маэстро, что де онъ невзраченъ,
Что его фигурой былъ онъ озадаченъ....
Черная козявка, та, что бьетъ баклуши
И весь день вертится, наострила уши;
Божія коровка всѣхъ перепугала:
Отъ восторга ныла — ныла и упала
Въ обморокъ... Спасибо, муравей, съ шнуровкой
Подъ жилетомъ моднымъ, — малый очень ловкій,
Далъ ей спиртъ понюхать въ маленькомъ флаконѣ.
Онъ встрѣчалъ коровку у N. N. въ салонѣ,
Гдѣ онъ появлялся, насурмивши бровки,
И, быть можетъ, радъ былъ услужить коровкѣ.
Много было шуму: музыку хвалили,
Музыку бранили, спорили, судили....
Бабочки ночныя, въ сѣренскихъ бурнусахъ,
Въ бѣлыхъ перелинкахъ и въ гранатныхъ бусахъ, —
Просто поблѣднѣли отъ негодованья,
Раскусивши новой пѣсни содержанье.
Но въ тотъ день герой мой такъ ужъ былъ разсѣянъ,
Что и не замѣтилъ, кѣмъ онъ былъ осмѣянъ.

Исторія обыкновенная, и изложена она Я. П. Полонскимъ, какъ лучше даже желать нельзя. Дѣйствительно, съ каждымъ, не только художникомъ, но и обыкновеннымъ самымъ дешевымъ литераторомъ происходитъ то же самое, что произошло съ кузнечикомъ — музыкантомъ, но бабочки не имѣютъ никакого повода влюбляться въ нихъ за подобныя исторіи. Кузнечикъ безсиленъ въ сравненіи съ бабочкою и, разумѣется, долженъ погибнуть. Любовь тоже борьба, любовь требуетъ основанія. За что же, въ самомъ дѣлѣ, бабочка можетъ полюбить кузнечика, котораго всякій „навозный жукъ“

топчетъ въ грязь, и отъ игры котораго развѣ божія коровки „ноютъ, ноютъ и падаютъ въ обморокъ?“ На подобныхъ артистовъ не только что бабочки, но и каждый бабочникъ, если такъ можно выразиться, съ особымъ уваженіемъ не смотрятъ. Таланта мало — талантъ силы не замѣняетъ...

Пѣснь вторая начинается великолѣпными стихами, — которые удаются одному Я. П. Полонскому.

Эось поднимала алыми перстами,
Темные покровы ночи, — и мѣстами
Въ небѣ загорались огненные пятна.
Жизнь, полупроснувшись, слабо и невнятно
Бормотала въ рошѣ, бормотала въ полѣ.
Поцѣлуй сливался съ ропотомъ неволи
Всюду, гдѣ лишь только брачныя оковы
Гиминей были ржавы и не новы.
Поцѣлуй былъ звонче, ропотъ былъ нѣжнѣе.
Тамъ, гдѣ эти цѣпи были поновѣе.

Кузнечикъ-музыкантъ проснулся рано и написалъ дион-рамбъ своей богинѣ. Дионрамбъ этотъ состоялъ въ томъ, что кузнечикъ сочинилъ виньетку,

Гдѣ изобразилъ онъ миртовую вѣтку, —
Миртовую вѣтку, а надъ ней съ крылами
Огненное сердце, съ надписью стихами:
„Я неувовима; но не унывайте!
Обожгитесь прежде, а потомъ поймайте!“
Даровитый малый былъ артистъ мой; мило
Сочинилъ онъ эти два стиха, въ нихъ было
Столько такта, столько нѣжности игривой,
Что въ нашъ вѣкъ холодный и самолюбивый
Ни одинъ кузнечикъ не найдетъ въ нихъ смысла
И, быть можетъ, можетъ даже улыбнется кисло.

Слабый и безхарактерный кузнечикъ все-таки сочинилъ для бабочки, въ которую онъ влюбился, вещь очень умную. Миртовая вѣтка, огненное сердце съ крылами указываютъ языкомъ, пожалуй, крайне эмблематическимъ, что любовь его пошла далеко не на шутку. Надпись стихами говорить, что бабочка „неувовима, но не слѣдуетъ унывать объ ея неувовимости, что надо прежде обжечься, а потомъ поймать“, свидѣтельствуешь, что у кузнечика была губа не дура. Понимать женщину онъ могъ и понимать то, что хорошая и серіозная женщина даромъ какого-нибудь артиста не полюбитъ; онъ понималъ, что для женщины нуженъ мужъ,

съ которымъ она могла бы тягаться съ честью, который бы стоилъ ей, которымъ бы она могла гордиться, который не смутился бы отъ ея обжога. Онъ понималъ то, что понимала одна изъ древнѣйшихъ нашихъ сказокъ о бѣлой лебеди. Въ сказкѣ этой рассказывается, что ночью къ дубу слетаются двѣнадцать лебедей, скидываютъ съ себя лебединую шкуру и начинаютъ около этого дуба плясать. Смѣлый богатырь, неудовлетворившійся обыкновенными земными женщинами, подкрадывается тайкомъ къ берегу, гдѣ лежатъ лебединыя шкурки и крадетъ одну изъ нихъ. Испуганныя валкирии бросаются на берегъ, надѣваютъ свои шкурки, чтобъ улетѣть, но одной изъ нихъ этой шкурки недостаетъ. Богатырь хватаетъ ее за косу, и она въ его рукахъ превращается въ лягушку, въ медвѣдя, въ огненнаго змѣя, крутится и бьется у него, и онъ ее не отпускаетъ. Онъ ничѣмъ не смущается, онъ не боится обжечься, не боится, что она его укуситъ, и только тогда она сдается ему и признаетъ его своимъ мужемъ. И только потому она признаетъ его своимъ мужемъ, что она получаетъ къ нему уваженіе, считаетъ его равнымъ себѣ или выше себя. Кузнецикъ Я. П. Полонскаго сумѣлъ написать подобный мадригалъ:

Я неуволима, но не унывайте,
Обожгитесь прежде, и потомъ поймайте.

Но не больше — самъ онъ только обжигался, а поймать не сумѣлъ. Здѣсь является на сцену его пріятель, другой кузнецикъ — кутила, гуляка, кабацкій забудыга, но личность именно съ той удалю, которой именно недостаетъ герою, и который намъ поэтому симпатичнѣе. Вотъ какъ роскошно очерчена у автора эта личность:

Вотъ сидитъ кузнецикъ, но не нашъ кузнецикъ,
А другой — и курить, точно человѣчекъ.
Съ нашимъ музыкантомъ онъ одной породы,
И скрипачъ, быть можетъ, но не любитъ моды...
Лапками на шею повязалъ тряпичу,
Въ зубы взялъ сигару, да и корчитъ птицу.
Клопика заставилъ заплатить за водку,
Напоить козявку, осмѣять коровку,
Муху одурачить, паука спровадить,
И при всемъ при этомъ съ цѣлымъ міромъ ладить —

Былъ онъ мастерище. Страшно обожалъ онъ
Нашего артиста, рѣдко покидалъ онъ
Друга, даже пьяный, передъ цѣлымъ свѣтомъ
Защицалъ — и часто надѣлялъ совѣтомъ,
Ибо, хотъ и рѣдко бралъ онъ книги въ руки,
Зналъ онъ „Твердо“, — „Слово“ и не вѣрилъ въ „Буки“.
Подъ лопухъ въ харчевню рано онъ забился,
Потому что утромъ не шутя бранился:
Больно было другу, — больно и досадно,
Глядя на артиста, видѣть, какъ нескладно
Онъ проводить время, вѣчно задыхаясь
Отъ безплодной страсти и ни въ чемъ не каясь.

Третья пѣсня этой маленькой поэмы начинается такъ —
мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи выписать эти
стихи, исполненные глубокаго юмора:

На глазахъ съ повязкой, стало-быть, слѣпая,
Ѣдетъ, гдѣ попало, день и ночь зѣвая,
Глупая Фортуна. Ею прихоть править, —
На однихъ наѣдетъ — колесомъ раздавить,
На другихъ наткнется — вдругъ начнетъ бросаться
Золотомъ, чтобъ только поскорѣй умчаться,
Да забрызгать лишкой грязью пѣшехода,
Да загнать въ объѣты красоты урода,
Или, такъ, безъ пользы и не для примѣра,
Сдернуть мимоѣздомъ маску съ лицемѣра...
Рыская по свѣту, этотъ идолъ свѣта
Не имѣетъ сердца, — прихотница эта
Никого не любить — и, когда бросаетъ
Деньги, звѣзды, ленты, — денегъ не считаетъ, —
Звѣздъ сама не носить, лентъ не покупаетъ, —
И, когда счастливо влюбить двухъ несчастныхъ,
Ихъ лица не видя, изъ рѣчей ихъ страстныхъ,
Вѣрно, заключаетъ, что влюбиться значить:
И себя дурачить, и другихъ дурачить.
Тамъ сама Фортуна, на глазахъ съ повязкой,
Счастье въ этомъ мірѣ почитаетъ сказкой.
Для такой богини цѣлый міръ — пустыня!

Затѣмъ, игрушка бабочки — кузнечикъ является къ ней
на свѣтскомъ раутѣ — и не умѣетъ себя вести. Онъ насѣ-
комое не свѣтское, неуклюжее, ни сѣсть, ни стать не умѣетъ,
и, разумѣется, бабочка права, что не только въ него не влюб-
ляется, но просто-на-просто эксплуатируетъ его какъ музы-
канта и какъ поэта. Онъ насѣкомое скучное, не обладающее
никакимъ свойствомъ, способнымъ прельстить бабочку,

въ которую оно влюблено, какъ намъ кажется, не имѣющее ни малѣйшаго права даже жаловаться на то, что его не замѣчаютъ. Талантъ неуклюжести не искупаетъ. Можно быть насѣкомымъ талантливымъ, но если къ этой талантливости присоединяется косолапость, то бабочекъ винить не въ чемъ! Бабочка существо изящное; все безобразное, все неизящное, ей, естественнымъ образомъ, противно. Только во Франціи даются монтіоновскія преміи за добродѣтель; въ практической жизни преміи за добродѣтель не дается. Ловкость, умѣнье себя держать, развязность, изворотливость выигрываютъ гораздо больше. У кого нѣтъ этого таланта, тотъ пускай на бабочекъ и не плачется, и мы опять таки не можемъ одобрить автора за его сочувствіе кузнечнику, который оказался вахлакомъ въ гостяхъ у бабочки. Барыни, говоритъ Я. П. Полонскій, оглядѣли

Всю его фигуру и едва сумѣли
Удержать свой хохотъ — только покосились
На мужчинъ; но черви не пошевелились,
Ибо умъ ихъ кто-то такъ ужасно сузилъ,
Что для нихъ довольно бантикъ или узелъ
Галстука замѣтитъ, чтобъ на остальное
Не глядѣть, и въ гордомъ пребывать покоѣ.
Поприще артиста къ разнымъ столкновеньямъ
Пріучаетъ душу; но къ обыкновеньямъ
Милыхъ насѣкомыхъ высшаго разряда
Не привыкъ герой мой. Вдалекѣ отъ сада,
Бѣденъ, худъ и блѣденъ, съ головы до пятокъ
На себѣ носилъ онъ поля отпечатокъ, —
Поля, гдѣ лишь тучи подаютъ свой голосъ.
Колосится жатва и серпа ждетъ колосъ.
Знаю о, кузнечикъ! какъ ты былъ отменно
Бабочкою принятъ. Ты себя надменно
Велъ, какъ будто цѣлый вѣкъ торчалъ ты въ свѣтѣ,
Съ юныхъ лѣтъ гуляя въ собственной каретѣ.
Но, скажи, въ тотъ вечеръ, что съ тобою сталося,
И какимъ безвѣстнымъ чувствомъ сердце сжалосъ,
И какія думы охватили жарко
Геніальный лобъ твой, въ часъ, когда изъ парка
Ты обратно въ поле мчался черезъ кочки?
Отвѣчать ли?... или — мы поставимъ точки...
.....
(Будто бы цензура вылевала строчки).
Но, злодѣй-кузнечикъ, что же ты ни слова
Не сказалъ гуляя въ ночь, когда другого

Не имѣлъ ты друга, съ кѣмъ бы подѣлиться
Снами, отъ которыхъ часто плохо спится?
Ненавистникъ свѣта, бабочекъ крылатыхъ,
Гладенькихъ коровокъ и червей лохматыхъ,
Онъ, — едва вошелъ ты, — спросилъ сердито:
Что, братъ, былъ ли ужинъ? накормили сыто,
Или и понюхать не дали съѣстнаго?
Что, братъ, какъ дѣлишки? Все ли тамъ здорово
И благополучно? Ты чему смѣешься?
Эхъ-ма, ничего ты, братецъ, не дождешься
— Спи сказалъ кузничикъ.

„Сплю“, сказалъ гуляка
И, задравши кверху ноги изъ-подъ фрака,
Захрапѣлъ...

Описаніе это превосходно, — кузничикъ-музыкантъ, такъ и кузничикъ-гуляка — обрисованы до невѣроятности живо. Но само собою разумѣется и то, что увидавъ бантикъ или узелъ галстука, на остальное вниманіе не обратятъ, и что насѣкомое, „которое блѣдно, худо и бѣдно“, которое „съ головы до пятокъ носитъ на себѣ отпечатокъ поля“, сдѣлаетъ великую глупость, когда станетъ забираться туда, гдѣ себя не умѣетъ поставить на одной доскѣ съ прочими гостями, и мы не знаемъ, насколько оно будетъ право, если будетъ жаловаться, что у него „сердце сжалось“, и „тяжелыя думы жарко охватили его геніальный лобъ“. Рагвенн можетъ забраться въ кругъ, къ которому онъ не принадлежитъ по своему происхожденію, но если забрался туда, то долженъ умѣть себя держать въ кругу этомъ, какъ слѣдуетъ, въ противномъ случаѣ лучше и не забираться. Въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ ходить, пословица не совѣтуетъ.

Въ началѣ четвертой пѣсни описывается закатъ солнца, а за это описаніе русская литература должна сказать Я. П. Полонскому спасибо.

Уходя, день ясный плакалъ за горою
И, роняя слезы, жаркою зарею
Изъ-за темной рощи охватилъ край нивы.
Дню вослѣдъ глядѣла ночь — и переливы
Свѣта отражались и, дрожа, блуждали
По ея ланитамъ. Тихо начинали
Выходить свѣтила, мѣсяца предтечи,
Передъ Божьимъ трономъ зажигая свѣчи.

Далеко стемнѣло море жатвы зыбкой.
Грустная березна обнялася съ липкой.
Призатихла роща. Только дубъ пушукаль,
Только гдѣ-то дятель крѣпкимъ носомъ тукаль,
Только гдѣ-то струйки смутно лепетали
Только роковыя страсти не дремали,
Только насѣкомыхъ міръ неутомонный
Голосилъ немолчно въ тишинѣ безсонной.
Стрекотали мухи; комары трубили;
На своихъ скрипицахъ весело пилили,
Лихо зная ноты, стало-быть, безъ свѣчекъ,
Тѣ, которыхъ хоромъ управлять кузнечикъ.
Впереди оркестра на своей скрипицѣ
Громче всѣхъ пилилъ онъ въ честь своей парицы.
Выходила замужъ бабочки кузина,
И женихъ былъ славный съ хоботкомъ дѣтина;
По уму, конечно, не былъ изъ проворныхъ,
Но происходилъ онъ отъ червей отборныхъ.
По словамъ невѣсты, онъ лишь былъ несносенъ
Тѣмъ, что безъ разбора запахъ старыхъ сосенъ
Сравнивалъ съ весеннимъ запахомъ фіалокъ,
Уважалъ шиповникъ и боялся галокъ.

Въ этотъ вечеръ по просьбѣ бабочки, кузнечикъ даетъ концертъ и на этомъ концертѣ оказывается той же слабо-характерной личностью, совершенно нестоившею бабочки. Каждый жукъ, каждая мошка надъ нимъ издѣвается, смѣется надъ его любовью къ ней, смѣется надъ ней, что она будто бы его любитъ, и все кончается тѣмъ, что первый залетный иностранный соловей своею пѣсней прельщаетъ ее и окончательно порываетъ между нею и доморощеннымъ кузнечикомъ.

Что вы говорите? молвила Сильфида, —
Мой женихъ — кузнечикъ! Какова обида!
Кто такіе въ свѣтѣ распускаетъ слухи?
Или эту глупость выдумали мухи?

Бабочка погналась за соловьемъ, и въ этомъ обвинить ее мы опять-таки не можемъ, потому что соловей музыкантъ серьезнѣе кузнечика, если не о талантѣ дѣло идетъ, а объ энергіи. За соловьемъ бабочки летали, отъ кузнечика онѣ отлетали, потому что кузнечикъ былъ для нихъ скученъ, вялъ и неуклюжъ. И кто же послѣ этого виноватъ, что кузнечикъ заплакалъ?

Вотъ упала слезка на листочекъ влажный,
Съ вѣтеркомъ промчался чей-то вздохъ протяжный,
Словно колокольчикъ звякнулъ въ отдаленны...
Ничего герой мой не слыхалъ: презрѣнье...
Было слишкомъ явно... И глядѣлъ онъ мутно
Въ темный лѣсъ, откуда, сладко раздражая
Благовонный воздухъ и не умолкая
Соловьиныхъ пѣсень раздавались трели...
И шепталъ онъ: — боги! боги! неужели?...
Что жъ это такое? Отчего же это?...
Или для поэта миновало лѣто?... —
Пойте, пойте птицы! — Но сердца больныя
Врачевать не могутъ пѣсни не родныя.

Неродныя пѣсни сердца врачевать не могутъ, объ этомъ и спорить нельзя, но лучше пусть сердца бабочекъ врачуютъ неродныя пѣсни, чѣмъ вялыя и слабыя пѣсни отечественныхъ неуклюжихъ кузнециковъ. Бабочка исчезла и отправилась къ иностранному соловью, — который и уходилъ ее на смерть. Съ изумительнымъ художественнымъ тактомъ рассказываетъ намъ Я. П. Полонскій, какъ кузничикъ музыкантъ со своимъ пріятелемъ кузничикомъ-забудыгой, отправились на поиски ея трупъ. Боясь слишкомъ большихъ выписокъ, мы приведемъ только описаніе трупъ бабочки.

Долго, до полночи прыгуны блуждали
Наконецъ, на свѣжій слѣдъ они попали.
Свѣтлячокъ вертѣлся подлѣ нихъ не даромъ,
И Діана, тучку золотымъ пожаромъ
Охвативъ, не даромъ отклоняла вѣтки,
И кой гдѣ чертила яркія отмѣтки;
Для моихъ героевъ блѣдный лучъ богини
Путеводнымъ свѣтомъ былъ среди пустыни,
Тамъ, неподалеку спѣющей брусники,
Подъ корнями красной полевой гвоздики,
Одинокимъ трупомъ бабочка лежала:
Ножки протянула, крылья распластала
И, казалось, лежа небесамъ молилась —
Вся окоченѣла, но не измѣнилась;
Тотъ же сохранился очеркъ милый, нѣжный,
Тою же сіяли бѣлизною снѣжной
Матовыя крылья. Черная косынка
На груди раскрылась. Крупная слезинка,
Какъ алмазь, блестѣла около рѣсницы,
И какъ бархатъ были темныя косицы.
Мертвая казалась сонной; но чернѣла
Маленькая ранка...

Симпатичнѣе, живѣе описаніе трудно можно придумать. Бабочка погибла за то, что у нея были вкусы изъ высшихъ, за то, что она, повидимому, стремилась къ тѣмъ идеаламъ, которыхъ отечественные кузнечики не могли ей осуществить. Ея гибель даже душу не возмущаетъ; она погибла хорошо, она дошла до порядочнаго соловья, погибла отъ его влюва, но, по крайней мѣрѣ, не задохлась въ мѣщанской жизни какого-нибудь кузнечика-музыканта, оставшагося въ дуракахъ, потому что былъ неровня бабочкѣ, въ которую влюбился. Оскорбленіе, нанесенное мужчиной, можно смыть или сгладить такимъ-сякимъ способомъ; оскорбленіе, нанесенное женщиной, презрѣніе женщины никогда не смывается.

В. Кельсиевъ.

Сатирическій характеръ поэмы „Собаки“.

Первоклассныя произведенія первоклассныхъ писателей обыкновенно слишкомъ ясно и громко говорятъ сами за себя для того, чтобы нуждаться въ предисловіяхъ ихъ издателей. Гордясь тѣмъ, что мы имѣемъ возможность предложить нашимъ читателямъ несомнѣнно-первоклассное произведеніе несомнѣнно же первокласснаго поэта нашего, Якова Петровича Полонскаго — продолженіе и окончаніе его поэмы „Собаки“ — мы нѣкоторыми особенными, исключительными условіями поставлены однако въ необходимость предпослать нѣсколько разъясненій тому *отрывку* крупнѣйшаго произведенія нашего маститаго поэта, который можемъ помѣстить на страницахъ настоящаго изданія. Разъясненія эти необходимы какъ въ виду того, что послѣдующія главы поэмы Я. П. Полонскаго составляютъ только *продолженіе* появившихся еще въ 1889 году (въ сборникѣ, подъ заглавіемъ „Поэмы, повѣсти и стихотворенія Я. П. Полонскаго“, С.-пб.) первыхъ тринадцати главъ ея, такъ и въ виду сложившихся въ нашемъ обществѣ, за послѣднее тридцатилѣтіе, литературныхъ привычекъ и отвычекъ, вкусовъ и безвкусій. Здоровые эстетическіе вкусы, только временно подавленные за это тридцатилѣтіе, вѣчныя, неистребимыя требованія и привычки эстетическаго чувства — въ наши дни очевидно вступаютъ снова въ свои законныя права. Лишенное всякой правды, теплоты и силы чувства, всякой глубокой, непре-

ходящей, осмысливающей художественный образъ идейности, всякаго художественнаго чувства мѣры направленіе, принятое нашимъ искусствомъ съ 60-хъ годовъ во имя ложно принятыхъ *моральныхъ и соціальныхъ* задачъ искусства, въ наши дни уже достаточно обнаружило свою бесплодность и все болѣе „теряетъ кредитъ“. Въ этомъ движеніи поэма Я. П. Полонскаго, „Собаки“ и предлагаетъ читателю, представляетъ выдающееся явленіе. Она блистательно доказываетъ, что и въ области искусства „старая истина есть вѣчная истина“. Она доказываетъ, что художественное произведеніе можетъ тѣмъ лучше послужить и моральной и соціальной задачѣ, чѣмъ оно болѣе *художественно*, чѣмъ въ немъ болѣе чувства мѣры, объективной правды и *любви* къ изображаемому предмету. Она убѣждаетъ насъ, что и сатира тѣмъ сильнѣе и дѣйствительнѣе, чѣмъ она менѣе переходитъ въ карикатуру, чѣмъ болѣе сатирикъ проникнуть не „священной гражданской ненавистью“, но сочувствіемъ всепонимающей и всепрощающей любовью, которая цѣнитъ доброе и скорбитъ надъ злымъ въ своемъ предметѣ.

Такою и представляется намъ сатира въ предлагаемой poemѣ Я. П. Полонскаго „Собаки“, — сатира, тѣмъ болѣе злая и беспощадная, что въ ней нѣтъ ненависти, но царитъ истинно олимпійское, умное и здоровое добродушіе, — тѣмъ болѣе глубокая, что безжалостно обнаруживая собачьи, скотскія стороны нашего человѣческаго характера, она во имя ихъ не только не отрицаетъ, но тѣмъ выше возноситъ самую идею и фактъ „человѣчности“ надъ идеею и фактомъ „звѣрства“. Борьба этихъ двухъ идей, — вотъ предметъ поэмы Я. П. Полонскаго, слишкомъ скромно названной имъ самимъ „юмористическою“, — предметъ, имѣющій и громадное, глубочайшее значеніе для моралиста и публициста, и великую эстетическую цѣнность по художественности своего изображенія. „Человѣка-звѣря“ изображаютъ вѣдь любовно и старательно въ своихъ произведеніяхъ и всѣ корифеи и ремесленники современной *одичавшей* литературы, „декадентовъ“, возбуждая въ читателѣ только тѣмъ большее презрѣніе, ненависть и чувство гадливости къ самому себѣ, чѣмъ ихъ образы ярче, талантливѣе! Въ сатирѣ же Я. П. Полонскаго современный человѣкъ ясно видитъ и то,

что въ немъ есть „собачьяго, презрѣннаго и низкаго, и то, что онъ можетъ въ себѣ уважать, любить и цѣнить, во что можетъ и долженъ вѣрить. — Это — *настоящая* сатира, а не условная карикатура Щедрина; это произведеніе уважающей себя литературы, а не бурсацки-жидовской „свистопляски“ нашего недавняго прошлаго. *Такой* сатиры русская, да и европейская литература, уже много лѣтъ не заносила въ свои списки...

Разставаясь, при послѣднемъ свиданіи, съ пишущимъ эти строки, Я. П. Полонскій высказалъ увѣренность, что „если какое изъ его произведеній переживетъ его, то это именно — поэма „Собаки“. Трудно согласиться съ авторомъ „вечерняго звона, „кузнечика-музыканта“ и мн. др., что *одна* его послѣдняя поэма избѣжитъ забвенія, составляющаго неизбежный удѣлъ второстепенныхъ, подражательныхъ и лишенныхъ силы внутренней правды произведеній. Нѣтъ такого русскаго читателя, которому было бы неизвѣстно имя Я. П. Полонскаго, какъ писателя, принадлежащаго къ тому поэтическому триумвиату, который въ теченіе послѣднихъ тридцати-сорока лѣтъ почти исключительно охранялъ и развивалъ, среди общей литературной разнузданности этого времени, завѣты и задачи истинной поэзіи. Нельзя вспомнить объ А. Н. Майковѣ или объ А. А. Фетѣ, не вспомнивъ при этомъ и о Я. П. Полонскомъ. Едва ли найдется, далѣе, — даже въ наше время упадка литературной критики и неопредѣленности тѣхъ идеаловъ, которые лежатъ въ основѣ оцѣнки писателей и произведеній, — такой критикъ, который не призналъ бы за Я. П. Полонскимъ черты, характерно отличающей первокласснаго писателя отъ второстепенныхъ, заурядныхъ. *Эта черта* — полная, законченная опредѣленность его духовной индивидуальности, налагающая и на его слово и на создаваемые имъ образы настолько своеобразную печать, что невозможно уже по произведенію не узнать творца, и ошибочно приписать произведеніе другому автору. Этою чертою въ высшей степени обладаетъ Я. П. Полонскій, любое изъ произведеній котораго такъ же трудно приписать не ему, а другому поэту, какъ трудно не узнать въ ихъ стихотвореніяхъ А. Фета и А. Майкова. Какъ невозможно поддѣлаться подъ ту неопредѣленность *лирическаго настроенія*, тѣмъ болѣе глубоко, мистически

захватывающую, чѣмъ она бесплоднѣе, менѣе вырази-
ма опредѣленнымъ словомъ и уловима въ понятіе, которая со-
ставляетъ неотразимую прелесть стихотвореній А. Фета; какъ
невозможно достигнуть классической законченности опредѣ-
ленного образа, полной гармоніи прекрасной формы съ глу-
бокимъ содержаніемъ, характеризующихъ А. Н. Майкова, —
поэта, который, его собственными словами, когда „проне-
сется вдохновенье — дуновенье духа Божья, роняющее
въ хаосъ сѣмя безсмертнаго творенья“.

— подхватить на лету,
Отольеть и отчеканить
Въ мѣдномъ образѣ — мечту! —

также трудно поддѣлаться и подъ характерный юморъ
Я. П. Полонскаго. Этотъ юморъ, часто изящный и тонкій,
иногда беспощадный и сокрушающій (напомнимъ басню
„Орелъ и Змѣя“), но всегда *здоровый*, одинаково чуждый и
всякой дѣланности той болѣзненной сентиментальности или
холодной желчности, которыми такъ отличаются почти всѣ
писатели нашего больного времени, ставящіе себѣ задачу
„проливать невидимыя слезы сквозь видимый смѣхъ“, —
особенно ярко выступаетъ у нашего поэта въ области *жм-
вотнаго эпоса*. Въ этой области онъ бесспорно первый ма-
стеръ современности, хотя на эту сторону его таланта у
насъ въ Россіи и обращали доселѣ менѣе вниманія, въ со-
жалѣнію, чѣмъ она заслуживаетъ. Въ этой же области соз-
далась и поэма-сатира Я. П. Полонскаго „Собаки“, разска-
зывающая въ формѣ написанной собакою исторіи одной
псарни, о попыткѣ представителей „звѣрчества“ возмутиться
противъ власти человѣка, свергнуть съ себя иго человѣче-
ства и самостоятельно устроить свою жизнь по идеаламъ
„звѣрчества“.

Мысль сатиры автора настолько ясна и такъ ярко-худо-
жественно выражена имъ, что не нуждается въ коммента-
ріяхъ. Самъ авторъ могъ бы характеризовать свое произ-
веденіе такъ: „моя поэма — сатира не на однихъ утопистовъ,
но на всѣхъ, у кого только собачьи свойства преобладаютъ
и даже извращены къ худшему примѣсью человѣческихъ
страстей и соображеній. И пишущій поэтъ — собака и при-
дворный Валетъ и патріотъ — Вопило и даже подвальные

„аристократы“*) — всѣмъ воздается поровну за ихъ собачьи свойства. Стало-быть, не за что сердиться на меня...“ Не за что сердиться, дѣйствительно ни тѣмъ, кто узнаетъ нѣчто знакомое въ собакахъ либеральныхъ ни тѣмъ, кто найдетъ знакомыхъ среди собакъ консервативныхъ, — кто встрѣтитъ у собакъ и проповѣдь „свободной любви“, и „самопомощи“, и „рабочій вопросъ“, и псарнофильство"... Въдѣ собака оставаясь вѣрна своей собачьей природѣ, и всякую „идею“, дурную или хорошую, пойметъ и выразитъ не иначе какъ по собачьи, „особачивъ“ ее, такъ сказать! Но нельзя не отмѣтить здѣсь той характерной особенности поэмы Я. П. Полонскаго, къ изложенію первой части которой мы сейчасъ переходимъ, что при всѣхъ разнообразіи характеровъ, выведенныхъ авторомъ на сцену дѣйствующихъ лицъ — собакъ и ихъ собачьихъ „убѣжденій“ и „стремлений“, — у всѣхъ ихъ вѣрный чувству мѣры и художественной правды авторъ не отнимаетъ одной, хотя отчасти примиряющей съ ними читателя черты. Это — общее имъ *добродушіе*, а у большинства изъ нихъ — искренность, нѣкоторая честность и способность увлекаться. Вполнѣ лишена этихъ примирительныхъ свойствъ только одна изъ дѣйствующихъ въ поэмѣ собакъ, — „радикаль“ Трезвонъ: этотъ *только* ненавидитъ, завидуетъ и ни во что не вѣритъ, кромѣ сытнаго куска! Благодаря этой художественной особенности изображенія Я. П. Полонскаго, его „Собаки“ гораздо симпатичнѣе и ближе къ жизненной правдѣ, гораздо человѣчнѣе, чѣмъ Іудушки съ братіей въ произведеніяхъ сатирика-карикатуриста Щедрина... Поэтому-то и не забудутся „Собаки“ Я. П. Полонскаго даже тогда, когда и самое имя Щедрина исчезнетъ уже изъ памяти людей.

Помѣщая здѣсь часть поэмы „Собаки“, еще не появлявшуюся въ печати,**) считаемъ необходимымъ для удобства читателей, не успѣвшихъ ознакомиться съ первою частью поэмы, напечатанной въ Сборникѣ Я. П. Полонскаго 1889 года, вкратцѣ изложить содержаніе этой первой части. Въ такомъ изложеніи, конечно, улетучивается и вся художественная прелесть и вся соль юмора подлинника... но оно и есть только *pis-aller*...

*) Дѣйствующія лица поэмы.

**) Статя помѣщена въ Сборникѣ 1893 г.

Авторъ поэмы — собака, начинаетъ исторію своей родной псарни съ воспоминаній о временахъ эпическихъ, временахъ, когда ея владѣлецъ любилъ охоту и собакъ, за псарней былъ бдительный и заботливый присмотръ, и сами собаки, не мудрствуя лукаво, предавались своему собачьему призванію. Въ это время баринъ „Мирза“

— Молча помавалъ то перстомъ, то плеткой,
И псари отлично понимали дѣло:
Выгоняли звѣря — въ рогъ трубили смѣло —
И глядѣлъ героемъ старый доѣзжачій,
И худая лошадь не казалась клячей,
И всегда побѣду праздновала свора;
Но дни нашей славы миновали скоро.

Маленькая, злая, бѣленькая, въ тонкомъ
Кружевѣ и съ лаской въ голосенкѣ звонкомъ,
Фея овладѣла бариномъ и дворней,
По Мирзѣ — Мирзихой мы ее назвали.

У барина являются повые интересы и вкусы; на охоту онъ перестаетъ ѣздить и приказываетъ ставшихъ уже бесполезными и только беспокоящихъ его „фею“ своимъ воемъ собакъ загнать всѣхъ на псарню — подальше. Въ домѣ остаются только придворный франтъ Валетъ, да любимица Мирзихи — Амишка.

Первое крупное событіе, послѣ этого переворота состояло въ томъ, что доѣзжачій, которому псарня была предоставлена, спился отъ бездѣлья и дурно кончилъ.

Разъ онъ спяну понялъ нашъ языкъ собачій,
Услыхалъ, что каждый честный песъ ругаетъ
Пьяницу за то, что псарню обираетъ,
И пошелъ, шатаясь, къ барину съ доносомъ,
Зарапортовался и — остался съ носомъ.

Эта обида такъ на него подѣйствовала, что онъ не выдержалъ и удавился. Глубоко потрясены собачьи сердца.

Хоть и былъ онъ низкій человѣкъ, а все же
Человѣкъ хорошій, добрый... Эхъ, канальство!
Трусили мы — будетъ новое начальство!

Но пока дѣло — ограничилось только тѣмъ, что дворня выбрала изъ подвала доѣзжачаго припасы,

Но зато подвальный соръ предоставленъ
Всѣмъ высокороднымъ гончимъ съ ихъ щенками,

которыя съ тѣхъ поръ, выдѣляясь изъ всей стаи въ особую подвальную аристократію, живутъ отдѣльною отъ псарни жизнью, сытой, мирной и чуждой тревогъ и сомнѣній. Весь интересъ исторіи отнынѣ сосредоточивается въ средѣ недопущенныхъ въ подвалъ обитателей псарни. Здѣсь наступаютъ времена романтизма. Напрасно ждетъ поэтъ, съ наступившей весною,

что на сворѣ

Поведутъ насъ въ дебри прѣсѣкой лѣсной,
Что подъ звуки рога тѣмный лѣсъ проснется,
Что въ хвостѣ у волка гончихъ лай зальется,
И что зайка сѣрый — ушки на макушкѣ —
Высочивъ, дастъ тягу вдоль лѣсной опушки,
А ему въ догонку, злы, легки и смѣлы,
Точно тетивою спущенныя стрѣлы,
Полетятъ борзья. —

Весна прошла безъ охоты, въ томительной праздности и обманутыхъ ожиданіяхъ...

текли минуты и текли недѣли,
Въ насъ сердца кипѣли и — перекипѣли.
Многіе съ тоскою вспоминали дѣтство,
Многіе страдали. Близкое сосѣдство
Сумрачной дубравы и привольной степи
Навѣвало думы — чувствовались цѣпи
Праздности и рабства; дворъ нашъ загрязненный,
Съ трехъ сторонъ еловымъ тыномъ окруженный,
Сталъ ужъ намъ казаться дворикомъ острожнымъ.

Все это давало пищу мыслямъ, прежде невѣдомымъ; уже
кой-гдѣ бродятъ толки,
Что собаки, дескать, тѣ же волки,
Что имъ также можно рыскать гдѣ угодно,
И что заперать ихъ врядъ ли благородно.

Вмѣстѣ съ тоскою и недовольствомъ стала развиваться
мечтательность и разыгрываться фантазія;

лучи свободы, въ розовую призму
Преломляясь, явно насъ вели къ лиризму.

Всѣхъ тянуло за ограду псарни, на волю,
Даже амки (то-есть наши дамы) тоже
Чуя духъ свободы, волновались лежа...

Наконецъ, предметъ горячихъ мечтаній — лазейка въ оградѣ найдена: наступаютъ первые дни свободы и, вмѣстѣ, дни первыхъ разочарованій.

Найдя лазейку

Бросили мы псарню и, пока желудки
Вновь не отощали, ловко мы справлялись
Съ нашею свободой,

Кто могъ думать, что эта свобода насолить имъ хуже,
чѣмъ старый доѣзжачій!? Но вотъ — уже въ первый день
баба изувѣчила благородную „амку“ Берфу за то, что та
„не безъ увлеченья“ лизнула кринку молока, даже не раз-
бивши ее! На другой день, цыганка сманила и увела съ со-
бою лучшаго борзого псарни, Ахилла, а Марса по ошибкѣ
подстрѣлила лѣсная стража, встрѣтивъ его ночью на лѣсной
опушкѣ! Наконецъ, несчастный Соколъ заблудился.

. Дикій звѣрь дороги
Въ дебряхъ не забудетъ; до своей берлоги
Каждый доберется, каждый слѣдъ отыщеть,
А собака, если человѣкъ не свищетъ,
Если въ шумѣ вѣтра не услышитъ клички,
Забѣжитъ навѣрно къ чорту на кулички.

Измученный, тощій и голодный вернулся Соколъ, но не было
ему у сытыхъ состраданья, а въ корытѣ уже все было вы-
лизано. Заболѣлъ бѣдняга и — протянулъ ноги.

Раздались упреки, сожалѣнья, толки:
Дескать — мы хоронимъ лучшія надежды;
Дескать — загубили молодость невѣжды...
Амки осуждали вѣтренность героя;
Сытые рѣшили: умеръ отъ запоя.

Поняли собаки, что блуждать зря, ради одного удоволь-
ствія свободно рыскать, опасно, и стала посѣщать ихъ тай-
ная забота; зарождается вопросъ: какъ быть? какъ устроить
свою жизнь и свободно, и сыто, и безопасно? И вотъ ночью
въ лѣсу собирается для обсужденія этой задачи первое со-
бачье засѣданіе изъ семи членовъ подъ предсѣдательствомъ
водолаза „Мага“. Злой и завистливый волкодавъ „Тре-
звонъ“ начинаетъ дебаты съ насмѣшки надъ тѣми собаками,
которыя своей задачей считаютъ самосохраненье, благосо-
стоянье, миръ и просвѣщенье, доказывая, что эти цѣли у
собаки глупы и неосуществимы. Цѣль такова, говоритъ онъ,

что ее едва ли
Тотъ кобель достигнетъ, кто безъ состраданья,
Безъ великой злобы, даже безъ печали,

Видѣлъ, какъ собаки наши голодали,
Или ради пѣсенъ, то-есть завыванья,
Забывалъ свой голодъ, нужды и страданья.
Наша цѣль — одна, чтобъ поровну достало
Всѣмъ ѣды и поила, стало-быть, сначала
Разберемъ: кто вправѣ утолять свой голодъ?
Утолять свой голодъ вправѣ тотъ, кто молодъ,
Кто не заразился старымъ предрасудкомъ,
Что живетъ онъ въ мірѣ не однимъ желудкомъ;
Кто рискуетъ жизнью, кто своей породы
Не щадитъ во имя братства и свободы,

Выводъ его тотъ, что цѣль будетъ достигнута,
если мы не струсимъ,
Если мы всѣмъ лежнямъ горло перекусимъ.

Противъ подобной „радикальной“ программы возстаетъ Барбось, резонно замѣчая, что и подвальные лежни кусаются, да и Трезвонъ, въ случаѣ побѣды надъ ними, только первый успѣхъ занять ихъ мѣсто. Вдохновенный и мудрый водолазъ, въ свою очередь, ставитъ вопросъ:

„Будемъ ли мы сыты
Бѣтъ когда изъ псарни унесутъ корыто?
Человѣкъ ужасенъ, если разозлится!
Чѣмъ тогда мы будемъ съ братьями дѣлиться,
Если хлѣбъ не будетъ съ неба къ намъ валиться?
Если жъ мы друга друга насмерть искусаемъ;
Знаете, что скажутъ люди? „Нѣтъ, не знаемъ“.
— Скажутъ, псы взбѣсались: мы ихъ разстрѣляемъ.“

Передъ этимъ вопросомъ Барбось грустно сознается,

Что необходимо приучиться стаѣ,
Прежде чѣмъ мечтать ей о какомъ-то раѣ,
И чутье и мышцы примѣнить къ работѣ,
Чтобъ на рыбной ловлѣ или на охотѣ,
Безъ людей собаки завели обычай —
Каждому питаться собственной добычей.

Но Трезвонъ злится и грозитъ даже убѣжать къ волкамъ.
Дѣло дошло бы до драки, если бы дождь не разогналъ собораніе. Прошло оно, однако, не безплодно:

вопросъ рабочій, поднятый Барбосомъ
На господской псарнѣ моднымъ сталъ вопросомъ.

О самопомощи, о добычѣ себѣ пропитанія собственной охотой начинаютъ мечтать не только кобели, но и нѣжныя „амки“.

Но увы, собаки, безъ людей, безъ Бога,
И безъ рукъ, зубами сдѣлали немного.

Два борзыхъ двое сутокъ охотились и — затравили одного зайченка. Это ли не побѣда?! Подруга поэта, „Стрѣлка“, цѣлый день вначалѣ наслаждалась поэзіей лѣсной прогулки, а затѣмъ — ловила бѣлку, но ее не поймала и вернулась къ другу голодная.

Со слезами рассказываетъ она ему о своей неудачѣ.

Я хотѣла

Быть тебя достойной и — весь день не ѣла!
Нѣтъ ли хоть кусочка мнѣ взаймы?

кончаетъ она, и, конечно, получаетъ кусочекъ отъ поэта, который знаетъ, что

„Стрѣлка благодарна.

Умненькая амка, только жаль, бездарна,
И трудиться хочетъ и никакъ не можетъ —
И чужую корку поневолѣ гложетъ.

Берфинъ сынъ

другую отыскалъ работу:

Сталъ ловить лягушекъ и трудясь до поту
Сотнями давилъ ихъ. Для чего? Признаться
Самъ того не вѣдалъ. Развѣ обжираться
Гадами, собаки, чортъ возьми, способны?

Говорить: трудился, чтобъ потомъ не плакать.

Одной Сайгѣ, самѣй молодой, разбитной и передовой, повезло. Въ болотѣ, которое Валетъ почему-то считаетъ своимъ, но уступаетъ великодушно для охоты гражданамъ псарни, она сразу поймала селезня, что сразу же дало ей положеніе героини. Но скоро

Зависть распустила пагубныя нити.

Собаки оказываются и завистливы и падки до сплетни. Распустили слухи, будто селезень былъ подстрѣленъ и, притаившись за кочкой, отлеживался; такъ что Сайга только нашла, но не поймала его. Поднялась журнальная перепалка, закипѣла злоба, съ ѣдкой приправой клеветы изъ-за славы и первенства...

Словомъ — трудно стало жить на бѣломъ свѣтѣ.

Между тѣмъ на псарнѣ произошли крупныя перемѣны. Въ домикѣ, гдѣ жилъ старый доѣзжачій, поселилась птич-

ница Арина съ мужемъ, старикашкой-солдатомъ. Сначала собаки трусили, ожидая общей перетасовки, но

Затрещала печка и запахло шами :

Это примирило съ новыми жильцами.

Большинство стало подличать передъ Ариной, ради подачки, возмущая болѣе благородныхъ псовъ. Пришлось прибѣгнуть и къ хитрости: замаскировать хворостомъ лазейку

ради опасенья

Не найти въ дворовой твари снисхожденья

Къ нашимъ либеральнымъ преобразованиямъ.

Наконецъ — позоръ и негодованіе! Забывая всякое уваженіе къ благородному назначенію псарни и характеру собакъ, Арина построила на псарнѣ — о ужасъ! — курникъ! Обида эта еще бы не такъ была тяжела,

Если бъ отъ сосѣдства пѣтуховъ не мало

Нравственность собачья наша не страдала.

Примѣръ пѣтуховъ, живущихъ въ многоженствѣ, увлекъ нѣкоторыхъ собакъ, которыя стали увѣрять,

что изъ подаржанья

Пѣтухамъ возникнетъ благосостоянье.

Возникли горячіе споры о „свободной любви“. „Амки“ осторожно обходили эту скользкую тему, кромѣ Сайги, заявившей прямо, что каковы мужчины, таковы и дамы, что мы-де (амки)

Вашихъ попеченій, чортъ возьми, не просимъ!

Я хотя и амка, но не призывала

Кобелей на помощь, и сама поймала

Селезня въ болотѣ. Гдѣ же — продолжала

Сайга — равноправность, если вы хотите

Вольничать, а амкамъ воли не дадите!

Сурово относится поэтъ-собака къ этой демарализующей проповѣди, но дѣло уже сдѣлано! Къ одному поднятому вопросу прибавляются другіе.

Общество собачье стало распадаться,

Партіи плодились, съ тѣмъ, чтобъ препираться.

Началась полемика, появились карикатуры — и на Валета (въ образѣ человѣка) и на самого поэта, и на дамъ-амокъ —

Съ нашей точки зрѣнья не совсѣмъ прилично,

Но зато пикантно и юмористично.

И, что всего смѣшнѣе, глядя на свои карикатуры, амки начали пресеріозно подражать имъ: выгибать спинки, выставлять лапки —

Были и такія амки, что природный
Хвостъ свой выдавали за какой-то модный.

Но — гдѣ ядъ, тамъ и противоядіе. На аренѣ стали появляться не одни зубоскалы или тупицы, но и вѣще пророки:

Водолазъ изъ первыхъ звалъ насъ къ совершенству,
Къ высшему развитію и къ самоблаженству,
А самоблаженствомъ называлъ онъ счастье
Въ міровыхъ движеніяхъ принимать участие.
Иногда во имя звѣрчества взывалъ онъ
Ибо въ этомъ громкомъ словѣ совмѣщалъ онъ
Всѣхъ четвероногихъ — отъ слона до мыши:
Можетъ ли собачья мысль подняться выше!

Но эта великая идея звѣрчества вызвала горячій и сильный протестъ со стороны патріота „Вопили“, проповѣдника „псарнофильства“, т.-е. идеи о святости и ненарушимости связи собаки съ ея родною псарней и ея господиномъ — человѣкомъ. Указывая на настоящее положеніе заброшенной хозяиномъ псарни, онъ горестно восклицаетъ:

— Глядите, какъ мы обליняли,
Отъ звѣрей отстали, къ людямъ не пристали.

Прежде — говорилъ онъ,

— называли мы нашъ трудъ охотой,
А теперь охота сдѣлалась работой
Трудной и тяжелой. Много всякой дичи,
Но безъ человѣка нѣтъ у насъ добычи.

Въ спорѣ съ метафизикомъ „Водолазомъ“, пророкомъ „звѣрчества“, „Вопило“ резонно говорить:

Если мы собаки, — кто другой быть можетъ
Нашимъ идеаломъ, какъ не тотъ, кто ходитъ
Въ сапогахъ высокихъ и ружье наводитъ
На свою добычу, самъ костей не гложетъ,
А предоставляетъ намъ свои оглодки?

Но и помимо „Водолаза“ встрѣчаетъ ученіе „Вопили“ отпоръ со стороны дипломата „Валета“, который указываетъ, что „Вопило“, прославляя псарню,

рѣшигельно не хватаетъ варварства передавать его въ сокращенномъ, безцѣтномъ изложеніи. Поэтому перепечатываемъ эту главу поэмы (XII) цѣликомъ.

ГЛАВА XII.

Романическое приключеніе.

Въ томъ, что описалъ я красоту бассейна,
Каюсь передъ музой и благоговѣйно
Ей цѣлую лапу, дабы съ облегченнымъ
Сердцемъ обратиться къ дамамъ, не лишеннымъ
Маленькаго сердца...

Слушайте, какая
Въ эту ночь случилась встрѣча, роковая
Для меня, для нашей псарни либеральной,
Даже для потомства... Слушайте!

Зѣвая,
Молча созерцалъ я, какъ луна ночная
Серебрила мраморъ, слишкомъ идеальный
Для моихъ понятій. Грустный и печальный,
Я хотѣлъ вернуться. Вдругъ — качнулась вѣтка
На концѣ дорожки... что-то замелькало
Бѣлое, — какъ будто, бѣлая жилетка.
Я въ кусты, прижался — сердце задрожало,
Вижу, въ лунномъ свѣтѣ шествуетъ Валетка!
Наострилъ я уши, притаилъ дыханье.
Явно, что Валетка вышелъ на свиданье;
Что-то шевелится около Валетки.
Наконецъ, я слышу голосокъ левретки.
(О, злодѣй! Ей Богу, лучше этой крошки
Не было на свѣтѣ!). Маленькія ножки
По сырой дорожкѣ такъ переступали
Быстро, что подъ ними струнками играли
Узенькія тѣни, глазки чуть мелькали
Серебристымъ блескомъ...

И Валетъ, скосившись,
Слышу говорить ей:

— Милая, влюбившись
Въ васъ, я такъ разсѣянъ, что отъ дѣлъ отбился.
Даже баринъ видитъ, какъ я расклеился.
— Вздоръ, вздоръ, вздоръ! нисколько вы не расклеились,
Зачастила крошка. — Гдѣ вы находились,
Помните, въ тотъ вечеръ, какъ, садясь за ужинъ,
Васъ Мирза хватился? А ужъ какъ васъ звали!
Какъ вездѣ искали! Гдѣ вы пропадали?

— Помню, въ этотъ вечеръ, я вамъ былъ ненуженъ,
Отвѣчалъ Валетка, и уединился,
И ужъ я не знаю, какъ я не лишился
Своего разсудка!

— Ахъ, какая жалость!

Развѣ я не вижу, что все это шалость,
Глупости! Ступайте въ псарню, тамъ влюбитесь.
— Grand merci! Ей-ей, вы Бога не боитесь,
Я хожу на псарню, но хожу по службѣ.

— Знаемъ вашу службу, служба ваша— сказки!
Тамъ не служба,— амки глупыя по дружбѣ
Моднымъ кавалерамъ расточаютъ ласки.
Перестаньте охать!...

— Милая, повѣрьте,
Если я не стану васъ беречь, то скоро
Я, и вы, и всѣ мы будемъ жертвой смерти,
Не сегодня— завтра...

— Не болтайте вздора...

— Смѣю васъ завѣрить, что, быть можетъ, нынѣ
Ночью все погибнетъ: барину, свининѣ,
Сыру, банкамъ, склянкамъ, нашей воплощенной
Добротѣ— Мирзихѣ, вамъ— моей богинѣ,
А затѣмъ, конечно, и моей персонѣ
Угрожаетъ гибель. Пусть!

И, огорченный,

Замолчалъ Валетка.

Боги! въ грустномъ тонѣ
Голоса и въ каждомъ, такъ сказать, движеніи
Этого героя, сила убѣжденія
Такъ и пробивалась, такъ и пробивалась!
Нѣжная левретка такъ перепугалась,
Что у ней какъ будто подкосились ножки,
И она невольно, посреди дорожки,
Приостановилась.

— Ну, ну, говорите!

— Для чего-съ! Меня вы слушать не хотите,
Я, вѣдь, вру...

— Однако, можно врать, но это
Свыше всякой мѣры...

И она Валета

Хвостикомъ мазнула по носу.

Валетка

Хоть бы облизнулся! Я такой притворной,
Грустно-строгой мины, строгой и покорной
Не видалъ ни разу (а видалъ, такъ рѣдко).
Этой грустной миной онъ попалъ такъ мѣтко
Въ цѣль, что съ легкой дрожью съежилась левретка
(Вотъ, у насъ Валета называютъ фатомъ;

Я же убѣдился, что Валетъ родился
Быть необычайно ловкимъ дипломатомъ).
Долго не хотѣлъ онъ говорить, косился
На луну, на звѣзды, наконецъ, рѣшился:
— Я предполагаю, началъ онъ, — что слово
„Звѣрчество“ для слуха вашего не ново;
Но едва ль понятно вамъ его значенье
Я поймалъ на псарнѣ это выраженье,
Сталъ слѣдить и понять, что все это значить.
Трепещу. Васъ это можетъ озадачить.
Звѣрчество-съ явилось между кобелями
Лозунгомъ союза съ дикими звѣрями.
Псарня, наша псарня-съ, въ праздности великой
Пребывая, бредить о свободѣ дикой,
Внемлетъ пропагандѣ, и на незаконный
Путь черезъ лазейку вышла, и съ волками
Снюхалась, и даже стала съ медвѣдями
Подъ одни знамена. Хитрая лисица
Тоже къ нимъ пристала. Ну-съ, вообразите,
Что это за сила! Чѣмъ вы устраните
Страшную опасность? Здѣсь вѣдь не столица,
Гдѣ войска, гдѣ можно такъ распорядиться,
Что маршъ-маршъ, пафъ-пафъ, и все уgomонится.
Но представьте только медвѣдей мордастыхъ
Сотни три — четыре, столько же зубастыхъ
Волчьихъ рылъ, да стаю хитрыхъ, куроядныхъ
Лисьихъ мордъ! И гдѣ же? У дверей парадныхъ
Нашего жилища! Что тогда? Едва ли
Намъ помогутъ ружья; мы же растеряли
Всѣ свои патроны, отсырѣлъ нашъ порохъ,
Баринъ спить... Тс! тише... чей-то слышенъ шорохъ.
Что-то чуетъ носъ мой...

Но, пока я съ вами,

Ничего не бойтесь...

Крошка со слезами

Слушала Валета.

— Нынче, какъ хотите,

Продолжалъ Валетка, только положите
Вы меня у двери вашего покоя,
Гдѣ вы стережете ложе золотое
Молодой Мерзихи, и спокойно спите.
Милая, довѣрься! Никогда не вру я,
И тебя спасу я. Не живой, такъ мертвый,
Твоего достоинъ буду поцѣлуя,
Все отдамъ за звѣзды глазъ, за нѣжный взоръ твой!!
Боги! вотъ что значить сила эгоизма!
Я давно такого не слыхалъ лиризма!!!
И, развѣся уши, до того забылся,

Такъ былъ сердцемъ тронуть, что пошевелился.
Но любовникъ пылкій вдругъ почуялъ близость
Моего дыханья, зарычалъ, рванулся
Съ мѣста, прыгнувъ тигромъ и — какая низость!
Прежде чѣмъ успѣлъ я въ страхъ растянуться
Въ позѣ беззащитной жертвы, т.-е., прежде
Чѣмъ я поднялъ ноги вверхъ и заикнулся
О моемъ пардонѣ, въ сладостной надеждѣ,
Что меня проститъ онъ, острый зубъ Валета
Пронизалъ мнѣ шею. Я не взвидѣлъ свѣта
И ужъ поневолѣ сталъ храбрѣе волка.
Мы тогда сцѣпились. Я вцѣпился въ ухо,
Онъ вцѣпился въ ляжку, и рычалъ я глухо:
Караулъ! Спасите!!...

Если бъ не Орёлка,
Ахъ! живымъ на псарню мнѣ бы не вернуться.
Услыхалъ Орёлка, что въ саду дерутся,
Прибѣжалъ въ надеждѣ защищать Валетку,
И каковъ невѣжда! — прямо на левретку
Налетѣлъ съ размаху, и, — воображая,
Что она простая амка — гулевая,
Взялъ да и облапилъ! а она

— Спасите!

Завопила: — волки! ай, ай, ай, ай! волки!!
И Валетъ проклятый (случай, какъ хотите,
Для меня счастливый)... и Валекъ къ Орёлкѣ
Бросился съ такимъ же точно озлобленьемъ.
Я тогда, конечно, тягу далъ...

И толки

О моемъ побѣгѣ, съ явнымъ оскорбленьемъ
Чести, съ прибавленьемъ разныхъ глупыхъ сплетенъ,
Поглотили псарню.

Такъ, я сталъ замѣтенъ,
Знаменитъ и славенъ. У собакъ, извѣстно,
Что *скандалъ*, что *слава*, все равно.

Не лестно

Одолжаться славой глупости, но это
Не должно нисколько огорчать поэта,
Мы не переучимъ ни собакъ ни свѣта.

Раненый, больной лежитъ поэтъ — герой приключенія,
прислушиваясь къ толкамъ, сплетнямъ и совѣтамъ, вызван-
нымъ его дуэлью съ придворнымъ „Валетомъ“. „Вопила“
приходить укорять его за то, что онъ не за псарню бился, —
„изъ-за чести!“ а

Ничего преступнѣй нѣтъ подобной мести!

Сайга хвалить его за единоборство съ вѣчно сытымъ фаворитомъ, мѣтащимъ, корча человѣка, въ начальство. Подвальный „пшютъ“ ужасается смѣлости поэта и предрекаетъ ему, что дѣло для него кончится прескверно. Демократы негодовали на него, предполагая, что онъ влюбился въ обитательницу гостиной, левретку, и увивается около богатыхъ. Огорченный всѣми этими сплетнями и злословіемъ, поэтъ, однако, всего болѣе смущенъ воспоминаніемъ о подслушанной имъ баснѣ „Валета“, будто собирается союзъ всѣхъ звѣрей противъ человѣка, увѣренный, что

Вѣдь, пока мы звѣри, до скончанья вѣка
Будемъ мы подъ грозной властью человѣка!

И вотъ, къ измученному этой мыслью и обиднымъ предположеніемъ, что въ тайну заговора посвящена уже вся псарня, и только отъ него ее изъ недовѣрія скрываютъ, поэту является злой нахаль „Трезвонъ“, чтобы издѣваться надъ его мнимой трусостью. Больной поэтъ возвращаетъ упрекъ „Трезвону“, спрашивая, почему-же онъ-то самъ, сильный володавъ, не проучить „Валета?“ „Трезвонъ“ откровенно отвѣчаетъ, предупреждая, что онъ больно кушается, что

Я снесу гримасу, злость, обманъ, уродство,
Только не снесу я умныхъ превосходства.
Хоть „Валеть“ и силенъ, но не онъ вліяетъ
На умы и, значить: онъ мнѣ не мѣшаетъ.

Высказываетъ онъ поэту и подозрѣніе, что тотъ желалъ бы самъ пользоваться фаворомъ „Валета“. Разобиженный поэтъ намекаетъ на извѣстную „Валету“ тайну заговора. Собесѣдникъ его сначала не понимаетъ, слушаетъ его болтовню съ недоумѣніемъ, но, наконецъ, разобравъ въ чемъ дѣло, вскакиваетъ, взвывая на прощаньи:

Будь здоровъ, спасибо, братецъ, за идею...

Судьбы этой идеи союза звѣрей во имя „звѣрчества“ противъ человѣка, и составляютъ предметъ слѣдующихъ главъ поэмы „Собаки“.

Астафьевъ.

Хриплыя тумбы, насвистывающіе снѣгири, бойкія синицы, трещащія осы, беспочвенные дождевики, слѣпорожденные кроты, сердитые шмели — какъ ремесленники литературы — въ поэмѣ Полонскаго: „Ночь въ лѣтнемъ саду“.

Тотъ юморъ, который мы видѣли въ „Кузнечикъ-музыкантъ“, юморъ кроткій, тихій, беззащитный, безропотный, развился съ страшною силою въ его новомъ произведеніи, явившемся черезъ пять лѣтъ послѣ „Кузнечика-музыканта“ — „Ночь въ лѣтнемъ саду“. Изъ поэта кроткаго, мягкаго, безотвѣтнаго, однимъ словомъ, изъ Полонскаго вышелъ борецъ и каратель нашего современнаго литературнаго и общественнаго направленія. Уже нѣсколько разъ тихая и нѣжная лира автора „Кузнечика-музыканта“, „Качки въ бурю“, „Статуи“, прорывалась гнѣвомъ въ родѣ слѣдующей строфы въ его поэмѣ „Братья“:

Учи перо уму повиноваться,
Докуй стихи въ огнѣ своей души,
Ну, и гордись потомъ стиха закаломъ,
Какъ воевой черкесъ своимъ кинжаломъ.
Чтожъ дѣлать! видишь, у быка — рога,
У волка — зубы, у коня — нога,
У короля заряженная пушка,
А у тебя — твое спасенье — стихъ.
Стихъ, какъ булатъ: — онъ для однихъ игрушка
И мѣткое оружіе для другихъ.

Подобныя стихи въ устахъ поэта, попреимуществу, кроткаго указываютъ, въ какое время ему довелось писать. Если ужъ Полонскій сталъ мечтать о томъ, чтобы его стихъ сталъ булатомъ, кинжаломъ въ рукахъ черкеса, то значитъ его довели до этого. Намъ ни сочувствененъ его герой, кузнечикъ-музыкантъ, какъ не сочувствененъ намъ другой его герой, Игнатъ, въ поэмѣ „Братья“, но намъ странно становится за участь писателя, который, любя воспѣвать образы тихіе и нѣжные, вдругъ дѣлаются сатирикомъ и даритъ насъ сатирой, которая, во всякомъ случаѣ, займетъ одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ въ нашей литературѣ, которую волей-

неволей всё будутъ знать наизусть. Начинается „Ночь въ лѣтнемъ саду“ тѣмъ же самымъ кузнечикомъ, тѣмъ же самымъ кроткимъ, запуганнымъ, забитымъ человѣкомъ. Какой-то юноша бѣдный, голодный, неудачно влюбленный, какъ кузнечикъ, проведенный за ночь, меудавшийся писатель, — словомъ, любимый герой Я. П. Полонскаго, — остался на ночь въ Лѣтнемъ саду, гдѣ ему назначили свиданіе, и на свиданія къ нему не явились. Сѣлъ онъ на сырую скамеечку противъ статуи Крылова и сталъ раздумывать о своемъ горѣ, о своихъ напастяхъ, такъ же безропотно и беззащитно, какъ всё герои разбираемаго нами поэта. Это рассказано все прозой. Говорить о томъ, что описаніе прозой липъ лѣтнаго сада и луннаго свѣта въ этихъ мѣстахъ неподобно — значило бы унижать Я. П. Полонскаго, который именно отличается удивительной чуткостью къ красотамъ природы, и который чертитъ ихъ рукой великаго художника. Статуя Крылова заговариваетъ съ нимъ, и, сказать строгую правду, первые три страницы этого разговора не составляютъ необходимой принадлежности поэмы. Тотъ же тихій ропотъ, пропасть остротъ, рассказъ о музѣ, которая явилась къ статуѣ, выхлопотавъ ей у Зевса позволенія поразмяться и побродить по саду до утра, замѣчаніе, что слѣзая съ памятника, онъ могъ бы „сбить собою у журавля носъ“ „въ изваянномъ квартетѣ сломать скрипку“, „своей собственной пятой испортить барельефъ, заказанный казной и, наконецъ, не сумѣть вскарабкаться на прежнее сидѣнье, чѣмъ могъ бы онъ утратить свою монументальность.

Все это рассказано, разумѣется, чрезвычайно мило, чрезвычайно граціозно, но главное начинается далѣе. Крыловъ не сошелъ съ пьедестала, чтобъ не утратить свою монументальность, но посѣщеніе музы его оживило, онъ сдѣлался такъ же чутокъ во всему, какъ и прежде, старый сатирикъ въ немъ вспыхнулъ и не сходя съ пьедестала и не теряя монументальности, онъ опять сталъ вникать въ бытъ окружающихъ его птицъ, насѣкомыхъ, статуй — и пришелъ въ недоумѣніе, что неужели же до сихъ поръ у насъ идетъ квартетъ осла, козла, проказницы мартышки и косолапаго мишки? Я. П. Полонскій чрезвычайно ловко воспользовался размѣромъ Крыловскихъ басенъ и вложилъ Крылову въ уста слѣдующій рассказъ о канарейкѣ!

.....вдругъ,
Вообрази, мой другъ,
Мигъ на мизинецъ канарейка сѣла.
Была, должно быть, взаперти, —
Неволи не смогла снести,
И въ садъ изъ клѣтки улетѣла, —
И стала щебетать, голубушка моя,
Что ей отъ галокъ нѣтъ житья,
Что воробьи и тѣ ее гоняли
И чуть не заклевали.
И тутъ увидѣлъ я — задорный воробей,
Слѣдя за ней,
Перескочилъ съ скамейки на скамейку,
И сталъ пищать на канарейку:
— Ага! небось,
Чтобъ участи своей избѣгнуть,
Тебѣ, голубушка, пришлось
Подъ покровительство прибѣгнуть...
Подъ покровительство! — Какая же ты дрянь!...
Какъ заслужила ты всю нашу злость и брань!
Вотъ мы, небось, не прибѣгаемъ
Съ мольбою къ истукану — мы его
Хоть и боимся, да мараемъ...
А ты?... Ну, для чего
На насъ ты сердилась? Ужели оттого,
Что мы, уча, тебя немножко пощипали!...
Да мы тебя,
Любя,
Обратно въ клѣтку загоняли.
Эй! галки! вы сильнѣе насъ
Подбейте ей крыло, да выколите глазъ.

Кто не знаетъ этой несчастной канарейки, которая должна
ла, наконецъ, прибѣгнуть подъ покровительство великаго
сатирика, потому что ее преслѣдуютъ воробьи и галки,
горы, хоть этого сатирика и боятся, но — мараютъ? Кто
знаетъ этихъ воробьевъ и галокъ, которые щиплютъ
канарейку, чтобъ научить пѣть и, любя ее, загоняютъ
опять въ клѣтку, которые накликаютъ на нее галокъ,
чтобъ ей крыло и выколоть глазъ? Всѣ рассказы статуи
и о его походженіяхъ сводятся на эту тему. Вотъ
подобный рассказъ о тумбѣ, которая учитъ статую Юноны:

.....Тумба, вбитая, поднявъ тупое рыло,
Хриплымъ голосомъ учила
Юнону, (что въ тѣни подстриженныхъ вѣтвей,
Изъ мрамора какъ снѣгъ бѣлѣлась передъ ней),

— Эхъ, милая моя! ей тумба говорила:
Будь совершеннѣе — принорючись къ тому,
Чтобъ въ праздникъ на тебѣ горѣли съ саломъ плошки,
А то, къ чему,
И для чего со мной стоишь ты у дорожки?
Вѣдь если бѣ всѣ такой вопросъ
По-моему какъ слѣдуетъ рѣшили, —
Твой носъ
Красавица, давно бѣ отбили“....
Я долго ждалъ, что будетъ отвѣчать
Статуя тумбѣ, но — красавица молчала,
И, можетъ быть, должна была молчать,
Чтобъ даромъ словъ своихъ на вѣтеръ не бросать.
— Ну погоди же ты! вновь тумба проворчала.
Плевать мнѣ на твои актичныя красы!
„Чтобъ у богинь сколачивать носы,
Я на Руси найду охотниковъ не мало“...

И тумба эта наша короткая знакомая. Мы слышали этотъ хриплый голосъ и требованіе, чтобъ каждый изъ любви къ человѣчеству вообще, а къ отечеству въ особенности, держалъ бы на себѣ, если не плошку съ саломъ, то какой-нибудь вонючій фонарь. Ненависть къ изящному, умѣнье его не понимать, именно и довели Н. О. Щербину до эпираммы, а Я. П. Полонскаго до сатиры. Спору нѣтъ, что городской отчасти полезнѣе поэта, и что членъ думы можетъ, пожалуй, принести больше пользы, чѣмъ пѣвецъ Петровъ, но дойти до исключительности только тупорылая тумба и способна, а это у насъ обыкновенно и совершается. Замѣчательный фактъ: Юнона на тумбу вовсе не оскорбляется и никогда не оскорблялась, а тумба существованіе Юноны всегда считала за личную обиду. Кто мѣшаетъ людямъ быть ремесленниками, писцами, даже рецензентами? Но почему же всѣ эти господа не могутъ простить изящества, не могутъ простить таланта, не могутъ простить знанія? Станный законъ есть въ душѣ человѣческой: уродъ ненавидитъ красоту, а красота терпитъ уродъ и не притѣсняетъ его: чѣмъ больше красоты, тѣмъ больше снисходительности, тѣмъ больше пониманія. Лучшій современный романистъ, Диккенсъ, чело­вѣкъ съ колоссальнымъ талантомъ и съ чуткимъ сердцемъ, взялъ подъ свою защиту именно все гонимое, отверженное и презираемое. Талантъ, сила, красота умѣютъ падать, а тумбы только поднимаютъ тупое рыло и хриплымъ голосомъ напе-

даютъ на все, что есть лучшаго въ мірѣ и ликуютъ, что въ наше время на Руси находится не мало охотниковъ сколачивать носы у богинь. Свою бездарность, свою тупость онѣ вымѣщаютъ на всемъ, что выше ихъ. Онѣ не прощаютъ превосходства, и каждое превосходство, каждое совершенство, въ ихъ глазахъ, личная обида и преступленіе. Носы у богинь и у боговъ, дѣйствительно, у насъ сколачиваются и сколачиваются съ великимъ успѣхомъ — тумбамъ надобно отдать честь; но обломанная и изуродованная статуя все-таки становится въ музей и все-таки вѣчные законы высокаго, изящнаго остаются тѣ же; отбитый варварами торсъ Венеры Милосской все-таки не мѣшаетъ этой богинѣ оставаться до сихъ поръ богиней красоты, какъ изуродованный Геркулессъ въ Ватиканѣ все-таки представляетъ собою идеалъ силы, такъ что слѣпой Микель-Анджело находилъ величайшее наслажденіе ощупывать этотъ мраморъ; гонимымъ поэтамъ все-таки воздвигаютъ памятники, имена Галилея и Христофора Колумба принадлежать всѣмъ народамъ и составляютъ священнѣйшее достояніе человѣчества, а тумбы — такъ и остаются тумбами. Древнія статуи спасаются въ музеяхъ, древнія тумбы сплошь и рядомъ идутъ на щебенъ для шоссе и на это пенять не вправѣ: ихъ задача была быть практически полезными и — приносить практическую пользу даже тысячу лѣтъ послѣ своего существованія.

Далѣе Крыловъ рассказываетъ, что въ чащу лѣтнаго сада сталъ забираться снѣгирь со своей ученицей синицей, которой бабушка грозилась море сжечь. Синица эта опять таки дама намъ весьма близко знакомая. Мы ее встрѣчаемъ на каждомъ шагу, она стонетъ о томъ, что „неужели никогда горѣть не будетъ море?“ Неужели никогда на свѣтѣ не будетъ той идеальной ухи, которую безъ всякаго труда могли бы хлебать всякія птицы? Мы такъ и видимъ ту синицу съ бойкими, развязными манерами, съ глубокой думой на челѣ о будущности рода человѣческаго и съ пискотней объ идеальной ухѣ. Ея учитель снѣгирь не простой. Крыловъ чрезвычайно ловко называетъ его снѣгиремъ насвистаннымъ. Онъ поетъ не со своего голоса — снѣгирья пѣсня вообще никакими особенными прелестями не отличается: онъ насвистался около разныхъ книжекъ, около разныхъ трактатовъ, онъ Консидерана клюнулъ, онъ прочелъ

внимательно Дарвина и кое-что понялъ изъ Бокля; насвистался, развилъ сипицу и утѣшаетъ ее въ слѣдующихъ словахъ, въ которыхъ такъ и мечетъ глубокой ненавистью къ искусству. Онъ ненавидитъ искусство не за то, за что его ненавидитъ тумба, которая искусство считаетъ личнымъ оскорбленіемъ, благо сама неуклюжа и тупорыла. Насвистанному снѣгирю, поющему не съ своего голоса, искусство — помѣха. Если бы не театръ, не музыка, не живопись, если бы проклятый соловей не свисталъ, снѣгири стали бы слушать, потому что надобно же людямъ кого-нибудь слушать; соловья нѣтъ — будутъ слушать снѣгиря, котораго насвисталъ честный сапожникъ-нѣмецъ. Синица стонала:

„Горе, горе!

Ужели никогда горѣть не будетъ море!“

Насвистанный Снѣгирь носъ объ носъ съ ней сидѣлъ

И ей скрипѣлъ:

— Отчаяваться не годится:

Чтобъ птицы всѣхъ сортовъ могли уху хлебать —

Какъ знать,

И море, можетъ быть, дымаясь, закипятится;

Лишь бы проклятый соловей

У насъ не пѣлъ среди ночей:

Его заслушавшись, не станутъ слушать птицы —

Не только Снѣгиря — Синицы!..

И ужъ тогда никто не побѣжитъ смотрѣть,

Какъ море начало горѣть. —

Синица слушала, вздыхала, отряхалась,

Отъ соловьиныхъ пѣсенъ отрекалась,

И говорила Снѣгирю:

— Благодарю! благодарю!

Ты мнѣ глаза раскрылъ — теперь я понимаю...

Ты, ты — нашъ Соловей — другихъ не допускаю“...

Полный негодованія на эту вакханалію тумбъ, снѣгирей, синицъ, вставляетъ Я. П. Полонскій въ уста Крылова слѣдующее замѣчаніе:

Кругомъ меня

Идетъ какая-то, мнѣ новая возня;

Тутъ надо, думаю, вниманье да вниманье.

Авось подслушаю у птицъ,

У доморощенныхъ звѣрковъ и насѣкомыхъ

Сюжетъ басенокъ, мнѣ вовсе незнакомыхъ;

Увижу, до какихъ границъ

Дошла хваленая свобода:

Сатиры бичъ, который насъ хлесталъ, —
Тоть бичъ, что не щадилъ ни одного уroda, —
Насколько выиснилъ намъ русскій идеалъ? —
И — ни гу-гу! — я слушалъ, — я молчалъ, —
Я въ неподвижности суровой пребывалъ,
Какъ монументу подобаеть.

На всѣ эти слова Крылова, само собою разумѣется, тумбы захрипять и засипать. Если до сихъ поръ ни одна синица не пришла отъ нихъ въ ужасъ ни одинъ ученый снѣгирь не пропѣлъ пародіи, то это потому, что они оплошали: они могли бы изъ этого вывести, что поэтъ врагъ свободы и что его тянетъ любовь къ искусству воротиться къ временамъ страшныхъ деспотовъ Борджіа, Медичи, Людовика XIV и даже Нероновъ...

Затѣмъ на сцену является безподобная личность: оса, мелкій литераторъ изъ самыхъ дешевенькихъ, пола женскаго. Эта оса изъ тѣхъ самыхъ милѣйшихъ осъ, которыя, прослышавши кое-что о свободѣ женщинъ, объ обязанностяхъ матери, о вредѣ аристократическаго воспитанія, составили винегретъ изъ своихъ свѣдѣній и въ этотъ винегретъ сильно накрошили и материнскую любовь (и свободу любви, русскую женщину для вкуса подложили, совершенно не зная, какими особенными добродѣтелями она отличается отъ другихъ) и изъ всего этого состряпали блюдо, которымъ подчуютъ всѣхъ встрѣчныхъ и поперечныхъ и котораго никакой здоровый желудокъ переварить не въ состояніи. Ихъ не слушаютъ, потому что и слушать-то ихъ некому, кромѣ тѣснаго кружка снѣгирей, между которыми они могутъ позировать. „Жужжать онѣ скромно“, но „жаломъ шевелятъ“ отъ негодованія, что ихъ таланты такъ-таки никѣмъ не замѣчаются, и что люди посмысленнѣе даже не вступаютъ съ ними въ серіозные разговоры, для того, чтобы не тратить слова на вѣтеръ.

Постоянно осаживаемая назадъ, эти осы питаютъ ненависть ко всякому серіозному дѣлу и задаются вопросами. Задались онѣ естественными науками да изученіемъ эмбриологій, даже въ акушерство забрались, даже Чарчила читали, но ничего толкомъ не вычитали, сами съ толку сбились мужей посбивали и постоянно занимаются сбиваніемъ съ толку своихъ осятъ. Естественныя науки чрезвычайно по-

лезны, и знаніе ихъ, само собою разумѣется, обязательно для каждого образованнаго мужчины и для каждой образованной женщины, но дойти до нихъ до такого совершенства что не уметь отвѣтить своему собственному осенку, отчего нельзя изъ меду прясть нитки, и предполагать, что подобное неумѣнье отвѣтить можетъ быть исправлено наукой — превосходно. Треску много, нахваченныхъ свѣдѣній много — жало шевелится, а не достаетъ звуковъ — царя въ головѣ нѣтъ; а республика отправленій большого мозга самая вредная изъ всѣхъ: — эта демократія умственныхъ способностей, этотъ Крыловскій квартетъ въ головѣ неисправимы наукой. Вотъ рассказъ объ осѣ:

.... Оса тихонько выползаетъ
Изъ-подъ травы, гдѣ у нея
Дыра въ подземное жидье, —
И на свиданье
Къ Дождевіку, кружась, летить.
Чуть слышно скромное, осиное жужжанье,
Однако жаломъ шевелить,
И говорить:
„Любезный Дождевикъ! какъ публицистъ, ты знаешь,
Что у невѣжественныхъ Осъ
Осять не мало развелось,
И, разумѣется, ты понимаешь,
Что ихъ развить,
Иль иначе сказать, предохранить
Отъ всякаго вліянья
Всѣмъ намъ извѣстнаго преданья,
Гораздо мудренѣе, чѣмъ плодить.
Вотъ, у меня, одинъ — такой Осенокъ вострый, —
Такъ любознателенъ — что страсть!
Зачѣмъ, кричить, у пчелъ воскъ бѣлый, а не пестрый,
И отчего нельзя изъ меду нитки прясть?
И къ моему стыду, я не умѣю
На эти умные вопросы отвѣчать
И, разумѣется, должна молчать,
И, разумѣется, краснѣю.
А отчего?
Все оттого,
Что пчелы лекцій осамъ не читаютъ —
Не понимаютъ,
И какъ бы не желаютъ понимать,
Что я складна къ естествознанью,
Почти настолько же, насколько и къ жужжанью“.
— Ну жъ эти пчелы — нечего сказать!...

Отвѣтилъ Дожевикъ, — въ особенности наши, —

Всѣ — эгоисты — любятъ медъ собирать

Лишь для того, чтобъ въ улей свой таскать —

И не сварить ты съ ними каши!

Намедни, въ дождь, сюда подъ листикъ заползла

Какая-то пчела,

И я завелъ съ ней разговоръ ученый

И разъясненія просить,

Зачѣмъ и почему родился я безъ крыль,

И не могу въ союзъ быть съ вороной?

И что жъ — ты думаешь — пчела?!

Она мнѣ начала

Доказывать своею рѣчью скучной,

Что мой вопросъ — не есть вопросъ научный,

Что это бредъ!!

Ну нѣтъ,

Подумалъ я, — ты врешь, а я не брежу.

И съ той поры я такъ неукротимо золь.

Что, пыль пуская, правду рѣжу —

Ругаю пчелъ. —

Опять послышалось Осы жужжанье:

„Любезный Дожевикъ! на дняхъ у пчелъ собранье,

Онѣ собираются о воскѣ разсуждать,

О медѣ, обо всемъ, что слѣдуетъ намъ знать;

Я написала къ нимъ посланье —

Онѣ должны сейчасъ свой улей позабыть,

Должны сейчасъ свой медъ оставить,

И Осъ учить,

Какъ имъ мозги свои поправить“...

Когда читаешь эти мнѣнія и жалобы осы, толкующей со своимъ пріятелемъ, публицистомъ дожевикомъ — господиномъ, у котораго почти нѣтъ корней, который выросъ гдѣ-то на гнилой почвѣ за одну ночь, и который завелъ разговоръ съ пчелой, т.-е. съ какимъ-то ученымъ, почему онъ родился безъ крыльевъ и не можетъ состоять въ союзѣ съ вороной; обидѣлся, что на его вопросъ ученый ему даже отвѣчать не хотѣлъ; оскорбился, сталъ неукротимо золь, пыль пускаетъ, правду рѣжетъ и ругаетъ пчелъ (стихъ, который непременно сдѣлается пословицей, какъ многіе Крыловскіе стихи) — такъ и понимаешь, что ненависть подобнаго публициста-дожевика и его пріятельницы, бабы-тараторки, осы, къ пчеламъ совершенно законна и естественна. Пчелы, занимающіяся дѣломъ, само собою разумѣется, не могутъ находить наслажденія въ бесѣдахъ съ гнилыми, одутловатыми

грибами, начиненными пылью и съ безтолково-жуужащими осами, — пчелы дѣло дѣлають, соты строятъ, медомъ ихъ начинаютъ, живутъ онѣ лучше и порядочнѣе дождевииковъ и осъ, потому что онѣ работаютъ и работать умѣють. Онѣ, дѣйствительно, полезны себѣ и другимъ и поэтому не пускають къ себѣ въ гости всю эту мелкую сошку литературы и крика, и сама филантропія не заставитъ ихъ дѣлиться своимъ медомъ съ этими господами, какого бы рода этотъ медъ ни былъ. Кому охота знаться съ дождевиками и осами? Просвѣщай ихъ лекціями, благо они почему-то считаютъ себя склонными къ естествознанію почти настолько же, на сколько и жуужанію, — или объясняй имъ, почему ихъ угораздило родиться безъ крыльевъ? Помочь имъ нельзя, да и помогать имъ не стоитъ: они сами себѣ хорошіе защитники, жуужать, шипять, пускають пыль, ругають и этимъ отводятъ себѣ душу. Что жъ съ ними дѣлать? Какъ съ ними быть? Неужели жъ пчелы обязаны забыть свой улей, оставить медъ и учить всякихъ осъ, какъ имъ поправить свои мозги? Не каждый имѣетъ самоотверженіе сдѣлаться миссіонеромъ, а тѣмъ болѣе миссіонеромъ искусства и науки. Хорошо учить учениковъ способныхъ, а учениковъ вздорныхъ, надутыхъ, чванныхъ, напичканныхъ всякаго рода претензіями никто учить не станетъ.

Злоба душитъ этихъ несчастныхъ, та самая ненависть тумбы къ Юнонѣ; но тумба просто груба, неотесана. Тумба большихъ претензій не имѣетъ, а оса дѣдушки Крылова — литераторъ.

Вотъ, это хорошо! подумалъ я, — Оса,
Чтобъ просвѣтить свой умъ осиный,
Желаешь мудрости пчелиной,
Да освѣжить ее небесная роса!
Всегда любилъ я тѣхъ, кто жаждетъ просвѣщенья.
„Милый мой! пойми мое недоумѣнье, —
Оса добавила Дождевикъ: —
Сегодня я сидѣла на суку
И въ нашъ журналъ статью писала;
На первый разъ я разобрала
Полетъ орлицы и орла:
Они, по-моему, совсѣмъ не такъ летаютъ —
И я имъ нагоняй порядочный дала, —
Пусть Осу знаютъ!“
На этотъ разговоръ — откуда-то пчела,

Должно быть въ улей опоздала,
Шмыгнула по травѣ, — и на лету поймала
Слова Осы; но такъ была
Неснисходительна и зла,
Что ей сказала:
— Куда ужъ намъ тебя учить!
Ты несомнѣнно выше насъ въ наукѣ...
Полетъ орлицы ты умѣешь прослѣдить,
Орла умѣешь распушить, —
Тебѣ и книги въ руки! —
И съ ношею своей,
Въ Осѣ такое же предполагая жало,
Пчела пропала
Въ тѣни вѣтвей...

Давно мы не читали такой страшной сатиры на этихъ дождевиковъ и осѣ. Сидятъ, трудятся, катаютъ статьи и журналы и разбираютъ полетъ орла и орлицы, даютъ нагоняи искусству, въ которомъ ничего не понимаютъ, по врожденной неспособности, судятъ о политическихъ вопросахъ, съ которыми не знакомы, обличаютъ аристократію въ ея порокахъ, а аристократію выдаютъ развѣ только на улицѣ, толкуютъ о нравственности высокой, о гражданскихъ добродѣтеляхъ (о чемъ бы лучше молчали) и послѣ этого обижаются, что, несмотря на все ихъ пылепущанье, почти никто не замѣчаетъ ихъ. Мнѣніемъ ихъ никто не дорожитъ, грязь, которой они выдуются, не прилипаетъ; они являются въ тяжелыя эпохи литературы, что-то пишутъ, въ чему-то стремятся, на что-то негодуютъ, и затѣмъ куда-то исчезаютъ изъ людской памяти, какъ пузыри на водѣ отъ лягушки, такъ свалившейся съ лопуха, что даже фонари захохотали; настоящіе чернорабочіе литературы, люди, сбѣжавшіе изъ литературы ремесло: они пишутъ о чемъ угодно, о французахъ и о славянахъ, объ абиссинцахъ и о японцахъ, о годовщинѣ Шиллера и о годовщинѣ Гюсса...“

Крыловъ подсмотрѣлъ еще одного подобнаго героя съ своего пьедестала. Этотъ герой — слѣпорожденный вротъ, всю свою жизнь проводилъ подъ землею, копаетъ тамъ разныя проходы и норы, и для котораго надземный міръ не существуетъ, какъ для глухого не существуетъ музыка. Послѣ долгой упорной, разумѣется, полезной работы разгребанія земли всѣми четырьмя лапками, ворочанія всякихъ глыбъ и кочекъ, онъ пришелъ къ отрицанію цвѣтовъ и

доказалъ всѣмъ нашимъ фаустамъ, что не цвѣты прекрасны, а картофель. Объ этомъ онъ заспорилъ съ какимъ-то юнымъ червячкомъ, который не нынче — завтра готовился въ мотыльки (по всей вѣроятности, это гимназисты и студенты и вообще люди съ развитымъ чувствомъ, съ способностью понимать изящное, готовящіеся быть художниками или учеными). Кротъ напалъ на него и довелъ его товарищей до того, что они обозвали этого червячка ретроградомъ. Вотъ какъ изящно рассказываетъ это происшествіе поэтъ:

Слѣпорожденный Кротъ принесъ свои писанья
На просмотрѣнны Червяку,
(Не нынче — завтра мотыльку),
И увѣрялъ, что онъ, какъ нѣкій Мефистофель,
Всѣмъ нашимъ Фаустамъ наглядно доказалъ,
Что вовсе не цвѣты прекрасны, а картофель,
И что цвѣтовъ онъ даже не встрѣчалъ,
Когда подземнымъ онъ путемъ предпринималъ
Свою экскурсію... Червякъ ему божился,
Что сѣмена плодовъ
Съ плодомъ выходятъ изъ цвѣтовъ,
И что картофель, прежде чѣмъ плодиться,
Сперва цвѣтетъ;
Не соглашался Кротъ, —
Онъ былъ ученый Кротъ и начиналъ сердиться.
Кто сердится, тотъ виноватъ,
Была пословица такая,
Теперь у насъ пошла статья иная:
Кто съ бранью сердится — тотъ правъ, и чуть не святъ, —
Кротъ до того сердился,
И до того бранился,
Что всѣ другіе червяки,
(Не нынче — завтра мотыльки),
На брата своего напали,
И ретроградомъ обругали.

Исторія эта у насъ повторяется ежедневно. Человѣкъ, который не знаетъ ни одной ноты, котораго ухо вслѣдствіе ли воспитанія, или вслѣдствіе физическаго недостатка, не понимаетъ музыки, на стѣну лѣзетъ, чтобъ доказать молодежи, что музыка не только не существуетъ, а что она корень и источникъ всякаго разврата, что живопись безнравственна, что нагія мраморныя статуи могутъ возбуждать только нечистые помыслы, что опрятность, баловство, и что хорошій столъ поруганіе надъ бѣдными, что носить перстень съ доро-

гимъ камнемъ — значить поддерживать деспотизмъ, что читать Шекспира и Гете значить производить саморастлѣніе. Что же дѣлать съ этими господами, особливо, если они голосисты? Эти эвнухи и бросаются на червяковъ, изъ которыхъ выйдутъ мотыльки; впрочемъ, это не бѣда: молодежи не мѣшаетъ выслушать всю эту ерунду и знать всю діалектику вандализма, для того, чтобы впослѣдствіи лучше понять высокое. За битаго двухъ небитыхъ даютъ, пословица эта груба, но смыслъ въ ней есть. Въ тѣ печальные литературные періоды, когда кроты, тумбы, дождевики, осы, снѣгири, синицы завладѣли литературой, нельзя не отбиваться отъ нихъ сатирой, но нельзя также и предполагать, чтобы изъ червяковъ не вышло мотыльковъ.

Далѣе является у автора на сцену сердитый шмель, великій демагогъ. Онъ сѣлъ на отсырѣвшій пенъ спиной къ Крылову, должно быть, для того, чтобы похвастаться тѣмъ, что его манеры такъ же сиволапы, какъ у какихъ-нибудь цошехонскихъ мужиковъ.

И началъ въ тонѣ глухо-строгомъ
Жужжать гостямъ, что онъ великій демагогъ,
Что съ колыбели былъ онъ демагогомъ —
Боролся и писалъ — писалъ и изнемогъ.
Потомъ онъ говорилъ о загнанныхъ рабочихъ,
Исподтишка
Негодовалъ на право кулака,
Однихъ бранилъ — плевать хотѣлъ на прочихъ;
И я внималъ ему — внималъ какъ никогда.
Вотъ, думаю, теперь какіе господа!
И шмель, и тотъ любви народной хочетъ,
Какъ попъ о попадѣ,
Заботится о каждомъ муравьѣ,
О каждомъ муравейникѣ хлопочетъ
Того гляди, что полетитъ,
По муравьинымъ городамъ и селамъ
И жертвуя собой, голодныхъ просвѣтитъ
Чревоущательнымъ глаголомъ.
Увы! лишь только Шмель окончилъ рѣчь свою,
Откашлялся и громко плюнулъ,
Какой-то муравей уныло носомъ клонулъ
И сталъ шептать другому муравью:
„Послушай-ка никакъ Шмель долженъ намъ полтину, —
И такъ какъ мы съ тобой не прочь поѣсть, попить,
Нельзя ли братецъ, попросить...“

— Э нѣтъ, братъ, ни за что!...—
„А что?“
— Огрѣветъ спину,—
Дерется этотъ демагогъ,—
Не любить, коли кто въ нуждѣ его тревожить;
Рабочій людъ терпѣть его не можетъ
И попадись-ка онъ,
Затѣйникъ,
Въ какой-нибудь рабочій муравейникъ,
Тамъ зададутъ ему порядочный трезвонъ...
И оба муравья голодные спустились
Съ пенька на траву—и тамъ росы напились;
А Шмель сталъ ужинать, шмелями окружень,
И что-то много-много
Распространялся о судѣ,
О томъ, что правды нѣтъ нигдѣ;
Но я уже не слушалъ демагога...—
Я думалъ;— но теченье этихъ думъ
Внезапно порвалось...

Шмель-демагогъ тоже нашъ короткій знакомый. Мы его знаемъ, какъ знаемъ и шмелей, съ которыми онъ изволитъ за ужиномъ, гдѣ-нибудь въ усиленномъ заведеніи Излера, Шато-де-Флѣръ, Баваріи, или, пожалуй, въ нѣмецкомъ шустеръ-клубѣ, или даже въ собраніи художниковъ ворчать на сильныхъ міра сего, или заявлять себя либераломъ краснѣ послѣдняго изъ могиканъ.

Доморощенные Кутоны, Робеспьеры, С. Жусты и отечественные графы Мирабо представляютъ у насъ типъ до такой степени курьезный, что мы жалѣемъ, зачѣмъ поэтъ не сказалъ объ нихъ больше, хотя главную характеристику ихъ онъ высказалъ. Муравьи ихъ не терпятъ, и не дай Богъ имъ попасть въ рабочій муравейникъ, не потому, чтобъ они были на руку не чисты съ муравьями, а просто, потому что между ними и муравьями нѣтъ ничего общаго. Муравей, чернорабочій муравей—народъ черный; цвѣтное платье шмеля, грубая поддѣлка подъ наружность дѣйствительно работающей пчелы, муравья не проведетъ; фразы и гражданскія скорби практическому муравью дѣла не замѣняютъ, утопіи ему не нужно, и не было у насъ примѣра въ исторіи, чтобъ эти жалкіе шмели водили бы у насъ народъ, во имя своихъ фразъ. Наши шмели мертвые, которыхъ можно смѣло заставить хоронить своихъ мертвыхъ. Они переболтались, до-

болтались до абсурда, и грѣхъ было бы препятствовать имъ заявлять свои чувствованія и свои симпатіи. Пускай улаживаются люди гражданскими стремленіями, пускай хлопочутъ о любви народа къ нимъ, пускай предполагаютъ, что двинутъ массы — мы можемъ, спать спокойно подъ ихъ возгласы, sur les deux oreilles, какъ говорятъ французы.

Но вотъ другой господинъ, нашъ другъ и пріятель сынъ, который испугался жука, тотъ опаснѣе. Онъ и его пріятель, дѣйствительно, своими аристократическими и польско-нѣмецкими тенденціями дѣлаютъ намъ вреда не мало, но какъ жукъ, котораго они боятся, не поворотить русской исторіи направо, такъ они не повернутъ ея налѣво. Исторія Россіи идетъ своимъ чередомъ; попадаютъ въ ней типы жуковъ, шмелей, сычей, бываютъ въ ней тумбы, осы и дождевики со снѣгирами и синицами, а она все идетъ себѣ впередъ, да впередъ. Желѣзная дорога проходитъ мостами и тоннелями, прорѣзываетъ холмы и летитъ по насыпямъ, а пассажиры все ѣдутъ, да ѣдутъ и все-таки пріѣзжаютъ къ мѣсту назначенія, если не случится столкновеніе съ другимъ поѣздомъ, или если не сорвется поѣздъ съ моста, съ насыпи, что вообще, какъ ни часты несчастія на желѣзныхъ дорогахъ, случается довольно рѣдко. Число государствъ, которыя существуютъ доселѣ, превышаетъ число государствъ погибшихъ. Ассирія, Вавилонъ, Римъ, эфемерная имперія Александра Великаго, Польша составляютъ исключеніе изъ общаго правила. Византія превратилась въ турецкое государство. Египетъ превратился въ арабское, а все-таки существуютъ. Франція Бурбоновъ побывала республикой, сдѣлалась Франціей Бонапартовъ, а все-таки Франція какая была, такая и осталась, переѣхавъ парчевые кафтаны маркизовъ на уродливый мундиръ Бонапартовскихъ солдатъ и чиновниковъ. Сычи намъ не опасны, хотя они опаснѣе шмелей по своимъ связямъ, потому что они производятъ въ нашемъ благословенномъ отечествѣ раздоръ между крупными землевладѣльцами и мужиками, между столбовымъ дворянствомъ и дворянствомъ личнымъ. Поссорить сословія шутка не хитрая; возбудить въ несчастныхъ полякахъ несбыточныя надежды, протянуть руку помощи погибающему вслѣдствіе историческихъ условій остзейскому дѣлу они умѣютъ и подвизаются на этомъ поприщѣ, надо признаться съ успѣхомъ, — но какъ они чк

отрицай корней, а корни все таки не гниютъ, и безъ заботы о корняхъ не процвѣтутъ никакія верхи. Благодаря ихъ старанію, у насъ заводится ненависть національностей или, пожалуй, вѣроисповѣданій, языковъ, населяющихъ наше государство. Радѣя о его пользахъ, эти господа вливаютъ въ жилы его ядъ хуже того, который испанцы вывезли изъ Америки! Вотъ какъ ихъ бойко и рѣзко очертилъ Я. П. Лонскій.

....Вверху, на липахъ сонныхъ,
Туманною луною озаренныхъ,
Я услыхалъ великій шумъ.
Сычъ громко прокричалъ и пролетѣлъ надъ садомъ:
Крылоплесканьями, какъ градомъ,
Со всѣхъ сторонъ,
Мгновенно былъ осыпанъ онъ
Отъ совъ и коршуновъ, и матерыхъ воронъ.
Всѣ ждали отъ него ораторскаго слова.
Сычъ, фертомъ подбочась, сѣлъ въ теплое гнѣздо
И молвилъ:— „Господа, защитника такого,
Какъ я, повѣрьте мнѣ, вамъ не найти другого...
Я всѣмъ кричу: демократія— зло!
Пушай цвѣтутъ верхи и пусть гниютъ корни!
И думать, что идутъ всѣ соки отъ корней,
Не значить ли опаснѣйшихъ идей
Быть предвозвѣстникомъ — о! это преступленіе!
Подъ судъ, подъ судъ моихъ судей,
Коли они другого мнѣнія!
По моему, лишь только вы,
Мои друзья, почетнѣйшія птицы,
Одни должны, отъ береговъ Невы
И до китайской вплоть границы,
Зелеными садами обладать!
Но гнѣзда мелкихъ птицъ отнюдь не разорять,
(Я либераль — всѣ это знаютъ).
Итакъ, пусть коршуны цыплятъ оберегаютъ,
Пусть голубей хранятъ орлы,
И пусть степные соколы
Дроздамъ и ласточкамъ почтеніе внушаютъ.
Дрозды и Ласточки хоть грубы,— но не злы,
И несомнѣнно покорятся,
Коли на зло велѣніямъ судьбы,
На кольяхъ вашей городьбы
Да какъ-нибудь не просвѣтятся.
Отъ грамоты спаси ихъ Богъ!
Я бъ приказалъ сажать въ острогъ
Того, ктобъ захотѣлъ за школы ихъ приняться...

И вотъ что, господа,— повѣрьте мнѣ, пока
Не одолѣемъ мы проклятаго Жука,
Спокойствія не будетъ между нами,
Онъ, вѣрьте, всѣ сады подниметъ вверхъ корнями.—
И такъ, кричите, господа,
Пусть гибнетъ дерзкій Жукъ! иль — требуйте
суда....“

И птицы вновь захлопали крылами,
Кричать: брависсимо! Вотъ спичъ, такъ спичъ!
Вотъ Сычъ, такъ Сычъ! —
Все это понялъ я; — но поясни, дружище,
Кто этотъ Жукъ? Коли не сатана,
Такъ это можетъ быть такой жучище,
Что росломъ превзойдетъ индѣйскаго слона!
Быть можетъ съ хоботомъ, съ клыками,
Такой, что страхъ — не подходитъ!
Иначе, самъ ты посуди,
Какъ можетъ жукъ простой, не только вверхъ
корнями

Поднять старинный этотъ садъ,
Со всѣми гнѣздами галчатъ,
Но и одинъ пенекъ чахоточной березы?
Не постигаю я, мой другъ, такой угрозы...
Того гляди, что на Сыча —
Оратора и либерала — стануть
Коситься, какъ на силача,
И всѣ жуки, трусливо поворча,
Жужжать по-жучьи перестануть.
Я слышалъ въ эту ночь, и слышалъ заурядъ,
Что о свободѣ всѣ пищать;
Но тамъ, гдѣ мода — лгать, хитрить и ненавидѣть,—
Себя отстаивать, а истины не видѣть,—
Гдѣ лицемѣръ и тотъ вездѣ —
Лишь объ одной кричить враждѣ,—
Тамъ нѣтъ широкаго познанія природы,
Тамъ честной правды нѣтъ, и нѣтъ святой свободы...

Затѣмъ нашъ тихій и скромный поэтъ, такъ робко начавшій свою сатиру, точно такъ же робко и тихо кончаетъ, какъ будто заминая то, что было имъ сказано. Опять нѣсколько граціозныхъ стиховъ льется изъ устъ Крылова, опять стихи переходятъ въ прозу, поэтъ уходитъ изъ сада, какъ-то извиняясь и избѣгая сторожа, и даже какъ будто не признается, что онъ это самъ написалъ. Авторъ Кузнечика-музыканта, выведенный изъ терпѣнія, все-таки остался тѣмъ же Полонскимъ, какимъ мы его знали лѣтъ двадцать тому на-

задь, но сатира его, несмотря на всю ея застѣнчивость, все-таки останется однимъ изъ лучшихъ произведеній нашей юмористической литературы. Обрисовать такъ вѣрно современные типы, такъ мѣтко заклеить безобразіе литературныхъ правовъ едва ли кто другой могъ, за исключеніемъ развѣ Щербины, но Щербина, къ сожалѣнію, своихъ эпиграммъ не печатаетъ. Если Я. П. Полонскій станетъ продолжать писать въ этомъ же родѣ, который ему такъ блистательно удастся, его заслуга для русской литературы будетъ колоссальная. Пусть онъ не смущается бранью, осмѣянныхъ имъ тумбъ, осъ, шмелей, снѣгирей и К°, пусть онъ караетъ ихъ, благо ему Богъ далъ „бичъ сатиры“, несмотря на его собственное торжественное заявленіе, что онъ бичомъ сатиры не владѣетъ, и пусть онъ будетъ поэтомъ для немногихъ. Для тумбъ, дѣйствительно, писать не только не стоитъ, но даже и невозможно. Для тумбъ пишутъ, дождевики, вдохновляемые осами; въ компаніи со снѣгиремъ и съ синицей они издають журналы, кроты помѣщаютъ тамъ свои ученые отрицанія свѣта и цвѣтовъ, а недоразвившіеся червячки у нихъ сотрудничаютъ, въ ожиданіи часа, когда они превратятся въ куколокъ, и когда изъ-подъ скорлупы этихъ куколокъ вырастутъ радужныя крылья изящныхъ мотыльковъ. Во всякую эпоху общество распадается на двѣ половины: одна, къ которой принадлежитъ знать, другая, къ которой принадлежитъ просто чернь. Между той и другой середину составляетъ кроткій и смирный, но честный людъ муравьевъ рабочихъ, которые, не получая полтины со шмелей, отправляются напиться Божьей росы. Бездарность всегда будетъ преслѣдовать талантливыхъ людей, и пусть онъ не пеняетъ на насъ, что мы не поскупились на выписки изъ его поэмы. Поэма эта такъ хороша, что каждый журналъ гордился бы украсить свои страницы подобнымъ произведеніемъ. Если бы всѣ наши лучшіе писатели стали дружно противъ птицъ и насѣкомыхъ, видѣнныхъ Крыловымъ, и подняли бы гоненіе на дождевиковъ и на шмелей, вышло бы гораздо лучше, чѣмъ оскорбляться на то, что, напримѣръ, Тургеневъ начертилъ наши типы. Съ чего мы стали такими впечатлительными? Не пугалась русская литература сатиры Кантемира, радостно привѣтствовала „Недоросля“ и „Бригадира“ Фонвизина, дворъ нашъ приходилъ въ восторгъ

отъ „Ябеды“ Капниста. Наша нравственность не оскорблялась „Евгеніемъ Онегинимъ“, въ которомъ такъ хорошо представлено наше общество 20-хъ годовъ; „Горе отъ ума“ и „Мертвыя души“ тоже не поколебали нашего патриотизма. Мы были довольны этими обличеніями, мы спасибо говорили тѣмъ, кто указывалъ намъ на наши язвы, но съ нелегкой руки Тургенева у насъ пошло иначе: онъ наступилъ на дождевиковъ, дождевики пустили пыль, и съ тѣхъ поръ мы діагностики не любимъ. Мы скрываемъ другъ отъ друга наши язвы, а тѣмъ болѣе скрываемъ ихъ отъ гг. нашихъ читателей. Мы хотимъ являться передъ ними въ ореолахъ славы, изумлять ихъ нашими свѣдѣніями въ политическихъ и экономическихъ наукахъ, мы хотимъ привести ихъ въ восторгъ нашей ученостью, гражданской добродѣтелью и до того дорисовались за послѣднее время, что боимся обличеній. Если бы Я. П. Полонскій распинаясь передъ нами въ дионрамбахъ политическимъ и литературнымъ талантамъ, мы бы его мигомъ пожаловали въ величайшіе таланты, но онъ бунтовщикъ, — онъ въ насъ видитъ тумбъ, снѣгирей да еще снѣгирей насвистанныхъ, шмелей, сычей...

Кельсиевъ.

Полонскій, какъ писатель и человѣкъ.

18 октября 1898 года скончался Яковъ Потровичъ Полонскій — и въ лицѣ его сошелъ въ могилу не только пѣвецъ, отмѣченный печатью божественнаго вдохновенія, не только дорогой, всѣми любимый и почитаемый членъ-корреспондентъ Академіи, не только оплакиваемый всею мыслящею и образованною Россіей знаменитый писатель, но и послѣдній блестящій представитель того блестящаго періода русской словесности, который, будучи по духу и внѣшности неразрывно связанъ со славою главари русскаго словеснаго искусства, достойно именуется Пушкинскимъ.

Періодъ этотъ завершёнъ теперь жизнію и творческою дѣятельностью трехъ стихотворцевъ: Фета, Майкова и Полонскаго. Полонскому суждено было пережить своихъ соотарищей и соратниковъ по перу, съ которыми въ продолженіе всей жизни онъ былъ связанъ узами единомыслія, общей

дѣтельности и чистаго дружелюбія. Нынѣ, всѣ три лежатъ въ могилахъ и имена ихъ, соединенныя для всѣхъ насъ, современниковъ, съ радостнымъ представленіемъ о живыхъ, творящихъ и пребывающихъ среди насъ дѣтеляхъ, стали именами незабвенныхъ покойниковъ. Но не одни имена и могилы оставили за собою эти покойники; они оставили еще въ наслѣдіе будущимъ поколѣніямъ свои творенія, въ которыхъ отразилась вся ихъ душа — и эти-то драгоценныя дары навсегда пребудутъ живыми и дѣйственными въ памяти благодарнаго потомства. Я попытаюсь только въ самыхъ общихъ чертахъ намѣтить его образъ, какъ пѣвца и человѣка, тотъ свѣтлый, добрый, чистый образъ, такъ живо еще рисующійся въ памяти всѣхъ его знавшихъ — и что одно и то же — его любившихъ, ибо кто зналъ, тотъ не могъ не любить Полонскаго. Весь онъ, такъ сказать, насквозь былъ проникнутъ безконечнымъ добродушіемъ, благожелательностью и юношеской, почти наивной довѣрчивостью ко всѣмъ и всему, что его окружало.

Хотя въ своихъ произведеніяхъ онъ часто громилъ житейскую неправду и человѣческіе пороки, но громы эти направлены были исключительно на отвлеченныя понятія — на ложь, на тьму, на зло вообще; зато всѣхъ живыхъ, не отвлеченныхъ людей, съ которыми Полонскій встрѣчался или сближался, онъ привлекалъ къ себѣ любовью, доброжелательностью и довѣріемъ и склоненъ былъ видѣть во всѣхъ только одно хорошее и свѣтлое. Злые и холодные люди обыкновенно объясняютъ свою ненависть и свое презрѣніе къ людямъ любовью ко всему человѣчеству. Они творятъ дѣйствительное зло во имя отвлеченнаго добра. Люди съ сердцемъ, люди нѣжные и добрые, говорятъ и поступаютъ какъ разъ наоборотъ: обличая и какъ-будто презирая человѣчество въ теоріи и на словахъ, они въ жизни и на дѣлѣ, при всѣхъ столкновеніяхъ съ людьми, сѣютъ вокругъ себя добро и благорасположеніе. На сторонѣ первыхъ, быть можетъ, житейская себялюбивая мудрость, но зато, безъ всякаго сомнѣнія, на сторонѣ вторыхъ — высшая правда; та правда, которая познается и воплощается въ жизни дѣйственной любовью и приноситъ сторичный плодъ. Полонскій по природѣ своей всецѣло принадлежалъ къ людямъ второго образца, къ людямъ, въ которыхъ голосъ добраго и нѣж-

наго сердца всегда заглушает холодный шепотъ разсудка, и это свойство поэта съ самыхъ юныхъ лѣтъ вплоть до глубокой старости устанавливало и сохраняло ту внутреннюю, сердечную, художественную связь между нимъ и окружающею жизнью, которая его согрѣвала, вдохновляла и поддерживала въ житейской борьбѣ. Въ этомъ же свойствѣ души Полонскаго слѣдуетъ искать источниковъ и другой отличительной черты его характера и его поэзіи — мы разумѣмъ изумительную отзывчивость на всѣ явленія смѣнявшейся вокругъ него народной, общественной и государственной жизни потребность откликнуться такъ или иначе на всѣ сколько-нибудь значительныя событія и такъ называемыя „злобы дня“, которыхъ поэтъ былъ свидѣтелемъ или современникомъ. Темныя стороны стараго крѣпостного быта, переворотныя движенія конца сороковыхъ годовъ, крымская, франко-прусская и восточныя войны, пора преобразованій и годы послѣдовавшей затѣмъ смуты на Руси, наконецъ, случайныя и проходящія явленія въ русской общественной жизни, какъ-то: увлеченія славянствомъ, увлеченія мыслями графа Толстого, даже спиритизмомъ — все это можно найти и прослѣдить въ произведеніяхъ Полонскаго, и опредѣлить соотвѣтствующія его чувства, мысли и настроенія. Полонскій вполне подходилъ подъ опредѣленіе пѣвца, сдѣланное Пушкинымъ въ извѣстномъ стихотвореніи „Эхо“.

Но эта отзывчивость, это чуткое вниманіе къ тому, что мы называли злобами дня, не поглощало, однако, всей творческой дѣятельности Полонскаго, и не мѣшало ему почерпать лучшія вдохновенія изъ неизсякаемыхъ и не случайныхъ источниковъ — природы и души человѣческой. „Кузнечикъ музыкантъ“ и множество преимущественно лирическихъ стихотвореній — поистинѣ образцовыхъ, — въ которыхъ Полонскій, забывая о текущей современности, высказывается не какъ зритель и судія этой современности, а какъ созерцатель вѣчной правды и красоты, какъ пѣвецъ-художникъ, какъ жрецъ чистаго искусства, являются крупнѣйшими жемчужинами его поэтическаго вѣнца и наиболѣе цѣнными дарами, вложенными имъ въ сокровищницу отечественной словесности. Я не стану ни перечислять ихъ ни приводить изъ нихъ выдержки, но не могу не указать на то важное значеніе въ ходѣ развитія русскаго стихотворнаго искусства, которое,

помимо даруемаго ими духовнаго наслажденія, имѣли именно эти, отрѣщенные отъ злобы дня, чисто художественныя произведенія Полонскаго.

Вспомнимъ, въ какое время они писались, вспомнимъ, что полный разцвѣтъ дарованія Полонскаго совпалъ съ тою стадіей развитія русской общественной мысли, когда передовые ея представители объявили войну на жизнь и смерть искусству вообще и стихотворству въ особенности, а большинство общества и почти все молодое поколѣніе восторженно привѣтствовало нападающихъ и преслѣдовало насмѣшками и бранью всякаго, кто дерзалъ дѣломъ или словомъ противорѣчить торжествующему теченію. Что теченіе это дѣйствительно было въ то время торжествующимъ, доказывается, съ одной стороны, тѣмъ, что даже передъ великою тѣнью Пушкина не остановились его дерзкія, разрушительныя волны, а съ другой стороны, такимъ знаменательнымъ явленіемъ, что даже Тургеневъ, пытался усмирить ярость нападенія, не могъ найти болѣе убѣдительнаго довода въ пользу умѣренности, какъ только напоминаніе, что лежачаго не бьютъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ извѣстномъ своемъ разговорѣ съ Писаревымъ, приведенномъ Тургеневымъ въ его статьѣ „Воспоминаніе о Бѣлинскомъ“ встрѣчается такое разсужденіе: „если бы у насъ молодые люди теперь только и дѣлали, что писали стихи, я бы понялъ, я бы, пожалуй, даже оправдалъ вашу злобный уворъ, вашу насмѣшку... А то, помилуйте! въ кого вы стрѣляете? Ужъ точно по воробьямъ изъ пушки. Всего-то у васъ осталось три-четыре человѣка, старички 50 лѣтъ и выше, которые еще упражняются въ сочиненіи стиховъ. Стоитъ ли яриться противъ нихъ? Походъ на стихотворцевъ въ 1866 году! Да это антикварская выходка! Архаизмъ!“

Три старичка, на которыхъ намекалъ Тургеневъ, были, безъ сомнѣнія, Фетъ, Майковъ и Полонскій; они-то, по мнѣнію автора „Отцовъ и дѣтей“, не стояли даже направляемыхъ въ то время на нихъ выстрѣловъ. А между тѣмъ не болѣе какъ двадцать лѣтъ спустя, въ концѣ восьмидесятихъ годовъ праздновались юбилеи пятидесятилѣтней словесной дѣятельности этихъ старичковъ,— дѣятельности, въ продолженіе которой они, твердо вѣруя въ свое призваніе, не взирая на *брань и насмѣшки*, упорно и неуклонно продолжали „упраж-

няться въ писаніи стиховъ“. И что же? На чествованіе ихъ вдругъ неожиданно собрались многочисленные представители русскаго искусства, науки, печати и общества и, безъ различія лагерей и направленій, всѣ единодушно воздали громкую хвалу ихъ дѣятельности и признали за ней великое общественное значеніе; но что было особенно утѣшительно и знаменательно, это то, что на этихъ торжествахъ — въ особенности на юбилеяхъ Майкова и Полонскаго — присутствовало и принимало самое живое, горячее участіе цѣлая плеяда молодыхъ русскихъ стихотворцевъ всѣхъ званій и состояній, которые, какъ и чествуемые ими старички, не только съ увлеченіемъ предались „упражненіямъ въ сочиненіи стиховъ“, но и видѣли въ этомъ упражненіи свое высшее и лучшее призваніе.

Теперь же — еще десять лѣтъ спустя *) — вся Россія дружно и увлеченно готовится къ чествованію столѣтней годовщины дня рожденія Пушкина, какъ въ великому, всенародному празднику и уже на этотъ разъ ни откуда, ни изъ какихъ лагерей, ни изъ какихъ слоевъ общества, ни съ какой стороны не слышится ни единого противорѣчащаго общему настроенію, не сочувственнаго ему голоса. Борьба, стало-быть, окончена — искусство побѣдило. Возможно ли сомнѣваться въ томъ, что этой, можетъ быть, одной изъ благодѣлнѣйшихъ побѣдъ нашего вѣка, побѣдой духа надъ матеріей, свѣта надъ тьмой, идеала надъ прозой жизни мы обязаны если не исключительно, то, преимущественно, тому, что въ годину борьбы нашлись самоотверженные, избранники которыхъ борьба не устратила, которые не поколебались и не постыдились поднять и пронести сквозь непріятельскія полчища осмѣянное и поруганное знамя искусства, которымъ удалось сохранить это знамя неприкосновеннымъ и чистымъ, и передать его изъ рукъ въ руки молодымъ поколѣніямъ съ завѣтомъ и впредь держать его бодро, честно и высоко. Якову Петровичу Полонскому суждено было стать послѣднимъ изъ трехъ славныхъ знаменосцевъ пережитой поры „бури и натиска“ и, конечно, эту его великую общественную заслугу, независимо отъ самостоятельнаго значе-

*) Рѣчь эта была произнесена въ публичномъ засѣданіи Академіи Наукъ 29 дек. 1898 г.

нія его крупнаго художественнаго дарованія, никогда не забудетъ мыслящая и образованная Россія. Скажу болѣе: если — въ чемъ мы не должны и не смѣемъ сомнѣваться — русскому народному духу суждено создать въ области поэзіи еще много высокаго и прекраснаго, выдвинуть еще болѣе величавые, чѣмъ донинѣ, поэтическіе образы и проявить новыя, могучія творческія силы — заслуга трехъ старичковъ, и въ томъ числѣ Полонскаго, сознается еще яснѣе, станетъ еще очевиднѣе. Потомству бываетъ легче опредѣлять значеніе поэта, чѣмъ его современникамъ, а самъ поэтъ почти никогда ясно и вполнѣ не сознаетъ всю важность совершаемаго имъ подвига. Сознаніе это лишь таится въ его душѣ, какъ смутное предчувствіе, и прекрасное выраженіе такого предчувствія мы находимъ въ одномъ изъ самыхъ задушевныхъ и отчасти даже пророческомъ стихотвореніи Полонскаго, озаглавленномъ „Звѣзды“. Я позволю себѣ прочтеніемъ этого стихотворенія заключить мое краткое слово:

Посреди свѣтилъ ночныхъ,
Далеко мерцающихъ,
Изъ тумановъ млечными
Пятнами блуждающихъ
И переплывающихъ
Небеса полярныя,
Новыя созиждутся
Звѣзды свѣтозарныя.

Такъ и вы, туманныя
Мысли, тихо носитесь,
И неизъяснимыя
Въ душу глухо проситесь;
Такъ и вы надъ нашими
Темными могилами
Загоритесь нѣкогда
Яркими свѣтилами.

Голенищевъ-Кутузовъ.

Смерть cadaго очень значительнаго человѣка пробуждаетъ вопросъ, что мы потеряли въ немъ? — и побуждаетъ искать точнѣйшаго опредѣленія его личности. Едва вѣсть о смерти Полонскаго облетѣла Петербургъ, какъ прежде всего и ярче всего около его имени заволновалась *любовь*: не сожалѣли руководителя общества, камень его устоевъ, обширный умъ, — сожалѣли *красоту* общества и именно его нравственную красоту.

Блаженъ незлобивый поэтъ...

— съ этимъ впечатлѣніемъ невольно многіе оставляли поэта послѣдніе годы или встрѣчали его. Въ личности Полонскаго, какъ и въ его поэзіи, было совершенное отсут-

ствіе раздраженія, саднящаго гнѣва, длительного негодованія — тою негодованія, которое убивало бы или даже причиняло боль; хотя негодованіе, гнѣвъ — все это, наряду съ противоположными чувствами, волновало его какъ чловѣка и пробѣгаетъ въ его поэзіи. Но эти отрицательныя чувства никогда не были имъ относимы къ лицу чловѣка, къ поступку чловѣка, а всегда — къ положенію вещей, къ теченію идей, къ чему-нибудь общему, а не частному. И это — не въ силу его отвлеченности, но въ силу того, что онъ былъ слишкомъ заменуть въ поэтическомъ мірѣ, а поэзія хотя и мыслить „образами“, но всегда образами чрезвычайно общаго значенія, и волнуется чувствами чрезвычайно общаго колорита. Дразгъ улицы, подробностей минуты онъ не отгонялъ отъ себя, не считалъ ихъ унижительно-ными для поэтического своего уединенія; но поэтъ — и на этотъ разъ истинный поэтъ — онъ не могъ и не умѣлъ внимать перипетіямъ этихъ дразгъ. Онъ отдавался восторгу или горести о загрязненномъ чловѣкѣ, о безъ интереса къ имени и лицу, или съ очень слабымъ интересомъ къ нему. О разсѣянности Полонскаго ходили почти анекдоты, т.-е. о невниманіи его къ подробностямъ, къ непосредственному впечатлѣнію текущей минуты, о постоянномъ погруженіи его въ вѣчные образы и общія же, вѣчные впечатлѣнія, идущія отъ панорамы исторіи и природы. Очень живымъ и конкретнымъ для него былъ не случай, происходящій передъ глазами, а случайное сдѣленіе въ субъектѣ этого случая образовъ, фигуръ, положеній: тогда онъ хваталъ перо и записывалъ какъ бы видѣніе. Получалось живѣйшее и конкретнѣйшее стихотвореніе, однако срисовывающее не фактъ, а моментъ внутренней жизни поэта — расположеніе или изобрѣтеніе его души.

Но что же мы потеряли съ нимъ? Въ Майковѣ мы потеряли часть нашего образованія, и каждый порознь терзалъ въ немъ учителя, болѣе его образованнаго и умнаго, но которому онъ внималъ нѣсколько холодно. Параллель между Полонскимъ и Майковымъ напрашивается на умъ вслѣдствіе ихъ чрезвычайной противоположности: Майковъ любилъ и умѣлъ писать стихотворенія въ „антологическомъ родѣ“; всю его поэзію можно сравнить съ красивой древней колоннадой; но вотъ около одной изъ колоннъ стоитъ и задума-

лась дѣвушка, въ живой красотѣ своей, въ тепломъ дыханіи — это и есть Полонскій. Его поэзія не имѣетъ величавыхъ темъ, какъ „Три смерти“, „Два міра“; не движется по рубрикамъ: „Изъ гностиковъ“, „Изъ древнихъ“, „На родинѣ“, почти съ географической и хронологической правильностью и полнотой. Ничего подобнаго: все — бѣгуче, все — случайно, но все неизмѣримо намъ ближе и интимнѣе... И пусть менѣе просвѣщаетъ насъ исторически, но на сей день и въ семъ мѣстѣ необыкновенно насъ согрѣваетъ.

Итакъ, не часть образованія мы потеряли въ немъ, но часть нашей души какъ бы оторвалась съ нимъ въ горня; кусочка нашего сердца нѣтъ болѣе у насъ — въ смыслѣ ли воспоминанія, дорогого и потеряннаго, или надежды, ласкавшей и обманувшей. Мы замѣтили о теплотѣ и живости его; сдвинемъ тѣснѣе опредѣленіе: онъ былъ, можетъ быть, самый интимный поэтъ вообще за нашъ вѣкъ, а слѣдовательно, и за все время существованія нашей литературы. Этимъ только можно объяснить, почему, не будучи простонароднымъ, онъ проникъ (кажется, одинъ) въ простонародье; есть у него такіа пѣсенки, что каждому хочется ее запѣть, при „подходящемъ“ случаѣ; и пѣсенки запѣваются — художникомъ, поэтомъ, чиновникомъ, простолюдиномъ; а запѣваясь какъ нужное что-то — запоминается. И это — сейчасъ; а можно вѣрить — безъ понужденія, безъ педагогическаго подсказанія, онъ, хоть небольшой частичкой своихъ произведеній, войдетъ въ живой пѣсенный кругооборотъ народа.

Это объясняется громаднымъ его поэтическимъ даромъ. Нѣтъ мощи у него; нѣтъ остроты: онъ никогда васъ не ослѣпитъ, и рѣдко „захватитъ“, увлечетъ до самозабвенія. Есть нѣчто болѣе цѣнное и вѣчное въ немъ. Онъ не спеціальностями поэтическаго дара, но полное натурою и общимъ складомъ поэтическихъ способностей есть поэтъ въ древнемъ смыслѣ, одновременно классическомъ и всемірномъ: пѣніе было сущностью его души, и пѣніе — въ гармоніи съ дѣятельностью. Въ природѣ есть вообще пѣвческое начало — поетъ лѣсъ, поетъ майское утро, своеобразно поетъ хмурый осенній день: вотъ это-то стихійно-пѣвческое было въ высокой степени присуще Полонскому — и онъ спѣлъ бы, лишь не записавъ, всѣ свои пѣсни и на необитаемомъ островѣ, какъ тамъ пропѣваетъ положенныя ему мелодіи

сосновый боръ. Но, конечно, высшій въ природѣ пѣвецъ есть и останется человѣкъ; его мелодіи суть часто (по сложности) поющіе міры. У П. Полонскаго есть такой поющій міръ: это — несравненная его сказка „Кузнечикъ-музыкантъ“.

Удивительное въ этой поэзі-шалости, что въ ней творецъ подымается до безсознательности именно поющей природы, ея чистоты, ея спокойствія, но осложняетъ ее узоромъ человѣческаго вымысла и сознательныхъ человѣческихъ мотивовъ (побужденій, мыслей аллегорическихъ). Сказка эта по непосредственности и красотѣ, быть можетъ, есть лучшее по части поэзіи за полъ-вѣка въ Россіи — и вообще можетъ выдержать сравненіе съ первокласными произведеніями человѣческаго духа; ея ни въ какомъ случаѣ не могъ бы постыдиться Гёте. Между прочимъ, въ ней есть универсальная понимаемость; самый образованный человѣкъ забудется за ея несравненною красотой, и почти съ тѣмъ же ощущеніемъ побѣжитъ по ея строкамъ нисколько не понимающій ея аллегоріи простолудинъ, или почти простолудинъ (случалось наблюдать): скульптурность и живопись вымысла, какъ равно неподражаемая прелесть стиха, увлечетъ и его.

Почти современникъ Пушкина интимный другъ Тургенева — Полонскій послѣдніе годы какъ бы жилъ среди тѣней этихъ сошедшихъ въ преисподнюю пѣснопѣвцевъ. Можно думать, что ихъ, умершихъ, онъ ощущалъ живѣе и интимнѣе, чѣмъ — впрочемъ, нисколько ему не холодную — дѣйствительность; въ манерѣ его словъ было что-то прорывающееся: какъ бы на секунду вырываясь изъ почившаго сообщества, онъ произносилъ свой глаголь — вотъ этимъ гостямъ въ своемъ кабинетѣ или за чайнымъ столомъ. Было чрезвычайно привлекательно его слушать, и многія слова хотѣлось записать. Чувство почти непрерывнаго удивленія было, по крайней мѣрѣ, у пишущаго эти строки, при этихъ вырывающихся реченіяхъ 78-лѣтняго старца, который былъ чрезвычайно ветхъ, физически — совершенно изнеможенъ. Не забуду, съ какими подробностями, какъ умѣло и проницательно онъ вдругъ — по какому-то случайному поводу — заговорилъ, какъ слѣдовало бы организовать простонародную школу: была прекрасная критика и прекрасный планъ у человѣка, повидимому, никогда не думавшаго о народномъ образованіи. У него были, именно, панорамы

въ душѣ; изъ нравственно чистой, изъ безспорно умной души, онѣ выходили въ общемъ правильными, безъ предварительныхъ исканій. Въ другой разъ зашла рѣчь о (филантропической) самопомощи въ Россіи; конечно, ея нѣтъ или мало, но всѣ поверхностно волновались минутой темой говора. Вдругъ изъ-за поясковъ, пледа и костыля услышалось раздраженное, прямо негодующее: „до чего я ненавижу Россію“ (или: „ничего я такъ не ненавижу, какъ Россію“). Невозможно представить степень изумленія при этихъ словахъ отъ поэта, любовь коего къ Россіи всѣмъ была извѣстна; и кто-то замѣтилъ объ этомъ, объ этой странности услышать это отъ Полонскаго. „Ну, конечно, я отдалъ бы за нее жизнь“ (или: „пролилъ бы за нее кровь, не задумавшись“). Всѣ знаютъ: *odi et amo* — и это надобно; но вторая часть словъ Полонскаго не вытекала съ необходимостью изъ первой, и онъ не ждалъ ни вопроса ни поправокъ и уже задремывалъ въ пледѣ; замѣчаніе разбудило орла — и какой влекоть послышался: хотъ бы въ „Слово о полку Игоревѣ“! И опять задремалъ. Оба восклицанія, которыя нужно было выслушать, чтобы оцѣнить ихъ силу, — въ своемъ нажимѣ и красотѣ выразили настоящія и кровныя состоянія его души. Съ такими дѣтьми Россіи бы вѣчно жить, т.-е. начало смерти не коснулось бы ея, если бы всегда она могла надѣяться имѣть такихъ дѣтей.

Розановъ.

Г. Полонскій очень удачно назвалъ одинъ изъ сборниковъ своихъ стихотвореній — „Озимь“. Дѣйствительно, была эпоха, когда сѣмена его лирики лежали подъ снѣгомъ. Онъ началъ писать, когда

одна поэзія спасала
Отъ пошлости и пустоты,

а въ лучшіе годы жизни ему приходилось мириться съ тѣмъ, что

Къ поэзіи чутье утратилъ гордый вѣкъ,
Въ мишурной роскоши онъ ищетъ наслажденья.

Онъ не примѣнулъ ни къ одной изъ журнальныхъ партій. Онъ не поступился своею личностью ради партійности и не

сталъ поэтомъ „злобы дня“. И это долго ему ставили въ вину. Его самоувѣренные критики теперь забыты, но въ свое время они стояли въ апогеѣ своей популярности и считались компетентными судьями во всѣхъ отрасляхъ знанія и искусства. Не поступаясь своими убѣжденіями, поэтъ почти замолкъ, потому что его муза не выносила рѣзкаго спора и вражды. Въ вѣкъ сатиры онъ выступилъ чистымъ лирикомъ, въ вѣкъ отрицанія — пѣвцомъ положительныхъ идеаловъ. Въ половодье и ручьи многоводны. Но снѣгъ стаялъ, полая вода сошла, ручьи стали ручейками, и новая весна новымъ тепломъ повѣяла на музу поэта. Какъ въ годы воспріимчивой молодости, такъ и въ концѣ жизни отзывчивы и звучны струны его лиры, молодъ и зорекъ глазъ, горячо и смѣло бьется чуткое сердце. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ было напечатано его стихотвореніе „Ребенку, на вопросъ: откуда звѣзды?“ Эта граціозная и смѣлая фантазія обвѣяна ароматами весеннихъ цвѣтовъ, озарена прозрачнымъ сіяніемъ звѣзднаго неба, дышитъ молодостью, свѣжестью и силой.

Поэтъ весны, — по веснѣ онъ и поетъ, какъ птичка.

Въ небесахъ, но не для неба,
Вся полна живыхъ заботъ,
Для земли, не ради хлѣба,
Птичка весело поетъ.

Это поэтъ-человѣкъ въ полномъ и высокомъ смыслѣ этого слова. Въ сторонѣ отъ философскихъ школъ и конфессіональныхъ доктринъ, чуждый партійности и тенденціозности, онъ построилъ себѣ свой храмъ, доступный всѣмъ, кто въ силахъ дѣлать его дѣтски-чистую вѣру въ торжество добра и свѣта. Это не капище для посвященныхъ, не мистерія тайнаго культа, а храмъ любви и мира.

Онъ ли виноватъ, что жизнь такъ мало давала ему сюжетовъ для свѣтлыхъ и чистыхъ пѣсенъ? Среди вражды и общей розни нечасто встрѣчалъ онъ ласки солнца и тѣ благодатныя грозы, которыя несли дождь въ засуху. Онъ — сѣятель добра и правды — зналъ, что запасъ его сѣмянъ не великъ и выразилъ это сознаніе въ превосходномъ стихотвореніи „Нищій“, гдѣ онъ такъ просто и скромно говоритъ о своей дѣятельности.

Онъ знавалъ нищаго, который съ утра, какъ тѣнь, бродилъ подъ окнами и просилъ подающаго, а къ ночи все раз-

давалъ бѣднымъ, калѣбкамъ и слѣпцамъ, — такимъ же нищимъ,
какъ и самъ.

Въ нашъ вѣкъ таковъ иной поэтъ:
Утративъ вѣру юныхъ лѣтъ,
Какъ нищій старецъ изнуренъ,
Духовной пищи просить онъ;
И все, что жизнь ему ни шлетъ,
Онъ съ благодарностью беретъ,
И душу дѣлитъ пополамъ
Съ такими жъ нищими, какъ самъ!

Но мы знаемъ, какъ драгоценны тѣ сѣмена, которые нужны
для его посѣва. Это алмазы людского сердца — и

Бездушенъ, кто не понимаетъ,
Насколько тотъ богатъ душой,
Кто дерзновенною рукой
Намъ перлы творчества бросаетъ.

Природа только тому открываетъ свои лучшія тайны, кто
умѣетъ зорко и вдумчиво смотрѣть въ тайники ея творче-
ства, безъ предвзятой мысли, безъ узкой тенденціи. Чтобы
понять ее, надо почти забыть о себѣ. Каждая теорія и си-
стема туманной пеленой ложатся между ея тайнами и „со-
зерцающими очами“. Поэтому самыя чистыя и самыя тонкія
наблюденія надъ жизнью мы собираемъ въ дѣтствѣ.

Такова же и личность каждаго отдѣльнаго, сколько нибудь
оригинальнаго, человѣка. Правда, насъ больше всего инте-
ресуетъ въ немъ то, что намъ симпатично, отвѣчаетъ нашему
личному характеру и міровоззрѣнію; но и въ симпатичномъ
мы тѣмъ лучше угадаемъ все самобытное и свое, чѣмъ меньше
будемъ говорить сами и чѣмъ больше будемъ слушать
другого.

Полонскій вполне обладаетъ этимъ художественнымъ так-
томъ, этимъ чуткимъ вниманіемъ, когда въ своемъ стихѣ
передаетъ свои впечатлѣнія отъ вдохновившихъ его лицъ.
Каждая строчка въ его стихотвореніи на праздникъ Пушкина
напоминаетъ намъ то или другое изъ произведеній нашего
великаго поэта, — напоминаетъ даже его собственныя выра-
женія.

Это тотъ „ничтожный міра“,
Что, когда бряцала лира,
Жегъ сердца намъ, какъ пророкъ.

Онъ какъ будто отказывается отъ своего права голоса и даетъ слово тому, кто разбудилъ въ немъ вдохновеніе и чувство. И такъ онъ дѣлаетъ всегда. Въ стихотвореніи „Памяти В. М. Гаршина“ передъ нами въ общихъ очертаніяхъ встаютъ лучшія произведенія трагически погибшаго писателя.

Безъ крика и безъ сожалѣнья
Покинулъ онъ больной нашъ свѣтъ:
Его не восторгаль онъ, — нѣтъ!...
Въ его глазахъ онъ былъ темницей,
Гдѣ гордой пальмѣ мѣста нѣтъ,
Гдѣ такъ роскошенъ пустоцвѣтъ, —
Гдѣ пойманной, помятой птицей,
Не вѣря собственнымъ крыламъ,
Сквозь стекла потемнѣвшихъ рамъ,
Сквозь дымку чадныхъ испареній,
Напрасно къ свѣту рвется геній,
Къ полямъ, къ дубравамъ, къ небесамъ...

Удивительнѣе всего, въ этомъ отношеніи, его стихотвореніе „На юбилей А. Фета“. Ему показалось, что пѣсни Фета — „вѣчныя пѣсни“, что въ нихъ проснулись и ожили лучшія чары природы. И онъ въ шести строчкахъ набросалъ величавую и широкую картину міра, которая, по смѣлому размаху фантазіи, по тонкому, почти языческому чутью творческихъ силъ природы и по могучему полету вдохновенія, стоитъ внѣ всякаго сравненія.

Ночи текли, звѣзды трепетно въ бездну лучи свои сѣяли...
Капали слезы — рыдала любовь, — и алѣлъ
Жаркій разсвѣтъ, — и тѣ грезы, что въ сердцѣ мы тайно
лелѣяли,
Трель соловья разносила, — и бурей шумѣлъ
Моря сердитаго валъ, думы зрѣли, и рѣяли
Сѣрыя чайки... Игру эту боги затѣяли...

Конечно, боги — и прежде всего боги Эллады. Эта, по-видимому, беспорядочная смѣна отдѣльныхъ моментовъ нанизана на нить художественнаго единства; — до дерзости смѣлое вдохновеніе поэта создало хаотическую картину міра, встрѣчающаго творческія силы зиждителя-Зевса. Живымъ пантеистическимъ чувствомъ вѣетъ отъ этой картины. И это не сухой логическій пантеизмъ Спинозы, а первобытный пантеизмъ Эллады, гдѣ все живетъ своимъ богомъ

т.-е. всею полнотою своей жизни. Рыдаетъ любовь, алѣетъ разсвѣтъ, зрѣютъ думы, рѣютъ сѣрыя чайки — и все это сразу, въ одномъ актѣ воспріятія, въ одномъ аккордѣ, все въ каждомъ звукѣ живой и вдохновенной пѣсни. Все сливается въ одинъ стройный аккордъ, полный космической мощи, обвѣянный хмелемъ творческаго вдохновенія и кипучей жизни. Здѣсь слезы — не слезы, рыданія — не рыданія, потому что каждый штрихъ порознь не имѣетъ значенія и получаетъ смыслъ только въ общей мелодіи, гдѣ скорби нѣтъ, гдѣ все дышитъ мощью и огнемъ кипучаго, страстнаго и безконечнаго порыва.

Соколовъ.

10.462.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ
продаются слѣдующія книги

В. Покровскаго:

Щеголи въ сатирической литературѣ XVIII вѣка. Ц. 1 р. 50 к.

Щеголихи въ сатирической литературѣ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.

Рогоносцы въ эпиграммахъ XVIII в. Ц. 50 к.

„Журналъ для милыхъ“. Ц. 25 к.

Бѣлинскій, какъ критикъ и создатель исторіи новой русской литературы. Ц. 50 к. *Одобр. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.*

СОДЕРЖАНИЕ: I. Критика Бѣлинскаго — литературная школа для писателей и общества того времени. — II. Бѣлинскій и Мерзляковъ. — III. Бѣлинскій и Полевой. — IV. Бѣлинскій и Надеждинъ. — V. Бѣлинскій и Шевыревъ. — VI. Булгаринъ, Сенковский и Бѣлинскій. — VII. Бѣлинскій, какъ создатель исторіи новой русской литературы. — VIII. Взглядъ Бѣлинскаго на народную поэзію и древнюю книжную словесность. — IX. Ошибочность воззрѣній Бѣлинскаго на нѣкоторые произведенія новѣйшей литературы.

Поэзія, какъ главный факторъ эстетическаго развитія Ц. 1 р. *Включена Мин. Нар. Просв. въ „Каталогъ книгъ для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній“.*

Столѣтіе сатирическаго журнала „Что-нибудь отъ бездѣля на досугъ“. Содержаніе: Характеръ сатиры журнала. Общее содержаніе. Отношеніе къ предшественникамъ. Литературная дѣятельность писателя. Ц. 20 к.

О педагогическомъ значеніи класснаго чтенія отрывковъ изъ образцовыхъ писателей. Ц. 60 к.

Отношенія А. С. Пушкина къ отечественнымъ писателямъ. Содержаніе: I. Введеніе. — II. Пушкинъ приглашаетъ другихъ поэтовъ къ служенію музамъ. — III. Радостное привѣтствіе Пушкинымъ произведеній поэтовъ. — IV. Живое участіе Пушкина къ дѣятельности поэтовъ. — V. Уваженіе Пушкина къ достоинству имени писателя. — VI. Альтруистическія и симпатическія чувствованія Пушкина къ писателямъ. Ц. 20 к.

„Мой досугъ или уединеніе“. (Страница изъ русской журналистики XVIII вѣка.) Ц. 20 коп.

Сборникъ историко-литературныхъ статей В. Г. Бѣлинскаго по новой русской литературѣ. Ц. 1 р. (8°, 428 стр.). Допущенъ Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ бесплатныя народные читальни и библіотеки.

Сокращенная историческая хрестоматія. Ч. I. (Сборникъ историко-литературныхъ изслѣдованій о народной словесности и книжной словесности до Петра.) Пособіе при изученіи словесности для учениковъ средн. учебн. заведеній. (8°, 659 стр.). Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к. *Рекоменд. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Сокращенная историческая хрестоматія. Ч. II. (Сборникъ историко-литературныхъ статей о Кантемиръ, Ломоносовъ, Сумароковъ, Екатеринъ II, Фонвизинъ и Державинъ.) Изд. 2-е дополн. (8°, 1175 стр.). Ц. 2. р. *Одобрена Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. III. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Карамзинъ, Крыловъ, Жуковскомъ и Грибоедовъ.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 50 к. (8°, 818 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. IV. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Пушкинъ.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. 2-е. Цѣна 1 р. 50 к. (8°, 798 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. V. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Гоголь, Лермонтовъ и Нольцовъ.) Изд. 2-е. Цѣна 1 р. 50 к. (8°, 632 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. VI. (Сборникъ историко-критическихъ статей о С. Т. Аксаковъ, Григоровичъ, Гончаровъ, Островскомъ, Тургеневъ и Л. Толстомъ.) (8°, 1115 стр.). Изд. 2-е. Ц. 2 р. *Допущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. VII. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Майковъ, Фетъ, А. Толстомъ и Тютчевъ.) (8°, 505 стр.). Ц. 1 р. *Допущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Хрестоматія по русской новѣйшей литературѣ. (Избранныя стихотворенія А. Толстого, Фета, Майкова и Тютчева.) Ц. 40 коп. *Допущена Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. въ ученическія старшаго возраста бібліотеки, а равно въ безплатныя народныя читальни и бібліотеки.*

Сборники русскихъ диктантовъ со стороны ихъ содержанія. Изд. 2-е. Ц. 20 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для фундаментальныхъ бібліотекъ.*

Систематическій диктантъ для среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ. Ч. I. Этимологія. Изд. 12-е, исправленное и дополненное. Ц. 50 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. Уч. Ком. при Св. Синодѣ для духовныхъ училищъ и Учил. Сов. при Св. Синодѣ для церковно-приходскихъ школъ.*

Тоже. Ч. II. Синтаксисъ. Изд. 10-е. Ц. 60 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Св. Синодѣ.*

Имена существительныя, употребляющіяся только во множественномъ числѣ. Ихъ родъ и окончанія. Ц. 20 к.

Справочный ореографическій словарь. Изд. 7-е. Ц. 25 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

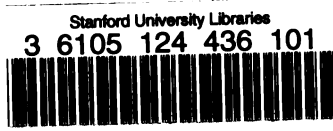
34

35

36

37

38



PG
1-00 33
P72



Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

